Аркадий Гайдар

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Сочинения

в двух томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА—1957

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Сочинения

Том второй

✦

РАССКАЗЫ,
КИНОСЦЕНАРИИ,
РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА—1957

ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА
Н ШИШЛОВСКОГО

РАССКАЗЫ



Р. В. С.

1

Раньше сюда иногда забегали ребятишки затем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев — еще кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудами.

А с тех пор как атаман Криволоб, тот самый, у которого желто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь четырех москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над широко раскинувшимися лопухами.

А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного,

ои порылся в соломе и извлек оттуда две обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По счастливой случайности или еще почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным иатиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирио», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны да адмиралы...

Или:

— Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди.

Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки! — подумал он.— Вот теперь мать задаст трепку, а то и поесть, пожалуй, не оставит». И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое получше.

Но. к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то, что Димка чуть не столкиулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак н штаны из чулана.

Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штаиину. Обернулся — и увндел печальио посматривающего мохиатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил ои и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

— Мам! Кто это? — гневно спроснл Димка.

— Ах, отстань! — досадлнво ответнла та, отворачиваясь.— Что я, присматрнвалась, что ли?

Но Днмка почувствовал, что оиа говорнт неправду.

— Это дядя сапогом двниул,— поясинл Топ.

— Какой еще дядя?

— Дядя... серый... ои у иас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Днмка отворнл дверь. На кровати он увндел здорового детину в солдатской гнмнастерке. Рядом иа лавке лежала казенная серая шинель.

— Головень! — удивнлся Димка.— Ты откуда?

— Оттуда,— последовал короткнй ответ.

— Ты зачем Шмеля ударнл?

— Какого еще Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть ие гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-ннбудь свернул! — с сердцем ответнл Днмка н шмыгнул за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу.

Днмка инкак не мог поиять, откуда взялся Головень. Совсем еще недавно забралн его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у ннх была такая короткая.

За ужнном он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск прнехал?

— В отпуск.

— Вот что! Надолго?

— Надолго.

— Ты врешь, Головень! — убеждеиио сказал Днмка.— Ни у красных, ии у белых, ни у зеленых надолго сейчас ие отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, иаверио.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

— Зачем ребенка бьешь? — вступилась Димкина мать.—Нашел с кем связываться.

Головень покраснел еще больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами (за нее-то он и получил кличку) и ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождетесь, что я вас из дома повыгоню.

После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет.

После ужина Димка забился в сени, улегся на груду соломы за ящиками, укрылся материной поддевкой и долго лежал не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался Шмель и положил голову на плечо.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так — кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберешь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на что близко волостное село, а и то не поймешь, чье оно. Говорили, что занял его на днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зеленый?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та.— Все были люди как люди, а теперь поди-ка...

В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приготавливаясь видеть продолжение интересного, но не досмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель...

В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям желтыми хлебами играет ветер, и лазурно-покоен летний день. Неспокойны только люди. Где-то за темным лесом протрещали раскатисто пулеметы. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался легкий кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

Между тем Головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то.

«Винтовка! — удивился Димка.— Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протер затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская или немецкая? А может, там и нагаи есть?»

Как раз в это время утихло все кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и когда бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал.

Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход — через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохтали потревоженные куры. Испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и, принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твердое. «Приклад!» Прислушался: на дворе — никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?»

Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько — рукоятка вверх подается, отодвинул на себя до отказа. «Умею!» — горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинув от себя винтовку.

«И куда лезет, черт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружье на место. Запрятал почти все, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего! — испуганно ответил Димка.— Я спал...— И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как рассвирепевший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка.— Ни мамки, никого—конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не сметь!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме, с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не сметь! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после.— Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперед.

Отстал один и спросил строго:

— Ты кто такой?

— Здешний,— хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилия?.. На обратном пути проверим.— Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом.

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд.

2

Высохли на глазах слезы. Утихла понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была темная и спокойная, посередке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.

На том берегу, возле опушки никольского леса, заблестел тускло огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? — подумал он.— Пастухи разве?.. А может, и бандиты! Ужин варят — картошку с салом или еще что-нибудь такое...» Ему очень хотелось есть.

В сумерках огонек разгорался все ярче и ярче, приветливо мигая издалека мальчугану. Но еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбивая слова:

Та-ваа-рищи, та-ва-рищи,—
Сказал он им в ответ,—
Да здра-встви-ит
Ра-сия!
Да здра-встви-ит
Совет!

«А, чтоб тебе! Вот наяривает!» — с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидал небольшого худенького мальчишку, валявшегося возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А-а! — протянул тот, по-видимому удовлетворенный ответом.— Драться, значит, не будешь?

— Чего-о?

— Драться, говорю... А то смотри! Я даром что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я Жиган,— горделиво ответил тот.— Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

— Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?.. А вот песни поешь здорово.

— Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем,— тогда «Алеша-ша» либо про буржуев. Белым — так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Расея», ну, а потом «Яблочко» — его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

— А ты зачем сюда пришел?

— Крестная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там! Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

— А потом куда?

— Куда-нибудь. Где лучше.

— А где?

— Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

— Приходи утром на речку, Жиган. Раков по норьям ловить будем!

— Не соврешь? Обязательно приду! — весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на темный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошел к ней и, потянувши за платок, сказал серьезно:

— Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шел, потому Головень меня здорово избил.

го им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. Уж на что дед Захарий! На трех войнах был. А и то, когда садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил:

— Ну и времечко!

Приехали сегодня зеленые, человек двадцать. Заходили двое к Головню. Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел на них с любопытством.

Когда Головень ушел, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в одну.

— Ди-мка, мне! — плаксиво захныкал Топ.

— Оставлю, оставлю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплевываясь, вылетел на двор.

Возле сарая он застал Жигана.

— А я, брат, штуку знаю.

— Какую?

— У нас за хатой зеленые яму через дорогу роют, а черт ее знает — зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

— Как же можно не ездить? — с сомнением возразил Димка.— Тут не так что-то. Не иначе, как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было еще немного: два куска сала, кусок вареного мяса и с десяток спичек...

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшейся к опушке никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на свое место, возле покривившегося крылечка. А когда сел, то подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И так прикидывал и этак — ничего не выходит. Потому престольный в Ольховке уже прошел, а спасу еще рано. И спросил Заха-

рий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

— Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина.— Разве же после среды воскресенье бывает?

— Ото ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунулись любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля донесся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только еще резче и дольше:

У-о-уу-ууу...

А потом вдруг как хряснуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тюпайся швидче, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается!

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое... Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим голосом:

— Ляг... ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше...

— Лежи, лежи! Вот придет гайдамак... он тебе!

В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так что зазвенели стекла окошек, и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» — подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Все стихло. Прошло еще с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату вошел вооруженный Головень.

Он был чем-то сильно разозлен, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

— Ах, чтоб ему!..

Утром встретились ребята рано.

— Жиган,— спросил Димка,— ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

— О, брат! Было у нас вчера дело...

— Ты не ври только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился.

— А почем ты знаешь? Может, я кругом! — обиделся Жиган.

Димка сильно усомнился в этом, но перебивать не стал.

— Машина вчера езжала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила-дьякон в колокол: бум!..— сигнал, значит.

— Ну?

— Ну, вот и ну... Подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она было назад, глядь — ограда уже заперта.

— И поймали кого?

— Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят — дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убег. Бомбу бросил ря-адышком, у Онуфрихиной хаты все стекла полопались. По нем из ружей кроют, за ним гонятся, а он через плетень, через огороды, да и утек.

— А машина?

— Машина и сейчас тут... только негодная, потому что, как убегать, один гранатой запустил. Всю искорежил... Я уж бегал... Федька Марьин допрежь меня еще поспел. Гудок стащил. Нажмешь резину, а он как завоет!

Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем происшествии. Зеленые ускакали еще ночью. И осталась снова без власти маленькая деревушка.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу.

Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки

с насаженным гвоздем через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошел обедать.

Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараям.

Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. «Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти!» И он подошел, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой — нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом — нет!

— Ах черти! — выругался он.— Это не иначе, как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж все сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

— Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито.

— Ел! — ответил тот.— Вку-усно...

— Вкусно! — напустился на него разозленный Димка.— А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дорогу что?.. Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!..

Жиган опешил.

— Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоро-овый!

— А отсюда кто взял?

— И не знаю вовсе.

— Побожись.

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал.

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врет. И, глазами скользнув по соломе, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хворостине:

— Шмель, а ну поди сюда!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали.

И, бросив теребить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

— Он сожрал,— с негодованием подтвердил Жиган.— И кусок-то какой жи-ирный!

Перепрятали все повыше, заложили доской и привалили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра... хорошо!

— Темно ночью только,— с сожалением заметил Жиган.

— А что темно? У нас ружья будут, мы и сами...

— Вот если поубивают...— начал опять Жиган и добавил серьезно: — Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

— Я тоже,— сознался Димка.— А то что, в яме-то... вон как эти.— И он кивнул головой туда, где покривившийся крест чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее.

Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, улегшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелик?— с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

— Крысу чует,— шепотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: — Домой надо идти, Димка.

— Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы.

— Пойдем,— согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали.

Шмель поднялся тоже, но не пошел сразу, а остановился возле соломы и заворчал тревожно снова, как будто дразнил его кто из темноты.

— Крыс чует! — повторил теперь Димка.

— Крыс?— упавшим голосом ответил Жиган.— А только почему же это он раньше их не чуял?

И добавил негромко:

— Холодно что-то. Давай побежим, Димка!.. А большевик тот, что убег, где-либо подле деревни недалеко.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаймы полчашки соли. А у нее в тот день рубаха с плетня пропала. Я пришел, слышу из сенец, ругается кто-то: «И бросил, говорит, какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, посматривая на Димку, и только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошел в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидала меня, села на нее Горпина сей же секунд и велит: «Подай ему, старый, с полчашки», а сама не подымается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость. У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьезно. У другого забегали и заблестели.

И сказал Димка:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и всё поодиночке.

На завтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб крынку кислого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошел полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной, у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго еще через двор проходили люди. Наконец пришел Головень, позвала Топа мать. И прокричала с крыльца:

— Димка! Диму-ушка! Где ты делся?

«Ужинать!» — решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

— Скорей, ты! У меня спина не каменная.

— Темно очень,— шепотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и спрыгнул.— Есть!

— Жиган,— спросил Димка,— а колбасу где ты взял?

— Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнем вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка — назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

— Ты зачем колбасу стащил?

— Это не стащил, Топ. Это надо,— поспешно ответил Димка.— Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Чирик-чирик!.. Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хоро-оший!

— Воробушков?— серьезно спросил Топ.

— Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

— Прячь скорей!

— Давай! — И Жиган полез в щель, под крышу.— Димка, тут темно,— тревожно ответил он.— Я не найду ничего...

— А, дурной, врешь ты, что не найдешь! Испугался уж!

Полез сам. В потемках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит.

— Ты чего? — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

— Там...— И Жиган крепче ухватился за Димку.

И Димка ясно услыхал донесшийся из темной глубины сарая тяжелый, сдавленный стон.

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

3

В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения: «Крысы... Кто съел мясо?.. Рубашка... стон... А что, если?..»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут»,— подумал Димка и пополз. Завернул за груду рассыпавшихся необожженных кирпичей и остановился, испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или еще почему-либо, только, всмотревшись воспаленными, мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Пить!

Димка сделал шаг вперед. Блеснула звездочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук Головня.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федькой, помогавшим матери тащить мокрое белье. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел оттуда, как Федька замедлил шаг, с любопытством поворачивая голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж, дьяво-

ленок, чего ты завихлялся?», то Федька, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и когда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже ясней и внятней незнакомец спросил:

— Красные далеко?

— Далеко. И не слыхать вовсе.

— А в городе?

— Петлюровцы, кажись...

Поник головой раненый и спросил у Димки:

— Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет.

— Жигану разве!

— Это с которым вы бежать собирались?

— Да,— смутившись, ответил Димка.— Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

— Ты чего?— спросил Жиган.

— Тише! Лезь сюда... Надо.

— Так ты позвал бы, а то на-ко... Камнем! Ты б еще кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и темный револьвер на соломе, Жиган остановился оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

— Ну что, мальчуганы?

— Это вот Жиган! — И Димка тихонько подтолкнул его вперед.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти все время молча.

Пуля зеленых ранила человека в ногу; кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и измучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

— Мальчуганы! — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка еще раз узнал в нем незнакомца, крикнувшего Головню: «Не сметь!» — Вы славные ребятишки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют...

— Не должны бы! — неуверенно вставил Жиган.

— Как не должны бы?— разозлился Димка.— Ты говори: нет, да и все... Да вы его не слушайте,—чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу.— Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, все обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны, значит, ни в коем случае.

И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся еще раз.

За обедом Топ сидел-сидел, да и выпалил:

— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой. К счастью, Головня не было, мать доставала похлебку из печки, а бабка была туговата на ухо. И Димка проговорил шепотом, подталкивая Топа ногой:

— Дай пообедаю, у меня уже припасен.

«Чтоб тебе неладно было! — думал он, вставая из-за стола.— Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный железный гвоздь и отнес Топу.

— Большой больно, Димка! — ответил Топ, удивленно поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

— Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу — и все. А тут долго сидеть можно: тук, тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашел у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решился раздобыть йоду.

Отец Перламутрий, в одиом подряснике и без сапог, лежал иа кушетке и с огорчением думал о пришедшнх в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда еще в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомиил о скором приближеини храмового праздника и неотделимых от иего благодаяниях. И образы поросятнны, кружков масла н стройиых сметанных крииок дали, по-вндимому, другое иаправление его мыслям, потому что отец Перламутрий откашлялся солндио и подумал о чем-то, улыбаясь.

Вошел Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил иегромко:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевел взгляд иа Днмку и спросил ие подиимаясь:

— Ты что, чадо, ко мие или к попадье?

— К ней, батюшка.

— Гм... А поелнку оиа в отлучке, я пока за нее.

— Мамка прнслала. Повредилась немного, так поди, говорнт, не даст лн попадья малость йоду. И пузырек вот прислала махонький.

— Пузырек... Гм...— с сомнеиием кашлянул отец Перламутрнй.— Пузырек что!.. А что ты, хлопец, рукн назади держишь?

— Сала тут кусок. Говорнла мать, если нальет, отдай в благодариость...

— Если иальет?

— Ей-богу, так и сказала.

— О-хо-хо,— проговорил отец Перламутрий поднимаясь.— Нет, чтобы просто прислать, а вот: «еслн иальет»...— И он покачал головой.— Ну, давай, что лн, сало... Старое!

— Так иового еще ж не колoлн, батюшка.

— Зиаю и сам, да можно бы пожирнее, хоть н старое. Пузырек где? Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможио полный?

— Да в нем, батюшка, два наперстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял немиого, раздумывая.

— Ты скажн-ка, пусть лучше мать сама прндет. Я прямо сам ей н смажу. А налнвать... к чему же?

Но Димка отчаянио замотал головой.

— Гм... Что ты головой мотаешь?

— Да вы, батюшка, наливайте,— поспешно заговорил Димка,— а то мамка наказывала: «Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всуе». Запомнишь?

— Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли — причем Димка подивился их необычайным размерам — и, прихватив сало, ушел с пузырьком в другую комнату.

— Нá вот,— проговорил он, выходя.— Только от доброты своей...— И спросил подумав: — А у вас куры несутся, хлопец?

— От доброты! — разозлился Димка.— Меньше половины...— И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьезно: — У нас, батюшка, кур нету, одни петухи только.

Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И все же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чем-то.

— Ну что, мальчуганы, не слыхать, как там?

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность, больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределенность.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришел он к сараям печальный, мрачный.

— Головень бьет...— пояснил он.— Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к батьке в Питер... Но никак.

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуски разные. Да билеты, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

— Если бы были красные, я бы тебе достал пропуск, Димка.

— Ты?! — удивился тот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: — А ты кто? Я знаю: ты пулеметный начальник, потому тот раз возле тебя солдат был с «льюисом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять — и да и нет.

И с тех пор Димка еще больше захотел, чтобы скорее пришли красные.

А неприятностей у него набиралось все больше и больше. Безжалостный Топ уже пятый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то, что получал их, все-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:

— А сало все-таки старое, так ты бы с десяточек яиц за лекарство дополнительно.

— За какое еще лекарство?

Димка заерзал беспокойно на стуле и съежился под устремленными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику...— неуверенно ответил он.— У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю.— И потом добавил, поглядывая как-то странно: — А к тому же ты врешь, кажется.— И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли! Для всякой твари сей драгоценный медикамент?— с негодованием вставил отец Перламутрий.— А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси.— При этом он поднял многозначительно большой палец, перевел взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательным взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

— Днмка, а говорят про нашего-то на деревне,— огорошил его прн встрече Жнган.— Тут, мол, он недалеко где-лнбо. Потому рубашка... а к тому же Семка старостин возле Горпнниного забора кннжку нашел, тоже кровяная. Я сам один листочек вндел. Белый, а в углу буквы «Р. В. С.» н дальше палочкн, вроде как на часах.

Димке даже в голову шнбануло.

— Жнган,— шепотом сказал он, хотя кругом никого не было,— надо, тово... ты не ходи туда прямо... лучше вокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупреднлн незнакомца.

— Что же,— сказал он,— будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, нчего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропадать...

— А если лепо?

— Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть,— вставил Жиган.— Кабы не теперь, я спел бы,— хорошая песня. Повелн коммуннста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причнне боремся, знаем, за что умнраем... Только ежели словами рассказывать, не выходнт. А вот когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, н те рты раскрылн, так тебя н забирает.

Домой возвращались поодпночке. Димка ушел раньше; он добросовестно направился к реке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошел блнжайшнм путем — через огороды. Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул кто-то.— Стой, собака!

Он нспуганно шарахнулся, бросился в сторону, взметнулся на какой-то плетень н почувствовал, как кто-то крепко ухватнл его за штаннну. С отчаянным уснлием он лягнул ногой, по-виднмому попав кому-то в лицо. И, переналнвшнсь через плетень на грядки с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту...

Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати мнвут, как в хату с ругательствами ввалнлся Головень и сразу же закричал на мать:

— Пусть лучше твой дьяволенок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью...

— Когда съездил? — со страхом спросила мать.

— Когда? Сейчас только.

— Да он спит давно.

— А, черт! Прибег, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она — спит! — И он распахнул дверь, направляясь к Димке.

— Что ты! Что ты! — испуганно заговорила мать.— Каким каблуком? Да у него с весны и обувки нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?.. Ты спятил, что ли?

Но, по-видимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошел в избу.

— Гм...— промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу.— Ошибка вышла... Но кто же и где его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга...— Потом помолчал и добавил: — А собаку-то вашу я убил все-таки.

— Как убил?! — переспросила мать.

— Так. Бабахнул в башку, да и все тут.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в поддевку, дергался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько. Когда утихло все, ушел на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала успокаивая:

— Ну будет, Димушка! Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки еще яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом Шмеля, и еще с большей силой он затрясся и еще крепче втиснул голову в намокшую от слез овчину.

— Эх, ты! — проговорил Димка и не сказал больше ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка?

— «Знал»! А что я говорил?.. Долго ли было кругом обежать? А теперь что? Вот Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к Левке или еще к кому — даешь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его взгляде только легкий укор, и сказал он мягко:

— Хорошие вы, ребята...— И даже не рассердился, как будто не о нем и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бегали, как всегда, по сторонам, ему не в чем было оправдываться, да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на вопрос:

— А красные в городе. Нищий Авдей пришел. Много, говорит, и все больше на конях.— Потом он поднял глаза и сказал все тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы... Может, проберусь как-нибудь... успею еще.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив серьезно остановившиеся на нем большие темные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшийся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки. И пока он писал, увидел Димка в левом углу те же три загадочные буквы «Р.В.С.» и потом палочки, как на часах.

— Вот,— проговорил тот, подавая,— возьми, Жиган... ставлю аллюр два креста. С этим значком каждый солдат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст начальнику. Да не попадись, смотри.

— Ты не подкачай,— добавил Димка.— А то не берись вовсе... Дай я.

Но у Жигана снова заблестели глаза, и он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло еще высоко над никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукою и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было торопиться, поэтому он свернул в кусты и пошел дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими желтыми цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Верст пять отмахал! — подумал он.— Хорошо бы дальше так же без задержки». Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клена по-вечернему звонко пересвистнула какая-то пташка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик.

Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

И он разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони.

Подошел.

— Откуда ты идешь?.. Куда?

— Оттуда...— И он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше.— С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая, и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без ее — хоть не ворочайся.

— Не видели... Телка тут бродила какая-то, так ту наши еще в утро сожрали... А тебе не попались подводы какие?

— Едут какие-то... должно, рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.

— Забирайся! — крикнул один, подводя лошадей.— Сядешь ко мне за спину.

— Мне домой надо, у меня корова...— жалобно завопил Жиган.— Куда я поеду?..

— Забирайся, куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты еще сболтнешь подводчикам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подводчикам,— ничто не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зеленых. Поехали рысью. В другое время это доставило бы ему очень большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно когда он понял из нескольких брошенных слов, что едут они к отряду

Левки, дожидающемуся чего-то в лесу. «А ну как Головень там,— мелькнула вдруг мысль,— да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги.

— Куда, дьяволенок? — круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

— Стой!.. Не стреляй: все дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган. Напролом через чащу, через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника и сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Левка! — подумал он.— Не иначе, как к нему Головень.— И сразу же сжалось сердце.— Хоть бы не поспели до темноты: ночью все равно не найдут, а утром, может, красные...»

На дороге грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками,— догадался он.— Скорей надо, а тут на-ко: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью прямо навстречу ему вылетел торопившийся куда-то отряд. Не успел он опомниться, как оказался окруженный всадниками. Повел испуганными глазами. И чуть не упал со страху, увидав среди них Головня. Но то ли потому, что тот всего раз или два встречал Жигана, потому ли, что не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

— Хлопец,— спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами,— тебя куда дьявол несет?

— С хутора...— начал Жиган.— Корова у меня... черная, и пятна на ей...

— Врешь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган еще больше и ответил запинаясь:

— Да не тут... А как стрелять начали, испугался я и убежал...

— Слышали? — перебил первый.— Я ж говорил, что где-то стреляют.

— Ей-богу, стреляли,— заговорил быстро, начиная о чем-то догадываться, Жиган,— на Никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Левкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно заорал тот.— Как они смели!

— Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается, старый черт...

— Слышали?! — заревел зеленый.— Это я обжираюсь?

— Обжирается,— подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница.— Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне что? Это все ихние разговоры.

Жиган готов был выпалить еще не один десяток обидных для достоинства Козолупа слов, но тот и так был взбешен до крайности и потому рявкнул грозно:

— По ко́ням!

— А с ним что? — спросил кто-то, указывая на Жигана.

— А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что еще так легко отделался.

«Сейчас схватятся,— подумал он на бегу.— А пока разберутся, глядишь — и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звезды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шел, тяжело дыша, то изредка останавливался перевести дух. Один раз, заслышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей и хлебнул, разгоряченный, несколько глотков холодной воды. Один раз шарахнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо покривившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начало овладевать им. Бежишь, бежишь, и все конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадались на пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле костра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была темная дорога. И только соловей вовсю насвистывал, только он один

не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот, в то время, когда Жиган совсем потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Еще новое! Теперь-то по какой?» И он остановился.

Го-го...— донеслось до его слуха негромкое гоготанье. «Гуси!»—чуть не вскрикнул он. И только сейчас разглядел почти что перед собою, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь:

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос проговорил негромко:

— Господи, кого ж еще-то несет?

— Отворите! — повторял Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас вопросил спросонок:

— Кто там?

— Откройте! Это я, Жиган.

— Какой еще, к черту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

— Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое. Васькой зовут... Я ж еще малый... А мне дорогу б спросить, какая в город.

— Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

— Так они ж обе с краю!.. Разве через дверь поймешь!

Очевидно раздумывая, помолчали немного за дверью.

— Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... не-ет! Мало что маленький. Может, за тобою здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— Тут недалече, с версту всего. Сразу за опушкой.

— Только-то! — И, окрыленный надеждой, Жиган снова пустился бегом.

На кривых уличках его сразу же остановил патруль и показал штаб. Сонный красноармеец ответил нехотя:

— Какую еще записку! Приходи утром.— Но, заметив крестики спешного аллюра, бумажку взял и позвал: — Эй, там!.. Где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, развернул записку и, заметив в левом углу все те же три загадочные буквы «Р.В.С.», сразу же подвинул огонь. И только прочитал — к телефону: «Командира!.. Комиссара!», а сам торопливо заходил по комнате.

Вошли двое.

— Не может быть! — удивленно крикнул один.

— Он!.. Конечно, он! — радостно перебил другой.— Его подпись, его бланк. Кто привез?

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

— Какой он?

— Черный.. в сапогах... и звезда у его прилеплена, а из нее красный флажок.

— Ну да, да, орден!

— Только скорей бы,— добавил Жиган,— светать скоро будет... А тогда бандиты... убьют, коли найдут.

И что тут поднялось только! Забегали все, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомленный Жиган несколько раз повторявшиеся слова: «Конечно, армия!.. Он!.. Реввоенсовет!»

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стекла.

— Где? — порывисто распахнув дверь, вошел вооруженный маузером и шашкой командир.— Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой его, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными руками поднял его с земли и усадил на лошáдь. И снова заиграла труба.

— Скорей! — повелительно крикнул кто-то с крыльца. — Вы должны успеть!

— Даешь! — ответили эхом десятки голосов.

Потом:

— А-арш!

И, сразу сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

— Уходи лучше домой,— несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

— Нет,— мотал он головой,— не пойду.

Выбрался из щели, разворошил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно.

Сидели молча, было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

— Я мамке сказал: может, говорю, к батьке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком только напрасно треплешь!»

— Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чем-то раздумывая.

Наступал вечер. В сарае резче и резче проглядывала темная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробирающегося сквозь щели света.

— Слушай!

Димка задрожал даже.

— Слышу!

И незнакомец крепко сжал его плечо.

— Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донес их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?

— Нет, нет, Димка! Красным рано еще.

Все смолкло. Прошел еще час. И топот и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот послышались близко-близко.

— И по погребам? И по клуням? — спросил чей-то резкий голос.

— Везде,— ответил другой.— Только сдается мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головень!» — узнал Димка, а незнакомец протянул руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес их возьми! Проканителились из-за Левки сколько!

— Темно! — повторил кто-то.— Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня доски сверху... чуть не в башку.

— А место такое подходящее. Не оставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

— Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костер. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клок соломы.

Рассвет не приходил долго. Задрожала, наконец, зарница, помутнели звезды.

Скоро и обыск. Не успел или не пробрался вовсе Жиган.

— Димка,— шепотом проговорил незнакомец,— скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшое отверстие возле земли. Ты маленький и пролезешь... Ползи туда.

— А ты?

— А я ту?... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя. Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей! — И незнакомец крепко, как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слезы подступили к горлу. И было ему страшно и было ему жалко оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слезы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

Тара-та-тах! — прорезало вдруг воздух.— Тара-та-тах! Ба-бах!.. Тиу-у, тиу-у...— взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряженных обойм «льюисов» — все это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

— Чего ты, глупый? — радостно спросил тот.

— Да ведь это же они...— отвечал Димка, улыбаясь, но не переставая плакать.

И еще не смолкли выстрелы за деревней, еще кричали где-то, когда затопали лошади около сараев. И знакомый задорный голос завопил:

— Сюда! Зде-есь!

Отлетели снопы в сторону. Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо:

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появнлось откуда-то — н командир, н комнссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой! И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

— Днмка,— захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жнган,— я успел... назад на коне летел... И сейчас с зелеными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, так тот и свалнлся!..

— Ты врешь, Жиган... Обязательно врешь... У тебя н сабли-то нету,— ответил Димка н засмеялся сквозь не высохшне еще слезы.

Весь день было весело. Днмка вертелся повсюду. И все ребятншкн дивились на него и целымн ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как после стада коров, намята н утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большнм начальником был недавннй пленник, потому что слушалнсь его и красноармейцы н командиры.

Написал он Днмке всякне бумаги, н на каждую бумагу печать поставнл, чтобы не было никакой задержки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.

А Жнган среди бойцов чертом ходнл и песнн такне заворачнвал, что только ну! И хохотали над ннм красноармейцы и тоже дивилнсь его глотке.

— Жиган! А ты теперь куда?

Остановнлся на мннуту Жиган, как будто легкая тень пробежала по его маленькому лицу, потом головой тряхнул отчаянно:

— Я, брат, фьн-нть! Даешь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у ннх перенял:

Ночь прошла в полевом лазарети;
День весенннй н яркнй настал.
И прн солнечном, теплом рассве-ти
Маладой командир умнрал...

Хоро-ошая песня! Я спел — гляжу: у старой Горпины слезы катятся. «Чего ты, говорю, бабка?» — «Та умнрал же!» — «Э, бабка, дак ведь это в песне».— «А когда б только в песне, говорит, а сколько ж и взаправду». Вот в

эшелонах только,— добавил он, запиувшись немного,— некоторые из товарищей не доверяют. «Катись, говорят, колбасой. Может, ты шаитрапа или шарлыган. Украдешь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

— А давайте напишем ему, в самом деле,— предложил кто-то.

— Напишем, иапишем!

И иаписали ему, что «есть он, Жигаи, не шантрапа и ие шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность», а потому «оказывать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».

И много ребят подписалось под той бумагой — целые пол-листа да еще на оборотной. Даже рябой Пантюшкии, тот, который еще только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы.

А потом понесли к комиссару, чтобы дал печать. Прочитал комиссар.

— Нельзя,— говорит,— иа такую бумагу полковую печать.

— Как же нельзя? Что от ней убудет, что ли! Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

— Этот самый с Сергеевым?

— Он, язви его шельма.

— Ну уж в виде исключения...— И тиснул по бумаге.

Сразу же на ней РСФСР, серп и молот — докумеит.

И такой это вечер был, что давно ие запомнили поселяне. Уж чего там говорить, что звезды, как иачищеиные кирпичом, блестели! Или как ветер густым иастоем отцветающей гречихи пропитал все. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали девчата звоико. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговых бревнах перед обступившей его кучкой молодежи, иаигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньки в разбросаниых домиках. Ушли старики, ребятишки. Но долго еще по залитым лунным светом уличкам смеялась молодежь. И долго еще наигрывала искусно лекпомова гармоника, и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседией прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всем отрядом незнакомец крепко пожал руки ребятишкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде,— проговорил он, обращаясь к Димке.— А тебя...— И он запнулся немного.

— Может, где-нибудь,— неуверенно ответил Жиган.

Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладины, а большие, глубокие глаза уставились вдаль, перед собой...

На дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нем — больше никого.

1926



ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ

Колька и Васька — соседи. Обе дачи, где они жили, стояли рядом. Их разделял забор, а в заборе была дыра. Через эту дыру мальчуганы лазили друг к другу в гости.

Нюрка жила напротив. Сначала мальчишки не дружили с Нюркой. Во-первых, потому, что она девчонка, во-вторых, потому, что на Нюркином дворе стояла будка с злющей собакой, а в-третьих, потому, что им и вдвоем было весело.

А подружились вот как.

Приехал однажды к Ваське из Москвы его задушевный товарищ — Исайка Гольдин.

Исайка был ровесником Васьки и был похож на Ваську. Только что чуть-чуть потолще, да волосы у Исайки почернее. Да еще было у Исайки ружье, которое стреляло пробками, а у Васьки не было.

Приехал Исайка с отцом в выходной день. И вздумали ребята в лапту играть. А в лапту, известное дело, втроем не играют — обязательно нужно четвертого.

Пошли за Павликом Фоминым. Но у Павлика болел живот. В лапту играть его не пустили, сидел он дома совсем печальный, потому что выпил недавно касторки.

Что тут будешь делать? Где взять четвертого?

Вот Васька и говорит Кольке:

— А что, если давай позовем Нюрку?

— Давай,— согласился Колька.— У нее ноги вон какие длинные, она не хуже козы бегает.

Исайка согласился тоже.

— Только,— говорит Исайка,— хоть у меня ноги и короткие, а я тоже хорошо бегаю, потому что Нюрка без припрыга бегает, а я с припрыгом.

Позвали Нюрку:

— Иди, Нюрка, с нами в лапту играть.

Нюрка сначала очень удивилась. Но потом видит, что ребята всерьез зовут.

— Я-то бы пошла, да мне сначала огурцы полить надо. А то взойдет солнце, и рассада повянет.

Увидали ребята, что дело это с поливкой долгое будет. Тут Исайка и выдумал:

— Давайте мы тоже поливать будем. Одни воду подтаскивать, другие поливать, тогда раз-раз — и готово. А то одна она и до полдня прокопается.

Так и сделали. Сыграли в лапту десять конов. Сбегали на речку искупаться. Потом Исайка с отцом уехали в город.

И с того-то самого дня подружились Васька и Колька с Нюркой.

Жили они от Москвы недалеко, в поселке, у самого края. Дальше начиналось поле, поросшее мелким кустарником. А еще дальше, на горке, виднелись мельница, церковь и несколько домиков с красными крышами — то ли станция, то ли деревенька,— издалека не разберешь. Как-то Васька спросил у отца, как называется эта деревенька.

— Это не настоящая,— ответил отец.— Это все нарочно сделано.

— Как же не настоящая? — удивился Васька.— Как же не настоящая, когда и мельница, и церковь, и дома? Все видно.

— А так и не настоящая,— рассмеялся отец.— Отсюда кажется, что и мельница и дома... А подойдешь поближе, там ничего нет.

Удивился Васька, но не поверил. И решил, что отец посмеялся или просто сказал так, чтобы от него отстали.

Полез к Кольке через заборную дыру. Глядит, а Колька с Нюркой сидят на заборе и что-то интересное в поле высматривают. Обиделся Васька:

— Вы что же это, сами интересное высматриваете, а меня не позвали?

А Колька отвечает:

— Я давно уже хотел сбегать за тобой. Залезай скорей на забор. Посмотри, какие красноармейцы с пушками приехали.

Залез Васька, смотрит: совсем рядом в кустах кони стоят, повозки на двух колесах и пушки.

— Ну и ну! — сказал Васька.— Это что же такое дальше будет?

— А вот посмотрим,— ответила Нюрка.— Мы уже давно здесь сидим и всё дожидаемся.

— Ладно,— напомнил им Васька,— другой раз и я тоже раньше вашего сяду и вам ничего не скажу.

Но все-таки на этот раз они не поссорились, потому что в кустах начиналось что-то очень занятное.

Лошадей у каждой пушки было по шесть штук — по три пары на пушку. Лошади отцепились от пушек как-то сразу. Красноармейцы возле пушек забегали и что-то такое крутили, ворочали, потом отбежали назад. Остался рядом с пушкой только один. И вот, который остался, держал в руке длинный шнур, привязанный к пушке.

— Ты, Колька, не знаешь, зачем это он за шнурок держится? — спросил Васька, усаживаясь поудобнее.

— Не знаю,— сознался Колька,— только если держится, то уж, значит, так нужно.

— Обязательно так нужно,— подтвердила Нюрка.

— А то, если бы он не держался, тогда как же? — продолжал Колька.

— Ну конечно,— согласился Васька,— если бы не держался, тогда как же...

Но тут красноармейский командир, который стоял позади телефонной трубки, что-то громко закричал. Другой командир, который стоял поближе к пушке, тоже что-то крикнул, махнул рукой; тогда красноармеец дернул за шнурок.

Сначала сверкнул огромный огонь. Потом так ударило, как будто бы громом грохнуло над самой печной трубой.

Ребята слетели с забора на траву.

— Ну, и бабахнуло! — сказал Васька, поднимаясь.

— Здорово бабахнуло, — согласилась побледневшая Нюрка.

— Это вот когда дернут, тогда и бабахает,— объяснил Колька.— А вы говорите — зачем шнурок да зачем! Я теперь сразу угадал зачем... А вот скажи, Васька, почему ты с забора соскочил и меня с Нюркой спихнул?

— Я не соскочил,— обиделся Васька.— Это Нюрка первая соскочила, тряхнула забор, я и свалился.

— Я не первая,— отказалась Нюрка.— Если бы я первая, то как же бы я Кольке на спину упала? Это он сам первый.

— Вот еще! — рассердился Колька.— Это ты просто побоялась в крапиву падать и нарочно выбрала так, чтобы мне на спину. А я вот не побоялся и всю руку изжег.— И, обернувшись к Ваське, он добавил:— Они все, девчонки, крапивы боятся. Куда уж им!

С тех пор красноармейцы с пушками приезжали часто. Только в среду да понедельник стрельбы не бывало, а то каждый день.

Как только приедут артиллеристы, так бегут ребята прямо к кустам. Сядут на бугорочке, совсем близко, и смотрят. С бугорочка все видно и все слышно. Телефонист послушает в трубку и потом говорит командиру:

— Прицел 6-5, трубка 7-2.

Тогда командир кричит:

— Второе орудие!.. Прицел 6-5, трубка 7-2.

И бегут сразу красноармейцы ко второму орудию. Покрутят какое-то колесо — и орудие немного вверх приподнимается. Покрутят другое — и ствол орудия немного в сторону отойдет. Тут, когда нацелятся артиллеристы, махнет командир рукою,— дернет красноармеец-наводчик за шнурок. Вот тебе и трах-бабах!

Как летит снаряд, этого ребятам не видно. Но когда долетит и разорвется, то тогда уже видно, потому что над этим местом поднимется целое облако пыли и черного дыма.

И все снаряды рвались то около церкви, то около мельницы, то около домиков, которые виднелись далеко на горке.

— А страшно в той деревеньке жить! — сказала однажды Нюрка.— Я бы ни за что не осталась там жить. А ты, Васька?

— И я бы не остался,— ответил Васька.— А отчего это отец говорит, что там никакой деревеньки нет и все это только отсюда кажется?

— Деревенька есть,— решил Колька,— да только из нее перед стрельбой все уходят.

— А лошадей куда?

— А лошадей тоже уводят.

— И коров тоже? — спросил Васька.

— И коров тоже, и разных там свиней, и баранов.

— И куриц тоже уводят? — полюбопытствовала Нюрка.— И уток тоже... и всех?

— Должно быть, уж и всех,— ответил Колька и замолчал, потому что самому ему чудным показалось такое дело.

Тут как раз стрельба окончилась, подвезли красноармейцам котел на колесах — кухню. Стал наливать им повар в котелки что-то — суп или борщ, а красноармейцы садились тут же на траву и ели.

Тогда Васька сказал:

— Побежим домой, я что-то тоже поесть захотел.

Но Колька остановил:

— Погоди-ка немного: сюда командир едет.

Подъехал верхом командир. И возле самого бугорка остановился: закурить захотел. Вынул папиросы, вынул спички, стал зажигать, да то ли коня слепень укусил, то ли просто он забаловался, а только дернул конь и зафыркал.

Ухватился командир за повод.

— Стой,— говорит,— шальной! Чего крутишься?

А спички-то и выронил.

— Ребята, — попросил командир, — подайте-ка мне спички.

Васька всех ближе стоял. Схватил он коробку, да поскользнулся и упал. А Кольке обидно стало, что Васька подавать хочет. Подскочил он к Ваське и вырвал у него коробку. Васька как заорет да Кольку кулаком по голове. Тут и началась у них драка. А Нюрка тем временем тихонько, боком, боком... подобрала спички да и подала их командиру. Вот тебе и тихоня!

Посмеялся над ребятами командир, сказал им «спасибо» и ускакал.

Тогда Васька и Колька перестали драться и хотели отлупить Нюрку: зачем она со спичками вперед сунулась.

Но Нюрка испугалась и убежала. А разве ее, длинноногую, догонишь?

Так вот и поссорились ребята.

На другой день ни Васька к Кольке через заборную дыру не лезет, ни Колька к Ваське. А Нюрка тоже у себя на дворе возится.

Походил-походил по двору Васька,— скучно! Достал палку, сел на нее верхом и проехал кругом двора три раза,— все равно скучно.

Заглянул он в дыру — видит, Колька с луком и стрелами ходит. В фуражку перо воткнул и будто бы индеец. Обидно стало Ваське. Просунул он голову в дыру и закричал:

— Отдай, Колька, перо! Оно не твое, а наше. Это ты у нашего петуха из хвоста выщипал.

Тут Колька поднял с грядки ком земли. Как запустит его в Ваську, да прямо в живот! Хоть и не больно было Ваське, а все-таки он заревел.

Васькина мать на крыльцо вышла и начала Кольку ругать. Да и Ваське заодно попало. На другой день ребята — враги. На третий день — враги тоже.

А тут как раз подошло грибное время. Другие ребятишки с соседних улиц соберутся с утра и идут или в Борковский лес, или на Тихие овраги. Глядишь, к обеду тащат — кто корзинку, кто лукошко. Да грибы-то всё какие — белые! Сахар, а не грибы.

А Ваське одному идти скучно, он и не идет. Колька тоже не идет. А Нюрка и подавно: скучно одной.

Сидит как-то Васька у себя на дворе и играет в поезд. Паровоз у него не настоящий, а из ящиков сделан, но всетаки интересно. Приладил он старую самоварную трубу да и дудит: ду-у-у! А сам раскачивается. Ящики хотя и не едут, но стукаются один о другой: так-так-так-так! Ну, прямо как вагоны!

Вдруг слышит Васька — упало что-то рядом. Видит — стрела. И видит он, что высунул из дыры голову Колька. И жалко этому Кольке нечаянно улетевшей стрелы, и боится он пролезть за нею.

Посмотрел Васька и говорит:

— А хочешь, Колька, я тебе стрелу подам?

Слез с паровоза, поднял стрелу и подал Кольке. Взял Колька стрелу, ничего не сказал и ушел.

Походил-походил, а потом высунулся опять из дыры и кричит:

— А у меня, Васька, свисток, как у кондуктора, есть! Хочешь, я тебе дам поиграть? Только не насовсем.

Принес Колька свисток да так и остался на Васькином дворе. Наигрались и сговорились завтра утром за грибами идти.

Подошел Колька к забору и кричит:

— Нюрка, пойдешь завтра за грибами?

А Нюрка боится.

— Вы,— говорит,— опять драться будете.

— Ну вот, драться! Что мы, хулиганы, что ли? Это только хулиганы каждый день дерутся. А мы разве каждый?

Так и помирились.

Васька был неграмотным — мал еще. А Колька немного грамоте знал. Вечером, перед тем как лечь спать, подошел он к календарю, оторвал листочек и прочел на нем: «Вторник». Посмотрел на оставшийся листок и прочел: «Среда».

«Завтра уж среда» — подумал Колька и похвалился.

— А я знаю, мама, почему среда средой называется. Это потому, что она посередке недели висит. Верно я говорю?

— Верно,— согласилась мать.— Ты бы лучше спать шел.

«И то правда,— подумал Колька.— Завтра вставать за грибами рано... в шесть часов».

Когда Колька уснул, вернулся с какого-то собрания отец. Посмотрел он на календарь и спросил:

— Разве у нас завтра среда?

— Нет,— ответила мать,— завтра еще только вторник. Это Колька по ошибке лишний листок вырвал. Вот оно и получилось, что завтра среда.

Вероятно, Колька и Васька проспали бы, если бы их не разбудила Нюрка.

Солнце еще только взошло, трава была мокрая, и сначала босым ногам было холодно.

Направились в перелесок.

Но грибов в перелеске попадалось немного, и ребята решили свернуть к Тихим оврагам, где кусты были погуще, а место посуше.

В корзине у Нюрки и Кольки лежало уже по нескольку штук, а у Васьки все еще ни одного.

— Ты, Нюрка, не иди со мной рядом,— попросил он,— а то все раньше меня срываешь. Ты иди лучше вбок, там и срывай.

— А ты не зевай! — ответила Нюрка и, кинувшись в кусты, вытащила оттуда большой крепкий березовик.— Вот смотри, какой ты гриб прозевал!

— Я не прозевал,— уныло ответил Васька,— я только хотел за куст посмотреть, а ты уже и выскочила.

Но вскоре, когда очутились они возле Тихих оврагов, грибы начали попадаться так часто, что даже Васька нашел четыре осиновика да один белый — здоровый и без одной червинки.

Так бродили они по кустам долго, и уже высоко поднялось солнце и подсохла роса на полянках, когда вышли они на опушку.

— А ну-ка... а ну-ка,— сказал Колька,— посмотрите, ребята, куда мы зашли.

Высокий кустарник кончился. Дальше, насколько хватал глаз, расстилалось перед ними холмистое, покрытое мелкой порослью поле. И через то поле не пролегала ни одна проезжая дорога — всюду только кустики да трава. Торчало на том поле несколько высоких деревянных башенок с пустыми площадками наверху. А вправо, не дальше чем за километр, увидали ребята ту самую деревеньку с мельницей и церковью, которая видна была с окраины их поселка.

— Пойдемте посмотрим,— предложил Колька.— Мы скоренько... Посмотрим только, а потом и спустимся под гору, да все прямо, прямо... Так к дому и выйдем.

— А вдруг стрелять начнут?

— А что, если красноармейцы приедут? — почти в один голос спросили Васька и Нюрка.

— Сегодня не приедут. Сегодня среда,— успокоил их Колька.— Пойдемте посмотрим, да и домой.

Идти пришлось по кочковатому поросшему полю. И чем ближе подходили они, тем чаще попадались им

бугры свежей, еще не заросшей травой земли, узкие глубокие канавы и круглые, залитые дождевой водой ямки.

Казалось, что огромный крот еще совсем недавно рылся в этом пустом и тихом поле.

— Это от снарядов,— догадался Колька.— Попадет снаряд в землю, рванет — вот тебе и яма. А вот это окопы. Сюда от пуль солдаты прячутся во время войны.

— Грязно очень, Колька,— с недоумением заглядывая в сырую глиняную канаву, сказала Нюрка.— Сюда если спрячешься, то вся вымажешься.

Но тут Васька, копавшийся около маленького кустика с почерневшей, точно опаленной листвой, закричал:

— Вот и нашел! Вот это так нашел!

И он побежал к ним, держа что-то в руках.

Сначала ребята думали, что он тащит гриб, но когда он подбежал, то увидели они, что это не гриб, а толстый кусок металла с неровными острыми краями.

— Это осколок от снаряда,— опять догадался Колька.— Ты отдай мне его, Васька. Я тебе за него три гриба дам... Потрогай-ка, Нюрка, какой он тяжелый.

Но Нюрка поспешно отдернула руку и стала за спину Васьки.

— Положи его, Коленька,— робко попросила она.— А то вдруг он да и выстрелит.

— Глупая! — успокоил ее Колька.— Он уже выстреленный. Как же он без пороха выстрелит? Дай мне его, Васька,— попросил он опять,— а я тебе за него три гриба дам. Да еще стрелу с гвоздем дам, как только домой приду.

— Что грибы! — ответил Васька, бережно засовывая осколок в корзину.— Грибы съешь, да и все. Я лучше не дам тебе его, Колька. Пускай он у меня будет...— Он помолчал, потом добавил:— А ты будешь приходить и смотреть. Как только ты попросишь, так я тебе и дам посмотреть. Что мне, жалко, что ли? Смотри, сколько хочешь.

Они подходили к деревеньке. Не видно было ни мужиков, ни ребятишек. Не хрюкали свиньи, не мычали коровы, не лаяли собаки, как будто бы все повымерло.

— Я говорил, что все ушли отсюда! — тихо сказал Колька.— Разве же тут можно жить: смотри, какие снарядные ямины.

Сделали еще несколько шагов и остановились, широко вытаращив глаза. Только теперь разглядели они, что деревеньки-то никакой и нет. И мельница, и церковь, и домики сделаны были из тонких выкрашенных досок, без стен и без крыш.

Как будто бы кто-то огромными ножницами вырезал раскрашенные картинки и приклеил их на подставки среди зеленого поля.

— Вот так деревня! Вот так мельница! — закричал Васька.— А мы-то думали, думали...

Со смехом вбежали ребята в игрушечную деревеньку. Кругом росла высокая трава; было тихо, жужжали шмели и порхали яркие бабочки.

Ребята бегали вокруг раскрашенных домиков, рассматривая их со всех сторон. Здесь же неподалеку были врыты столбы, к которым были прибиты тяжелые, толстые доски, в некоторых местах разорванные и расщепленные снарядами. Это были мишени, по которым стреляли артиллеристы. Перед обманчивой деревенькой тянулись в два ряда изломанные окопы, опутанные ржавой колючей проволокой.

Вскоре ребята наткнулись на какой-то погреб. Дверь в погреб была приоткрыта. С робостью спустились они по каменным ступенькам и очутились в глубоком каменном подвале. В подвале стояла скамья. К стене была приделана полочка, а на полочке торчал небольшой огарок.

— Зажжем свечку,— предложил Колька.— У меня спички есть. Я с собой захватил, чтобы костер разжечь.

Он достал спички, но тут они услыхали доносившийся сверху лошадиный топот.

— Побежим лучше домой,— тихо предложила Нюрка.

— Сейчас побежим. Там, наверху, кто-то есть. Как только проедут, так и побежим. А то заругаться могут. «Вы, скажут, зачем сюда лазили?»

Топот смолк. Ребята выбрались из погреба и увидели, как скачут, удаляясь, двое кавалеристов.

— Посмотри на вышку,— показал Васька,— вон на ту... Туда кто-то забрался.

Посмотрели — и верно: на одной из вышек сидел человек, и отсюда он казался маленьким-маленьким, как воробей.

Хотели уже бежать домой, но тут Васька захныкал, потому что в погребе он позабыл осколок.

Полезли опять. Зажгли свечку. Теперь, при тусклом свете, можно было разглядеть сырые толстые стены из цемента и потолок, настланный из крепких железных балок.

Вдруг глухой далекий гул заставил вздрогнуть ребятишек. Как будто где-то упало на землю огромное тяжелое бревно.

— Колька,— шепотом спросила Нюрка,— что это такое?

— Не знаю,— также шепотом ответил он.

Гул повторился, но теперь грохнуло уже совсем близко. Ребятишки притихли и робко жались друг к другу. Васька раскрыл рот и, крепко сжимая найденный осколок, смотрел на Кольку. Колька хмурился, а по щеке Нюрки покатилась слеза, и она сказала жалобно, готовая вот-вот заплакать:

— А мне, Колька, кажется... мне что-то кажется, что сегодня вовсе не среда...

— И мне тоже,— уныло сказал Васька и вдруг громко заплакал, а за ним и остальные...

Долго плакали, притаившись в углу, попавшие в беду ребятишки. Гул наверху не смолкал. Он то приближался, то удалялся. Бывали минуты перерыва. В одну из таких минут Колька полез наверх затем, чтобы закрыть верхнюю дверь. Но тут совсем неподалеку так ахнуло, что Колька скатился обратно и, ползком добравшись до угла, где тихо плакали Васька с Нюркой, сел с ними рядом. Поплакав немного, он опять пополз наверх, к тяжелой, окованной железом двери погреба, захлопнул ее и отполз вниз.

Гул сразу стих, и только по легкому дрожанию, похожему на то, как вздрагивают стены дома, когда мимо едет тяжелый грузовик или трамвай, можно было догадаться, что снаряды рвутся где-то совсем неподалеку.

— До нас не дострелят,— еще всхлипывая, но уже успокаивая своих друзей, сказал Колька.— Мы вон как глубоко сидим! И стены из камня, и потолок из железа. Ты... не плачь, Нюрка, и ты не плачь, Васька. Вот скоро кончат стрелять, тогда мы вылезем да и побежим.

— Мы бы-ы... мы бы-ы-ст-ро побежим...— глотая слезы, откликнулась Нюрка.

— Мы как... мы как припустимся, как припустимся,

так и сразу домой,— добавил Васька.— Мы прибежим домой и никому ничего не скажем.

Огарок догорал. Пламя растопило последний кусочек стеарина. Фитиль упал и погас. Стало темно-темно.

— Колька,— прохныкала Нюрка, отыскивая в темноте его руку,— ты сиди тут, а то мне страшно.

— Мне и самому страшно,— сознался Колька и замолчал.

И в погребе стало тихо-тихо. Только сверху едва доносились заглушенные отзвуки частых ударов, как будто кто-то вколачивал в землю тяжелые гвозди гигантским молотом.

— Колька, Васька! — опять раздался жалобный голос Нюрки.— Вы чего молчите? И так темно, а вы еще молчите.

— Мы не молчим,— ответил Колька.— Мы с Васькой думаем. Ты сиди и тоже думай.

— Я вовсе и не думаю,— откликнулся Васька,— я просто так сижу.

Он заворочался, пошарил, нащупал чью-то ногу и дернул за нее.

— Это твоя нога, Нюрка?

— Моя! — отдергивая ногу, закричала испуганная Нюрка.— А что?

— А то,— сердитым голосом ответил Васька,— а то... что ты своей ногой прямо в мою корзину и какой-то гриб раздавила.

И как только Васька сказал про гриб, так сразу же веселей стало и Кольке, и Нюрке, и самому Ваське.

— Давайте разговаривать,— предложил Колька,— или давайте песню споем. Ты пой, Нюрка, а мы с Васькой подпевать будем. Ты, Нюрка, будешь петь тонким голосом, я — обыкновенным, а Васька — толстым.

— Я не умею толстым,— отказался Васька.— Это Исайка умеет, а я не умею.

— Ну, пой тогда тоже обыкновенным... Начинай, Нюрка.

— Да я еще не знаю какую,— смутилась Нюрка.— Я только мамину знаю, какую она поет.

— Ну, пой мамину...

Слышно было, как Нюрка шмыгнула носом. Она провела рукой по лицу, насухо вытирая остатки слез,

потом облизала губы и запела тоненьким, еще немного прерывающимся голосом:

Ушел казак на войну,
Бросил дома он жену,
Бросил свою деточку,
Дочку-малолеточку.

— Ну, пойте последние слова: «Бросил свою деточку», — подсказала Нюрка.

И когда Колька с Васькой пропели, то Нюрка еще звончее и спокойнее продолжала!

С той поры прошли года,
Прошли, прокатилися,
Все казаки по домам
Давно воротилися.
Только нету одного,
Всеми позабытого,
Казачонка моего—
И-э-эх! — давно убитого...

Нюрка забирала все звончее и звончее, а Колька с Васькой дружно подпевали обыкновенными голосами. И только когда наверху грохало уж очень сильно, то голоса всех троих чуть вздрагивали, но песня все же, не обрываясь, шла своим чередом.

— Хорошая песня,— похвалил Колька, когда они кончили петь.— Я люблю такие песни, чтобы про войну и про героев. Хорошая песня, только что-то печальная.

— Это мамина песня,— объяснила Нюрка.— Когда у нас на войне папу убили, вот она такую песню все и пела.

— А разве у тебя, Нюрка, отец казак был?

— Казак. Только он не простой казак был, а красный казак. То все были белые казаки, а он был красный казак. Вот его за это белые казаки и зарубили. Когда я совсем маленькая была, то мы далеко — на Кубани — жили. Потом, когда папу убили, мы сюда, к дяде Федору, на завод приехали.

— Его на войне убили?

— На войне. Мать рассказывала, что он был в каком-то отряде. И вот говорит один раз начальник отцу и еще одному казаку: «Вот вам пакет. Скачите в станицу Усть-Медведицкую, пусть нам помощь подают». Скачут отец да еще один казак. Уже и кони у них устали, а до Усть-Медведицкой все еще далеко. И вдруг заметили их белые казаки и пустились за ними

вдогонку. У белых казаков лошади свежие, того и гляди догонят. Тогда отец и говорит еще одному казаку: «На́ тебе, Федор, пакет и скачи дальше, а я возле мостика останусь». Слез с коня возле мостика, лег и начал стрелять в белых казаков. Долго стрелял, до тех пор, пока не пробрались казаки сбоку, через брод. Тут они и зарубили его. А Федор — это другой-то казак — в это время далеко уже ускакал с пакетом, так и не догнали его. Вот какой у меня папа казак был! — докончила рассказ Нюрка.

Грохот заставил вскрикнуть ребятишек. Должно быть, ветром распахнуло верхнюю дверь, и раскаты взрывов ворвались в погреб.

— Колька... зак-к-рой! — заикаясь, закричал Васька.

— Закрой сам,— ответил Колька.— Я уже закрывал.

— Закрой, Колька! — громко расплакавшись, повторил Васька.

— Эх, ты! — неожиданно вставая, крикнула возбужденная своим же рассказом Нюрка.— Эх, вы...— Она отбросила Васькину руку, добралась до верхней двери, захлопнула ее и задвинула на запор.

Гул смолк.

Опять замолчали. И так сидели долго. До тех пор, пока Колька, который чувствовал себя виноватым и перед маленьким Васькой и перед Нюркой, не сказал:

— А ведь наверху-то больше не стреляют.

Прислушались — наверху тихо. Подождали еще минут десять — так же тихо.

— Бежим домой! — вскакивая, крикнул Колька.

— Домой, домой! — обрадовался Васька.— Вставай, Нюрка!

— Я боюсь...— захныкала Нюрка.— А вдруг опять...

— Бежим! Бежим! — в один голос закричали Колька и Васька.— Не бойся, мы как припустимся...

Выбрались наверх. После черного подвала день показался сияющим, как само солнце.

Осмотрелись.

Тяжелые деревянные щиты, что стояли не очень далеко от погреба, были разбиты.

Повсюду валялись разбросанные щепки, и чернели ямы возле еще не обсохшей раскиданной земли.

— Бежим, Нюрка! Дай я возьму твою корзину,— подбадривал ее Колька.— Мы быстренько...

Перепрыгнули через окоп, пробрались через проход среди колючей разорванной проволоки и побежали под гору.

Толстый Васька с неожиданной прытью помчался впереди, одной рукой держа корзинку, другой крепко сжимая драгоценный осколок.

Колька и Нюрка бежали рядом, и Колька свободной левой рукой помогал ей тащить большую неуклюжую корзину.

Они уже спустились со ската и бежали теперь по мелкой поросли, как воздух опять задрожал, загудел, и снаряд, пронесясь где-то поверху, разорвался далеко позади них.

Нюрка неожиданно села, как будто бы в ноги ей попал осколок.

— Бежим, Нюрка! — закричал Колька, бросая свою корзину и хватая ее за руку.— Бросай корзину! Бежим!

Артиллерийский наблюдатель с площадки вышки заметил среди мелкого кустарника три движущиеся точки.

«Вероятно, козы»,— подумал он, поднося к глазам бинокль. Но, присмотревшись, он ахнул и, схватив телефонную трубку, крикнул на батарею, чтобы перестали стрелять.

В бинокль он ясно видел, как, то показываясь, то исчезая за кустами, по полю мчались двое мальчуганов и одна девочка.

Один мальчуган крепко держал за руку девочку. Другой, путаясь ногами в высокой траве и спотыкаясь, бежал немного позади, крепко прижимая что-то обеими руками к груди. Затем он увидел, как из-за кустов выскочили двое посланных с батареи кавалеристов и, остановившись около ребят, соскочили с коней.

Конвоируемые двумя красноармейцами, ребята дошли до батареи. Командир был рассержен тем, что пришлось остановить учебную стрельбу, но когда он увидел, что виноваты в этом трое перепуганных и плачущих малышей, он не стал сердиться и подозвал их к себе.

— Как они пробрались через оцепление? — спросил он.

Ребята молчали. И за них ответил один из конвоиров:

— А они, товарищ командир, забрались еще спозаранку, до того, как было выставлено оцепление. А потом, когда наши разъезды кусты осматривали, так они говорят, что в погребе сидели. Я думаю, что они в четвертом блиндаже прятались. Они как раз с той стороны бежали.

— В четвертом блиндаже? — переспросил командир. И, подойдя к Нюрке, погладил ее.— В четвертом блиндаже!— повторил он, обращаясь к своему помощнику.— А мы-то как раз этот участок обстреливали. Бедные ребята!

Он провел рукой по разлохматившейся голове Нюрки и спросил ласково:

— Скажи, девочка, а зачем вы туда забрались?

— А мы деревеньку...— тихо ответила Нюрка.

— Мы хотели деревеньку посмотреть,— добавил Колька.

— Мы думали — она настоящая, а там одни доски! — вставил Васька, ободренный добрым видом командира.

Тут командир и красноармейцы заулыбались. Командир посмотрел на Ваську, который прятал что-то за спину.

— А что это у тебя в руках, мальчуган?

Васька засопел, покраснел и молча протянул командиру снарядный осколок.

— Это он не взял, это он под кустом нашел,— заступился за Ваську Колька.

— Это я под кустом,— виновато ответил Васька.

— Да зачем он тебе нужен?

Тут командир опять заулыбался, а обступившие их красноармейцы громко рассмеялись. И Васька, который никак не мог понять, над чем они смеются, ответил им нахмурившись:

— Так ведь этакого осколка ни у кого нет, а у меня теперь есть.

— Ну, бегите,— сказал им командир.— Эх вы, малыши!

Он повернулся, посмотрел в записную книжку и закричал уже совсем другим голосом — громким и строгим:

— Стрелять третьему орудию! Прицел 6-6, трубка 6-2!

Трах-бабах! — грохнуло позади ребят, когда вприпрыжку, довольные тем, что легко отделались, понеслись они домой. Трах-бабах... Но это уже было не страшно.

В выходной день приехал с отцом Исайка. Привез он с собой ружье, которое стреляло пробками, и стал хвалиться ружьем перед Васькой. И странное дело: на этот раз Ваське нисколько не завидно было, что у Исайки есть ружье, а у него нет.

Пока Колька и Нюрка рассматривали и хвалили Исайкино ружье, Васька пошел домой, отодвинул ящик, в котором лежали сломанный ножик, мячики — один с дыркой, большой, другой без дырки, маленький,— молоток, гайки, три гвоздя и еще кое-что из его имущества. Он вынул из этого ящика бережно завернутый осколок и понес его Исайке.

— А у меня вот что есть, Исайка,— сказал он, подавая осколок.

Но Исайка то ли глуп был, то ли не хотел показать вида, только он равнодушно посмотрел на осколок и сказал Ваське:

— Ну, это-то что! У нас в чулане старых железин сколько хочешь.

Васька даже не обиделся. Он посмотрел на Нюрку, на Кольку; они хитро улыбались друг другу и вчетвером побежали на окраину, где начиналось военное поле.

Артиллеристы в тот день не приезжали. Ребята показали Исайке, где становятся пушки, объяснили ему, для чего среди поля стоят деревянные башенки. Рассказали ему, какая странная раскинулась на горе деревенька, около которой и окопы и каменный, с железным потолком погреб, который называется «блиндаж». Они рассказали ему, как попали в блиндаж и как сидели там до тех пор, пока не окончилась стрельба.

Исайка слушал с любопытством, но когда они кончили рассказ, то он сказал довольно равнодушно:

— Жалко, что меня с вами не было. А то я бы тоже полез сидеть. Пойдемте сыграем в чижа.

И опять улыбнулись Васька, Колька и Нюрка.

Глупый, глупый Исайка! Он думает, что в блиндаже сидеть так же просто, как играть в чижа.

Он не слышал еще ни разу орудийного залпа. Он не видел ни дыма, ни огня взрывающегося снаряда. Ему не приходилось закрывать тяжелую дверь блиндажа, как Кольке и Нюрке, и не приходилось бежать с тяжелым осколком в руках по изрытому воронками полю, как Ваське.

И, переглянувшись, Васька, Колька и Нюрка рассмеялись над добрым толстым Исайкой весело и снисходительно, как взрослые люди смеются над ребенком.

А когда Исайка поднял на них свои глаза, удивленные и обиженные этим непонятным смехом, то они схватили его за руки и потащили играть в чижа.

1931

ПУСТЬ СВЕТИТ

Отец запаздывал, и за стол к ужину сели трое: босой парень Ефимка, его маленькая сестренка Валька и семилетний братишка по прозванию Николашка-баловашка. Только что мать пошла доставать кашу, как внезапно погас свет.

Мать из-за перегородки закричала:

— Кто балуется? Это ты, Николашка? Смотри, идоленок, добалуешься!

Николашка обиделся и сердито ответил:

— Сама не видит, а сама говорит. Это не я потушил, а, наверное, пробки перегорели.

Тогда мать приказала:

— Пойди, Ефимка, притащи из сеней лестницу. Да поставь сначала сахарницу на полку, а то эти граждане в темноте разом сахар захапают.

Вышел Ефим в сени, смотрит: что за беда? И на улице темно, и на станции темно, и кругом темно. А тут еще небо в черных тучах и луна пропала.

Забежал Ефим в комнату и сказал:

— Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверное, что-нибудь на заводе случилось.

Мать пошла в чулан за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог нашел, а правый никак.

— Наверное, это вы опять куда-нибудь задевали? — спросил он у притихших ребятишек.

— Это Валька задевала, — сознался Николашка. — Она стащила сапог за печку, воткнула в него веник и говорит, что это будет сад.

— Ефимка, а Ефимка,— тревожным шепотом спросил Николашка,— что это такое на улице жужжает?

— Я вот вам пожужукаю,— ответил Ефимка. И, выкинув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатила ему в сапог целую кружку колодезной воды.— Я вот ей хворостиной пожужукаю!

Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение.

Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью.

— Ты куда? — вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами.

— Пусти, мама! — Ефимка рванулся и выбежал на крыльцо.

Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору — в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод.

В сенях что-то стукнуло. Кто-то впотьмах шарил рукой по двери.

— Кто там? — спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.

— Не спишь, Маша? — послышался дребезжащий старческий голос.

И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна.

— Какой тут сон,— быстро заговорила обрадованная мать.— И свету нет, и аэроплан гудит, и самого нет. А тут еще Ефимка так и рванулся из рук, как будто бы его кипятком ошпарили.

— Комсомольцы,— с грустью проговорила бабка.

Слышно было, как отодвинула она табуретку и положила руку на клеенчатый стол.

— Вот так и у меня Верка, как потух свет да услыхала она, что гудит, кинулась сразу к двери. Я ей говорю: «Куды ты, дура?.. Ну мужики, ну парнишки... А ты ведь еще девчонка... Шестнадцать годов». А она

постояла, подумала. «Бабуня, говорит, не сердись. Это белый аэроплан. Это тревога. У нас сбор... У меня там товарищи». Схватила в сенях с гвоздя сумку да, как кошка, прыгнула. Вот, Маша! Только я ее и видела.

— Сумку-то какую взяла? — спросила мать.

— А бог ее знает! Недавно притащила, сначала в комнате повесила. Да я сказала: «Убери, Верка, в сени, а то вся квартира карболкой пропахнет».

— Это военно-санитарная сумка,— вставил Николашка.— Это когда пробьет человека пулей или рванет его бомбой, вот тогда из этой сумки достают и завязывают. Я уже все узнал.

— Ты да не узнаешь! — вздохнула мать и, услышав, как загромыхал он табуреткой, спросила: — Ну и куда ты, Николашка, лезешь? Ну и что тебе не сидится? Только Валька задремала, а он — грох... грох...

— Мама,— отодвигаясь от подоконника, уже тише спросил Николашка,— а что это такое далеко бубухает: бубух да бубух?

— Где, паршивец, бубухает? — тихо переспросила вздрогнувшая мать.

И от этих глупых Николашкиных слов руки ее ослабли, а маленькая спящая Валька показалась ей тяжелой, как большой камень.

Она подвинулась к окошку. И точно, как порывы шального ветра, как отголоски уже недалекой грозы, что-то вздрагивало, затихало, но это был не ветер и не гроза, это глухо и часто бабахали боевые орудия.

Чем ближе подбегал Ефим к заводу, тем чаще и чаще попадались ему торопящиеся люди, хлопали калитки, громыхали ворота и тарахтели телеги. Поднимаясь в гору, он нагнал комсомолку Верку.

— Бежим скорее, Верка. Ты не знаешь, где это бабахают?

— Погоди, Ефим! Подержи-ка сумку. Я чулок поправлю. Я уже спать собралась, вдруг — гудит. Насилу от бабки вырвалась.

— Что чулок,— ответил Ефим, забирая пахнувшую лекарствами сумку.— Что чулок! У меня и вовсе один сапог на босу ногу. Скорей бежим, Верка.

У поворота они столкнулись с двумя. Один был

незнакомый, длинный, с винтовкой, другой — без винтовки, с наганом.

И тот, который с наганом, был член ревкома Семен Собакин.

— Стойте,— приказал Собакин.—Вы куда? На сбор? Там пока и без вас обойдутся. Бегите скорее на перекресток Малаховской дороги. Сейчас пойдут подводы для беженцев. Сидите, дежурьте и считайте. Пятнадцать подвод сразу на Верхние бугры, и пусть ждут у школы. Десять — по Спасской в самый конец. А все остальные к ревкому.

— Дай винтовку, Собакин,— попросил Ефим.— Раз я дежурный, то давай винтовку.

— Дай ему, Степа,— обернулся Собакин к своему длинному сутулому товарищу.

— Не дам,— удивленно и спокойно ответил товарищ.— Вот еще мода!

— Дай, а я на сборе сейчас же скажу, чтобы тебе другую выдали.

— Не дам! — уже сердито ответил товарищ.— Другая то ли еще будет, то ли нет. А эта на месте.— И, хлопнув ладонью по прикладу, он ловко закинул винтовку через плечо.

— Ну, хоть штык дай, — рассердился торопящийся Собакин.

— Это дам,— согласился товарищ.

И, сняв с пояса, он протянул Ефиму тяжелый немецкий штык в блестящих ободранных ножнах.

— Как бритва,— добродушно сказал он нахмурившемуся Ефиму.— Сам своими руками целый час точил.

Они добежали до перекрестка темной и пустой дороги.

— Сядем под кустом,— тихо сказал Ефим.— Заодно я в сапог травы натолкаю, а то как бы и вовсе не сбить ногу без портянки.

Свернули и сели. Ефим сдернул сапог и, ощупав рукою траву, спросил:

— А что, Верка, нет ли у тебя в сумке широкого бинта или марли? Тут не трава, а кругом сухая полынь.

— Вот еще, Ефимка! И бинт есть и марля есть, только я не дам: это для раненых, а не на твои портянки.

— Пожалела, дуреха,— рассердился Ефим и, осторожно ступая, пошел в кусты.

Он ожег руку о крапиву. Наколол пятку колючкой. Наконец, нащупав большой лопух, он сел на землю и стал завертывать босую ногу в широкие пыльные листья.

Он обул сапог и задумался. Еще только позавчера он спокойно шел по этой дороге. Вот так же булькал ручей. Вот так же тихо насвистывала пичужка. Но не грохали тогда орудия. Не полыхало на черном небе зарево и не гудел издалека тяжелый церковный колокол: доон!.. доон!..

— Казаки,— пробормотал он, вспомнив клубные плакаты,— белые казаки.

И вдруг, как будто бы только сейчас впервые за весь вечер, он по-настоящему понял, что это уже не те безвредные намалеванные казаки, что были приляпаны вместе с плакатами на стенах ревкома и в клубе, а что это мчатся живые казаки на быстрых конях, с тяжелыми шашками и с плетеными нагайками.

Он вскочил и пошел к Верке.

— Верка,— сказал он, крепко сжимая ее руку,— ты что? Ты не бойся. Скоро пойдем на сбор, там все наши.

— Дай ножик, Ефимка. Почему ты так долго?

— На, возьми,— и Ефим протянул ей холодный маслянистый клинок немецкого штыка.

В темноте что-то хрустнуло и разорвалось.

— Бери, — сказала Верка.— Завернешь ногу, лучше будет. Слышишь, стучит? Это, кажется, наши подводы едут.

— Вот глупая! — выругался Ефим, почувствовав, как вместе с клинком она сунула ему в руку что-то теплое и мягкое.— Вот дура. И зачем ты, Верка, свой шерстяной платок разрезала?

— Бери, бери. На что он мне такой длинный? А то собьешь ногу... Нам же хуже будет.

Пятнадцать подвод пошли на Верхние бугры. Десять — до конца Спасской. Но последние подводы сильно запаздывали. И только к полуночи позабытые всеми Ефим и Верка вернулись к ревкому.

Орудия гремели уже где-то совсем неподалеку. Вблизи загорелась старая деревня Щуповка. Свет опять погас. Захлопывались ставни, запирались ворота, и улицы быстро пустели.

— Вы что тут шатаетесь? — закричал появившийся откуда-то Собакин.

— Собакин! Чтоб ты сдох! — со злобой крикнул побелевший Ефимка.— Кто шатается? Где отряд? Где комсомольцы?

— Погоди,— переводя дух, ответил узнавший их Собакин.— Отряд уже ушел. Вы с подводами? Берите две подводы и катайте скорее на Песочный проулок. Там остались женщины и ребята. Сейчас Соломон Самойлов прибегал. Все уехали, а они остались. Оттуда приезжайте прямо к новому мосту. За мостом сбор. Дальше — на Кожуховку. А там наши.

Собакин быстро кинулся прочь и уже откуда-то из темноты крикнул Ефиму:

— Смотри... ты... боевой! Вы отвечать будете, если беженцы с проулка не попадут на место.

— Верка,— пробормотал Ефим,— а ведь это наши остались. Это Самойловы, Васильевы, мать с ребятами, твоя бабка.

— Бабке что? Она старая, ей ничего,— шепотом ответила Верка.— А Самойловым плохо: они евреи.

Крепко схватившись за руки, они побежали туда, где только что оставили две подводы. Но сколько они ни бегали, сколько ни кричали, подводчик как провалился.

— Едем сами,— решил Ефим.— Прыгай, Верка. А ждать больше некогда.

На повороте они чуть не сшибли женщину. В одной руке женщина тащила узел, другою держала ребенка, а позади нее, всхлипывая, бежали еще двое.

— Ты куда, Евдокия? Это за вами подвода! — крикнул Ефим.— Стой здесь и никуда не беги. А мы сейчас воротимся.

Еще не доезжая до дома, он услышал крики, плач и ругань.

— Соломон, где ты провалился? — закричала старая бабка Самойлиха. И с необычайной для ее хромой ноги прытью она вцепилась в Ефимкину телегу.

— Это я, а не Соломон,— ответил Ефим.— Тащите скорее ребят и садитесь.

— Ой, Ефимка!— закричала обрадованная мать.

И тотчас же бросилась накладывать на телегу мешки, посуду, корзинки, ребят, подушки, все в одну кучу.

— Мама, не наваливайте много,— предупредил Ефим.— На дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Соломон где?— уже в десятый раз спрашивала Самойлиха.— Он побежал лошадей доставать. Куда же без Соломона?

— Не видел я Соломона. Это мои подводы,— ответил Ефим, и, забежав во двор, он отвязал с цепи собачонку Шурашку.

Вернувшись к первой подводе, он увидел, что мать взваливает ножную швейную машину.

— Мама, оставьте машину,— попросил Ефим.— Где же место? Ведь у меня на дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Что, Евдокия?.. Я вот тебе оставлю!— угрожающе и тяжело дыша, ответила мать.— Я тебе, дьяволу, покажу, как бегать...— И, кроме машины, она бухнула на телегу помятый медный самовар.

— Бросьте машину!— с внезапной злобой вскрикнул Ефимка. И, вскочив на телегу, одним пинком он сшиб самовар, потом рванул за край машину и сбросил ее на дорогу.

— Верка!— крикнул он, отталкивая оцепеневшую мать.— Бери вожжи. Сейчас трогаем.

Трах-та-бабах...— грохнуло где-то уже совсем неподалеку.

— Соломон,— застонала старуха Самойлиха.— Как же мы без Соломона?

— Некогда Соломона... Найдется... Не маленький... Верка, поехали.

Трах-та-бабах!..— грохнуло где-то еще ближе.

Быстро захватив на перекрестке Евдокию Васильеву с ребятишками, Ефим с силою ударил вожжами. И тогда обе телеги, гремящие чайниками, корзинами, кастрюлями, жестянками, рванулись вперед по пыльной опустевшей дороге.

Трах-та-бабах...— ударило еще три раза подряд.

Ошалелые кони шарахнулись в сторону. Собачонка Шурашка метнулась в проулок. А Ефимка рванул впра-

во, потому что возле нового моста уже загорелась разбитая снарядами ветхая извозчичья халупа.

У противоположной окраины поселка кое-как они перебрались через старый, прогнивший мостик... Когда они очутились на другом берегу, мать замолчала, бабка заплакала, Евдокия перекрестилась, а Ефимка сразу же круто свернул в лес.

Дорога попалась узкая и кривая. Близилось утро, но в лесу было еще так темно, что только по стуку колес Ефимка угадывал, что вторая подвода идет следом.

Ефим подстегнул коня, и телеги выкатили на просторную светлеющую опушку.

И тут Ефим понял, где они.

Кожуховка-то, в которую собирались отряды и беженцы, была где-то далеко, влево за лесами, а впереди совсем близко дымило трубами уже проснувшееся село Кабакино. Но, угадав, куда они выехали, Ефим вовсе не обрадовался. Он попридержал коня и задумался.

— Кабакино,— тихо сказал он Верке, показывая рукою на окутанное туманами серое и угрюмое село.

— Что ты? — испуганно переспросила Верка.

— Оно самое. Видишь, колокольня с золоченым крестом. Это ихняя, другой нет.

— Куда, господи, занесло! — в страхе сказала мать.— Что же мы теперь делать будем, Ефимка?

— А я почем знаю,— сердито ответил Ефимка, очищая кнутом замазанные дегтем сапоги.— То ругаться, а теперь — что, что? Подержи-ка вожжи, Верка.

Он спрыгнул и пошел к опушке. У опушки остановился и стал присматриваться: нет ли другой дороги, чтобы миновать стороною это опасное село.

Это было село богатых садоводов, то самое знаменитое Кабакино, в котором полгода тому назад погиб весь первый взвод Тамбовского продотряда и возле которого только две недели тому назад разбили бомбами легковую машину губпродкома. И теперь, когда кругом шныряли прорвавшиеся через фронт казаки, чего хорошего могли ожидать беженцы на этом незнакомом пути.

Но влево никакой дороги не было.

И вдруг Ефимка увидел, как со стороны Кабакина выезжают навстречу три подводы, а сбоку подвод гарцует на конях кучка черных всадников.

Тогда, отскочив назад и низко пригибаясь, как будто бы кто-то ударил его палкой по животу, Ефимка помчался к подводам.

Он схватил за узду и круто заворотил телегу.

— Гони, Верка! Да замолчите, чтобы вы сдохли! — крикнул он, услыхав, как дружно заорали разбуженные рывками и толчками ребята.

И, подскакивая на выбоинах и ухабах, обе подводы покатили назад. Так катили они долго. Ефимка молча нахлестывал измотавшегося коня и оборачивался по сторонам, отыскивая, куда бы свернуть с дороги.

Наконец он заметил маленькую тропку.

Задевая за пни и корни, подводы тихо подвигались по узенькой кривой тропинке. Иногда деревья склонялись так низко, что дуги лошадей с шорохом цеплялись за спутанные ветви.

Давно уже и далеко позади простучали и стихли колеса кабакинских подводчиков, но беженцы шаг за шагом всё глубже и глубже забирались в чащу леса.

Наконец ветви раздвинулись. Сверкнуло солнце. И подводы тихо въехали на маленькую круглую поляну.

Здесь тропка оканчивалась. Здесь нужно было остановиться, отдохнуть и подумать, что же делать дальше.

Остановились и стали разбираться.

— Доехали, Верка,— невесело сказал Ефим, бросая вожжи и устало подсаживаясь на сухое трухлявое бревно.

Они молча посмотрели друг на друга.

Лицо Ефимки горело и было в красных пятнах, как будто бы он только недавно упал головой в крапиву. Рубаха — в пыли, сапоги — в грязи. И только ободранные ножны штыка у пояса сверкали на солнце, как настоящие серебряные.

В черных косматых волосах Верки запутались сухие травинки и серо-красная голова репейника. От шеи к плечу тянулась яркая, как после удара хлыстом, полоска. А смятое ситцевое платье было разодрано от бедра до колена.

Верка взяла ведро и пошла за водой. Ходила она долго, но хорошей воды не нашла и принесла из болота. Вода была прозрачная, но теплая и пахла гнилушками. Пришлось разводить костер и кипятить. Ефим распряг коней и повел поить.

— Где вода? — спросил Ефим у Верки, которая, укрывшись мешком, сидела и гадала, как бы зачинить разлохмаченное платье.

— Пойдем, я сама покажу... Все равно скоро не зачинишь,— сказала она, показывая на схваченные булавками лохмотья.— Посмотри-ка, Ефимка, что это у меня на шее?

— Ссадина,— ответил Ефим.— Здоровенная. Ты крепко зашиблась, Верка?

— Плечо ноет да колено содрано. А тебе меня жалко, что ли?

— Ладно еще, что вовсе голову не свернуло,— огрызнулся Ефим.— Я ей говорю: «Бежим скорее!» А она: «Погоди... чулок поправлю». Вот тебе и нарвалась на Собакина. Ребята в отряде. Все вместе... кучей. А ты теперь возись, как старая баба, с ребятами.

— Ефимка! — помолчав, сказала Верка.— А ведь белые казаки бьют всех евреев начисто.

— Не всех. Какой-нибудь банкир... Зачем им его бить, когда они сами с ним заодно. Ты бы лучше книжки читала, чем по вечеринкам шататься. А то иду я, сидит она, как принцесса, да семечки пощелкивает. А возле нее Ванька Баландин на балалайке... Трындибрынди...

— У Самойловых отец не банкир, а кочегар,— покраснела Верка.— У Евдокии Степан в пулеметчиках, взводный, что ли! Да и Вальку с Николашкой тоже было бы жалко. А ты заладил... Собакин... Собакин...

— Почему «тоже бы»? — обозлился догадавшийся Ефим. И, чтобы обидеть ее, он с издевкой напомнил: — Как на собрании, так она дура дурой, а тут: «тоже бы». Ее спрашивают, кто такой Фридрих Энгельс. А она думала, думала, да и ляпнула: «Это, говорит, какой-то народный комиссар...»

— Забыла,— незлобиво созналась Верка.— Я его тогда с Луначарским спутала.

— Как же можно с Луначарским? — опешил Ефим-

ка.— То Фридрих Энгельс, а то Луначарский. То в Германии, а то в России. То жив, а то умер.

— Забыла,— упрямо повторила Верка.— Я мало училась.— И, помолчав, она хмуро сказала: — А что нам с тобой ссориться, Ефимка? Ведь ото всех наших мы с тобой только одни остались.

Вскоре заполыхал костер, зашумел чайник, забурлила картошка, зафыркала каша, и все пошло дружно и споро.

А когда разостлали брезент на траве и, голодные и усталые, сели обедать всем табором, показалось, что среди этой звонкой лесной тишины забыли всё,— и о своей неожиданной беде и о своих тяжелых думах.

Но как ни забывай, а беда висела не пустяковая: куда идти, как выбираться?

И когда после обеда маленькие ребятишки завалились спать, собрались вокруг Ефимки и ворчливая бабка, и тихая Евдокия, и глубоко оскорбленная Ефимкой мать...

И так прикидывали и так думали... Наконец решили, что пока все останутся на месте, а Ефимка пойдет через лес разведывать дорогу.

Идти никуда Ефимке не хотелось, а крепко хотелось ему спать. Но он поднялся и подозвал Николашку, который тихонько подслушивал, о чем говорят старшие.

— Возьми, Николай,— отстегивая штык, сказал Ефимка,— повесь его на пояс. И будешь ты вместо меня комендантом.

— Зачем? — спросила мать.— На что такое баловство? Еще зарежется. Дай, Николашка, я спрячу.

Но, крепко сжав штык, Николашка отлетел чуть ли не на другой конец поляны, и мать только махнула рукой.

— Спрячь, Верка,— позевывая, сказал Ефим, подавая ей клеенчатый бумажник, из которого высовывался рыжий комсомольский билет.

— Зачем это? — не поняла мать. И вдруг, догадавшись, она нахмурилась и сказала, не глядя Ефимке в глаза: — Ты, Ефимка, того... Поосторожней...

— Как бы ночевать не пришлось,— дотрагиваясь до почерневших жердей, сказал Ефим.— Наруби-ка ты,

Верка, с комендантом веток да зачините у шалаша крышу. А то ударит гроза, куда ребятишек денем!

Переобув сапоги, он подошел к телегам, похлопал каурого конька по шее, взял с воза ременный кнут и, посмотрев на солнышко, пошел, не оборачиваясь, в лесную гущу.

— Как бы грозы не было,— сказала Евдокия, поглядывая на небо,— ишь, как тучи воротит.

Верка одернула наспех зашитое платье и, вспомнив Ефимкино приказание, крикнула Николашке, чтобы он бежал к ней со штыком рубить ветки и чинить худой шалаш.

На кусты налетели целой ватагой: Николашка, Абрамка, Степка. Вскоре навалили целую гору. Закидали дыры, натащили внутрь большие охапки пахучей травы, занавесили ход. И, еще не дожидаясь наступления грозы, ребятишки один за другим дружно полезли в шалаш.

Небо почернело. Кони настороженно зашевелили ушами. На притихшую зеленую полянку опускались тревожные сумерки.

Лежа у костра и изредка поправляя горячие картофелины, Верка вдруг подумала: «А что же будет, если белые ударят так сильно, что не справится с ними и погибнет вся Красная Армия? Какая тогда будет жизнь?»

Костер совсем погас, угли подернулись пеплом, и только одна головешка, черная и корявая, тихонько потрескивая, чадила едким и синеватым дымком.

И тут же, кто его знает почему, Верка вспомнила, как давно однажды пришел ее отец веселый, потому что был праздник,— или родился, или женился какой-то царь. И отец сказал, что на радостях дяде Алексею назначили досиживать в тюрьме не полтора года, как оставалось, а всего только восемь месяцев.

Все обрадовались, а Верка всех больше. Потому что раньше, когда дядя Алексей еще не сидел в тюрьме, он часто приходил в гости и дарил Верке или копейку, или пряник. А однажды на именины он подарил ей голубую блестящую ленту, такую невиданно красивую, что перепуганная от радости Верка, схватив подарок, как кошка умчалась на чердак и не слезала до тех пор, пока мать не прогнала ее оттуда веником.

«Нет, не может быть, чтобы разбили...» — подумала она. И опять вспомнила, как однажды, уже после смерти отца, мать взяла ее с собой в один дом на кухню.

Когда мать стирала белье, дверь тихонько отворилась, и, лениво позевывая, на кухню вошла огромная и гордая собака. Она подошла к углу, где стояла широкая тяжелая миска, сняла зубами крышку и достала большой кусок сочного вареного мяса. Широко вылупив глаза и боясь пошевельнуться, Верка смотрела на то, как спокойно, почти равнодушно съела собака этот кусок. потом сама накрыла миску крышкой и, не глядя ни на кого, так же лениво и гордо ушла в глубину тяжелых прохладных комнат.

«Нет, не погибнет! — опять успокоила себя Верка.— Разве же можно, чтобы погибла?»

Дым от головешки попал ей в лицо. Верка сощурилась, протирая глаза кулаком, и перед нею всплыло беззлобное лицо тихой побирушки Маремьяны, муж которой, стекловар, умер от ожога на заводе. Эта побирушка ходила под окнами и робко просила милостыню, но когда добиралась она до крыльца Григория Бабыкина, который был хозяином стекольного завода, то, крестясь и страшно ругаясь, грозно стучала палкой в тяжелые ворота.

И тогда Григорий Бабыкин высылал дворника Ермилу. А дворник Ермила, тихонько подталкивая побирушку, бормотал хмуро и виновато: «Уходи, Маремьяна. Мне что... Я человек наятой. Уходи от греха. Видно, уж бог вас рассудит».

— Разве же можно, чтобы погибла? — убежденно повторила Верка и сердито хлопнула по голому плечу, в которое больно кололи черные невидимые комары.

— Что одна? Посидим вместе, — раздался за ее спиной знакомый голос.

— Ефимка... Дурак! — вскрикнула испуганная Верка.

И, не зная, что сказать от радости, она схватила его за плечи, потом выхватила из-под пепла костра две горячие картофелины и, перекатывая их на ладонях, протянула ему:

— Садись. Ешь. Это я для тебя испекла. Я-то жду, жду, а тебя нет и нет.

— И то дело,— устало опускаясь на траву, согласился Ефимка.— Есть хочу, как собака.

Заслышав голоса, вылезла мать, за нею Евдокия, и даже бабка Самойлиха, которая никак не могла уложить Розку, высунула из шалаша седую голову.

Но в том, что рассказал Ефимка, хорошего было мало: от встретившегося старика пастуха он узнал, что — один с утра, другой к полудню — проскакали по дороге два казачьих разъезда, что впереди, в Кабакине, бушует белая банда.

Значит, оставалось только одно: бросить телеги, навьючить коней и двигаться к Кожухову через леса, через овраги пешком.

Все замолчали.

— Ефим,— предложила мать,— а что, если попробовать выбраться по-другому?

— Как еще по-другому? — удивился Ефимка.

— А так. У нас на лбу не написано, что мы беженцы. Мало ли кто. Ну, из голодающей губернии... ну, погорельцы. Женщины да ребята. Кто нас тронет?

— Нельзя,— насторожилась Верка.— Самойловы евреи. А белые бьют их начисто.

— Ну, так давайте тогда разделимся,— рассердилась мать,— и пусть каждый идет сам по себе. Если мы целым табором, так нас каждый заметит, а по отдельности куда как легче будет.

— Так нельзя,— опять перебила Верка и с удивлением посмотрела на молчавшего Ефимку.

— Тебя не спрашивают,— оборвала ее мать.— А двадцать верст с ребятишками по оврагам, болотам да лесом — это разве можно? Ты думаешь, мне добра жалко? Мне не жалко, бог с ним. Можно одну телегу Евдокии отдать, другую Самойлихе. А мы и так потихоньку доберемся. Где я Вальку поднесу, а где ты, Ефимка, поможешь.

Ефимка молчал, но он видел, как сбоку все больше и больше высовывается седая трясущаяся голова Самойлихи и как яростно укачивает Самойлиха плачущую Розку, стараясь не пропустить ни слова.

— Дура ты! — вполголоса сказал Ефимка и поднялся от костра.

— Это кто дура? — переспросила притихшая мать.

— Ты дура. Вот кто! — злобно выкрикнул Ефимка и, ударив кулаком любопытного каурого конька, плюнул и пошел к телегам.

— Что ты, Ефимка? — спросила Верка, подходя к нему в то время, когда он стаскивал с телеги брезентовое полотнище.

— Ничего. Спать надо,— коротко ответил Ефимка.— Укрываться чем будем?

Когда Верка притащила широкую жесткую дерюгу, Ефимка, сидя на разостланном брезенте, перематывал портянки.

— Чтоб он пропал, этот Собакин! — опять выругался Ефимка и озабоченно спросил: — Розка-то чего орет? Только еще не хватало, чтоб заболела.

Легли рядом, укрылись дерюгой и замолчали.

Черные тучи, которые так беспросветно обложили вечером горизонт, тяжело и упрямо двигались на запад, обнажая холодное, блистающее звездами небо.

И вдруг среди великого множества Верка узнала одну знакомую звезду. Верка повернулась на спину, чтобы получше рассмотреть, не ошиблась ли. Нет, ошибки не было. Так же, крючком, стояли три звезды справа, четыре слева. Сверху не то змейка, не то блестящий птичий клюв, а посредине сияла спокойная, светлая, голубая — та самая, которую видела однажды Верка из окна, когда лежала она на жесткой койке тифозного барака.

— Ефимка,— с любопытством сказала, повернувшись на бок, Верка,— а какой, по-твоему, будет социализм? Ну вот, например, то так люди жили, а то будут как?

— Еще что!— сонным голосом отозвался Ефимка.— Как будут? Да очень просто.

— Ну, а все-таки. Как просто? То, например, работаешь, работаешь, пришла получка — получил, потом истратил, потом опять работаешь, потом воскресенье. Пошел гулять, или пить, или в гости, потом опять работаешь, потом опять воскресенье. Или, скажем, мужик... Смолотил он пшеницу, свез в город, купил корову, потом корова сдохла. Вот он опять посеял... У одного уродилась, он еще корову купил. А у другого или не уродилась, или градом побило...

— Почему же это сдохла? — удивился и не понял Ефимка.— Ты бы лучше книжки читала. А то: не уродилась... сдохла... Мелешь, а что, сама не знаешь.

— Ну, пускай не сдохла,— упрямо продолжала Верка.— Все равно. Я, Ефимка, книжки читала. И программу

коммунистов. Самое-то главное я поняла. А вот как по-настоящему все будет — этого я еще не поняла. Ну, скажем, один рабочий хорошо работает, другой плохо. Так неужели же им всего будет поровну?

— Спи, Верка,— почти жалобно попросил Ефимка.— Что я тебе, докладчик, что ли? Нам вставать чуть свет. Тут еще казаки... война. А она вон про что.

— Интересно же все-таки, Ефимка,— разочарованно ответила Верка и, дернув за край дерюги, обидчиво спросила:— Что же это ты, Ефимка, на себя всю дерюгу стащил? У тебя ноги в сапогах, а у меня совсем голые.

— Вот еще! Чтоб ты пропала!— заворчал Ефимка. И, сунув ей конец дерюги, он отвернулся и сердито закрыл лицо фуражкой.

Проснулся Ефимка оттого, что кто-то тихонько поправил ему изголовье.

Открыл глаза и узнал мать.

— Ты что? — добродушно спросил он.

— Ничего,— позевывая, ответила мать и села рядом.— Так что-то не спится. Лежу, думаю. И так думаю и этак думаю. А что придумаешь? Тошно мне, Ефимка!

— Хорошего мало!— согласился Ефимка.— Всем плохо. А мне, думаешь, весело?

— Тебе что!— с горечью продолжала мать.— Что ты, что она — ваше дело десятое. Ей пятнадцать, тебе шестнадцать. А мне сорок седьмой пошел. Вот сплю, проснулась — смотрю... что такое? Кругом лес... шалаш. Ни дома, ни Семена. Ребятишки в траве, как кутята, приткнулись. Вышла — гляжу, ты валяешься под дерюгой. Господи, думаю, зачем же это я тридцать лет крутилась, вертелась... Все старалась, чтобы как у людей, как лучше. И вдруг что же... Погас свет. Зажужжало, загрохало. И не успела я опомниться, как на, возьми... шалаш, лес. И как будто бы все эти тридцать лет так разом впустую и ухнули.

Мать замолчала.

— Сапоги-то отцовские утром переодень,— равнодушно предложила она.— Сапоги новые, малы ему. Всё на муку променять хотел. Теперь все равно бросать, а тебе как раз впору.

— Это хорошо, что сапоги,— обрадовался Ефимка.— Да ты, мама, не охай. Вот погоди, отгрохает война — и заживем мы тогда по-новому. Тогда такие дома по-

строят огромные... в сорок этажей. Тут тебе и столовая, и прачечная, и магазин, и все, что хочешь,— живи да работай. Почему ие веришь? Возьмем да и построим. И над сорок первым этажом поставим каменную башню, красиую звезду и большущий прожектор... Пусть светит!

— А куда ои светить будет?— с любопытством, высовывая из-под дерюги голову, спросила Верка.

— Ну, куда?— смутился застигиутый врасплох Ефимка.— Ну, никуда. А что ему не светить? Тебе жалко, что ли?

— Не жалко,— созналась Верка.— Я и сама люблю, когда светло. Пусть светит!

Верка хотела было уже поподробней выспросить Ефимку, как будет и что, но тут ей показалось, что Ефимкиia мать тихоиько плачет. Тогда она суиула голову под дерюгу и замолчала. Догадавшись, о чем мать собирается говорить, притворился соиным, замолчал и Ефимка.

Мать посидела, вздохнула, встала и ушла в палатку.

— Это оиа иа меня за Самойлиху обиделась,— вполголоса объясиил Ефим и, закрывая голову, угрожающе предупредил:— А если ты, Верка, опять со миой начиешь разговаривать, то я спихиу тебя с брезеита, и спи тогда, где хочешь.

Утром, разбирая и скидывая иеиужиый скарб, старуха Самойлиха иашла в телеге под соломой ободраииую трехлинейиую виитовку.

Как она сюда попала, этого никто ие зиал.

И обрадоваиный Ефим решил, что винтовку забыл потерявшийся подводчик.

Все домашнее барахло — мешки, узлы, зимиюю одежду — стащили в гущу орешника, закрыли брезентом, закидали хворостом на тот случай, если приведет судьба вернуться.

На каурого коиька сложили одеяла, сумки с остатками провизии, котелок, ведро и чайник. К боку тощей коняки ухитрились приспособить стареиькую плетеную корзину. Сунули в иее подушку и посадили двоих несмышленых малышей.

— Сейчас трогаем,— сказал Ефим, закидывая винтовку за плечо.— А где Верка?

— Здесь, здесь! Никуда не делась,— откликиулась Верка, выбегая из-за куста.

Взамен вчерашнего рваного платья на ней была короткая юбка клешем и синяя блузка-матроска.

— Ишь ты, как вырядилась! Откуда это?— удивился Ефим.

— Бабка в узелок сунула. Выбрасывать, что ли?— задорно ответила Верка, на ходу пристегивая подвязки к новым чулкам.

И тут Ефимка увидел, что не только одна Верка, но и его мать и тихая Евдокия тоже были наряжены в новые башмаки и платья.

— Как к празднику,— усмехнулся Ефим и, хлопнув кнутовищем по высоким голенищам новеньких отцовских сапог, обернулся к ребятишкам и скомандовал: — А ну, кавалерия... Давай вперед!

Сначала было неплохо. Мальчишки шныряли по кустам, подбирая грибы, выламывая хлыстики и общипывая грозди ярко-красных волчьих ягод.

Но вскоре дорога ухудшилась. Попадались болотца, потом овраги, некрутые, но частые, после которых приходилось останавливаться на роздых и перевязывать кое-как приторочениые вьюки.

Уже спускались сумерки, когда усталые, измотанные беженцы очутились опять без дороги в таком густом лесу, что ни клочка неба, ни единой звездочки нельзя было разглядеть сквозь шатер шумливой листвы.

Наспех выбрали бугорок посуше. Кое-как раскидали оставшееся барахло, вздули костер, и весь табор сразу же завалился спать.

Первой проснулась Верка. Вздрагивая от холода, она пробралась к костру. Несколько крупных капель упало на ее плечи. Рванул ветер. И с тяжелыми перегудами и перекатами загремели невиданные тучи.

Сгрудили ребятишек кучею. Накрыли их брезентовым полотнищем и, укрывшись кто чем попало, спрятались под дерево сами.

Гроза стихла только к рассвету. Все перемокли, продрогли, но вокруг не оставалось ни клочка сухой травы. Чтобы хоть немного согреться на ходу, решили сейчас же двигаться дальше. Но тут явилась новая беда. Испуганная ночною грозою, сорвалась с привязи и пропала куда-то их старая кляча. Мокрый каурый конек ходил рядом, а клячи не было.

Долго рыскал Ефимка по лесу. Кидался то в одну, то в другую сторону. Свистел, прикрикивал, прислушивался — и все без толку.

Спускаясь по глинистому скату, он поскользнулся и шлепнулся в холодную липкую грязь. Молча выбрался, сел на пенек и опустил голову.

— Что, брат, попался! — тихо пробормотал Ефимка, зажмуривая красные, опухшие глаза.

— Ефимка,— сказала Верка, выбегая ему навстречу,— а тут совсем рядом дорога.

— Какая дорога, откуда?

— Не знаю. Я тоже бегала искать коня. Вдруг гляжу — дорога. На дороге чья-то убитая лошадь. В кустах телега. А под телегой двое — старик и мальчишка.

— Подожди здесь, Верка,— сказал Ефимка, когда выбрались они к дороге.

Он выглянул.

Свесив морду в придорожную канаву, валялась мокрая серая лошаденка. Тут же рядом, у телеги, на соломе сидели старик и небольшой парнишка.

Заметив человека с винтовкой, парнишка забеспокоился. Но старик, повернув голову, продолжал сидеть не двигаясь.

— Здравствуй, дедушка,— сказал Ефим, оглядываясь по сторонам и пытаясь угадать, что же это тут произошло.

— Здравствуй, коли здороваешься,— хриплым басом ответил старик.— Откуда в такую рань бог несет?

— Не здешний,— ответил Ефимка.— Ты скажи, куда эта дорога идет?

— Разно куда идет. Один конец в одну сторону, другой —в другую. Тебе куда надо?

— Мне? —и Ефим запнулся.— Мне никуда не надо. Я так спрашиваю.

— Ну, а никуда, так и гуляй по лесу. На что тебе дорога? — грубо ответил старик и, нахмурив косматые брови, прямо и безбоязненно спросил: — Это из вашей, что ли, банды мне коня ночью угробили? Я с парнишкой еду, вдруг: «Стой! Кто едет?» Потом бах, бах... Погодите, разбойники, добабахаетесь.

Старик тяжело повернулся и продолжал:

— Банда-то ваша откуда, кабакинские? Кто у вас там верховодит, Гришка Кумаков, что ли? Так и скажи

ты этому Гришке, что повесить его, подлеца, мало. Что же ты молчишь, рот раззявил? Или ты думаешь, я винтовки твоей испугался?

— Мне Гришка Кумаков не нужен,— ответил Ефимка, с уважением разглядывая этого крепкого старика.— Ты скажи лучше, как бы это мне поскорее да похитрее на Кожуховку выбраться.

— Так бы и говорил, что на Кожуховку,— помолчав, ответил старик и охотно рассказал Ефимке, куда ему надо держать путь.

Вернулся тогда Ефимка в табор, напоил каурого коня, из подушки и веревок смастерил плохонькое седлышко, приладил за плечи винтовку и сунул в карман кусок хлеба.

Молча обступили его всем табором. Теперь оставалась только одна надежда, что сумеет Ефимка пробраться в лес, переплыть через реку и доберется до Кожухова с просьбой о подмоге.

Провожала его Верка до самой дороги. Здесь они остановились.

— Ступай,— сказал Ефимка.— Коли не вернусь к ночи, попробуй пробраться сама.— Ну, иди... Чего ж ты стала, как столб!

— Ефимка,— дотрагиваясь рукою до веревочного стремени, тихо сказала Верка,— ты смотри, если с тобою что-нибудь случится, то и мне и всем нам будет тебя очень-очень жалко.

— А мне вас, дура, разве не жалко! — сердитым и дрогнувшим голосом выкрикнул Ефимка и ударил по коню каблуками.

Высунувшись из-за кустов, Верка видела, как быстро помчался он по сырой дороге. Остановился у ветхого мостика через ручей, оглянулся назад и, махнув ей рукой, круто свернул в лес.

Стало теперь как-то пусто, тихо и уныло в таборе. Никто уже не покрикивал, не поругивался, не распоряжался. Пригреваемые солнышком, уснули продрогшие за ночь ребятишки. Еле-еле разгорался сырой костер.

К вечеру опять где-то загремело, загрохотало. Потом по дороге с шумом и звоном промчалось несколько всадников.

Тогда потушили костер и собрались все в кучу.

Ждали, очень крепко ждали и надеялись они на своего хорошего и смелого парня — на Ефимку.

Свернув с дороги в лес, Ефимка вскоре очутился на той тропке, о которой рассказал ему старик. Здесь было тихо и пусто. Бойко и задорно поддавал ходу каурый конек.

Рысью промчались они мимо густых зарослей осинника. Разбрызгивая грязь, пролетели они хлюпкое болотце. Потом на горку — по сухому песку. Потом поворот... Еще поворот. Мимо ушей посвистывал теплый влажный ветер. Ефимка покрепче надвинул фуражку, поправил на скаку винтовку и улыбнулся, радуясь тому, как быстро и просто остаются позади версты.

Опять поворот, еще поворот. Вдруг что-то грохнуло, и, едва не перелетев через голову коня, Ефимка остановился.

Не дальше как в сотне шагов от него, там, где тропка перекрещивалась с дорогою, стояли три всадника. И двое из них старательно целились вверх, сбивая выстрелами изоляционные чашечки телеграфных проводов.

И не успел Ефимка опомниться, как одна пуля с визгом пронеслась мимо его головы, а другая чуть не вышибла его из седла, крепко рванув приклад перекинутой за плечи винтовки.

Тогда Ефимка пригнулся так, что едва не обхватил руками шею каурого, и опомнился только после того, как почувствовал, что каурый тихо шагает среди низкорослого болотистого леса.

Ефимка остановился. Шапки на нем не было. Кусок приклада был вырван пулей. Потрогал мокрый лоб — пальцы покраснели. Вероятно, на скаку содрал он кожу о сухую ветку. Посмотрел на солнце. Солнце висело теперь уже не слева от него, а впереди и чуть справа.

«Как же выбираться? Плутать буду»,— с тревогой подумал Ефимка.

В сырой прохладе однотонно, как нечаянно тронутая струна, звенела болотная мошкара. Далеко и грустно куковала кукушка.

...Что же ты нам клялся до зари,
Что ж ты обещался, говорил...—

опять вспомнил Ефимка немудреную песенку, которую еще так недавно пели заводские девчата, возвращаясь с комсомольской вечорки.

А теперь, поникнув бледной головой,
Ты стоишь, проклятый, сам не свой.

Все тогда пели, и Верка пела, и он подпевал тоже.

И тут Ефимка почувствовал, как крепче и крепче колотится его сердце, как горячей, ярче краснеет его лицо и как тяжелая и гордая злоба начинает давить ему пересохшее горло. Был завод, школа, дом, комсомол, песня. А теперь ничего, кроме этих усталых женщин да побледневших, измученных ребятишек, которые его ждут, на него надеются, в то время как он тут без толку месит грязь в болоте.

— Ах, собаки!.. Ах, императоры!..— незаметно для себя так же протяжно и с той же злобою повторил он, как и тот избитый бандитами мужик, который встретился недавно в лесу.

Ефим спрыгнул с коня. Плеснул болотной водою на окровавленный лоб. Подтянул седло и поправил винтовку.

Солнце опять стало слева. Славный каурый двинул рысью. И слегка сгорбившемуся Ефимке вдруг показалось, что теперь уже никто и ничто не сможет помешать ему пронестись, пробиться, прорваться к своим — в Кожуховку.

Конь вынес его на ту же тропку. Вскоре засверкало широкое поле. Вправо на бугорке виднелся хутор. Кто-то махал Ефиму шапкой и кричал, по-видимому приказывая остановиться. Вскоре трое верховых, отделившись от ограды, кинулись за ним вдогонку.

Первая пуля слабо взвизгнула где-то высоко и в стороне. Потом вторая.

«Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь!» — злорадно подумал Ефимка, заскакивая на опушку негустой рощицы. И вдруг он увидел, что рощица быстро расступается. Внизу под горкой голубеет спокойная широкая река, а за рекой, за просторными лугами раскинулось на горе село Кожухово.

Вот они — мельница, колокольня, старый барский дом над обрывом, а на высоком шпиле дома бодро колышется еле-еле заметный отсюда красный флаг.

Ти-у...— опять взвизгнула пуля, но теперь уже неподалеку.

— Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь,— гордо повторил Ефимка и вместе с конем бултыхнулся в воду.

Холодная вода залила сапоги. Еще несколько шагов, и вода подошла к седлу. Слева и справа от коня полетели брызги. Тогда, не раздумывая, Ефимка свалился в воду, ухватился за гриву, и облегченный каурый, высоко подняв морду, рванулся вплавь.

Только что успели они выскочить к кустам на берег, как вдруг каурый вздрогнул, поднялся на дыбы, упал на колени. Он попробовал встать, но не встал, а грузно повалился на бок, задергал ногами и захрипел. И тотчас же Ефимка услышал плеск воды.

— Ах, вот как! — стиснув зубы, гневно пробормотал Ефимка. И, низко пригибаясь, он пополз обратно к берегу.

Отсюда, из-за куста, ему было видно, как три всадника один за другим уверенно спускались в воду.

Тогда, сдерживая дыхание, Ефимка медленно оттянул предохранитель и нацелился в грудь первого. Но рука дрожала и не слушалась. Он положил качающееся дуло на сук, нацелился с упора и, невольно зажмурившись, выстрелил.

Когда он открыл глаза, то увидел, что двое поспешно поворачивают назад, а одинокий конь, фырча и отряхиваясь, уже выбирается на этот берег.

Конь был буланый, белогривый, седло добротное, казачье, и Ефимка крепко вцепился в мокрый ременный повод.

Солнце светило ему прямо в лицо, и, сощурившись, никого не видя, Ефимка домчался до кладбищенской ограды, где его сразу же окликнули и остановили.

Он не знал пароля и от волнения ничего не мог объяснить. Тогда его спе́шили, отобрали винтовку и вместе с винтовкой и конем повели в штаб.

Но шаг за шагом он начал приходить в себя. Телеги, подводы, походная кухня, распахнутые ворота, оседланные кони, пулеметные двуколки, и вдруг откуда-то шарахнула песня — знакомая, такая близкая и родная.

Ефимка поднял глаза на своего конвоира и улыбнулся.

— Чего смеешься? — удивился долговязый головастый парень и настороженно приподнял винтовку.

— Хорошо! — сказал Ефимка и больше ничего не сказал.

— Этто правда,— снисходительно согласился парень.— Казаков-то из-под Козлова вчера ох как шарахнули!

Вдрут парень отпрянул и вскинул винтовку, потому что Ефимка вскрикнул и круто свернул вправо, где стояла кучка командиров.

— Собакин! Чтоб ты пропал! — громко и радостно выругался Ефимка.

— Ты! Отку-у-уда? — развел руками Собакин.

— Отту-уда! — передразнил его Ефимка.— Наши здесь? Отец здесь? Самойлов здесь?

— Здесь... Все здесь...— ответил Собакин, и, обернувшись к долговязому конвоиру, он насмешливо крикнул:— Да ты что, ворона, винтовку на нас наставил? Смотри, убьешь, кто хоронить будет?

Уже совсем ночью сорок всадников тихо подвигались по дороге, сопровождая телеги с разысканными беженцами.

Несмотря на то что Ефимка встал с рассветом и с тех пор почти не сходил с коня, спать ему не хотелось.

Где-то за черными полями разгоралось зарево, и оттуда доносились отголоски орудийных взрывов.

— В Кабакине,— негромко сказал начальник отряда.— Это четвертый Донецкий полк дерется.

— Так я останусь? — уже во второй раз спросил у начальника Ефимка.

— Где останешься?

— У вас в отряде, вот где. Конь у меня есть, седло есть, винтовка есть. Отчего мне не остаться!

— Эх, как бабахает! — приподнимаясь на стременах и прислушиваясь к канонаде, сказал начальник.— Видно, там крепкое у них затевается дело... Оставайся,— обернулся он к Ефимке и тотчас же приказал: — Давай-ка скажи, чтобы задние подводы не тарахтели. Что у них там, ведра, что ли?

Возвращаясь, Ефимка задержался возле первой телеги:

— Ты не спишь, Верка?
— Нет, не сплю, Ефимка.
— Я остаюсь! Завтра прощай, Верка.
Оба замолчали.
— Ты будешь помнить? — задумчиво спросила Верка.
— Что помнить?
— Все. И как мы лесом и тропками с ребятами и как тогда ночью разговаривали. Я так до самой смерти не позабуду.
— Разве позабудешь!
Ефимка сунул руку в карман и вытащил яблоко.
— Возьми, съешь, Верка, это сладкое. Слышишь, как грохают. И это везде, повсюду и грохает и горит.
— И грохает и горит,— повторила Верка.
Выбравшись на бугорок, Ефимка остановился и посмотрел в ту сторону, где полыхало разбитое снарядами Кабакино.
Огромное зарево расстилалось все шире и шире. Оно освещало вершины соседнего леса и тревожно отсвечивало в черной воде спокойной реки.
— Пусть светит! — вспомнив ночной разговор, задорно сказал Ефимка, показывая рукою на багровый горизонт.
— Пусть! — горячо согласилась Верка. И, помолчав, она попросила: — Ты, смотри, не уезжай, не попрощавшись. Может, больше и не встретимся.
— Нет, не уеду,— махнул ей рукой Ефимка.
Он дернул повод и мимо телег, мимо молчаливых всадников быстрою рысью помчался доложить начальнику, что его приказание исполнено.

1933

ГОЛУБАЯ ЧАШКА

Мне тогда было тридцать два года, Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной.

Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу.

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди.

Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за другим все новые да новые дела и себе и нам придумывает.

Только на третий день к вечеру, наконец-то, все было сделано. И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ — полярный летчик.

Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку.

Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить летчика до вокзала.

Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.

Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком — получился клейстер.

Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на крышу.

Вот сидим мы верхом на крыше. И видно нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и возле него толпятся ребятишки.

Потом выскочила из черных сеней босоногая сгорбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее.

Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда своя компания.

А завтра что-нибудь еще придумаем.

Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду, возле сырого погреба.

Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея — выше силосной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.

А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку — я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром — и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, высокий лес, где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера соседская девчонка три больших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые.

Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:

— Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идет, и как бы нам с тобой сейчас не попало.

И правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся, а мы-то думали, что вернется она еще не скоро.

— Наклонись,— сказал я Светлане.— Может быть, она и не заметит.

Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крикнула:

— Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадовались, что меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.

— Маруся,— ответил я,— мы не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось.

— Завтра доколотите,— приказала Маруся.— А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.

Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.

И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку,— все равно обиделись.

Так с обидой и уснули.

А утром — еще новое дело! Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает:

— Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили!

А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.

Но Маруся нам не поверила.

— Чашки,— говорит она,— не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!

После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы сели и задумались.

Вот тебе и на лодке поехали!

И солнце к нам в окна заглядывает. И воробьи по песчаным дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают. А нам совсем не весело.

— Что ж! — говорю я Светлане.— С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?

— Конечно,— говорит Светлана,— жизнь совсем плохая.

— А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

— А куда твои глаза глядят?

— А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйская корова. А за по-

ляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там, за горой, уж этого я и сам не знаю.

— Ладно,— согласилась Светлана,— возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела.

Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было. закрыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо.

Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не разбивали.

Вышли мы за калитку, а навстречу нам молочница.

— Молока надо?

— Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.

— У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы,— обиделась молочница.— Вернетесь, так пожалеете.

Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернемся!

Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка. Прошагал, наверное в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с трубкой. Прошла белокурая девица с мокрыми после купанья волосами. А знакомых мы никого не встретили.

Выбрались мы через огороды на желтую от куриной слепоты поляну, сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.

Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли.

Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит:

— А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в сад на помидорные грядки залезли. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?

Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кульком вытирает. А мы спрашиваем у него:

— Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это за тобой из-за кустов комья летели?

Отвернулся Санька и говорит:

— Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.

Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!

Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирал, и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?

— Идем с нами, Санька,— говорит Светлана.— Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.

Пошли мы втроем сквозь густой ракитник.

— Вот он, Пашка Букамашкин,— сказал Санька и попятился.

Видим мы — стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках собачонка и, приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зерна. А на кучке песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец.

Увидал нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

— Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идет сюда известный белогвардеец Санька. Погоди, несчастный буржуй! Мы с тобой еще разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.

— Постой, Пашка,— сказал я.— Может быть, ты ошибся? Какой же это буржуй, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

— Все равно белогвардеец,— упрямо повторил Пашка.— А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив.

Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:

— Ты тогда уже все рассказывай! И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.

— Есть в Германии город Дрезден,— спокойно сказал Пашка,— и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли...

— Прямо по макушке стукнула,— сказал Санька из-за телеги.— У меня голова загудела, а она еще смеется.

— Ну вот,— продолжал Пашка,— стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове — и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон.

— Врешь, врешь! — выскочил из-за телеги Санька.— Это твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.

— А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и положил чижа на место. Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в крапиву, перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота... Перелез через забор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это что такое — жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно все громче и громче кричит. Я — за ним через забор. Он — в кусты. Так и скрылся. Вернулся я — гляжу: палка валяется на траве, а Берта сидит в углу на бревнах. Я зову: «Берта!» Она не отвечает. Подошел я — вижу, на глазах у нее

слезы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну погоди, проклятый Санька! Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще собирались за тебя заступаться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарику. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева на крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:

— Но, но... смотри не балуй, а то сейчас живо выдеру!

Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.

— Папа,— сказала она мне.— А может быть, он вовсе не такой уж буржуй? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак? — спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлестнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло!..

— Бой неподалеку! — вскрикнул Пашка.

— Бой неподалеку,— сказал и я.— Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.

— А кто с кем?— дрогнувшим голосом спросила Светлана.— Разве уже война?

Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.

Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.

Высоко подияв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам иапрямик через каиавы и кочки.

— Ишь ты, как козел, скачет! — пробормотал Пашка.— А чем этот дурак над головой размахивает?

— Это не дурак. Это он мои саидалин тащит!—радостно закрнчала Светлаиа.— Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мие их иесет. Ты бы с ннм помнрился, Пашка!

Пашка насупился и иичего ие ответил. Мы подождали Саиьку, взяли у него желтые Светланнны саидални. И теперь уже вчетвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.

Перед иамн раскниулось холмистое, поросшее кустамн поле. У ручья, позвякивая жестяными бубенчиками, щипала траву привязаииая к колышку коза. А в небе плавно летал однноккй коршун. Вот и все. И больше иикого и ничего на этом поле не было.

— Так где же тут война? — иетерпеливо спросила Светлана.

— А сейчас посмотрю,— сказал Пашка и влез иа пеиек.

Долго стоял он, щурясь от солнца н закрывая глаза ладоиью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, н оиа, путаясь в траве, пошла сама искать войну.

— Мие трава высокая, а я низкая,— приподнимаясь иа цыпочках, пожаловалась Светлана.— И я совсем иичего не вижу.

— Смотрн под иоги, не задень провод,— раздался сверху громкий голос.

Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил в староиу Саиька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку.

Мы попятились и тут увндели, что прямо над иами, в густых ветвях одинокого дерева, притаился красиоармеец.

Винтовка висела возле него иа суку. В одной руке ои держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий черный бниокль куда-то на край пустынного поля.

Еще не успели мы промолвить слова, как издалека, словно гром с перекатамн и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздрогнула под ногамн земля. Далеко от нас подиялась над полем целая туча черной пыли

и дыма. Как сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной веревки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь.

— Плохо дело буржуям! — громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку.— Вот как бьют наши батареи.

— Плохо дело буржуям,— как эхо, повторил хриплый голос.

И тут мы увидели, что под кустом стоит седой, бородатый старик.

У старика были могучие плечи. В руках он держал тяжелую суковатую дубинку, а у его ног стояла высокая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост Пашкиного Шарика.

Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать.

Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке.

Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.

Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за канав, из-за кочек — отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.

Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше; наконец с громкими криками всей громадой они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако пыли и дыма.

Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точно игрушечный сигналист. Резко заиграла отбой военная труба. Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руки три блестящих желудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод.

Военное ученье закончилось.

— Ну, видал? — подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка.— Это тебе не чижом по затылку. Тут вам, буржуям, быстро пособьют макушки.

— Странные я слышу разговоры,— двигаясь вперед, сказал бородатый старик.— Видно, я шестьдясят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке появился хоть один буржуй — при советской власти этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.

Все это нетерпеливо сказал насмешливый старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей на вытаращившего глаза изумленного Саньку.

— Неправда! — шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька.— Я не буржуй, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я буржуй, значит и пружина буржуйская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся», а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».

— Надо без дранья мириться,— убежденно сказала Светлана.— Надо сцепиться мизинцами, поплевать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь! А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

— Назад, Полкан! — крикнул сторож.— Ляжь на землю и своих не трогай!

— Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубатый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем:

— И я своя, а своих не трогай!

Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.

Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже просят:

— И мы свои, а своих не трогай!

Подозрительно потянул Полкан носом: не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной жеребенок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тронуть — не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволил.

— Нам пора,— спохватился я.— Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко!

— До свидания! — звонко попрощалась со всеми Светлана.— Мы опять уходим далеко.

— До свидания!— дружно ответили уже помирившиеся ребятишки.— Приходите к нам опять издалека.

— До свидания,— улыбнулся глазами сторож.— Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только знайте: самое плохое для меня далеко — это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко — это направо, через луг, через овраги, где роют камень. Дальше идите перелеском, обогнете болото. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь.

Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, запыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма, и зашагал к желтому гороховому полю.

Переглянулись мы со Светланой — что нам печальное кладбище! Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далеко.

Перешли мы луга и спустились в овраги.

Видели мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь завалящийся камешек. Навалили уже целую гору. А колеса все крутятся, тачки скрипят. И еще везут. И еще наваливают.

Видно, немало всяких камней под землей запрятано.

Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго, лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я ее за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту. А потом разглядела под землей какое-то черное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть, рыба акула с двумя хвостами: один хвост спереди, другой сзади. И еще почудился ей

Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом. Сидит Страшила и гудит.

Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьяну на дереве и белого медведя на льдине.

Подумала Светлана, вспомнила. И оказывается, что тоже видала.

Погрозил я ей пальцем: ой, не врет ли? Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать.

Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге.

Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца.

Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой.

Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пашут землю, сеют в поле хлеб, сажают картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают.

Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали.

Попалось нам дерево, разбитое молнией.

Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая — хоть самому Буденному.

Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди.

Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячей и ярче.

Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей.

И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела — нет. Поискала — не нашла. Сидит и ждет, глупая!

— Папа! — сказала, наконец, уставшая Светлана.— Давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим.

Стали искать и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете.

С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка. И тысячами, ярче, чем флаги в Первое мая — синие, красные, голубые, лиловые,— окружали елку душистые цветы и стояли не шелохнувшись.

Даже птицы не пели над той поляной — так было тихо.

Только серая дура-ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления: «Карр... карр...» — и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.

— Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу в фляжку воды. Да не бойся: здесь живет всего только один зверь — длинноухий заяц.

— Даже тысячи зайцев я и то не боюсь,— смело ответила Светлана,— но ты приходи поскорее все-таки.

Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане.

Но она не испугалась и не плакала, а пела.

Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочиненную песню:

Гей!.. Гей!..
Мы не разбивали голубой чашки.
Нет!.. Нет!..
В поле ходит сторож полей.
Но мы не лезли за морковкой в огород.
И я не лазила, и он не лез.
А Санька один раз в огород лез.
Гей!.. Гей!..
В поле ходит Красная Армия.
(Это она пришла из города.)
Красная Армия — самая красная.
А белая армия — самая белая.
Тру-ру-ру! Тра-та-та!
Это барабанщики,
Это летчики,
Это барабанщики летят на самолетах.
И я, барабанщица... здесь стою.

Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками.

— Ко мне, барабанщица! — крикнул я, раздвигая кусты.— Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко.

Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся прищурив глаза, сказала:

— Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ!

Вдруг Светлана притихла и задумалась.

А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.

Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивая, чирикал и не улетал.

— Это знакомый чиж,— твердо решила Светлана.— Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?

— Нет! Нет! — решительно ответил я.— Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.

— Нет, тот самый! — упрямо повторила Светлана.— Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.

— Гей, гей! — печальным басом пропел я.— Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

— У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот, мне на счастье, засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:

— Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалеку за кустами ворочалось и мычало стадо, щелкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланы. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!»

— Стой здесь и не сходи с места! — приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

— Стой, где поставили! — резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза ее замигали и губы дернулись.

— Что же ты кричишь? — дрогнувшим голосом тихо спросила она.— Я босая, а там лягушки — и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

— На́, возьми палку,— крикнул я,— и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберемся.

Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайными камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант!

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз — и по пояс в воду. Два — и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело хлюпнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. А вот он и сухой берег.

И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

— Эге-гей! Светлана! — закричал я.— Ты стоишь?

— Эге-гей! — тихо донесся из чащи жалобный тоненький голос.— Я сто-о-ю!

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и пока она сохла на раскаленном песке, мы купались.

И все рыбы с ужасом умчались прочь, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.

И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидел такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку.

И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец.

С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул — тут ему, раку, и смерть пришла.

Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь — еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей.

Фыркнул еж и поплыл на другой берег. «Вот, думает, безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы, наконец, к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы — подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой — мокрую тряпку.

— Федор! — строго кричала она.— Ты куда, негодник, задевал серую кастрюлю?

— Во-на! — раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу, где плавала груженная щепками и травой кастрюля.

— А куда, бесстыдник, решето спрятал?

— Во-на! — все так же важно ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.

— Вот погоди, атаман!.. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу,— пригрозила Валентина и, увидав нас, одернула подоткнутую юбку.

— Здравствуйте!—сказал я.— Вам отец шлет поклон.

— Спасибо! — отозвалась Валентина.— Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

— Я малину ем,—серьезно сообщил нам Федор.— Два куста объел. И еще буду.

— Ешь на здоровье,— пожелал я.— Только смотри, друг, не лопни.

Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка — и все стихло.

— Это тот самый летчик пролетел, — с досадой сказала Светлаиа, — это тот, который приходил к иам вчера.

— Почему же тот? —приподнимая голову, спросил я.— Может быть, это совсем другой.

— Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красиый помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»... Папка,— усаживаясь мне на живот, попросила Светлана,— расскажи что-ибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меия еще не было.

— Как было? Да все так же и было. Сначала день, потом иочь, потом опять день, и еще ночь...

— И еще тысячу дней! — нетерпеливо перебила Светлана.— Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься...

— Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!.. Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ией давно уже не было, и осталась иаша Маруся совсем одна...

— Что-то ее жалко становится,— подвигаясь поближе, вставила Светлана.— Ну, рассказывай дальше.

— Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огии, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про свое горе...

— Что-то уже совсем жалко, — нетерпеливо перебила Светлана. — Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

— Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскииулась перед Марусей широкая степь...

— С волками?

— Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Ои, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что ие ждет никогда

Красная Армия, чтобы ее просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемет — на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу — за бугор. «Ага! — думаю.— Стой: белый разведчик. Дальше не уйдешь никуда».

Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу — что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.

А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. Нá тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».

Вот и день прошел. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть, без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А я говорю:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи,— ответила Маруся.— Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.

— Папка,— взволнованно спросила тогда Светлана.— Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем.

— Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.

— Ой, вре-ешь! — покачала головой Светлана.— Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

— Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит. Есть глаза, вот и смотрит.

— Ой, нет! — убежденно возразила Светлана.— Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...

Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходящего мимо петуха.

— А когда любят, смотрят не так.

Как будто сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

— Разбойница! — подхватывая Светлану, крикнул я.— А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

— Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся что-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

— Сейчас муж на станцию поедет,— сказала Валентина.— Он вас довезет до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану.

— Папа,— таинственным шепотом сообщила она,— этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

— Федор! — позвал я.— Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь.

— Федор! — повторил я.— Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопенье.

— Я стою,— раздался, наконец, сердитый голос,— тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.

— Ишь какой важный,— неодобрительно заметила Светлана,— снял штаны и ходит, как барин!

К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина.

— Собирайтесь, кони хорошие — домчат быстро.

Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только неторопливо вертел пушистым хвостом.

— На! — сказал Федор и сунул котенка Светлане.

— Насовсем? — обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

— Берите, берите, если надо,— предложила Валентина.— У нас этого добра много. Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно все видела.

— Сейчас пойду еще дальше спрячу,— успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

— Весь в деда,— улыбнулась Валентина.— Этакий здоровила. А всего только четыре года.

Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.

Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колеса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далекая!

И, крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Чики-чики!
Ходят мыши.
Ходят с хвостами,
Очень злые.
Лезут всюду,
Лезут на полку.
Трах-тарарах!
И летит чашка.
А кто виноват?
Ну, никто не виноват,
Только мыши
Из черных дыр.
— Здравствуйте, мыши!
Мы вернулись.
И что же такое
С собой несем?..
Оно мяукает,
Оно прыгает,
И пьет из блюдечка молоко.
Теперь убирайтесь
В черные дыры,
Или оно вас разорвет
На куски,
На десять кусков,
На двадцать кусков,
На сто миллионов
Лохматых кусков.

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа.

— Ты не жульничай! — кричал Берте возмущенный Санька.— То на меня говорили, а то сами нашагивают.

— Кто-то там опять нашагивает,— объяснила Светлана,— должно быть, сейчас снова поругаются.— И, вздохнув, она добавила: — Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжаньем крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

— Это мамка сама на крышу лазила! — взвизгнула Светлана и рванула меня вперед.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

— Смейся, смейся! — разрешила ей подбежавшая Светлана.— Мы тебя все равно уже простили.

Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо.

Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет,— твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки.— Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

А потом был вечер. И луна и звезды.

Долго втроем сидели мы в саду под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать.

— Ну что?! — забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка.— А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далекий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.

А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!

1936



ДЫМ В ЛЕСУ

Моя мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса.

На нашем дворе, в шестнадцатой квартире, жила девочка. Звали ее Феня. Ее отец был летчиком.

Однажды, когда Феня стояла на дворе и смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету.

Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и глядел на запад, где далеко за рекой Кальвой, как говорят, на сухих торфяных болотах, горел вспыхнувший позавчера лес.

Но огня я не увидел, а разглядел только облачко белесоватого дыма, едкий запах которого доносился к нам до поселка и мешал людям сегодня ночью спать.

Услыхав жалобный Фенин крик, я, как ворон, слетел с крыши и вцепился в спину мальчишки. Он взвыл от страха. Выплюнул уже засунутую в рот конфету и, ударив меня в грудь локтем, умчался прочь.

Я сказал Фене, чтоб она не орала, и строго-настрого запретил ей поднимать с земли конфету. Потому что если все люди будут доедать уже обсосанные кем-то конфеты, то толку из этого получится мало.

А чтобы даром добро не пропадало, мы подманили кутенка Брутика и запихали ему конфету в пасть. Он сначала пищал и вырывался — должно быть, думал, что суют чурку или камень. Но когда раскусил, то весь затрясся, задергался от радости и стал нас хватать за ноги.

— Я бы попросила у мамы другую,— задумчиво сказала Феня,— только мама сегодня сердитая и, пожалуй, другой не даст.

— Должна дать,— решил я.— Пойдем к ней вместе. Я расскажу, как было дело, и она над тобой, наверное, сжалится.

Тут мы взялись за руки и пошли к тому корпусу, где была шестнадцатая квартира. А когда мы переходили по доске канаву, ту, что разрыли водопроводчики, то я крепко держал Феню за воротник, потому что было ей тогда четыре года, ну, может быть, пять, а мне уже давно пошел двенадцатый.

Мы поднялись на самый верх и тут увидели, что следом за нами по лестнице пыхтит и карабкается хитрый Брутик.

Дверь в квартиру была не заперта, и едва мы вошли, как Фенина мать бросилась дочке навстречу. Лицо ее было заплакано. В руке она держала голубой шарф и кожаную сумочку.

— Горе ты мое горькое! — воскликнула она, подхватывая Феню на руки.— И где ты так измызгалась, извазякалась? Да сиди же ты и не вертись, несчастливое созданье! Ой, у меня и без тебя беды немало!..

Все это она говорила быстро-быстро. А сама то хватала конец мокрого полотенца, то расстегивала грязный Фенин фартук. Тут же смахивала со своих щек слезы и, видать, куда-то очень торопилась.

— Мальчик,— попросила она,— ты человек хороший. Ты мою дочку любишь. Я через окно все видела. Останься с Феней на час в квартире. Мне очень некогда. А я тебе тоже когда-нибудь добро сделаю.

Она положила руку мне на плечо, но ее заплаканные глаза глядели на меня холодно и настойчиво.

Я был занят, мне пора было идти к сапожнику за мамиными ботинками, но я не смог отказаться и согласился, потому что когда о таком пустяке человек просит такими настойчивыми, тревожными словами, то, значит, пустяк этот совсем не пустяк и, значит, беда ходит где-то совсем рядом.

— Хорошо, мама,— вытирая мокрое лицо ладонью, обиженным голосом сказала Феня.— Но ты дай нам за это что-нибудь вкусное, а то нам будет скучно.

— Возьмите сами,— ответила мать, бросила на стол связку ключей, торопливо обняла Феню и вышла.

— Ой, да она от комода все ключи оставила. Вот чудо! — стаскивая со стола связку, воскликнула Феня.

— Что же тут чудесного? — удивился я.— Мы ведь свои люди, а не воры и не разбойники.

— Мы не разбойники,— согласилась Феня.— Но когда я в тот комод лазаю, то всегда что-нибудь нечаянно разбиваю. Или вот недавно разлилось варенье и потекло на пол.

Мы достали по конфете да по прянику, а кутенку Брутику кинули сухую баранку и намазали нос медом.

Мы подошли к распахнутому окошку.

Гей! Не дом, а гора. Как с крутого утеса, отсюда видны были и зеленые поляны, и длинный пруд, и кривой овраг, за которым один рабочий убил зимой волка. А кругом леса, леса...

— Стой, не лезь вперед, Фенька! — вскрикнул я, сталкивая ее с подоконника. И, закрывшись ладонью от солнца, я глянул в окно.

Что такое? Это окно выходило совсем не туда, где речка Кальва и далекие, в дыму, торфяные болота. Однако не больше как в трех километрах из чащи леса поднималась густая туча крутого темно-серого дыма. Как и когда успел туда пожар перейти, это было мне непонятно.

Я обернулся. Лежа на полу, Брутик жадно грыз брошенный Феней пряник, а сама Феня стояла в углу и смотрела на меня злыми глазами.

— Хулиган! — сердито сказала она.— Тебя мама оставила со мной играть, а ты зовешь меня Фенькой и от окна толкаешься. Возьми тогда и уходи совсем из нашего дома!

— Фенечка,— позвал я,— беги сюда скорее, смотри, что внизу делается!

Внизу же делалось вот что.

Промчались галопом по улице два всадника.

С лопатами за плечами мимо памятника Кирову по круглой Первомайской площади торопливо прошагал отряд человек в сорок.

Распахнулись главные ворота завода, и оттуда выкатились пять грузовиков, набитых людьми до отказа.

С воем обгоняя пеший отряд, грузовики исчезли за поворотом у школы.

Внизу по улицам стайками шныряли мальчишки. Они, конечно, все уже разнюхали, разузнали. Я же должен был сидеть и караулить девчонку. Обидно!

Но когда, наконец, завыла пожарная сирена, я не вытерпел.

— Фенечка,— попросил я,— ты посиди здесь одна, а я ненадолго во двор сбегаю.

— Нет,— отказалась Феня,— теперь я боюсь. Ты слышишь, как оно воет?

— Экое дело, воет! Так ведь это труба, а не волк воет! Что она тебя съест, что ли? Ну хорошо, ты не хныч. Давай с тобой вместе во двор спустимся. Мы там постоим минутку — и назад.

— А дверь? — хитро спросила Феня.— Мама от двери ключей не оставила. Мы хлопнем, замок защелкнется, и тогда как? Нет, Володька, ты уж лучше сядь тут и сиди.

Но мне не сиделось. Поминутно бросался я к окну и громко досадовал на Феню:

— Ну почему я должен тебя караулить? Что ты, корова или лошадь? Или ты не можешь маму одна дождаться? Другие девчонки всегда сидят и дожидаются. Возьмут какую-нибудь тряпку, лоскутик... куклу сделают — ай-ай, бай-бай. Ну, не хочешь тряпку — сидела бы слона рисовала, с хвостом, с рогами.

— Не могу,— упрямо ответила Феня.— Я если одна останусь, то могу открыть кран, а закрыть позабуду. Или могу разлить на стол всю чернильницу. Вот один раз упала с плиты кастрюля, а другой раз застрял в замке гвоздик. Мама пришла, ключ толкала, толкала, а дверь не отпирается. Потом позвала дядьку, и он замок выломал. Нет,— вздохнула Феня,— одной оставаться очень трудно.

— Несчастная! — завопил я.— Кто ж это тебя заставляет открывать кран, опрокидывать чернила, спихивать кастрюли и заталкивать в замок гвозди? Я бы на месте твоей мамы взял веревку да вздул тебя хорошенько.

— Дуть нельзя,— убежденно ответила Феня и с веселым криком бросилась в переднюю, потому что вошла ее мать.

Быстро и внимательно посмотрела она на свою дочку. Оглядела комнату и, усталая, опустилась на диван.

— Пойди вымой лицо и руки,— приказала она Фене.— Сейчас за нами придет машина, и мы поедем на аэродром, к папе.

Феня взвизгнула, наступила на лапу Брутику, сдернула с крючка полотенце и, волоча его по полу, убежала на кухню.

Меня бросило в жар. Я еще ни разу не был на аэродроме, который находился километрах в пятнадцати от нашего завода.

Даже в День авиации, когда всех школьников возили туда на грузовиках, я не поехал, потому что перед этим я выпил четыре кружки холодного квасу, чуть не оглох и, обложенный грелками, целых три дня лежал в постели.

Я проглотил слюну и осторожно спросил у Фениной матери:

— И долго вы там с Феней на аэродроме будете?

— Нет. Мы только туда и сейчас же обратно.

Пот выступил на моем лбу, и, вспомнив обещание сделать для меня добро, набравшись смелости, я попросил:

— Знаете что, возьмите и меня с собой на аэродром.

Фенина мать ничего не ответила и, казалось, просьбы моей не слыхала. Она подвинула к себе зеркальце, провела напудренной ватой по своему бледному лицу, что-то прошептала, потом поглядела на меня.

Должно быть, вид мой был очень смешон и печален, потому что, слабо улыбнувшись, она одернула съехавший мне на живот пояс и сказала:

— Хорошо! Я знаю, что ты любишь мою дочку. И если тебя дома отпустят, тогда поезжай.

— Он меня вовсе не любит,— вытирая лицо, сурово ответила из-под полотенца Феня.— Он обозвал меня коровой и сказал, чтобы меня дули.

— Но ты же меня, Фенечка, первая обругала,— испугался я.— И потом, я просто пошутил. Я же за тебя всегда заступаюсь.

— Это верно,— с азартом растирая полотенцем щеки, подтвердила Феня.— Он за меня всегда заступается. А Витька Крюков только один раз. А есть такие, сами хулиганы, что ни одного раза.

Я помчался домой, но во дворе наткнулся на Витьку Крюкова. И тот, не переводя духа, выпалил мне разом, что через границу к нам пробрались три белогвардейца

и это они подожгли лес, чтобы сгорел наш большой завод.

Тревога!

Я ворвался в квартиру, но тут было все тихо и спокойно. За столом, склонившись над листом бумаги, сидела моя мама и маленьким циркулем наносила на чертеж какие-то кружочки.

— Мама,— взволнованно окликнул я,— ты дома?

— Осторожней,— ответила мать,— не тряси стол.

— Мама, что же ты сидишь? Ты уже слышала про белогвардейцев?

Мать взяла линейку и провела по бумаге длинную тонкую черточку.

— Мне, Володька, некогда. Ну, перебежали. Ну, их и без меня скоро поймают. Ты бы сходил к сапожнику за моими ботинками.

— Мама,— взмолился я,— до того ли теперь? Можно, я поеду с Феней и ее матерью на аэродром? Мы только туда и сейчас же обратно.

— Нет,— ответила мать.— Это ни к чему.

— Мама,— настойчиво продолжал я,— помнишь, как вы с папой хотели взять меня на машину в Иркутск? И я уже собрался, но пришел еще какой-то товарищ. Места не хватало, и ты тихонько попросила (тут мать оторвалась от чертежа и на меня посмотрела), и ты меня попросила, чтобы я не сердился и остался! И я тогда не сердился, замолчал и остался. Ты это помнишь?

— Да, теперь помню.

— Можно, я с Феней поеду на машине?

— Можно,— ответила мать и огорченно добавила: — Варвар ты, а не человек, Володька! У меня и так времени в обрез до зачета, а теперь я сама должна идти за ботинками.

— Мама,— счастливо забормотал я,— а ты не жалей... Ты надень свои новые туфли и красное платье. Погоди, я вырасту — подарю тебе шелковую шаль, и совсем ты у нас будешь как грузинка.

— Ладно, ладно, проваливай! — улыбнулась мать.— Заверни себе на кухне две котлеты и булку. Ключ захвати, а то вернешься — меня дома не будет.

Я быстро собрался. В левый карман затолкал сверток, в правый сунул оловянный, но похожий на настоя-

щий браунинг и выскочил во двор, куда как раз въезжала легковая машина.

Первой прибежала Феня, за ней Брутик. Мы важно сидели на мягких кожаных подушках, а маленькие ребятишки толпились вокруг машины и нам завидовали.

— Знаешь что,— покосившись на шофера, сказала мне шепотом Феня,— давай возьмем с собой Брутика. Посмотри, как он прыгает и вихляется.

— А твоя мама?

— Ничего. Она сначала не заметит, а потом мы скажем, что сами не заметили. Иди сюда, Брутик!.. Да иди ты, дурачок лохматый!

Схватив кутенка за шиворот, она втащила его в кабину, затолкала в угол, закрыла платком и — такая хитрющая девка! — заметив подходившую мать, стала пристально разглядывать электрический фонарик на потолке кабины.

Машина выкатилась за ворота, повернула и помчалась по шумной встревоженной улице. Дул сильный ветер, и запах дыма уже заметно щипал ноздри.

На ухабистой дороге машину качало и подбрасывало. Кутенок Брутик, высунув голову из-под платка, недоуменно прислушивался к тарахтению мотора.

По небу метались встревоженные галки. Пастухи громким щелканьем бичей сердито сгоняли обеспокоенное и мычащее стадо. Возле одинокой сосны стояла стреноженная лошадь и, насторожив уши, нюхала воздух.

Промчался мимо нас мотоциклист. И так быстро летела его машина, что только успели мы обернуться к заднему окошечку, как он уже показался нам маленьким-маленьким, как шмель или даже как простая муха.

Мы подъехали к опушке высокого леса, и тут красноармеец с винтовкой загородил нам дорогу.

— Дальше нельзя,— предупредил он,— поворачивайте обратно.

— Можно,— ответил шофер,— это жена летчика Федосеева.

— Хорошо,— сказал тогда красноармеец,— вы подождите.

Он вынул свисток и, вызывая начальника, дважды свистнул.

Пока мы ожидали, подошли еще двое военных. Они держали на привязи огромных собак. Это были ищейки из охраны — овчарки Ветер и Лютта.

Я поднял Брутика и сунул его в окошко. Увидав таких страшил, он робко вильнул хвостиком. Но Ветер и Лютта не обратили на него никакого внимания.

Подошел человек без винтовки, с наганом. Узнав, что это едет жена летчика Федосеева, он приложил руку к козырьку и, пропуская нас, махнул рукой часовому.

— Мама,— спросила Феня,— отчего если едешь просто, то тогда нельзя, а если скажешь «жена летчика Федосеева», тогда можно? Хорошо быть женой Федосеева. Правда?

— Молчи, глупая! — ответила мать.— Что ты городишь, и сама не знаешь!

Запахло сыростью. В просвет между деревьями мелькнула вода. И вот оно раскинулось справа — длинное и широкое озеро Куйчук.

Странная, невиданная картина открылась перед нашими глазами. Дул ветер, белыми барашками пенились волны озера, а на далеком противоположном берегу ярким пламенем горел лес. Даже сюда, через озеро, за километр, вместе с горячим воздухом доносился гул и треск.

Охватывая хвою смолистых сосен, пламя мгновенно взвивалось к небу и тотчас же падало на землю. Оно крутилось волчком понизу и длинными жаркими языками лизало воду озера. Иногда валилось дерево, и тогда от его удара поднимался столб черного дыма, но тут же налетал ветер и рвал его в клочья.

— Там подожгли ночью,— хмуро объяснил шофер.— Их давно бы изловили собаками, но огонь замел следы, и Лютте работать трудно.

— Кто зажег? — шепотом спросила меня Феня.— Разве это зажгли нарочно?

— Злые люди,— тихо ответил я.— Они хотели бы сжечь всю землю.

— И они скоро сожгут?

— Еще что! А ты видела наших с винтовками? Их переловят быстро.

— Их переловят,— поддакнула Феня.— Только скорей бы, а то жить страшно. Правда, Володя?

— Это тебе страшно, а мне нисколько. У меня папа на войне был, и то не боялся.

— Так ведь то папа... И у меня тоже папа...

Машина вырвалась из лесу, и мы очутились на большой поляне, где раскинулся аэродром.

Фенина мать приказала нам вылезти и не отходить далеко, а сама пошла к дверям большого бревенчатого здания.

И когда она проходила, то все летчики, механики и все люди, что стояли у крыльца, разом притихли и молча с ней поздоровались.

Пока Феня бегала с Брутиком вокруг машины, я притерся к кучке людей и из их разговоров понял, что Фенин отец, летчик Федосеев, на легкой машине вылетел вчера вечером обследовать район лесного пожара. Но вот уже прошли почти сутки, а он еще не возвращался.

Значит, с машиной случилась авария или у нее была вынужденная посадка. Но где? И счастье, если не в том краю, где горел лес, потому что за сутки огонь разметало почти на двадцать квадратных километров.

Тревога! Нашу границу перешли три вооруженных бандита! Их видел конюх совхоза «Истра».

Но выстрелами вдогонку они убили его лошадь, ранили самого в ногу, и поэтому конюх добрался до окраины нашего поселка так поздно.

Разгневанный и взволнованный, размахивая своим оловянным браунингом, я шагал по полю до тех пор, пока не стукнулся лбом об орден на груди высокого человека, который шел к машине вместе с Фениной матерью.

Сильной рукой человек этот остановил меня. Посмотрел на мой оцарапанный лоб и вынул из моей руки оловянный браунинг.

Я смутился и покраснел.

Но человек этот не улыбнулся, не сказал ни одного насмешливого слова. Он посмотрел, взвесил на своей ладони мое оружие. Вытер его о рукав кожаного пальто и вежливо протянул мне обратно.

Позже я узнал, что это был комиссар эскадрильи. Он проводил нас до самой машины и еще раз повторил, что летчика Федосеева беспрестанно ищут с земли и с воздуха.

Мы покатили домой.

Уже вечерело. Почуяв, что дело неладно, опечаленная Феня тихонько сидела в уголке, с Брутиком больше не

играла. И наконец, уткнувшись матери в колени, она нечаянно задремала.

Теперь все чаще и чаще нам приходилось замедлять ход и пропускать встречных.

Проносились грузовики, военные повозки. Прошла саперная рота. Промчался легковой красный автомобиль, не наш, а чей-то чужой — должно быть, какого-нибудь начальника из Иркутска.

И только что дорога стала посвободней, только что наш шофер дал ходу, как вдруг что-то хлопнуло, и машина остановилась.

Шофер слез, обошел машину, выругался, подняв с земли оброненный кем-то железный зуб от грабель, и, вздохнув, заявил, что лопнула камера и ему придется менять колесо.

Чтобы шоферу легче было поднимать машину домкратом, Фенина мать, я, а за мной и Брутик вышли.

Пока шофер готовился к починке и доставал из-под сиденья разные инструменты, Фенина мать ходила по опушке, а мы с Брутиком забежали в лес и здесь, в чаще, стали бегать и прятаться. Если он меня долго не находил, то от страха начинал выть ужасно.

Мы заигрались. Я запыхался, сел на пенек и задумался. Услышав далекий гудок, я подскочил и, кликнув Брутика, помчался.

Однако через две-три минуты я остановился, сообразив, что это гудела никак не наша машина. У нашей звук был многоголосый, певучий, а эта рявкала грубо, как грузовик.

Тогда я повернул вправо и, как мне показалось, направился прямо к дороге.

Издалека донесся сигнал. Теперь уже гудела наша машина. Но откуда, я не совсем понял.

Круто повернув еще правей, я побежал изо всех сил.

Путаясь в траве, маленький Брутик скакал за мной.

Если бы я не растерялся, я должен был бы стоять на месте или продвигаться потихоньку, выжидая новых и новых сигналов. Но меня охватил страх. С разбегу я врезался в болотце, кое-как выбрался на сухое место. Чу, опять сигнал! Мне нужно было повернуть обратно. Но, опасаясь топкого болотца, я решил обойти его, завертелся, закрутился и, наконец, напрямик, через чащу, в ужасе понесся куда глядели глаза.

Уже давно скрылось солнце. Огромная, меж облаков сверкала луна. А дикий путь мой был опасен и труден. Теперь я шел не туда, куда мне было надо, а шагал там, где дорога была полегче.

Молча и терпеливо бежал за мной Брутик. Слезы давно были выплаканы, горло от криков и ауканья охрипло, лоб был мокрый, фуражка пропала, а поперек щеки моей тянулась кровавая царапина.

Наконец, измученный, я остановился и опустился на сухую траву, что раскинулась по вершине отлогого песчаного бугра. Так лежал я неподвижно до тех пор, пока не почувствовал, что передохнувший Брутик с ожесточенным упорством тычется носом в мой живот и нетерпеливо царапает меня лапой. Это он учуял в моем кармане сверток и требовал еды. Я отломил ему кусок булки, дал полкотлеты. Нехотя сжевал остальное сам, потом разгреб в теплом песке ямку, нарвал немножко сухой травы, вынул свой оловянный браунинг, прижал к себе кутенка и лег, решив ждать рассвета не засыпая.

В черных провалах меж деревьями, в неровном, неверном свете луны всё мне чудились то зеленые глаза волка, то мохнатая морда медведя. И казалось мне, что, прильнув к толстым стволам сосен, повсюду затаились чужие и злобные люди. Проходила минута, другая — исчезали и таяли одни страхи, но со всех сторон возникали другие.

И так этих страхов было много, что, отвертев себе шею, вконец ими утомленный, я лег на спину и стал смотреть только в небо.

Хлопая посоловелыми глазами, чтобы не заснуть, я принялся считать звезды. Насчитал шестьдесят три штуки, сбился, плюнул и стал следить за тем, как черная, похожая на бревно туча нагоняет другую и хочет ударить ей прямо в широко открытую зубастую пасть. Но тут вмешалось третье, худое длинное облако, и своей кривой лапой оно взяло да и закрыло светлый фонарь луны.

Стало темно, а когда просветлело, то ни тучи-бревна, ни зубастой тучи уже не было, а по звездному небу плавно летел большой самолет.

Широко распахнутые окна его были ярко освещены. За столом, отодвинув вазу с цветами, сидела над своими чертежами моя мама и изредка поглядывала на часы, удивляясь тому, что меня так долго нет.

И тогда, испугавшись, как бы она не пролетела мимо моей лесной поляны, я выхватил свой оловянный браунинг и выстрелил. Дым окутал всю поляну, залез мне в нос и рот. И эхо от выстрела, долетев до широких крыльев самолета, дважды звякнуло, как железная крыша под ударом тяжелого камня.

Я вскочил на ноги.

Уже светало. Оловянный браунинг мой валялся на песке. Рядом с ним сидел Брутик и недовольно крутил носом, потому что переменившийся за ночь ветер пригнал на поляну струю угарного дыма. Я прислушался. Впереди, вправо, брякало железо. Значит, сон мой был не совсем сон. Значит, впереди были люди, и, следовательно, бояться мне было нечего.

В овраге, по дну которого бежал ручей, я напился. Вода была совсем теплая, почти горячая, пахла смолой и сажей. Очевидно, истоки ручья находились где-то в полосе огня.

За оврагом начинался невысокий лиственный лес, из которого все живое при первом же запахе дыма убралось прочь, и только одни муравьи, как и всегда, тихо копошились возле своих рыхлых построек да серые лягушки, которым все равно посуху не ускакать далеко, скрипуче квакали у зеленого болота.

Обогнув болото, я попал в чащу. И вдруг совсем неподалеку я услышал три резких удара железом о железо, как будто бы кто-то бил молотком по жестяному днищу ведерка.

Осторожно двинулся я вперед. Мимо деревьев со сломанными, точно срезанными верхушками, мимо свежих ветвей листвы и сучьев, которыми густо была усыпана земля, я вышел на крохотную полянку. И здесь как-то боком, задрав нос и закинув крыло на ствол погнувшейся осины, торчал самолет. Внизу, под самолетом, сидел человек. Стальным гаечным ключом он равномерно колотил по металлическому кожуху мотора.

И этот человек был Феннн отец — летчик Федосеев.

Ломая ветви, я продрался к нему и окликнул его. Он отбросил гаечный ключ. Повернулся в мою сторону всем туловищем (встать он, очевидно, не мог) и, внимательно оглядев меня, удивленно спросил:

— Гей, чу́дное виденье! Из каких небес по мою душу?

— Это вы? — не зная, как начать, сказал я.

— Да, это я. А это...— он ткнул пальцем в опрокинутый самолет,— это лошадь моя. Дай спички. Народ близко?

— Спичек у меня нет, Василий Семенович, а народу никакого нет тоже.

— Как нет? О, черт! — И лицо его болезненно перекосилось, потому что он тронул с места укутанную тряпкой ногу.— А где же народ, люди?

— Людей нет, Василий Семенович. Я один, да вот... моя собака.

— Один? Гм... Собака?.. Ну у тебя и собака!.. Так что же, скажи на милость, ты здесь один делаешь? Грибы жареные собираешь, золу, уголья?

— Я ничего не делаю, Василий Семенович. Я мчался, вдруг слышу — брякает. Я и сам думал, что тут люди. А это вы, оказывается. А вас все ищут, ищут...

— Та-ак, люди... А я, значит, уже не «люди». Отчего это у тебя вся щека в крови? Возьми банку, смажь йодом да́ кати-ка ты, милый, во весь дух к аэродрому. Скажи там поласковей, чтобы скорей за мной послали. Они меня ищут бог знает где, а я-то совсем рядом. Чу, слышишь? — И он потянул ноздрями, принюхиваясь к сладковато-угарному порыву ветра.

— Это я слышу, Василий Семенович, только я никуда дороги не знаю. Я видите ли, и сам заблудился.

— Фью, фью! — присвистнул летчик Федосеев.— Ну, тогда, как я вижу, дела у нас с тобой плохи, товарищ. Ты в бога веруешь?

— Что вы, что вы! — удивился я.— Да вы меня, Василий Семенович, наверное, не узнали? Я же Володька. В вашем дворе живу, в сто двадцать четвертой квартире.

— Ну вот, Володька: ты нет, и я нет. Значит, на чудеса нам надеяться нечего. Залезь-ка ты на то дерево, и что оттуда увидишь, про то мне расскажешь.

Через пять минут я уже был на самой вершине. Но с трех сторон я видел только лес, лес... А с четвертой, километрах в пяти от нас, из лесу поднималось облако дыма и медленно продвигалось в нашу сторону.

Ветер был неустойчивый, неровный, и каждую минуту он мог рвануть во всю силу.

Я слез и рассказал обо всем этом летчику Федосееву. Он взглянул на небо: небо было неспокойное.

Летчик Федосеев задумался.

— Послушай,— спросил он,— ты карту знаешь?

— Знаю,— ответил я.— Москва, Ленинград, Минск, Киев, Тифлис...

— Эх ты, хватил в каком масштабе! Ты бы еще начал: Европа, Америка, Африка, Азия. Я тебя спрашиваю: если я тебе по карте начерчу дорогу, ты разберешься?

Я замялся.

— Не знаю, Василий Семенович. У нас это по географии проходили, да я что-то плохо...

— Эх, голова! То-то, «плохо»... Ну ладно, раз плохо, тогда лучше и не надо. Вот, смотри.— Он вытянул руку.— Отойди на поляну дальше. Повернись лицом к солнцу. Теперь повернись так, чтобы солнце светило тебе как раз на край левого глаза. Это и будет твое направление. Подойди и сядь.

Я подошел и сел.

— Ну, говори, что̀ понял?

— Чтоб солнце сверкало в край левого глаза,— неуверенно начал я.

— Не сверкало, а светило. От сверкания глаза ослепнуть могут. И запомни: что бы тебе в голову ни втемяшилось, не вздумай свернуть с этого направления в сторону, а кати все прямо да прямо до тех пор, пока километров через семь-восемь ты не упрешься в берег реки Кальвы. Она тут, и деваться ей некуда. Ну, а на Кальве, у Четвертого яра, там всегда народ: там рыбаки, косари, охотники... Кого первого встретишь, к тому и кидайся. А что сказать...

Тут Федосеев посмотрел на разбитый самолет, на свою неподвижную, укутанную тряпками ногу, понюхал угарный воздух и покачал головой:

— А что сказать им... ты и сам, я думаю, знаешь.

Я вскочил.

— Постой! — сказал Федосеев. Он вынул из бокового кармана бумажник и протянул его мне: — Возьмешь с собой.

— Зачем? — не понял я.

— Возьми,— повторил он.— Я могу заболеть, потеряю. Потом отдашь мне, когда встретимся. А не мне, так моей жене или нашему комиссару.

Это мне совсем не понравилось, и я почувствовал, что к глазам моим подкатываются слезы, а губы у меня вздрагивают.

Но летчик Федосеев смотрел на меня строго, и поэтому я не посмел его ослушаться. Я положил бумажник за пазуху, затянул покрепче ремень и свистнул Брутика.

— Постой! — опять задержал меня Федосеев.— Если ты раньше моего увидишь кого-либо из НКВД или нашего комиссара, то скажи, что в районе пожара, на двадцать четвертом участке, позавчера, в девятнадцать тридцать, я видел трех человек. Думал — охотники. Когда я снизился, то с земли они ударили по самолету из винтовок, и одна пуля пробила мне бензиновый бак. Остальное все будет понятно. А теперь, герой, ну, вперед двигай!

Тяжелое дело — спасая человека, бежать через чужой угрюмый лес к далекой реке Кальве, без дорог, без тропинок, а выбирая путь только по солнцу, которое неуклонно должно светить в край левого глаза.

Часто по пути мне приходилось обходить непролазную гущу, крутые овражки, сырые болота. Если бы не строгое предупреждение Федосеева, я десять раз успел бы сбиться и заблудиться, потому что частенько казалось мне, что солнце солнцем, а я бегу уже назад, прямо к месту моей вчерашней ночевки.

Но так упорно продвигался я вперед и вперед, изредка останавливаясь, вытирал мокрый лоб и гладил глупого Брутика, который, вероятно, от страха катил за мной, не отставая, и, высунув длинный язык, печально глядел на меня ничего не понимающими глазами.

Через час подул резкий ветер, серая мгла затянула небо. Некоторое время солнце еще слабо обозначалось пятном, туманным и расплывчатым, потом и это пятно совсем растаяло.

Я продвигался быстро и осторожно. Но через короткое время почувствовал, что я начинаю плутать.

Небо надо мной сомкнулось, хмурое, ровное. И не то что в левый, а даже в оба глаза я не мог различить на нем ни малейшего просвета.

Прошло еще часа два. Солнца не было, Кальвы не было, сил не было, и даже страха не было, а была только

сильная жажда, усталость, и я, наконец, повалился в тень под кустом ольхи.

«И вот она, жизнь! — закрыв глаза, думал я.— Живешь, ждешь: вот, мол, придет какой-нибудь случай, приключение, тогда я... я... А что я? Там разбит самолет. Туда ползет огонь. Там раненый летчик ждет помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах».

Звонкий свист пичужки раздался где-то совсем близко. Я вздрогнул. Тук-тук! Тук-тук! — послышалось сверху. Открыв глаза, почти у себя над головой, на стволе толстого ясеня я увидел дятла.

Тут только я заметил, что лес этот уже не глухой и не мертвый. Здесь кружились над поляной желтые и синие бабочки, блистали стрекозы и неумолчно трещали кузнечики.

И не успел я приподняться, как мокрый, словно мочалка, Брутик кинулся мне прямо на живот, подпрыгнул и затрясся, широко разбрасывая холодные мелкие брызги,— он где-то выкупался.

Я вскочил, бросился в кусты и радостно вскрикнул, потому что и всего-то шагах в сорока от меня в блеске сумрачного дня катила свои серые волны широкая река Кальва.

Я подошел к берегу и огляделся. Ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни сплавщиков, ни косарей, ни охотников. Вероятно, я забрал очень круто в сторону от того Четвертого яра, на который я должен был выйти по указу летчика Федосеева. Но на противоположном берегу, на опушке леса, не меньше чем за километр отсюда, клубился дымок, и там, возле маленького шалаша, стояла запряженная в телегу лошадь.

Острый холодок пробежал по моему телу. Руки и шея покрылись мурашками, плечи передернулись, как в лихорадке, потому что я понял, что мне нужно будет переплыть Кальву. Я же плавал плохо. Правда, я мог переплыть пруд, тот, что лежал в поселке позади кирпичных сараев. Больше того, я мог переплыть его даже туда и обратно. Но это только потому, что даже в самом глубоком месте вода доставала мне не выше подбородка.

Я стоял и молчал. По воде плыли щепки, ветки, куски сырой травы и клочья пухлой пены.

И я знал, что, раз нужно, я переплыву Кальву — она не так широка, чтобы я выбился из сил и задохнулся. Но я знал и то, что стоит мне на мгновенье растеряться, испугаться глубины, хлебнуть глоток воды, и я пойду ко дну, как это со мной было год тому назад на совсем неширокой речонке Лугарке.

Я подошел к берегу, вынул из кармана тяжелый оловянный браунинг, повертел его и швырнул в воду.

Браунинг — это игрушка, а теперь мне было не до игры.

Еще раз посмотрел я на противоположный берег, зачерпнул пригоршню холодной воды. Глотнул, чтобы успокоилось сердце. Несколько раз глубоко вздохнул, шагнул в воду. И чтобы не тратить даром сил, по отлогому песчаному скату шел я до тех пор, пока вода не достигла мне до подбородка.

Дикий вой раздался за моей спиной. Это, как сумасшедший, скакал по берегу Брутик.

Я поманил его пальцем, откашлялся, сплюнул и, оттолкнувшись ногами, стараясь не брызгать, поплыл.

Теперь, когда голова моя была над водой низко, противоположный берег показался мне очень далеким, и чтобы не пугаться, я опустил глаза на воду.

Так, полегоньку, уговаривая себя не волноваться, а главное, не торопиться, взмах за взмахом продвигался я вперед.

Вот уже и вода похолодела, прибрежные кусты побежали вправо — это потащило меня течение. Но я это предвидел и поэтому не испугался. Пусть тащит. Мое дело — спокойней, раз, раз... вперед и вперед... Берег понемногу приближался, уже видны были серебристые, покрытые пухом листья осинника, и вода стремительно несла меня к песчаному повороту.

Ничего плохого в этом не было.

Вдруг позади себя я услышал голоса. Я хотел повернуться, но не решился.

Потом за моей спиной раздался плеск, и вскоре я увидел, что, высоко подняв морду и отчаянно шлепая лапами, выбиваясь из последних сил, сбоку ко мне подплывает Брутик.

«Ты смотри, брат! — с тревогой подумал я.— Ты ко мне не лезь, а то потонем оба».

Я рванулся в сторону, но течение столкнуло меня назад, и, воспользовавшись этим, проклятый Брутик, больно царапаясь когтями, полез ко мне прямо на шею.

«Теперь пропал! — окунувшись с головой в воду, подумал я.— Теперь дело кончено!»

Фыркая и отплевываясь, я вынырнул на поверхность, взмахнул руками и тотчас же почувствовал, как Брутик с отчаянным визгом лезет мне на голову.

Тогда, собравши последние силы, я отшвырнул Брутика, но тут в рот и в нос мне ударила волна. Я захлебнулся, бестолково замахал руками и опять услышал на оставленном мною берегу голоса, шум и лай.

Тут налетела еще волна, опрокинула меня с живота на спину, и последнее, что я помню,— это луч солнца сквозь тучи и чью-то страшную морду, которая, широко открыв зубастую пасть, кинулась мне на грудь.

Как узнал я позже, два часа спустя после того, как я ушел от летчика Федосеева, по моим следам от проезжей дороги собака Лютта привела людей к летчику. И прежде чем попросить чего-либо для себя, летчик Федосеев показал им на покрытое тучами небо и приказал догонять меня.

В тот же вечер другая собака, по прозванию Ветер, настигла в лесу трех вооруженных людей. Тех, что перешли границу, чтобы сжечь леса, а с ними и наш новый большой завод.

Одного из них убили в перестрелке, двоих схватили. Но и им — мы знали — пощады не будет.

Я лежал дома в постели.

Под одеялом было тепло и мягко. Привычно стучал будильник. Из-под крана на кухне брызгала вода. Это умывалась мама. Вот она вошла и сдернула с меня одеяло.

— Вставай, хвастунишка! — сказала она, терпеливо расчесывая гребешком свои густые черные волосы.— Я вчера зашла к вам на собрание и от дверей слышала, как это ты разошелся: «я вскочил», «я кинулся», «я рванулся»... А ребятишки, глупые, сидят, уши развесили. Думают — и правда.

Но я хладнокровен.

— Да,— с гордостью говорю я,— а ты попробуй-ка переплыви в одёже Кальву!

— Хорошо «переплыви», когда тебя самого из воды собака Лютта за рубашку вытащила! Уж ты бы лучше, герой, помалкивал. Я у Федосеева спрашивала. «Прибежал, говорит, ваш Володька ко мне бледный, трясется... У меня, говорит, по географии «плохо». Насилу-насилу уговорил я его бежать к реке Кальве».

— Ложь! — Лицо мое вспыхивает, я вскакиваю и гневно гляжу в глаза матери.

Но тут я вижу, что это она просто смеется, что под глазами у нее еще не растаяла бледно-синеватая дымка. Значит, совсем недавно крепко она обо мне плакала и только не хочет в этом сознаться. Такой уж у нее, в меня, характер!

Она ерошит мне волосы и говорит:

— Вставай, Володька. За ботинками сбегай. Я до сих пор так и не успела.

Она берет свои чертежи, готовальню, линейки и идет готовиться к зачету.

Я бегу за ботинками, но во дворе, увидав меня с балкона, отчаянно визжит Феня.

— Иди! — кричит она.— Да иди же скорей, тебя зовет папа!

«Ладно,— думаю я,— за ботинками успею».

И поднимаюсь наверх.

Наверху Фенька с разбегу хватает меня за ноги и тянет к отцу в комнату. У него вывих ноги, и он лежит в постели забинтованный. Рядом с лекарствами возле него на столике лежит острый ножичек и стальное шило. Он над чем-то работал. Он здоровается со мной и расспрашивает меня о том, как я бежал, как заблудился и как снова нашел реку Кальву.

Потом он сует руку под подушку и протягивает мне похожий на часы блестящий, никелированный компас с крышкой, с запором и с вертящейся фосфорной картушкой.

— Возьми,— говорит он,— учись разбирать карту. Это тебе от меня на память.

Я беру. На крышке аккуратно обозначен год, месяц и число. То самое, когда я встретил Федосеева в лесу

у самолета. Внизу надпись: «Владимиру Курнакову от летчика Федосеева».

Я стою молча. Погибли! Погибли теперь без возврата все мальчишки нашего двора. И нет им от меня сожаленья, нет пощады!

Я жму летчику руку и выхожу к Фене. Мы стоим с ней у окна, и она что-то бормочет, бормочет, а я не слышу и не слышу.

Наконец она дергает меня за рукав и говорит:

— Все хорошо, только жаль бедного: он утонул, Брутик!

Да, Брутика жаль и мне. Но что поделаешь: раз война, так война.

— Если бы мы тогда не запихали ему в рот конфету, он бы к нам не привязался,— печально говорит Феня.

— Кто знает,— утешаю ее я,— а может быть, тогда пришли бы собачники, поддели бы его крюком, посадили в ящик, а потом содрали с него шкуру. Вот тебе и другая гибель. И разве она лучше?

Через окно нам видны леса. Огонь потушен, и только кое-где подымается дымок. Но и там заканчивают свое дело последние бригады.

Через окно виден наш огромный завод, тот самый, на котором работает почти весь наш новый поселок.

Около завода в два ряда протянута колючая проволока. А по углам под деревянными щитами день и ночь стоят часовые.

Даже отсюда нам с Феней слышно бряцание цепей, лязг железа, гул моторов и тяжелые удары парового молота. Что на этом заводе делают, мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного — товарища Ворошилова.

1939



ЧУК И ГЕК

Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск.

Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала с ребятишками к нему в гости.

Ребятишек у него было двое — Чук и Гек.

А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете.

Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды.

И, конечно, этот город назывался Москва.

Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.

Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы.

Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им играть вместе. А в одном часе —

тик да так — целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.

Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь.

Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо.

Тогда они закричали:

— Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.

Тут, на радостях, они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год не был дома, то и в Москве может стать скучно.

И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.

Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов.

Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала.

Она только турнула их с дивана.

Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее темными бровями.

Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом.

Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.

— Отец не приедет,— откладывая письмо, сказала мать,— у него еще много работы, и его в Москву не отпускают.

Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным.

Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.

— Он не приедет,— продолжала мать,— но он зовет нас всех к себе в гости.

Чук и Гек спрыгнули с дивана.

— Он чудак-человек,— вздохнула мать.— Хорошо сказать — в гости! Будто бы это сел на трамвай и поехал...

— Да, да,— подхватил Чук,— раз он зовет, так мы сядем и поедем.

— Ты глупый,— сказала мать.— Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы только подумайте сами!

— Гей-гей! — Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.

И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.

Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер.

Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже.

Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.

Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.

Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора.

Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились!

У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки (если там был нарисован танк, самолет или красноармеец), галчиные перья для стрел,

конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи.

У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.

И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери.

Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит:

Р-ра! Р-ра! Ура!
Эй! Бей! Турумбей!

Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой «турумбей», что от злости у него затряслись руки.

Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой, разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги — сорок шесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу.

И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол.

Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.

Громко завопил оскорбленный Чук и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!», в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь.

Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек.

Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма.

То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но, так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.

Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:

— Знаешь, Гек: а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь — телеграмма! Нам и без телеграммы весело.

— Врать нельзя,— вздохнул Гек.— Мама за вранье всегда еще хуже сердится.

— А мы не будем врать! — радостно воскликнул Чук.— Если она спросит, где телеграмма,— мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.

— Ладно,— согласился Гек.— Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.

И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальные, а глаза заплаканы.

— Отвечайте, граждане,— отряхиваясь от снега, спросила мать,— из-за чего без меня была драка?

— Драки не было,— отказался Чук.

— Не было,— подтвердил Гек.— Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.

— Очень я люблю такое раздумье,— сказала мать.

Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты: один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.

А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.

Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.

Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачи-

ваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.

Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина.

Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука — не проснется ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался.

Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.

Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще десять дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками.

Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает.

Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель.

А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.

Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:

— Это кто же здесь толкается?

Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче.

Но все люди быстро поняли в чем дело и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место.

Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер.

Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то

улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном.

Наконец заснул и Гек.

...И снился Геку страиный сои:
Как будто ожил весь вагон,
Как будто слышиы голоса
От колеса до колеса.
Бегут вагоны — длинный ряд —
И с паровозом говорят.
Первый. Вперед, товарнщ! Путь далек
Перед тобой во мраке лег.
Второй. Светите ярче, фоиари,
До самой утренией зари!
Третий. Гори, огонь! Труби, гудок!
Крутнсь, колеса, на восток!
Четвертый. Тогда закончим разговор,
Когда домчнм до Сннних гор.

Когда Гек проснулся, колеса, уже без всяких разговоров, мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного.

Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе,— вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. На зато Гек умел петь песни.

Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.

И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду — кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки,— Гек за это время увидел через окно немало.

Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! — кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.

Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки,— стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе де-

лают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка сунься!

Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река.

Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе.

Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохотные,— ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома.

Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными, толщиной в полвагона, бревнами.

Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один бык рявкнул: му-у!.. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет.

А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом.

Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки.

Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против кого-нибудь бой.

Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.

И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции.

Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался.

Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел.

Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою.

Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать.

Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо.

Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал.

Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала.

Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с Чука, самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи.

Пока Чук с Геком пили чай, мать торговалась с ямщиком: сколько он возьмет, чтобы довезти их в лес до места. Ямщик просил очень много — целых сто рублей. Да и то сказать: дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.

— Отец и не знает, что мы уже приехали,— сказала мать.— То-то он удивится и обрадуется!

— Да, он обрадуется,— прихлебывая чай, важно подтвердил Чук.— И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.

— И я тоже,— согласился Гек.— Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит. Сел. Задумался. А мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!

— Я под кровать не полезу,— отказалась мать,— и выть не буду тоже. Лезьте и войте сами... Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.

— Я лошадей кормить буду,— спокойно объяснил Чук.— Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать!

Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами.

Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки! Теперь впереди только лес, горы и опять густой, темный лес.

Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки.

Но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю.

Сначала Гек терпеливо отпихивался. Потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами.

Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням — и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:

— Эй, эй! Ого-го!.. Берегись: задавим!

Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И, поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких Синих гор.

Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.

— Здесь ночуем,— сказал ямщик, соскакивая в снег.— Это наша станция.

Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было.

Быстро вскипятил ямщик чайник; принесли из саней сумку с продуктами.

Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту.

За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя.

Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу.

Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья.

Гек не любил спать ни у стены, ни посредине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю», Гек все равно всегда спал с краю.

Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом.

Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись: Чук у стенки, мать посредине, а Гек с краю.

Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся.

В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку.

Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.

«Вот как далеко занесло нашего папу!» — удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и не много осталось мест на свете.

Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть! Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочалось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.

— Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда и не увидели?.. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем или острой саблей!

Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка.

Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто это отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено.

Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так

как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый.

Приснился Геку странный сон:
Как будто страшный Турворон
Плюет слюной, как кипятком,
Грозит железным кулаком.

Кругом пожар, блестят штыки.
И вот буржуйские полки,
Ударив в медный барабан,
Идут войной из дальних стран.

— Постойте! — закричал им Гек.— Вы не туда идете! Здесь нельзя!

Но никто не постоял, и его, Гека, не слушали.

В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой— и разом ударили залпом его тяжелые и грозные орудия.

— Хорошо! — похвалил Гек.— Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало...

Мать проснулась оттого, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались.

Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель.

Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон.

Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб.

Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас.

Тогда мать встала и в чулках, без валенок, подошла к окошку.

Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко.

И — удивительное дело! — тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место,

куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и не много осталось мест на свете.

Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба.

Наконец под вечер, когда и люди и кони уже порядком устали, ямщик сказал:

— Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот. Тут, на поляне, и стоит ихняя база... Эй, но-о!.. Наваливай!

Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено.

Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке.

Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.

Очень странно! Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.

— Ты куда же нас привез? — в страхе спросила у ямщика мать.— Разве нам сюда надо?

— Куда рядились, туда и привез,— ответил ямщик.— Вот эти дома называются «Разведывательно-геологическая база номер три». Да вот и вывеска на столбе... Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так то километров двести совсем в иную сторону.

— Нет, нет! — взглянув на вывеску, ответила мать.— Нам нужна эта самая. Но ты посмотри: двери на замках, крыльцо в снегу, а куда же девались люди?

— Я не знаю, куда б им деваться,— удивился и сам ямщик.— На прошлой неделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были: восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять... Вот еще забота! Не волки же их всех поели... Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.

И, сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке.

Вскоре он вернулся.

— Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож, да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.

— Да что он мне расскажет! — ахнула мать.— Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.

— Это я уж не знаю, чтó он расскажет,— ответил ямщик.— А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.

С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка.

Они вошли в сени и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи.

В избушке было тепло.

Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.

— Ехали к отцу, ехали — вот тебе и приехали!

Мать села на лавку и задумалась. Что случилось, почему на базе пусто и что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через три часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет да не скоро вернется? Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции и телеграфа почти сто километров!

Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.

— Сторож к ночи вернется,— успокоил он.— Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес... А то как хотите,— предложил ямщик.— Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю.

— Нет,— отказалась мать.— На станции нам делать нечего.

Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули.

Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало — должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака.

Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:

— Это что же за гости сюда приехали?

— Я жена начальника геологической партии Серегина,— сказала мать, соскакивая с печки,— а это его дети. Если нужно, то вот документы.

— Вон они, документы: сидят на печке,— буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека.— Как есть в отца — копия! Особо вот этот толстый.— И он ткнул на Чука пальцем.

Чук и Гек обиделись: Чук — потому, что его назвали толстым, а Гек — потому, что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.

— Вы зачем, скажите, приехали? — глянув на мать, спросил сторож.— Вам же приезжать было не велено.

— Как не велено? Кем это приезжать не велено?

— А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму, а в телеграмме ясно написано: «Задержись выезжать на две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу». Раз Серегин пишет «задержись» — значит, и надо было держаться, а вы самовольничаете.

— Какую телеграмму? — переспросила мать.— Мы никакой телеграммы не получали.— И, как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека.

Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.

— Дети,— подозрительно глянув на сыновей, спросила мать,— вы без меня никакой телеграммы не получали?

На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.

— Отвечайте, мучители! — сказала тогда мать.— Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне ее не отдали?

Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.

— Вот где моя погибель! — воскликнула мать.— Вот кто, конечно, сведет меня в могилу! Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело.

Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче, и прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ.

Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать.

Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше чем дней через десять.

— Но как же мы эти десять дней жить будем? — спросила мать.— Ведь у нас с собой нет никакого запаса.

— А так вот и живите,— ответил сторож.— Хлеба я вам дам, вон подарю зайца — обдерете и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду, мне капканы проверять надо.

— Нехорошо,— сказала мать.— Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери...

— Я второе ружье оставлю,— сказал сторож.— Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне — я вам прямо скажу — нянчиться с вами тоже некогда...

— Эдакий злой дядька! — прошептал Гек.— Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем.

— Вот еще! — отказался Чук.— Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему всё и расскажем.

— Что ж папа! Папа еще долго...

Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу.

Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету.

И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.

— Достань из печки щи,— сказал матери сторож.— Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду.

— Ты хозяин,— сказала мать.— Ты достань, ты и угощай. А полушубок дай: я лучше твоего заплатаю.

Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.

— Эге! Да вы, я вижу, упрямые,— пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.

— Это где так разорвалось? — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.

— С медведем не поладили. Вот он мне и царапнул,— нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.

— Слышишь, Гек? — сказал Чук, когда сторож вышел в сени.— Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.

Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем.

Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим.

Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар, но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холодней самого мороза.

Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины Синих гор.

Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову.

Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, и за это ему достался зайчиный хвост,

такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют.

После обеда они все втроем вышли гулять.

Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла.

Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется.

Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане.

Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо; как сказочные зáмки и башни, поднимались к небу остроконечные утесы Синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями, на мягком белом снегу, отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц.

Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега.

Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов.

Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса.

Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету.

И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже.

Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком.

Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери и, чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна, хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь — не человек и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлестала острыми снеж-

ными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается.

Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец она задремала.

— Чук,— спросил Гек,— почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле?

— И ведьмы и черти чтобы были тоже? — спросил Чук.

— Да нет! — с досадой отмахнулся Гек.— Чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали.

— А на чем бы он полетел, Гек?

— Ну, на чем... Замахал бы руками или там еще как. Он уж сам знает.

— Сейчас руками махать холодно,— сказал Чук.— У меня вон какие перчатки да варежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли.

— Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?

— Я не знаю,— заколебался Чук.— Помнишь, во дворе, в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная.

— И хорошо он нагадывал?

— Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили.

— Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?

— Конечно, жулик,— согласился Чук.— Да я так думаю, и все волшебники должны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай только хватай, что надо... Ты бы лучше спал, Гек, все равно я с тобой больше разговаривать не буду.

— Почему?

— Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже...

На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек.

После такого обеда Гек был грустен, и матери казалось, что у него повышена температура.

Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток,— тогда утром легче будет растапливать печку.

Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать.

А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да се, наступили сумерки.

Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было.

Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку.

Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался.

Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было.

Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели.

Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сени, зажгла фонарь. Заглянула в темный чулан, под навес с дровами...

Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы.

Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор.

Следов за четыре дня было натоптано немало.

Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес.

На дороге было пусто.

Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз.

Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет погас.

С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука.

Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать.

Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды.

У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.

— Что за беда? Что за стрельба? — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.

— Пропал мальчик,— сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.

— Стой, не плачь! — гаркнул сторож.— Когда пропал? Давно? Недавно?.. Назад, Смелый! — крикнул он собаке.— Да говорите же, или я уйду обратно!

— Час тому назад,— ответила мать.— Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел.

— Ну, за час он далеко не уйдет, а в одеже и в валенках сразу не замерзнет... Ко мне, Смелый! Ha, нюхай!

Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека.

Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.

— За мной! — распахивая дверь, сказал сторож.— Иди ищи, Смелый!

Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.

— Вперед! — строго повторил сторож.— Ищи, Смелый, ищи!

Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.

— Это еще что за танцы? — рассердился сторож. И, опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник.

Однако Смелый за сторожем не пошел; он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы.

Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул.

Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука.

В сундуке, на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубёнкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек.

Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал:

— Эй-ля! Эй-ли-ля!..

Лохматый пес Смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба.

Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет.

Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул.

Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.

— Вот,— сказал он,— получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году.

Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик! Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш.

Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку.

Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать — за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго

чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и, чуть что, хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что наконец Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже.

Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено без толку.

Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила.

И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то удивленный переменой и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога.

А собака Смелый пошла.

Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать.

Мать раздобрилась и кинула Смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, так это сорокам на смех.

Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал «спасибо» и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой.

На следующий день было решено готовить к Новому году елку.

Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки!

Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов.

Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела.

Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.

Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес.

Через полчаса он вернулся.

Ладно! Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо — прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица — высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки.

Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду.

И в самом деле. Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.

— Теперь смотрите,— сказал им сторож,— вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правей большой вершины, потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома.

Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с гружеными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники.

По сравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы.

Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу.

Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики.

Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса. А за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников.

И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали: «Ура!»

Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «ура» громче всех.

Днем чистились, брились и мылись.

А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год.

Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как, кроме Чука с Геком, остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать.

Хорошо, что у одного человека был баян и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакали и всем захотелось танцевать. И все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму.

А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда.

Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши.

Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню.

Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим.

Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую — я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.

А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.

— Теперь садитесь,— взглянув на часы, сказал отец.— Сейчас начнется самое главное.

Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали.

Сначала было тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон.

Большие и маленькие колокола звонили так:

Тир-лиль-лили-дон!
Тир-лиль-лили-дон!

Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что́ это. Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы.

И этот звон — перед Новым годом — сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море.

И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже.

И тогда все люди встали, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.

Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.

1939



ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ

1

ЖИЛ НА СЕЛЕ одинокий старик. Был он слаб, плел корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб.

Он пришел на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед. От щеки его через губы пролег кривой, рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым.

2

Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался, взвыл и тут же был сторожем схвачен.

Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или, что еще хуже, отвести его в школу и рассказать там, как было дело.

Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в ссадинах, позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слезы.

Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку восвояси, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав вдогонку ни одного слова.

3

От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото. Наконец он устал. Опустился на торчавший из мха голубой камень, но тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу и она его через дыру штанов больно ужалила.

Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был, как уголь, горячий, и на плоской поверхности его проступали закрытые глиной буквы.

Ясно, что камень был волшебный,— это Ивашка смекнул сразу! Он сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписей глину.

И вот он прочел такую надпись:

КТО СНЕСЕТ ЭТОТ КАМЕНЬ НА ГОРУ И ТАМ
РАЗОБЬЕТ ЕГО НА ЧАСТИ, ТОТ ВЕРНЕТ СВОЮ
МОЛОДОСТЬ И НАЧНЕТ ЖИТЬ СНАЧАЛА.

Ниже стояла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, и не такая, треугольником, как на талонах в кооперативе, а похитрее: два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые.

Тут Ивашка Кудряшкин огорчился. Ему было всего восемь лет — девятый. И жить начинать сначала, то есть опять на второй год оставаться в первом классе, ему не хотелось вовсе.

Вот если бы через этот камень, не уча заданных в школе уроков, можно было из первого класса перескакивать сразу в третий — это другое дело!

Но всем и давно уже известно, что такого могущества даже у самых волшебных камней никогда не бывает.

4

Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес ведро известки, а на плече держал палку с мочальной кистью.

Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал: «Вот идет человек, который очень свободно мог хлестнуть меня крапивой. Но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжко».

Вот с какими хорошими мыслями подошел к старику благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик сурово поблагодарил Ивашку, но уйти с караула на болото отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые, очень просто, могли бы за это время колхозный сад от фруктов очистить.

И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из болота в гору. А он потом придет туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню стукнет.

Очень огорчил Ивашку такой поворот дела.

Но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото.

5

Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую траву.

«Вот! — думал он.— Теперь вкачу я камень на гору, придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен и счастливой жизни, конечно, никогда не видел. А другие люди ее видели». На что он, Ивашка, молод, а и то уже три раза он такую жизнь видел. Это когда он опаздывал на урок и совсем незнакомый шофер подвез его на блестящей легковой машине от конюшни колхозной до самой школы. Это когда весной голыми руками он поймал в канаве большую щуку. И, наконец, когда дядя Митрофан взял его с собой в город на веселый праздник Первое мая.

«Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит»,— великодушно решил Ивашка.

Он встал и терпеливо потянул камень в гору.

И вот перед закатом к измученному и продрогшему Ивашке, который, съежившись, сушил грязную, промокшую одежду возле горячего камня, пришел на гору старик.

— Что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома? — вскричал удивленный Ивашка.— Или ты надеешься разбить камень рукою?

— Нет, Ивашка,— отвечал старик,— я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить сначала.

Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его по голове. Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает.

— Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен,— говорил старик Ивашке.— А на самом деле я самый счастливый человек на свете.

Ударом бревна мне переломило ногу, но это тогда, когда мы — еще неумело — валили заборы и строили баррикады, поднимая восстание против царя, которого ты видел только на картинке.

Мне вышибли зубы, но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни.

Шашкой в бою мне рассекли лицо, но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию.

На соломе в низком холодном бараке метался я в бреду, больной тифом. И грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна в кольце и вражья сила нас одолевает.

Но, очнувшись вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавал я, что враг опять разбит и что мы опять наступаем.

И, счастливые, с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, какая она сейчас,— могучей и великой. Это ли еще, глупый Ивашка, не счастье?! И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!

Тут старик замолчал, достал трубку и закурил.

— Да, дедушка! — тихо сказал тогда Ивашка.— Но раз так, то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог бы лежать на своем болоте?

— Пусть лежит на виду,— сказал старик,— и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет.

7

С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе неразбитым.

И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвояси.

Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. «А что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала!»

Однако постоял-постоял и вовремя одумался.

«Э-э! — думаю, скажут, увидав меня помолодевшим, соседи.— Вот идет молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет то же начинать сначала».

Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не тратить спичек, от горячего камня. И пошел прочь — своей дорогой.

1941

Маленькие рассказы

МАРУСЯ

Шпион перебрался через болото, надел красноармейскую форму и вышел на дорогу.

Девочка собирала во ржи васильки. Она подошла и попросила ножик, чтобы обровнять стебли букета.

Он дал ей нож, спросил, как ее зовут, и, наслышавшись, что на советской стороне людям жить весело, стал смеяться и напевать веселые песни.

— Разве ты меня не знаешь? — удивленно спросила девочка.— Я Маруся, дочь лейтенанта Егорова. И этот букет я отнесу папе.

Она бережно расправила цветы, и в глазах ее блеснули слезы.

Шпион сунул нож в карман и, не сказав ни слова, пошел дальше.

На заставе Маруся говорила:

— Я встретила красноармейца. Я сказала, как меня зовут, и странно, что он смеялся и пел песни.

Тогда командир нахмурился, крикнул дежурного и приказал отрядить за этим «веселым» человеком погоню.

Всадники умчались, а Маруся вышла на крутой берег и положила свой букет на свежую могилу отца, только вчера убитого в пограничной перестрелке.

1939

ВАСИЛИЙ КРЮКОВ

У красноармейца Василия Крюкова была ранена лошадь, и его нагоняли белые казаки.

Он отшвырнул пустую винтовку, отстегнул саблю, сунул наган за пазуху и, повернув ослабевшего коня, поехал казакам навстречу.

Казаки удивились такому делу, ибо не в обычае той войны было, чтобы красные бросали оружие наземь... Поэтому они не зарубили Крюкова с ходу, а окружили и захотели узнать, что этому человеку надобно и на что он надеется. Крюков снял серую папаху с красной звездой и сказал:

— Кто здесь начальник, тот пусть скорее берет эту папаху.

Тогда казаки решили, что в этой папахе зашит военный пакет, и они позвали своего начальника.

Но когда тот подъехал и протянул руку, Крюков вырвал наган из-за пазухи и выстрелил в лоб офицеру. Крюкова казаки зарубили и поскакали дальше своим путем.

Одни казаки ругали Крюкова, другие — своего офицера. Но были и такие, что ехали теперь молча и угрюмо думали о том, какая крепкая у красных сила.

1939

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Это был 1919 год — кажется, февраль. Мне только исполнилось пятнадцать лет.

И вот командующий, который, по добродушию, именовал меня то ординарцем, то адъютантом, сказал: «Я уезжаю на Советскую площадь. Герой, не хмурься! Я взял бы и тебя, но в машине нет бензина, и я поеду верхом».

Но я уже знал, зачем торопятся войска на площадь. И вздрогнул и попросил: «Товарищ командующий, мне горько! Разрешите и мне поехать верхом с вами?»

Он предупредил: «Смотри!»

И я помчался на конюшню выбирать лошадь потише, потому что держался в седле я еще совсем плохо.

Но все, что потише, были клячи, убогие, дохловатые.

И мне оседлали высокого лукавого коня, который, едва очутился на площади, стал храпеть, крутить мордой и толкать крупом других...

И был митинг, и с балкона Моссовета выступали лучшие коммунисты многих стран.

И всадники, зло поглядывая на меня, тихо бранились и украдкой шпыняли моего коня, кто носком сапога, а кто черенком плетки.

Вдруг вся площадь замерла, и на балкон вышел Ленин. Радостный, поднялся я на стременах, но конь мой вздрогнул, захрапел, попятился...

И во время короткой речи Ленина все свои силы, все невысокое уменье я истратил только на то, чтобы конь мой хоть кое-как стоял смирно и если не мне, то хоть бы людям дал послушать то, что скажет великий вождь.

Но когда Ленин окончил говорить и площадь загремела музыкой и криками, то в гневе и слезах жиганул я коня нагайкой, вылетел из строя и помчался куда глаза глядят по пустынным, занесенным сугробами улицам.

Больше я Ленина никогда не слышал и не видел. Но в тот же день люди, кто как мог, речь его мне пересказали. А я задумался, отпросился у командующего. И вскоре ушел с его красноармейцами на фронт — в далекую Двенадцатую армию.

1940

ПОХОД

Ночью красноармеец принес повестку. А на заре, когда Алька еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну — в поход.

Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же заявил, что и он хочет идти в поход тоже. Он, вероятно бы, закричал, заплакал. Но совсем неожиданно мать ему в поход идти разрешила.

И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, Алька съел без каприза полную тарелку каши, выпил молока. А потом они с матерью сели готовить походное снаряжение. Мать шила ему штаны, а он, сидя на полу,

выстругивал себе из доски саблю. И тут же, за работой, разучивали они походные марши, потому что с такой песней, как «В лесу родилась елочка», никуда далеко не нашагаешь. И мотив не тот, и слова не такие, в общем эта мелодия для боя неподходящая.

Но вот пришло время матери идти дежурить на работу, и дела свои они отложили на завтра.

И так день за днем готовили Альку в далекий путь. Шили штаны, рубахи, знамена, флаги, вязали теплые чулки, варежки. Одних деревянных сабель с ружьем и барабаном висело на стене уже семь штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою у звонкой сабли жизнь еще короче, чем у всадника.

И давно, пожалуй, можно было бы отправляться Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при таком морозе, конечно, недолго схватить насморк или простуду, и Алька терпеливо ждал теплого солнца.

Но вот и вернулось солнце. Почернел талый снег. И только бы, только начать собираться, как загремел звонок. И тяжелыми шагами в комнату вошел вернувшийся из похода отец. Лицо его было темное, обветренное, и губы потресканы, но серые глаза глядели очень весело.

Он, конечно, обнял мать. И она поздравила его с победой. Он, конечно, крепко поцеловал сына. Потом осмотрел все Алькино походное снаряжение. И, улыбнувшись, приказал сыну: все это оружие и амуницию держать в полном порядке, потому что тяжелых боев и опасных походов будет и впереди на этой земле еще немало.

1940

ПАТРОНЫ

При отступлении испуганные лошади опрокинули в придорожную канаву разбитый ящик с патронами.

В спешке никто их не подобрал. И только через неделю, срезая для козы траву, наткнулся на них Гришка. Он вытряхнул козий корм. Навалил в сумку много патронных пачек, принес домой и похвалился:

— Вот, мама! Нашел! Блестящие, новенькие. Я сейчас побегу, принесу еще кучу.

Но мать быстро закрыла огонь в печке и на Гришку закричала:

— Умный ты, Гришка, или полоумный? Тащи сейчас же этот страх и утопи в пруду или в речке. Быстро, или я деда позову!

Вздохнул Гришка: как тут будешь спорить? Взвалил сумку на плечо и понес из хаты.

Но патроны в речку не кинул. Оставил себе три пачки, остальные свалил в кустах, за огородом, накрыл соломой и засыпал сухими листьями.

Утром дед Семен вошел в хату, бросил топор, сел на лавку, распахнул окно, закурил, задымил и сказал:

— Беда, Ганна! Сдается мне, что либо махновцы, либо казаки опять близко. Стою я у колодца и слышу, как за речкой громко да тяжко бомба раза два на лугах грохнула.

Тогда мать кинулась в чулан, проворно собрала одежду, что получше: платок с бахромой, платье, серые дедовы шаровары, розовую Гришкину рубаху. Связала все в узел и спрятала в хлеве, под сухим свиным корытом.

Но махновцы были тут ни при чем.

Вернулся Гришка с речки только к вечеру. Принес он одного карасика, двух ершей да плотичку. Хмуро повесил эту рыбу на гвоздь, чтобы не сожрала кошка, и, не похвалившись уловом и даже не спросив обедать, бокомбоком направился было спать на сеновал к деду.

Но мать сразу заметила, что рука у него обмотана тряпкой, глаза виноватые, а лицо унылое. И в тревоге спросила:

— Это что у тебя с рукой, Гришка? Опять патроны?

— Нет, у костра обжег, когда пек картошку. Ты мне смажь да завяжи покрепче, мама.

Тогда мать уверенно сказала:

— Ой, врешь, Гришка!

Но руку ему салом смазала, приложила свежий лопух и чистым лоскутом завязала.

Потом она вышла и села у крылечка.

Большая кругом лежала земля. Большая ходила по дорогам война. Вот тут-то, на войне, и стояла серая с белой трубой хата, где жила мать и ее сын Гришка.

На другой вечер пронесся по улице топот, стук и гром.

Просунулась в дверь винтовка, за ней бородатый казак. Стукнул он прикладом об пол и приказал:

— А подать сюда хорошей еды и самого холодного молока кринку!

Испугался Гришка, вынул патрон из кармана и незаметно кинул его за окошко. Да вот беда! Упал патрон прямо другому казаку под ноги.

Поднял казак патрон, отнес в хату и показал его старшому.

Отодвинул пустую кринку старшой. Расстегнул ворот, распустил пояс и объявил:

— Не иначе, как здесь оружейный склад. Обыщите вы все сараи и погреба, да и сундуки тоже. А кто тут есть в доме хозяин — посадите его под замок в амбар.

И посадили старого деда Семена в амбар.

Вышла во двор Гришкина мать, заплакала, заругала Гришку:

— Чтоб ты пропал со своими патронами! Беги расскажи про беду дяде Егору.

— Плохие дела! — сказал Гришке дядя Егор.— Надо выручать старика, а как — не знаю. Пойди узнай, много ли казаков и думают ли они остановиться на ночевку, а я подожду тебя у речки.

Пошел Гришка считать казаков. Но казаки не стоят на месте, а взад-вперед по селу шмыгают. И очень просто одного казака за двоих сосчитать можно. И стал тогда Гришка считать по дворам казачьих коней. Насчитал двадцать три, хотел бежать к дяде Егору — вдруг за кустами раздался выстрел.

Тут выбегает казак, ведет под уздцы коня и кричит:

— Сюда, сюда! Здесь красные близко.

— Что ты городишь, баранья голова? — спросил старшой.— Это наш конь.

— Нет, это их конь,— отвечал казак.— Сейчас я сбил с этого коня одного партизана.

Пока они дивились, выбегает еще казак — сапоги в руках, волосы мокрые — и давай ругаться:

— Ах, такие-сякие, кто моего жеребца увел?

— Да разве же это твой?

— А то чей же? Или у вас глаза ослепли?

Собрались тогда все казаки в кучу и стали разбирать: как же оно такое вышло?

А вышло вот как. Привязал казак коня, а сам кустами по круче полез к речке купаться. А в кустах дядя Егор сидел и ждал Гришку. Увидел Егор коня без хозяина. «Дай, думает, вскочу и помчусь за помощью в лес, к партизанам». Только вскочил на коня, вдруг — хлоп! — ударил сбоку выстрел. Слетел под обрыв дядя Егор и задал скорей ходу назад, в деревню. Пуля только ремень порвала.

Пробрался дядя Егор к амбару и слышит, как дед Семен через стену часового ругает. И так он его стыдит — и жуликом зовет и разбойником бранит. Рассердился часовой, прислонил винтовку к стене, а сам по лестнице забрался к чердаку и давай тоже деда ругать через окошко.

Вылез тогда дядя Егор, открыл затвор и все пять патронов из казачьей винтовки вынул. «Сейчас,— думает он,— ты слезешь, и я тебя из-за угла тихо возьму, голубчика». И только отпрыгнул дядя Егор за угол, как опять наткнулся на другого казака.

— Ты что здесь прыгаешь? — спросил казак.— Или ты не знаешь приказа по домам сидеть, а по задворкам не шляться?

Отвел он Егора к старшому, и тот приказал:

— А заприте этого прыгуна к старику в соседи.

Заперли и дядю Егора в амбар.

Не нашел Гришка Егора у речки. Когда вернулся, уже совсем стемнело.

— Чтоб ты провалился со своими патронами,— еще горше заплакала мать.— Посадили теперь под замок и дядю Егора.

И стало тогда Гришке так жалко деда Семена и дядю Егора, что потекли по его щекам сначала две слезы, потом еще четыре. Но вздохнул он, перестал плакать и молча скрылся.

Подполз он от огорода к амбару. Лежит в крапиве и тихонько шепчет:

— Дядя Егор, дед Семен! Вы разгребайте руками под бревнами дыру, а я отсюда лопатой копать буду.

Но казак, что за плетнем дверь караулил, уши, как волк, расставил и шум услышал.

— Стой! — крикнул он.— Кто идет?

Гришка — бежать. Хлопнул часовой раз, хлопнул курком два, а выстрела-то и нету.

Прибежал старшой и стал ругаться:

— Ты зачем, баранья голова, на посту с незаряженной винтовкой ходишь?

— Неправда! — заорал казак.— Только что заложил я в коробку четыре патрона, пятый загнал в ствол и свернул предохранитель. Вот она, в ногах лежит, от патронов пустая обойма.

Поднял старшой обойму. Подошли тут еще казаки, сбились кучей и стали думать: «Как же оно так вышло?»

Сидела мать у окна и горько плакала. Вдруг просунулась в окно, вся в репьях, лохматая Гришкина голова.

— Ты откуда? — воскликнула мать.

— Дай спички!

— Зачем?

— Дай! — настойчиво повторил Гришка и, схватив с подоконника коробок, скрылся.

И вовремя. Вошел из сеней казак, оглянулся и спросил:

— Ты с кем это, баба, сейчас разговаривала?

— Да так, сама с собой,— отвечала мать, испугавшаяся за Гришку.

Удивился казак и позвал старшого. Удивился старшой и сказал:

— Чудны дела, казаки! Люди сами с собой разговаривают. Убитые исчезают. Заряженные винтовки не стреляют.

И тогда покосились казаки на темные окна. И каждый подумал: «А не лучше ли отсюда на ночь убраться к своему полку поближе?»

Но тут грянул в темноте выстрел. И пошел огонь, пошла канонада.

— Красные!

— Окружают!

Повскакивали казаки в седла, и только окна зазвенели от конского топота.

А когда все стихло, осторожно просунулась в хату голова Гришки:

— Никого, мама?

— Никого, Гришка.

— Пойдем открывать амбар, мама!

— Погоди, Гришка. Пусть отопрут сами товарищи.

— Какие товарищи?

— Красные! Каких ждали!

— Никого, мама, на дворе нету,— хмуро сказал Гришка.— Это я за огородом патроны разложил, завалил сеном, да и зажег спичкой. Вот тут-то они у меня и загрохотали!

Ничего не сказала мать. Вытерла слезы. Зажгла фонарь. Взяла топор. И пошли они с Гришкой сбивать замок с амбара.

1926—1941

Фронтовые записи

Берись за оружие, комсомольское племя!

Война!

Ты говоришь: я ненавижу врага. Я презираю смерть. Дайте винтовку, и я пулей и штыком пойду защищать Родину.

Все тебе кажется простым и ясным. Приклад к плечу, нажал спуск — загремел выстрел.

Лицом к лицу, с глазу на глаз — сверкнул яростно выброшенный вперед клинок, и с пропоротой грудью враг рухнул.

Все это верно. Но если ты не сумеешь поставить правильно прицел, то твоя пуля бесцельно, совсем не пугая и даже ободряя врага, пролетит мимо.

Ты бестолково бросишь гранату, она не разорвется.

В гневе, стиснув зубы, ты ринешься на врага в атаку. Прорвешься через огонь, занесешь штык. Но если ты не привык бегать, твой удар будет слаб и бессилен.

И тебе правильно говорят: учись, пока не поздно. Когда тебя призовут под боевые знамена, командиры будут учить тебя, но твой долг — знать военное дело, быть всегда готовым к боям.

Тебе дадут винтовку, автомат, ручной пулемет, разных образцов гранаты. В умелых руках, при горячем, преданном Родине сердце это сила грозная и страшная. Без умения, без сноровки твое горячее сердце вспыхнет на поле боя, как яркая сигнальная ракета, выпущенная

без цели и смысла, и тотчас же погаснет, ничего не показав, истраченная зря.

Комсомолец, школьник, пионер, юный патриот, война еще только начинается, и знай, что ты еще нужен будешь в бою.

Приходи к нам на помощь не только смелым, но и умелым. Приходи к нам таким, чтобы ты сразу, вот тут же рядом, быстро отрыл себе надежный окоп, хлопнул по рыхлой груде земли лопатой, обмял ладонью ямку для патронов, закрыл от песка лопухом гранату, метнул глазом — поставил прицел. Потом закурил и сказал: «Здравствуйте все, кто есть слева и справа».

Поняв, что ты начал не с того, чтобы сразу просить помощи, что тебе не нужно ни военных нянек, ни мамок, тебя полюбят и слева и справа.

И знай, что даже где-то на далеком фланге подносчик патронов, связной или перевязывающий раны санитар кому-то непременно скажет:

— Прислали пополнение. Видел одного. Молодой и, наверное, комсомолец.

— Ну! Прыгает?

— Ничего не прыгает. Сел на место, окопался, молчит и работает.

Двадцать два года тому назад, в эти же августовские дни, я, тогда еще мальчишка, комсомолец, был с комсомольцами на фронтах Украины в этих же местах.

Какие были среди нас политики! Какие стратеги! Как свободно и просто разрешали мы проблемы европейского и мирового масштаба. Но, увы! Учились мы военному делу тогда мало. Дисциплина хромала. Стреляли неважно и искренне думали, что обрезать напильником стволы у винтовки нам не разрешают только из-за косности военспецов главного штаба.

Но нас в армии было тогда еще немного. За молодость бородатые дяди нас любили. Многое нам прощали и относились к нам покровительственно, благодушно.

Теперь время совсем не то. Сейчас комсомол — большая сила в армии.

В грозные для одного большого города дни встали недавно у сложных орудийных расчетов студенты-математики, комсомольцы.

За баррикадами из мешков песка, возле тяжелых противотанковых пулеметов стояли запасными номерами наводчики-комсомольцы.

На окраинах города шел бой, а они все еще спешно и жадно, как перед самым важным в жизни экзаменом, заглядывали в стрелковые таблицы.

Вот и ты приходишь с учебы, с работы. Ты знаешь, что тебе ночью еще нужно дежурить на чердаке, на крыше, и все-таки, наверное, ты берешь боевой устав. Ты идешь в военный кружок. Ты становишься в строй.

Жжет ли солнце, льет ли дождь, покрыты ли суровой тьмой улицы твоего родного города, люди слышат твои твердые шаги, слова команды и стук винтовочного приклада, опущенного на гулкую мостовую.

А ночью за черной маскировочной шторой ты, наверное, сидишь, изучая тяжелую ручную гранату, огонь которой вместе с огнем твоих глаз и твоего сердца взорвет и испепелит тех, кого мы все так клятвенно и непримиримо ненавидим.

Берись за оружие, комсомольское племя!

1941

У ПЕРЕПРА́ВЫ

Наш батальон вступал в село.

Пыль походных колонн, песок, разметанный взрывами снарядов, пепел сожженных немцами хат густым налетом покрывали шершавые листья кукурузы и спелые несобранные вишни.

Застигнутая врасплох немецкая батарея второпях ударила с пригорка по головной заставе зажигательными снарядами.

Огненные змеи с шипением пронеслись мимо. И тотчас же бледным, прозрачным на солнце пламенем вспыхнула соломенная кровля пустого колхозного сарая.

Прежде чем броситься на землю, секретарь полкового комсомола Цолак Купалян на одно-другое мгновение оглянулся: все ли перед боем идет своим установленным чередом и где сейчас находится комбат?

Командир батальона старший лейтенант Прудников был рядом, за углом хаты. Соскочив с коня и бросив по-

водья ординарцу, он уже приказывал четвертой роте броском занять боевой рубеж, пятой — поддержать огнем четвертую, а шестой — усилить свой фланг и держаться к локтю пятой.

Дальше следовали приказы разведчикам, пулеметчикам, минометчикам, взводам связи, связным от артиллерии...

И вот пошла четвертая, пошла пятая.

Все пошло — вернее, поползло по пшенице, по гречихе, головой в песок, лицом по траве, по земле, по сырому торфяному болоту.

Грохот усиливается.

Бьют вражеские минометы. Горят хаты. Людей не видно. И поэтому сначала кажется, что среди этого разноголосого визга и грома никакого осмысленного порядка нет и быть не может.

Но вскоре оказывается, что свой незримый железный порядок у этого боя есть.

Вот в лощине спешно складывают свой тяжелый груз и открывают огонь минометчики.

С холма по картофельному полю, кубарем перекатываясь с боку на бок, тянет телефонный провод комсомолец Сергиенко. Радист ставит под густым орешником маленькую, похожую на ежа станцию.

Вдруг — ба-бах! — не туда поставил. Обжегся, поежился, перетащил ящик в канаву, нацепил наушники и что-то там накручивает, настраивает.

Четвертая рота врывается на рубеж. Вот крайняя хата. Три минуты назад здесь был враг. Он убежал. В панике, в спешке. Еще и сейчас внизу, меж кустами, перебегают вражеские солдаты. Один, два, три, пятнадцать... Сорок. Стоп! Уже не сорок.

Взмокший пулеметчик с ходу рванул пулемет, нажал на спуск «максима», и счет разом изменился.

Хата. Сброшены на пол подушки, перины. Здесь они спали.

Стол. На столе тарелки, ложки, опрокинутая кринка молока. Здесь они жрали.

Настежь открытый сундук, скомканное белье. Вышитое петушками полотенце. Детский валенок. Здесь они грабили.

Над сундуком в полстены жирным углем начерчен паучий фашистский знак.

Стены мирной хаты дрожат от взрывов, от горя и гнева. Бой продолжается. По пшенице быстро шагает чем-то взволнованный начальник штаба батальона Шульгин.

Вдруг он приседает. Потом поднимается, недоуменно смотрит на свою ногу. Нога цела, но голенище сапога срезано осколком. Он спрашивает:

— Где комбат? Прудникова не видали? Он сейчас был там.

«Там», за пригорком, где только что был командный пункт, миною взорван сарай, он раскидан и горит, поджигая вокруг колосья густой пшеницы.

На лице начальника штаба тревога за своего комбата.

Это самый лучший и смелый комбат самого лучшего полка всей дивизии.

Это он, когда, надрывая душу, надсадно, угрожающе, запугивающе запели, заныли немецкие трубы, пугая атаками, на вопрос командира полка по телефону: «Что это такое?», сжав чуть оттопыренные губы, с усмешкой ответил:

— Все в порядке, товарищ командир. Начинается музыка. Сейчас и я впишу пулеметами свою гамму.

С биноклем через шею, с простым пистолетом «ТТ» в кобуре, внезапно возникает из-за дыма целый и невредимый комбат.

Ему рады. На вопросы о себе он не отвечает и приказывает:

— Переходим на оборону. Здесь у врага большие силы. Дайте мне связь с артиллерией. Всем командирам рот прочно окопаться.

По торфяному полю опять тянет провод Сергиенко. Вот он упал, но он не ранен. Он устал. Он уткнулся лицом в мокрый торф и тяжело дышит. Вот он поворачивает голову и видит, что совсем рядом перед ним, перед его губами — воронка от взрыва мины и, как на дне блюдечка, скопилось в ней немного воды.

Он наклоняет голову, пьет жадно, потом поднимает покрытое бурым торфом лицо и ползет с катушкой дальше.

Через несколько минут связь с полком налажена.

Поступает приказание:

«Немедленно переходите!..»

И вдруг приказ обрывается. Комбат сурово смотрит на Купаляна: куда переходить?

На этом фронте, слева и впереди нас, ведется бой. Идет сражение большого масштаба, борьба за узловой город. Может быть, приказ означает: «Немедленно переходите в атаку на превосходящие силы противника»?

Тогда командиров бросить вперед. Коммунистов и комсомольцев тоже вперед. Собрать всю волю в кулак и наступать.

Комбат отдает последние распоряжения...

Вдруг связь опять заработала. Оказывается, что приказ гласит:

«Немедленно выходите из боя. Перейти вброд реку и занять высоту 165».

Красноармеец-связист опять хочет пить. Он забегает в крайнюю хату.

Он видит развал, погром.

Он видит паучий крест на стене.

Он плюет на него.

Зачеркивает углем. И быстро чертит свою красноармейскую звезду.

Батальон собирается у брода.

На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открывает глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает:

— Товарищи, а вы меня перенесете?

— Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле, полуоглохшие минометчики.

— Слышишь? Это, обеспечивая тебе переправу, за девять километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет! Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты будешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу.

Действующая армия
1941

МОСТ

Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые двадцать—тридцать метров стоят наши часовые.

Вправо по берегу за камышами — а где точно, знают только болотные кулики да длинноногие цапли — спрятан прикрывающий мост батальон пехоты. На другом берегу на горе, в кустарнике,— артиллеристы-зенитчики.

По мосту к линиям боя беспрерывно движутся машины с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и проезжают в город на рынок окрестные колхозники.

Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглушенную бомбами немецких «хейнкелей» рыбу.

По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно убитого осколком вола.

Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караулкой со сдвинутой набекрень крышей возникает связной от батальонной пехоты красноармеец Федор Ефимкин. Он пробрался напрямик, осокой и топью. Поэтому нижняя половина его почти до пояса мокро-черная, гимнастерка же и пилотка на солнце выгорели и покрылись сухой светло-серой пылью. Рыжий ремень до того густо увешан ручными гранатами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и топорщатся во все стороны.

Он останавливается возле старшины Дворникова, который пытливо исследует рваные дыры смятого, пробитого котелка, и, козырнув, спрашивает:

— Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу неофициальному? Котелок, который имеет все попадания от полутонной фугасной бомбы, вследствие сжатия образует трещины, а также различные дыры, и его можно выбросить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на час-два одолжите мне вон ту плетеную корзинку, то, вот мое слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный, крашенный во все голубое.

Старшина Дворников оборачивается:

— На что тебе корзина?

— Не могу сказать, товарищ старшина; военная тайна.

— Не дам корзины,— заявляет старшина.— Вы у нас мешок взяли и не вернули.

— Мешок, товарищ старшина, готов был к возврату. Но тут случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а в сумках у них был обнаружен грабленый материал: четыре колоды игральных карт, трусы для обоего пола, полотенца, кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное, кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок истребовать по закону.

— Ты мне зубы не заговаривай,— невольно улыбнувшись, сказал старшина.— Ты мне лучше скажи, зачем столько гранат на пояс навесил. Что у тебя тут — арсенал, цейхгауз?

— Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бросил, двух даже не хватило. У меня еще пара круглых лимонов лежит в кармане. Хорошая это штука для ночной разведки: огонь яркий, звук резкий; который немец не помрет, так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина, корзину. Вот нужно! Иначе срывается вся моя операция.

— Какая операция? — недоумевает старшина.— Ты, друг, что-то заболтался.

Старшина смотрит на Ефимкина.

Ох, и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его прямые угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку, на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную цигарку,— сразу скажешь: «Это боевой парень».

— Возьми,— говорит старшина,— да скажи вашему лейтенанту: что же, мол, нас бомбят, а вы на самом деле внизу себе рыбу промышляете, и попроси у него — пусть пришлет на уху щурят или ершей и на нашу долю.

— Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта беспокоить,— поспешно забирая корзинку, говорит Ефимкин.— Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к вечеру за пропуском приду — целую корзину свежих лещей принесу. Высокий у вас пост, товарищ старшина,— со вздохом добавляет Ефимкин.— Мы что —

у нас трава, канавы, земля, кустарники. А вы... стоите на глазах у всего света.

Ефимкин берет корзинку и, грязно-сизый, пыльный сверху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет через мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по фамилиям. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощурив узкие глаза, стоит туркмен Бекетов. Этого человека вначале назначили было в разведку. Ночью в лесу он отстал, растерялся, запутался. На следующий раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командование хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но комиссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в бескрайних песках Туркмении. Леса он никогда не видел и ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на самом опасном посту. Тридцать метров над водой! На самой середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фашистские самолеты.

Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо этого часового. Он хотел бы сказать ему что-нибудь приятное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в разведке немецких слов: «хальт» (стой), «хэнде хох» (руки вверх), «вафэн хинлэгэн» (бросай оружие), Ефимкин не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув, хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в полном недоумении, хватает на руки маленькую девчурку, сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачивая, несет ее до самого конца моста.

Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно оглядываясь, лезет под крутой откос, к болоту.

Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимкиным в бинокль, теперь ясна и военная тайна и вся операция Ефимкина. Утром снарядом разбило фургон со сливами. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив осталась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их своим товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кругом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гудят взрывы, но это далекая и не опасная для моста музыка.

Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный котелок и решительно швыряет его через перила.

Но прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться в теплую соиную воду, раздается отрывистый, хватающий за сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит тревожный окрик: «Воздух!»

Стремительно мчатся прочь застигнутые иа мосту машины, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают на луга, к стогам сена, ползут в ямы, скрываются в кустарнике.

Еще одна, две... три минуты! И вот он, как сверкающий клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой, у земли в ладонях, грозный железный мост.

Честь и слава смелым, мужественным часовым всех военных дорог нашего великого Советского края — и тем, что стоят в дремучих лесах, и тем, что на высоких горах, и тем, что в селениях, в селах, в больших городах, у ворот, на углах, на перекрестках,— но ярче всех горит суровая слава часового, стоящего на том мосту, через который идут груженные патронами и снарядами поезда и шагают запыленные мужественные войска, направляясь к решительному бою.

Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смертью небо. Под его иогами тридцать метров пустоты, под которыми блещут темные волны. В волнах ревут сброшенные с самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток и с визгом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые металлические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.

Два шага направо, два налево.

Вот и весь ход у часового.

Луга — пехота — молчат и напряженно иаблюдают за боем.

Но гора — зенитчики — в гневе. Гора защищает мост всей мощью и силой своего огромного шквала.

Протяжно воют «мессершмитты». Тяжело ревут бомбардировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много — тридцать, сорок. Вот они один за другим ложатся на боевой курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, туда, где, прислоиившись спиной к железу и сдвинув на лоб тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора яростно вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.

Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, зашатался и как-то тяжело пошел вниз, на луг, а там обрадованно его подхватила на свой станковый пулемет пехота.

И тотчас же соседний самолет, который стремительно ринулся на цель книзу, поспешно бросив бомбы, раньше, чем надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.

Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в воду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и разорван.

Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тяжелого, окованного железом носка, прикладом винтовки часовые сшибают их с моста в воду.

Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты противника беспорядочно отходят.

И вот, прежде чем связисты успеют наладить порванный воздушной волной полевой провод, прежде чем начальник охраны поста лейтенант Меркулов донесет по телефону в штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сторону моста.

Семьсот «самолетоналетов» сделал уже противник и больше пяти тысяч бомб бросил за неделю в районе моста.

Проходят долгие, томительные минуты... пять, десять, и вдруг...

Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, с заборов, несутся радостные крики:

— Пошли, пошли!

— Наши тронулись!

Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двинулись через мост наши машины.

— Значит, все в порядке!

К старшине Дворникову, который стоит возле группы красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протягивает старшине новый железный котелок. Ставит на землю корзину со свежей, оглушенной немецкими бомбами рыбой и говорит:

— Добрый вечер! Все целы?

Ему наперебой сообщают:

— Акимов ранен. Емельянов толкал бомбу, прожег сапог, обжег ногу.

Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение и получает у лейтенанта ночной пропуск.

Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачиваются. Через железный, кажущийся сейчас ажурным переплет моста светится луна.

Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по небу голубая ракета.

Налево из деревушки доносится хоровая песня. Да, песня. Да, здесь, вскоре после огня и гула, громко поют девчата.

Ефимкин удерживает старшину за рукав.

— Высокий у вас пост, товарищ старшина,— опять повторяет он.— Днем на двадцать километров вокруг видно, ночью — на десять все слышно.

Действующая армия

ВОЙНА И ДЕТИ

Тыловая железнодорожная станция на пути к фронту. Водонапорная башня. Два прямых старых тополя. Низкий кирпичный вокзал, опоясанный густыми акациями.

Воинский эшелон останавливается. К вагону с кошелками в руках подбегают двое поселковых ребятишек.

Лейтенант Мартынов спрашивает:

— Почем смородина?

Старший отвечает:

— С вас денег не берем, товарищ командир.

Мальчишка добросовестно наполняет стакан верхом, так что смородина сыплется на горячую пыль между шпал. Он опрокидывает стакан в подставленный котелок, задирает голову и, прислушиваясь к далекому гулу, объявляет:

— «Хенкель» гудит... Ух!.. Ух!.. Задохнулся. Вы не бойтесь, товарищ лейтенант, вон они наши пошли истребители. Здесь немцам по небу прохода нет.

Он подхватывает кошелку и мчится дальше. У вагона остается его белобрысый, босоногий братишка лет семи от роду. Он сосредоточенно прислушивается к далекому гулу зениток и серьезно объясняет:

— Ось! Там вона бухает...

Лейтенанта Мартынова это сообщение заинтересовывает. Он садится на пол у дверей и, свесив ноги наружу, поедая смородину, спрашивает:

— Гм! А что же, хлопец, на той войне люди делают?

— Стрыляют,— объясняет мальчишка,— берут ружье или пушку, наводют... и бах! И готово.

— Что готово?

— Вот чего! — с досадой восклицает мальчишка.— Наведут курок, нажмут, вот и смерть будет.

— Кому смерть — мне? — И Мартынов невозмутимо тычет пальцем себе в грудь.

— Да ни! — огорченно вскрикивает удивленный непонятливостью командира мальчишка.— Пришел якийсь то злыдень, бомбы на хаты швыряет, на сараи. Вот там бабку убили, двух коров разорвало. О то чего,— насмешливо пристыдил он лейтенанта,— наган нацепил, а как воевать, не знает.

Лейтенант Мартынов сконфужен. Окружающие его командиры хохочут.

Паровоз дает гудок.

Мальчишка, тот, что разносил смородину, берет рассерженного братишку за руку и, шагая к тронувшимся вагонам, протяжно и снисходительно ему объясняет:

— Они знают! Они шутят! Это такой народ едет... веселый, отчаянный! Мне один командир за стакан смородины бумажку трехрублевую на ходу подал. Ну, я за вагоном бежал, бежал. Но все-таки бумажку в вагон сунул.

— Вот!..— одобрительно кивает головой мальчишка.— Тебе что! А он там на войне пусть квасу или ситра купит.

— Вот дурной! — ускоряя шаг и держась вровень с вагоном, снисходительно говорит старший.— Разве на войне это пьют? Да не жмись ты мне к боку! Не крути головой! Это наш «И-16» — истребитель, а немецкий гудит тяжко, с передыхом. Война идет на второй месяц, а ты своих самолетов не знаешь.

Фронтовая полоса. Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток, к перекрестку села, машина останавливается.

На ступеньку вскакивает хлопчик лет пятнадцати. Он

чего-то просит. Скотина мычит, в клубах пыли щелкает длинный бич. Тарахтит мотор, шофер отчаянно сигналит, отгоняя бестолковую скотину, которая не свернет до тех пор, пока не стукнется лбом о радиатор. Что мальчишке надо? Нам непонятно. Денег? Хлеба?

Потом вдруг оказывается:

— Дяденька, дайте два патрона.

— На что тебе патроны?

— А так... на память.

— На память патронов не дают.

Сую ему решетчатую оболочку от ручной гранаты и стреляную блестящую гильзу.

Губы мальчишки презрительно кривятся:

— Ну вот! Что с них толку?

— Ах, дорогой! Так тебе нужна такая память, с которой можно взять толку? Может быть, тебе дать вот эту зеленую бутылку или эту черную, яйцом, гранату? Может быть, тебе отцепить от тягача вот ту небольшую противотанковую пушку? Лезь в машину, не ври и говори все прямо.

И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, уверток, хотя в общем нам уже все давно ясно.

Сурово сомкнулся вокруг густой лес, легли поперек дороги глубокие овраги, распластались по берегам реки топкие камышовые болота. Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. А он еще молод, но ловок, смел. Он знает все лощинки, последние тропинки на сорок километров в округе.

Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет. И, не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запыленные губы, он ждет жадно и нетерпеливо.

Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму. Это — обойма от моей винтовки. Она записана на мне. Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля полетит точно в ту, куда надо, сторону.

— Как тебя зовут?

— Яков.

— Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у

тебя нет винтовки? Что же ты, из пустой кринки стрелять будешь?

...Грузовик трогается. Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит что-то несуразное, бестолковое. Он смеется и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. Потом, двинув кулаком по морде вертевшуюся около корову, он исчезает в клубах пыли.

Ой, нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую кринку.

...Дети! На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых, уже хотя бы потому, что сброшенные над мирными городами фашистские бомбы имеют для всех одинаковую силу.

Остро, чаще острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки —переживают события Великой Отечественной войны.

Они жадно, до последней точки, слушают сообщения Информбюро, запоминают все детали героических поступков, выписывают имена героев, их звания, их фамилии.

Они с беспредельным уважением провожают уходящие на фронт эшелоны, с безграничной любовью встречают прибывающих с фронта раненых.

Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта. И повсюду я видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига.

Перед боем на берегу одной речки встретил я недавно парнишку.

Разыскивая пропавшую корову, чтобы сократить путь, он переплыл реку и неожиданно очутился в расположении немцев. Спрятавшись в кустах, он сидел в трех шагах от фашистских командиров, которые долго разговаривали о чем-то, держа перед собой карту.

Он вернулся к нам и рассказал о том, что видел.

Я у него спросил:

— Погоди! Но ведь ты слышал, что говорили их начальники, это же для нас очень важно.

Паренек удивился:

— Так они же, товарищ командир, говорили по-немецки!

— Знаю, что не по-турецки. Ты сколько окончил классов? Девять? Так ты же должен был хоть что-нибудь понять из их разговора!

Он уныло и огорченно развел руками:

— Эх, товарищ командир! Кабы я про эту встречу знал раньше...

Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные дни для Родины, вы не болтались под ногами, не сидели сложа руки, а чем могли помогали своей стране в ее тяжелой и очень важной борьбе с человеконенавистным фашизмом.

Действующая армия
Август 1941 года

У ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

У прохода через тяжелую, обшитую грубым тесом баррикаду милиционер проверил мой пропуск на выход из осажденного города.

Он посоветовал мне подъехать к передовой линии на попутной машине или повозке, но я отказался. День был хороший и путь недалекий. А кроме того, на пригорках по машинам иногда открывалась стрельба минами. На одиноко же идущего человека мину тратить — не расчет. Да и в случае чего пешему всегда легче вовремя бухнуться в придорожную канаву.

Я шел мимо опустевших, покинутых домиков с заколоченными окнами и закрытыми воротами. Было тихо. Тарахтела трещотка, и охотились за воробьями голодные кошки.

Через сады, среди которых желтели размытые дождем бомбозащитные траншеи, я вышел на скат оврага и зацепил ногой за полевой провод.

Прикинув направление, я взял путь по проводу напрямик, потому что мне нужны были люди.

Вдруг раздался удар. Казалось, что грохнул он над самым гребнем моей стальной каски.

Быстро перелетел я в старую воронку, осторожно

огляделся и увидел неподалеку замаскированный бугор дзота, из темной щели которого торчал ствол коренастой пушки.

Я спустился к дзоту и, поздоровавшись, спросил у старшего сержанта, чем его люди сейчас заняты.

Ясно, что, прежде чем ответить, сержант проверил мой пропуск, документы. Спросил, как живет Москва. Только после этого он готов был отвечать на мои вопросы.

Но тут вдалеке, вправо, послышались очень частые взрывы.

Телефонист громко спрашивал соседний дзот через телефонную трубку:

— Что у тебя? Говори громче. Почему ты говоришь так тихо? Ах, около тебя рвутся мины! А ты думаешь, что если будешь говорить громко, то они испугаются?

От таких простых слов вспыхнули улыбки в притихшем, насторожившемся дзоте. Потом раздалась суровая команда, и взревела наша пушка.

Ее поддержали соседи. Враги отвечали. Они били снарядами «205» и дальнобойными минами.

Мины. О них уже много писали. Писали, что они ревут, воют, гудят, похрапывают. Нет! Звук на полете у мины тонок и мелодично-печален. Взрыв сух и резок. А визг разлетающихся осколков похож на мяуканье кошки, которой внезапно тяжелым сапогом наступили на хвост.

Грубые, скрепленные железными скобами бревна потолочного наката вздрагивают. Через щели на плечи, за воротник сыплется сухая земля. Телефонист поспешно накрывает каской миску с гречневой кашей, не переставая громко кричать:

— Правей, ноль двадцать пятью снарядами! Теперь точно! Беглый огонь!

Через пять минут огневой шквал с обеих сторон, как обрубленный, смолкает.

Глаза у всех горят, лбы влажные, люди пьют из горлышка фляжек. Телефонист запрашивает соседей, что и где случилось.

Выясняется: у одного воздухом опрокинуло бак с водою; у второго оборвали полковой телефонный провод;

у третьего дело хуже: пробили через амбразуру осколком щит орудия и ранили в плечо лучшего батарейного наводчика; у нас накопало вокруг ям, воронок, разорвало в клочья и унесло, должно быть за тучу, один промокший сапог, подвешенный красноармейцем Коноплевым у дерева под солнышком на просушку.

— Ты не шахтер, а ворона,— укоризненно ворчит сержант на красноармейца Коноплева, который задумчиво и недоуменно уставился на уцелевший сапог.— Теперь время военное. Ты должен был взять бечевку и провести отсюда к сапогу связь. Тогда, чуть что, потянул и вытащил сапог из сектора обстрела в укрытие. А теперь у тебя нет вида. Во-вторых, красноармеец в одном левом сапоге никакой боевой ценности не представляет. Ты бери свой сапог в руки, неси его как факт к старшине и объясни ему свое грустное положение.

Пока все, обернувшись, с любопытством слушали эти поучения, через дверь дзота кто-то вошел. На вошедшего сначала внимания не обратили: думали — кто-то свой из орудийного расчета. Потом спохватились. Сержант подошел отдавать начальнику рапорт.

По какому-то единому, едва уловимому движению мне стало ясно, что этого человека здесь и уважают и глубоко любят.

Лица заулыбались. Люди торопливо оправили пояса, одернули гимнастерки. А красноармеец Коноплев быстро спрятал свою босую ногу за пустые ящики из-под снарядов.

Это был старший лейтенант Мясников, командир батальона.

Мы пошли с ним вдоль запасной линии обороны, где красноармейцы — в большинстве донецкие шахтеры — дружно и умело рыли ходы сообщения и окопы полного профиля.

Каждый из этих бойцов — это инженер, вооруженный топором, киркой и лопатой. Путаные лабиринты, укрытия, гнезда, блиндажи, амбразуры они строят под огнем быстро, умело и прочно. Это народ бывалый, мужественный и находчивый. Вот навстречу нам из-за кустов по лощине вышел красноармеец. Присутствие командира его на мгновение озадачивает.

Вижу, командир нахмурился, вероятно усмотрел какой-то непорядок и сейчас сделает красноармейцу заме-

чание. Но тот, не растерявшись, идет прямо навстречу. Он веселый, крепкий, широкоплечий.

Приблизившись на пять-семь метров, он переходит на уставный, «печатный» шаг, прикладывает руку к пилотке и, подняв голову, торжественио и молодцевато проходит мимо.

Командир останавливается и хохочет.

— Ну боец! Ну молодец! — восхищенно заливается он, глядя в сторону скрывшегося в окопе бойца.

И на мой недоуменный вопрос отвечает:

— Он (боец) шел в пилотке, а не в каске, как положено. Заметил командира, деваться некуда. Он знает, что я люблю выправку, дисциплину. Чтобы замять дело, он и рванул мимо меня, как на параде. Шахтеры! — с любовью воскликнул командир.— Бывалые и умные люди. Пошли меня в другую часть, и я пойду в штаб и буду о своих шахтерах плакать.

Мы пробираемся к переднему краю. На одном из поворотов командир зацепил плащом о рукоятку лопаты. Что-то под отворотом его плаща очень ярко блеснуло. На первом же уступе я осторожно, скосив глаза, заглянул сверху иа грудь комаидирской гимнастерки.

А, вот что: там под плащом горит «Золотая Звезда». Он, лейтенант,— Герой Советского Союза.

Но вот мы уже и у самого переднего края. Боя нет. Враг здесь наткнулся на твердую стену. Но берегись! Здесь, наверху, все простреливается и врагом и нами. Здесь властвуют хорошо укрытые сиайперы. Здесь узкий, как жало, пулемет «ДС» может выпустить через амбразуру от семисот до тысячи пуль в одну точку из одного ствола в одну минуту.

Здесь, на подступах к городу, бесславно положил свои пьяиые головы не одии фашистский полк. Здесь была разгромлена начисто вся девяносто пятая немецкая дивизия.

Идет одиночная стрельба. Через узкую щель уже хорошо различается замаскированный вал вражьих окопов. Вот что-то за бугром шевельнулось, шарахнулось и под выстрелом исчезло.

Темная сила! Ты здесь! Ты рядом! За нашей спиной стоит светлый, большой город. И ты из своих черных нор смотришь на меия своими жадными бесцветными глазами.

Иди! Наступай! И прими смерть вот от этих тяжелых шахтерских рук. Вот от этого высокого спокойного человека с его храбрым сердцем, горящим золотой звездой.

Действующая армия
1941

РАКЕТЫ И ГРАНАТЫ

Десять разведчиков под командой молодого сержанта Ляпунова крутой тропкой спускаются к речному броду. Бойцы торопятся. Темнеет, и надо успеть в последний раз на ночь перекурить в покинутом пастушьем шалаше, близ которого расположился и окопался полевой караул сторожевой заставы.

Дальше — где-то на том берегу — враг. Его надо разыскать.

Пока десять человек в лежку — голова к голове — жадно затягиваются крепким махорочным дымом, начальник разведки молодой сержант Ляпунов такого же молодого начальника караула сержанта Бурыкина предупреждает.

— Пойдем назад, так я тебе, дорогой, с того берега пропуск орать не буду. И ты по этому поводу огонь по мне открывать не вздумай. Я вышлю бойца вперед. Ты его окрикни с берега на воду тихо. Он подойдет, тогда скажет.

— Знаю,— важно отвечает Бурыкин.— Наука нехитрая.

— То-то, нехитрая! А вчера часовой так громко крикнул, что противник мог бы услышать. Что на том берегу? Тихо?

— Две ракеты вот так в направлении. Потом два выстрела,— объясняет Бурыкин.— Иногда ветер дунет — тарахтит что-то. Да! Потом самолет прилетал, разведчик. Покрутился, покружился да вон туда, сволочь, скрылся.

— Самолет — хищник неба,— солидно говорит сержант Ляпунов,— а наше дело — шарь по земле, по траве и по лесу. Ну! — сурово поворачивается он.— Как, перекурили? И какая у меня мечта — это некурящая разведка, а они без табачной соски жить не могут.

Подвесив на шею патронташи, держа над водой винтовки и гранаты, темиая цепочка переходит реку.

Голубоватым огоньком мерцает иад волиами яркий циферблат компаса иа руке сержанта.

Выбравшись иа лесиую опушку, сержаит отстегивает светящийся компас, прячет его в карман, и безмолвная разведка исчезает в лесиой чаще.

Ядро разведки движется по лесиой дорожке. Два человека впереди, по два слева и справа. Через каждые десять минут без часов, без комаиды, по чутью разведка останавливается. Упершись прикладами в землю, опустившись иа колеии, затаив дыхаиие, люди напряжению вслушиваются в иочные звуки и шорохи.

Чу! Прокричал где-то еще ие сожраиный немцами петух.

Потом что-то вдалеке загудело, звякиуло, как будто бы стукиулись буферами два пустых вагоиа.

А вот что-то затарахтело... Эго мотор. Здесь где-то бродят мотоциклисты. Их надо разыскать во что бы то ни стало.

Из темиоты возиикает красноармеец Мельчаков и, запыхавшись, докладывает:

— Товарищ сержант, на пригорке, через дорогу, под ногами — провод.

Сержаит идет вперед. Ои ощупывает провод рукою и раздумывает: идти по проводу влево или вправо? Но оказывается, что слева провод уходит в топкое болото. Нога вязиет, и сапог с трудом выдирается из липкой грязи. Вправо то же самое.

К сержаиту подходит Мельчаков, выиимает иож и предлагает:

— Разрешите, товарищ сержант, я провод перережу.

Сержаит Мельчакова остаиавливает. Ои хмурится, потом хватает провод, иаматывает его иа иожиы штыка и с силой тяиет. Провод подается. В болоте что-то чавкает. И вот на дорогу выползает тяжелый камеиь.

Сержант торжествует. Ага, зиачит — провод фальшигый. Так и есть, на другом конце провода привязан и заброшен в осоку кусок железиой рессоры.

— «Перережу, перережу!» — передразиивает сержант Мельчакова.— «Товарищ сержант, доиошу, что телефониую связь между двумя батальоиами болотиых лягушек

уничтожил». Очень ты, Мельчаков, на все тороплив. Иди вперед. Ищи. Где-нибудь неподалеку тут есть настоящий провод.

Опять слышится впереди фырчанье мотора. Разведка движется ползком по песчаной опушке. Отсюда виден за кустарником силуэт хаты. У хаты — плетень. За плетнем — неясный шум.

Сержант шепотом приказывает:

— Приготовить гранаты. Подползти к плетню. Я с тремя иду вперед справа. Гранаты бросать точно по тому направлению, куда я дам пологий удар красной ракетой.

Приготовить гранаты — это значит: щелк — взвод, щелк — предохранитель, щелк — и капсюль на место.

И вот он, скрытый, готовый взорваться огонь, лежит возле груди, у самого сердца.

Проходит минута, другая, пять, десять. Ракеты нет. Наконец появляется сержант Ляпунов и приказывает:

— Разрядить гранаты. Дом брошен. Это бьется во дворе, у сарая, раненая лошадь. Быстро поднимайся. Берем влево. Слышите? Немцы где-то здесь, за горкой.

К сержанту подходит Мельчаков. Он мнется и правую руку, сжатую кулаком, держит как-то странно наотлет.

— Товарищ сержант,— сконфуженно говорит он.— У меня граната не «бутылка», а «Ф-1», «лимонка». И вот — результат печальный.

— Какой результат? Что ты бормочешь?

— Она, товарищ сержант, стоит на боевом взводе.

Мгновенно, инстинктивно от Мельчакова все шарахаются.

— Химик!— отчаянным шепотом восклицает озадаченный сержант.— Так ты что... Уже чеку выдернул?

— Да, товарищ командир. Я думал: сейчас будет ракета, и я ее тут же брошу.

— «Брошу, брошу!» — огрызается сержант.— Ну, теперь держи ее в кулаке и не разжимай руки хоть до рассвета.

Положение у Мельчакова незавидное. Он поторопился, и боек гранаты теперь держится только зажатой в ладони скобой. Вставить предохранитель, не зажигая огня, нельзя. Бросить гранату в лес, в болото нельзя тоже — будет сорвана вся разведка.

Бойцы на ходу шепотом Мельчакова ругают:

— Ты куда, парень, к людям жмешься? Ты иди стороной или боком.

— Куда ему боком? Пусть идет дорогой, где глаже, а то о корень зацепится да как брякнет.

— Не махай рукой, не на параде. Ты ее держи, гранату, двумя руками.

В конце концов у обиженного Мельчакова забирают винтовку и его с гранатой посылают вперед, головным дозорным.

Через несколько минут ядро разведки застает его сидящим на краю дороги.

— Ты что?

— У меня тут под ногой провод,— хмуро сообщает Мельчаков.

Разведка идет по проводу. Вдруг треск моторов раздается совсем рядом. Блеснул и потух огонь. Впереди, у колхозных сараев, шум, движение. Сержант, за ним вся разведка плашмя падают на землю и ползут прочь от дороги, на которой вот-вот, вероятно неподалеку, стоит сторожевое охранение.

Двести метров разведка ползет минут сорок. Потом долго лежит недвижимо, прислушиваясь к шуму, треску и звукам незнакомого языка.

Сержант дергает Мельчакова за пятку и показывает ему на заряженную ракетницу. Мельчаков молча и понимающе кивает головой. Сержант отползает.

Опять одна, другая, долгие минуты. Вдруг красной змейкой, показывая направление, вспыхивает брошенная сержантом ракета.

Мельчаков вскакивает и что есть силы бросает свою гранату через крышу сарая.

Раздается гром, потом вой, затем оглушительный треск моторов сливается с треском немецких автоматов.

Разведчики открывают огонь.

Загорается соломенная крыша сарая. Светло. Видны враги. Так и есть — это мотоциклетная рота.

Но вот в бестолковый треск автоматов ввязываются тяжелые пулеметы.

Перерезав в нескольких местах провод, разведка отходит.

Пальба сзади не прекращается. Теперь она будет продолжаться до рассвета.

Темно. Далеко на том берегу проснулся, конечно, командир роты. Он слышит этот огонь и думает сейчас о своей разведке.

А его разведчики шагают по лесу дружно и быстро. Несердито ругают они теперь длинноногого Мельчакова. Нетерпеливо ощупывают карманы с махоркой.

И чтобы хоть за рекой, в шалаше, он дал им вдоволь накуриться, дружно и громко хвалят они своего молодого сержанта.

Действующая армия
1941

Киносценарии

КОМЕНДАНТ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ

(Киносценарий)

Над СТРОЙНОЙ снежной крепостью с фортами, зубчатыми стенами и башнями развевается флаг — звезда с четырьмя лучами. У открытых ворот выстроился крепостной гарнизон.

Из ворот выходит Тимур — комендант снежной крепости. Он оборачивается к Коле Колокольчикову и твердо говорит:

— С сегодняшнего числа часовые у крепости будут сменяться через час, днем и ночью.

— Но... если которых дома не пустят?

— Мы подберем таких, которых всегда пустят.

В штабе военной части у дверей стоит шофер Коля Башмаков.

Капитан артиллерии Максимов кладет телефонную трубку. Встает, одергивает ремни. Шофер четко поворачивается. Но тут раздается телефонный звонок, и дежурный останавливает капитана:

— Товарищ капитан, вас просят.

Капитан слушает, а потом говорит в трубку:

— Итак, вы опять отступили? Печально... Товарищ командир дивизии, вы генерал, я же только капитан. Но я осмелюсь напомнить, что неоднократно предупреждал: дисциплина в ваших войсках хромает на обе ноги...

Дежурный в недоумении смотрит на капитана. Тот продолжает:

— Ваши подразделения лезут по сугробам без лыж, надеясь сокрушить противника только гиком, криком и диким завыванием. Кроме того, вы штурмуете крепость без плана, без подготовки, кулаками, штыками и саблями, и, конечно, противник бьет вас самой новейшей техникой. Генерал, я высоко ценю ваше личное мужество и вашу храбрость, но одного этого в современной войне для победы — увы! — никак недостаточно... Прошу извинить за прямоту... Через час я буду.

Капитан кладет трубку.

Кладет у себя дома телефонную трубку и сын капитана Максимова Саша. Он берет сигнальный горн. Перед Сашей на покрытом узорной клеенкой столе строй оловянных солдатиков.

Раздается резкий сигнал жестяной трубы. Саша трубит. Внезапно он закашлялся, схватился за грудь. Нянька торопливо передает ему платок.

В темное стекло окна глухо ударяет снежок. Нянька и Сашина сестра Женя разом оборачиваются. Саша, отбросив платок, кидается к окну. Еще удар.

— Это что же такое? — негодует нянька.— Я пойду позову дворника... Отойди от окна, Саша!

Распахивается дверь, и показывается маленькая растрепанная фигура запыхавшегося Вовки:

— О-го-го! Мы дрались, как львы, как тигры... Саша, ты слыхал, как мы «ура» кричали?

Нянька вскакивает:

— Вовка, ты с ума сошел! Скинь пальто! Саша болен, и у него температура...

— Ты не лев и не тигр, ты просто ушастый кролик,— хладнокровно замечает Вовке Женя.

— Домашняя кошка! Я вчера был ранен дважды, а сегодня четырежды! Да знаешь ли ты, что мы подступили к самым стенам крепости?

— Мне не важно, как вы подступили,— гневно перебивает Вовку Саша,— мне важно, почему вы отступили!

— Кто? Мы отступили? — возмущается Вовка и тут же меняет тон: — Ну конечно, отступили... Мы пошли в атаку без лыж. Сугробы по пояс... А этот комендант ночью протянул под снегом проволоку.

— Проволоку?!

— Да, проволоку. А она цепляет за штаны и за валенки... Но берегись! Сегодня ночью мы с Юркой проберемся к ним в крепость!

— Ты?.. В крепость? — насмешливо говорит Женя.— Жил-был у бабушки серенький кролик...

— Я кролик? Я... орел! Улетаю! — кричит Вовка и, взмахнув руками, убегает.

Снова ударяют в окна два снежка, и Женя говорит Саше:

— Пришел чужой мальчик. Привел отряд. Построил у вас под боком крепость... И вы не можете взять ее две недели!

Из двери в соседнюю комнату выглядывает Нина, студентка, соседка:

— Саша, ты с отцом говорил по телефону?

— С папой. Он скоро придет... Он тебе нужен, Нина?

— Он мне всегда нужен. А сейчас я хочу показать ему свою работу.

Нина входит в комнату, вносит картину и ставит ее на стол, прислонив к стене. Саша кашляет. Нина говорит ему:

— Отойди от окна, слышишь?

Саша нехотя отходит. Нянька обижена:

— Я проснула — он стоял, а как она сказала — пошел... Я тебе кто, нянька? А она человек посторонний... соседка...

— Анна Егоровна, вы скажите это при Степане,— добродушно улыбается Нина.

— И скажу. Это для тебя он капитан, а я его вынянчила, и для меня он мальчик...

— И для меня мальчик,— перебивает Нина.— Особенно когда он так: губы вниз, брови вверх... Нянечка, на кого похож Степан Петрович?

— На мать,— смягчаясь, отвечает нянька.— Мать у него была из Рязани, спокойная, работящая... И отец ничего бы, да суров по старинке...

— Раз на мать — примета счастливая. Я, нянечка, тоже работящая... Рязанская, деревенская, песни знаю, плясать умею...

— Ну, пошла-поехала! Ты на свое поворотишь... У каждого командира должна быть жена, у детей командира — мать.

Я три года Степану говорила, что ему нужно жениться. Так нет! И кого ждал? — Она смотрит Нине в глаза и говорит с иронией: — Уж не тебя ли?

Нина предостерегающе косит глазами в сторону детей.

— Ты мне не мигай, я твои мысли вижу. А они,— нянька кивает на детей,— в этом деле еще ничего не понимают.

Женя говорит, не отрываясь от тетрадки:

— Мы, нянечка, все понимаем. Правда, Саша?

— Мне твои слова неинтересны. Я командир дивизии,— холодно отвечает Саша.

Входит капитан Максимов. Он идет прямо к сыну и, положив руку на его лоб, спрашивает:

— Доктор уже был?

— Сейчас будет,— отвечает нянька.

Максимов чем-то взволнован. Он подошел к Нине и тихо сказал ей:

— Нина...

Но, заметив пристальный взгляд няньки, запнулся и посмотрел на картину. На картине нарисованы люди разных возрастов и национальностей. С плодами и цветами в руках они выходят по тропкам на широкую дорогу, которая ведет к освещенным солнцем горным вершинам.

— Это называется «Дорога к коммунизму»? — спрашивает Максимов.

Нина молча кивает головой и настороженно слушает, что скажет он дальше.

Максимов показывает на картину:

— Этот трактор туда идет тоже? Он не дойдет: мал бензиновый бак и велики ведущие шестеренки.

Нина вспыхивает:

— Тебе не нравится? Ну конечно, тебе бы впереди этих людей пустить разведку. По бокам — сторожевое охранение. Вот сюда посадить артиллерийского наблюдателя... Странно, Степан... это же... аллегория, фантазия...

Максимов, улыбаясь, показывает на свои артиллерийские петлицы:

— Не знаю. Очевидно, моя артиллерия твою аллегорию не понимает... Это беспечные люди возвращаются с пикника домой.— Он видит ее взволнованное лицо и

успокаивающе, дружески продолжает: — Девочка, не сердись... но таких дорог к коммунизму не бывает.

Он заглядывает ей в лицо, но Нина, отступая и широко открыв глаза, спрашивает:

— Ты... ты тоже сказал, что я девочка?

— Конечно, девчонка,— не отрываясь от шитья, хладнокровно говорит нянька.— Он командир, капитан. Их дело военное. И куда какая дорога идет, он лучше знает. На это у них план... карты. А ты: коммунизм, коммунизм... А в голове, поди-ка, один ветер.

— Няня! — укоризненно останавливает старуху Максимов.

Женя дипломатично вмешивается:

— Папа, скоро каникулы, и мы устроим у нас веселую елку.

— Очень жаль, что меня на этой елке не будет. Через час-полтора я уезжаю в далекую командировку.

На лице Нины испуг. Лицо няньки настороженно. Женя растерянна. А Саша, прямо глядя отцу в глаза, показывает рукой на карту Финляндии, висящую на стене:

— Папа, неправда! Ты с батареей уходишь туда... на фронт!

Глухо ударяется в окно снежок.

Нянька оборачивается и всплескивает руками:

— Это что же такое? Нет! Людям на свете покоя нету!

Входит доктор Колокольчиков. Отряхиваясь от снега, он говорит:

— Прошу извинения, но во дворе не стихает бой, и к вам пробраться можно только на бронемашине.

Нянька показывает на Сашу:

— Вот, батюшка, у него температура.

— У каждого человека температура.

— У него сто градусов температура,— говорит Женя.

— Это не у каждого,— соглашается доктор.

— Они, батюшка, затеяли войну,— объясняет нянька,— скачут по сугробам. Ну, вот где-то он и схватил себе простуду.

— Он схватил простуду или она его схватила, это мы сейчас разберем.

Доктор подходит к Саше, который хмуро стоит возле своих оловянных солдатиков.

— Молодой человек, у тебя что?

Саша показывает на солдат:

— У меня армия.

— Да. Но ты болен.

— Я командир дивизии.

— Следовательно, вы... вы генерал.— Доктор отыскивает Сашин пульс.— Генерал должен лечь в лазарет. У генерала высокая температура.

Он уводит Сашу в его комнату. За ними идет нянька. Максимов поворачивается к Нине:

— Ты обиделась?

— Ты уезжаешь. Почему ты смеешься?

— Чтобы ты не плакала.

— Я не буду... Была Монголия. Была Польша... Мы привыкли.

В дверь стучат, и у порога останавливается осыпанный снегом мальчик в пальто, перетянутом ремнем. Он вежливо и с достоинством козыряет капитану Максимову и говорит:

— Меня зовут Тимур. Я комендант снежной крепости. Прошу извинить, если несколько наших снарядов случайно залетели на вашу нейтральную территорию.

Он показывает на окно.

На звук его голоса выходит Саша в белой рубашке с распахнутым воротом и останавливается, придерживаясь за дверь. Лицо у него бледное, гордое.

— Ваша орда сегодня отступила по всему фронту...— говорит Саше Тимур.— Но ты болен. Твой помощник Юрка командовать не умеет. И я пришел предложить тебе перемирие.

Закрыв глаза и сжав губы, Саша отрицательно мотает головой. Женя удивленно смотрит на Тимура. Тимур слегка пожимает плечами:

— Как хочешь. Но крепости вам не взять! И чтобы вести бой, у вас должны быть лыжи, крюки, веревки и приставные лестницы... Ты мне враг, но это я тебе говорю как другу.

Саша, открывая глаза, говорит с ненавистью:

— Уходи, уйди! Крепость твою мы все равно захватим!

— Ее сожжет солнце, растопит дождь, сровняет ветер, но вашей она никогда не будет! — вспыльчиво отвечает Тимур, поворачивается и выходит.

Женя бежит за ним следом.

— Молодой комендант! — кричит вдогонку Тимуру доктор.— Я Красный Крест, и я прошу обеспечить мне свободный проход через вашу опасную территорию...

Открывая в передней Тимуру дверь, Женя спрашивает:

— Так вы с моим братом враги?

— Да. И ты на меня за это сердита?

— Нет,— вздыхает Женя.— Что же... ваше дело военное...

Закрыв дверь, Женя возвращается в столовую, где доктор и капитан Максимов разговаривают о Саше.

— У вашего сына, вероятно, воспаление легких,— говорит доктор.— Режим — постель. Еда — легкая. Питье — кислое. Возьмите рецепт. Надо быстро сбегать в аптеку.

Нянька сует Нине в руки рецепт:

— Сходи, Нина. Мне надо собирать капитана.

Нина в замешательстве смотрит на няньку.

— Но, нянечка, можно позвонить,— рассудительно говорит Женя.— Можно послать дворника... А то за папой придет машина, и они не попрощаются.

— Успеет. С трамвая на трамвай, а там рядом,— спокойно отвечает нянька.

Нина тревожно смотрит в глаза Максимову. Он взглянул на часы и молча кивает головой.

— Нина, не ходи,— говорит из своей комнаты уже уложенный в постель Саша.— Я подожду. Мне не больно.

Нина входит к нему, наклоняется и целует его в лоб:

— Спасибо, командир. Спи. Все хорошо будет.

Нина ушла. Нянька укладывает чемодан. Максимов садится на стул возле Саши, рядом с ним пристраивается Женя.

У изголовья Сашиной кровати стоит стол, на нем цветок, коробочка, стакан и отряд оловянных солдатиков.

Стучат. Входит шофер Коля и передает Максимову конверт:

— Товарищ капитан, есть машина... Саша, здравствуй!

Максимов, разрывая конверт, говорит шоферу:

— Вы приехали на час раньше.— Читает приказ.—Все понятно. Дети, мне пора. Няня, скажи Нине, что я ее ждал... Ты на нее не сердись. Ты поцелуй ее от меня.

Саша привстает:

— Папа! Ты пиши мне часто... И ты, Коля, если у него бой, он занят, пиши мне тоже...— Тут он оборачивается, берет со стола оловянного солдатика и протягивает его шоферу: — На, возьми от меня на память.

Коля осторожно приближается, издали протягивая руку:

— Есть писать часто, Саша! А солдат назад вернется с медалью.

Кладет солдата в карман.

— Ты, шальная голова, там, на фронте, не очень-то с капитаном за медалями гоняйся,— строго говорит Коле нянька.— Ты если где видишь — нельзя, опасно, постой, обожди, обвези капитана кругом.

— Есть обвозить капитана кругом.

Саша манит отца и что-то говорит ему на ухо. Отец подумал, загадочно кивнул головой, вынул из полевой сумки бумагу и что-то быстро на ней пишет. Нянька настораживается. Максимов складывает записку и передает ее Саше. Саша взял коробочку, сунул в нее записку, положил коробочку на стол. Потом подумал и поставил около нее двух оловянных часовых.

Максимов берет сына за руку и целует его:

— Товарищ генерал! Желаю счастья, здоровья, а в боях— успеха!.. Пожелайте и мне того же...

Когда Нина возвращается из аптеки, капитана Максимова уже нет. В опустевшей столовой беспорядок. Не глядя на няньку, Нина тихо спрашивает:

— Анна Егоровна, Степан, уезжая, ничего не сказал? Ничего мне не передал?

— Он? — как бы припоминает нянька.—Ничего. Да! Он просил, чтобы ты отнесла его книги в полковую библиотеку.

— Хорошо,— говорит Нина, опустив голову, потом поворачивается и дрогнувшим голосом спрашивает: — Скажите, за что вы меня не любите?

— Я всех люблю,— суховато отвечает нянька.— Но у него большие дети, и им нужна настоящая мать, а не такая, как ты, девчонка.

Вдоль стены снежной крепости мерно шагают часовые.

С деревянными винтовками, немного сутулясь, они хо-

дят навстречу один другому. Потом останавливаются у костра. Часы гулко отбивают четверти.

Первый часовой прислушивается:

— Уже должна быть смена.

— Смена не придет,— отвечает второй часовой, грея над огнем руки.— Никого дома не отпустят.

— Не те времена. Теперь отпустят.

Часовые поворачиваются. По тропке плечом к плечу шагает смена. Большие валенки в калошах четко, с протяжкой отбивают по скрипучему снегу шаг за шагом. Караул сменяется.

— Все спокойно? — спрашивает третий часовой.

— Пробежала собака. Пролетела ворона. Орда спит, и караулить нечего,— отвечает второй.

— Порядок,— говорит первый часовой.— Комендант молодец! Комендант знает, что делает!

— Коменданту хорошо, комендант спит под теплым одеялом! — ворчит третий.

— Комендант проверяет караулы...— говорит, выходя из-за куста, Тимур и, заметив смущенное лицо третьего часового, жмет ему руку:— Ты пришел, ты не подвел, Гриша.— Он выпрямляется.— Встаньте по уставу! Плечи не гни! Стой свободно и гляди в оба!

Из пролома каменной стены высовываются недоуменные лица Вовки и Юры.

— Он сошел с ума. Такой мороз... Брр!.. — жмется Вовка.— Вон кошка подохла. А у них опять сменяются часовые... Мне домой пора. Отец ничего, а бабка вредная, и она может стукнуть по затылку.

— Вот тебе и разведка! — уныло шепчет Юрка.— Эх, заложить бы под стены крепости хорошую бомбу!

— Бомбу?! — Вовка оглядывается и, заметив драный валенок на снегу, хватает его:— Отвлекай часовых! Засекай время! Бомба сейчас будет брошена!!!

Вовка и Юрка крадутся к стенам крепости.

— Стой! Кто идет? — кричит третий часовой.

К нему подбегает четвертый. Оба настороженно вглядываются в темноту. А в этот момент с другой стороны перелетает через стену крепости и падает на снег драный валенок.

Не заметив его, часовые ходят опять четким шагом вдоль стены.

Тревожно раскинувшись, бормочет что-то в полусне Саша. У него жар. Температура поднимается все выше и выше.

Стена над Сашиной кроватью увешана деревянным оружием. На столе у изголовья — цветок в стакане и коробочка. У коробочки замерли два оловянных часовых. Дальше, на краю стола, выстроился целый отряд.

Саша приоткрывает блестящие от жара глаза и смотрит на своих солдат. И вдруг оба часовых точным движением сходят со своих подставок и, приподняв с полу приклады винтовок, чеканным шагом идут навстречу один другому вдоль охраняемого пространства. Саша улыбается. Но вот лицо его насторожилось. Быстрым движением поворачиваются оловянные часовые, перехватывают винтовки наизготовку, приклад к плечу. Пятятся. Смешным клубочком один за другим подымается дым выстрелов. Часовые выхватывают из-за пояса бомбы, бросают их. Беззвучно вспыхивает огонь, вздымаются клубы дыма.

А когда молочный дым рассеивается, над поваленными часовыми протягивается чья-то рука, открывает коробку и достает записку. Это нянька. Торопливо сует она записку в карман и оборачивается. У дверей стоит Нина в пестром халатике и тихо говорит:

— Анна Егоровна, идите, я посижу... Мне все равно не спится.

Нянька поправила Саше подушку, вышла и, прикрыв за собой дверь, торопливо разворачивает записку. На ее лице недоумение. Это чистый белый лист, без единой буквы.

А Нина взяла со столика термометр, покачала головой, подняла опрокинутый пузырек и присела на край кровати. Подняв откинутую, сжатую в кулак руку Саши, она замечает в кулаке бумажку, разнимает Саше пальцы, берет записку и читает: «Милая Нина, береги детей. Расти и сама. Прощай. Вернусь — все хорошо будет. Степан».

Лицо Нины загорелось волнением и улыбкой. Она положила записку в коробку, опять поставила около нее двух оловянных часовых. И, благодарная, опускает голову на грудь Саше.

Стоят опять на посту оловянные часовые.

Часовые у стен снежной крепости прислушиваются к звону башенных часов.

— Должна быть смена,— говорит один.

— Смена не придет. Их дома не отпустят,— возражает другой.

— Не то время. Теперь отпустят.

И тут же оба часовых поворачиваются, услышав мерный, чеканный топот тяжелых шагов по скрипучему снегу. Идут Коля Колокольчиков и еще один мальчик, укутанный с головы до ног.

Караул сменяется у раскрытых ворот. Вдруг Колокольчиков бросается внутрь крепости, поднимает драный валенок и, заикаясь от волнения, кричит прямо в растерянные лица часовых:

— Ротозеи! Я пост не приму! Я доложу об этом коменданту!

На снежной лесной поляне все перекорежено. Возвышается какое-то полуразрушенное железобетонное сооружение. Лежит вверх колесами пушка.

Лыжник в белом халате пересекает поляну и ныряет в чащу леса. Его окружают черные деревья, зубья скалистых камней. Вокруг угрюмая тишина.

Лыжник бежит. Зацепил халатом за сук, рванул, остановился и снимает халат.

Сверху раздается вдруг каркающий голос:

— Гляди под ноги, не задень провод!

Лыжник поднимает голову и видит наверху в ветвях артиллерийского наблюдателя. У него резкое лицо, орлиный нос, на шее — бинокль, в руке — телефонная трубка.

— Ворон-птица! Капитан Максимов у вас на батарее? — спрашивает лыжник.

Наблюдатель резко, как крылом, махнул рукой, показывая направление, и поднес бинокль к глазам.

Внутри полуразрушенного финского дота два красноармейца и шофер Коля пьют чай на дощатом столе возле железной печки.

Телефонист принимает телефонограмму, записывает и через ровные промежутки повторяет:

— Давайте... давайте...

Коля вынимает из кармана бумагу, спички, махорку и оловянного солдата. Он ставит солдата на стол и, свертывая цигарку, говорит:

— Война нелегка. Жена далека. Кругом шинели летят шрапнели. Давай, солдат, табаку покурим.

Красноармеец-башкир отхлебывает чай и усмехается:

— Большой человек с маленький игрушка играет... Смеяться можно.

— Смейся,— отвечает Коля.— Это солдат волшебного войска... Не понимаешь? Ну, как бы по-вашему?.. Колдун, что ли?

— Жулик? Так будет?

— Эк, хватил не по той мишени!.. Этого солдата мне подарил один генерал. У него солдат ученый: он говорить умеет. Скажи, солдат, почему Абдул Муртазин пьет чай без сахару?

Коля пускает густой клуб дыма, который почти закрывает его лицо, и тонким голосом сам отвечает:

— Стоял в секрете и съел на рассвете.

Второй красноармеец хохочет. Телефонист грозит всем кулаком.

— Он у меня еще и не то может! — гордо говорит Коля и снова наклоняется к оловянному солдатику: — Раз, два, три, четыре, пять! — Он дунул, окутал солдата густым клубом дыма и заканчивает, обращаясь к башкиру:— Можешь сахар получать!

Дым рассеивается. Рядом с алюминиевой кружкой башкира лежит кусок сахару.

Башкир добродушно улыбается...

Отодвинулась рогожа, заменяющая сорванную дверь. В клубах пара входит капитан Максимов. Все встают.

Рогожа опять отодвинулась, входит лыжник. Его халат перекинут через руку. Лыжник подает пакет и рапортует:

— Товарищ капитан, посыльный лыжник штаба батальона Егоров прибыл в ваше распоряжение.

Максимов пробегает глазами бумагу.

— Почему вы без маскировочного халата?

— Зацепил, разорвал. Сейчас чинить буду. Товарищ капитан, вам от жены телеграмма. Попала на третью батарею случайно. Распечатана потому, что, меняя позицию, третья батарея передала ее по телефону на вторую.

Лыжник передал телеграмму, отошел и греет руки у железной печки.

— Мне... от жены? — удивленно переспрашивает Максимов, читает, улыбается и показывает телеграмму шоферу Коле.

Коля читает:

— «Саша поправляется, опять собирается штурмовать крепость. Мы для раненых устраиваем елку. Все целуем. Жена Нина».

Капитан, показывая карандашом на подпись, тихонько говорит:

— Женя, Нина.

И быстро пишет что-то на телеграмме. Лицо его лукаво.

Красноармеец-башкир улыбается чуть хвастливо:

— У меня дома в Уфе тоже жена есть. Она мне тоже смешной писем пишет.

— Врешь, врешь! — говорит второй красноармеец.— Никакой жены у тебя нету...

— Невеста есть в Стерлитамаке, Лола зовут,— задумчиво и безобидно отвечает башкир.— Она мне тоже смешной пишет.

Максимов кладет телеграмму в конверт и протягивает его Коле:

— Не забудьте сегодня отправить.

Телефонист, окончивший приемку, молча передает капитану исписанный лист, подходит к печке, греет руки и, усмехаясь, спрашивает у лыжника:

— А у тебя есть Лола?

— Лолы у меня, я прямо скажу, нету,— отвечает лыжник.— Лола у меня после войны будет.

— Тебя убьют, потому что ты бегаешь без маскировочного халата,— строго говорит телефонист.

Лыжник усаживается, расправляет халат, достает иголку и говорит серьезно:

— Убьют? Тогда, конечно, никакой Лолы не будет...

Капитан Максимов, прочитав телефонограмму, приказывает шоферу:

— Приготовьте машину. Едем в штаб участка.

Коля подтягивается:

— Есть приготовить машину, товарищ капитан!

— Товарищ посыльный,— спрашивает капитан Максимов у лыжника,— по опушке леса вдоль озера дорога не под обстрелом?

— Я проскочил, было тихо, товарищ капитан... Но я что? Тень... стрела... заяц...

— Заяц? — усмехается телефонист.— От таких зайцев волки на деревья скачут!..

Через лес пробираются два дозорных финских лыжника. Что-то услыхали, насторожились и направились к дороге, по которой едут в штаб капитан Максимов и шофер Коля.

Максимов молча смотрит вперед. Коля говорит, не поворачиваясь к нему, глядя на дорогу:

— Разрешите, товарищ командир, спросить? Почему вам дома картина у Нины не понравилась? А мне понравилась. Люди идут, цветы несут. Ребятишки по хорошей дороге на палках скачут. Весело... — Коля вертит рулевую баранку, машина прыгает.— А это разве дорога? Погибель! — говорит он, меняя тон, и искоса смотрит на озабоченное лицо Максимова.— Вы бы что-нибудь, товарищ командир, сказали... Очень мрачная вокруг территория.

А вокруг действительно мрачно: угрюмый лес, черный скелет сгоревшей избы, обломки скал, расщепленное дерево, причудливо-уродливые фигуры из снега.

— Да, на картине дорога красивая,— задумчиво говорит Максимов.— Только очень ровная, гладкая, без задержки, без боя...

— Как без боя?! — восклицает Коля, резко меняясь в лице, дает тормоз и хватает пулемет.

Взрыв, дым.

Коля в снегу. Ручной пулемет лежит стволом на пне, и перед тем как нажать на спуск, Коля кричит:

— Как без боя?! Нынче без боя дорог не бывает!

Мчатся на лыжах белофинны. Капитан Максимов стреляет. Коля дает очередь в полдиска.

В небе внезапно появляются два самолета, на крыльях у них красные звезды. Настороженно смотрит вниз наблюдатель. Вдруг он делает резкое движение: он увидел, как внизу, на дороге, отряд лыжников окружает

крохотную машину. Стремительно и круто ложатся самолеты на крыло.

Один из финнов бросает ручные гранаты. Коля падает навзничь. Максимов хватает пулемет и дает по финнам очередь. Потом он смотрит на пустой диск и стреляет из нагана в затвор пулемета.

Стремительно нарастает рев моторов: низко пролетая над дорогой, самолеты бьют сверху по финнам. Максимов тянет за плечи Колю. Тот неподвижен. Капитан становится на колени и, достав из простреленной сумки индивидуальный пакет, бинтует голову Коли. Закончив перевязку, он встает, сдергивает шинель с убитого финна, потом другую, третью и закутывает ими Колю. Потом становится на лыжи и, взглянув на компас, уходит.

Улетели своим путем самолеты. На дороге остались исковерканная машина и убитые белофинны. Близ дороги, укутанный шинелями, лежит Коля.

А капитан Максимов мчится на лыжах под гору через лес. Внезапно он спотыкается и со всего размаха летит в снег. Лыжа сломана пополам. Максимов стоит по пояс в снегу и рассматривает сломанную лыжу. Отбросил ее, прислонился к дереву и ест снег.

По дороге идет, покачиваясь, башня с пушкой—бронемашина. Позади еще три. И на всех на них красные звезды. Водитель первой машины смотрит через узкую щель бойницы и видит, что на пустынной дороге рядом с убитыми финнами валяются полузанесенные снегом обломки легковой машины капитана Максимова. Броневик останавливается, выскакивают красноармейцы.

Коля услышал шум. Он приподнялся, открыл глаза и озирается. Рядом с ним лежит на снегу перчатка капитана.

Раздается громкий звонок. Это началась большая перемена. В школе обычная суматоха. В углу шепчутся две девочки — это Катя и Женя Александрова.

Женя Максимова поймала за руку и теребит малыша Вовку:

— Ты зачем утром опять в пальто к Саше ввалился? Он болен, к нему нельзя... Я знаю, я сама санитарка.— Она показывает на значок.

— Да... Но было спешно! Было важно! Было очень срочно нужно!

— Спешно, срочно, важно, нужно,— скороговоркой передразнивает Женя.— Я попрошу Юру или Петьку, чтобы они тебя срочно поколотили.

Вдруг, заметив шепчущихся девочек и как бы не веря своим глазам, изумленная Женя медленно выпускает руку Вовки, который улепетывает прочь. Но тут же его крепко хватает за руку Тимур.

— Стой прямо! Ногами не дрыгай и гляди мне в глаза! — холодно говорит он.

— Ну, глянул,— робко отвечает Вовка.

— И что ты там видишь?

— Ну, ничего... Синяк вижу, царапину...

— Не туда смотришь, смотри глубже.

— Ну, круги вижу... Зрачок, дырку...

— Ты видишь в моих глазах гнев! Кто высыпал ведро золы, а вчера бросил валенок и мерзлую кошку за стены нашей крепости? Ага, молчишь!—Он хочет дать Вовке щелчка, но раздумал и усмехнулся.— Исчезни! Здесь нейтральная территория, но смотри не попадись мне на поле боя...

Тимур отпустил руку Вовки. Вовка мчится прочь и тотчас же попадает в лапы Юры.

— Стой! О чем ты шептался с Тимой Гараевым? — спрашивает Юра.— Ага, измена! Ты замышляешь предать родной двор и переметнуться к нему на чужбину?

— Нет, он не задумал на чужбину, но он хвастун и он надоедает больному Саше,— с презрением говорит Женя Максимова.— Юрка! Значит, решено? Устроим для раненых елку?

Юрка поворачивается к Вовке:

— Ты смотри, пока об этом молчок!

— Я, братцы, никому... Я человек-камень... Человек-могила!

Женя Максимова подскочила к Кате и дернула ее за руку:

— С кем это ты всю перемену шепталась?

— Это Женя Александрова, одна девочка из шестого «Б». И она мне рассказывала, какое шьет к елке платье...

— Знаю я эту Александрову. Я стояла, я тебе мигала, моргала, а ты... Какое у нее платье? Из материи или из бумаги?

— Она не велела говорить... Она говорит, что ты задавала и что ты вместо нее просунула не в очередь пальто в раздевалке.

Женя остолбенела, потом всплеснула руками и говорит, задыхаясь:

— Я задавала? Я не в очередь? Вот клевета, какой еще не было на свете!

В это время гремит звонок, и Женя меняет голос на обыкновенный:

— Катя, не верь: никуда и ничего я не просовывала.

Она удивленно смотрит и видит, что Женя Александрова подошла и взяла Тимура за руку. Оба они смеются.

— Подумаешь, принцесса крепостного гарнизона! — говорит Женя с гримасой.—Саша выздоровеет, крепость возьмет, а их поколотит.

— Что ты, что ты! Какая принцесса? Она дочь броневого командира...

— Я сама дочь артиллерийского капитана, и это я, а не она придумала устроить для раненых елку.

— Ну, вот ты и задавала! Женька, сознайся, ну чуточку, ну вот столечко, а все-таки задавалочка.

В комнате отдыха, в отделении для выздоравливающих прифронтового лазарета, сидит за столом шофер Коля в халате, с повязкой на голове. Перед ним скомканная бумага и конверт. На столе стоит оловянный солдатик. Коля что-то чертит на белом листе бумаги. Обращаясь не то к сидящему напротив с книгой раненому, не то к солдату, он говорит:

— Когда я закрою глаза, чу́дная встает передо мной картина... Тепло... светло... Идут люди, а также ребятишки и красивые девушки. Песни поют... Несут цветы! Лимоны там, фрукты разные... Весело! А дорога перед ними...— Он зажмурился.— Дорога... лети, вертись, как круглый шар по бильярду!—Коля смотрит на лист бумаги, на нем довольно точно воспроизведена по памяти картина Нины, но человечки нарисованы очень смешные: очень уж широко открыты их поющие рты, слишком пышны в их руках букеты и слишком беспечны их веселые лупоглазые лица.— И вот, когда возникает передо мной эта чудная картина, то сразу представляется мне еще

другая дорога: разбитая «эмка», дым, пустые обоймы. И на снегу перчатка моего капитана, который укутал меня шинелями, чтобы я, Башмаков, не сдох и жил для общей, а отчасти и для своей пользы...

Раненый удивленно поднял от книги глаза на Колю и смотрит, как тот говорит, обращаясь теперь только к игрушечному солдатику:

— Странно! И что мне эта картина? Картон... Краска... Звук далекой музыки... Вроде как и ты, смешной солдат, чужая тень, простая оловяшка... Так почему же, когда я смотрю на вас, сжимается у меня за людей сердце?..

— Потому что ты сидишь с утра за бумагой,— говорит раненый с книгой.—Сейчас я позову сестру, и она отберет у тебя ручку и чернила.

Коля торопливо принимается писать снова.

Двое раненых играют в шашки; один, сидя в кресле, тренькает на мандолине и тихонько напевает:

Письмо придет — она узнает,
На щеку скатится слеза...
И горько-горько зарыдают
Ее прекрасные глаза...

Коля отрывается от письма и говорит раненому:

— Прошло всего четыре дня, а мне кажется, что прошло четыре года.

Он задумался. Потом опять заговорил не то с раненым, не то сам с собой:

— Когда я вступал в партию, меня один человек спрашивает: «Чего тебе впереди надо?» Я отвечаю: «Чего всем людям: счастья...» Он говорит: «Про это в программе не написано. Наша цель —социализм и далее коммунизм в развернутом виде. А счастье — понятие неопределенное и ненаучное...» — «Нет,— говорю я,— для отдельного типа действительно так. Кто его угадает, что ему в жизни надо? Одному — жена, другому — изба, третий на рояле играть любит... Но чего всем людям вместе надо, это и научно определить возможно».

Медицинская сестра проходит мимо:

— Товарищ Башмаков, что вы бормочете? Оставьте чернила и бумагу. Идите гулять или играть в шашки.

— Шашки — пустое развлечение. Это игра не для моего характера... Сестра, как бы мне получить из цейхга-

уза вещи? В гимнастерке лежит неотправленное письмо капитана.

— Вещи и документы вы получите послезавтра, когда пойдете в отпуск.

Сестра уходит, и Коля снова обращается к раненому:

— Доктор сказал: «Странный случай в медицине. Если обыкновенного человека стукнуть по голове, он дуреет. В вас же швырнули бомбой, ударили головой о дерево, а вы сидите и рассуждаете, как настоящий философ».

— Он пошутил. Это он сказал для ободрения духа.— Раненый показывает на рваную бумагу.— Вот ты уж десять раз письмо рвешь и опять пишешь... Это разве философия? Это дурь!

— Я пишу семье моего погибшего начальника... Я пишу: «Девушка, зачеркните на вашей картине цветы. Капитан был прав, и нынче без боя дороги не бывает».

Раненый пожимает плечами:

— Доктор определенно пошутил. Случай в медицине самый обыкновенный...

Сестра подходит и говорит твердо:

— Больной Башмаков, оставьте ручку и чернила. Идите гулять. Отдыхайте или играйте в шашки.

Коля торопливо берет конверт, вкладывает в него исписанный лист бумаги и пишет адрес: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Лично для Нины». Быстро подходит он к стоящему тут же в комнате почтовому ящику. И мгновение медлит.

Раненый с мандолиной громко запевает:

Письмо придет — она узнает,
На щеку скатится слеза...

Коля рывком бросает письмо в щель почтового ящика.

Играющие в шашки с треском заканчивают партию. Раненый, который читал, захлопывает книгу. Все они разом, дружно подхватывают:

И гор-р-рько-горько зарыдают
Ее прекрасные глаза...

Нина сидит на кровати около Саши. Она берет его за руку и говорит:

— Женя в школе, няня в магазине. Я вернусь скоро. Саша, я прошу тебя, к окну не подходи близко...

— Женька моих голубей не кормит. И там кто-то их к своему окну переманивает.

— Хорошо, я буду их кормить сама. Ты мне веришь?

— Почему папа не ответил на твою телеграмму?

— Почему? Очень просто: они, вероятно, перешли в наступление, и телеграмма его не застала на старом месте.

— А где у него было старое место?

— Я не знаю... Ну, где-нибудь в лесу,— Нина улыбается,— под елкой. Ты, Саша, сам командир и это дело лучше меня знаешь.

— Да, конечно,— благодарно улыбаясь, говорит Саша.— Они перешли в наступление. И я перейду в наступление тоже. Иди. Я тебя люблю, Нина.

Нина ушла, а Саша подошел к окну, поцарапал по заснеженному стеклу пальцем и сделал круглую дырочку. Прилетают голуби и усаживаются на карниз окна.

В это время раздается звонок. Саша выходит в переднюю и видит, как сквозь щель просовывается письмо. Он поднял его и бежит в свою комнату. На лице его волнение. Он повертывает письмо. Глядит на свет. Ему очень хочется вскрыть письмо. Но на конверте надпись: «Лично для Нины».

Саша кладет письмо на подоконник и стоит у окна. Вдруг он замечает, что к одному из окон в стене высокого дома напротив слетаются на снежный карниз голуби. Через форточку просовывается рука и сыплет крошки голубям. Голуби клюют. Тогда Саша в гневе поворачивает рукоятку оконного запора и распахивает обе рамы. Пар врывается в комнату. Саша высовывается из окна, шарит по подоконнику и тянет тряпку. А тряпка зацепила и тянет письмо. Тянет и оловянных солдатиков.

Саша кричит:

— Это кто моих голубей переманивает?

Снизу, со двора, удивленно наблюдает за Сашей Коля Колокольчиков.

Саша швыряет тряпку. Летит вниз письмо, и падают солдатики. Перегибаясь, с отчаянием смотрит Саша вниз, но письма не видно. Он поднял голову и замер, потому что в окне напротив он теперь видит изумительной красоты девочку. У нее белые, падающие кольцами на плечи локоны. Волосы схвачены обручем, от которого расходятся

мерцающие лучи. На ней легкое, как дымка, усеянное звездами платье, и она пальцем показывает куда-то вниз. Там внизу, за уступом, невидимое Саше, лежит письмо.

Саша высовывается глубже. Но тут в комнату вбегает Нина, хватает за плечи Сашу, оттаскивает от окна и закрывает рамы. Саша бросается в переднюю. У дверей Нина его задерживает.

Саша бормочет:

— Оставь! Пусти!.. Я уронил за окно письмо... Это письмо с фронта, от Коли, про папу...

— Сашенька... Саша... Мы письмо сейчас найдем. Мы его разыщем...

Саша, сразу ослабев, прижимает голову к груди Нины, глаза его закрываются, он бормочет:

— Письмо лежит в снегу... там в окне девочка, она звезда... Она вам покажет. Она его видит...

Нина в недоумении.

А загадочная девочка все еще смотрит через морозное окно. Вдруг она что-то внизу увидела и всплеснула руками.

Саша лежит в постели. Снова его томит жар. Температура снова все растет и растет. Неподвижно стоит в углу комнаты целый полк оловянных солдатиков, лежит на ковре у дверей котенок. И вдруг четким движением все солдатики сходят со своих оловянных подставок, маршируют и поют:

Спит, тревожным сном объятый,
Наш начальник до утра.
Оловянные солдаты,
Нам в поход идти пора.
Сон его не потревожа,
Разумеется само,
Отыскать ему поможем
Очень важное письмо.
Тра-та. Тра-та.
Тра-та-та-та.
Снега, сугробы и леса...
Оловянные солдаты
Разошлись на полчаса.

При этих словах все войско разделяется на несколько отрядов, которые вполоборота расходятся в разные стороны.

С винтовками наизготовку, по пояс в снегу торчат возле рваного валенка оловянные солдатики.

Стоит Тимур, рядом с ним — Коля Колокольчиков. В руках у Тимура распечатанное письмо.

— Оно лежало здесь...— показывает Коля и видит солдатиков.—Смотри, куда свалились из окна оловянные солдаты.— Он поднимает их.

— Зачем ты письмо распечатал?— спрашивает Тимур.

— Оно намокло и в кармане отклеилось. Я иду — дай, думаю, отнесу. А потом иду — дай, думаю, прочитаю.

— Это письмо тревожное. Письмо неясное. И я еще не знаю, нужно ли, чтобы такие письма доходили по адресу...

Тимур быстро прячет письмо в карман, потому что подходит нянька.

— Эй, вояки! Вы здесь ничего не поднимали?— спрашивает она.

— Да, они упали из вашего окна,— говорит Коля и протягивает солдатиков.— Это ваши солдаты?

— А больше ничего? Письма в снегу не было?

Мальчики молчат.

— Он бормочет: «Голубая звезда, она письмо видела»,— задумчиво говорит нянька.— Бред, температура... Какое письмо? Какие звезды? А может быть...—Тут нянька пристально смотрит на мальчиков.— Вы глядите, я правду все равно узнаю!..

В кровати сидит Саша с книгой «Прорыв танками укрепленной полосы». Рядом с Сашей—Вовка. Саша читает:

— «После того как тяжелые танки пройдут предполье, старший артиллерийский начальник должен перенести всю мощь огня в тыл, препятствуя продвижению вражеских резервов...»—Он бросает книгу.— Нет, это нам никак не подходит...

— Может быть, подойдет где-нибудь в другом месте...— нерешительно говорит Вовка и листает книгу.

— Нет, и в другом месте не подойдет тоже... Но крепость должна быть взята и разрушена! Прикажи Юрке поставить людей на лыжи, запасти лестницы, щиты, крюки, веревки...

— Да, но ты сначала не хотел этого сам. Кто велел гнать инженерную роту? Кто сказал, что мы не плотники, не столяры, а казаки?

— Казаки, казаки! У казаков разведка, а у нас?.. Неужели нельзя узнать, что этот комендант нам еще приготовил?!.

— Я тебе говорю, он сумасшедший. Часовые сменяются вторые сутки, а за стенами что-то стучит у них, колотит,— уныло отвечает Вовка и тут же радостно вспыхивает:— Есть идея! Молчи и не спрашивай. Я направлю в крепость свою агентуру.

— Какая беда, что я болен! Наступайте! Вызовите на помощь мальчишек из дома тридцать шесть, из сорок четвертого. Мы им осенью помогали. Достаньте рогожи, доски! Нападайте, когда темно, к ночи... Нам стыдно! Их мало, а они над нами смеются и зовут нас то «Дикой дивизией», то «Большой ордой»... Нет папы! Был бы папа, он бы подсказал, посоветовал. Вовка, будь другом...— Саша показывает на окно:— Разыщи, чья там квартира. Там у окна сидела девочка. Она как звезда, в волосах искры, сама голубая. И кто со снега письмо про папу взял, она видела.

— Да! Но в этот дом ход... совсем с другого квартала: надо через парк, мимо крепости. А как ее, девочку, зовут?

— Ну вот, кабы я знал! А ты спроси: не у вас ли живет вот такая?

Саша пробует показать, как выглядит девочка: делает надменное лицо, крутит от головы к плечам пальцами, изображая локоны.

— Такая?— Вовка повторяет Сашины движения, потом неуверенно говорит:—Да, но если я даже найду квартиру и стану спрашивать, не живет ли здесь вот такая, то жильцы очень просто могут подумать, что я какой-нибудь ненормальный.

— Ну и пусть подумают. Экое дело!

— Обидно. Кроме того, меня по дороге изловят часовые из крепости.

— Так ты не пойдешь? Для товарища? Ты трус!

— Кто, я?— Вовка смотрит на увешанную деревянным оружием стену.— Дай мне какую-нибудь саблю! —

Снимает одну, гнет, швыряет.— Не та сталь... Вот эту. Дай пистолет.— Снимает со стены пистолет, важно жмет Саше руку.— Прощай!

Вовка уходит, но в дверях поворачивается:

— Вот такую?— Он чертит вокруг своей головы звезду и локоны.— Засекай время! Я тебе приволоку эту звезду сюда... За волосы!

Через четверть часа Вовка выводит во двор свою маленькую, четырехлетнюю сестренку. Она похожа на шар. На руках ее большие варежки, а на ногах неуклюжие валенки.

Вовка вынимает руку из кармана.

— Смотри. Это конфета...— Он вынул вместо конфеты чернильную резинку, увидел и запнулся.—Гм... Это не конфета. Но здесь будет конфета. Одна, две... Четыре! Иди вот туда.— Он показывает в сторону крепости.— Видишь стены, ворота? Иди. Махай прутиком, как будто бы ты гуляешь, а сама пой песню: «Тра-ля-ляй, тра-ля-ляй...» Они тебя не тронут. А ты смотри, в ворота заглядывай! Потом все мне расскажешь. А потом я тебе за это дам... ну, там увидим что... смотря по заслугам. Иди! А мне,— он вздохнул,— звезду искать надо.

Вовка задирает голову на стену восьмиэтажного дома и считает окна:

— Первое, второе, третье, три уступа, два балкона, окно снизу третье, сбоку шестнадцатое. Раз, два! Засекаю!—Он взмахивает саблей, оборачивается и видит перед собой вооруженного Колю Колокольчикова.

— Я дозорный крепости Колокольчиков. Кто ты?— холодно спрашивает Коля.

— Я... Вовка...

— Что у тебя в руке?

— У меня? У меня палочка.

— Врешь, это сабля. Стой и защищайся!

— Очень странно. Вы, кажется, хотели... перемирие...

— Мир для воинов, а не для диверсантов! Ты же ночью забросил к нам в крепость мерзлую кошку, а кто-то недавно высыпал за стену ведро с золой. За это мы должны тебя уничтожить!

— Золу не я. Это Юрка.

— Юрка будет уничтожен особо, а ты особо!

Коля вынимает саблю, но тут же растерянно оглядывается, отскакивает и убегает прочь, потому что с метлой в руке к ним приближается дворник. Он басовито кричит вдогонку Коле:

— Ты... разведка! Со двора выметайся! Вы меж собой воюйте, сражайтесь, но у меня чтобы все стекла целы были!

Завидев приближающуюся Женю Максимову, Вовка нахохливается и важно сует саблю за пояс.

— Трус! Так я тебя и испугался! Жаль только, что помешал дворник... Женя, возьми мою сестренку. Пойдите с ней вон там погуляйте. Очень интересно. Вон стоит комендант Тимка. Ты подойди к нему и что-нибудь тыр... быр... тыр. Ну, ты умеешь... А я тихо, как тигр, проскочу мимо крепости.

Женя берет за руку девочку и критически оглядывает Вовку:

— Ты не тигр, а ты просто смешной ушастый кролик.

На небольшой площадке около парка толпится народ: здесь продают елки. Меж деревьев, направо от дороги, видна снежная крепость. За нею стена ограды большого дома. В сторонке стоят Катя и Женя Александрова.

— Ты Женя, и она Женя,— говорит Катя.— Я вас помирю. Она очень хорошая. Ее отец тоже на фронте... И мы решили устроить для раненых елку.— Катя оборачивается и резко спрашивает подошедшего к ним вплотную Тимура: —Тебе что надо?

— Это Тимур, мой товарищ,— говорит Женя и тихо предупреждает Тимура:—«Большая орда» готовит к штурму лыжи, крюки, палки.

— Знаю.

— Ты всегда все сам знаешь! — слегка обижается Женя и, увидев приближающуюся к ним Женю Максимову, отворачивается.

— Ты что?— удивляется Тимур.

— Это идет одна девчонка. Ты ее, кажется, тоже знаешь...

— Это идет Женя Максимова. Знаю.

Он тянет Женю Александрову за собой, но она вырывает руку. Тимур подходит к Жене Максимовой. Они дружески здороваются.

— Тимур определенно помешался,— говорит Женя Александрова Кате.—Он ведет ее в нашу крепость, а она все расскажет своему брату!

Тимур подводит Женю Максимову и Вовкину сестренку к прекрасной снежной крепости с фортами, башнями и зубцами. За ними идет и Катя.

На одной из башен развевается флаг— звезда с лучами. Ниже, в стене башни, часы — это вправленный в снег будильник. Над часами решетка. У ворот крепости стоит часовой. Внутри деловито суетится гарнизон. На уступах стен возвышаются пирамиды снежных снарядов. Между зубьями самодельный зеркальный перископ. В углу стоит что-то громоздкое, тщательно укутанное рогожей. Горит костер, над костром котелок. Коля Колокольчиков торопливо пьет из кружки чай и ест булку. У огня лежит большая собака.

Тимур показывает девочкам какое-то замысловатое орудие. Казенная часть его— это косой, покрытый льдом лоток, по которому уложены цепочкой круглые снаряды. Справа колесо с рукояткой. По ободу колеса широкие стальные пластинки. Это автопушка. Около нее возятся артиллеристы. Знакомя с ними девочек, Тимур называет номера расчета: замковой, наводящий, подающий, заряжающий.

— Сколько? — показывая на орудие, спрашивает Тимур.

— Проверял по часам: сто двадцать выстрелов в минуту,—отвечает замковой.—Была одна задержка — перекос снаряда. Но это вина их,—он показывает в сторону мальчишек, которые лепят снежки,— а не наша...

Замковой поворачивает круг, стальная пластинка оттягивается. Снаряд скользит по лотку и становится перед казенной частью. Пластинка с треском срывается, снаряд вылетает. На его место стал другой, потом третий, четвертый.

Целая очередь снарядов пролетает над головой Вовки, который осторожно крадется по тропинке через парк. Вовка присел. А замковой в крепости дает еще несколько выстрелов, к полному восхищению Жени и Кати. Только

маленькая Вовкина сестренка, не обращая ни на что внимание, опасливо смотрит на большую собаку.

Женя видит сооружение, покрытое рогожей. Хочет его приоткрыть. Но Тимур быстро задергивает рогожу:

— Простите, но этого нельзя. Это наша военная тайна.

Резкий свисток прерывает Тимура: часовой заметил пробирающегося меж деревьев Вовку. Часовой хватает снежок. Но Вовка уже за забором.

— Это сигнал,— говорит Тимур.—Теперь я попросил бы женщин с территории крепости удалиться.

Женщины — Женя и Катя — с достоинством откланиваются. Маленькая девчурка, не опуская недоверчивых глаз, опасливо кланяется собаке.

— Послушай,—говорит Женя,—почему ты с нами так разговариваешь? Какие мы женщины? Какая территория? Какая тайна? Ты над нами смеешься!

С лица Тимура сходит суровая маска. Теперь это обыкновенное лицо задорного мальчугана, он улыбается.

— Я смеюсь, но не над вами. Мне весело. Твой брат— наш враг, и им не взять нашу крепость ни за что на свете! Что свистишь? — обращается он к часовому.

— Шпион проскочил. Вовка Брыкин.

— А Вовку надо изловить и вот на этой башне повесить! — говорит Тимур.

Но Вовка в это время уже поднимается по чужой лестнице. Немного помявшись на площадке у двери, он звонит. Высовывается здоровенный дяденька и молча ждет вопроса.

— Скажите, пожалуйста, не живет ли здесь одна девочка?—спрашивает Вовка.

Дяденька хладнокровно оборачивается и зовет басом:

— Варвара... Тебя спрашивают.

Выходит очень маленькая девчурка в белом передничке, с вымазанными мукой руками. Она отряхивает муку, потирая одной рукой о другую, и спрашивает:

— Ты ко мне, мальчик? Я занята.

— Это не то. Это с другого подъезда,—пятится Вовка и мчится вниз по лестнице.

Девчурка пожимает плечами, улыбается:

— Он меня, кажется, испугался.

Вовка останавливается перед другой дверью и звонит. Дверь осторожно отворяется. В щель просовы-

вается рука. Рука хватает Вовку и бесцеремонно втаскивает в темную прихожую. Худенькая старушка теребит Вовку:

— Я тебя пустила на полчаса, а тебя нет два часа! Разбойник! Ты хочешь моей погибели!

— Нет, тетенька, я совсем не хочу вашей гибели,— заикаясь, лепечет Вовка.

— Ты кто?—изумляется старушка и зажигает свет.

— Я, тетенька, хотел спросить... нет ли тут у вас одной девочки?

Старушка выталкивает Вовку за дверь:

— Нет у нас никакой девочки! Хватит нам и одного мальчика!

Вовка снова пускается на поиски и звонит у третьей двери. За дверью слышна музыка. Кто-то играет на аккордеоне. Дверь распахивается — перед Вовкой стоит Женя Александрова. На ней просторный длинный халат.

— Тебе что?— спрашивает Женя.

— Я хотел спросить... Не живет ли здесь одна девочка?

— Я живу. Я девочка.

— Ты? А нет ли какой-нибудь еще... в другом роде?— говорит Вовка, критически оглядывая Женю.

— Девочки в другом роде не бывают,— усмехается Женя.—Девочки все в одном роде.

— Это конечно. Но я хотел спросить... нет ли у вас тут такой... покрасивей?

— Ты глуп, и что тебе надо, я не понимаю!— вспыхивает Женя, захлопывает дверь и уходит в комнату.

Там ее сестра Ольга играет на аккордеоне и тихонько поет:

Летчики-пилоты... Бомбы, пулеметы...
Вот и улетели в дальний путь...

Ольга кладет аккордеон и спрашивает:

— Женя, я не пойму: ты на Тимура сердита?

— Не знаю... Он переменился,— с горечью говорит Женя.— Что же? Разве он на самом деле командир или начальник?

— Я не знаю, как сейчас... Но большим командиром этот Тимур когда-нибудь будет... Это кто приходил?

— Приходил какой-то мальчишка, спрашивал какую-то девчонку...

Женя сбрасывает халат. На ней замечательное, в звездах, платье. Она подошла к зеркалу, надела белокурый в локонах парик с мерцающими лучами, расходящимися от светлого обруча.

Это и есть та «голубая звезда», которая так нужна Саше.

В коридоре военного учреждения перед каким-то командиром, подтянувшись, стоит Тимур. Рядом с военным молодой, еще неуклюжий призывник.

— Скажите, если человек убит, ранен или пропал без вести... об этом с фронта в письме писать можно?—спрашивает Тимур.

— Можно, но не нужно! —отвечает военный.— Об этом только после проверки и кому нужно мы сообщаем сами.

Тимур хочет еще что-то спросить, но вдруг в глубине коридора он замечает няньку, которая идет и осматривает на дверях таблички.

— Можно, но не нужно? Спасибо!— поспешно говорит он и козыряет.— Больше мне ничего знать не надо,—четко повернулся и вышел.

— Товарищ, одерните ворот, поправьте ремень,—говорит военный призывнику, показывая на уходящего Тимура.—Смотрите, как нынче мальчишки-пионеры ходят...

Тем временем нянька, найдя нужную комнату, разговаривает там с военным о Максимове.

— Значит, Степан не убит? — спрашивает нянька.

Военный сочувственно и огорченно пожимает плечами.

— Тогда он, может, в плену?

— Вряд ли.— Военный быстро поправляется: — Капитан Максимов значится пока как пропавший без вести... Дети у него есть?

— Двое.

— Вы пришли, и я вам сказал, но детям его я бы советовал пока ничего не говорить... Да и жене не надо...

— Жены у него нет... Невеста.

— Невесте я бы несколько дней подождал говорить тоже.

— Значит, без вести?

Нянька поднимает на военного свое старое умное лицо и не то про себя говорит, не то спрашивает:

— Война?
Военный, вставая, смотрит ей в глаза и, кивнув головой, твердо отвечает:
— Война!

Сидя за столом, заваленным ворохом бумаги, лент и лоскутков, Женя Максимова шьет маскарадное платье. Рядом в кресле сидит Саша, ноги его укутаны одеялом. Перед Сашей стоит растерянный Вовка.
— Ты подумай, она была в крепости и не хочет сказать нам ни слова! —с досадой говорит Вовка, показывая на Женю.
— Я была у коменданта как гость, а не как ваш разведчик! Понятно?
— Понятно, понятно,— сердито отвечает Саша и поворачивается к Вовке: — А что же твоя агентура?
— Моя агентура — просто дура! Я ее спрашиваю: «Что видела?» — «Собаку».— «Еще что?» — «У ней на лапах когти». — «Ну ладно, а еще, кроме собаки?» — «Мальчишек видела. На них собака не смотрит, а на меня глаза уставила и зубами ворочает». Вот и поди с такой агентурой поработай!
— Лыжи, палки, рогожи, крюки готовы?
— Все готово. Сегодня к ночи от крепости останется один пепел.
— Я буду смотреть через окно. И если вы, трусы, опять отступите, я сам на улицу выскочу!
— Кто отступит? Мы? — Вовка протягивает Саше руку:— Считай, что крепость уже разрушена! Остались обломки... угли, дым, пепел. Вороны летают. Бродят собаки, волки... и жрут трупы...
Вовка важно уходит.
— Ой, и до чего же хвастун этот Вовка!—почти восхищенно говорит Женя.
— Женя, когда от папы последняя была телеграмма?— спрашивает Саша.
— Давно: две недели,—отвечает Женя, доставая из кармана телеграмму, и повторяет давно заученный наизусть текст: — «Ленинград, Красноармейская, 119 Максимовым. Пишите чаще, как здоров Саша. Целую. Папа».

— Пишите чаще, а сам ничего не пишет... Женя, Вовка не смог. Узнай ты, чье это окно.

— Ну как его узнаешь? Таких окон сто. А ход в тот дом с другой улицы... Ну, какая у окна примета?

— Там сидят мои голуби. Там живет такая девчонка. Она, как звезда... Красавица.

— Голубь — примета летучая. Он то здесь, то там сядет. А красавиц в нашем квартале ни одной нету,— пожимает плечами Женя и, увидев вошедшую Нину, радостно кричит:—Нина, шей скорее мне платье! Скоро елка, у всех все уже готово.

— Нина, ты моего папу любишь? — спрашивает Саша.

— Да. Очень!— просто и прямо отвечает Нина.

— Тогда найди ту девочку. Она видала письмо. Оно про папу...

— Сашенька, у тебя была температура, жар. Тебе, может быть, просто показалось?

— Нет! Это мне потом показалось... А сначала мне ничего не показалось...

— Не кричи. Смотри, какой горячий...— говорит, входя в комнату, нянька.— Дед твой был солдатом. Отец — капитан. А ты... ты, наверное, будешь генералом.

Нина внимательно вглядывается в Сашино лицо:

— Саша, у тебя глаза блестят, лицо горит. У тебя опять температура.

Пристально смотрит за окно Саша.

Вечером, в сумерках, за сараями торопливо собирается «Дикая дивизия». В воротах домов толпятся болельщики и любопытные. В одних воротах стоит Женя Александрова, в других — Женя Максимова.

В руках у мальчишек крюки, палки, веревки. На снегу лыжи. Большинство мальчишек укутано в самодельные маскировочные халаты из простыней, наволочек и передников. У некоторых на голове белые тюрбаны из полотенец. Особо великолепен Вовка. Куском материи у него закрыты грудь и живот, спина черная. В руке труба. В другой руке флаг с замысловатой эмблемой: разинув пасть, стоит на задних лапах полосатый тигр. Другой флаг развевается над башней крепости. На нем

простая звезда с лучами — это эмблема Тимура и его команды.

Над часами на снежной башне опускается железная решетка. Из стены сбоку выдвигаются деревянные, покрытые льдом ворота и наглухо закрывают вход в крепость. Через одну из бойниц пристально смотрит Тимур. Рядом с ним трубач, Коля Колокольчиков. У автопушки выстроился артиллерийский расчет. Весь гарнизон наготове стоит у стен. Все спокойны, но настороженны. В углу торчит какое-то сооружение, закутанное рогожей.

К крепости пробираются через кусты парка мальчишки «Дикой дивизии». Меж деревьев осторожно движется отряд лыжников. По пояс в снегу волокут мальчишки приставные лестницы.

Тимур повернулся, взмахнул рукой. Ребята из его команды сдергивают рогожу, под ней оказывается прожектор; он сделан из автомобильной фары. Ребята крутят колесо, и на стекло падает проволочная сетка. Прожектор поднимается над стенами. Вот блеснул яркий луч. И мальчишки, пробирающиеся через парк, падают в снег.

— Разведчик! Что же ты не узнал, что у них есть прожектор...— сердито шепчет Юрка Вовке и командует остальным: —Лежите, не шевелитесь! А ты, Вовка, беги назад, ползи, как кошка. Скажи штурмовикам и лыжному отряду, чтобы они незаметно перестроились и заходили с тылу.

Мальчишки волокут салазки. Тащат через сугробы лестницы.

Луч прожектора приближается. И снова все падают в снег. Но внезапно из репродуктора, висящего в парке, раздается голос диктора:

«Внимание! Объявляется воздушная тревога! Немедленно тушите свет и затемняйте окна!»

Луч прожектора гаснет. В темноте слышен обрадованный голос Юрки:

— Потух! Вовка, передай штурмовикам и лыжникам, чтобы шли своим прежним направлением.

— Они больше не послушают. Они ругаться будут.

Ревут гудки и сирены. В столовой у Максимовых Нина, выключив свет, торопливо опускает маскировочные шторы на окнах. В соседней комнате Саша бросается к окну и смотрит на стену дома напротив. Там быстро, це-

лыми секциями, гаснут огни. Остается освещенным только одно окно, и это — то самое, которое так нужно Саше.

Саша вскакивает на подоконник и распахивает форточку.

Со двора доносятся крики:

— Тушите свет!

— Чья квартира?

— Это двадцать четвертая.

А в это время в квартире у Александровых Ольга с намыленной головой стоит в ванной комнате. Затрещал телефон, почти одновременно раздался оглушительный звонок в дверь. Ольга вылетает из ванной и бросается к выключателю.

Свет тухнет. Саша спрыгивает с подоконника и выбегает, бормоча:

— Двадцать четвертая... двадцать четвертая...

Хлопнула входная дверь.

— Кто там?—тревожно спрашивает Нина и включает свет: шторы ведь уже опущены.

Никто не отвечает. В передней пусто. Нина бросается в комнату Саши. Саши там нет. Нина выскакивает на лестничную площадку и в страхе кричит:

— Саша! Саша!

Голос диктора объявляет отбой пробной воздушной тревоги. Дают отбой гудки и сирены.

Из крепости доносится голос Тимура:

— Огонь! Прожектор!

В панике пятится попавший под луч прожектора Вовка. Штурмовики, которые тащат крюки и лестницы, в замешательстве останавливаются. Луч прожектора медленно шарит по парку и вдруг освещает на тропинке меж сугробов Сашу, взлохмаченного, без шапки и без пальто. Саша делает несколько шагов, но свет слепит его, и Саша, пошатнувшись, хватается за куст.

— Что за герой? — недоумевает Коля Колокольчиков.— Он идет прямо на батарею.

— Он не герой, он болен,— говорит Тимур.

— Командир с нами! — кричит в кустах Вовка.— Ура! В атаку! — И он трубит наступление.

Коля Колокольчиков в крепости трубит сигнал к бою.

— Не надо! — кричит Тимур и вырывает у Коли трубу.

Коля выхватывает из-за пояса пистолет и пускает ракету. Раздаются крики: «Ур-ра-а-а!!!» Из жерл орудий выбрасывается черный дым. Снежки вылетают из автопушки. Полоса снарядов бьет по одному из отрядов наступающих. Ослепленный прожектором и осыпаемый снарядами, отряд разбегается.

На тропке появляется Нина в легком платьице. Она в центре огня.

— Стойте! Стойте! — кричит Нина.

На тропу выскакивает Женя Максимова и сталкивается в упор с появившейся с другой стороны Женей Александровой.

— Труби отбой! Белый флаг наверх! — кричит Тимур.

— Какой отбой? — злобно восклицает Коля.— Смотри, они отступают!

— Вперед! Вперед, трусы!!! — кричит Саша отступающим мальчишкам.

Бросается к крепости, но оступился, зашатался и падает в сугроб.

Тимур вырывает трубу у Коли:

— Я комендант! Даю отбой! Прожектор на флаг!!! Белый флаг наверх!!! — Он трубит отбой.

В кустах Вовка, поднимая голову, говорит Юре:

— Смотри, кажется наша взяла... Они сдаются!

Над крепостью поднимается белый флаг. Луч прожектора ползет за флагом.

— Ура! Наша взяла! Вперед! Смелее! — орет Вовка.

Со всех сторон мчатся ребята из «Дикой дивизии» на умолкнувшую крепость. Ворота крепости медленно раздвигаются. Выходит Тимур и бежит к Саше.

Нина хватает Сашу и прижимает его к себе. Женя Максимова рвет крючки, пытаясь снять шубку, но прежде чем она успела это сделать, Женя Александрова набрасывает свою шубку на плечи Саше. При этом она говорит Жене Максимовой:

— Оставь! У тебя кофта, у меня свитер... Теперь моя очередь — пальто не в очередь!..

Ворвавшись под командой Вовки, «Дикая дивизия» громит крепость. Поленом ударяют по замку автопушки. Падает прожектор.

Коля Колокольчиков в отчаянии показывает Тимуру на крепость:

— Скажи, зачем? Что... Что ты наделал!

Он швыряет в снег трубу, ухватился за ствол дерева, плечи его вздрагивают. Он плачет.

Саша открывает глаза:

— Крепость взяли?

— Есть, командир! Взяли! — подскакивает Вовка.— Остаются угли... дым... пепел...

Утро. На разрушенных зубьях крепости сидит ворона. Над башней торчит обломок древка от флага. Внутри крепости все разворочено и засыпано золой. Валяются замок автопушки, сломанный прожектор, разбитый перископ.

Ворота крепости сорваны и прислонены к стене. На воротах — простая тимуровская звезда с лучами. Задумчиво стоит перед ней Тимур.

Сзади подходит Женя Александрова. С сожалением смотрит она на Тимура и тихонько поет:

Гори, гори... моя звезда...

Тимур обернулся. Женя насвистывает тот же мотив, потом продолжает петь, показывая на звезду:

Лишь ты одна, моя заветная...
Другой не будет... никогда.

— Зачем ты нарочно сдал крепость?

— Не говори об этом Саше. Мне от этого легче все равно не будет.

— Я с ним незнакома. А с его сестрой мы в ссоре... Глупо! Ссора нелепая. Она дочь артиллериста, я дочь броневого командира, отцы оба на фронте. Ты меня с ней помири. Я знаю, что ты с ней дружишь... Тимур, заходи сегодня ко мне вечером.

Она ушла. Тимур стоит. Ему тяжело, и он насвистывает:

Лишь ты одна, моя заветная...

Пара чьих-то глаз наблюдала за Тимуром и Женей через щель бойницы. Теперь из проломленных ворот медленно выходит Женя Максимова.

— Ты сдал крепость нарочно. Зачем ты это сделал? — говорит она.

— Твой брат был болен. Кроме того... Есть еще одна причина, но я тебе ее не скажу, Женя. Ты куда идешь?

— Я иду в тот двор. Ты не знаешь, кто живет в квартире номер двадцать четыре?

— Зачем тебе квартира двадцать четыре? — настораживается Тимур.

— Саша говорит, что там живет девочка, которая через окно видела, кто поднял письмо с фронта от папы.

— Он давно вам писал?

— А что?

— Так. У меня дядя тоже на фронте. Он редко пишет. Война — некогда.

— И нам редко...— Женя достает телеграмму.— Вот была последняя...

— Две недели. Это еще немного... Мой дядя и всего-то раз в месяц пишет,— врет Тимур.

Женя сует телеграмму за обшлаг рукава шубки. Она обрадована.

— Да? Значит, и тебе редко... Тимур, а все-таки зачем ты сдал Саше крепость?

Тимур подходит к ней вплотную, рука его трогает ее рукав:

— Так было надо. А может быть, и не надо. Нет... Надо!

При слове «надо» Тимур тихонько выдергивает телеграмму из-за обшлага шубки Жени Максимовой.

На столе перед Тимуром лежат две телеграммы. На одной написано: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Пишите чаще, как здоров Саша. Целую. Папа». На другой: «Ленинград, Пушкинская, 6, Тимуру Гараеву. Жив. Здоров. Поздравляю с Новым годом. Целую. Дядя».

Тимур обмакивает кисточку в пузырек с клеем, наклеивает на первую телеграмму полоску от второй. Получается: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Жив. Здоров. Поздравляю с Новым годом. Папа».

Затем он снимает со стены грубый брезентовый дождевик и охотничью сумку.

Через десять минут у дверей в квартиру Максимовых звонит очень странный почтальон. Он в брезентовом дождевике с накинутым на голову капюшоном, с охотничьей сумкой в руках. Щека завязана, как будто у него болят зубы. В руках разносная книжка.

Дверь приоткрывается на цепочке. Выглядывает нянька. Почтальон торопливо, чуть подавшись вбок, сует в отверстие телеграмму, карандаш с книжкой и хрипло говорит:

— Вот телеграмма. Распишитесь.

Нянька, расписавшись, сует ему обратно разносную книжку. Дверь захлопывается. Почтальон хочет уйти, но видит, что внизу по лестнице поднимается Женя. Испуганный почтальон взлетел этажом выше, прислонился к чужой двери и тяжело дышит.

Женя останавливается у своей двери, достает ключ. Вдруг за дверьми она слышит шум, топот и отчаянно-торжествующие крики. Женя остолбенела. Торопливо сует она ключ в скважину. Рука ее дрожит. Женя исчезает за дверью. Крик и шум усиливаются.

На площадке у дверей, прислушиваясь к этому радостному шуму, стоит очень смешной почтальон — Тимур. На его глазах слезы.

На дверях, напротив квартиры Максимовых, висит табличка: «Красный уголок». Рядом — плакат, изображающий елку и раненого красноармейца. Сверху на плакате надпись: «Слава героям!», снизу — «Добро пожаловать!»

Гремит веселая музыка. Дверь поминутно хлопает. Пробегают ребята в маскарадных костюмах. Внутри дети поспешно развешивают по стене картины и гирлянды зелени. Две девочки подметают пол. Нина, со сбившейся прической, в рабочем халате, командует ребятами, украшающими елку. В углу репетирует джаз. Он состоит из пятнадцати малышей, которыми дирижирует Вовка. Внезапно музыка замолкает, слышен чей-то вопль.

— Дирижер Брыкин, что у вас в оркестре за драка? — спрашивает, подбегая, Нина.

— Большой барабан поспорил с бубном. Он говорит, что крепость вчера мы не взяли. Он врет!

На лестнице слышны крики:

— Идут, едут! Приехали!..

— Приготовились! Вовка, греми! Звени! — командует Нина.— Чтобы все кружились, смеялись! Я сама с вами танцевать буду.

Оркестр грянул веселый марш.

— Но я еще не одета... Я лохматая,— спохватывается Нина и убегает.

Внизу, у подъезда, ребята подхватывают под руки приехавших на машинах раненых, помогают им подняться по лестнице. Некоторые раненые опираются на костыли.

Доктор Колокольчиков, стараясь освободиться от ребят, которые тащат его под руки, кричит:

— Молодые люди! Постойте! Пощадите! Я не раненый! Я сам доктор...

Вся лестница гудит от восторженных криков.

Саша Максимов у себя в квартире слышит эти крики и торопливо надевает валенки. Нянька накидывает ему на шею шарф. Саша его отстраняет.

— Доктор сказал, чтобы ты оделся теплее, возле елки не прыгал и через лестничную площадку не бегал,— внушает ему нянька.— Ты меня должен слушаться, как маму.

Женя подбегает к зеркалу. На ней нарядное фантастическое платье.

— Но, няня, раньше ты говорила, что он маму совсем не слушал!

— Он был маленький и ничего не понимал. А теперь он вырос и все понимает.

— Ничего он и сейчас не понимает.

— Ты, сорока, все понимаешь!

— Да, понимаю...— сквозь зубы говорит Женя и потирает шею.— Вот синяк. Мне из крепости снарядом попало. Ну хорошо, я за это Тимура сейчас отчитаю.

— Как сейчас?— опешил Саша.— И это после вчерашнего... он придет?

— Я его позвала.

— Да... Но я уверен, что над ним все смеяться будут.

— «Я уверен... Я... Я.. » — вспыхивает Женя.— Подумаешь, герой, Чапаев... А хочешь ли ты знать, что крепость вы не взяли, что Тимур сам дал сигнал отбоя, что, жалея тебя, он открыл ворота?

Саша взволнованно кричит:

— Неправда!

— Правда! Да об этом сегодня во дворе говорят все твои же мальчишки.

Саша после короткого молчания сбрасывает с ног валенки и отрывисто говорит:

— Дай сапоги.

Женя недоуменно смотрит на него и подает сапоги. Саша сбрасывает с шеи шарф и так же коротко и резко говорит:

— Ремень дай... папин..

Подтянутый, туго подпоясанный, с перекинутым через плечо ремешком, Саша входит в красный уголок и отыскивает Тимура. Тимур сдержан, Саша взволнован.

— Кто тебя об этом просил? — говорит он. — Какое тебе до меня было дело?

— Я сделал только то, что и ты был обязан сделать для меня.

— Я?.. Для тебя?..

— Да, ты для меня. Если бы, — Тимур запнулся, — у меня была беда и я был болен.

— Н-не знаю... — растерянно отвечает Саша.

— Не знаешь?.. — Тимур смотрит Саше в глаза и говорит очень твердо, как бы внушая: — Нет, знаешь! Ты сын командира, и ты своих жалеть должен.

Саша смущенно молчит. Тимур неожиданно рассмеялся. Сейчас у него очень простое, веселое лицо.

— Пойми, пусть это позже... Но когда-нибудь воевать-то будем рядом.

Все это слышит Вовка. Он застыл, подняв свою дирижерскую палочку. Потом отчаянно взмахивает ею. И джаз ударяет песню «По военной дороге». Ее дружно, весело и грозно подхватывают и ребята и раненые.

Музыка доносится в квартиру Максимовых, где нарядная Нина торопливо причесывает волосы. Она смотрит на портрет Максимова, берет с подзеркальника телеграмму и прижимает ее к губам. Потом смотрит, и как будто змея ужалила ее в губы. Отскочила приклеенная полоска, и теперь виден прежний текст: «Пишите чаще, как здоров Саша. Целую. Папа». В полном смятении Нина комкает телеграмму.

Входит нянька. Нина, задыхаясь, говорит ей:

— Эта телеграмма поддельная. Что со Степаном? Вы меня обманываете?

— Как поддельная? — Нянька как подкошенная опускается в кресло.— Значит, Степан не пришел? Не вернулся?

— Откуда? Куда? Говорите прямо. Я не девчонка.

— Дочка... оставь меня,— говорит нянька, устало опускаясь в кресло.— Я сама ничего не знаю...

Вбегает Женя и, не замечая состояния няньки и Нины, быстро тараторит:

— Нина, ну конечно, без тебя не может жить Сашка. И я не могу тоже. Весело. Очень весело! — Она удивленно смотрит на Нину и няньку.— Вы поссорились? И это под Новый год! Такой вечер! Нина, иди, тебе танцевать надо...

— Уйди, Женя. Я сейчас, я приду после...

— Хорошо,— небрежно говорит Женя,— тогда Саша сейчас сам прибежит за тобой, раздетый, через площадку.

— Кто через площадку? — растерянно переспрашивает Нина, закрыв глаза, и, сразу опомнившись, вскакивает и бежит к двери:— Нельзя через площадку!..

На елке веселье в полном разгаре. Тимур и Саша сидят рядом.

— Мы вам крепость восстановим, отремонтируем и тогда начнем войну сначала,— говорит Саша.

— Нет. Возьмите эту крепость себе. Это хорошая, надежная крепость, и она вам послужит еще долго...

— А вы?.. Что же у вас тогда останется?

— А мы... Мы себе найдем.— Тимур поворачивается к Коле Колокольчикову и хлопает его по плечу:— Что, старая гвардия? Мы себе найдем еще дело?

Нина, не обращая ни на кого внимания, пробирается к Саше. Кругом раздаются голоса: «Тише, тише!» Саша порывисто тянет Нину за руку и усаживает ее с собой рядом.

На эстраду выходит раненый красноармеец с забинтованной рукой. Звучит гордая музыка, и раненый поет:

Под треск пулеметов, под грохот и гул
Вставала из снега пехота.
Но самою первой навстречу врагу
Поднялась четвертая рота,
Четвертая рота второго полка,
Фланговый участок бригады...
Огонь пулемета, удары штыка,
Снаряды... снаряды... снаряды...

На серых папахах сверкает звезда.
Приказ командира короток.
Железобетонный тяжелый блиндаж
Штурмует четвертая рота.
Вперед же, товарищ! Смотри, как в огне
За все... за любовь и заботу...
Свой долг отдавая любимой стране,
Поднялась четвертая рота...

— Если бы меня пустили... приняли...— взволнованно шепчет Тимуру Саша.— Я бы пошел служить только в четвертую роту. И ты тоже?

— Нет. Я бы в пятую.

— Почему?

— Наша пятая еще лучше вашей четвертой будет! — задорно отвечает Тимур.

Саша вспыхнул, он хочет что-то возразить, но тут глаза его широко раскрываются. У дверей в дымчатом платье со звездами, в белокурых локонах, стянутых обручем, от которого расходятся мерцающие лучи, стоит Женя Александрова.

Саша хватает Нину за руку:

— Это она! «Голубая звезда»! Пойдем спросим про письмо.

К Жене Александровой быстро подходит Женя Максимова.

Они внимательно оглядывают одна другую и вдруг разом улыбаются и берутся за руки.

— Скажи, кто тогда со снега мое письмо поднял?— спрашивает Саша.

— Кто? — Женя Александрова улыбается и повертывается к Коле Колокольчикову, но лицо у того смущенное, а Тимур строго смотрит на Женю, и в его глазах приказ: «Не говори». И, глядя в упор на оробевшего Колю, Женя отвечает:— Я того человека не знаю.

— Гей-ля-ля! — увидав Колю Колокольчикова, торжествующе кричит Вовка.— А все-таки дохлую кошку вам в крепость бросил я! — Он взмахивает палочкой, и джаз в бешеном темпе играет веселый танец.

Растерянная, подавленная, Нина отходит к окну. Опирается о широкий, заваленный игрушками подоконник и отворачивается, чтобы никто из гостей не увидел ее слез.

Сверкает огнями елка. Мчатся танцующие пары, мелькают маски.

В сторонке, дружно разговаривая, стоят Саша, Тимур, Женя Александрова и Женя Максимова. К ним вдруг подбегает запыхавшаяся Катя.

— Стойте! Радуйтесь! — кричит она.— Вы сейчас увидите...

И в ту же минуту в дверях появляется нянька. А за ней, опираясь на палку, входит военный — шофер Коля.

Нина смотрит на него почти с ужасом.

— Не бойтесь! Капитан жив,— говорит Коля,— и даже не ранен... Его в лесу нашла наша разведка.— Он протягивает оцепеневшей Нине письмо и добавляет:— Письмо запоздало, но вы ему будете очень рады...

Как завороженная, берет Нина конверт. На нем адрес: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Для моей жены Нины». В конверте развернутая телеграмма: «Саша волнуется, почему не пишешь, все целуем. Жена Нина».

— Это ошибка, надо: Женя, Нина...— растерянно говорит Нина.

— Все правильно,— отвечает Коля.— Ваша телеграмма летала по телефону с батареи на батарею... Но капитан сказал, что ошибки нет и текст передан совершенно точно.

Коля Башмаков и Саша отходят к окну. Там, на подоконнике, среди игрушек, приготовленных для подарков, выстроились оловянные солдатики. Коля достает из кармана солдатика и ставит его на подоконник перед строем. Солдатик поцарапан, помят, но глядит весело.

Саша быстро выдвигает знаменосца, двух солдат с шашками на караул и командира, отдающего вернувшемуся солдату честь.

Коля смотрит на висящую на стене картину Нины.

— Что? Не та дорога? — смущенно спрашивает Нина.

— Прямо скажу, не обижайтесь: дорога не та. Круче повороты. Тверже люди.— Коля кладет руку на плечо раненому, который пел песню четвертой роты, и показывает на картину:— Не знаю, что они поют, но, наверное, эта мелодия для боя совсем неподходящая. Так ли я говорю, мой неизвестный товарищ?

— Я знаю сама. Я нарисую другую...

— Хотите, я вам дам идею? — улыбается Женя Александрова.— Нарисуйте вот их,— она показывает на Сашу,

Колю, Юрку, Тимура.— У них каждый день мелодия самая боевая!

Вовка подбегает и быстро просовывает свою голову между Сашей и Колей.

— Да, но только не рисуй, пожалуйста, этого кошкометателя и пролазу Вовку,— поспешно добавляет Женя Максимова.

Тимур кладет Вовке на плечо руку:

— Почему? Ты погоди. Он будет славным гранатометчиком.

— Ну, если... так говорит бывший комендант самой лучшей снежной крепости,— разводит руками Женя Александрова,— то это будет совершенно точно.

Сверкает елка. Звенит веселая музыка. Кружатся вокруг елки в танце дети.

И вот через эту блестящую елку под нарастающий гул проступает другая — большая черная ель на снежной поляне. На нижних ветвях ее висят два котелка, три винтовки, белый халат, сигнальный флаг.

Чуть правее ели стоит батарея.

Командир поднимает руку — раздается залп.

Командир смотрит в бинокль и видит, как из снега встала и пошла пехота. Идет твердым шагом. Он снова поднимает руку — могучий залп. Командир быстро поворачивается. У него простое, энергичное, чуть усталое лицо; сдернув перчатку, он вытирает оборотной стороной ладони влажный лоб.

Это капитан Максимов.

Последний раз перед зрителем возникает стройная снежная крепость. Над крепостью развевается флаг нового гарнизона.

Войско Саши у стен крепости прощается и с почетом провожает куда-то уходящее на лыжах войско бывшего коменданта Тимура.

1940



КЛЯТВА ТИМУРА

(Киносценарий)

Слава

ОБЛОЖКА детиздатовской книги «Тимур и его команда». Книгу держит Коля Колокольчиков. Заикаясь и показывая на книгу, он говорит Квакину:

— Не люблю, когда врут! Здесь написано, что когда ты был хулиганом, я стоял перед тобой бледный. Я никогда ни перед кем не стоял бледный. Это не в моем характере...

Квакин (добродушно):

— Ты стоял весь красный и языком лизал губы. Но вот нос у тебя, кажется, действительно был бледный...

Колокольчиков (обидчиво):

— Нос — это не я. Я... (Делает энергичный жест.) Это вот!.. Вся натура!.. (С досадой.) И художник также нарисовал непохоже: Тимур совсем не такой. (Показывает на обложку книги.) И уж никак не такой! (Тычет пальцем на прикрепленный к стене рекламный киноплакат.) Тимур вот. (Разворачивает номер районной газеты с портретом Тимура.) Стоит прямо! Нос кверху! Смотрит гордо! Уж если кто в кино и были похожи, так это ты да Женя...

Гейка снимает телефонную трубку и говорит:

— Да... слушаю!

Над его столиком на картоне надпись:

НАЧАЛЬНИК ШТАБА

Внутри чердака все прибрано, механизировано и модернизировано. От прежнего загадочного беспорядка нет и следа. Вместо чурбаков стоят ветхие стулья. На стенах надписи:

СОРИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
НЕ БОЛТАЙСЯ БЕЗ ДЕЛА

Штурвальное колесо с протянутыми от него проводами. Над ним тоже надпись:

БЕЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА ПОДАВАТЬ ОБЩИЙ СИГНАЛ ВОСПРЕЩЕНО

Гейка (недоумевая):

— Слушай, Симаков. Но ведь мы этой старухе только вечером наполнили двадцативедерную бочку. Что ей, в воде купаться, плавать? (Слушает.) Ах, это не ей... соседке... (Берет карандаш, бумагу.) Хорошо. Чей дом? (Готовится записать, но останавливается и говорит.) Дом двоюродной сестры красноармейца Муштакова... (С досадой.) Ну, знаешь... то двоюродная сестра, то троюродная тетка! (Подумав.) Принесите ей ведра четыре. Мы в конце концов не водовозная команда...

Положив трубку, зевнул. Смотрит в окно. Заинтересовался. Через окно: поляна, площадка, играют ребята в волейбол...

Раздается звонок.

Гейка сердито плюхается в рваное кресло, хватает трубку, слушает, потом нехотя отвечает:

— Ничего нового. Все старое. (Выглянув в окно.) Вот идет почтальон, несет почту. Прикажете вскрыть или оставить до вашего прихода?

По узкой тропке между кустов идет почтальон, подходит к сараю, опускает письма в висячий фанерный ящик.

Дергает ручку. Раздается звонок.

И почти одновременно ящик с письмами по веревке ползет наверх.

По дачной улице с портфелем идет Тимур.

Он шагает прямо, пожалуй даже преувеличенно деловито. За ним с прохладцей, вразвалочку идут Артем и Юрка.

У поворота, в кустах за забором,— подозрительная четверка ребят вместе с их вожаком Фигурой. Вдруг четверка насторожилась: шагает Тимур.

Четверка слегка попятилась к забору, ребята принимают рассеянно-равнодушный вид. Один из них торопливо прячет за спину окурок.

Увидав ребят, Тимур останавливается.

Сопровождающие его Артем и Юрка мгновенно подтягиваются: не будет ли боя?

Но Фигура несколько иронически и в то же время опасливо стягивает с головы картузишко и, кланяясь, говорит:

— Знаменитому капитану почет и уважение...

Ничего не сказав, Тимур повернулся, шагнул, и опять вразвалочку двинулись за ним сопровождающие.

Выпятив грудь и скорчив гримасу, передразнивает Фигура тимуровскую походку и показывает ему вдогонку кулак.

Тимур оборачивается.

Фигура быстро делает вид, что эта гримаса относится к одному из его приятелей.

С полными ведрами наперерез Тимуру выскакивают Симаков и Левка.

Тимур (останавливая их):

— Почему днем? Почему не ночью — тайно?

Симаков (со вздохом):

— Тайно больше ничего не выходит. Вот вчера — темно, тихо. Мы с ведрами во двор, а нам из окошка (передразнивает): «Ребятишки, назад пойдете, калитку затворите... Вы что же, не могли поспеть пораньше?» (К Тимуру, нерешительно.) Тима, давай наплюем на воду.

Тимур (недоуменно):

— То есть, как это — наплюем на воду?

Симаков (запинаясь):

— Ну, конечно, не сюда... не в ведра, а вообще... (Уходит.)

Тимур:

— Вообще надо делать то, что тебе приказано! Кончишь работу, приходи к штабу. (Уходит.)

Чердак. Звуки далекой военной музыки. Квакин и Коля Колокольчиков высунулись из окна и слушают. Гейка стоит не шелохнувшись.

Музыка обрывается. Гейка поворачивает голову к большой карте Европы. Лицо его сосредоточенно, губы что-то шепчут.

Тимур за столом читает письма. Что-то прочел. Горделивая улыбка на его лице. Он зовет:

— Гейка!

Гейка (не отрываясь от карты и не очень охотно):

— Есть Гейка.

Тимур:

— Иди сюда... Читай письма.

Гейка (не оборачиваясь):

— Знаю не читая: «Дорогой Тимур, нам очень понравилось все, что написано о вашей команде в книге. Ответь, пожалуйста, правда ли все так было или кое-что присочинил писатель». Дальше хвалят тебя и ругают Квакина.

Квакин (оборачиваясь):

— Ой! Как будто нет хуже людей, чем этот Квакин... Тимур, Гейка угадал точно?

Тимур (несколько сконфуженно):

— Точно. (Прислушивается.) Кто свистит?

Женя (просовываясь в дверь чердака):

— Это я. Тимур, что за безобразие!..

Сует ему в руку маленькую районную газету с портретом Тимура.

Тимур (сконфуженно):

— Это действительно безобразие. Я вовсе никого не просил об этом.

Женя (тыча пальцем в портрет):

— Это не безобразие, хотя тоже безобразие. Но я не на это, а вот про это...

Внизу, под портретом, подпись:

«Пионеры обещают колхозу помочь прополоть огороды. Будут организованы две бригады — одна Гейки Рохманова, другая Жени Александровой».

Женя:

— Кто обещал? Я ничего не обещала. Я тебе сказала, что полоть не умею. Я повыдергаю с хвостами подряд все, что нужно и не нужно. (Запнулась.) Кроме того, если я

буду копаться в земле, у меня засохнут пальцы, и Ольга не будет учить меня играть на аккордеоне...

Тимур:

— Это, конечно, самое главное! (Оборачивается и удивленно смотрит на подошедшего Гейку.) Ты что? Может быть, ты отказываешься тоже?

Гейка:

— Да! Щипать траву — это девчачье, а не наше, мужское, дело...

Тимур:

— А какое дело наше?

Гейка (вызывающе):

— Уже говорил. Наше дело — бой и строй... Перрвая рота, напрраво! (Иронически.) А ты скоро заставишь меня щипать кур и вязать кружева для подушек!

Женя (обозлившись на Гейку):

— Очень глупо... «Девчачье»! Подумаешь, какой воин! (К Тимуру.) Что ты на меня уставился? Все равно ты ничего не видишь! (Горько.) Ты не видишь, что над тобой смеются. (Показывает на надписи и обстановку чердака.) Начальник! Кабинет!.. Телефон!.. «Не курите... Не сорите...» Ты загонял всех ребят своими приказами, а сам сидишь (швыряет газету) и любуешься своими портретами!

Тимур бледен.

Он дышит тяжело. Он старается сдержаться и отрывисто, но еще пытаясь улыбнуться, говорит:

— Женя, что ты говоришь? Уйди! И сначала подумай... (Берет ее за руку.)

Женя (запальчиво):

— Была команда. Было весело. А теперь тоска. Бухгалтерия. Обыкновенная контора.

Тимур (в бешенстве):

— Контора?! Иди! Уходи прочь! Играй на своей перламутровой гармошке, белоручка...

Женя (сощурив глаза):

— Я... я белоручка... а ты... ты зазнавшийся барин! И это скажет тебе вся команда.

Она вырывает свою руку и одним прыжком подскакивает к штурвальному колесу, над которым крупная надпись:

БЕЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА ПОДАВАТЬ ОБЩИЙ СИГНАЛ ВОСПРЕЩЕНО

Тимур кричит:
— Оставь! Не тронь! Пустая девчонка!
Женя поспешно и резко поворачивает тяжелое штурвальное колесо.
Снаружи вздрогнули и натянулись веревочные провода.
Где-то под крышей чужого сарая грохнули жестянки... Звякнули бутылки... Затрещал сломанный будильник.
Чердак. Тимур возле Жени. С силой хватает ее за руку.
Внезапно перед Тимуром возникает Квакин. Он не дерется, а только отрывает Тимура от Жени и взволнованно говорит:
— Ты оставь... Ее ты не трогай.
Тимур рванул колесо. Что-то треснуло... Колесо упало. Звякнули еще раз под крышами бутылки, звякнули, упали и разбились. Бегут через пролазы заборов, через сады мальчишки.

Сад около сарая. Много ребят. Шум, свист, беспорядок. Заметно, что толпа делится на группы.
Квакин стоит, охраняя Женю.
Один из мальчишек пытается дернуть ее за косу и тотчас от тычка Квакина летит на траву.
Востроносая загорелая девочка Нюрка кричит Жене:
— Ты заграничная барышня, нарядная кукла... Ты все хочешь делать только по-своему!
Группа Гейки стоит против маленькой группы Симакова. Тимур идет к Гейке и на ходу говорит:
— Поднимай, собирай, бунтуй! Ты карьерист, а не пионер и начальник штаба.
Коля Колокольчиков подбегает сзади и в страхе кладет Тимуру руку на плечо.
Тимур, не оборачиваясь, отталкивает Колокольчикова. Коля отлетает прочь и горько, обиженно кричит:
— Так я же за тебя... Это ты своих?! Своих-то!
Он отходит за деревья. Останавливается. Отворачивается. И, кажется, плачет.
Тимур и Гейка.
Тимур:
— Ну?
Гейка:
— Ну?

Тимур:
— Не сошлись!
Гейка:
— Не сошлись!
Квакин (успокаивая взволнованную Женю):
— Мы соберем свою компанию... Подадимся в лес, на озера... собирать грибы, ловить рыбу... А какие места я знаю! Какие рощи!
Тимур и Гейка.
Тимур:
— Итак?
Гейка:
— Итак!
Тимур:
— Разошлись?
Гейка:
— Разошлись!
Тимур срывает надпись «Штаб команды» и бросает ее на землю.
— Так пусть же сюда никто... Пусть здесь ничего не будет!
Гейка командует своей группе:
— Перррвая рота, напрраво!
Ребята довольно дружно поворачиваются.
Гейка (оборачиваясь):
— Так помни, Тимур!
Тимур:
— Помни, Гейка!
Ему тяжело. Он поднимает голову и видит Женю, которую уводит за руку окруженный своей группой Квакин.
На мгновение Женя оборачивается, она делает какое-то движение, как бы пытаясь пойти навстречу Тимуру.
Но ее закрывают, торопят...
И, опустив голову, Тимур быстро уходит в чащу кустов. За ним Симаков и еще несколько ребят.
Пусто на поляне перед сараем.
Выходит из-за деревьев заплаканный Коля Колокольчиков.
Он смотрит на провисшие веревочные провода, на сорванную фанерную надпись «Штаб команды» и говорит:
— Разошлись... Все в разные стороны.
Потом совсем тихо, удивленно заканчивает:
— А какая была команда! (Пауза.) Какие люди!

Река. На берегу Тимур. В руках у него дешевенький клеенчатый портфель. Сидя на траве, он расстегивает портфель, просматривает какие-то бумаги, раскрывает газету.

Там его портрет, а под ним: «Ребята-пионеры обещали помочь колхозу...»

В гневе комкает Тимур газету, собирает бумаги в охапку, запихивает их обратно в портфель, вскакивает и швыряет портфель с обрыва в речку.

Шлепнулся портфель в воду. Рассыпались и поплыли по реке бумаги.

Плывет по реке лодка. Сидят в лодке Женя, ее подруга Таня. На веслах Квакин. В руках у девочек большие букеты полевых цветов. На голове у Жени венок.

Квакин (обращаясь к Жене):

— Когда я был хулиганом...

Женя:

— Врешь! Никогда ты не был хулиганом...

Квакин (обиженно):

— Был. Спроси у кого хочешь. Мы не только по садам шныряли... Были дела и почище.

Женя (хладнокровно):

— Все равно врешь. Не такое у тебя лицо. Нос не такой. Хулиган должен быть — вот... вот... и вот... (Делает три энергичных движения и гримасы). А у тебя—вот... вот... и вот... (Делает три глуповато-добродушные гримасы.)

Квакин (обиженно):

— Очень странно! Как это не был, когда был? Конечно, у некоторых выражение бывает вот! (Делает надменное лицо, по-видимому передразнивая Тимура.) Но о них, мне кажется, вспоминать совсем некстати.

Женя (просто):

— Я, Миша, никого не вспоминаю...

Она сняла венок с головы, опустила его в воду. Плывет венок. Плывут корабликами белые тимуровские бумажки.

Сарай. Над ним флаг.

На чердаке разгром. Все развалено и растащено.

Поклевывая крошки, воркуют голуби. Вдруг голуби взлетают.

Из темного угла чердака показывается Тимур. Он подходит к столбу, развязывает веревки, опускает флаг команды — звезду с четырьмя расходящимися лучами — и бережно прячет за пазуху. Еще раз оглянулся. Разор. Разгром.

Спрыгнул Тимур с чердака и наткнулся на Колю Колокольчикова.

Тимур:

— Ты что?

Коля (заикаясь):

— Мы тебя ищем. Мы тебя ждем. Мы будем с тобой...

Тимур (обрадованно):

— Кто мы? Где ждете?

Коля (показывая на кусты):

— Ну мы, народ... люди...

Быстро раздвигает Тимур кусты и видит: на поляне сидят Симаков, маленькая востроносая Нюрка (которой Тимур когда-то вернул козу), за руку она держит кругловолового братишку.

Тут же стоит белокурая шестилетняя девчурка (дочь убитого лейтенанта Павлова). Она держит в руках фанерного зайца.

Улыбка скользнула по губам Тимура. И он говорит:

— Гей, люди, люди! Чего вы от меня ждете? Теперь я больше никому не начальник.

Белокурая девчурка молча протягивает Тимуру фанерного зайца. Тимур берет девчурку на руки и, неловко улыбнувшись, говорит:

— Ну что же, люди! Будем начинать жить сначала.

Поле, огород.

Жарко палит солнце. Видны согнутые спины женщин, занятых прополкой.

Тимур босой, одет во все старенькое. На голове плохонькая кепка. Руки его черны. Локтем вытирает он лоб. Он берет с грядки кувшин с водою, пьет и затем через борозду передает его Коле Колокольчикову, который, стоя на коленях, выпалывает траву.

На Коле широкая дырявая шляпа из соломы. Глотнув воды, Коля передает кувшин дальше.

На участке работает всего человек десять мальчиков и девочек.

Возле загорелой растрепанной Нюрки сидит ее большеголовый братишка и тычет пальцем в какую-то букашку.

Поднялась, перепрыгнула Нюрка через грядку и, остановившись возле работающего Тимура, объясняет:

— Ты хватаешь лебеду одной рукой; бери двумя сразу. (Показывает.) А полынь не тяни за стебель, запускай пальцы в землю, дергай под корень.

Тимур:

— Хорошо, понятно!.. Я свою гряду окончу, приду к тебе на помощь.

Нюрка (удивленно):

— Да я в два раза скорее тебя окончу. Эту работу я знаю. Это тебе не колесо крутить. (Показывает.) Трын... брын... зазвенело!

Она перепрыгнула к Коле Колокольчикову, сразу что-то заметила и наклонилась:

— А ты, дорогой, рассаду выдернул, да и пхнул назад без корня в землю! Бригадир придет — стыдить будет. А меня бабка раньше за такие дела по ногам крапивой.

Раздается удар о подвешенный железный рельс — это перерыв. Кончают работу взрослые женщины.

На ребячьем участке Коля встает, пробует выпрямиться, гладит свою поясницу.

Медленно, вытирая лбы, поправляя сбившиеся волосы и отряхиваясь от земли, выходят на межу и садятся рядышком на траву мальчишки и девчонки.

Высоко в небе летят самолеты.

И как сидят ребятишки по меже, так, не сходя с места, один за другим ложатся спиной на траву и смотрят в небо.

Летят самолеты.

Нюрка (лежа возле Тимура):

— Далеко полетели?

Тимур:

— Не знаю.

Нюрка:

— Это простые или военные?

Тимур:
— Военные...
Нюрка:
— А война будет?
Тимур:
— Говорят, будет...
Нюрка:
— Нам что!.. Нас не возьмут... Нас это дело не касается...

Откуда-то из-под лопуха возмущенный голос Колокольчикова:

— Как не касается? А еще пионерка... Это всех касается.

Нюрка равнодушно:

— Сиди! Ты капусту зачем в грядку без корня втыкнул?.. А тоже, касается!..

Мужской голос:

— Здоро́во, ребята!

Все вскакивают и опять садятся на межу рядом.

Мужчина:

— Кто у вас тут старший?

Коля Колокольчиков (показывая на Тимура):

— Он старший... А она (на Нюрку) вроде как бы ученый специалист по капустной части.

Мужчина (Коле):

— А ты кто?

Коля (задорно):

— Я рядовой пионер, товарищ председатель. Чин небольшой, но весьма почетный...

Раздается удар молотка о рельс.

Все поднимаются.

Мужчина (приглядываясь к измазанному, плохо одетому Тимуру):

— Ты Тимур?

Тимур (не очень охотно):

— Да... Тимур...

Мужчина (оглядывая небольшую кучку ребят):

— Почему же народу пришло так мало? Я слыхал, что у вас ребят много.

Тимур (горько):

— Все пришли... (Отворачиваясь.) Остальные... заняты, товарищ председатель.

Слышна громкая команда:
— Рота, кругом!
И видно, как на зеленой площадке у забора, возле которого сидит на лавочке старуха, человек двадцать ребят маршируют строем.
Гейка командует:
— Рота, стой!
Остановились ребята.
Гейка командует:
— Ложись!
Легли.
Гейка:
— Вставай!
Встали.
Гейка:
— Ложись!
Легли.
Гейка:
— Вставай!
Встали.
Гейка очутился рядом с сидящей на скамейке старухой.
Старуха поднимается. У ее головы на калитке вычерчена углем пятиконечная звезда — знак тимуровской команды.
Старуха спрашивает у Гейки:
— А что, сынок, разве воды в бочку вы мне и сегодня не принесете?
Гейка смутился, отвернулся и командует:
— Стоять смирно! Не шевелись! Вы кто? Военная рота! Ваше дело — строй, бой! (Меняя голос.) За мной, ша-агом марш!
Дружно топнули за Гейкой ребята.
Гейка, оборачиваясь к старухе, хмуро вполголоса ей говорит:
— Нет, мамаша, воды больше никому не будет.

Вдоль забора по аллейке идет усталый, измазанный Тимур. Он тащит два ведра с водою, за ним следом двумя руками тащит одно ведро Нюрка.
Слышен мерный, ровный топот и команда: «Ать... два... ать... два».

Из-за поворота во всю ширину аллеи прямо навстречу Тимуру ведет свой отряд Гейка.

Увидал усталую немного смешную фигурку обтрепанного, чумазого Тимура.

У всей первой шеренги отряда удивленные лица.

Гейка (сурово):

— Ать... два... ать... два!

Отряд идет прямо на Тимура.

Тимур оборачивается и видит, что Нюрке нести ведро трудно. Тогда он продолжает идти не сворачивая.

Большой отряд и Тимур с маленькой Нюркой сближаются почти вплотную.

Гейка не выдерживает и зло командует:

— Полоборота на-пра-во!

Отряд сворачивает и обходит Тимура и Нюрку.

Гейка (зло, но почти с восхищением):

— Упрямый... черт! (Кричит.) Полоборота на-ле-во!

Тимур, продолжая идти, говорит Нюрке насмешливо, но удовлетворенно:

— Кутузов! Барклай де Толли... Эк он команду рявкнул!

Музыка аккордеона.

На террасу поднимается полковник Александров. Аккордеон внезапно смолкает. Навстречу отцу выскакивает Женя. За ней Ольга.

Женя бросается отцу на шею, виснет, болтает ногами и, счастливая, ревниво отталкивает Ольгу.

Ольга:

— Женька!.. Папа, что она меня к тебе не пускает!

Женя:

— Папа, ты как... ты к нам почему?

Отец:

— А что? Разве ты мне не рада?

Женя:

— Рада. Но ты говорил: нельзя... Тебе всегда некогда... (Смотрит на отца.) Папа, почему у тебя было три шпалы, а стало четыре? Ты теперь полковник? А ты генералом будешь?

Ольга (мягко обнимая отца и оттаскивая Женю):

— Нет, не будет, потому что ты оторвешь ему голову или свернешь шею. Папа, ты к нам надолго?

Отец:

— Надолго!

Женя (обрадованно):

— О, как давно ты не приезжал к нам надолго!

Она не знает, как услужить отцу: хватает его фуражку, кладет ее на подоконник, берет из его рук плащ, полевую сумку. Ведет за руку в комнату, заглядывает ему в лицо и бормочет:

— Тебе будет с нами хорошо... (Оглядывается.) Ты будешь спать в моей постели... (Показывает.) Здесь мягче... А я лягу вот на этом диване. (Садится на диван.)

Широкоплечий полковник смотрит на ее тоненькую легкую кровать с кружевными оборками и, улыбнувшись, говорит:

— Нет, дорогая, уж лучше на диване я лягу.

И сел с ней рядом. К ним подсаживается Ольга.

Полковник, освобождая Ольге место, берет с дивана книгу и, заглядывая в нее, спрашивает:

— Как дела с твоей железобетонной специальностью?

Ольга (со вздохом):

— Папа, завтра я должна уехать в город, у меня консультация. Из города я вернусь только послезавтра к обеду. (Торжествующе.) Но зато в понедельник у меня последний экзамен!

Утро. Яркое солнце.

На веранде за чайным столом сидит полковник. Он в простой белой рубашке. Ольга ставит на стол завтрак. Она готовит яичницу, подчитывает учебник и укладывает свои книги и вещи в чемоданчик.

Женя подхватывает с середины стола тарелки с едой, пододвигает их вплотную к стакану отца, и на столе перед ним не остается и сантиметра свободного места.

Ольга подает еще тарелку. Женя хватает ее и ставит вторым этажом (больше некуда) на молочник.

Отец, оглядевшись, отодвигает посуду:

— Постой... постой! Ты меня совсем посудой задавила. Я не голоден. Я приехал из богатого края.

Женя:

— А из какого?

Отец (хитро покосившись на дочь):

— Спрашиваешь? А что не скажу — знаешь.

Женя:
— Папа, а там еще войска есть?
Отец:
— Есть.
Женя:
— Но лучше твоего танкового полка, уже, наверное, нигде нету. Я так давно решила!
Отец (добродушно):
— Ну, конечно, если ты так решила, тогда нету.
Женя:
— А если бы сам нарком?..
Отец:
— Он? Он бы, вероятно, еще подумал.
Женя (со вздохом):
— Я не могу думать! Я уже сказала об этом всем своим друзьям и подругам.
Отец:
— У тебя друзей много? И, конечно, из них Тимур первый?
Ольга:
— Ну как же... Женя, почему его и вчера и сегодня не видно?
У Жени растерянное лицо.
Отец (поддразнивая):
— Что же ты так вспыхнула? А я его по пути с другой девчонкой встретил... (После паузы, успокоительно.) Он был чумазый, и они несли в ведрах воду. Ты его позови сюда, Женя.
Женя встала. Она, по-видимому, хочет что-то сказать отцу, но Ольга не так поняла ее движение и остановила:
— Женя, погоди, не сейчас. Папа приехал надолго, и ты еще Тимура сто раз позвать успеешь...
Женя (вспыхнув):
— Я?.. Позвать... Ты ничего не понимаешь!
Полковник посмотрел на Женю.
На глазах у нее слезы.
Полковник:
— Женя, что с тобой?
Она быстро проводит пальцами по ресницам и говорит задумчиво:
— Ничего! Папа, на земле все говорят: «война и война...» Папа, посмотри, какое небо голубое. Мы будем хо-

дить в лес... на речку... купаться... кататься на лодке... и ты будешь не полковник, не рабочий, не служащий, а просто папа. (Пытливо заглядывает ему в глаза.) Так не бывает? Ну хорошо, пусть ненадолго, только на один месяц. Мы будем жить весело. Если у тебя есть деньги, ты подари мне патефон... мы будем заводить марши, танцы... Папа, я что-то говорю... говорю... а сама знаю, что это глупости. Но мне хорошо, и я при тебе не могу говорить иначе.

Ольга (укоризненно отодвигая стакан):

— Женя, когда ты так говоришь, я не могу пить чай. Вот видишь, и папа ничего не ест тоже. Ты говори что-нибудь поспокойнее и попроще.

Женя (зажмуриваясь):

— Ах, это просто! Это все очень просто!..

Отец (меняя тему разговора):

— Мы попьем чай, проводим на вокзал Ольгу и пойдем гулять. Ты покажешь мне ваш сад, ваш штаб, ты позовешь Тимура.

Женя (опять растерявшись):

— Его, наверное, дома нет. Они в колхозе на работе.

Отец (добродушно):

— А ты почему не на работе?

Женя (совсем растерявшись):

— Я... не знаю... там, наверное, уже есть люди... и больше туда не нужно.

Полковник (заглядывая Жене в лицо):

— Ты что-то краснеешь, путаешься. Женя, сядь и скажи мне правду.

Тропкой по роще-парку возвращаются с работы Тимур, Нюрка и ее маленький братишка. В руках у них прополочные тяпки.

В лесу слышен далекий свист.

Тимур (передавая Нюрке свою тяпку):

— Ты иди, а я пойду напрямик (показывает) рощей...

Нюрка:

— Завтра на работу опять в то же время?

Тимур:

— И завтра и послезавтра. Людей у нас теперь мало, а что обещано, то будет сделано. (Заглядывая Нюрке в лицо.) Почему у тебя на носу ссадина?

Нюрка (беспечно):

— Эка беда, ссадина! Кабы на ноге или руке... А я не носом работать буду.

Тимур скрылся в кустах.

Нюркин братишка-малыш (показывая палец):

— А у меня, Нюрка, на пальце царапина.

Нюрка (добродушно):

— И тебе не беда. Ты все равно большой лодырь... (Насторожилась.)

В роще повторяется свист.

Тимур выходит на маленькую поляну. Окрик:

— Стой!

Тимур остановился.

Его окружает шайка под командой Фигуры.

Фигура:

— Ну, теперь мы тебе покажем!

Тимур смотрит на Фигуру и, пожав плечами, свысока спрашивает:

— А что ты, Фигура, со мной можешь сделать?

Фигура (озадаченно):

— Как что? Мы тебя изобьем по чем попало.

Тимур (после паузы):

— Бей! Но до смерти ты меня не заколотишь. А наши узнают, и тебе самому спуска не будет.

Фигура:

— Врешь! У тебя больше нет команды! Ваша команда кончилась, разлетелась... Теперь опять мы сила!

Тимур:

— Кончилась? Разлетелась? Это наше, а не твое дело. Ну, бей! Видишь, я уже и глаза зажмурил.

Фигура (после колебания, ударить Тимура или нет, говорит грозно и удивленно):

— У тебя две жизни или одна? Ты со мной как разговариваешь? О чем думаешь?

Тимур трогает Фигуру за рукав и совсем неожиданно спрашивает:

— Фигура, ты стихи любишь?

Фигура (вылупил глаза, удивлен до крайности):

— Чего-о?

Тимур:

— Стихи. Ну вот, например:

Отец, отец! Дай руку мне...
Ты чувствуешь — моя в огне.
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в душе моей...

Скажи, Фигура, у тебя пламень в душе есть?

Фигура (опять вылупив глаза):

— Чего-о? Я тебя еще раз спрашиваю: ты, когда со мной говоришь, о чем думаешь?

Тимур (продолжает):

Имел одной он думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

(Деловито.) Вы меня бить будете? Так бейте, не задерживайте. (С досадой.) А то вам зря шататься, а мне завтра чуть свет на работу!..

Фигура (после долгого колебания, зло):

— Иди к черту!

Тимур:

— Прощай, Фигура... Стихи я тебе потом дочитаю... (Уходит.)

Повернувшись к ребятам и кивнув головой в сторону ушедшего Тимура, Фигура говорит:

— Вот упрямая порода! Что это он там бормотал? (Надвигаясь на одного из мальчишек.) А у тебя есть в душе пламень?

Мальчишка (гордо):

— Нет... этого нету...

Фигура (горько и зло):

— Вот то-то и есть, что нету!

Новые времена

Ровным строем катит по дороге к парку отряд мороженщиков.

Идет по дороге к парку отряд бутербродно-конфетных лоточниц.

Широкая, врезавшаяся клином в лес поляна с островками густой зелени. На пятитонке играет, поблескивая медными трубами, оркестр духовой музыки. Кружатся танцующие пары. Сквозь просветы между громоздкими белыми облаками светит солнце.

По опушке под деревьями и кустарником расположились веселые отдыхающие группы.

От опушки к чаще кустов, в тень, осторожно подъезжает легковой «ЗИС».

Выскакивают из него с кульками, с провизией, с сумками взрослые и ребята.

Мимо «ЗИСа» идут полковник Александров и Женя.

Женя (неуверенно):

— Я... я думаю, что Тимура здесь нет... Он, наверное, опять на работе.

Полковник:

— А ты завтра пойдешь на работу?

Женя (отрицательно мотает головой):

— Нет. (Пауза.) Если они там, я к ним пойду еще сегодня.

На пне под кустом стоит патефон.

На траве, на скатерти, закуска.

Тут же, прислонившись к стволу дерева, сидит задремавший дедушка.

Молодой человек призывного возраста (наклонившись к молодой девушке):

— Идем! Мы только немножко потанцуем и вернемся обратно.

Девушка:

— Да, но тогда нужно разбудить дедушку.

Стоя напротив, они берутся за руки и, счастливо улыбаясь, смотрят в глаза друг другу.

Хруст шагов — и, испуганно разжав руки, они прячут их за спину.

Невдалеке показались полковник Александров и Женя.

Женя (прижимаясь к отцу):

— Папа, а ты мне патефон подаришь?

Полковник:

— Сказано.

Женя:

— Слово?

Полковник:

— Слово!

Женя (лукаво):

— А какое? Бывает слово пионерское, комсомольское, красноармейское...

Полковник (полушутя):

— Мое — бронетанковое.

Женя (удовлетворенно):

— О! Это, конечно, тяжелое и верное слово!

В тени дерева около машины стоят два бледных человека... Один из них, напряженно слушая радио, машет рукой в сторону духового оркестра.

Оркестр продолжает играть.

Около «ЗИСа» стоит уже человек двадцать... Подбегают еще люди... И уже многие отчаянно машут оркестру руками.

Но дирижер стоит спиною, он не видит, и оркестр продолжает играть. Ближайшие танцующие пары, обрывая танец, бегут к «ЗИСу».

Кто-то дернул дирижера за ногу. Он останавливается, на его лице недоумение.

Он растерянно машет рукой, музыка стихает.

В лесу молодой человек призывного возраста и девушка. Он говорит ей решительно:

— Идем! Мы только немного потанцуем и придем обратно.

Девушка:

— Да, но тогда нужно подойти и разбудить дедушку...

Молодой человек озорно подкрадывается к патефону, поднимает мембрану и пускает пластинку.

Дедушка открыл глаза, улыбнулся и увидел, как счастливая пара выскочила на поляну и, чем-то пораженная, остановилась.

Перед ними безмолвно замершая поляна. Все сколько ни есть людей стоят не шелохнувшись, лицом к «ЗИСу».

Голос наркома из репродуктора:

«...Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города...»

Тревожный лязг металла о железный рельс.

Голос наркома продолжает:

«...Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие...»

Рука с молотком тревожно бьет по рельсу.

Огород позади села.

Быстро поднимают головы женщины-полольщицы. И на тревожный звон бегут к селу.

Тимур, Нюрка, Симаков и другие ребята вскакивают с земли.

Тимур:

— Это не на обед... (Недоуменно.) Я не знаю, что это значит!

Нюрка:

— Это, наверное, пожар... Бежим... бежим... ребята!

Перескакивая через грядки, они мчатся к взрослым, бегущим к селу.

Опять поляна. Безмолвная толпа.

Голос наркома:

«...Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось...»

Село.

Перед репродуктором в толпе колхозников стоят Тимур и Нюрка.

Голос наркома:

«...Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины...»

Глаза Тимура открываются все шире и шире, и, не глядя, он прижимает к себе маленькую перепуганную Нюрку.

На столе календарь:

Воскресенье. 22 июня 1941 года

Рядом с календарем лежат крепкие командирские пояс, ремни, полевая сумка и револьвер в кожаной кобуре.

Полковник Александров (одергивая надетые ремни) старается говорить ясно, спокойно, что ему не совсем удается:

— Жаль, что нет Оли. Но ты скажи ей, что я ее люблю, помню. Ты скажи ей, что мы вернемся...

Женя (подсказывает полушепотом и как будто безучастно):

— Не скоро...

Полковник сжал губы, чуть опустил голову, но тотчас подняв ее, медленно, как бы подыскивая слова, продолжает:

— Ты скажи ей, что она — дочь командира... И что вы не должны обо мне плакать. Слышишь? (Он трогает окаменевшую Женю за плечо.) Женя! Ты меня слышишь?

Женя (ровно, чтобы не сорваться):

— Слышу... (Пауза.) Мы... не будем... (И шепотом доканчивает.) Мы привыкли...

Но это неправда, ей трудно, она отворачивается, плечи ее вздрагивают.

За окном резкий гудок машины.

У подъезда дачи стоит «ЗИС». В нем свободно только одно место, остальные заняты ожидающими полковника командирами.

Полковник берет Женю за руки и говорит ей совсем другим голосом, простым и взволнованным:

— Что мне тебе сказать еще, Женя? Вот я большой... уже седой. А я стою... смотрю... и что говорить, не знаю...

Женя хочет ответить, она мотает головой, машет руками и бормочет:

— Ничего... ничего не говори, папа!.. Я все... все сама понимаю...

Она бросается к отцу.

Возле стола у окна стоит Женя.

Слышен стук...

Распахивается дверь. Входит взволнованная Ольга и, остановившись у порога, в страхе спрашивает:

— Женя! Где папа?

Не поворачиваясь, Женя молча, медленно поднимает руку и потом резко опускает ее вниз, в сторону окна.

Навстречу один другому несутся двое мальчишек. Расстояние между ними уменьшается... Еще не добежав друг к другу, как бы что-то вспомнив, они останавливаются, поворачиваются и в том же темпе мчатся назад в противоположные стороны.

Бежит один из этих мальчишек, столкнулся с другим мальчишкой.

Первый мальчишка (растерянно):

— Ну что?

Второй:

— Ну ничего!

Первый:

— Ты куда?

Второй:

— Я... не знаю.

Бегут рядом.

Выскакивают из-за поворота две девчонки.

Первая девчонка:

— Мальчики, погодите, и мы с вами!

Первый мальчишка (зло):

— С нами... с нами... Мы никуда сами...

Обгоняя их, по улице рысью промчались два кавалериста.

Густая полоска кустарника разделяет две тропки. По одной шагает Гейка, по другой — Квакин.

В просвете между кустами увидали они друг друга и сразу замедлили шаг.

Гейка (Квакину):

— Ты куда?

Квакин (обламывая веточку и небрежно обмахиваясь ею):

— Я? Гуляю... А ты?

Гейка хочет что-то сказать, но раздумал, потом махнул рукой и буркнул:

— Ну и гуляй своей... а я своей стороной!

Разошлись.

Сарай. Опущенные, повисшие провода. Возле сарая бестолково мечется несколько ребятишек.

Выглянули из-за забора сразу три головы. Увидав, что они не первые, нахохлились... И одна голова кричит сердито:

— Вы сюда зачем? Это не ваше место!

Кустами к сараю пробирается Квакин, с противоположной стороны — Гейка.

Столкнулись...

Гейка (Квакину):

— Гуляешь?

Квакин (сделав Гейке страшную гримасу):

— Гуляю.

Поворачивается и бежит к сараю...

За ним Гейка.

Поляна.

Увидав двух вожаков, мальчики бросились к ним навстречу.

Разом перепрыгнула через забор тройка. Подбегают еще мальчишки.

Квакин громко спрашивает:

— Где Тимур?

Чей-то голос:

— Нет Тимура!

Квакин смотрит на повисшие провода...

Он махнул одному из мальчишек рукою... Тот ловко взбирается ему на плечи, хватает руками и дергает за веревочные провода.

Звякнули где-то горлышки разбитых бутылок...

Машет впустую железная палка... Дружно звякнули жестянки.

На поляне уже много народу, но еще и еще подбегают ребята.

С заплаканным лицом, закрыв глаза, стоит у дерева Женя...

Шум, волнение, крики:

— Где Тимур, куда его черт носит?!

Вдруг шум смолкает.

Из-за кустов с тяпкой в руках выходит вернувшийся с работы Тимур. За ним Нюрка, Артем, Симаков, Коля Колокольчиков.

Раздается шум, свист, «ура». Крики:

— Да здравствует наша команда!

Гейка хватает растерявшегося Тимура за руку и хмуро говорит:

— Иди... иди... говори! Не ломайся!

У калитки дачи Александровых раздается команда:

— Взвод, стой!

С топорами, ломами, лопатами красноармейский взвод останавливается. Лейтенант открывает калитку, подни-

мается по ступенькам террасы. Замялся. Опустив голову на руки, сидит у стола Ольга.

Лейтенант кашлянул. Ольга обернулась, вскочила и, торопливо вытирая слезы, спросила:

— Вы к кому? Папа уже уехал...

Лейтенант (здороваясь):

— У меня к вам дело.

На поляне перед сараем много ребят; поодаль, наблюдая за ними, стоит несколько взрослых.

Придерживаясь рукой за круто приставленную к чердаку лестницу, взволнованный Тимур говорит:

— Что я могу вам сказать? Я не капитан, не командир... а такой же, как вы, мальчишка. Люди идут на фронт, и надо много работать... молотком, топором, лопатой, в лесу, в огороде, в поле. Была игра, но на нашей земле война, и игра окончена.

Среди собравшихся шум.

Тимур (звонко):

— Мальчишки и девчонки! Вот вы киваете головами, шумите: «Давай! Давай! Будем ворочать горы!» А пройдет три дня... (ропот) ну, три недели, три месяца — работа надоест, и выйдет, что мы не пионеры, а хвастуны и лодыри. (Ропот.) Мне говорить так горько, но лучше сказать сразу напрямик, чтобы потом никто не ныл и не хныкал. Давайте жить дружно! Нас много, а будет еще больше!

Резкий свист. Свистит Симаков. Люди оборачиваются. В тени дерева стоит подошедший со всей своей компанией Фигура.

Тимур (командует):

— Отставить! Подходит подкрепление «Последний могикан», гроза садов и морковных огородов.

Тимур вытаскивает из кармана и развертывает старый флаг команды: пятиконечную звезду с опущенными вниз четырьмя лучами.

— И вот у нас уже целый пионерский отряд — и не одна, а три команды. Гейкин — весь поселок, у Квакина — лес и поле, а эти... (улыбнувшись и показывая на Фигуру) ночной патруль по охране покоя и общественного порядка!

Лицо Фигуры озадаченно.

Треск.

Как по волшебству, сдвигается с места целиком весь ветхий заборчик.

Теперь видно, что как он стоял, так его целиком выдернула из земли и, развертывая, отнесла в сторону шеренга красноармейцев.

Стоят лейтенант и Ольга. Тимур, Женя, все ребята бросаются к ним.

Ольга (Тимуру):

— Свой штаб вы можете перенести к нам на террасу, а здесь (в сторону сарая) будет стоять (в сторону улицы) зенитная батарея.

На улице под деревьями, одетые в чехлы, стоят пушки.

Окно незнакомого дома.

На стекле две пары рук быстро ставят «знак войны» — узкие, скрещенные наискосок и еще раз перекрещенные через центр бумажные полосы для предохранения стекол от бомбежки.

Внутри комнаты ловко работают, оклеивая окна, Женя и Таня.

Одеты они по-рабочему просто, волосы туго завязаны косынками.

Еще две девочки режут на столе полосы бумаги.

Грудной ребенок, сидя на полу, ловит и дергает, играя, свесившиеся со стола полоски.

Женя погрозила ему пальцем.

Оклеив окно, девочки выбегают во двор.

Во дворе возле грядок много мальчишек с лопатами, ломами, топорами. Они сидят на досках, положенных на бугры свежевыкопанной глины.

Глубокая, идущая траверсами, бомбозащитная щель.

Тимур с куском мела в руках стоит у забора. Тут же стоит его лопата. К нему подходит Коля Колокольчиков.

Тимур приказывает:

— Дай сигналы: «Внимание!», «Вижу врага», «Подать патроны».

Коля Колокольчиков поднимает согнутую правую руку ладонью вперед — пальцы на уровне головы, затем опус-

кает ее. Вытянутую левую руку относит в сторону и опускает. Потом высоко, во всю длину, поднимает правую и крутит ею над головой.

Тимур (передавая мел):

— Хорошо! Напиши: «Вижу взвод».

Коля рисует.

Тимур:

— «Вижу роту с пулеметами и две пушки».

Коля к кресту прибавляет еще продольную черточку, потом менее уверенно ставит еще два знака.

Тимур, забирая мел, зачеркивает последний знак и говорит с усмешкой:

— Обедать будешь после. Пулемет на плане обозначается так. (Рисует.) Или вот так. А это у тебя не пулемет, а кашевар с походной кухней.

Гейка (поднимаясь, командует):

— Становись на работу!

Ребята хватают топоры, грабли и лопаты.

Один из них прыгает в узкую земляную траншею. Другие тянут доски, пилят и рубят крепежные стойки.

Женя (подходя к взявшему лопату Тимуру):

— Мы побежали! Мы пойдем к комсомолкам шить мешки и брезентовые рукавицы. Там нас ждет Оля...

Тимур:

— Никуда вы не побежали. Собирай девочек, идите на огороды!

Женя (жалобно):

— Но, Тима! Мы только недавно оттуда.. Нас прогнали... Квакин нагнал туда столько народу, что председатель нам велел уходить обратно. Если не веришь (показывает в сторону улицы), спроси у Фигуры.

Тимур (строго):

— Не зови его больше Фигурой, зови Васькой.

Женя (улыбаясь):

— Есть Фигуру звать Васькой!

Улица.

Фигура и с ним еще несколько мальчишек несут ведро, мочальную кисть и свертки бумаги.

Не держась за руль, лихо прокатил мимо них щеголеватый, в брюках гольф, паренек-велосипедист.

Ребята останавливаются у забора.

Приклеивают белый лист: «Приказ штаба противовоздушной обороны № 1». Второй лист — лозунг:

«ТЫЛ, ПОМОГАЙ ФРОНТУ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ!»

Полюбовавшись на свою работу, Фигура сухой тряпкой разглаживает бумагу.

Щеголеватый паренек соскочил с велосипеда и, расталкивая ребят, читает приказ.

Фигура (давая тычка пареньку):

— Кати, кати!.. Не для таких лодырей про эти дела писано...

Паренек обиженно попятился.

Поле. Очень много голов склонилось над грядами.

Раздается русская песня, но слова ее не все знают, и поющие часто повторяют одни и те же строки:

Эх ты, степь моя...
Степь широкая,
Степь широкая,
Да раздольная...

Квакин, подымая голову, говорит Симакову:

— Когда я был хулиганом, я совсем не знал, что полоть капусту — это тоже трудно...

Степь широкая,
Степь раздольная...

Квакин выпрямился, говорит задумчиво:

— Когда я буду красноармейцем, тогда я буду...

Симаков:

— Ну, и что ты тогда будешь?

Квакин (гордо):

— А вот увидишь, что я тогда буду!

Ночь. Дачный поселок точно вымер. Тявкает собака. Шаги.

Силуэт патруля. Это какой-то комсомолец и Ольга. Они с противогазами.

Чужая комната. Яркий электрический свет.

Старуха подходит и поправляет одеяло, закрывающее окно.

Рядом с окном этажерка. На ней спит кошка.

Старуха подходит к дивану, где спит возле игрушек малыш, берет его на руки и уносит.

Ночь.

Идут Тимур, Фигура и еще четверо из ночного патруля.

Тимур прощается с Фигурой:

— Вася! Я на тебя надеюсь... Ты смотри, не того... чтобы все было как надо!

Фигура (хмуро):

— Капитан! У меня или уже как не надо, или уже все как надо. А на две стороны я никогда не работаю.

Разошлись.

Плывут светлячками затемненные фары.

Возле Фигуры бесшумно остановилась легковая машина. Открывается дверца, и виден силуэт головы человека. Человек спрашивает:

— Мальчики! Как проехать к штабу противовоздушной обороны?

Фигура (после паузы):

— Сначала скажи быстро, как зовут Ворошилова.

Человек, не запинаясь, отвечает:

— Климент Ефремович.

Фигура:

— Откуда он родом?

Человек отвечает:

— Донецкий слесарь из Луганска.

Фигура:

— Первый поворот налево, второй переулок направо. Там вас остановят.

Машина отъезжает.

Голос из машины:

— Молодец! Ты хитер, парень!

Фигура (хмуро, своим ребятам):

— Пятнадцать лет все за хитрость ругали, а вот хоть один раз да похвалили!

Светлая комната.

Изогнувшись, прыгнула с этажерки кошка на закрывающее окно одеяло, вцепилась в него когтями и сорвала неплотно прибитый край.

Улица.

Узкий, но яркий луч света падает со второго этажа на патруль Фигуры.

Фигура бросается к дверям дома и стучит кулаками и ногами.

Другая комната.

Старуха заснула возле кровати ребенка.

Отчаянно колотят в дверь ребята.

Проворно по водосточной трубе, потом по карнизу лезет Фигура к освещенному окошку, добрался и громко стучит в переплет рамы.

Вдруг раздается зловещий вой сирены и паровозных гудков.

Воздушная тревога!

Ребята внизу шарахнулись от двери.

Фигура сверху кричит:

— Вы куда? Лезь через забор! Пробирайся в дом с черного хода!

Ударила зенитная батарея.

Фигура смотрит вниз, собираясь прыгнуть в темноту, но вот он выпрямляется и, придерживаясь раскинутыми руками за шероховатую стену, закрывает своей спиной узкую полоску света.

Удар!

Еще удар!!!

Прожектор...

Тени возле зенитки.

Женя проснулась. Вскочила. Надела на плечо противогаз.

Дрожащими руками схватила со стола и поцеловала фотографию отца, выбежала на улицу.

Удар!

Недалеко от входа в подвал-бомбоубежище, взявшись за руки, торопливо шагают цепочкой совсем маленькие ребятишки с няньками, очевидно из детского сада.

Один малыш тащит игрушечного слона и, задрав голову к небу, спотыкается.

Их встречают Ольга и дежурный — комсомолец.

Из-за его спины выглядывает лицо Жени.

Ольга (заметив Женю):

— Иди вниз. Здесь без тебя обойдутся.

Женя (хватает спотыкающегося малыша):

— Я сейчас, я только возьму вот этого!

(Берет малыша на руки.)

Гул приближающихся самолетов.

Удар.

Разрывы зениток.

Малыш (Жене, доверчиво):

— Это гром?

Женя:

— Да, это гром.

Опять удар и треск зенитного пулемета.

Малыш:

— Потом будет дождь?

Женя (пригнувшись и опасливо глянув на небо):

— Да, потом будет дождь.

Удар.

Длинная очередь из пулеметов.

Трассирующие пули в небе.

Малыш:

— А потом будет хорошая погода?

Женя, скрываясь за тяжелой дверью бомбоубежища, говорит торопливо:

— Да!.. Да!.. Потом будет очень хорошая погода.

Удар.

Стоит, заслоняя собой свет, Фигура.

Снизу, откуда-то из-под кустов, ему кричат:

— Васька! Скорее вниз прыгай! Что ты думаешь?

Фигура (злорадно):

Имел одной он думы власть,
Одну, но пламенную страсть!..

Трусы! А что скажет наш капитан? Я ему обещал, что все будет сделано как надо!

Бегут взрослые дружинники.

Влезают через окошко в дом, и с улицы видно, как гаснет свет. Выстрелы стихают.

Фигура прыгает вниз, в палисадник.

К нему подбегают товарищи.

На лице Фигуры полоска крови.

Один из мальчишек в страхе спрашивает:

— Ты что? Ты ранен?

Фигура (гордо):

— Да, когда прыгал, зацепился щекой за бельевую веревку!

Возле террасы стоят лопаты, грабли, топоры, доски. По лестнице сбегают несколько мальчишек. Разобрали инструменты и убежали. На террасе возле Тимура — Гейка, Квакин, Колокольчиков, Женя, Фигура и другие ребята.

Вошел почтальон и внес квадратный, запакованный в картон сверток.

Он говорит Жене:

— Распишись. Тебе из города посылка. А твоей сестре письмо.

Женя (расписываясь и волнуясь):

— Что это такое? (Берет письмо.) Почему письмо от папы не мне, а только Ольге?

На столе стоит патефон.

Женя (закусив губу, чуть не плача):

— Папа!.. Он вспомнил... Зачем? Мне этого теперь ничего не нужно...

Она отходит, сдерживая слезы, смотрит в окошко.

Тимур рассматривает патефонные пластинки.

Вдруг лицо его насторожилось.

Он подносит к глазам небольшую прозрачную пластинку.

Потом, загадочно глянув на Женю, он осторожно заводит патефон и ставит пластинку.

Коля Колокольчиков (шепотом):

— Тнма!.. Не надо... Она (на Женю) от музыкн заплачет.

Тнмур отмахнулся от Коли н пускает пластинку.

Недоумеино смотрят на Тнмура притихшие ребята.

Крутится пластинка.

Женя стоит лицом к окну.

Вдруг раздается ровный, знакомый голос отца:

— Женя!

Мгновенно Женя оборачнвается н, ухватнвшись за подоконннк руками, замнрает с широко открытыми глазамн.

Крутится пластннка.

Голос отца:

— Когда ты услышншь эти мои слова, я буду уже на фронте. Дочурка, начался бой, равного которому еще на земле никогда не было... А может быть, больше никогда н не будет. Если тебе будет трудно, не плачь, ие хнычь, не унывай. Помнн, что тем, которые бьются сейчас за счастье и славу иашей Роднны, за всех ее мнлых детей н за тебя, родную, еще труднее, что своей кровью и жизнью онн вырывают у врага победу. И враг будет разбнт, разгромлен и уничтожен. Жеия! Я смотрю тебе сейчас в глаза прямо, прямо... Я кляиусь тебе своей честью старого н седого командира, что еще тогда, когда ты была совсем крошкой, этого врага мы уже знали, к смертному бою с ним готовились. Победить его обещались. И теперь свое слово мы выполним. Женя! Поклянись же и ты, что радн всех иас там у себя... далеко... далеко... ты будешь жить честио, скромно, учиться хорошо, работать упорно, много. И тогда, вспоминая тебя, даже в самых тяжелых боях я буду счастлив, горд и спокоен.

Уже давно смолк голос отца, и с шипеиием впустую вертнтся пластинка.

Как зачарованные стоят, ие двнгаясь, ребята.

Но вот Тнмур подошел к Жене, смотрит ей прямо в лицо, а она тнхо и взволноваино ему шепчет:

— Да! Но я не знаю как... Я ие умею...

Тогда Тимур сжимает руки Жене и говорит горячо и звонко:

— Я клянусь, Женя. Я давно знаю. И я научу тебя этой клятве!

1941



ПРОХОЖИЙ

Пьеса в двух картинах

Действующие лица:

Крестьянин.
Старуха.
Прохожий.
Дубов — командир партизанского отряда.
Офицер белой армии.
Вахромеев, его ординарец.
Писарь.
Партизаны.

Действие происходит во времена гражданской войны.

Картина первая

Внутренность крестьянской избы. Русская печь, стол, скамейка. За столом писарь сидит, склонившись над бумагами. Офицер стоит рядом, оперишсь рукой на стол.

Офицер. Донеси: я с эскадроном в шестьдесят клинков занял без боя деревню Туманово. Партизанский отряд красных под командой шахтера Дубова пока не обнаружен.

Под окном голоса, шум.

Ищу оружие. Веду обыск, допрос, разведку. Всё! Можешь идти.

Писарь уходит. Входит ординарец.

Офицер. Почему шум? Что там? Базар? Свадьба?
Ординарец. Народ для допроса пригнали, ваше благородие. Люди, я прямо скажу, вредные. Мне одна

старуха нахально в личность плюнула. Прикажете ввести, ваше благородие?

Офицер. Давай по очереди. Стой! Почему у тебя сапоги известкой заляпаны?

Ординарец. Сметана, ваше благородие! Как, значит, бывши на поисках оружия, раздавил я впотьмах кринку. Она же, старая ведьма, подняла тревогу и плюет на меня, как из пулемета. Вы с ней поаккуратней, ваше благородие: она и на вас плюнуть может.

Офицер *(спокойно)*. Застрелю на месте. Давай пропускай по очереди. *(Садится за стол, подвигает бумагу и пишет.)*

Отворилась дверь. Втолкнули мужика, и он летит прямо к столу.

Офицер *(отшатываясь и вынимая наган)*. Стой! Куда прешь? Отойди к порогу!

Мужик. Солдат пинком тыркнул, ваше благородие... А то нешто я сам как войти не знаю?

Офицер. Ну и что же, что тыркнул! А ты входи прямо, спокойно. Здесь тебе не цирк и не танцы. *(Пауза.)* Нам донесли, что в вашей деревне есть оружие, которое вы прячете, чтобы передать партизанскому отряду Дубова. Отвечай: где спрятаны винтовки, пулеметы, бомбы? Да смотри, мы всю землю перероем, а все равно разыщем.

Мужик. Ваше благородие! Да зачем зря силу тратить? И мы и деды наши вокруг этого места, почитай, двести лет землю роем, а про такое и не слыхали. Плиту чугунную на пашне однажды выворотили, это было. Яму под оврагом нашли. Там горшки, черепки, камень и скелет старинного вида! А чтобы пушка, аэроплан или хотя бы ружье попалось — этого в нашей почве нету.

Офицер *(ударив мужика нагайкой)*. Я с тобой поговорю! Я тебе прикажу всыпать шомполами, так ты у меня и сам превратишься в скелет старинного вида! *(Кричит.)* Вахрамеев!

Ординарец *(входит)*. Здесь, ваше благородие!

Офицер. Отведи этого мужика и прикажи запереть *(смотрит в окно)* вот сюда — в церковь. Там и двери тяжелые и решетки железные. С ним допрос будет особый!

Ординарец уводит мужика и сейчас же вталкивает из-за двери старушку с клюкой.

Офицер. Это ты, убогая, на моего солдата плюнула? Да, тебя дожидаючись на том свете, черти семь крюков наточили, а ты все еще безобразничаешь!

Старуха. Я, батюшка! Я! Такой солдат окаянный! Лезет в погреб. Какую-то ружье спрашивает, а сам сапожищем как в кринку сметаны двинет! Ну, я и согрешила, батюшка. Прямо так в морду ему и плюнула!

Офицер. Поп тебе батюшка, а я — офицер. Наши солдаты ищут оружие. Говори: где спрятаны винтовки, патроны, бомбы?

Старуха. Бомб у меня нет, батюшка. В той-то кадушке, что под лесенкой, огурцы малосольные. А в другой — капуста. Ты б его наказал, батюшка. Такой солдат непутевый! Давай в огурцы саблей тыкать. Мать моя! Гляди, чуть кадку не продырявил. Ты уж, если такой приказ вышел, ищи аккуратно. Ты спроси у меня ложку, половник, сядь и перебирай в мисочку. А он же, ваше благородие, схватил железу и давай тыкать.

Офицер медленно поднимает наган на старуху.

Да ты что, золотой, так на меня уставился? Я не икона.

Офицер. Дура! Это наган... Оружие. Я вот сейчас надавлю пальцем *(показывает)*, отсюда огонь ударит, пуля выскочит, и ты... будешь мертвая.

Старуха. И, батюшка! Скажешь тоже, не подумавши! Да за что же она, пуля, в меня скакать будет? Твой солдат мне в погребе убыток наделал, да я ж еще виновата!

Входит ординарец и делает офицеру загадочные знаки.

Офицер. Тебе что?

Ординарец *(тихо)*. Прохожий, ваше благородие. Имеет стремление к неотложному сообщению.

Офицер. Веди!

Ординарец. А эту? *(Показывает на старуху.)*

Офицер. Гони со двора нагайкой! Или нет: запри ее тоже в церковь. Пусть лучше убогая грехи замаливает, а то сейчас пойдет звонить по деревне.

Ординарец *(старухе.)* Идем. *(Опасливо заслоняет лицо ладонью.)* Ишь ты! Так и глядит, так и глядит мне в личность. Это она, ваше благородие, еще плевнуть на меня хочет.

Уходит вместе со старухой. Осторожно входит прохожий с сумкой. Оглядывается и крестится на иконы.

Офицер *(нетерпеливо)*. Ладно, ладно! Здесь тебе не обедня. Что за человек? И чего тебе надо?

Прохожий. Сирота, ваше благородие. Житель деревни Костриковой. Будучи изгнан с родного пепелища декретом красных, бежал искать пристанища и защиты.

Офицер. Гм! А велико ли было твое пепелище?

Прохожий. Две лавки да один трактир, ваше благородие. Лишен всего во мгновение ока.

Офицер. И что же ты, сирота, от меня хочешь? Уж не думаешь ли ты, что так и кинемся мы отбивать твой трактир и лавки? У нас дела поважнее: нам Москву занимать надо.

Прохожий. В добрый час, ваше благородие! Однако же Москва от вас пока далеко, а вот дубовские партизаны близко.

Офицер. Где близко? Говори коротко, ясно. Понятно?

Прохожий. Дитя малое — и то поймет. Иду я по Снявской дороге.

Офицер рукой показывает направление, прохожий повторяет жест.

Дай, думаю, искупаюсь. И свернул к мосту.

Офицер рукой показывает направление, прохожий повторяет движение офицера.

А тут такой ракитничек, кусточки, кусточки. Вдруг: «Стой!» Выходят три молодца при полном оружии, и стали они меня спрашивать: «Много ли на Тумашевой дороге вооружения? И какое там стоит войско?» Я им и говорю: «Войско стоит небольшое — человек двадцать. Вооружение обыкновенное. Пулемета не видел».

Офицер *(подозрительно)*. А зачем сказал — мало? Почему не соврал — триста... четыреста?

Прохожий. Ваше благородие, на четыреста Дубову не подняться, когда у него человек с полсотни, не больше, а так, проведавши про малую вашу силу, как хищные звери наскочат они к рассвету. Тут вы их всех и положите.

Офицер. Почему к рассвету? Разве они тебе это сказали?

Прохожий. Не сказали, но таков их закон природы, ваше благородие. Коршун бьет птицу из-под солнца. Волк

ползет к загону под месяцем. А партизан вашего брата на заре губит. Иной солдат ночь не спал. Иной как раз загрустил с похмелья. А иному шибанет в голову какая-нибудь греза... сновидение. Вот тут-то они и ата-та-та, голубчики!

Офицер. Гм. Так ты хочешь, чтобы мы устроили им засаду? Хитер ты, я вижу, сирота, да не знаю, как тебе верить.

Прохожий. Ваше благородие! А вы возьмите к себе в залог мою душу и тело! Моя правда — мне почет, а нет — так делайте со мною что хотите.

Офицер. Ну, смотри! Душа мне твоя не нужна, а уж с телом... в случае чего мы разберемся. Я тебя запру. Там сидят уже двое, а ты около них вертись да потихоньку слушай, слушай... *(Пауза.)* Прячут здесь где-то оружие для Дубова... Крепко запрятали! *(Пауза.)* Эй, Вахрамеев!

Ординарец *(входит)*. Здесь, ваше благородие!

Офицер. Отведи этого человека и запри в церковь.

Ординарец. Слушаюсь, ваше благородие!

Прохожий *(ординарцу)*. Ты, солдат, когда будешь вести меня мимо народа, дай мне раза два в шею, чтобы, значит, не было у людей на меня подозрения.

Ординарец *(к офицеру)*. Дать, ваше благородие?

Офицер. Ну, дай, если человек просит.

Прохожий. Да ты, смотри, голова, бей только для виду. Ты кулаком бей. А то еще долбанешь прикладом, так потом и не встанешь. *(Уходит с ординарцем.)*

Входит писарь с мешком. Вываливает на пол все содержимое мешка: сломанное ружье, ржавая, без ножен сабля, пустой стакан от снаряда, пустые обоймы.

Офицер. И это все?

Писарь. Все, ваше благородие. Оружие... конечно, боевого смысла не имеет. Разве вот... сабля.

Офицер. Выкинь, дурак, на помойку и позови ко мне остальных командиров... *(Стукнул кулаком по столу.)* Ничего! Дело будет!

Занавес

10*

Картина вторая

Угол возле двери внутри церкви. Решетчатое окно. На стене намалеваны бесы, которые волокут в пекло упирающегося грешника. Перед стеной лампада и аналой. Мужик спит. Бабка зажигает свечные огарки. Прохожий нетерпеливо ходит взад и вперед. Он то заглядывает в окно, то голову задирает кверху. Наконец берет аналой, подтаскивает его к окошку и примеряет то одним, то другим боком.

Старуха. И что ты, неспокойный человек, ходишь, толчешься? Ну зачем ты аналой с места на место воротишь?

Прохожий. К свечам поближе, бабуся. Я сейчас «двенадцать апостолов» читать буду.

Старуха. И то, читай! Глядишь — ночь пройдет быстро.

Прохожий (*смотрит в окно*). Уже проходит! Заря близко. (*Подходит и осматривает наружную дверь. Подумав, осторожно задвигает засов.*)

Старуха (*с тревогой*). Ты почто, человек, засовом торкаешь? Солдат услышит — рассердится.

Прохожий. Молиться буду, бабуся. Не люблю, чтобы во время святыя молитвы лишний народ толкался. (*Прислушивается и громко вопит.*) Помилуй мя, господи, и во благости своей прости мне прегрешения!

В дверь стучат прикладом. Голос за дверью: «Эй, там! Я вот во благости своей пущу пулю, тогда замолкнешь».

Старуха (*сердито*). Ты, прохожий, молись тихо. Ты скромно молись. А то, как бык, рявкаешь. Пустой ты, я на тебя посмотрю, человек. Так... все зря суетишься.

Прохожий вынимает из сумки длинную веревку и старательно завязывает петлю.

Ну почто ты, скажи, из мешка веревку вытянул? Здесь не лабаз, не чердак, а церьква, место тихое. Ой, смотри, если ты что плохое задумал! На том свете взыщется! (*Показывает на стену.*) Глянь-ка, как они, черти, грешника в пекло тянут. Иной черт за руки тянет, иной за волосья. А он, видишь, не идет, упирается.

Прохожий. Бабуся...

Старуха. Ну?

Прохожий. Сделай божескую милость, помолчи хоть немного. Здесь не базар, а церьква, место тихое. А ты

тарахтишь, как сорока *(показывает на спящего мужика)*, вот человеку спать мешаешь. *(Взяв веревку, уходит куда-то в глубь церкви.)*

Старуха *(дергает за рукав сонного мужика)*. Василий, а, Василий!

Мужик *(сквозь сон)*. Ну?

Старуха. Пойди, Василий, глянь на прохожего.

Мужик. А что на него глядеть? Не картина.

Старуха. А он, Василий, не в себе, что ли. Все ходит, ходит, а сам этак руками... руками. Вот теперь веревку из мешка вытянул. Петлю завязал и ушел. Как бы, думаю, греха не было. Еще возьмет да в храме и удавится.

Мужик *(равнодушно)*. Пусть давится. Все равно хорошего житья нету. *(Трогает себя за плечо.)* Эк офицер меня нагайкой срезал! *(Опускает голову.)* Спи, баба! Заря близко. *(Засыпает.)*

Старуха *(встает, подходит к окошку)*. И то, светает! *(Смотрит в окно.)* Батюшки, а солдаты-то, солдаты! Коней ведут... седлают... запрягают. Унеси ты, господи, эту нечистую силу! *(Отходит от окна. Становится на колени и молится.)*

Издалека доносится ржание коней, негромкие голоса. Сверху на веревке тихо опускается к полу пулемет. Пулемет ударяется об пол. Старуха оглядывается. Увидев пулемет, бросается к мужику и будит его. Быстро входит прохожий. В правой руке он держит наган, в левой — две коробки пулеметных лент.

Прохожий. Отползите в угол. Ну, дальше... Дальше... Сидеть смирно! *(Поднимает пулемет и ставит его на аналой у окна. Наводит, прицеливается.)*

Старуха *(тихо)*. Василий! Да что же это такое?

Мужик. Сошествие пресвятого пулемета с небес на землю. Терпи, баба, сейчас стрельба будет.

Резкий стук приклада в дверь. Прохожий кидается к двери.

Голос. Отворите, проклятые! Зачем заперлись?

Прохожий. Сейчас, господин солдат! Засов заело. *(Хватает конец веревки и заматывает наглухо засов.)*

За дверью внезапный выстрел. Прохожий падает. Он лежит на полу, в руках его наган, пробует встать и не может. В дверь стучат.

Прохожий *(мужику)*. Встань и подойди к окну.

Мужик. Не пойду!

Прохожий *(направляет на мужика наган)*. Ну!

Мужик *(нехотя)*. Ну, подошел...

Прохожий. Что видно?

Мужик. Стоят в строю возле ограды солдаты... Вот офицер вышел.

Прохожий. Пора! *(Хочет подползти к пулемету, но не может. Падает.)*

Мужик. Вот офицеру коня подводят. Сейчас и все, видать, на коней вскочат!

Прохожий *(мужику)*. Послушай, возьми... подведи, подтащи меня к пулемету.

Мужик. Не буду! Да и что с тебя толку?

Прохожий поднимает наган.

Не буду!

За окном команда: «По коням!»

Прохожий. Так... бей же, бей тогда сам, коли не будешь!

Мужик *(резко пригнувшись к пулемету)*. А вот бить их я всегда буду! *(Обернулся.)* Стой, баба, на подаче, вторым номером! *(Прицелился.)* Ну... Теперь все как на ладони.

Треск пулемета.

Занавес закрывается и тотчас же опять открывается. Мужик у пулемета. Бабка в одной руке держит коробку с пулеметной лентой, другой крестится. За окном шум, одиночные выстрелы.

Мужик. Все, баба! Вот они ворвались, партизаны. Теперь и закурить можно!

Старуха *(яростно сует ему коробку с лентой)*. Вот еще! Храм табачищем поганить! Да ты стреляй! Нашел тоже место курить.

Мужик. Не в кого, баба: чисто, как после сенокоса. А где какой клок остался, так партизаны саблями подровняют.

Стук в дверь.

Кого надо? Служба окончилась.

Голоса. Отворяй! Свои! Партизаны Дубова!

Мужик отодвигает засов. Входит Дубов, а с ним еще несколько партизан. Дубов бросается к прохожему.

Дубов. Семен! Убит?!

Прохожий *(поднимая голову)*. Ранен.

Дубов. Голова цела! Сердце на месте! Эй, там! Носилки!

Мужик (*обращается к партизану, показывая на прохожего*). А это что же за человек будет?

Партизан. Семен Васильев, первый у Дубова помощник.

Входят партизаны, вносят носилки и вводят связанного офицера. Офицер злобно смотрит на окружающих и вдруг замечает старуху, которая все еще держит в руках коробку из-под пулеметной ленты.

Офицер. А это у тебя что же, старая ведьма? Тоже огурцы в корзинке? Вот погоди! Поволокут тебя за такие дела черти в пекло.

Старуха. И, батюшка! А ваш брат нам и на этом хуже всякого черта.

Дубов (*офицеру*). Оружие искали, ваше благородие? (*Партизанам*.) Выносите оружие, товарищи!

В это время раненого Семена бережно укладывают на носилки. А за окном вдруг грянула под гармонику партизанская песня.

Дубов (*в смятении*). Отставить! Не надо! Что разорались?

Прохожий (*приподнял голову*). Пусть поют! От хорошей песни крепче жить хочется.

Носилки с раненым уносят. Партизаны с песней переносят из церкви на улицу оружие.

Занавес

ПАРТИЗАНСКАЯ ПЕСНЯ

В дыму, в боях прошли мы,
Товарищи, друзья,
Кубанские долины,
Кавказские края.

Припев:

Дороженька очень крутая,
Свет месяца голубой.
Прощай, сторона родная,
Мы в новый торопимся бой.
Нам громы грохотали
И ветер завывал,
Когда мы занимали
Грачовский перевал.

Припев.

1939

РАННИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



В ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Рыжевато-красной длинной лентой поезд медленно подходил к Москве.

Сергей стоял у открытой двери теплушки и с любопытством смотрел на загроможденные и забитые лабиринты железнодорожных путей. Целый город потухших паровозов, сломанных почтовых, товарных вагонов и платформ. В одном из тупиков, неподалеку, сиротливо стоял занесенный грязноватым снегом санитарный поезд. С красными крестами на белых стенках, но без дверей, без стекол и почти без крыши. И так кругом, насколько хватало глаз,— все вагоны, вагоны, застывшие и мертвые.

«Точно кладбище...» — подумал Сергей.

— Да! — прошипел сзади чей-то хриплый и ехидный голос.— Вот она, революция-то!

Никто ничего не ответил. Лица у всех были усталые и хмурые.

Только какой-то мастеровой из-за дымящей железной печки процедил сквозь зубы, точно нехотя:

— Этого добра нам еще с шестнадцатого гнать стали.

Промелькнули бесчисленные семафоры, и поезд, вздрагивая, заскрипел и задрожал тормозами перед вокзалом. Сергей торопливо еще на ходу поезда соскочил на перрон

и пошел, подхваченный массою торопящихся и кричащих людей, к вокзалу.

Он встал в один из двух огромных «хвостов» и, терпеливо дожидаясь своей очереди, смотрел, как вокруг него сновал нагруженный различной поклажей народ, как из теплушек поезда быстро выбрасывались какие-то мешки и торопливо утаскивались куда-то под вагоны, с глаз проходящего милиционера. Не без труда добрался Сергей до свободного краешка скамейки внутри вокзала. Поставив на нее солдатский мешок, протискался через спящих к буфету, в надежде хотя немного закусить. Но на всем обширном прилавке он не нашел ничего, кроме двух банок с солеными огурцами и капустой да десятка бутылок с подкрашенной сахариной «фруктовой».

— Неужели здесь ничего достать нельзя? — спросил он у какого-то железнодорожника, прихлебывавшего кипяток с огрызком сахара.

— Отчего нельзя? — ответил тот.— Вон возле вокзала на лотках продают. Только хлеба вряд ли достанете.

Хлеба Сергей действительно не достал, но зато купил несколько пирожков с каким-то подозрительным мясом и с аппетитом уплел их.

Стало совсем светло. Яркие лучи весеннего солнца, пробившись сквозь запыленные стекла огромных окон грязного вокзала, падали на спящую на столах и на полу людскую массу, которая, просыпаясь, наполняла сырой воздух кашлем и сморканьем. Уборщики, с метлами, громкими окриками будили и бесцеремонно подергивали за руки и за ноги особенно разоспавшихся.

— Эй! Эй! Вставайте!..

Вокруг все заговорило и зашумело. Сергей расспросил у соседа дорогу на Пятницкую. Надел за спину вещевой мешок и, пробравшись к большой двери, вышел на площадь и широко вздохнул.

С крыш капало. По площади сновали люди, трещали мотоциклетки, и что-то куда-то везли тяжело пыхтящие грузовики. Над башней Николаевского вокзала трепыхался широкий красный флаг.

«Ну, пора!» — подумал Сергей.

Горячая вера в жизнь и в свое дело еще крепче охватила его. Он улыбнулся, повернул налево и твердо зашагал вперед... Навстречу ему светило теплое весеннее солнце.

Около Красных ворот Сергей повернул налево и пошел по направлению к Земляному валу. Пешеходы, нагруженные мешками муки, кульками картошки, охапками дров, волокли их на санках по грязным тающим улицам. Трамваи без пассажиров, нагруженные бревнами, с грохотом проносились мимо. Высокие серые и белые каменные дома с окнами, закопченными трубами железных печек. Витрины больших магазинов, залепленные плакатами, афишами, приказами и объявлениями. Длинная очередь, тянущаяся иногда на расстоянии целого квартала, предсказывала, что сейчас попадется вывеска: «Продовольственная лавка номер такой-то». Вот направо вывеска с головой лошади на изогнутой дугой шее и с надписью: «Продажа конского мяса».

Дальше... дальше...

— Есть «Ира»! Есть «Ява»!

— Настоящий германский сахарин!

Вот и «барахолка». Шумная и крикливая. Из палаток, с лотков и просто с рук продается разная разность, съестное и одежда, а иногда даже и хлеб, но последний с опаской и из-под полы.

В дорогом допотопном салопе, бывшая барыня торгует остатками содержимого спрятанных от реквизиции сундуков. Вот каракулевый сак с пончиками и пирожками.

После двухчасового пути он подходил по Пятницкой к дому № 48, на котором, пониже прибитой красной звезды, значилось:

9-Е СОВЕТСКИЕ КОМАНДНЫЕ КУРСЫ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Во дворе его встретили толкотня и разгром. Курсанты таскали на грузовики доски и столы. Куда-то волокли набитые соломой тюфяки, а у стены наваливали в огромную груду деревянные топчаны.

— Товарищ! — обратился Сергей к стоявшему у ворот дневальному.— Как мне в канцелярию пройти?

— В канцелярию? — переспросил тот.— А вам зачем туда?

— Документы сдать, я на курсы приехал.

— А! — улыбнулся тот.— Так вы жарьте к комиссару. Егоров! — окрикнул он одного из проходивших.— Проводи товарища к комиссару.

Сергей пошел со своим проводником через длинный ряд опустевших комнат.

— Завтра уезжаем,— весело пояснил курсант.— А вы что, к нам приехали?

— К вам.

— Вот и хорошо. Ладно, что вовремя еще захватили, а то пришлось бы вам оставаться где-нибудь в Москве.

Вот и комиссар. Он кратко поговорил с Сергеем и, написав что-то на клочке бумаги, подал его Сергею.

— Оставьте ваши документы и передайте это командиру первой роты.

Не без труда нашел Сергей командира роты. У того шла в это время горячая работа по погрузке цейхгауза. И он, едва взглянув на записку, крикнул:

— Эй, старшина... Лебедев! Передай-ка товарища в первый взвод.

Старшина, невысокий, крепкий, с солдатской походкой, выдававшей в нем старого унтера, повел Сергея наверх.

— Вот,— сказал он, обращаясь к взводному курсанту,— возьми его, брат, к себе на попечение.

— Ставь свою сумку сюда,— проговорил тот.— Спим мы вторые сутки на голых досках, обойдешься до завтрого-то?

— Обойдусь,— засмеялся Сергей.— Я не из прихотливых.

Он приткнул свои вещи в угол, к пустой койке, умылся под водопроводным краном и решил поискать Николая; это был его старый друг и будущий боевой товарищ, встречи с ним Сергей нетерпеливо ждал.

— Вы его не найдете,— сказал ему кто-то.— Он в карауле на вокзале у эшелона. Завтра в десять им смена будет, тогда он и придет.

Пользуясь свободным временем, он отправился во двор. Сначала глядел, а потом и сам стал помогать грузить пианино и мебель из клуба. И когда в шесть часов горнист подал сигнал к ужину, Сергей тоже стал в строй и слился с этой бодрой живой массой.

По окончании ужина комиссар сказал несколько слов о предстоящей поездке, о последних событиях на Украине.

Поздно вечером добрался Сергей до своего жесткого ложа. Подложил под голову шапку, патронташ, укрылся

шинелью и, утомленный наплывом новых впечатлений, крепко заснул.

Проснулся Сергей по сигналу «подъем».

Сбегал в умывальную комнату, в которой с шумом, не жалея холодной воды, уже полоскалось около трех десятков курсантов. Выпил в столовой кружку чая, потом пошел с кучкой ребят грузить остатки курсовой библиотеки. Когда он помогал поднять последний тяжелый ящик с книгами, увидал возвращающийся с вокзала караул. Он сразу узнал Николая и окрикнул его. Тот удивленно взглянул в его сторону и радостно подбежал к нему.

— Как! И ты здесь?

— Как видишь.

— Давно?

— Со вчерашнего дня.

Последний ящик был взвален на грузовик, и они отправились в помещение.

— Ну, братец ты мой, и рад же я! — говорил Николай, усаживаясь рядом с ним на голый топчан.— Случайто какой — Украина, партизанщина, петлюровщина, а тебя-то и нет. Втроем-то погуляем там!

— Как втроем? — переспросил Сергей.— Кто же третий?

— А! Ты еще не знаешь,— спохватился тот, стремительно кинулся куда-то в сторону и завопил:

— Володька!.. Володька!.. Егоров!

— Вот! — сказал он, указывая на подошедшего откуда-то невысокого, крепкого курсанта, в котором Сергей узнал своего вчерашнего провожатого.—Это и есть третий.

— Мы уж и без тебя знакомы!

Усевшись на подоконник, все трое стали оживленно болтать.

— Скажите,— спросил Сергей,— кто у вас начальник курсов? Его что-то не видно.

— А кто его знает,— ответил Егоров, слегка пожимая плечами.— Говорят, бывший генерал-майор, Сорокин фамилия. Спец хороший, но душа у него, пожалуй, генеральская. Вот комбат Матрин у нас — душа-человек. Любят его курсанты.

Случай свел товарищей в один взвод. В два часа начались сборы. Туго упакованные корзинки, мешки и ранцы были погружены и отправлены на вокзал заранее. Вот и сигнал «повестка». С подсумками и винтовками выбе-

гают курсанты. Запыхавшийся завхоз торопит какую-то отставшую подводу. И кто-то отчетливо командует звучным голосом:

— Становись!.. Батальон направо! Отделениями правое плечо вперед — ша-агом марш!

И коротко и резко:

— Прямо!

Под раскаты марша, твердым шагом ударил батальон по дороге.

Глава вторая

На вокзале быстро погрузились в вагоны.

Николай с новым чайником пошел за кипятком на станцию; Владимир в цейхгауз — получать для троих хлеб и сахар на дорогу, а Сергей от нечего делать прогуливался от головы до хвоста эшелона.

— Сережа! Ну-ка, помоги, брат!

Обернувшись, он увидел Владимира, нагруженного двумя большими буханками хлеба.

— Ого сколько! — удивился Сергей.

— Напрасно дают все сразу,— подхватил проходящий позади курсант.— Съешь в три дня, а там сиди как хочешь.

И он с сожалением посмотрел на свою восьмифунтовую ковригу.

— А ты не ешь, Федорчук, сразу. Кто же тебе велит?

Федорчук расплылся широкой улыбкой, показав ряд крупных крепких зубов.

— Разве вытерпишь, когда тут под боком!

Николай с кипятком уже поджидал их на верхних нарах, подле окошка. В вагоне было тепло от железной печки, шумно и весело. Вздрогнул состав от толчка прицепившегося паровоза. Переливчато прозвучал последний сигнал — и поезд тронулся.

Кто-то запел звонкую курсантскую песню, и, дружно подхваченный десятками молодых голосов, полетел припев:

«Прощайте, матери, отцы, прощайте, жены, дети. Мы победим, народ за нас. Да здравствуют Советы!»

Стало уже совсем темно. Тысячи огненных искр летали и кружились в фантастическом танце. Ритмично постукивали колеса, могуче ревел, ускоряя ход, паровоз.

Чем дальше уходил эшелон к югу, тем зеленее и приветливее заглядывали в окна рощи и поля, а там, где впервые начали попадаться белые мазанки хуторков, было уже совсем по-весеннему сухо и тепло.

На одной из небольших станций Сергей в первый раз увидал начальника курсов.

Он шел рядом с комбатом и говорил ему:

— Вы останетесь за меня на станции Конотоп, мы со вторым эшелоном вас нагоним.

Они прошли мимо.

«У него в самом деле генеральское лицо»,— подумал Сергей.

На следующей станции немного попортился паровоз, и, пользуясь вынужденной остановкой на время его починки, стали раздавать несколько раньше времени обед.

— Должно быть, долго простоим,— проговорил, возвращаясь с наполненным котелком, Владимир.

— А что?

— Товарный вперед пропускают.

— Успеем! Мне так это путешествие только нравится.

Наконец, три жиденьких, поспешных звонка, хриплый гудок — и эшелон двинулся.

Вечерело. Поезд помчался мимо распускающихся кудрявых рощ.

— Что ты делаешь, Володька? — спросил Сергей, заметив, что приятель давно мастерит что-то своим крепким перочинным ножиком.

— Пропеллер! — шутя ответил тот.— Сейчас приделаю к вагону, и эшелон полетит по воздуху.

Пропеллер он действительно смастерил, и тот с веселым жужжанием завертелся на ходу. Однако поезд не только не изъявил особенного стремления подражать в способах передвижения аэроплану, а наоборот — тревожно загудел и круто затормозил, остановившись на небольшом разъезде перед человеком с красным флагом на путях.

— В чем дело? — кричал, подбегая, дежурный по эшелону.

Маленький железнодорожник, путаясь, скороговоркой ответил:

— Впереди в пяти верстах крушение... товарный разбился...

Быстро взводные командиры раздают из раскупоренных ящиков боевые патроны. Торопливо громыхая щитом, пулемет забирается на паровоз. Двери и окна открыты — и без гудков, без свистков, бесшумно продвигается эшелон вперед. Сергей лежал на верхних нарах, рядом с Владимиром, и зорко всматривался в мелькающую чащу леса.

Впереди, в пятидесяти саженях, чернела и дымилась какая-то масса. Рядом стояли два человека.

Стоп... Первый взвод быстро выскочил из вагона. Вот и место крушения, около которого стоит путевой сторож.

— Нету! — крикнул он подбегающим.— Нету, ушли!

Сергей прошел несколько дальше, мимо разбитых цистерн, и вдруг вздрогнул, невольно остановившись.

На лужайке, подле сваленного расщепленного вагона, лежало три изуродованных трупа.

Напрасно вторая рота до поздней ночи обыскивала кругом окрестности; шайка пропала бесследно, ничего не тронув и не разграбив.

Старик сторож из соседней будки рассказывал об этом случае так: обходя линию, он заметил человек двадцать вооруженных, развинчивавших гайки и накладывавших рельсы поперек пути. Он тихонько повернул и незаметно побежал домой к телефону, чтобы предупредить несчастье. Но в будке он застал у аппарата двух человек с винтовками, спокойно справлявшихся у разъезда о времени выхода поезда. Не успел он опомниться, как очутился запертым в небольшом чулане. Через несколько минут бандиты ушли. С большим трудом он выбрался через узенькое окошко, но товарный уже промчался мимо. Тогда он позвонил на разъезд по телефону, а сам пошел к месту крушения. Там он застал только одного уцелевшего кондуктора, вместе с которым и вытащил из-под обломков четыре трупа — машиниста, кочегара и двоих из бригады.

— А знаете, что я вам скажу? — обратился к товарищам Николай.— Ведь крушение-то предназначалось нам. Если бы наш паровоз не испортился на последней станции, то раньше прошел бы наш эшелон.

— Так-то так, да как же впереди могли знать, что следует наш эшелон?

— Уж не предупредил ли какой-нибудь телеграфист-петлюровец?

Ночью пришел вспомогательный поезд с рабочими, и утром эшелон по очищенному пути двинулся снова вперед.

На станции Конотоп их догнал второй эшелон.

Здесь впервые встретился в продаже белый хлеб, булки, колбаса, сало и другие продукты, давно вышедшие из обихода московского курсанта. А так как перед отправлением каждый получил жалованье за истекший полумесяц, то в покупателях недостатка не было, и торговки-хохлушки оказались атакованными целым батальоном.

Конец пути прошел без приключений. Проснувшись рано утром на пятый день путешествия, через раскрытое окно и двери курсанты увидели Киев. Белые домики окраин, утопающие в цветущих вишнях, окруженные зеленью массивные постройки центральной части, и солнце — теплое весеннее солнце, обливающее ярким светом красивый, как будто новый город.

Часов около десяти послышалась команда «строиться». Запыленные долгой дорогою, уже с шинелями в скатку, через плечо, двинулись курсанты на место, с любопытством оглядывая улицы.

После голодной Москвы били в глаза открытые лавки, магазины, рестораны и гуляющая весенним утром публика в легких белых костюмах и кружевах, беспечная и смеющаяся. Единственным носителем следов последней оккупации были вывески различных предприятий и учреждений, переименованные по указу атамана Петлюры на украинский лад. Сквозь плохо замазанную краской вывеску «Парикмахер» проглядывало «Цирульня», вместо «Типография» — «Друкарня».

Вот и новая обитель курсов — огромное трехэтажное здание бывшего кадетского корпуса, способное вместить чуть ли не дивизию.

Наконец-то дома!..

Глава третья

Первую роту поместили наверху, в просторных, светлых комнатах с окнами, выходящими в рощу. В различных частях корпуса поселился комсостав с семьями, служащие, хозкоманда, околодок, похожий по оборудованию на лазарет, всевозможные цейхгаузы, классы, кабинеты.

Весь день кипела работа. Часам к пяти, когда койки были расставлены, а матрацы набиты, курсантам объявили, что они свободны, и, для первого дня, желающие могут даже без увольнительных отправляться в город.

— Ты пойдешь куда-нибудь? — спросил Николай у Сергея.

— Нет, не хочется что-то.

— Ну а я пойду в поиски. Тут где-то сестра моей матери обитает — значит, моя собственная тетка. Но, кроме того, что она живет на какой-то Соломенке, я ничего не знаю.

— Ты как будто ничего раньше не говорил нам про нее?

— А я, по правде сказать, сам только в вагоне вспомнил, — усмехнулся Николай. — Дай, думаю, поищу, авось пригодится.

Совсем стемнело, но в помещение не шел никто, уж очень был хорош вечер.

Николай довольно смутно помнил свою тетку — Марию Сергеевну Агорскую. Не видел он ее уже около десяти лет, как раз с того времени, когда она со вторым мужем и девятилетней дочерью уехала из Москвы в Киев.

И он припомнил небольшую худенькую девочку в коричневом платьице, с которой когда-то вместе ходил «говеть» в одну и ту же церковь.

Соломенка оказалась совсем рядом, и Николай без труда получил все нужные ему сведения от первого же встречного.

Подойдя к беленькому домику с небольшим садом, засаженным кустами сирени, он заглянул сначала в щелку забора.

За небольшим столиком в саду сидела женщина и пила чай. Немного приглядевшись, Николай узнал свою тетку.

«Ну, конечно, она, постарела только, — подумал он, — лет сорок с лишним, пожалуй, будет».

И Николай, отдернув щеколду, отворил калитку.

Старуха встретила его испуганно. Он уверенно подошел к столу.

— Здравствуйте, тетя! Не узнали? Николай, собственный ваш племянник.

— Ах, батюшки мои! — Тетка всплеснула руками.— Да откуда ты? Ну иди, поцелуемся. Эммочка, Эмма! Пойди сюда, беги скорее!

На ее зов из двери выбежала девушка лет девятнадцати, в беленьком ситцевом платьице и с книжкой в руках.

— Твой двоюродный брат. Да поздоровайся ты, мать моя, чего столбом стоишь!

— Здравствуйте! — подошел к ней Николай, протягивая руку.

— Здравствуйте! — ответила она и с любопытством оглядела его.

— Да вы что? — негодующе крикнула тетка.— Или на балу познакомились? Небось раньше вместе на стульях верхом катались!

— Это от непривычки,— звонко засмеявшись, сказала Эмма.— Садись пить чай.

Николай сел. Старуха засыпала его вопросами.

— Ну как мать, сестры? А отец? Ох, непутевый он у тебя был. Наверно, в большевики пошел? А ты что в эдаком облачении,— ткнула она пальцем в его гимнастерку.— В полку, что ли, служишь?

— Нет, на курсах.

— Юнкер, значит, вроде? Ну, доброволец, а то и коммунист?

— Мама! — прервала ее Эмма.— Уже давно звонили, опоздаешь!

— Правда, правда! — засуетилась старуха.— Поди, уж «от Иоанна» читают.

Николай остался с Эммой вдвоем.

Спустился мягкий весенний вечер. Далеко, чуть-чуть звонили колокола. Николай посмотрел на Эмму и улыбнулся.

— Правда, что ты коммунист?

— Правда, Эмма.

— Жаль! — протянула она.

— О чем жалеть? Я горжусь этим.

— А о том, что пропадешь и ты, когда коммунистов разобьют. А во-вторых,— без веры все-таки очень нехорошо.

— Но позволь! — удивился Николай.— Во-первых, откуда ты взяла, что нас разобьют? А во-вторых,— мы тоже не совсем без веры.

— Какая же у тебя вера? — засмеялась Эмма.— Уж не толстовская ли?

— Коммунистическая! — горячо ответил Николай.— Вера в свое дело, в человеческий разум, в торжество труда. А главное — вера в свои руки, в собственные силы, при помощи которых мы достигнем этого.

Эмма удивленно посмотрела на него.

— О! да ты фанатик.

Немного помолчали.

— Расскажи мне что-нибудь о Москве,— примирительным тоном попросила она.— А то тут так много разных слухов.

Николай начал рассказывать, сперва довольно сухо, потом увлекся. Рассказал о том, как протекала Октябрьская революция, как рабочие захватили власть. Об отделении церкви, о движении женщин. Говорил образно, пересыпая речь остротами и сравнениями.

Эмма слушала внимательно, но недоверчивая и несколько ироническая улыбка не сходила с ее губ.

— Что ты читаешь? — Николай протянул руку к книжке, лежавшей на коленях у Эммы.

Она подала ему небольшой томик рассказов и, как бы извиняясь, заметила:

— Это еще из маминых. У нас трудно хорошую книгу достать.

— Хочешь, я принесу тебе? — предложил Николай.

— Хорошо, принеси, но только не революционную.

— Как ты предубеждена, Эмма! — засмеялся он.

— Не предубеждена, а не люблю скучных книг. Да и мама будет недовольна.

— Я принесу не скучную, а уж относительно мамы ладь сама как знаешь. Ведь ты уж не ребенок.

Николай хотел попрощаться. Стояла уже темная ночь.

— Куда ты пойдешь? — остановила его Эмма.— Ты по здешним горам и дороги не найдешь. Ложись у нас, я тебе постелю на веранде.

Перспектива блуждания по незнакомым улицам Николаю улыбалась мало, он согласился.

— Ты придешь, конечно, к нам на праздник? — спросила Эмма.

— Приду, если ты не будешь иметь ничего против.

— Не имею,— улыбнулась она,— хотя ты и большевик.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

— Эмма! — спросил, вдруг остановившись и вспомнив что-то, Николай.— Скажи, между прочим, где твой отчим, Вячеслав Борисович?

При свете колеблющегося пламени ему показалось, что Эмма чуть-чуть вздрогнула.

«Сыро! — мелькнула в его голове мысль.— Какое у нее легкое платьице...»

— Он... уехал, он скоро вернется...— торопливо проговорила Эмма и, повернувшись, вышла.

Николай остался один. Раздевшись, бросился в постель и спокойно думал о чем-то, докуривая папиросу. Но вскоре глаза его отяжелели, сомкнулись и он крепко заснул, не выпуская окурка из пальцев.

Глава четвертая

На следующий день утром Николай рассказал товарищам о проведенном им вечере.

— Обещал ей книгу принести, а что взять — не знаю, если Бебеля — «Женщина и социализм»,— не показалась бы скучной.

— А ты возьми сначала что-нибудь Коллонтай,— книги у нее, правда, немного того... резковаты, но ничего, а потом можно и Бебеля.

Наши друзья решили основательно для первого раза осмотреть Киев, который издалека показался им таким привлекательным. Вышли с утра. Прошли небольшой мостик над линией железной дороги, свернули направо и вскоре очутились на базаре.

— Да, брат! Эти голода не знали,— показал Сергей на хохлов возле запряженных волами, груженых возов.— Это не то, что наши опродразверстанные крестьяне.

— Я думаю, что если бы они знали, что такое неурожай, то не кормили бы такое множество разбойничьих шаек. А то — там Струк, там Мазуренко, там Клименко...

Поднялись в гору, свернули на красивую и тенистую Фундуклеевскую и добрались до Крещатика.

Здесь жизнь била полным темпом. Рестораны, лихачи, надушенная публика. Совсем-совсем, как в доброе старое время. Еще разгульней и лихорадочней, пожалуй.

На зеленом откосе выбрали пустую скамейку и сели отдохнуть.

— Красивый город!

— Да! Только уж очень в нем сволочи разной много. Сколько здесь скрывается агентов петлюровских, донских, иностранных, а то и просто бывшей черной сотни.

— Вообще старым душком отдает. Даже такой пустяк — названия улиц: Дворянская, Полицмейстерская, Жандармская...

Внизу по Днепру гудели пароходы, тянулись баржи, сновали маленькие лодочки, казавшиеся отсюда игрушечными.

Прошли каникулы, начались занятия. Теперь почти целый день можно было видеть на плацу то одну, то другую, марширующую или рассыпающуюся в стрелковые цепи, роту. Николай, однако, успел еще раз побывать у Агорских и кстати занести обещанную книгу. Когда он передавал ее Эмме, то она разочарованно заметила:

— Я так и знала, что ты не принесешь ничего путного.

Но книгу взяла.

Прошло несколько дней. На одном из собраний комячейки комиссар сделал доклад о значении курсов, являющихся не только кузницей пролетарского комсостава, но и боевыми единицами, надежной опорой советской власти.

— Гарнизон Киева ненадежен,— говорил он,— части пропитаны духом партизанщины. Западная Украина кишит белопетлюровскими бандами. А потому будьте готовы, занимайтесь усиленнее, зорче следите за тем, что делается вблизи и вокруг вас. Враг не так силен в открытом бою, как своею хитростью. В каждом номере газеты вы встретите заголовки: «Заговор», «Предательство», «Измена». Мы ничем не гарантированы от того, что контрреволюция не попытается забросить и к нам одно из своих щупальцев, хотя бы только с целью разведки.

Последним стоял вопрос о выборе нового президиума ячейки. Когда намечали кандидатов, то кто-то предложил:

— Горинов!

И совершенно неожиданно для себя Сергей попал в президиум.

— Слушай, Эмма! Отчего ты все сидишь дома?

— А куда мне ходить?

— Ну куда? Мало ли куда! Вот Первого мая парад будет; приходи посмотреть.

— Может быть, приду, если будет время.

— Время? А чем ты особенно занята?

— Как чем? Помогаю матери... книги читаю...

— Мамашины?

— Нет, Бебеля!

— Ага! — торжествующе воскликнул Николай.— А говорила — не интересно. Нравится?

— Как тебе сказать,— зарумянилась Эмма,— книга очень серьезная и для меня несколько трудновата. Кроме того, она говорит прямо о таких вещах, о которых вообще как-то не принято говорить открыто.

— Вот потому-то это и хорошая книга, что режет, как ножом, настоящую правду.

Дверь из комнаты распахнулась, и Николай из садика увидел, как через веранду, торопливо направляясь к улице, прошел какой-то невысокий человек в штатском пальто.

— Кто это? — спросил он у Эммы.

— Это брат моего отчима. Он приехал по делам на месяц и остановился у нас.

— Знаешь что? — предложил Николай.— В следующий праздник приходи к нам в рощу гулять. Я тебя познакомлю со своими двумя лучшими друзьями.

— Зачем?

— Ни за чем! Вот чудачка,— просто так. Я хочу, чтобы ты о коммунистах не думала так плохо.

— Нет, Коля! Я плохо о них не думаю, я только не понимаю их.

— Поймешь когда-нибудь. Так ты придешь?

— Не знаю, правда. Мама будет недовольна.

— Ну вот! А говорила, что не ребенок.

— Ну, хорошо! Только зайди за мной сам.

— Слово?

— Слово!

Ночь была светлая, лунная. Сергей сидел в караульном помещении — сегодня он был разводящим. Просматривал валявшийся на столике гарнизонный устав,

изредка поглядывая на стенные часы. Вышел на воздух. Постоял, потом не торопясь пошел обратно. Обо что-то споткнулся, чуть-чуть не упал и вдруг остановился и замер, прильнув к одной из двуколок.

К маленькой железной калитке, в углу у каменной стены, направлялись две тени. Подошли и остановились. Кто-то чиркнул спичкой, и при свете Сергей ясно увидел лицо невысокого черного человека с небольшими усиками.

— Осторожнее! — послышался негромкий голос другого, стоящего в тени.

Удивленный Сергей услышал, как щелкнул замок и слегка скрипнула дверь отворяющейся калитки.

— Стой! — бросился он вперед, щелкнув затвором.— Стой! Кто ходит?

— Тише! Свои!

Лунный свет, прорвав облако, упал на землю, и Сергей увидел перед собой... начальника курсов.

— Что вы здесь делаете? — спросил тот.

Сергей ответил и спросил в свою очередь:

— А кто с вами, товарищ начальник?

— Чудак,— усмехнулся начальник.— Да ведь это же дежурный по гарнизону.

Сергей звонко рассмеялся.

Утром Сергей рассказал товарищам о своем ночном приключении, и они вдоволь похохотали.

— Своя своих не познаша.

Стояло теплое, ясное утро. Было не больше десяти часов.

— Ну, ребята, пойдемте, куда я вам говорил,— предложил Николай.

Они вышли, отправились знакомой Николаю дорогой и через двадцать минут были около белого домика.

— Посидите на той лавочке, а мы сейчас выйдем,— сказал он товарищам.

— Ты только не долго!

— Нет, я сию минуту.

«Минута» протянулась по крайней мере с полчаса.

Наконец калитка отворилась, и из нее вышла сначала Эмма, потом Николай с каким-то мужчиной, который попрощался с ним за руку и пошел в другую сторону.

— Ты что, Сергей? — спросил несколько удивленно Владимир, заметив, как тот быстро повернулся, уставившись на удаляющегося человека.

— Знакомьтесь, Сергей, Эмма,— подошел Николай.

Сергей машинально подал руку, почти не оборачиваясь.

— Да что ты там увидал? — переспросил Владимир.

— Вон там, кто это пошел?

— Вот что! Это брат отчима Эммы, Юрий Борисович Агорский. А что? Разве ты с ним знаком, или он похож на кого-нибудь?

— Да... похож,— рассеянно пробормотал Сергей.

Всю прогулку он был задумчив и не особенно внимателен. Николай даже обиделся.

Эмма тоже держалась странно, и Николаю показалось, что ее глаза чуть-чуть заплаканы.

— Что с тобой? — спросил он, когда они остались позади.

— Ничего! — вспыхнув, ответила Эмма.

— Нет, «чего»! Я вижу ведь!

— Мама нашла у меня твою книгу и бросила в печку, поэтому мы с ней немного повздорили.

— И все?

— И все... Не достанешь ли ты где-нибудь мне еще такую книгу, а то я ее прочла только до половины.

Прогулка не клеилась. Эмма сослалась вскоре не то на головную боль, не то на какие-то дела. Ее проводили обратно.

— Послушай! — накинулся на Сергея на обратном пути Николай.— Отчего ты сегодня такой, точно тебя чем-то по голове хватили?

— Отчего? Да оттого, что я готов прозакладывать голову против медного пятака, что при обходе ночью я видел не дежурного по гарнизону, а этого человека, с которым ты только что прощался за руку.

— Не может быть!

— Может, если я говорю.

— Но что же это значит? Ведь ты же говоришь, что с ним был начальник курсов.

— А это значит, что у начальника есть знакомства, которые он предпочитает почему-то скрывать...

Они шли рощею. Владимир остановился.

— Тс! Слушайте! Что это такое?

«Та-тара-та-та-та-тата», — протяжно и едва слышно доносил ветерок со стороны курсов далекий странный сигнал.

— Уж не тревога ли?

— Нет! — отвечал, прислушиваясь, Сергей.— Тревога подается не так, это сбор.

— Да, это сбор,— согласился Владимир.— Но для чего бы это?

Прибавив шагу, они направились на сигнал.

Еще издали они увидели, как со всех концов переполненной гуляющими рощи торопливо собирались курсанты. В самом корпусе тоже царило необычайное оживление: бегали курсанты, суетились каптеры, отворялись цейхгаузы,— вещевой, оружейный, продовольственный, а в коридорах спешно строились роты.

Общая команда «смирно». Комиссар объявил, что подчинявшийся до сих пор советской власти атаман Григорьев со своими войсками внезапно выступил против Украинской Республики. Он объявляется предателем, стоящим вне закона и подлежащим уничтожению. Согласно приказа Наркомвоена Украины курсы через четыре часа уезжают на новый фронт.

Задача — получить патроны, подсумки, патронташи, палатки, котелки, фляги.

Сдать — постели, корзинки, книги, матрацы. Погрузить на одни двуколки хлеб, консервы, продукты; на другие — пулеметы и ленты.

И все это за четыре часа.

Работа закипела бешеным темпом. Заглянувшему со стороны показалось бы, что корпус наполнился обитателями сумасшедшего дома. От оружейного цейхгауза — к вещевому. От вещевого — к продовольственному. С первого этажа — на второй. Со второго — на третий.

К сроку все было готово. Курсы развернулись перед корпусом.

Последнее горячее напутственное слово представителя Наркомвоена. Команда.

Под звуки музыки и «ура» — серые колонны рвутся вперед.

На одной стороне Кременчуг, на другой — Крюков. Ночью по соединявшему оба города огромному мосту через Днепр торопливо прошли подоспевшие курсанты. Через несколько часов город начал наполняться панически отступающими красными полупартизанскими частями. Их останавливали и спешно сколачивали в отряды. Подошли красные броневики, еще какие-то курсы. Едва рассвело, как по городу загрохотали орудия.

Григорьевцы наступали.

Все утро разговаривали трехдюймовки, сновали броневики и автомобили. Красные части готовились к контрудару.

Сергей лежал за большим камнем возле углового дома и стрелял.

— Сережа! У меня остались только две обоймы! — кричал Николай.

— На вот тебе еще три,— кинул из своих тот.— Да ты смотри, даром-то не трать...

— Я...

Артиллерийский снаряд, попав в крышу соседнего дома, заглушил его ответ, и белое облако пыли закрыло его от глаз.

— Коля... Колька! — тревожно окликнул Сергей.

— ...я и не выпускаю их даром! — послышался запальчивый ответ.

Выстрелы грохотали повсюду. Где-то далеко на фланге послышалось «ура», ближе, ближе, покатилось по цепям. Красные наступали. К полудню ни в городе, ни за городом уже никого не было. Разбитые банды убегали, советские части преследовали их.

Через две недели григорьевских банд уже не было. Но они не были уничтожены полностью. Верные своей партизанской тактике, они, под давлением красных, распались и распылились между более мелкими шайками, заполнявшими Украину.

Перед рассветом, рассыпавшись в цепь, отряд курсантов осторожно охватывал деревушку, в которой, ничего не подозревая, крепко спала небольшая, изрядно перепившаяся банда.

Не доходя до деревушки с полверсты, цепь залегла. Первая рота, отделившись, небольшой лощиной пошла в обход. Ни разговоров, ни шепота, ни шума. В предрассветной мгле показались белые мазанки. Рота беззвучно, чуть не ползком переменив направление, залегла поперек дороги.

— Тише,— вполголоса проговорил, взглянув на часы, командир взвода.— Сейчас наши будут наступать. Замрите! Огонь только по свистку.

Прошло десять томительно долгих минут.

— Скорее бы.

— Успеешь, Николай,— шепотом ответил Сергей.— Куда ты всегда торопишься... Слышишь?

Частый, тревожный набат с колокольни. Загрохотавшие вслед выстрелы и раздавшийся через несколько минут конский топот мчавшихся на них бандитов.

Резкий свисток пронизал воздух. Меткий внезапный огонь сделал свое дело, вырвав многих из всадников.

Видно было, как по зелени восходящих хлебов уносились стремительно остатки потрепанной банды.

Деревню охватили. Некоторые из бандитов убежать не успели и попрятались тут же.

Через полчаса трех человек уже вели к штабу около церкви.

— Чья банда? — спросил у одного из них комиссар.

— Горленко,— ответил хмуро, не поднимая глаз, здоровый, лохматый детина.

Их заперли в крепкую деревянную баню и поставили часового.

Курсанты тем временем разбрелись по хатам и с жадностью закусывали хлебом, молоком и салом.

— Хозяин,— спросил Владимир.— Есть у тебя деготь?

— Зачем тебе? — удивился Сергей.

— Сапоги потрескались.

— А пошукай, дэсь було у двори трошки,— ответил нехотя старик хохол, но сам не пошел, очевидно опасаясь оставить избу на солдат.

— «Пошукай»! Вот чертов старик, где у него тут пошукаешь,— ворчал Владимир, очутившись на дворе богатого мужика.— Сколько барахла навалено.

В найденном бочонке дегтя не оказалось, и Владимир хотел уже идти обратно, как взгляд его упал на маленький блестящий предмет, валяющийся на земле. Он нагнулся и поднял изогнутый в виде буквы «Г» разрывной капсюль от русской гранаты.

Владимир внимательно осмотрелся и заметил под снопом приваленной к стенке конопли кольцо от небольшой дверки.

— Ага! — Осторожно выбравшись, он побежал к своим.

— Подозрительно! — согласились товарищи и, захватив винтовки, отправились во двор.

Растаскали хлам в стороны, откинули сноп. Обнаружилось небольшое отверстие, должно быть вход в бывший курятник.

— Эй! Кто там! Выходи!

Молчание.

— Может быть, там никого и нет,— проговорил Николай и, наклонив винтовку, заглянул в темноту.

Раз... два... три...— бахнули один за другим револьверные выстрелы, и из двери стремительно бросилась черная фигура.

«Чистым приемом» Владимир ловко хватил его прикладом по голове, а Сергей крепко схватил бежавшего за руки. Николай побледнел, покачнулся, неуверенно ухватился за край телеги и, не удержавшись, упал — он был ранен.

На выстрелы со всех концов сбежались курсанты. Бандита связали. Николая осторожно перенесли в избу.

Пойманный нагло смотрел на окружающих. Вывернули его карманы: письмо, приказ и желто-голубой значок. Офицер, бывший штабс-капитан, а теперешний атаман — Горленко.

Николай был тяжело ранен. Пуля пробила верхушку правого легкого и засела где-то возле лопатки.

...Возле каменной стены у церковной ограды, перед отделением курсантов, хмуро опустив головы, встали четыре человека, как пойманные волки бросая взгляды исподлобья. Сергей посмотрел на них холодно и спокойно.

На другой день эшелон быстро уносил курсантов домой — в Киев.

Встреча была устроена торжественная, с речами и цветами.

Начальник курсов сказал несколько приветственных слов, поздравляя с благополучным возвращением.

На следующий день были похороны убитых товарищей. Грустно и торжественно звучал похоронный марш.

В толпе Сергей на мгновение увидел Эмму. Она внимательно всматривалась в проходящие ряды курсантов и, казалось, кого-то искала.

Он был в строю и потому сказать ей ничего не смог.

Николаю сделали операцию и вынули круглую свинцовую пулю.

— Эдакая мерзость застряла,—сказал доктор, взвесив ее на ладони.— Сразу видно, что из дрянного револьвера.

Когда Сергей выходил из курсового лазарета, ему передали, что его хочет видеть какая-то девушка.

Он спустился в садик и увидел Эмму. Приветливо поздоровался с ней. По ее похудевшему лицу и беспокойному взгляду сразу догадался, о чем она хочет спросить. Рассказал ей все сам.

— Ему теперь лучше?

— Да. Приходите дня через три, и мы вместе к нему сходим.

Эмма ответила ему благодарным взглядом.

Она пришла после строевых занятий. Пошли в лазарет. У входа надели чистые белые халаты и прошли во вторую палату.

— Мы к тебе в гости,— проговорил, входя, Сергей.

Николай радостно встретил их.

— И ты пришла?

— Пришла.

— А как же дома?

— Разве я ребенок.

Сергей, соврав что-то, вышел, оставив их вдвоем.

— Ты изменилась, Эмма,— заметил Николай.

— Может быть, Коля. Я много думала за последнее время.

— О чем?

— Обо всем. Досадно становится. Жизнь слишком монотонна. Кругом кипит, а тут все одно и то же.

— А бог как?

Посмотрела на него, подумала немного. Спросила серьезно:

— Неужели ты думаешь, что я и вправду до последнего времени в это верила? Надо было хоть чем-нибудь заполнять жизнь, если ничего другого не было. Да и не хотелось мать огорчать.

— Ну а теперь?

Эмма остановилась в нерешительности.

— Теперь, не знаю...

Они прощались. Николай крепко пожал ей руку и сказал полушутя:

— Думай только больше. Обо всем сначала.

— Сначала о тебе, а потом обо всем...

— Почему? — Он на секунду поймал ее глаза.

Чуть-чуть улыбнулась, остановилась у дверей, хотела что-то добавить. Не сказала и вышла.

Все пошло своим чередом. Начались усиленные классные занятия. Сергей — председатель курсовой комячейки. Эта должность накладывала на него много новых, неотложных обязанностей, далеко не сходных с обязанностями ячеек, возникающими в мирное время. То туда, то сюда. По требованию Гувуза — для ответственной оперативной работы выделять наиболее надежных курсантов-коммунистов. Бывать на всевозможных секретных заседаниях и совещаниях. Вести учет и выдавать членам оружие. Словом, быть в самой гуще работы. Он ночевал теперь не в общем помещении, а в небольшой удобной комнате комячейки и поздно засыпал на широком кожаном диване, возле полевого телефона, соединявшегося с главными квартирами обширного корпуса.

Вместо заболевшего, несколько тяжелого на подъем комиссара был назначен другой. Молодой, умный латыш Ботт сразу вошел в курс всего происходящего и повел совместно с Сергеем дружную живую работу.

И часто поздно ночью просыпался тот, услышав сквозь сон певучие вызовы фонического аппарата — два тире точка: — —. — —.

Работа и учеба шли вовсю. Но вот мирная жизнь прервалась снова. Был какой-то праздник, утром проверка не производилась, и многие повставали несколько позднее,

чем обыкновенно. Утро стояло жаркое, солнечное. Курсанты разбрелись по роще и по садику, беспечно прогуливаясь и отдыхая.

Сергей только что направился к пруду, как вдруг по окрестностям покатились торопливые четкие переливы сигнала «тревога».

«Это уже не сбор»,— мелькнуло у него в голове. И он стремительно помчался наверх, к пирамиде с винтовками.

Никто ничего не знал. Командир батальона громовым голосом кричал:

— Строиться!.. быстро! — И почти на ходу построившимся курсантам подал команду: — За мной, бегом марш!

Вот знакомая роща, налево насыпь, город кончается. Что такое?!

— По окраине города от середины в цепь.

Запыхавшиеся курсанты быстро рассыпаются; тарахтит по земле пулемет.

Вот оно что! Во весь опор мчатся на курсантов какие-то всадники. Быстро снимается с передков чья-то батарея.

— Ого-онь! — раздается команда.

И цепь, опередившая в развертывании на несколько минут неизвестного противника, жжет его едким огнем пуль.

Кто-то падает; тщетно пытается изготовиться к выстрелам батарея... Поздно! Слишком силен огонь дисциплинированной части.

— Прекратить стрельбу! Сдаются!

Цепь, бросаясь вперед, завладевает батареями загадочного противника.

— Кто же это? — слышатся недоумевающие голоса победителей.

И от края до края быстро передается и перекатывается по цепи:

— Багумский полк восстал... Багумский полк изменил.

Сергей нахмурил брови. 9-й Багумский полк — полторы тысячи человек — самая крупная единица гарнизона.

Всю ночь собирались надежные части гарнизона: 4-е, 5-е, 6-е курсы кавалерийские, мелкие партийные отряды.

В девять часов утра полк выступает, к девяти часам ему предъявлен ультиматум — сдать оружие...

Без десяти девять. Киев точно вымер; по улицам извиваются цепи. По углам приникли к земле пулеметы. Еще осталось несколько минут. На автомобиле подъезжает Наркомвоен Украины, смотрит на часы. Вместо ответа с той стороны первою лентой резанул пулемет.

Наркомвоен привстал, облокотившись на стенку машины. Подал сигнал.

Через головы притаившегося Киева с ревом забила батарея по Бендерским казармам.

Перестрелка по улицам длилась недолго; со стороны восставших выстрелы стали стихать.

Сергей бежал один из первых по Керосинной улице, и, завернув за угол, он увидал спины поспешно убегающих багумцев и выкинутый белый флаг.

— Сдаются!

— Багумцы сдаются!

— Спохватились все-таки,— говорит Наркомвоен.

— Прекратить огонь!

Полк был обезоружен и расформирован в тот же день.

К вечеру все было уже спокойно и тихо. Днем привычный киевлянин сначала робко высунулся на двор, потом показался на улицу. Не найдя ничего угрожающего своей особе, вздохнул с удовольствием и облегчением.

К вечеру, как и всегда, Крещатик был полон. Сновали лихачи; горели огни; гуляла нарядная, смеющаяся публика.

Возле курсов стояли усиленные посты и ходили патрули.

Глава седьмая

В команду Сергея вошли запыхавшиеся Владимир и Николай.

— Дело есть,— проговорил Владимир несколько взволнованно.— Тут, брат, кругом нас какая-то чертовщина твориться начинает.

— В чем дело?

— А вот в чем. Сегодня я на дневальстве, а потому на занятиях не был. Отстояв свое время, я сменился, захватил книгу и улегся под кустом в роще. Кругом никого. Потом слышу шаги, гляжу — начальник. Я бы и не обратил внимания, но вспомнил про твои подозрения. Куда,

думаю, его черт несет? Тихонько за ним. Возле дороги у овражка он встретился с тем самым человеком...

— С Агорским?—живо переспросил, насторожившись, Сергей.

— Да. Начальник передал ему большой синий сверток и сказал несколько слов. А затем пошел как ни в чем не бывало дальше. Я его оставил, когда он входил в ворота арткурсов. Вот и все.

— Странно что-то!

Друзья задумались.

— Знаете что,— начал Сергей.— Я думаю, что эта хитрая лиса передала Агорскому какие-либо нужные секретные сведения. А затем прошла дальше к артиллеристам, чтобы скрыть следы своей отлучки.

— Пожалуй, что и так!

— Что же теперь делать?

— Прежде всего за комиссаром.

Пришел Ботт. Ему рассказали все с самого начала.

— Вот что, товарищи,— сказал он.— Если арестовать Сорокина, то, пожалуй, никаких улик не найдется, а предупрежденные сообщники скроются, и дело будет смазано. А кроме того, на чем в сущности основаны все ваши подозрения? А если между ними просто какие-нибудь личные дела.

— Нужно сверток достать,— проговорил Владимир.

— А как его достанешь?

— Я попробую,— встал все время молчавший Николай.

— Ты? Каким образом?

— Это уж мое дело,— коротко ответил он. И, повернувшись, вышел.

Эмма сидела за столом и что-то читала.

— Ты что, сударыня, читаешь? — подошла к ней мать.— Опять неприличное?

— Я неприличных книг не читаю,— вспыхнула Эмма.

— Знаю, знаю! Дай-ка сюда!

Эмма подала матери безобидную книжку Уэльса.

— То-то,— покачала головой старуха.— Ох, господи, вот на грех принесло племянничка. Не было печали... Вертопрах какой-то!

— Он не вертопрах вовсе и гораздо лучше всех ваших дурацких Митенек да Вовочек,— пылко заступилась Эмма.

Старуха, огорошенная такой внезапной защитой, подозрительно покосилась на нее.

— Да ты, мать моя, уж не того ли?

Резкий ответ застыл на губах Эммы.

Она увидела, что около плетня, под тенью акаций стоит Николай и молча показывает ей небольшую бумажку. Встала и заметила, как, просунув записку в щель, он исчез. Ничего не видевшая старуха ушла в дом, и долго еще оттуда доносилось ее ворчание.

Эмма подошла к грядке и, срывая цветок, подняла незаметно бумажку:

Приходи непременно через полчаса на наше место в рощу, нужно очень серьезно поговорить.

Через пятнадцать минут, накинув шарф, Эмма тихонько вышла на улицу и торопливо направилась к роще. Николай уже дожидался ее, расхаживая по полянке. Она окликнула его.

— Эмма,— он крепко сжал ее руку,— я боялся, что не придешь.

— Что случилось? — тревожно спросила она.

— Случилось что-то скверное, мой дружок. И я рассчитываю на твою помощь.

— Чем же я могу помочь?

— Слушай, Эмма. Я считаю тебя теперь почти совсем нашей. Мы много говорили и, кажется, хорошо друг друга поняли. Теперь ты должна постараться помочь нам разрешить одну задачу. Твой отчим — белый офицер.

Эмма вздрогнула, чуть-чуть отшатнулась.

— Как? Ты знаешь?

— Знаю. Я давно об этом догадался. Но не в этом дело. Ты в этом нисколько не виновата... Его брат — шпион.

— Юрий Борисович? — Эмма взглянула большими, удивленно-испуганными глазами.

— Да. Теперь такое дело: сегодня к нему попали какие-то бумаги. Ты должна во что бы то ни стало достать их, если еще не поздно...— И Николай прибавил мягко: — Эмма, это для нашего дела и... для меня.

Эмма взволнованно заговорила:

— Коля, ты не думай, что я скрывала об отчиме. Нет, я сама не люблю его. Я думала... я боялась, что ты не

будешь тогда к нам ходить. А тот — я в первый раз слышу, что он шпион. Бумаги... Он принес сегодня какие-то и долго разбирал. Он уходит куда-то по вечерам. Но потом... Как же мне быть? Я не люблю их. Я должна буду уйти,— но куда? Я ничего не знаю.

Простые и горячие слова Эммы глубоко тронули Николая. Он крепко сжал ее руки.

— Эмма... Я тебе обещаю. Я помогу тебе. Мы найдем выход. Ты мне веришь?

— Верю...

— Ну вот, а сейчас придумай как-нибудь достать этот синий сверток. Хорошо бы сделать так, чтобы не было заметно, что похищен именно сверток. Если они догадаются, что за ними следят и их раскрыли, то все наши планы могут рухнуть.

— Но если я и достану, как же я тебе передам?

— Я буду ждать до поздней ночи возле снопов соломы в вашем огороде, и ты перебросишь сверток тихонько через плетень.

Уже смеркалось, надо было торопиться. Рощею они пошли вместе, но, выйдя на дорогу, разошлись в разные стороны.

Проходя мимо церкви, Эмма заметила, что служба там только что кончилась. Повалил народ. Что делать? Прежде всего оправдать свое отсутствие. Эмма направилась к паперти и смешалась с выходящими.

— А, Агафья Петровна, здравствуйте! — радушно поздоровалась она с какой-то старухой.

— Здравствую, Эммочка, здравствую,— запела слащаво та.— Тоже богу молилась?

— Молилась, как же. Что же это вы давно у нас не были? Заходите сейчас посидеть. Мама и то меня все спрашивает: «Что это, говорит, Эмма, Агафья Петровна к нам давно не заглядывает?»

Старуха — одна из первых сплетниц — так и расцвела при этом сообщении.

— Что же, зайдем, можно зайти по пути-то.

Подошли к дому, Эмма открыла калитку.

— Ты где это была? — строго спросила мать, еще не заметившая идущей позади гостьи.

— Здравствуйте, здравствуйте, Мария Сергеевна,— ласковым голосом заговорила та.— А мы с Эммочкой гос-

поду богу у всенощной молились. Шли обратно, я и думаю — дай зайду проведать знакомую.

— Милости просим, заходите, раздевайтесь,— пригласила довольная мать.

Чай пили дома, потому что на небе собирались тучи. Откуда-то пришел и Юрий Борисович. Быстро сбросил на вешалку возле веранды пальто и спросил, проходя в комнаты:

— Дайте чего-нибудь закусить поскорее. Мне скоро бежать.

Все уселись за стол. Старухи болтали. Агорский с жадностью поедал жаркое. Эмма разливала чай.

Тучи сгустились. Послышался далекий отзвук грома.

— Мама,— громко сказала Эмма, вставая,— сейчас пойдет дождь, пожалуй, белье замочит в палисаднике.

— Ах ты боже мой! Правда, беги скорее, поснимай, Эммочка, и тащи сюда.

Эмма торопливо вышла. Вот и вешалка, вот и одежда, она торопливо ощупала карманы, и волна теплой крови хлынула к ее вискам. Бумаги здесь!

Она быстро сорвала свое пальто, Агорского, прихватила чепчик Агафьи Петровны, шмыгнула к плетню и позвала негромко:

— Николай! Коля!

— Здесь.

— На, держи! Уноси все скорее, бумаги в кармане.

Перебросив Николаю всю груду одежды, она распахнула калитку и, схватив с веревок белье, бросилась к комнатам. В ту же минуту капли крупного дождя забарабанили по крыше.

Все это продолжалось не дольше четырех минут.

Через полчаса гроза прошла, было уже совсем темно.

— Ну я пойду,— проговорил Агорский, вставая.

Через минуту раздался его немного встревоженный голос:

— Марья Сергеевна, вы не брали моего пальто?

— Нет!

— Что за черт!

— Ах, боже мой! Что случилось? Где же Эммочкино пальто?

— А чепчик мой? Мой кружевной чепчик?

— Обокрали... вот калитка распахнута!

Агорский быстро выбежал на пустую улицу... Кругом темно и тихо.

Воры скрылись.

Глава восьмая

Запыхавшись от быстрого бега и довольно увесистой, а главное, неудобной поклажи, порядком измокший Николай, наконец, остановился передохнуть посреди одной из глухих уличек. Тьма стояла непроглядная. Где-то пробило одиннадцать.

При свете спички он рассмотрел свой груз. Вот и бумаги. Э, да она свое собственное пальто экспроприировала. А это что, старушечий чепчик? Тьфу! Нагрузившись снова, он пошел дальше.

Вот курсы. Но отчего так темно? Электричество попортилось?

Он постучал в крепкую дубовую дверь. Сначала отворилось небольшое окошечко и выглянула голова, потом зазвенела цепь, дверь приоткрылась.

Он пошел по лестнице. В обширном помещении было тихо, темно и не видно ни души. Ничего не понимая, он спустился вниз и спросил у часового:

— Где же курсанты?

— А где же ты был? — ответил удивленно тот. — Уже два часа, как курсы уехали на фронт. Да они еще, должно, на вокзале.

Николай кинул свою поклажу. Как сумасшедший, сжимая сверток, помчался по темным улицам.

Два раза его останавливали патрули. Наконец добрался до вокзала.

— Где эшелон с курсантами? — как бомба влетел он к дежурному.

— На девятом.

Подлезая под вагоны, стукаясь о буфера и сцепы, добрался Николай до девятого пути. Вот и эшелон.

К великой своей радости, он сразу же наткнулся на Сергея.

— Николай, наконец-то!

— Сережа, вот! — ответил тот, передавая сверток. — Где комиссар?

— Ботта нет, он с другой половиной курсов уезжает под Жмеринку с другого вокзала.

Живо развернули синюю обертку. При свете свечки увидали кипу приказов и карту с полной дислокацией частей Украины.

Паровоз загудел к отправлению. Сергей быстро схватил трубку полевого телефона и надавил вызывной клапан.

— Это ты, Сержук? Ага! Скажи машинисту, чтобы задержался. До моего распоряжения не трогаться.

— Ты-то кто? — спросил удивленно Николай.

— Он комиссар нашего отряда,— ответил за того Владимир.— Ты теперь с ним шути, брат!

Они выскочили и добрались до вокзала. Сергей подошел к аппарату и вызвал пассажирскую.

— Срочно попросите комиссара эшелона курсантов.

— Кто просит?

Прошла минута, две, три. Послышался снова звонок.

— Ну что?

— Поздно,— пропела мембрана.— Поздно, товарищ! Отряд курсантов уже за семафорами.

«Что делать? — подумал Сергей.— Ага! в Укрчека».

— Дайте город! — Занято... опять занято.— О, чтоб вы все пропали!

— Товарищ комиссар,— с отчаянием влетел дежурный по станции.— На двадцать минут задержка эшелона... Сейчас у меня воинские, тоже на какой-то фронт... Скорее, пожалуйста!

— Ладно,— с досадой крикнул товарищам Сергей.— Он от нас не уйдет. Я телеграфирую... А теперь — едем!

Быстро добежали до своего состава, и эшелон, рванувшись, помчался в темноту, наверстывая потерянное время.

Властно заревела сирена. Криками голосов, стуком разгружаемых повозок, лязгом стаскиваемых пулеметов разбудили опасливо притаившийся небольшой вокзал.

Сергей на телеграф.

— Срочную в Киев.

— Нет! — И телеграфист устало посмотрел на него.— Киевская опять не работает. Порвана. Теперь, должно, до утра.

— По Морзе?
— Разбит еще на прошлой неделе.
— А через Яблоновку?
— Через Яблоновку можно. Только...
— Чего еще?
— Кравченко там. Все телеграммы проверяет, и если у вас важная, то может и не пропустить.
— Какой еще к черту Кравченко?
— Кто его знает,— пояснил хмуро комендант.— Был красный, а теперь вот уже третий день никого не признает. Телеграммы проверяет, поезда пропускает не иначе, как обобрав.
— Так он бандит?
— Не совсем... Вроде этого. Да вы попробуйте, может и пропустит. Мы вот только что через него продовольственную получили.
«Чтоб он сдох!» — с сердцем подумал Сергей.
Вошел начальник отряда.
— Товарищ Горинов! Сейчас выступаем. «Кучура» под откос броневик свалил... там орудия.
— Родченко! — остановил Сергей одного из курсантов.— Останься здесь до утра, и если линия до утра не будет исправлена, отвези этот сверток и телеграмму в Киев. Передай их в Укрчека под расписку. Сам останься на курсах.
— Я с товарищами,— резко ответил тот.— Отдай кому-нибудь из обозников.
— Родченко! — повторил Сергей твердо.— Я даю тебе поручение большой важности. Прочитай телеграмму и увидишь. Кроме того, я тебе это приказываю. Понял теперь?
— Понял, товарищ комиссар, будет сделано,— ответил тот и добавил: — И скотина же ты все-таки, Сергей!
Отряд Сергея ушел в ночную тьму. На станции тускло мерцали фонарные огни.
Поползла бесшумным шорохом лента из Яблоновки, и кто-то спросил с того конца:
— Пашка! У вас кто?
Осовевший телеграфист нехотя положил руку на ключ и оборвал сразу. Брызнуло осколками разбитого стекла окошко. Загрохотали выстрелы.

...Через час равнодушный и сонный телеграфист выбивал ответ:

У нас только что были зеленые — Степка Перемолов с ребятами. Убили коменданта и одного курсанта. Теперь нет вовсе никаких. Анархизм полный... Иду спать.

Небольшой отряд Сергея оказался посреди густых лесов и топких болот Волынской губернии, с твердым заданием разбить банду.

Отряд встал в глухой подлесной деревушке. К великому удивлению мужиков, он не гоиялся по всем направлениям и не требовал ежедневно полсотни подвод. Отряд осматривался. Днем, для отвода глаз, разведки наведывались в соседние хутора и деревушки. К вечеру и к ночи десятки мелких дозоров и разведок, по три, по четыре человека, незаметно расходились в стороны по оврагам, расползались по хлебам, шныряли по рощам. Удар подготавливался тяжелый и верный.

Глава девятая

Ночью через заброшенную дорогу, через застывший темный лес пробирались два всадника.

— Вправо, должно, пора сворачивать.

— Рано еще.

— Ничего не рано. По Кривому Логу тропку кони натоптали, так сам не велел ездить, чтобы, значит, незаметно.

Они свернули в чащу, но не успел еще замереть тихий шум в лощине, как зашевелилась листва одного из густых придорожных кустов, и кто-то полушепотом спросил:

— Слышали?

— Это они, должно быть, к главной стоянке.

— Ну, так за ними!

Спустились в овражек. Прибавили шагу. Пахло сыростью, внизу журчал пробегающий ручей. Николай, несколько раз оступившись, попадал в воду.

— Держи правее!

— Тс! Тише, смотри!

Саженях в сорока, через освещенную поляну двигались прежние двое, теперь они вели лошадей в поводу.

Несколько раз курсанты теряли из виду бандитов, но потом снова нагоняли.

Сколько верст продолжалась эта слежка, сказать было трудно; взглянув на светящийся циферблат часов, Сергей заметил, что с тех пор как они свернули с дороги, прошло уже два часа. Но вот издалека послышался неясный шум. По-видимому, путешествие приближалось к концу. Чем ближе, тем яснее... И вот, наконец, совсем близко-близко.

— Не напороться бы!

— Ничего, сначала передних окликнут.

Но ни задних, ни передних никто не остановил, и сразу оборвавшийся лес открыл перед ними большую лесную поляну. Это была стоянка и штаб главного ядра банды. Разведчики остановились. Широкой красноватой полосой брезжил рассвет. Небо принимало бесцветный серый оттенок; веяло утренним холодком. Сквозь туманную дымку курсанты увидели целую деревушку наскоро собранных из зеленых веток шалашей, повозок, лошадей, два дымящихся костра, около которых копошилось несколько человек. Когда еще немного рассвело, они хорошо разглядели натянутую из серой парусины палатку,— должно быть, самого атамана.

Оставив позади бандитский лагерь, курсанты скрылись в лесной чаще.

Атаман Битюг был сегодня не в духе.

— Эй, Забобура,— крикнул он своему адъютанту.— Пришли-ка мне сотенных — Оглоблю и Черкаша... Да пускай и Барохня придет.

«Адъютант» вышел и вернулся с двумя сотенными. Первый — огромный, с вспухшим и пересеченным шрамом лицом и всклоченной головой. Второй — поменьше, черный, юркий, с хитрыми бегающими глазами. Вошедшие поклонились.

— А где Барохня?

— Барохня перепимшись.

— Экие скоты! Только вас и хватает на то, чтобы водку дуть. А как до дела — так никто ни к черту. Что нового?

— Да, кажись, ничего пока,— ответил Черкаш.— Разве только что вот от Могляка наши вернулись.

— К черту Могляка! Я спрашиваю — отряд где?
— Стоит.
— Ну, а возле Барашей как?
— Как приказывали. Дорогу снимают.
— Много сняли?
— Побольше пятка верст подле Яблоновки своротили. Да так, порознь, ребятишки гайки крутят.
— Две деревни да волов пар двадцать работают,— добавил Оглобля.
Речь шла о линии между Коростенем и Новгород-Волынском.
Вошел Забобура и передал пакет. В нем главарь соседней банды Шкара сообщал следующее:

Командующему Волынско-Повстанческим отрядом атаману Битюгу.

Для поддержаиня связи, а также для своевременного предупреждения вашего уничтожения сообщаю следующее: что захваченный мною Коростеньский большевик, после подвергнутия всесторонней обработке, показал, что на территорию войск вашних вызван из Киева особенный отряд, не из красноармейцев, а из отборных большевников, кои готовятся к ихнему офицерскому званию. А потому дошлый до всяких хитростей и военных приемов. И оный же большевик выразил мерзостиую увереность в скором вашем разбитии, за что и был зарублен, а тем не менее о настоящем, для принятия мер, вам сообщаю.

Дальше, после титула «Атаман Степного Истребительного Отряда», печатными буквами стояла подпись — Шакара. А ниже — скрепа составившего мудрое донесение адъютанта.
— Вот! вот!..— заревел разгневанный главарь.— Черти криворожие! Не могли до сих пор узнать, что перед ними не солдаты, а юнкера ихние. Да не я буду, если они не рыщут по ночам, когда вы пьянствуете да дрыхнете.
Наконец ругательства прекратились, и он перешел на деловую почву.
— Забобура! Могляку приказ — ночью потревожить их с тылу. Долго пусть не дерется. Но чтобы те ночь не спали. Я сам займусь этим делом... А ты,— он с недоумением взглянул на Оглоблю,— распустился сам и ребят распустил. Зачем Семенки сожгли? Я им одно Крюково спалить приказывал.
— Черт его разобрал,— решили сотенные, выходя из палатки.— Эк разошелся!

В лагере уже кипела жизнь. Дымились костры под котлами, играла гармония, слышался смех и ругательства. Некоторые, несмотря на утро, были уже выпивши. Занимался каждый чем хотел. Тут кучка, лежа и сидя, в самых разнообразных позах, резались в затасканные карты, перед грудкой петлюровских «карбованцев». Там человек десять окружили бутыль с какой-то мерзостью и кружками перекачивали ее содержимое в желудки.

А вот и занятые настоящим делом: один укорачивает ствол винтовки наполовину, превращая ее, при помощи подпилка, в бандитский карабин. Другой вплетает в конец плетки тяжелую свинчатку.

Словом, лагерь живет.

Глава десятая

Уже взошло солнце, когда наши разведчики остановились передохнуть на полянке. Напились воды из ручья и закурили.

— Ну что теперь делать?

— Что! Выступим сейчас же.

— А не лучше ли до ночи?

Сергей покачал головой.

— Тут днем-то смотри, как бы с дороги не сбиться.

В самом деле, кругом была глушь. Огромный, кряжистый дуб широко раскидывал корявые ветви во все стороны. Вывороченная с корнем вековая липа, не достигнув земли, уперлась верхушкой в стоящие рядом деревья и образовала широкие, причудливые ворота. Кругом валялись догнивающие стволы и сучья. Дикие пчелы, которых так много на Волыни, вылетали с жужжанием из гнилого дупла. Пахло грибами, сыростью, прелым прошлогодним листом. Из соседнего болота доносилось кваканье лягушек.

— Брр!..— сказал Николай.— Не люблю я таких мест. Ведьмино поместье какое-то.

— Ну пойдем! Скоро дорога.

Тронулись дальше и через полчаса уперлись в зловонное болото.

— Что за черт! Нужно взять правее.

Взяли вправо, прошли еще около часу. Уперлись в ручей, не широкий, шагов в пять, но сквозь прозрачную

воду виднелось, на порядочной глубине, обросшее зеленоватой колыхающейся тиной дно. Пришлось, по пояс в воде, переходить на ту сторону. Взяли еще правее,— поросшая подозрительно яркой зеленью полянка.

— Осторожнее!

Под ногами у Николая что-то зачавкало, и он поспешно вытащил увязшие по щиколотку ноги.

— Вот мерзость-то!

Прошли еще час. Лес стал редеть. Впереди между деревьев показался просвет. Вот и опушка. Прямо открывалась низкая кочковатая местность, а дальше — осока, трава, сверкающий на солнце клочок воды и снова синий загадочный лес.

— Что делать?

— Прежде всего отдохнуть,— решил Сергей,— а то сапоги полны воды, штаны тоже мокрые, а ноги как свинцом налились.

Они выбрались на сухую солнечную лужайку, сняли сапоги, разложили на траве портянки и стали советоваться. Пришли к выводу, что идти надо напрямик, а пока необходимо отдохнуть.

— Жрать охота,— заметил Николай.

Нашли неподалеку дикую яблоню. Яблоки оказались такой кислятиной, что есть их было почти невозможно. Попробовали запекать в золе, получилось нечто съедобное, и ребята закусили.

Часа через два они встали и, просохшие, отдохнувшие, отправились снова. Местность пошла более возвышенная и сухая. Лес чередовался с цветущими полянками и кустами березняка. Так прошли они еще часа три.

— Смотри! Смотри!

Под ногами спутников внезапно очутился путь, по которому проезжала телега, потому что трава была примята колесами в одну сторону.

— Ну теперь-то мы придем. На телегах только посуху ездят.

— Живо вперед!

— Погоди! — дернул за рукав Николая Владимир.

Они обернулись. По направлению к ним ползло штук шесть чем-то груженных крестьянских подвод.

— Спросим их!

Телеги приближались. Владимир пошел навстречу и только что успел крикнуть: «Товарищи, куда дорога?» — как заметил, что через плечо у сидящих перекинуты патронташи и у пояса болтаются гранаты.

Увидав перед собой незнакомого человека, бандиты повскакали с криками:

— Стой! Кто такое?

— Красный!.. Держи!..

Владимир сорвал винтовку и, бахнув два раза, бросился в чащу. Вслед за ним загремели выстрелы. Рассыпавшись, бандиты забирали влево. Беглецы мчались вперед, как загнанные волки. Крики преследователей то стихали, то вновь усиливались.

— Цепью идут, сволочи,— задыхаясь, говорил Сергей.— Слева болото. Если лес кончится — пропали.

Лес в самом деле кончался, и поперек блеснула пробегающая речонка. Пропали!

— Сережа, смотри! Мельница!

Направо торчала из-за кустов старая водяная мельница.

Осторожно подобравшись, они заметили, что дверь у нее приоткрыта, а мельник стоит, повернувшись к ним спиной, в огороде возле ульев.

Товарищи бесшумно сквозь полуоткрытую дверь прошмыгнули в сени, оттуда по лесенке наверх и, приоткрыв маленькую дверку, очутились на небольшом, заваленном различной рухлядью чердаке. Только что они успели лечь на пол, как в хату вошел старик лет пятидесяти и поставил на стол чашку со свежим сотовым медом.

Не прошло и десяти минут, как к мельнице подкатили телеги и подбежали бандиты. Их было человек десять.

— Эй, дед Никита! — послышался громкий голос.— Куда пробежал большевик с винтовкой?

— Не видал.

— Не видал, старый черт! Ты не спрятал ли его? Некуда ему деваться было. Разве в болоте утоп!

— Может, и утоп,— согласился мельник.

— Утоп! Беспременно утоп,— послышались голоса,— деваться больше некуда.

— Туда собаке и дорога.

Ворота распахнулись, и подводы въехали во двор. Лошадей распрягли. Еще несколько человек вошли в хату.

Бандит, которого все называли Егоркою, был, очевидно, за старшего. Он распорядился, чтобы закопали убитого Владимиром Хомяка, а сам уселся на лавку.

— Чего привезли-то? — осведомился мельник.

— Разное,— ответил Егорка,— все больше из мануфактуры, кожи есть в коробках.

— С поезда, что ли?

— С поезда. Третьеводни под откос спустили.

— Оох, хоо! — закрутил головой мельник.— Беда мне с вами, выследят, пропадешь ни за что.

— Ни за что! — передразнил старика другой бандит.— Нет, коли уж ты пропадешь, так не задаром. Знаешь, Егорка, как он допрежь тебя еще делал? Придет к нему солдат. «Есть, мол, дедушка, пожрать чего?» А он: «Как не быть, как не быть, голубчик, вон в погребе сметанка и сало. Доставай уж только сам, кости у меня старые». Ну, тот полезет по дури и винтовку наверху оставит — и, значит, крышка.

Бандиты довольно заржали.

— Ай да дед!

Вошли еще двое.

— Ну что, закопали?

— Закопали.

Дверь широко отворилась, и бандиты принялись подтаскивать большие тюки, связки, коробки и вскоре завалили чуть не пол-избы.

«Куда же это они денут?» — думал, не отрываясь от щели, Сергей.

Мельник подошел к переднему углу, что под иконами, сдвинул оттуда стол и лавку, потом достал железный крюк, подсунул его под карниз, зацепил за конец доски и потащил. Что-то заскрипело, завизжало, и четыре настланных через весь пол половицы откатились и открыли темную дыру с ведущей вниз лестницей.

— Хитрая штука! — заметил кто-то.

— Плевое дело, а в жисть не догадаться.

Старик засветил свечу и полез вниз с двумя бандитами.

— Ну, подавай!

И темная пасть ямы поглотила вскоре всю груду награбленного.

Когда последний тюк был сброшен в хранилище и со скрипом задвинулись половицы, мельник поставил на стол большую бутыль с водкой, ломти нарезанного сала, свернутую в кольца жирную малороссийскую колбасу. Бандиты с жадностью накинулись на еду и на выпивку. Старик пил немного сам и похаживал взад и вперед, доливая из бочонка бутыль.

— Да! — громко говорил уже порядком подвыпивший Егорка.— Вот стерва большевик! Не идет он у меня из головы. Эх! изловить бы!

— Да уж обработали бы в наилучшем виде,— пьянеющим языком отвечал сосед.

— Что бы ни сделали, а не поймали.

— Не поймали, так утоп.

— А ну как не поймали и не утоп,— проговорил один из бандитов.— Может, их здесь отряд целый ходит, а мы сидим да водку хлещем.

Слова его произвели сильное впечатление. Все с опаской посмотрели в густоту надвигающихся сумерек. Разговор сразу притих. Кривуля, разинув рот, так и позабыл его закрыть, а Сычук подавился куском колбасы.

— А ведь и правда, ребята, должно быть не утоп.

— Уж не обратиться ли нам в Ракитовку? Всего пять верст, а на что спокойней.

— Давай, давай, запрягай!

— Хомяка-то как саданул!

И бандиты торопливо засуетились, запрягая лошадей.

Через несколько времени до слуха курсантов долетел удаляющийся стук колес.

Они выждали, когда старик ушел за чем-то, тихо спустились и затем как ни в чем не бывало подошли как будто снаружи.

— Эй! Кто тут есть?

Мельник выглянул из-за сарая, осел, постарел лет на двадцать и дряхлым старческим голосом ответил, низко кланяясь:

— Никого, никого нет! Господа товарищи! Один я, старичишка убогий, окалачиваюсь.

— Бандиты не заезжали?

— А? Кто?

— Бандиты.

— И что вы, мои милые, зачем они заедут? Нет, нет, и не видал никогда.

Зашли в хату.

— Отец! — спросил Сергей,— дай что-нибудь поесть.

— Можно, можно. Отчего же не дать? Вон, в подвалишке. Стар я только. Так вы уж сами. Один посветит, а двое выберут что надо.— Он услужливо совал в руки сальный огарок.

Друзья поблагодарили, но от совместного путешествия в подвал отказались... В то время как двое лазили внизу между горшками и кринками, Сергей подобрал все винтовки и держал их, пока товарищи не выбрались.

Они с волчьим аппетитом уплели все поданное на стол. Затем приказали мельнику запрячь тележку и на паре круглых сытых лошадок покатили по мягкой дороге.

Вечером того же дня отряд курсантов не спал. Разговаривали и сильно тревожились за исчезнувших троих разведчиков.

Вдруг полночью, со стороны полевого караула, спокойную тишину прорезал перекатывающийся гулким эхом выстрел.

Похватались за винтовки.

— Что такое?.. В чем дело?

Оттуда к огням бежит кучка людей, и через минуту громкое и веселое «ура» перекатывается по лагерю. И при свете костров, подхваченные десятками рук, высоко подлетают возвратившиеся разведчики.

— Кто же это стрелял? — спросил кто-то.

— Часовой в нас,— смеясь, ответил Николай,— мы пропуска не знали.

— А мы Могляка вчера расколошматили,— с гордостью сказал начальник отряда, пожимая Сергею руку.

— Погодите! — ответил Сергей.— Завтра мы самого Битюга хватим, да и Шакару обидим.

Через час лагерь спал, костры погасли, стихло,— но зорко всматривались в темноту часовые.

Атаман Битюг закинул ногу в стремя и, приподнявшись, грузно опустился на свою высокую кобылу. Бывшая петроградская этуаль, Софья Николаевна Тольская, а теперь Сонька, его жена, танцевала уже на горячем коне возле палатки, перед кучкой всадников, составлявших конвой атамана.

— Трогай!

Сразу сорвавшись с места, легкой рысью полетела небольшая кавалькада и скрылась за поворотом к лощине Кривого Лога.

После прошедшего ночью небольшого дождя стояло теплое, светлое утро. Солнце косыми лучами пригревало влажную землю, поднимая дымку легкого, свежего пара. Атаман ехал к Барашам, чтобы лично убедиться, как подвигается разрушение железнодорожной линии.

Мелькали поля, попадались заросшие зеленью яблонь и вишен уютные хуторки. Заслоняясь рукой от солнца, всматривались в проезжающих работающие на хлебах мужики и, узнав, снимали шапки, низко кланяясь.

Остановились на несколько минут напиться в попавшейся на пути деревушке. Провожаемые сочувственными советами бородачей, любопытными взглядами баб и ребят, поскакали дальше.

На пути, посреди неснятых колосьев пшеницы, разглядели скачущих навстречу двух всадников, которые, заметив отряд, остановились.

— Наши? — спросил с сомнением атаман.

— А вот посмотрим.

Один из всадников повернул лошадь, снял шапку и вытянул ее в сторону на правой руке два раза.

— Наши! — сказал Барохня, отвечая тем же сигналом.

Встречные оказались своими ребятами из сотни Оглобли, наблюдавшими за работой.

— Ну как? — спросил атаман.— Снимают?

— Работают!..— усмехнулся один.— Можно сказать, подходяще.

Верст через десять обогнули по опушке небольшую рощу и выехали на бугор.

Их уже давно заметили.

— Ого-го-го! — послышалось радостное ржание.—Сам приехал!

Работа продолжалась с еще большим рвением.

Человек около четырехсот согнанных из окрестных сел хохлов копошилось, разрушая железную дорогу. Разобрав стыки рельс, привязывали к концам их веревки, пристегнутые к десятку пар волов, и вся линия, вместе со шпалами, веером переваливалась под откос. Много девок и баб следом разбрасывали и срывали лопатами песчаную насыпь.

Позади на несколько верст желтел уже обработанный путь. Сиротливо стояли пощаженные телеграфные столбы, но с перерванными, болтающимися проводами. Отовсюду доносились крики и понукания, посвистывание ременных плетей и удары по бокам неуклюжих волов...

Наблюдающие за работой бандиты перешучивались с бабами и сурово покрикивали на мужиков.

Атаман подъехал поближе и окрикнул:

— Бог помочь!

— Спасибо! — раздалось несколько десятков голосов в ответ.

Он проехал взад и вперед мимо работающих и остался доволен.

— А там что? — спросил он у сопровождавшего его бандита.

— Тоже наши. Мостишко там небольшой, значит, снимают.

— Через Гнилой Ручей?

— Он самый. Маленький, а крепкий. Второй день ломами понемногу разбивают.

Атаман с компанией заехали в соседнюю деревушку. Отдохнули, плотно закусили жареным гусем, основательно выпили и отправились обратно.

Атаман остановился и посмотрел в бинокль.

— Кого это там дьявол несет?

Теперь и простым глазом можно было видеть, как всадник, склонившись к седлу, бешеным аллюром мчался по дороге.

— В чем дело? — крикнул Барохня, когда взмыленная лошадь поравнялась с ним.

— Атаман! — ответил седок, едва переводя дух.— Беда! Могляк убит, и сотня его пропала.

— Как! — рявкнул атаман.— Откуда известно?

— Сейчас прибежали несколько уцелевших ребят.

— Собачий сын!.. Баба! — Битюг разразился градом ругательств по адресу погибшего Могляка и, ударив шпорами, поиесся вперед.

Как встревожеииый осиный рой, гудел баидитский лагерь. Недавио прибежал из деревни мужик и сообщил, что утром возле деревии отряда не оказалось. Ои пропал куда-то иочью.

Атамаи поспешио отдавал сотеиним распоряжеиия:

— Выслать во все стороны пешие и коиные разведки. Отряд разыскать, посты удвоить.

По всем иаправлениям потянулись пешие и коиные разведчики. В лагере не было ни обычиых пьяиых криков, ии песеи. Кучками толковали бандиты.

К атамаиовой палатке подскакал хохол без шапки, без седла. Быстро заговорил о чем-то Забобуре.

— Что такое? — спросил, выходя, «сам».

— Отряд вернулся.

— Ага! — воскликнул атаман.— Теперь расквитаемся! Заруба! Карасю приказ: завтра к иочи встать позади отряда. Барохня! Наши от мельиика вернулись?

— Вернулись.

— Порошок привезли? Давай сюда. Ну? — спросил он вошедших.

— Вот.

Атаману передали небольшой узелок.

— Кто из Дубков сообщение привез?

— Вавила Косой.

— Давай ко мне.

В палатку вошел хохол. Низко поклонился.

— Откуда солдаты воду берут? — спросил атаман.

— Из колодца, что возле Яковой мельницы.

— А в чем обед варят?

— Кухня у них есть иа колесах.

— Вот что, Вавила! Вот тебе порошок, и чтобы завтра до обеда ои был в колодце.

— Никак невозможно! — ухмыльнулся мужик.

— Вот я тебя стукну по башке, так будет возможно.

— Народу всегда там много.

— На вот, попробуй! — атаман вытянул несколько раз мужика плетью.

— Что же...— согласился Вавила, почесывая спину.— Если уж такое от вашей милости строгое приказание, сделаем!

Глава тринадцатая

Несмотря на усталость, друзья проснулись рано, часов около семи.

— Значит, сегодня?

— Значит, так.

— Трудно по такой дороге ночью подойти.

— Ночью мы подойдем только до леса, а свернем к рассвету.

Пошли умываться, но еще не доходя услышали треск, похожий на негромкий револьверный выстрел. У мельницы они увидали кучку суетящихся курсантов.

— Колодец отравили,— сообщили Сергею курсанты.

— Кузнецов ему из нагана руку просадил.

Подошел Кузнецов и сообщил: он сегодня дневалил по лагерю и заметил, что какой-то мужик все время толкается около мельницы. Это ему показалось подозрительным. Он спрятался за плетень и стал наблюдать. Убедившись, что никого поблизости нет, мужик подбежал к колодцу и что-то туда бросил. Потом кинулся в сторону, намереваясь перемахнуть через плетень, но повис на нем с простреленной рукой. Отравитель сознался, что он подослан атаманом, и в подтверждение показал на спине яркокрасные рубцы от ременной нагайки. Атаман велел крестьянам донести, как подействует отрава. Ночью же он нападет на красных сам.

— Вот что! — предложил начальнику отряда Сергей.— Нам теперь незачем тащиться в лес. Мы подождем, пока они сами подойдут к нам. Но надо дать им уверенность, что отряд действительно отравлен. Тогда банда будет переть на нас безо всяких опасений, а мы приготовим ей встречу.

Так и порешили сделать. Сергей с товарищами отправился к старосте и приказал к завтрашнему дню приготовить подводы, потому что отряд уезжает.

Было прибавлено, что люди позаболели и есть предположение, что они отравлены. Если это подтвердится,— сказал Сергей,— то они подожгут деревню со всех четырех концов.

Наступила спокойная теплая ночь. По безлунному темному небу огоньками горели звезды. Далеко на горизонте, как непонятный сигнал, узкою полосою загорелась зарница.

Как раз в то время, когда, блеснув в последний раз, желтая змейка на горизонте заменилась слабой серовато-тусклой полоской — предвестницей наступающего рассвета,— из секретов прибежали курсанты. Один донес, что банда заходит в деревню; другой, что банда у оврага, в двух верстах впереди.

Атаман шел с отрядом со стороны оврага. Карась занял деревню. Несколько редких выстрелов посыпались со стороны лагеря, и пули зажужжали высоко в стороне.

«Ну и стрелки!» — подумал атаман. И густою цепью повел банду вперед, откуда щелкали редкие выстрелы.

— Ого-го-го! Бросай винтовки!

— Мухи дохлые!

Горя от нетерпения, из окраины деревни бегом бросилась банда Карася с ревом:

— Даешь пулеметы!

— Да-дае-ешь...

Но тут взвилась голубая ракета. И со стороны красных раздался грохочущий дружный залп, слившийся с треском четырех пулеметов.

Огорошенные встречей, банды дрогнули и залегли, но расстреливаемые метким огнем, по заранее измеренным дистанциям, бросились бежать. Убегающие люди Карася напоролись на засаду и заметались, бросаясь через заборы и плетни. Разгром был полный.

Через час отовсюду стали возвращаться преследовавшие бандитов роты.

Дорого встала эта операция атаману. Сам он скрылся, но среди трупов оказались Оглобля, Черкаш, а также атаманова Сонька. Она лежала посредине болотца с простреленной головой. Ее вынесли и положили на покрытый зеленой травою бугор. Она долго бредила. Поминала гвардию, юнкеров, сыпала грязную ругань. Через несколько минут умерла. Ее коня поймали в овраге. В сумке нашли флакон одеколона, пудру и дневник.

В тот же день атаман распустил банду на мелкие шайки, по нескольку десятков человек, и сам с кучкой отъявленных головорезов ускакал к Новоград-Волынску, где хозяйничал крупный «батька» Соколовский.

К вечеру курсанты отдыхали после горячего дня. Слы-

шались смеющиеся голоса, горели большие костры, и кто-то наигрывал на двухрядке.

— Что-то в Киеве?

— Где-то наши фронты? Далеко ли Петлюра, Деникин?

— Ничего мы не знаем!

— Ничего, Сергей! Оторвались!

Николай подбросил сучья в костер.

— Хоть бы письмо получить! Да ведь Ботт у черта на куличках, Эмма адреса не знает. Что-то она сейчас делает? — добавил он.

— Поди, соскучился?

— Соскучился.

Владимир с Сергеем переглянулись лукаво.

— Завтра к мельнику. Надо же Шакару немного потрогать.

Глава четырнадцатая

Утром, едва над горизонтом показался краешек солнца, на пяти подводах небольшой отряд скрылся за холмами зеленых полей.

— Улетели орлята! — сказал командир отряда.— С чем-то вернутся?

Поля, поля, холмистые, волнующиеся, желто-зеленые. Вспугиваемые топотом, из-под самых колес вылетали из росистой пшеницы испуганные перепела. Жаворонки звенели в глубине голубого неба. Чувствовалась еще утренняя свежесть, но солнце уже жгло с одного бока. Один раз далеко влево, возле опушки темнеющего леса, показался на мгновение всадник и тотчас же умчался назад. Глухо прозвучало эхо случайного выстрела.

Когда проехали больше половины пути, остановились переждать жару на одном из придорожных хуторков. Все было на месте — и скотина, и еда, и горшки в печках, но хозяева сочли почему-то за лучшее удалиться.

Выставили наблюдателя, и тот, вооружившись биноклем, уселся верхом на соломенную крышу, возле белой трубы. Основательно закусили. Развалились на мягкой траве в тени густых яблонь и вишен небольшого садика. Тихонько болтали.

Солнце решило испечь землю. Даже в тени было душно. По телу расползалась лень.

Едва курсанты расположились по укромным уголкам, как случилось маленькое курьезное происшествие. Федорчук, прельстившись спелым яблоком, забрался на дерево. Он был уже у цели, как вдруг обломил сухой сук, который стукнулся о крышку улья. Потревоженные пчелы с яростью бросились изгонять непрошенных гостей из сада и без труда обратили весь отряд в бегство.

— Фу ты черт!

Николай, запыхавшись, прикладывал сырую землю к руке.

— Вот еще новая напасть!

Направились в огород, намереваясь расположиться с тенистой стороны стога.

Один, просунув в сено руку, с удивлением крикнул:

— Посмотрите-ка!

Откинули несколько клоков сена и увидали приклад трехлинейной винтовки.

— Вот так гадюка!

— Вот так камень!

— Ребята! — сказал Сергей.— Сейчас на хуторе никого нет, да и дело у нас есть. Положите винтовку на место, а на обратном пути мы осторожно захватим ее владельца.

Отряд тронулся в путь. Из-за кустов, позади оставленного хутора, осторожно выползли две фигуры.

— Ушли?

— Уехали, дьяволы!

Уже совсем к ночи курсанты остановились за версту до мельницы. Сергей с товарищами отправился вперед. Было уже темно. В одном из окошек домика блестел огонь. Ребята кучей ввалились в хату.

Старик злобно посмотрел на гостей и пробурчал что-то, беспокойно поглядывая и пытаясь разгадать причину нашествия.

Сергей сел за стол. Все притихли.

— Ну как дела, старик?

— Никаких у меня дел нету, видит бог нету,— затараторил тот.

— Ну уж это ты оставь! — усмехнулся Сергей.— Нас этим не проведешь. Мы знаем, что у тебя тут бандитский притон.

Старик съежился и захихикал, не зная, как принять это — в шутку или всерьез.

— Хи-хи-хи!.. притон! У старичишки убогого, господь с вами...

А сам пятится к распахнутому окошку. Владимир, заметив этот маневр, уселся на подоконник.

— Награбленное куда прячешь?

— Совсем ничего не знаю, что вы к старику пристали?

— Ты не знаешь, так я знаю,— ответил Сергей.— А ну-ка, товарищи, отодвиньте стол и лавку.

Мельник мгновенно сорвал с гвоздя и запустил ему в голову тяжелый безмен. Сергей ловко уклонился. Безмен врезался в уставленный иконами угол. Мельнику связали руки. Стол был отодвинут.

— А ну-ка, найдите тут ход!

Курсанты шарили по полу.

— Вот, смотрите!

Он достал с полки знакомый крюк и поддел им край доски за карнизом. Четыре половицы со скрипом откатились, открывая тайник.

Спустились вниз. Около часа выбрасывали награбленные товары наверх, принимали и укладывали их на подводы. Темная дыра опустела. Усталые курсанты выбрались наверх, закусили.

Мельник сбросил маску и на все вопросы разражался градом ругани. В сарае у него нашли аппарат для варки самогонки, а за печкой солдатскую гимнастерку в подозрительно бурых пятнах.

— Убил, должно, за кринку кислого молока! — вспомнил Николай подслушанный с чердака разговор.

Ночь проходила. Запрягли своих и мельниковых лошадей. Старика посадили на подводу.

Когда со двора вышли все люди и выехала последняя подвода, ярко вспыхнула соломенная крыша. Огненные языки закрутились и затанцевали, отражаясь в спокойной темной воде.

Не успели курсанты отъехать и с версту, как сзади посыпались частые выстрелы. Все повскакали и похватались за винтовки. Но вскоре успокоились. Это рвались запрятанные в сгорающем логове винтовочные патроны.

Ехали уже медленнее, подсаживались на подводы по очереди. Не доезжая до хутора, человек десять отправились осторожно вперед и захватили на хуторе двоих.

— Бандиты? — спросил, подходя, Сергей.

— Какие там бандиты? — ответил пойманный.— Мы здешние.

— А зачем убегали?

— Мало ли тут кто ходит? Мы пуганые.

— Оружие есть?

— Откуда ему быть?

Сергей пошел с ними, в сопровождении кучки курсантов, к стогу сена. Пленники беспокойно забегали глазами.

— Это что? — спросил Сергей, когда один из курсантов извлек винтовку.

— Аа! — точно вспомнив, хлопнул себя по лбу мужик.— Я и забыл... В прошлом году на пашне нашел, ну и бросил сюда,— пусть, думаю, валяется.

Курсанты расхохотались.

— Как же это ты в прошлом году бросил под нынешнее сено?

Их также захватили с собой.

Поздно ночью весь отряд проснулся, чтобы приветствовать экспедицию, возвратившуюся домой с богатой добычей.

Глава пятнадцатая

Далеко по окрестным селениям пронеслись вести о смерти Могляка, Оглобли, Черкаша, Соньки и сыча-мельника, о разгроме их шаек. Банды притихли, разбились на кучки, ожидая лучших времен.

Прошло около месяца, как отряд уехал из Киева. За это время он совершенно оторвался от прежней жизни и потерял всякую связь с курсами. С огромной радостью все встретили весть о том, что их вызывают срочно в Киев.

Трое друзей тоже были весьма довольны по многим причинам. Нужно было прикончить предательскую игру начальника курсов. У Сергея было много незаконченной работы. А у Николая еще одна особенная причина.

Через два дня отряд подошел к станции, погрузился в готовый эшелон и помчался к Киеву. Замелькали сквозь

распахнутые окна и двери поля остающейся позади беспокойной Волыни.

Рано утром курсанты радостными криками приветствовали показавшийся Киев.

Через несколько минут отряд в порядке подходил к курсам.

Почти у ворот он неожиданно столкнулся с подходящей колонной своих товарищей, возвращающихся после боев под Жмеринкой.

С обеих сторон раздалась приветственная команда «смирно», а затем громкое «ура» и радостные крики, заглушаемые звуками музыки. Запыленные, загоревшие, с честью выполнившие свой долг, встречались отряды. Курсанты быстро переоделись в новое обмундирование, умылись и отправились вниз — на торжественный обед.

В большой столовой было прохладно и хорошо. На покрытых скатертями столах стояли цветы и приборы. Играла музыка.

— Товарищ Ботт, здравствуйте! — Сергей подошел к комиссару.

— Горинов... здравствуйте! — обрадовался тот.— А я вас высматриваю...

Они долго и оживленно беседовали.

К Ботту подошел присланный от Наркомвоена докладчик. Курсанты прослушали горячую речь о положении революционной борьбы Украины и России. Оторванные надолго от всяких сообщений, они с жадностью ловили каждое слово. Армии Колчака безостановочно отступают к Уралу. Деникин неудержимо прет и ширится во все стороны. Уже давно, после геройской защиты, пал Харьков; уже болтаются на фонарных столбах трупы рабочих Екатеринослава. Враг скоро застучится в ворота Киева. А с запада Петлюра тянет хищные лапы к столице Советской Украины.

— Вы устали,— говорил докладчик,— но Республика вскоре потребует от вас новых жертв. Будьте к ним готовы! Скоро придется вам сплотиться для того, чтобы принять на свои плечи всю тяжесть белогвардейского удара. Может быть, мы в последний раз собираемся для совместной беседы в стенах наших курсов. Может быть, скоро здесь будут наши враги. Но мы опять придем — навсегда. И последнее знамя, которое будет развеваться над Киевом, будет наше — Красное знамя.

— Ну, теперь можио и поговорить,— сказал Ботт, запираясь иа ключ у Сергея в комиате.

Сергей подробио рассказал о проведениой отрядом работе и сдал расписки на отобраиное у баидитов и оставлеиное ревкому имущество.

— А Родчеико погиб, должио быть,— закончил Сергей.— У иего были все бумаги. Я страшио поражен был, когда увидел сегодня, что иачальник курсов еще здесь и жив.

Ботт иахмурился.

— Надо сегодия же арестовать его.

— А по-моему — нет! — возразил Сергей.— Ои генерал, человек старой закалки, и от иего миогого не добьешься. А потому я предлагаю оставить его еще иа иесколько дней и установить за иим правильиую слежку. Ничего не теряя, мы можем выиграть многое.

— Но кто же возьмется за это дело?

— Я со своими товарищами. В Чека и без того горячка.

— Хорошо, делайте.

Сергей вызвал к себе своих друзей и объясиил им задание. Через полчаса каждый был уже занят своим делом.

Сергей что-то высчитывал; Николай писал какую-то записку; а Владимир старательно отдирал от свечки кусочек желтого воска.

Солнце уже скрылось за горизоитом, когда Николай подходил к знакомому беленькому домику. Прошел месяц с тех пор, как он убегал отсюда ночью, нагруженный поклажей наподобие ночного разбойиика.

Вот и калитка. Войти туда он не мог,— нужио было оградить Эмму от подозрений. Он подошел к плетию со стороны нежилого переулочка и стал наблюдать.

Садик был пуст, только жирный кот, развалившись, спал на круглом столике. Вдруг дверь хлопнула, и через веранду торопливо промелькиула знакомая фигурка. Через некоторое время оиа показалась опять, торопливо накинула на ходу шарф и вышла на улицу.

Николай пропустил ее мимо, пошел за ней немного поодаль, до тех пор пока не миновали они несколько уличек; потом подошел и осторожно взял ее за руку.

Она сильно вздрогнула, но, увидев его, не удивилась.

— Я знала, что вы вернулись, и шла к тебе. Идем!

— Куда?

— Все равно! Подальше отсюда.

Почти всю дорогу она ничего не говорила. Наконец уже возле самого центра, на одном из бульваров, они выбрали глухую скамейку в углу.

— Что с тобою, Эмма? Ты расстроена... взволнована.

— Не мудрено! — горько усмехнувшись, ответила девушка.— Можно совсем с ума сойти.

— Ну, успокойся! Расскажи все по порядку.

Она, путаясь, часто останавливаясь, рассказала ему следующее.

В тот вечер, когда они похитили бумаги, она легла спать довольно рано. Агорский скоро ушел, и она слышала, как мать запирала за ним дверь. Ночью, открыв случайно глаза, она с удивлением заметила у дверей свет и услышала голоса. Это ее удивило, и она, подкравшись босиком, заглянула в щель и едва не вскрикнула. За столом сидели — Агорский и... ее отчим. Откуда он взялся, она понять не могла.

Утром мать ей сообщила, что у них теперь часто будет бывать отчим, чтобы она не смела никому заикнуться об этом.

С тех пор у них началась беспокойная жизнь. Часто по ночам, при плотно закрытых ставнях, собирались какие-то люди и долго совещались. Из отрывков их разговоров она поняла, что они ставят себе задачей организовать переворот в пользу Петлюры и ни в каком случае не допускать захвата власти Деникиным. Эмма при первом же случае убежала сообщить об этом Николаю, но не нашла на курсах никого.

На нее не обращали внимания, и она старалась как можно меньше попадаться на глаза.

Однажды вечером, проходя мимо столовой, она увидела невысокого белокурого человека, лет двадцати пяти. Напротив него сидел ее отчим с исказившимся от злобы лицом.

— Так вы отказываетесь?

— Да! Так будет лучше.

Эмма прошла дальше и конца разговора не слыхала. Когда она возвращалась, то незнакомца уже не было, а отчим говорил с Агорским.

— Ты знаешь, кто у меня сейчас был?

— Кто?

— Мерзавец! — Он назвал фамилию.— Подлец, пришел сказать, что считает за лучшее не связываться с нами. И главное — теперь, когда знает все.

— Что же делать?

— Его надо вызвать еще раз и уничтожить.

— Но где?

— Хотя бы здесь!

Эмма похолодела от ужаса.

Прошло еще несколько дней. Эмма напряженно всматривалась во все происходящее и нетерпеливо ожидала возвращения отряда. Самое ужасное случилось вчера.

Еще утром она заметила тянущийся через весь лоб отчима большой шрам. Он сказал ей, что стукнулся о косяк двери, хотя она об этом его и не спрашивала. Эмма после обеда как всегда забралась с книгой на сеновал, который находился возле огорода, над большим сараем, заваленным разной рухлядью. Сначала читала, а потом незаметно для себя заснула. Проснулась она от знакомых голосов и, заглянув сверху, увидала отчима с братом позади кучи с ломаным железом, в сарае было полутемно, и она не сразу поняла, в чем дело.

Они увязывали что-то в рогожу.

Острая мысль мелькнула у нее в голове, и на минуту все поплыло перед глазами. Она теперь поняла все. Поняла, отчего у отчима был шрам, зачем на днях он отослал погостить на неделю к сестре на хутор ее мать и зачем ей навязал вчера билет в городской театр. Как во сне помнила она, что они взвалили на телегу мешок и увезли его.

Она не спала всю ночь. И с огромным облегчением вздохнула, когда узнала, что сегодня отряд вернулся в Киев.

— Что же теперь делать? — закончила она.

— Эмма! — ответил Николай, заглядывая ей в лицо.— Завтра эта предательская игра будет прервана. А теперь скажи: ты любишь меня?

Она просто ответила:

— Ты знаешь!

— Ну вот! Обо мне ты тоже знаешь. Теперь тяжелое время. Думать о личном нельзя. Вырвать тебя из этого болота необходимо. Ты согласна?

— Да! Но...

— Никаких «но». Я сегодня же переговорю с комиссаром, и мы что-нибудь устроим. А потом, когда уедем на фронт, ты отправишься в Москву к моей матери... Мой отец коммунист, и он рад будет оказать тебе помощь, а моя мать все-таки приходится тебе теткой.

Пошли обратно. Несмотря на поздний час, на улицах было светло и людно. Повсюду мелькали огни кабачков, подвалов. Сквозь открытые окна доносились громкие звуки «Карапета», «Яблочка», еще чего-то.

Раньше были денежки, были и бумажки,—

доносился чей-то высокий ломающийся тенор,—

А теперь Россия ходит без рубашки.

Они дошли до белого домика. Расставаться не хотелось, но было уже поздно.

— Ну, до утра, дружок!

— До утра!

Пробило двенадцать. Николай торопливо зашагал к курсам.

Глава семнадцатая

Когда Владимир кончил мять в руках кусочек желтого воска, он направился по главному коридору корпуса, свернул два раза налево, один раз направо и очутился в полутемном углу, напротив квартиры Сорокина. Он приложил ухо к двери и прислушался — никого! Тогда он приложил восковой шарик к замочной скважине, осторожно вдавил его большим пальцем и извлек слепок. Потом проворно отскочил в темную нишу соседней заколоченной двери, потому что послышались тяжелые шаги. Показался Сорокин; щелкнув ключом, вошел в комнату и запер за собою дверь. Владимир осторожно, на цыпочках пробрался мимо, а затем спустился в слесарную мастерскую в подвал и принялся за работу.

Он был сыном слесаря и часто помогал отцу. Через час сделанный по слепку ключ был готов, и Владимир полетел наверх, к Сергею.

— Готово...

Сергей зашел к Ботту, попросил увести Сорокина под каким-нибудь предлогом на час с курсов.

— Хорошо! — согласился тот.— Как раз кстати, нам нужно съездить с докладом о работе отрядов.

Когда увозивший их экипаж скрылся, Сергей и Владимир отправились в темный конец коридора, отперли дверь, заперлись изнутри и огляделись. Квартира состояла из двух хорошо обставленных комнат. Они осторожно перерыли все ящики и полки, но ничего подозрительного не нашли.

Они уже собирались уходить, когда Сергей остановился в маленькой темной прихожей, возле заставленной умывальником, наглухо завинченной печки. Отодвинули, развинтили и открыли тяжелую дверку. В глаза сразу же бросились какие-то бумаги и письма.

— Ага! — сказал, просмотрев, Сергей.— Этого вполне достаточно. Сорокин у нас в руках.

И он положил все обратно.

Ночью пришел Николай и подробно передал товарищам рассказ Эммы. Сведений набралось больше чем достаточно. Решено было: Сорокина арестовать сейчас же, а об Агорском сообщить в Чека. Николай рассказал также Ботту о том, что сделала для них Эмма, и Ботт охотно согласился дать ей клубную работу на курсах. На первое время это было удачным разрешением вопроса. Теперь нужно было произвести арест.

Все четверо пошли в телефонную комнату. Сергей нажал кнопку аппарата, вызывая квартиру начальника. Через несколько минут послышался ответный гудок, а потом вопрос:

— Я слушаю! Кто у телефона?

— Дежурный по курсам. Вас просят по городскому от начальника гарнизона.

— Сейчас приду.

Вскоре послышались шаги, вошел Сорокин и направился к телефону.

— В чем дело?

— В том, что вы арестованы,— проговорил, подходя, Ботт.

А Владимир твердо положил руку на кобуру его револьвера.

Его отвели в полутемную камеру бывшего карцера и к дверям и к окну выставили надежные посты.

Всю ночь друзья не спали. Долго Ботт говорил с кем-то по телефону, потом отослал захваченные бумаги с верховым. Квартиру обыскали еще раз. Помимо всего, там нашли еще тщательно завернутую новенькую генеральскую форму и двадцать пар блестящих, вызолоченных на разные чины погон.

Утром из генеральской квартиры ребята перетаскали лучшую мебель в небольшую светлую комнату возле коридора, занимаемого семьями комсостава. Вышло очень недурно.

— Это для Эммы.

Рано утром с небольшою корзинкой Эмма вышла из дома и направилась к роще. Там ее уже ожидал Николай.

— Ну, ты совсем?

— Совсем, Коля!

— Не жалко?

— Нет! — И она, обернувшись, посмотрела в сторону оставленного дома.— Уже не жалко.

Днем Укрчека арестовала обоих Агорских, при которых нашли много важных бумаг. Домик заперли и запечатали.

Глава восемнадцатая

— Слушайте!

— Тише!

— Это ветер!

— Нет, какой ветер!

— Это орудия!

— Так тихо?

— Тихо, потому что далеко.

— Да... это орудия.

Курсанты высыпали на широкий плац, на крыльцо, даже на крышу корпуса и внимательно вслушивались в чуть слышные колебания воздуха.

— Кто это может быть?

— Фронт еще далеко.

— Должно быть, кто-нибудь с зелеными дерется.

Дело красных войск на Украине уже было проиграно. Ежедневные сводки доносили о непрерывном продвиже-

нии противника. Уже потерян был Курск, Полтава, Житомир, Жмеринка. Враг подходил с тылу к Чернигову, и только Киев еще держался. Но вскоре суждено было пасть и ему, так как белое кольцо сжималось все уже и уже.

На фронтах, подавленные морально и технически, красноармейские части не могли стойко держаться. Не было возможности установить правильное сообщение и управление остатками частей. Провода прерывались; маршрутные поезда летели под откос или останавливались перед разобранными путями.

Шла спешная эвакуация. Вверх по Днепру то и дело отходили груженые баржи; возле пристани сотнями стояли заваленные подводы. Отправлять что-либо ценное поездами не было возможности из-за бандитизма. Даже баржи приходили к Гомелю с бортами, продырявленными пулями. Со всех сторон теперь, после жестоких боев, сюда подходили командные курсы Украины: Харьковские, Полтавские, Сумские, Екатеринославские, Черкасские и другие — всех родов оружия. Впоследствии они сорганизовались в «Железную бригаду курсантов», которой и пришлось принять на плечи всю тяжесть двустороннего петлюро-деникинского удара.

Часто по синему небу скользили аэропланы. На земле тяжело пыхтящие бронепоезда с погнутым осколками снарядов железом срывались со станций и уносились на подкрепление частей фронта.

Буря надвигалась на Киев.

Начальника курсов расстреляли сами курсанты. Его обрюзгшее генеральское лицо не выражало ни особенного страха, ни растерянности, когда повели его к роще за корпус. Он усиленно сосал всю дорогу дорогую пенковую трубку и поминутно сплевывал на сухую, желтеющую траву. Когда его поставили возле толстой каменной стены у рощи, он окинул всех полным высокомерия взглядом. И в залпе потерялось его последнее слово:

— ...сволочи!

До производства старшего класса в красные командиры оставалось уже недолго. В цейхгауз уже привезли перешитое обмундирование. С неделю друзья прожили без особенных приключений и усиленно занимались.

Вечера проводили вместе. Часто заглядывала Эмма. Она горячо бралась за всякую работу. Со всеми у иее вскоре установнлись простые и дружеские отиошення.

Сегодня они проболтали, гуляя, дольше обыкиовенного, н оиа ушла от ннх около двенадцатн.

— Да, ребята! — говорил задумчнво Сергей.— Сейчас вот мы сндим и болтаем. Хорошо, весело,— в клубе, поглядите, что делается — только ну! А ведь иедолго уж остается... Ведь если через месяц собрать всех н сделать переклнчку, то многих не будет в строю.

— Скажн лучше, немногие останутся в строю.

Вызов телефона — певучий, мягкий. Сергей взял трубку. Говорнл новый начальник курсов.

— Это вы, товарищ Горииов.

— Я.

— Зайдите иа мнинутку. Комиссара нет, а комеидаит города просит выслать человек сорок на усиление патрулей, так как возле города показались какне-то разъезды.

Сергей по городскому аппарату вызвал с совещання Ботта, и они всю иочь провели у телефоиной трубки. Им сообщили, что стоящая возле Кнева, в Броварах, конноказачья бригада ненадежна.

Через два дня Петлюра внезапным ударом продвинулся за Фастов и очутился под самым Кневом. Это было для всех неожнданиостью. Все предполагали, что красные части продержатся зиачительно дольше.

Нужно было во что бы то нн стало задержать, хотя бы иа время, дальнейшее продвнжеине белых, потому что город совершеино не был эвакунрован. Срочно последовал приказ сегодия же произвести выпуск старшнх классов, а завтра к рассвету всей брнгаде выступить на фроит. К однииадцати часам утра сто пятьдесят одетых в новенькую форму красных командиров стоялн на плацу. Произнесли торжествениое обещание, прочли спнски произведениых. На автомобиле подъехал Наркомвоен Украины. Его лицо носнло иа себе отпечаток бессонных ночей и глубокой тревоги.

Поблагодарил от нмени Советской Украины за геройскую работу. Высказал увереиность, что брнгада курсантов с честью выполнит свою трудиую задачу. Тепло попрощался.

На следующее утро бригада выступила. Возле широких дверей собралось много провожающих. Поминутно подъезжали конные ординарцы и мотоциклисты. Кругом, насколько хватал глаз, лентами подходили и останавливались серые батальоны.

Мягко переливаясь, с крыльца полились звуки сигнала «сбор».

Николай еще раз крепко стиснул маленькую руку Эммы.

— Ну, прощай! Всего хорошего, девочка. Будем бороться и надеяться.

Эмма оставалась пока в городе. Она должна была отправиться вместе с семьями комсостава с последней баржей в Гомель, а оттуда в Москву.

Она посмотрела на Николая, грустно улыбаясь.

— Прощай! Пиши, Коля... Я буду ждать...

— Эмма, вашу руку напоследок!

— Володя! Сережа!.. Прощайте! Спасибо вам за все. Мы снова все встретимся.

— Может быть! Привет России, Москве. Всего хорошего!

Они еще раз горячо пожали ей руку и торопливо бросились к своим местам.

Эмма тихо взошла на высокое каменное крыльцо, встала возле самого края, рукой придерживаясь за выступ окна. Всматриваясь, застыла безмолвно.

Повсюду кругом — поблескивающие штыки, пулеметные двуколки, орудия. Слышались слова четкой команды. Где-то далеко впереди заиграла музыка. Голова бригадной колонны тронулась в путь. Курсовой батальон минут около десяти стоял на месте. Потом раздалась резкая команда, тронулся и он. Вон Николай!.. Сережа!.. Владимир!.. Вскоре скрылись и они. Перед Эммой все тянулись серые ленты.

Потом, громыхая, проскакала рысью запоздавшая артиллерия. И кругом стало пусто.

Эмма молча ушла в свою комнату. Села, задумавшись, на широкий кожаный диван. Долго крепилась. Не выдержала и, уткнувшись головой в подушку, горько-горько заплакала.

— Ушли!

Глава девятнадцатая

Уже пятый день, как отбивается железиая бригада,— отбивается и тает. Уже сменили, с боем, четыре позиции и только что отошли иа пятую.

— Последияя, товарищи!

— Последняя! Дальше некуда!

Жгло иапоследок августовское солнце, когда измученные и обливающиеся потом курсаиты вливались в старые, поросшие травой, изгибающиеся окопы, вырытые под самым Киевом во времеиа германской оккупации.

— Вода есть? — еле ворочая пересохшим языком, спросил, подходя к Владимиру, покачивающийся от усталости Николай.

— На!

Прильиул истрескавшимися губами к горлышку алюмиииевой фляги и долго, с жадностью тяиул тепловатую водицу. Взвизгиув, шлепиулась о сухую глину шальная пуля и отскочила рикошетом в сторону, оставив облачко красиоватой пыли.

— Осторожней! Стань за бруствер.

Чуткая тишина.

— Говорят, справа пластунов поставили.

— Много ли толку в пластунах? Два батальона.

Помолчали. Где-то далеко влево загудел броиевик. Эхо разиеслось по притихшим полям.

— Гудит!

Шевельиул потихоньку головками отцветающего клевера ветер.

— Сережа! Пить хочешь?

— Давай.

Выпил все той же тепловатой, пресной воды. Отер рукавом со лба капли крупного пота. Долго смотрел задумчиво в убегающую даль пожелтевших полей. Вздохнул тяжело.

— Стасин убит?

— Убит!

— А Кравченко?

— Тоже.

— Жалко Стасииа!

— Всех жалко! Им ничего, а тем, которые ранеными поостались, плохо!

— Федорчук застрелился сам.

— Кто видел?

— Видели! Пуля ему попала в ногу. Приподнялся, махнул рукой товарищам и выстрелил себе в голову.

Жужжал по земле, над поблекшей травою, мохнатый шмель. Жужжал в глубине ослепительно яркого неба аэроплан.

Смерть чувствовалась близко-близко. И именно сейчас, когда все так безмолвно и тихо.

Жжзз-жжж!..

Та-х-та-бах...

— Вот она!

Та-х-та-баба-х.

— Вот!.. Вот она!

В грохоте смешались мысли, взрывы и время. Прямо перед глазами — цепь... другая. Быстрый, судорожный огонь.

— Ага, редеют!

Батарея...

— Наша! Отвечает!

Еще и еще цепи, еще и еще огонь. Окопы громятся чугуном и сталью. Нет ни управления, ни порядка. И бой идет в открытую, по полям.

— Врете, чертовы дети. Не подойдете!

— Врете, собачьи души! — кричит оставшийся с несколькими номерами пулеметчик — и садит ленту за лентой в наступающих.

— Бросай винтовки! О-го-го, бросай!

— Получай! Первую!.. Вторую!

С треском рвутся брошенные гранаты перед кучкой петлюровцев, нападающих на курсанта.

С гиканьем вырывается откуда-то эскадрон и падает тяжелым ударом в одну из первых рот.

— Смыкайся! — кричит Сергей. Его голос совершенно теряется среди шума и выстрелов.

Эскадрон успевает врубиться в какой-то оторвавшийся взвод, попадает под огонь пулеметов и мчится, теряя всадников, назад.

Бой близится к концу.

Пулеметчик с разбитой ногой уже остался один и, выпустив последнюю ленту, поднимает валяющийся карабин и стреляет в упор, разбивая короб «максима», с криком:

— Давитесь теперь, сволочи!

На фланге бронепоезд, отбиваясь, ревет и мечется. Его песня спета — полотно сзади разбито.

— Горинов, отходим! — кричит Сергею под самое ухо Ботт.— Бесполезно...

Справа петлюровцы забирали все глубже, глубже и густыми массами кидались на тоненькую цепь. Пластуны не выдержали и отступили.

— Кончено?

— Кончено, брат!

С хрипом пролетел и бухнулся почти рядом, вздымая клубы черной пыли и дыма, снаряд. Отброшенный, как пылинка, упал, но тотчас же вскочил невредимым Владимир. С разорванной на груди рубахой, шатаясь, поднялся Сержук. Шагнул к товарищам, упал с хлынувшей из горла кровью.

Влево на фланге что-то гулко ахнуло, заглушая трескотню ружейных выстрелов. Белое облако пара взвилось над взорванным броневиком.

Красные части отступали.

Вот беленькие домики окраин Киева. Здесь Петлюра и Деникин не нужны. В страхе перед надвигающейся напастью их обитатели попрятались по погребам и подвалам.

Беспорядочно и торопливо вливались остатки красных частей в город. Чем ближе они подвигались к центру, тем больше попадался на глаза торопящийся, снующий народ. Носились мотоциклеты, гудели автомобили, тянулись бесконечные обозы. Кучками, с узлами на плечах уходили какие-то люди.

— Это беженцы, рабочие! — пояснил кто-то.— Кто от деникинцев, кто от петлюровцев. Черт их знает, который захватит раньше город.

Шли не останавливаясь. Вот и бывшая обитель курсов. Молчал черными пятнами распахнутых окон покинутый корпус. Стройно, точно бессменные часовые, застыли рядами тополя вокруг безлюдного плаца. Скорей мимо и мимо,— некогда...

Через окна и балконы высовывались лица буржуев, открыто выражавших свое удовольствие.

— Возрадовались! — доносилось по их адресу со стороны уходящих рабочих.

— Ну, погодите до следующего раза! Разочтемся!

С чердаков раздавались выстрелы по отступающим.

Бухали колокола — где набатом, где пасхальным перезвоном.

Вот цепной мост. Не без труда трое друзей протиснулись к нему и, подхваченные людскою массою, стали продвигаться вперед.

Где-то на окраинах послышалась трескотня. По мосту тысячи человек текли сплошной рекой, плотно прижавшись друг к другу.

Возле Сергея автомобиль с попортившимся мотором, захваченный общим течением, продолжал безостановочно продвигаться. Огромный мост скрипел, дрожал, и казалось,— вот-вот он рухнет в волны Днепра.

Наконец-то на другом берегу! Двинулись без передышки дальше — надо было торопиться. Миновали слободку и с шоссе свернули в Броварский лес. Было уже совсем темно. Сотни груженых подвод тащились по ночной корявой и загроможденной дороге.

Из города, раскатываясь гулким эхом, ахнул снаряд, потом другой, третий. Испуганные лошади шарахались в сторону, выламывая оглобли и выворачивая возы. В темноте то и дело попадались корзинки, тюки, ящики.

Повсюду, спотыкаясь, брели беженцы, курсанты, отбившиеся от частей красноармейцы. Головы сверлила мысль: «Потом!.. Все потом!.. А сейчас отдохнуть... спать!» Многие дремали на ходу, придерживаясь за оглоблю или перекладину телеги, и еле переставляли ноги. Некоторые присаживались у края дороги перевести дух и мгновенно засыпали. Через них шагали, об них спотыкались, но они ничего не чувствовали.

Это была реакция на бессонные ночи и огромное нервное напряжение последних дней.

Сергей с товарищами возле отдыхающих остатков своей роты стоял на высоком лесистом бугре, всматриваясь в сторону Киева.

— Ну! Прощай, Украина! — сказал один.

— Прощай! — эхом повторили товарищи.

— Мы опять здесь будем!

— Будем!..

Далеко внизу черным блеском отсвечивал изгибающийся Днепр. По темному небу бродил бесшумно прожектор. Где-то на окраинах занималось зарево.

Точно последний, прощальный салют уходящим — ослепительно ярким блеском вдруг вспыхнуло небо. По-

том могучий гул, точно залп сотен орудий, прокатился далеко по окрестностям. Еще и еще. Заметалась испуганная темная ночь. Судорожно вздрагивала земля.

Это рвались пороховые погреба оставленного города.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

РЕВОЛЮЦИЯ В ОПАСНОСТИ.

Красными молниями бил радиотелеграф:

РЕВОЛЮЦИЯ В ОПАСНОСТИ.

Огненными буквами кричали плакаты:

— Не сдадимся... Выдержим... Победим...

Московский пролетариат хоронил погибших товарищей, вырванных взрывом белогвардейской бомбы.

Многим думалось, что Советская Россия доживает последние дни.

Рабочий сказал, надевая патронташ:

— Нашу Москву... Наш Петроград... Нашу Революцию...

— Подождешь!

Загудели срывающиеся с вокзалов и уносящиеся на фронт новые и новые эшелоны.

В Туле раздавались винтовки прямо из заводов.

Улицы Петрограда опутывались колючей проволокой.

Под Воронежем садился на крестьянскую сивку буденновец.

Останавливались отходившие части Красной Армии.

Возле больших карт агитпунктов и Росты стояли часами на осеннем холоду, с тревогой наблюдая за извивающимся черным шнурком. Замерла на картах неподвижно, зацепившись от Орла к Воронежу, тесемка. Умолкла антенна...

Потом разорвали залпы минутную тишину тысячеверстного фронта. И радостно бил радиотелеграф:

ВСЕМ... ВСЕМ... ВСЕМ... МЫ НАСТУПАЕМ.

...А черный шнурок на витринах Росты упал вниз, к югу.

Шлепнулась о колеса одинокой платформы первая пуля и с визгом умчалась в сторону.

По морозному свежему воздуху резанул пулемет. Испуганно шарахнулась привязанная к желтой ограде лошадь. Из-за угла, низко пригнувшись к луке, вылетел казак-кубанец, за ним еще, еще.

Красные наступали.

Из-за маленького пустынного разъезда, из окружающих домиков бегом неслись в цепь пехотинцы. Ударил зачем-то набат, но тотчас же смолк небольшой станционный колокол. Снова резанул пулемет. Темными точками поднимались и падали под прицелом две перебегающие цепи. Нестройно звенел пулями воздух. Играя лучами отточенных шашек, упругим ядром рванулись с фланга кубанцы, но, запутавшись на полпути в жгучих нитях колючки, забрякались смаху через головы кони и всадники. Через минуту еще стремительней кубанцы летели назад, исчезая за холмами увядших полей.

У железнодорожного телефона офицер старался перекричать шум приближающейся перестрелки.

— Да. Слышу. Ну? Нет, нет. Куда там к черту удержимся... Отходим.

Задребезжало разбитое стекло. Белою пылью отскочила от стены штукатурка.

Бомбой влетел другой.

— Скорей! Скорей!.. Охватывают.

Снова звякнуло окошко. Бешено заметалась рикошетом пойманная пуля.

На ходу обернувшись, бахнул один из нагана по аппарату. Сразу оборвался дробный звонок.

Вырвали поводья из рук вестового казака. Вскочили на коней, ударили шпорами.

Но уже зарвался чуть ли не с тылу десяток красноармейцев. Заметили.

— Ого-го-го... Крой, братва!

Один сверкнул золочеными погонами и грохнулся с разбитым черепом возле покосившегося крылечка.

— Сковырнулся... Сволочь.

Утихала стрельба. Перекатывались эхом приближающиеся крики. Белые отступали. Громыхая, промчались на окраины двуколки с пулеметами. Смыкались и подходили разбросанные далеко в стороны, запыхавшиеся от бы-

строго бега цепи. Наткнувшись на убитого офицера, остановились двое.

— Глянь-ка! Прапорщика убили,— захлебываясь от удовольствия, проговорил тот, что был помоложе.— Ловко это его!

— Пра-апорщика! Эх ты, Рязань косопузая, али по погону не видишь, что подпоручика.

— Ну, пущай подпоручика,— ответил несколько смущенно тот.— Я при погонах-то не служивал.

— Сапоги хорошие.

— Не сымай, спросить надо.

— Ишь ловкий, пока я спрашиваться побегу, ты сам снимешь.

Вечерело. Умолкли и последние одинокие выстрелы.

К поповскому дому, в котором расположился штаб, разматывали провод полевого телефона.

Прискакал конный ординарец и передал приказание— на разъезде закрепиться и вести разведку.

Разъезд был маленький, домиков стояло совсем немного. Далеко не всем пришлось разместиться под крышами. На сыроватых лужайках загорелись костры, и насели, как грибы, котелки с кипятком.

Шинелишки в тот год были худые, ботинки рваные, а осень холодная. Зато кипяток горячий и живительный.

Вылез из красноармейского мешка оставленный к вечеру кусок черного хлеба. У некоторых экономных счастливцев даже тщательно завернутый в тряпочку огрызок сахара. «Чай», подернутый оставшимся на стенках котелка от обеда салом и заваренный пережженной коркой, сильно пахнул дымом. Его пили с наслаждением, причмокивая и больно обжигая губы об алюминиевые и жестяные кружки.

Разговаривали кучками.

— Оставьте полчашечки,— подошел к одной группе красноармеец.

— Полчашечки,— протянул насмешливо другой.— Чего сам не скипятишь.

— Поставить некуда.

— Нету, брат, нас и так четверо... Катись колбасой.

И он продолжал прерванный рассказ.

— Да. И такое у него вышло дело, полушубок на нем был теплый, дубленый, валенки хорошие, подшитые.

А как попался, совсем невзначай. Случай такой вышел: казаки разговаривают промеж собой, один спрашивает: «Зачем его в штаб вести, одежа хорошая, давай здесь утопим». Другой соглашается: «Давай, мол». А лед в те поры толстый был. Подвели это его к проруби и говорят... Эй, эй, ты чего из-под моего котелка огонь удвигаешь! — рассерженно закричал рассказчик, заметив, что кто-то втихомолку орудует у костра.— Смотри-ка, все уголья повыгреб. Ишь лень самому нащепать, черту. Да. Подвели это они его к проруби и велят: «Раздевайся, скидавай полушубок». А он спрашивает: «Сволочь вы белая, а хрена с маслом не хотите». И прыгнул сам в прорубь, только его и видели.

— С валенками?

— Со всем, как есть.

Помолчали с минутку красноармейцы...

Задумались.

— Да ведь ему все равно — и так и так конец был бы.

— Нет, уж это ты оставь.

— Тоже конец концу рознь бывает... Да...

Холодный ветер играл углями потухающих костров. Мерно хрустели овсом лошади. Усталость брала свое. Засыпали, тесно сбившись, для тепла, кучками, винтовку приладив сбоку под живот.

У поповского дома ламповым светом желтели окошки. Там работали. То и дело пел монотонно аппарат. Борющийся со сном телефонист вскакивал, передавая трубку.

— Товарищ командир! Из штаба бригады.

Только что сообщили, что слева у дивизии белые снова перешли в наступление.

В стеклянном шкафу, от тяжелых шагов по заплеванному полу, чуть дребезжала посуда. Колыхались подвешенные на тесемочках херувимчики с белоснежными крыльями и сусальным золотом раскрашенные писанки. Мерно — точно маятники.

Коротко, твердо командир приказал:

— Дежурный! Сторожевым заставам и полевым караулам не спать, сам проверять буду.

— Не спят, товарищ командир.

— А сейчас пришлите ко мне начальника пешей разведки Горинова.

Опять втроем и вместе.

Шесть дней отступали тогда остатки разбитой бригады с Украины проселочными, лесными, болотными дорогами к Гомелю.

Жгло напоследок сентябрьское солнце. Чуть-чуть шумели желтеющие леса. Неторопливо колыхались упругими стеклянно-зеленоватыми волнами Днепр и Десна. Переходы курсанты делали большие, верст по сорок — пятьдесят. Выступали, едва брезжил рассвет, и шли до ночи. От земли пахло сеном, яблоками, спелыми дынями и осенью. Неподвижно висели в ослепительной глубине коршуны. И каркали сверху — точно нехотя — редко и глухо.

Кругом бродили мелкие шайки, охотились за отстающими, но на целые партии нападать не решались. Проходя через одну из деревушек, узнали случайно, что кулаки отправили депутацию к Петлюре.

На четвертый день, утомленные, остановились передохнуть на день. С рассветом тронулись дальше.

Остаток пути в семьдесят верст прошли бодрее, иногда даже в ногу и с песнями. Песни были громкие, веселые и, перекатываясь, будили улицы вымерших деревень. Мужики качали с удивлением головами.

— Ишь ты! Язви их — распевают.

Вечерело, когда измученные остатки бригады курсантов подходили к городу.

Белым серебром отсвечивали утонувшие в темной зелени купола церквей и стены чистеньких домиков Гомеля.

У Сергея сочились капли крови из растертых ног. Еле ступал Николай.

В эту ночь курсанты спокойно спали по казармам и по квартирам.

На другой день Николай узнал, что баржа с семьями комсостава, на которой была Эмма, прибыла сюда еще две недели назад, вся продырявленная пулями белобандитов, но без потерь.

Сразу вздохнулось легче.

Недолго простояла бригада. Через два или три дня ее отправили для расформирования в маленькое местечко Черниговской губернии — Городню... Здесь друзья

ничего не делали. Отдыхали среди увядающей природы. Крепко спали свежими осенними ночами, зарывшись в мягкое сено, под темным, мерцающим звездами небом. Старались ни о чем не думать и не вспоминать, набирая сил. Через две недели разъезжались в разные стороны остатки славной бригады. Уезжали партии под осажденный Петроград, на Польский и Деникинский фронты. Прощался с друзьями Ботт. Он уезжал в одну, они трое — в другую сторону. Крепко сжимались их руки напоследок.

Задымились уносящиеся паровозы. Открылись семафоры к югу, к западу и к северу.

От командира полка Сергей вернулся озабоченный. Вошел в избу, переполненную спящими вповалку красноармейцами, и дернул Николая за рукав.

— Вставай, Колька!

— Чего там?

— Вставай, дело есть.

— Встаю... Эх, Сережка! Сон я какой видел, а ты перебил.

— В другой раз досмотришь.

На крыльце им повстречался Владимир, за которым уже посылали.

— Вот что, ребята. В разведку! Одну в Волчанку, другую в Овражки. Слева белые, а у нас что-то больно тихо.

— В Волчанку? — переспросил Владимир.— Ведь это верст пять будет.

— Ничего не поделаешь, тут уже с уставом считаться не приходится. Сам знаешь, при полку кавалерии двадцать человек.

— А Овражки где?

— Там же, только правее немного. Маленькая деревушка возле леса.

— Экая темнота,— ворчал Николай, отходя с отрядом.

— Темнота, брат, для разведчика первое дело.

— Первое-то оно первое, да только глаза-то у кошки занимать придется.

— Кто идет?— негромко ответили из-за кустов.

— Свои.

— Пропуск.

— Броневик.
— А рота какая?
— Разведка.
— Проходи.
За линией сторожевого охранения отряд разделился.
— Ну, Николай, смотри. В случае чего держи к нам.
— Ладно. Прощайте.
— Прощай.

Глава третья

Сквозь голубые окна в облачном небе бросало солнце серебристые пятна на голые поля увядшей земли. Бледно-зеленым холодным светом играли прозрачные дали. К безлюдной деревушке осторожно подходила небольшая разведка.

На единственной улице ничего подозрительного дозорные не заметили. У колодца баба ведрами черпала воду. Бегал с хворостиной, загоняя жеребенка, мальчишка. Старик засыпал лопатой завалинку возле покосившейся избушки.

— Эй! — крикнул, показываясь из-за овинов, дозорный.— Эй, тетка, были здесь?..

Но баба, не дослушав вопроса, бросив ведра, шарахнулась в сторону, как полоумная. Испуганно попятился задом старый дед. Распахнулось на мгновение маленькое окошко.

— Ва-аська... Ва-аська... Би-гии!..

Васька скрылся уже где-то под воротами. Исчез старик. Улица вымерла. И только стоял, удивленно подняв голову, жеребенок.

— Боятся.
— Думают — белые.
— Спросить, однако ж, нужно.
— Зайдем в хату.
— Хозяин... хозяин! Выдь на минутку.
Молчание.
— Выдь на минутку. Не бойся, мы красные.
Молчание.
— Не верят.
— А ты постучи в другую избу. Может, тут и всамделе нет никого.

У другой избы то же самое.

— Эх, до чего народ довели. Не иначе, через забор лезть придется.

— Ну, лезь. Гоп!

Отперли калитку, вошли в сени, распахнули дверь в хату.

— Здорово, хозяева. Чего боитесь?

Лежала на широкой кровати баба, дергалась всем гелом, уткнувшись головой в полушубок. Плакала.

Маленькие, полуголые ребятишки крикнули, испуганно и жалобно заскулили из груды тряпья.

— Чего плачете... Испугались? Не тронем. Мы красные.

Приподняла чуть-чуть голову, окинула недоверчивым взглядом пришельцев, хотела что-то сказать и молча задергалась снова.

— Чего-то она надрывается?

— ...Мужика у ей севодни убили... Белые...— Послышался старческий, шамкающий голос. Дозорные разглядели в полутемном углу, на широкой лавке дряхлую, сгорбленную старуху.

—...Сына моего, значит... Утром... Белые...

Тихо забормотала что-то непонятное себе под нос.

Тикал за печкой сверчок: тик-так... тик-так. Плакал бесслезно, врываясь в щелястые окна, осенний ветер.

Вышли на улицу. Ядро разведки уже вливалось в деревеньку. По-видимому, крестьяне убедились, что пришли красные, потому что мужики бегали из избы к избе. Раскрывались окна.

Стрелой вылетел прежний мальчишка и стучал хворостиной в окошко.

— Мамка! Мамка! Отворяй! Товарищи пришли.

Мужики окружили подошедшего Николая и торопливо предупреждали:

— Белые были. Казаки.

— Недавно на Артемкино ускакали.

— Сорок человек.

Вьюном вертелся под ногами Васька.

— Пулемет тоже был. За спиной возють, у нас останавливался.

Появились бабы, повыскакивали ребятишки. Кучка вокруг красноармейцев росла.

— Ну, а поблизости не слыхать где?— спросил Николай.

— Какое там не слыхать!

— Как собак, полно.

— Вчерашний день ваши на Алешкином разъезде с ними схватились.

— Федор вчера из Артемкина пробрался, говорит — человек тридцать ихних товарищи побили.

— А где он? Давайте-ка его сюда.— Николай обрадовался возможности получить верные сведения.

— Его тут нету. У его возле леску хатенка стоит. Кардонный он.

— Далеко?

— С версту. Послать можно, когда надо.

— Пошлите, да поживей.

— Пущай начальник-ат солдат-то по домам,— говорил Николаю старик. — Пущай покушают.

Тянул к себе за рукав двух красноармейцев.

— Пойдем-ка... Ах ты, господи боже ты мой, какое дело... сколько дожидались-то.

Кто-то командовал, распоряжаясь добровольной охраной.

— Петро! Ты беги к поскотине, на бугре станешь. А ты, Лешка, лезай на Егорову избу, мотри на Наземову дорогу. Да не зевайте!

— Усмотрим.

Довольные важностью возложенного на них поручения, пулей понеслись на свои места.

Николай пошел в хату. Там уже суетились, накрывая на стол, хозяева.

— Пожалуйста, пожалуйста, командир. Закусывай уж чего есть.

Придвигали сковороду с горячей, вкусно пахнущей яичницей.

— Угостили бы чем получше, да все пообожрали проклятущие, не то чтобы там петуха или курицу — цыпленка на дворе ни одного не оставили.

Набилась полная изба народа. Говорили почти все разом.

— Никакого житья нету.

— Порют казаки нагайками.

— Солдаты шомполами.

— Мало што еще порют. Убили еще мужика у Агафьи.

— Застрелил офицер из иагану.
— За что?
— Ребятишки у ее. Схоронили кринку с молоком, а казак нашел. Мужик вступился. Не с голоду же, говорит, из-за вас ребятишкам подыхать. Тот его винтовкой хотел вдарить.
— Не хотел, — вдарил, в другой иамахнулся.
— Ну, в другой иамахиулся, он и схватился за приклад-то.
— Отвел рукой от удара.
— Избил казак и к офицеру приволок. Хотел, говорит, винтовку мою отнять.
— И мужик смириый был. На што она ему?
— Ну, а офицер — известное дело! Выиул иагаи, да и бахнул.
— Ребятишек трое осталось.
Не было ии одиого, кого бы ие задели белые. Того иачисто ограбили, другого вспороли, у третьего хлебом лошадей кормили, у четвертого с бабой охально обошлись — и так без конца.
Старик тревожио спросил вдруг Николая:
— А вы что же, товарищи, других дожидать будете али в разведку?
— В разведку.
Сразу оживлеииые голоса умолкли. Тяжело вздохиула изба.
— Так, может, не скоро ваши будут?
— Как не скоро. Наши скоро в Курске будут, а не только у вас.
— Измучились. Деревеиька маленькая, кругом овраги. Напускаются на нас чуть што: «Ах, такие-сякие. Красных ждете, пролетария голодраная». А мы, конешио, ждем... Раньше когда — не ждали, а теперь во как ждем...
— Раиьше ие ждали, — поиуро опустив голову, как эхо, повторил опирающийся на палку старик. — А теперь конешио.
В дверях послышался шум. Вошел иовый человек.
— Вот и Федор.
— Этот самый?
Подошел к Николаю крепкий, иестарый крестьяиии и поздоровался левой рукой.
— Здравствуйте. Пришли-таки?
— Пришли, — ответил Николай.

— Я говорил, что все равно придут,— мотнул головой на окружающих.— Моя правда вышла.

— Ну рассказывай, что в Артемкине... Как они тебя оттуда выпустили?

— А так! Инвалид я, одну руку в германскую еще отхватило. Ну и пропустили, особливо когда увидали в документе, что два креста за царскую войну имею.

— Много их там?

— Да полка два было.

— А сейчас?

— Сейчас нету. Ушли все по Сосновской дороге. А куда свернут — не знаю: может, на Сосновку, может на разъезд.

Николай встал и пошел к выходу. Высыпали мужики.

— Уходят товарищи...

— Ничего, теперь скоро придем. Заживете спокойно.

— Не верится ажно.

Приложил свисток к губам и острой струей пронизал воздух. Сбегались красноармейцы.

— Эй, там, быстро! — кричал отдельным запоздавшим кучкам.

— Набили брюхо молоком-то, черти!

— Все, что ли? Становись! Смирно!

Стихло все. Умолкла толпа, точно команда относилась и к ней. Притихли любопытные ребятишки. Тревожно рванул поверху ветер. Вздрогнула, насторожившись, деревня.

— Товарищи!.. Орудия...

— Ваши дерутся!

— Да. Это возле разъезда бой. Ого, как грохочут трехдюймовки!

— Шагом марш!

Мужики кланялись, снимали шапки. Стояли плотной, неподвижной кучей.

— Счастлива-ва! Приходите, товарищи!

Сумрак падал на землю. Хмурилось. Снова стояла одинокая, покинутая деревушка.

Глава четвертая

В полуверсте от Волчанки глубокий, заросший кустами овраг прорезал зеленеющие озимями поля. Дальше расстилалось гладкое, совершенно непригодное для про-

движения разведки поле. Первый разведчик, взобравшийся на край оврага, едва-едва успел оглянуться, как упал точно подкошенный, распластавшись на мягкой, разрыхленной земле. Пятясь задом, отполз немного и скатился кубарем по склону вниз.

— Что там такое?

— Тсс!.. Тише!.. Казаки.

Екнуло сразу сердце.

— По кустам,— приказал Сергей.

— Да смотрите, чтобы, кроме наблюдателей, никто ни гугу.

Пробрался наверх, к тому месту, где густыми клочками колыхалась засохшая полынь, чуть-чуть поднял голову. На краю деревушки, привязанные к плетню, стояли три оседланные лошади. Рядом ходил человек. Казачий пост.

— Чуть не напоролись!

— Узнать надо, много ли их.

— Ладонь, а не поле.

— Смотри-ка — еще!

Откуда-то подошли еще двое; все вскочили в седла и унеслись назад по улице.

«Вот тебе и раз! А кто на посту остался?» — подумал удивленный Сергей.

Легкий свист снизу донесся до его слуха. Позади засохшего куста с коричневыми листьями лежали два наблюдателя, внимательно во что-то всматривались и махали ему рукой.

— Смотри, командир!

Длинной лентой из другого конца деревни тянулись белые батальоны. Легкою рысью вылетели взводы казачьей сотни, направляясь на ту дорогу, по которой пришла разведка.

— Слушай! Да они на разъезд! Нужно скорее влево, обогнать их.

— Смотри, что делают!

Вышедший на ровную дорогу первый батальон распался на три части, и в то время, когда одна пошла прямо, две другие полуоборотом забирали в стороны, а казачьи разъезды замелькали уже впереди линии.

— Ничего! Бегом понизу заберем левее. Обгоним!

Через минуту все тридцать человек неслись по неровному кочковатому оврагу, спотыкались, падали и жарили опять.

Быстрый бег разогнал тревожное настроение.

— Эй, взводный, мы при полку заместо кавалерии, что ли?

— Смотри-ка, у Гаврилова подкова отлетела,— другой показывал на красноармейца, державшего в руках оторванную подметку.

— Тут и у всех поотлетят, когда на веревках подвязаны.

Клокотали паровозами легкие. Слипались пересохшие рты.

— Командир... Отдохнуть!

— Ладно! Дома отдохнешь... Крой дальше, ребята!

Осталась влево, но еще далеко впереди крайняя рота. Кончался овраг, и, прикрываемые холмистой местностью, разведчики неслись наперерез.

— Крой!..

Но, споткнувшись, отряд остановился разом. Бахнул впереди орудийный залп. Еще и еще. Глухо раскатываясь, поползли по сумрачно серым полям отзвуки сильного боя.

— Не успели.

Сергей покачал головой.

— Нет, ребята! Это не то. Это наступают на разъезд с востока.

...Дальше через рощу. Шуршали под ногами листья, трещали сучья, больно хлестали по лицу ветки. Теперь уже можно было слышать, как к орудийным взрывам присоединился нестройный, но беспрерывный треск ружейных выстрелов.

Еще несколько минут торопливого бега. Умолкли батареи разом. Заглушая трескотню еще далеких выстрелов, мелкой дробью застрекотали пулеметы.

Но смолкли скоро и они. Стало тихо.

— Сергей!

— Что?

— Стой!

— Ну?

— Куда мы?

— На разъезд. К нашим.

— Слышишь, как тихо?

— Бой кончился, вот и тихо.

— Кончился, да в чью сторону? Может быть, наших-то там нет. Сами белым в руки влопаемся.

— Стой!

Остановились на небольшой полянке, облитые потом.

— Что делать?

— Узнать надо, кто там.

Положение было не из важных. Вернее всего, что заняли Алешкино белые. И Сергей сказал, подумав:

— Вот что, ребята. Ждать до темноты недолго. К ночи сделаем разведку, а пока раскладывайся здесь.

Красноармейцы расположились на мягко опавших листьях. По верхушкам обнаженных деревьев гулял холодный ветер и шумел ветвями. Старая береза скрипела тягуче, и сквозь ажур ее тонких веток виднелось сумрачное небо.

С целью выяснить положение отряда относительно разъезда, Сергей выслал несколько человек с тем, чтобы те осмотрели прилегающую местность. Минут через двадцать посланные вернулись и доложили, что они наткнулись на отряд Николая и он сейчас подходит сюда. И в самом деле, уже услыхали шум на дозорном посту.

— Встревожили вы нас здорово,— говорил Николай смеясь. — Мы думали, не белые ли топают. Я уж несколько дозоров в стороны послал.

Теперь разведчики почувствовали себя намного лучше. Они были снова все вместе. Донимал только голод.

— Я знаю, что сделать,— сказал Николай.— Я пошлю несколько человек в Овражки. Если там нет белых, то они соберут чего-нибудь.

Послали. До света надо было управиться.

— Пробираться к своим надо.

— Где их найдешь?

— Найдем где-нибудь.

Глава пятая

«Я получила твое второе письмо,— писала Эмма.— Первое было послано из Гомеля, второе из Севска, но ответить могу только теперь, когда узнала твой полковой адрес. С чего начать— не знаю. Слишком много накопилось всего. Ну, ладно, начну с самого начала. Тогда, через день после того как вы ушли, к вечеру мы отправились на бар-

же из Киева. Еще днем нам привезли первых раненых из вашей бригады. Среди них я встретила Кудряшова. Ему осколком разбило правое плечо. Он был в сознании и рассказал мне, что видел тебя в последний раз перед началом боя под Бояркой.

Тяжело было уезжать, Коля. Тяжело и больно. С борта баржи нам был слышен беспрерывный гул уже подошедшего близко к городу фронта. Мать одного из курсантов (Лебедева, он был у вас во второй роте) еще на берегу, как раз перед самым отправлением узнала от кого-то о его смерти. Остальные не знали ничего.

Я долго крепилась, но когда загудел наш пароход и мы тихо отчалили, я не выдержала и горько, как маленькая, расплакалась. Да и не я одна, а многие — кто открыто, кто про себя. Ведь почти у каждого там остался кто-нибудь. Потом скрылись белые домики города и умолкли отзвуки выстрелов. Ночью в стороне бродил прожектор. Чей — не знаю. Но видно было, как разрезал его яркий свет на части темное небо. Настроение у всех было тревожное. Мимо нас, играя огнями, промчался какой-то вооруженный пароход. Промчался, не останавливаясь, но его матросы кричали нам на ходу что-то. Что именно — никто как следует не разобрал,— вернее, понял каждый по-своему. Одни решили, что впереди зеленые; другие говорили, что надо потушить огни. И откуда-то поползли вдруг тревожные слухи, что ехать, собственно, некуда, потому что Гомель занят белыми. Однако мы подвигались потихоньку вперед. Я плохо спала эту ночь. Утром, когда только что еще рассвело, я уже сидела наверху.

Я долго думала, вспоминая все, что так странно и так быстро промелькнуло за последнее время в Киеве. Никогда я не забуду, должно быть, его. Я только хотела приподняться, как вдруг с берега хлопнул выстрел. Я отскочила в сторону. Видно было, как какой-то всадник, приставив руки к губам, кричал что-то — по-видимому, приказывал остановиться. Пароход с баржей, конечно, на другую сторону. Прибавили ходу. Тут начался настоящий хаос. С берега стреляли, пули дырявили стенки.

Ты знаешь, у нас было много женщин; перепугались все страшно, некоторые едва не повыбрасывались в воду. Но, к счастью, все остались целы. Больше на нас так не обрушивались, но одиночные выстрелы провожали нас

чуть ли не всю дорогу, так что у меня создалось впечатление, что все берега Днепра кишат бандитами. Должно быть, это и было так.

Один раз мы остановились возле какой-то маленькой пристани. Там нам сказали, что сообщения с городом нет уже третий день из-за того, что перерезаны провода, а также, что вчера высланный из Гомеля пароходик высадил верстах в пяти нечто вроде десанта, человек около ста, а те схватились сегодня с шайкой какого-то Чибиряка.

По дороге Кудряшов умер. От загрязненной землей раны открылся столбняк. Мучился страшно. Но до самой смерти был в полном сознании. Еще только за несколько часов до конца, в минуту временного облегчения, он говорил мне: «Петлюра может радоваться,— я последний». Я не совсем поняла его, но мне пояснили. Брат его был повешен гайдамаками; отец и мать убиты при налете на их хутор банды — за то, что он был курсантом. А теперь умер и он сам. Я в первый раз видела, Коля, как умирает человек.

К городу мы подплывали на рассвете, измученные нравственно и издерганные. Твои родители встретили меня очень хорошо, в особенности тетя. Всегда много разговоров и расспросов о тебе. Ругают за то, что мало пишешь.

Теперь я здесь, а ты далеко на фронте. Ясно решить, что я буду делать, еще не могу. Однако чувствую, что должна что-то делать. Мне хочется работать, мне хотелось бы, чтобы моя работа была горячая и увлекающая и хоть сколько-нибудь похожа на нашу киевскую. Но в здешней обстановке придется, конечно, довольствоваться той, какая есть...»

Здесь в письме следовал перерыв, и начато оно было двумя днями позже.

«Коля! — писала Эмма.— Коля, неужели правда — все кончено, неужели наше проиграно? Я говорю н а ш е, и хотя еще для него ничего не сделала, но верю, что сделаю еще. Неужели они победят? Недавно только сдали наши Воронеж, а сегодня заняли белые Орел. Так близко от Москвы. Мне все-таки не верится, хотя кругом много шепчут. Мне кажется, что Армия сдержит удар, как бы тяжел он ни был.

Я пишу тебе... А может быть, тебя уже и нет? Я знаю,

что ты на это скажешь. То же самое, что на окошке перед отъездом. За это я тебя еще больше ценю. А все-таки тяжело. Может быть, в этом и нет логики.

Прощай! Пиши, когда будет время. Сереже и Владимиру мой теплый привет.

Эмма.

Глава шестая

Ночью за краем деревушки, под черным голым кустом и призрачной березкой,— две тени — часовой и подчасок.

Ходит часовой Стась, прячет шею в поднятый воротник. Ходит по натоптанной тропке и ругается.

— Пес бы побрал командиров наших. Виданы ли дела, чуть што — разведчиков на посты посылать, точно и без того работы мало.

Прислонившись к стволу березы, подчасок неторопливо отвечал:

— Правда, брат. Холера их возьми! Конешно, правда. А только ведь людей в полку не хватает...

— Не хватает! Тебе, чертова кукла, хорошо разговаривать.— Он с завистью посмотрел на овчинный тулуп и теплые валенки, которыми снабдил того хозяин.— Тебе хорошо!.. А меня цыганский пот прошибает.

Шинелишка на нем в самом деле была плохонькая, короткая; ботинки одеревенели, обледеневшие подошвы не гнулись.

— Ну, скажи, пожалуйста! Кака к хренам война! Германскую с самого начала до конца отбубнил, а такого никогда не видал. Ни тебе обмундировки, ни жратья... Кака, к черту, война?

— Самая, брат, настоящая! Ты, возьми, к примеру, пленного раньше поймали. Что тебе? Ни холодно, ни горячо. Посмотришь для интересу — человек как человек. А ну-ка, теперь захвати казака или офицера. Так бы ему глотку перервал. А уж сам попадешься — держись только, с живого шкуру спустят.

Помолчали немного.

— Давай закурим, что ли?

— Давай!

Окоченевшие руки слушались совсем плохо, и бумага с табаком не свертывалась. Когда свернули, присели на

корточки, зажгли под полой шинели спичку и, спрятавши цигарки в рукава, курили долго, с наслаждением.

— Крепок у тебя табак-то, слезу прошибает.

— Крепок. Хозяин горсти две в кисет насыпал. Добрый мужик!

— Все они теперь добрые. Их нынче...

— Смотри! Белые!

Далеко впереди, на фоне чистого голубоватого снега показались приближающиеся точки — человек пятнадцать — двадцать.

— Беги в команду... Пулемет пускай тащут... Скорее только!

Сбросив шубу, что было духу пустился подчасок к одной из крайних хат.

Сергей только собирался растянуться, отдохнуть на соломе, как влетел подчасок с криком:

— Скорей! Белые!

— Встать живо!

Разом опустела изба, и через пять минут взвод разведки был рассыпан по окраине, а пулемет притаился на снегу.

— Сергей! — спросил, подбегая, Владимир.— А мне своих людей не выводить?

— Не надо!.. «Дураки,— подумал он, вглядываясь перед собой.— Прут кучей. Все под пулеметом будут».

— Погляди-ка! Ровно что-то тащут,— заметил кто-то.— Вон в середке.

— Должно, кольта.

— На што разведке кольт?

Видно было, как все остановились, только два, отделившись, пошли вперед по дороге.

— Дозор, должно быть.

Но, по-видимому, это не были дозорные. Шли они торопливо, ни во что не всматриваясь. Затем с полдороги один снял шапку и, надев ее на винтовку, пошел, размахивая ею на ходу.

— Уж не наши ли?

Сергей приказал никому не стрелять, на всякий случай.

А те все ближе.

— Стой! — окрикнули их из цепи.— Стой! Кто такие?..

— Товарищи! — раздался радостный и неуверенный крик. И оба, бросив винтовки, побежали вперед.— Товарищи, не стреляйте! Мы перебежчики.

Через минуту Сергей расспрашивал их:

— Откуда? Сколько вас?

— Шестнадцать нас!

— Один раненый.

— Зовите остальных. На полдороге отсюда, вон у той березы, винтовки всем побросать. Кройте!

Оба парламентера бегом бросились назад.

— Не подвели бы! — усомнился кто-то.— Может, у них заместо раненого «максимка». Как полыхнут!

— Не подведут! Слыхал, винтовки бросать будут.

С любопытством смотрели красноармейцы. Совсем уже близко, возле невысокого дерева у дороги, все остановились и побросали винтовки далеко в стороны.

— Вот дурачье-то! Хоть бы в кучу сложили. Кто за ними подбирать будет?

— Подберут.

Четверо тащили раненого на руках. Он тихо стонал, и рука его, опущенная вниз, болталась, точно плеть.

— Отделенный наш.

— Через него и побегли. Ему же и первая пуля попала.

— Скорей в тепло тащить надо.

— Фельдшера позвать.

Кучею входят в деревню.

— Заходи сюда! — крикнул Сергей.—Здесь изба просторная.

— Легче! Эй, там... Не с бревном, чай!

— Клади под голову.

— Шинельку.

— Полушубок давай.

Вскоре пришел фельдшер и окрикнул сердито:

— А ну, выметайся из избы, нечего смотреть!

Через полчаса раненый пришел в себя. Он тусклыми глазами посмотрел вокруг и спросил негромко:

— Пришли все?

— Все! Все! — ответил ему комиссар полка, стоявший рядом.— Не беспокойся.

— Хорошо...— ответил раненый совсем тихо. И, закрыв глаза, лежал долго-долго.

— Не надо беспокоить его,— сказал доктор, ощупывая пульс.— Он выживет, но его нельзя беспокоить.

Комиссар, невысокий, худощавый, из питерских литейщиков, вместе с Сергеем и комбатом вышли на двор.

— Как его ранили?

— А я сам толком не знаю. Слышал, что сагитировал их бежать и при побеге был ранен из заставы.

— Пойдемте к ним.

— Опрос сняли?

— Сняли,— ответил, прощаясь, комбат.— Я посылал.

Вошли в избу. При их появлении разговор смолк.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал комиссар просто.— Садитесь, чего вы?

Разговор сначала не клеился. Перебежчики отвечали односложно и не могли попасть в тон незнакомой им среды. Но чем дальше, тем больше оживлялись и начинали говорить непринужденно.

— Как кормили вас? Порции хорошие? — спросил комиссар.— Так и у нас не разъешься.

— Порции... Шомполами по спине! — ответил ему кто-то сзади. И, взглянув, комиссар встретился глазами с хмурыми, умными глазами невысокого солдата.

Желая оттолкнуть обидное подозрение, заговорили разом.

— Им своя дорога, нам своя!

— Мы за товарищей!

— Вы говорите, своя. Идет же за ними наш брат.

— Идет! А как идет? — усмехнувшись, выступил вперед хмурый солдат.— Кто не был, не знает. Казаки идут! Офицеры идут, верно! А крестьян силком посогнали да пулеметами позаперли.

— Страхом держатся!

— Возьмите нас, к примеру. Нам белые хуже черта. А и то сколько отделенный нас сманивал, сколько объяснял — боялись все.

— Верно! Верно! — качали головами остальные.

— Нэ треба нам их, щоб воны сказылися,— прибавил пожилой хохол.— Я ж внучат вже маю, а воны мене по спине плетюгами.

— Отделенный наш казак сам, а вот сбивал. Не любил своих. Давно нас уговаривал, да не решались толком-то все, боязно. Только сегодня с утра сказал напоследок: «Как хотите, не пойдете, я один уйду». Ну, когда такое

дело, собрались, пошли. Проходим заставу, а на беду, ротный едет, посты проверял. Сметил, видно, в чем дело. «Какая-такая разведка, а ну кругом марш!» А он повернулся да как бахнет в ротного, так и ссадил. Ну, мы тогда бежать, конешно.

— Караул стрельбу поднял.

— Мы тоже стреляли, как бегли. Возле бугра отделенный заложил обойму, хотел еще стрелять, упал и говорит: «Не бросайте меня, ребята, плохо мне будет».

— Мы и понесли.

— Крови много вышло.

— Так покуда был в памяти, все до красных просил донести...

Долго еще говорили комиссар и Сергей с перебежчиками. Узнали много интересного.

— Боятся еще казаки теперь Буденного. Говорят, каторжник выпущенный, насажал свою братию на коней и орудует.

— Ээ! — усмехнулся Сергей.— Как же им не стыдно от каторжников бегать.

Перед уходом комиссар сказал, что с завтрашнего дня все прибывшие зачисляются в полк.

— Перекрасили, значит, без краски.

— Ничего! — говорил, уходя, Сергей.— Ничего, товарищи, по белому красным мазать легко, а вот наоборот — уже трудно.

Картошка была такая рассыпчатая, поджаренные шкварки сала так вкусно похрустывали на зубах, что товарищи ели и похваливали. А хозяйка, расчувствовавшись, доставала из печки кринку горячего молока.

— Ты нас, бабка, совсем закормишь — пожалуй, не подымешься.

— Ешьте, ешьте, детки! — говорила та.— Когда есть, то и дать не жалко; а вот когда уж нет, так и нету. Было как-то у меня раз. Отступали ваши от белых. Забежал ко мне в хату солдатик и спрашивает: «Бабушка, нет ли чего поесть?» А у меня ничегошеньки, только перед ним другие пообъели. «Нету, говорю, сынок, ничего».— «И хлеба нету?» — «И хлеба нету».— «Дай, говорит, хоть напиться». Напился и пошел. И только-то он ушел, села на лавку и реву; а чего, дура, реву, сама не знаю.

— Я думаю, так в Совнаркоме не каждый день едят! — проговорил, вставая, Владимир.— Это называется — закусили. С недельку бы тут постоять.

— Завтра выступаем, комиссар говорил. Да и теперь недалеко до Харькова. Верст пятьдесят.

— Там, говорят, ресторанов много, с музыкой, послушаем, значит,— сказал Николай, потягиваясь.

— Своей сколько хочешь! — усмехнулся Владимир.— Завтра опять начнется.

Глава седьмая

Заняли Харьков красные 11 декабря. С трех сторон был обойден город — с юга, с запада и с востока, и только по одной неперехваченной дороге на Изюм и Попасную неслись один за другим эшелоны с отступающими и беженцами.

Бой был уже окончен, и в окраины вливались передовые части красных, продвигаясь глубже и глубже.

На одной из улиц Сергей со своими ребятами встретился с кучкой запоздавших белых. Остановившись, красноармейцы открыли огонь. Улица была прямая, ворота домов крепко заперты, и те бежали как сумасшедшие, пока, растеряв половину убитыми, не завернули за угол.

— Попало стервецам,— говорил Ледашкин, вытряхивая кого-то из шинели.

— Куда сымаешь? — крикнул ему кто-то на бегу.— Она вся в крови.

— А мне все одно. Была бы теплая! — И, накинув шинель на плечи, Ледашкин бросился догонять остальных.

Недалеко за углом Сергей наткнулся на стоящих десять — двенадцать вооруженных рабочих и возле них убитого. Заметив подбегающих, рабочие бросились было к калиткам.

— Куда вы, черти? Свои! — крикнул один.

Рабочие дружно засмеялись.

— Здравствуйте, товарищи!

— Кого это вы угостили? — спросил кто-то, указывая на убитого.

— Офицер, сукин сын.

— Сумка у него с картами.

— Дай сюда,— сказал Сергей.— Пригодится.

Он повесил сумку на пояс.

— Айда дальше! Эй, не расходиться там!

В третий раз Харьков стал красным.

В сумке убитого офицера Сергей нашел хорошие карты и полевую книжку. Когда он передавал ее Владимиру, из нее выпал небольшой голубой конверт. Его подняли, он был распечатан и на нем был адрес: Новороссийск. Серебряковская ул., дом Пшеничникова. Г-же Ольге Павловне Красовской.

— Интересно,— сказал Сергей.— Почитаем.

— Читай вслух.

— Мелко написано, сразу видно, что баба.

Крепкими духами пахнуло от исписанных листочков. Сергей подкрутил лампу и начал читать.

—«...Наконец-то пользуюсь случаем, чтобы послать письмо, которое дойдет уже наверное».

— Как раз угадала.

— Ладно, не перебивай.

— «Я посылала по почте несколько раз, но думаю, что не доходило, потому что ответа нет до сих пор. Совсем недавно, две-три недели назад, я была совершенно уверена в том, что увижу всех вас скоро! Об этом мы условились с Жоржем. И Павел Григорьевич обещал ему один из классных вагонов из их интендантских, предоставленных для каких-то комиссий или ревизий. Оставалось только подождать, когда вагон вернется с его женой из Киева. Но разве можно быть в чем-нибудь уверенным в наше время! И вот обстановка сложилась так, что о поездке и думать не приходится. Опять наши отступают, большевики заняли уже Белгород и надвигаются ближе и ближе. Боже мой, какая мука! Опять приходится волноваться, переживать все ужасы с начала. Счастливцы вы! Вам не приходилось и не приходится испытать ничего подобного...»

— Ну уж это положим,— проговорил, закуривая, Владимир.— Доберемся когда-нибудь и до вас.

— «Ну, об этом пока довольно. Стратег я плохой, а Жорж говорит, что дальше Белгорода их все равно не пустят. Живем мы ничего. Зарабатывает Жорж на службе прилично, кроме того, у него какие-то там дела с поставками. Какие — не знаю. Я не вмешиваюсь.

Вчера видела Лиду. Ты себе представить не можешь, какое у иее горе. Ее мужа убили. Ои ехал из Курска в Харьков, какие-то бандиты остановили поезд, и всех, заиимающих более или меиее видные посты по службе, тут же расстреляли. Оиа убита горем. По этому делу было следствие, посылали отряд иа место. Ои что-то там сжег, но, конечио, легче ей от этого не стало.

У иас часто бывает Виктор. Оии с Жоржем большие друзья. Все такой же веселый, беззаботный, иемиого иаивиый, как и прежде. Ои служит помощником иачальиика конвойиой команды при тюрьме. Ужасиый человек! Неиавидит красиых страшио, и что у иих там творится — одиому богу известио. Я далеко ие всегда могу выслушать его до коица. Да и вообще... Кровь... веревки... допросы... все это как-то ие вяжется с моим представлеиием о ием. Ведь ои в сущности милый, чуткий и застеичивый даже. Помнишь, как ои красиел всегда, когда говорил с тобою. Он до сих пор в душе обожает тебя.

Напишите скорее, как живете вы. На днях приезжал Роммер и говорил, что твой муж получил повышеиие, а Глеб будто бы уехал с карательиым отрядом под Мариуполь. Правда ли это? Письмо это посылаю с иашим хорошим знакомым — поручиком Юрием Борисовичем Волгиным. Он едет в командировку. Я думаю, что ему можно будет у вас на иесколько дней остановиться. С ним же пришли мне ответ».

Сергей прочитал, вложил письмо обратио в коиверт и аккуратио спрятал в сумку.

— Зачем это тебе?

— Пригодится. Когда-ибудь возьмем мы и Новороссийск. Тогда Чеке пригодится.

Сегодия иеспокойиый деиь в полку. Сегодия волнуется комиссар, и больше всего красиоармейцы. Не потому, что иаступают белые или предстоит какая-нибудь тяжелая боевая операция. Нет! Дело много проще по форме, но едва ли не сложиее по существу. Впервые из штаба бригады прислали обувь.

Вериулся из штаба к себе иа квартиру Сергей, с досадою хлопнул дверями и выругался.

— Девяиосто пар ботииок на весь полк, в то время когда восемьдесят процеитов разутых.

— Фюиить! — присвистнул Николай.— Какого же черта? Курам на смех. Сколько на нас-то пришлось?

— Восемь пар. Вот тут и обходись как знаешь. Одному дашь, другой к горлу пристанет. «Почему ему, а не мне». «Я тоже, да у меня тоже...» Не люблю я этих подачек по чайной ложке, только людей растравишь.

Весть о получении обмундирования давно прошла по красноармейцам, но сведения ходили явно преувеличенные. Говорили, что наконец-то обуют весь полк, а если не весь, то во всяком случае больше половины. Ходили около квартиры, нетерпеливо ожидая результатов.

— Сколько?— обступили они вышедшего Николая.

— Английские или русские?

— Восемь пар всего.

— Восемь па-ар?!

— Так это кому же достанется? Почитай никому.

— Ладно. Видно будет. Становитесь в две шеренги. Командир осматривать будет.

— Чего осматривать?— со злобной ноткой заметил кто-то.— Али и так не известно.

Волна глухого раздражения прокатилась по рядам. Недоверчиво и недружелюбно красноармейцы посматривали то на командира, то на каптера, усевшегося с грудкой новеньких желтых ботинок на крыльце, то на свои собственные — заскорузлые, с поднятыми кверху носами, с раззявленными ртами, через которые виднелись мокрые портянки.

— Вот что, товарищи,— сказал Сергей.— Почти всем одинаково нужна обувка, а вы сами видите, сколько ее. А потому я отберу из вас тех, у которых ботинки самые плохие, а они метнут жребий промеж себя.

Все разом заговорили, торопливо предлагая свой способ дележа.

— Зачем отбирать? Пускай все тянут! В одно время получали.

— Валяй, валяй, отбирай! Ишь ты! У кого хотя какие подходящие есть — что ж, ему вторую?

— Для чего по жребию? Ты так давай! Рази не видишь, у меня одного ботинка вовсе нет.

— Заткни глотку, черт! Ты куда его дел? Еще вчера был.

— Вчера был, а сегодня совсем разорвался.

— У всех совсем.

— Давай, чтобы на всех обувка была,— крикнул кто-то из задних рядов.

— Ладно там,— оборвал Сергей.— Как я сказал, так и будет. Выходи вот ты...

Первые пропущенные тотчас же подняли крик и обступили его.

— Меня пошто пропустил?

— Ты вот посмотри, посмотри!

— Ты куда, сволочь, тоже лезешь? Гляди-ка, думаешь, не знаю, что у тебя в сумке сапоги, которые с казака снял!

— Дать ему в рыло раза, сукину сыну.

— Я при Колчаке получал.

— Я свои из дома потрепываю.

— Пропади я пропадом, если я не токмо в наряд, а хоть куда пойду, пока не получу. В Сибири пальцы обморозил, тут всю дорогу, почитай, босой прошел!

— Довольно!

— В штабах все поодетые. По три комплекта имеют.

— Не пойдем без ботинок! На всех пускай присылают!

— Давай комиссара!

Сергей вскочил на ступеньку крыльца и крикнул, перебивая всех:

— Замолчать всем! На места живо! Взводные, привести людей в порядок! Смирно! Слушай, что я скажу.

— В то время, когда повсюду наши части наступают вперед и вперед, вы заявляете, что дальше без новых ботинок не пойдете. Другие полки одеты не лучше, а многие и хуже вас, а идут без разговоров. Если бы все так рассуждали, то давно получали бы вместо ботинок деникинские плети да шомпола по спинам. Но еще не все шкурники в Красной Армии, которые наступают на горло своим командирам, требуя с них того, чего они им не могут дать. Где я вам возьму на всех ботинок? Где их возьмет комиссар или командир, когда их нет? Или грабить мужиков, как грабят белые? Вы кричите, что где-то лежат полные цейхгаузы. Это ложь! Это у белых полные цейхгаузы английского обмундирования. Вот куда надо идти получать его. Но я знаю, что все-таки есть среди моей команды настоящие и сознательные ребята. Мы обойдемся и с ними!

Сергей кончил и отер лоб. Так со своими людьми он говорил в первый раз.

Все молчали.

— Ну, что же?

— Нету тут шкурников, командир. Зря говорите,— хмуро сказал кто-то.

— Посуди сам, легко ли, все ноги поссадили без обувки.

— А пойти-то пойдем. Это так погорлопанили.

— Я так и знал, что с досады языком заболтали. Разведчики у нас в полку самый надежный народ. Не то что какая-нибудь там третья рота.

— Что верно, то верно!

— Мы от черта не бегали.

— Пулемета за все время ни разу не бросили.

— Вот и обидно, товарищ командир, ботинок, поди, больше им дали.

— Совсем бы стервецам давать не надо, а то при казаках они чуть што — разведка. А к каптеру за обмундировкой — так первые.

«Накипело, прорвалось и утихло,— подумал Сергей.— И все-таки чувствует каждый, что можно, а чего уже нельзя».

Когда были розданы ботинки, один из счастливцев говорил:

— Эх! Хорошо! Подошва спиртовая и каблук с подковкой. Крепкие.

— Теперь этих в очередь и не в очередь на посты. Пусть знают, что не задаром получили. Ешь их волки! А мы уж в своих до Кавказа дотопаем. Авось там и на нашу долю найдется!

— У них-то цейхгауз во... Англия!

Глава восьмая

Уже начинало темнеть, когда Сергей, осмотрев линию сторожевого охранения, мелкой рысцой отправился обратно.

«Поеду прямо, вдоль фронта,— подумал он.— Так ближе будет».

И он взял по направлению к чернеющим впереди кустам. Раззадорившийся Васька незаметно затрусил побыстрее и, пользуясь тем, что задумавшийся Сергей перестал обращать на него внимание, потянул немного вперед.

— Э-э, брат! — проговорил, отряхнувшись от мыслей, Горинов.— Куда тебя черт несет?

Он остановился, приподнялся на стременах и, оглядевшись, вздохнул полной грудью. Фронт был безмолвен. Впереди, в нескольких верстах, горели огни Батайска. Чуть слышно было, как гудел паровоз.

«Крепко засели! — подумал Сергей,— а выбить надо — узел важный».

Он дернул за левый повод Ваську, круто повернул его и хотел стегануть его покрепче плетью.

Вдруг сердце его сразу екнуло, в виски ударила кровь, и он покачнулся даже в седле. Как раз с той стороны, куда он только хотел направиться, из-за кустов выехало человек десять — двенадцать конных. Белых или красных?

Ни бежать, ни спрятаться было некуда. Ускакать и подавно.

Сергей напряг всю волю, чтоб не выкинуть непоправимой глупости.

Скрыться абсолютно некуда. Если он сдвинется с места, то его увидят сейчас же. Если не сдвинется, то увидят минутой позже — только и всего.

Отъехав от края, Сергей встал как раз посредине дороги.

Его сразу заметили, передние сначала шарахнулись в сторону, но, не видя никого другого, направились рысью к нему, с винтовками наперевес. Сергей стоял спокойно.

«Застрелиться успею!» — мелькнула мысль.

— Эй!.. кто такой! — крикнул ему первый, подъезжая потихоньку и зорко всматриваясь.

— Подъезжай ближе! — ответил Сергей.— Чего горланишь? Офицер есть?

— Офицера нету, вахмистр есть.

— Давай его сюда!

И Сергей очутился среди всадников.

— А ты кто такой?— подозрительно покосившись, спросил вахмистр.

— Не видишь, животное, что офицер?

— Если так, то поедемте с нами к командиру,— настойчиво проговорил вахмистр.

— А я куда тебя зову? К черту на кулички, что ли? Болван!

По-видимому, последнее слово в значительной степени рассеяло сомнения вахмистра.

Некоторое время они ехали молча.

— Что я делаю?— повторял с отчаянием Сергей.— Что я делаю?

Партбилет, украшенное пятиконечной звездой выпускное свидетельство краскома раскаленными угольями жгли ему карман.

«Не надо распускаться. Спокойнее, как можно спокойнее!» — неотвязно вертелось в мозгу.

Казаки ехали молча или разговаривали вполголоса. Присутствие офицера их несколько смущало.

— А знаешь, Фомичов,— прошептал казак своему соседу.— У него на шапке-то звезда. И погонов нет! Мы еще как подъезжали, я приметил. Сказать, что ли, Жеребцову?

— Сиди! — недовольно ответил тот.— Али сам не видит?

— Звезда!.. Что звезда нынче значит? По-твоему, как погон — так и белый, а как звезда — так и красный. Али позабыл, как буденновцы погоны надевали, ежели насчет разведки по тылу нужда какая. Это, брат, тоже понимать нужно!

Он многозначительно кашлянул.

Путешествие приближалось к концу. Сначала их окликнули из заставы, потом они проехали линию укреплений. Вахмистр сердито предупредил:

— Порядком ехать. Не разбиваться! А то вгрохается кто в яму либо об проволоку.

Однако из-за темноты разглядеть Сергей ничего не мог. Потом стали попадаться домики. Мимо проходили солдаты, и кто-то в темноте крепко матерно ругался. Сергей видел, что дело подходит к развязке.

— Господин ротмистр дома?— спросил вахмистр, остановившись.

«Приехали!»—сообразил Сергей. Он решил сейчас же, когда все будут слезать, броситься в сторону. Но вышло не так.

— Его нет,— послышался чей-то ответ.— Он скоро будет.

— Мы подождем! — сказал Сергей.— Зайдем к нему!

И он соскочил с лошади. Соскочил и вахмистр.

— А мы-то чего?— заворчали казаки.— Нам чего дожидаться не жрамши.

— Поезжайте домой! — решил вахмистр.— Скворцов! Скажи хозяйке, чтоб самовар поставила. Я скоро.

Казаки уехали. Сергей и вахмистр взошли на крыльцо. Перед ними были темные сенцы. Сергей был с карабином, сбоку в кобуре у него висел наган. Но вахмистр в темные сенцы пропустил его вперед. Стрелять было нельзя. Казаки только что отъехали, а кругом бродили солдаты. Он вошел в сени и, как бы отыскивая дверь, незаметно повернулся.

— Что там, али не найдете? — с ноткой тревоги переспросил его конвоир.

Сергей ясно услыхал тихий металлический щелк взведенного курка.

— Нет, не найду! — ответил он и ударил прикладом прямо перед собой. Удар пришелся плохо, плашмя. Однако тот покачнулся, ухватился за стену и выронил револьвер, который, падая, гулко выстрелил.

— Нет, постой!..

Сергей выбежал на улицу, вскочил на чужого коня и рванул поводья.

Две-три минуты он мчался спокойно. Потом сзади послышался топот, выстрелы и крики. Очевидно, за ним гнались вернувшиеся на выстрел казаки.

«Куда я лечу?.. Совсем не в ту сторону»,— подумал Сергей.

Он хотел было свернуть с дороги в сторону, но чуть не перелетел через голову, потому что бока у шоссе были крутые, а внизу плескалась вода.

Тогда он выбрался снова наверх и, не рассуждая, помчался дальше. Однако он потерял несколько минут, и крики догоняющих стали немного ближе.

Навстречу ему попадались солдаты, иногда даже конные, но, не понимая в чем дело, сразу его не останавливали. Как бешеный, вырвался Сергей на железнодорожные пути вокзала, но поворотить в сторону не успел. Срезанная шальной пулей лошадь тяжело грохнулась. Он полетел вниз, ударился головой о рельсу, выпустил из рук карабинку, тотчас же вскочил, прыгнул налево и закружился посреди забитых составами бесчисленных путей станции.

Выстрелы гремели сначала сзади, потом перекинулись вперед, затрещали со всех сторон. Где-то близко послышались голоса. Как загнанный зверь, Сергей отскочил и очутился посреди двух эшелонов. Впереди мелькнул убегающий огонек испуганного железнодорожника.

— Давай сюда!.. Черти-и-и!

«Неужели же конец?» — с смертельной тоской подумал Сергей.

Вдруг его взгляд упал на приоткрытую дверь товарного вагона. И не раздумывая, подчиняясь инстинкту, он проскочил туда и захлопнул за собой дверь.

Через несколько секунд мимо с топотом пронеслись несколько человек, и кто-то выстрелил.

Через четверть часа все стихло. Потом опять послышались шаги. Сергей на всякий случай спрятался в угол, за какие-то ящики. И весьма кстати. Дверь приоткрылась, и луч желтоватого света скользнул по потолку.

— Пропади они все пропадом! Как начали стрелять, я думал, что зеленые наступают.

— Убежал кто-то. Должно, так и не поймали.

— И мы-то хороши,— вагон распертый бросили!

— Провались он, вагон. Я щипцы с пломбами побросал. Фонарь только захватил, чтобы видели, что железнодорожник.

Дверь захлопнулась, послышался стук закидываемого запора, потом негромкий металлический звук.

«Пломба» — мелькнуло в голове у Сергея. Все стихло, люди ушли; прошло минут пятнадцать — двадцать. «Как странно! — подумал Сергей.— Я цел, но где! Как же я отсюда выйду? Ну да, через окошко, они ведь отпираются изнутри. Только не сейчас, ночью».

От удара болела и кружилась голова. Он прилег на что-то мягкое и впал в полубессознательное состояние. Тяжело заснул. Когда открыл глаза, никак не мог дать себе отчета — в чем дело? Понемногу начал восстанавливать в памяти случившееся. «Почему кругом так все шумит? Почему дрожат стенки?»

Га-а-а!..

Впереди могучей сиреной заревел паровоз, эшелон давно мчался куда-то, ускоряя ход.

Глава девятая

В вагоне было темно, и ориентироваться Сергей не мог никак. Пробовал поискать окно, но сразу попал ногой в какую-то щель и едва-едва из нее высвободился. «Черт его знает что тут наворочено,— подумал он, ощупывая пред-

мет на уровне своих глаз, на который он только что наткнулся.— Это ножка от стула. А это, кажется, перевернутый диван. Эвакуировались наспех, набросали в беспорядке всякой дряни полный вагон». К окошку пробраться оказалось невозможно. Весь вагон был забит мягкой мебелью, коврами, картинами. В то время, когда в Ростове белые оставили много снаряжения и военного имущества, кто-то, по протекции, вывозил ненужный хлам.

«Нет! — решил Сергей, тщетно попытавшись обойти какой-то большой полированный предмет (по-видимому, рояль),— придется ждать до утра».

Он забрался в угол и расположился на перевернутом диване. Голова продолжала болеть. К своему удивлению, он заметил, что настроение у него сейчас безразлично-равнодушное.

«Черт с ним совсем! — думал он.— Выберусь как-нибудь».

Вагоны ритмично стучали. Мягкий диван пружинил, покачиваясь, и на Сергея напала дремота, перешедшая скоро в крепкий сон.

Проснулся он, когда лучи яркого солнца, пробившись через мелкие щелки, заиграли зайчиками на темных стенках.

Теперь он принялся за работу и, пробравшись вперед, стал раздвигать все в стороны, разбирая дорогу к окошку.

Провозившись с полчаса, он разбил фарфоровую статуэтку и продавил ногой большую картину. «Вандализм! — подумал он, усмехнувшись.— Может, это какой-нибудь Рубенс или Микеланджело, а у меня прахом идет». И, схватив за ноги безголовую статуэтку, он принялся отколачивать ею приржавевшую задвижку окошка. Наконец-то она подалась.

Открыть или нет? Сергей с минуту простоял, нерешительно раздумывая. Эшелон, настоявшись только что на какой-то станции, быстро шел вперед.

— Открою! — решил Сергей и выпустил окошко из рук.

Сноп теплых весенних лучей бросился ему в глаза. Широкий простор открывался перед его глазами. Дымилась обесснеженная земля, синел убегающий горизонт, далеко в стороны темнели деревни.

— Весна!..

Сергей улыбнулся, довольный. Высоко-высоко по небу плыла стая журавлей и таяла, на его глазах, в ласковой утренней синеве. По синеватой черной дороге передвигалась кучка всадников и остановилась у шлагбаума, пропуская поезд. Инстинктивно Сергей хотел податься назад, но рассмеялся и, высунув голову, с любопытством окинул взглядом забрызганные грязью бурки всадников.

Промелькнул вскоре семафор, и Сергей захлопнул окошко.

Днем состав долго стоял не двигаясь. Сергей решил уже, что это его конечная станция, но к вечеру сильным толчком ударил по вагонам прицепившийся паровоз и потащил куда-то дальше.

Сергея мучили голод и жажда, но до ночи приходилось терпеть. Карабинки у него теперь не было. Она отлетела в сторону, когда он ударился об рельсу. Но наган был при нем, и Сергей не без удовольствия попробовал правым локтем твердую кобуру.

Часов около одиннадцати Сергей почувствовал, что приближается развязка. Колеса застучали по бесконечным стрелкам, вагоны бросало из стороны в сторону. Замелькали огни,— зашипели паровозы.

— Екатериодар! — решил Сергей.— Наконец-то!

Эшелон остановился, но, судя по тишине, которая водворилась вокруг, где-то далеко от главных путей и других составов. Прошло около часа.

«Пора!» — подумал Сергей.

Осторожно опустил окошко, чтоб не хлопнуло, высунул ноги вперед, повис на руках и, легко соскочив, остановился.

Он осторожно зашагал в сторону. Шел минут двадцать, потом остановился. Впереди него из-под железнодорожного забора вынырнула какая-то теиь и скрылась в темноте, потом он услыхал легкий свист. Сергей отошел в сторону и расстегнул кобуру. Прошла минута... другая — ничего. Тихонько пошел дальше и опять остановился. Откуда-то издалека доносился протяжный, отчаянный крик... еще... еще... снова смолкло все. Вдруг через некоторое время, уже с другого конца города, раздался выстрел, другой, и сразу, перекатываясь эхом посреди ночи, одновременно загрохотали десятки — точно били пачками.

«Что это такое?.. Что это все значит?» — подумал изумленный и совершенно сбитый с толку столь странной встречей Сергей.

Выстрелы сразу как-то оборвались, и еще резче и загадочней удивила мертвая тишина.

Сергей шагнул в темноте раз, другой, наткнулся на какую-то решетку, отступил даже назад от изумления. Внизу черноватым отблеском отсвечивало море, и волны плескались в каменную набережную.

— ...Новороссийск! Вот что!

Ночь была глухая и темная, несколько случайных мокрых снежинок опустилось ему на разгоряченное лицо. С моря дунул холодный ветер. Где-то впереди послышался ровный топот шагов, гулко отдававшийся в тишине.

На всякий случай Сергей подался назад и скрылся за ящиками, нагроможденными возле забора.

— Не разбиваться... порядком идти! Раз, два, три... Раз, два, три... Взять ногу. По топоту слышу, сукины дети, что путаете. Раз, два, три...

Мимо Сергея прошел небольшой патруль, человек в пятнадцать — двадцать.

«Куда я сейчас, к черту, пойду?— подумал он, смутившись окончательно.— У них тут военное или осадное положение. Попадешься как раз. Да и не видать ничего — где улицы, где город».

Позади него стоял не то завод, не то какое-то станционное сооружение. Местность была завалена разной поломанной дребеденью. Здесь, закрывшись известковыми рогожами, Сергей продремал до самого утра.

«Ну! — подумал он, поднимаясь.— Теперь надо решать, что делать? Прежде всего — долой с папахи звезду. Потом документы.— Он вынул целую кипу из полевой сумки.— Порвать надо? — Рвать было жалко, особенно партбилет и украшенное яркой пятиконечной звездой выпускное свидетельство краскома. Он остановился в нерешительности.— Лучше спрятать. Но куда? — Через несколько минут нашел и место. Один из толстых столбов забора был пробит насквозь. Сергей свернул трубочкой оба документа, засунул их туда и отверстие заложил кусочком цемента.— Ну, а остальные можно побросать». Он быстро перебрал их, напоследок, руками. Сводки, карты, полевая книжка, завалявшиеся бумаги. Он только

что хотел порвать их, как взгляд его остановился на маленьком голубом конверте.

«Это что?» — Сергей сел на бочку и вынул чистенькие, плотные листки.

Крепкими духами пахнуло на него. Он перечитал с начала до конца и улыбнулся.

— Ерунда! — вслух ответил сам себе. Потом нахмурил лоб.

«... письмо передано с нашим хорошим...»

«А что, если попробовать?»

Рассвело. Вставал город. Толпой хлынул по дамбе со станции народ. Сергей завернул в узелок полевую сумку, кобуру с револьвером, незаметно вышел и смешался с толпой.

За все свое существование никогда не был так переполнен и не кипел такой бесшабашной жизнью Новороссийск. Вся накипь, все неустойчивые и панически настроенные элементы, рыцари легкой наживы, спекулянты, мародеры, валютчики — все они еще при первых же поражениях белой армии устремились сюда, обосновались и превратили в разгульный и разнузданный хаос жизнь мирного города.

— Скажите, пожалуйста, поезд, что ли, пришел? — обратился Сергей к затрепанному интеллигенту, направляющемуся с узелком в руках к городу.

— Нет! — ответил тот.— Поезд пришел еще ночью.

— Но мне кажется, что весь народ идет со станции.

— Конечно, со станции,— тот взглянул удивленно.— Вы, верно, приезжий и порядков наших не знаете?

— Не знаю,— вполне искренне ответил Сергей.— Я тут недавно.

— Откуда?

— Из Константинополя.

— А-а!

Потрепанный интеллигент более благосклонно взглянул на него, очевидно почувствовав в нем своего.

— Ночью у нас бандиты бродят да патрули с зелеными перестреливаются.

— Как с зелеными?— с волнением вскричал Сергей.— В самом городе?— Но тотчас же, оправившись, добавил:—

Не может быть, чтобы у них хватало наглости показываться даже здесь.

— Может, если я говорю, молодой человек. Я врать не стану.

— Нет! нет! Я, конечно, не сомневаюсь. Но в самом городе?

Теперь он понял причину ночной баталии.

— Но я думаю, что принимаются какие-нибудь меры.

— Подозрительных хватают направо и налево. Каждый день партиями на «косу» водят. Да толку что-то мало.

Нельзя сказать, чтобы последнее сообщение пришлось по вкусу Сергею. У него было слишком много шансов попасть в число подозрительных. И он, боясь быть слишком навязчивым, не стал спрашивать, что это за «коса».

«Жрать хочется, как собаке,— подумал Сергей, очутившись на людной улице.— Хоть бы ломоть хлеба черного».

Повсюду сновали офицеры с крестами и без крестов, с повязками и без повязок. Солдат было мало. Изящные сестры с красными крестами выглядывали из проносившихся экипажей. Проезжали кавалеристы.

— Помогите несчастному солдату, принявшему муки за родину от большевистской чрезвычайки,— услышал позади себя Сергей.

Наконец он нашел толкучку, шумную и крикливую, где продавалась разная разность — от горячих пирожков до разорванных казенных седел.

— Беру франки и доллары! — подскочил к нему некто в сером.— Имеете, господин?

— Есть свежие французские булки!

— Яблоки! Настоящие антоновские яблоки!

— Продаете? Покупаете? — вырос перед ним субъект с сильным армянским акцентом.— Кокаин угодно?

Сергей молча протянул ему мозеровские часы.

— Э-э-э! Это не по нашей части,— ответил тот. Но, заметив, что Сергей собирается пройти дальше, схватил его за рукав.— Постойте, постойте, куда же вы? Можно и часики, если недорого.

Взвесив на руках для чего-то часы, он приложил их к уху и неодобрительно покачал головой.

— Сколько?

— Тысячу,— наугад ответил Сергей.

— Триста!

Заметив, что Сергей заколебался, субъект забросал его отштампованными фразами:

— Ну, пятьсот!.. Крайняя цена!.. Дороже никто не даст! Самому нужны, потому только даю!

Получив деньги, Сергей подался сразу в сторону. Зашел в кабачок-подвальчик и потребовал обед.

В небольшом помещении было смрадно и шумно. За столом напротив сидели три офицера, уже порядком подвыпившие. Один то и дело ударял кулаком по столу и кричал:

— Хозяин!.. Почему музыка не играет?.. Армянская твоя морда!..

Или:

— Давай национально-российский марш... Сукин сын, большевистская башка!..

И хозяйский мальчишка поспешно в десятый раз заводил граммофон, и тот с сопением и хрипом начинал «Под двуглавым орлом».

В кабачке было душно, накурено, пахло затхлостью. Закусив, Сергей поспешно вышел.

На оставшиеся четыреста рублей он купил две пары офицерских погонов, иголку и ниток.

Затем Сергей поспешно смешался с народом, завернул за угол и торопливо пошел, разыскивая укромное местечко, где он мог бы преобразиться.

Через час, немного волнуясь, он в офицерской форме шел по улице, ища чего-то глазами.

Присяжный поверенный
Г. К. КРАСОВСКИЙ

— Это теперешний каратель,— решил Сергей.— Ну что ж, войдем!

И он нажал кнопку.

Глава десятая

Уже четвертый день живет Сергей в солидно-буржуазной обстановке.

Встретили его, по письму, приветливо, как своего.

— Скажите, почему вы так запоздали? — с легким укором спрашивала хозяйка.— Ведь письмо нам было передано уже давно.

— Ничего не поделаешь. Знаете, служба! Предполагал выехать раньше, но задержали.

Ему отвели небольшую комнату, обставленную тяжелой красной мебелью и широким кожаным диваном. Каждый день, по утрам, Сергей уходил, инсценируя «дела службы». Возвращался к обеду, а вечера проводил за чаем в столовой, посреди кружка друзей семьи Красовских.

Семья была типично буржуазная. Не аристократическая, но выдержанная и тонная. Ее внутренний механизм работал ровно и без перебоев, а жизнь текла плавно, своим чередом, как будто кругом ничего особенного и не происходило.

Все происходящее кругом в семье считалось недоразумением, неприятным инцидентом. А в худшем случае — беспорядком, должным скоро улечься и уступить дорогу прежней спокойной жизни. Как-то, между прочим, Сергей задал хозяйке вопрос: не думает ли она, что в конце концов уклад теперешней жизни пора бы изменить.

— Как же может быть иначе? — пожав плечами, ответила она.— Ну, я понимаю, сменить жизнь верхов, устроить другой образ правления, парламент, конституцию. Но зачем же личную жизнь ломать?

В голосе ее было столько неподдельного удивления, что Сергей перевел разговор на другую тему...

Однажды вечером он сидел у себя в комнате.

— Константин Николаевич! — послышался женский голос.— Идите чай пить.

«Ах, черт!— мысленно обругал себя Сергей.— Ведь это же меня!» — И ответил поспешно:

— Сию минуту, Ольга Павловна! Зачитался, даже не слышу.

За чаем собралось несколько человек. Хозяйка — женщина лет тридцати пяти, в меру подкрашенная и подведенная; ее брат — тучный господин с жирным баском и лаконическими, самодовольными суждениями обо всем; чья-то не то племянница, не то крестница, куклой наряженная Лидочка, и еще какой-то субъект неопределенной категории, с козлиной бородкой и тщательно выутюженными складочками брюк.

— Сегодня доллар поднялся ровно в два раза! — громко проговорил тучный господин, ни к кому не обращаясь.— Это грабеж форменный. За один день на сто процентов.

— Удивительно! — проговорил Сергей.— Что бы это значило?

— А то, что плохо работаете, господин офицер. Все отступления да отхождения.

— Но постой, мой друг! — вмешалась хозяйка, желая смягчить его резкость.— Почему же это ты так говоришь Константину Николаевичу, точно это от него зависит?

— На это есть причины чисто стратегического характера,— ответил Сергей.— Я думаю, никто не сомневается, что в конце концов Добровольческая сумеет разбить красные банды.

— Не сомневаются? — Толстяк несколько иронически посмотрел на Сергея.— Нет, сомневаются, раз доллар вверх скакнул. Отчего он скачет, вы знаете?

— Нет! — откровенно сознался Сергей.

— Ну то-то! А скачет он оттого, что спрос на него большой. А почему спрос? Да потому, что уши навострили все; чуть что — и до свиданья. С нашими-то за границу не уедешь. А вы говорите — не сомневаются. Нет, уж у меня доллар на этот счет лучше всякого барометра.

— Константин Николаевич! — перебила его Лидочка, которой надоел этот разговор.— Вы на фронте были?

— Как же! Был, конечно.

— И красных видели? Пленных,— добавила она.— Расскажите, какие они?

— Какие? Вот, право, затрудняюсь сказать. Люди как люди.

— А вы... их не расстреливали? Сами, конечно?

— Сам не расстреливал,— ответил Сергей несколько насмешливо.

— А-а! — разочарованно протянула Лидочка.— А я думала, что сами. Скажите, а вы видели, как их?..

— Лидочка, перестань, что это ты за чаем о таких неприятных вещах говоришь, не эстетично даже,— молодая девушка и вдруг — такие разговоры.

Тощий господин, просмотрев газету, отложил ее в сторону и сказал, обращаясь к Сергею:

— Читали?.. Нет! Какую новость еще выкинули. Все просоциализировали — и дома, и имущества, и храмы, кажется, больше нечего было. Так нет, решили еще социализировать женщин,— проговорил он раздельно и едко

усмехаясь.— Женщин от шестнадцати лет и выше. Посмотрите, официальное сообщение!

Сергей посмотрел:

— Что такое? «Официальное сообщение»? Вырезка из «Правды»?

— Может быть, здесь несколько преувеличено,— осторожно заметил он.— Вряд ли они могут решиться на такую меру. Это вызвало бы целый бунт.

— Э! Одним бунтом больше, одним меньше — не все ли им равно. А что это правда, так я и не сомневаюсь. Например, знаете, у них там для Совнаркома некая госпожа Коллонтай есть. Шикарная, конечно, красавица, бриллианты... меха и все такое прочее.— Он посмотрел искоса на скромно опустившую глаза Лидочку и добавил с раздражением: — Да неужели не слыхали? Ведь об этом все говорят.

— Да, слыхал что-то,— уклончиво ответил Сергей.— Только верно ли это?

— Враки все! — прислушавшись, заявил толстяк.— Разве всему, что у нас в газеты попадает, верить можно? Всякой дрянью столбцы заполняют, а про то, что нужно, ничего. У меня вон фабрика в Костроме, так хоть бы строчка была, как там и что? Все на один лад. Все, пишут, поломано, растащено, камня на камне не осталось. А встретил я недавно человека. «Ничего, говорит, все на месте, одно отделение работает даже понемногу».

— Ах, оставьте, Федор Павлович! — возразил ему господин с козлиной бородкой.— Нельзя же все о ваших фабриках. Нужно всесторонне осветить бытие этих бандитов. Это в конце концов необходимо для истории.

— Враки! — упрямо повторил тучный господин.— А если не враки, то и у нас не лучше. Декрета не издавали, а что кругом господа офицеры делают. Стыдно сказать.

Лидочка вспыхнула и снова потупила глазки, размешивая простывший чай.

— Оставь, Федор! — вмешалась хозяйка.— Ты всегда что-нибудь... такое скажешь!

Она неодобрительно покачала головой.

Сергей неторопливо грыз сухарь и слушал, как горячо доказывал субъект с козлиной бородкой.

— Нет, нет! Я не согласен, чтобы посягали на мои убеждения, на имущество... Я не могу согласиться... Я протестую наконец.

— Ну и протестуйте! Сколько вам хочется! Да что толку-то? Это все равно, что кричать во все горло: «Я протестую против землетрясения». У меня вон фабрика! А так-то, впустую...

Хозяйка, заметив, что спор начинает принимать острый характер, снова оборвала разговор:

— Бросьте, господа! Всегда у вас политика. С чего бы ни начали, все на нее свернете. Лидочка! Ты бы сыграла что-нибудь!

Утром, когда Сергей вышел из дому, на переполненных улицах Новороссийска сразу же заметил необычайное оживление. Все бегали, суетились и шумели больше, чем обыкновенно. На лицах было возбуждение. Сергей направился к углу, возле которого толпилась кучка прохожих. Он протискался к забору, и в глаза ему сразу бросилось огромным шрифтом кричащее «Правительственное сообщение»...

КРАСНЫЕ БАНДЫ РАЗБИТЫ НАГОЛОВУ!
ВЧЕРА, 21 ФЕВРАЛЯ, ДОБЛЕСТНЫМИ ЧАСТЯМИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ВЗЯТ РОСТОВ!
НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Тут же стояли два щеголеватые офицера, сразу почувствовавшие себя героями.

— Может, опять как в прошлый раз? — усомнился кто-то.— Написать написали, а взять и позабыли?

— Нет, нет! Аэроплан прилетел, скоро будут все подробности.

А один из офицеров сказал небрежно, но авторитетно:

— Теперь покатятся...

«Неужели правда? — думал, уходя, Сергей.— Что бы это значило? Почему наши отступают?»

Однако уже после обеда стало очевидно, что Ростов занят.

Контрреволюция воспрянула духом. По кафешантанам, кабачкам и подвалам тыл сегодня шумно праздновал победу.

Все, разменявшие состояния на иностранную валюту, ожили, расцвели и замечтали снова.

Со станции Новороссийск загудел и сорвался вперед,

закованный в железо, отдыхавший бронепоезд «На Москву». И его трехцветный флаг впереди паровоза, развеваемый ветром, гордо колыхался.

...А вечером в тот же день, в двух верстах от города, по Сочинскому шоссе зеленые захватили отправляющийся транспорт. Частью перестреляли, частью обезоружили его многочисленную стражу.

Глава одиннадцатая

Между тем Сергей собирал, где мог, сведения, решив при первом случае убежать к партизанам. Он ежедневно слышал о том, что их в городе полно, что их переодетые шпионы снуют повсюду по улицам и базарам, всматриваясь и вслушиваясь во все.

— Но где же они прячутся? — как-то спросил он своего собеседника.

— Далеко! — усмехнулся тот.— Видите те сопки?

И он указал на горы, возвышавшиеся недалеко за рабочим поселком.

— Так я ручаюсь, что если бы вы — один, конечно,— попробовали подняться туда, то попались бы живо.

— Но почему же не принимают никаких мер? Ну, отряд бы хотя послали.

— Посылали! — И тот безнадежно махнул рукой.— Да что толку! Кругом у них шпионы. Эти,— он указал на окраины,— сами полубандиты. Покрывают, предупреждают. А по горам гоняться удовольствия мало.

Сергей возвращался домой и шел задумавшись. Вдруг он заметил, что очутился посреди большой толпы, запрудившей улицу. Взглянул — впереди солдаты стоят и никого не пропускают. Почти у каждых ворот то же.

Квартал был оцеплен командой от коменданта города. Проверяли документы.

— Всем, всем, господа, предъявлять! Никто не освобождается. Военнослужащие тоже,— услышал он чей-то громкий голос.

— Константин Николаевич! — И кто-то тронул Сергея за рукав.

Обернувшись, он увидел госпожу Красовскую.

— Как хорошо, что я вас встретила. Пойдемте вместе, а то я паспорт из дома не захватила.

«Чтоб тебе провалиться!» — мелькнуло у Сергея.

— Вы постойте тут, пожалуйста,— торопливо освобождая руку, ответил он.— Тут очередь большая, а я сейчас все устрою.

Оставив ее удивленною такой поспешностью, он скрылся. Самое лучшее в таких случаях действовать как можно спокойней и решительней. Это уже несколько раз испытывал Сергей. Заметив, что возле одного переулка толпа слишком наседает на постового солдата, он подошел, ругаясь:

— Ты что, безмозглая башка, бабой стоишь? Тебя зачем сюда поставили? Смотри, тебе скоро на шею сядут. Не подпускать к себе никого на десять шагов!..

И пока растерявшийся солдат отгонял толпу, он спокойно прошел мимо и, очутившись по ту сторону, смешался с любопытными, завернул за угол и пошел прочь.

«Ну! — думал он, очутившись далеко.— Теперь ворочаться домой нельзя. Куда же теперь идти?»

И он остановился, раздумывая. Поднял голову, и перед его глазами встали сопки.

— Туда! — решил он.

У самой подошвы гор кривыми узенькими уличками раскинулся захудалый поселок. Маленькие домики низко вросли в землю. Плохо сколоченные заборы, через которые можно было заглядывать с дороги, шатались, как пьяные. А деревянные крыши многих лачужек, точно отягощенные непосильной ношей, осели серединой книзу.

Народа не было видно вовсе, все как повымерли или попрятались. Но, проходя мимо, Сергей чувствовал на себе из-за ворот и из окошек недоброжелательные взгляды. Когда Сергей миновал крайний домик, то остановился возле старого сарая. Сорвал с плеч погоны и отбросил их в сторону. Гора казалась раньше очень близкой, но прошло еще немало времени, прежде чем он добрался до ее основания и начал медленно подниматься узенькой, изгибающейся тропочкой. Земля была сыроватая и скользкая; шел он долго, поднимаясь все выше и выше. Уже смеркалось, день подходил к концу, расплывались резкие контуры, сливался в одно кустарник, и леса затемнели впереди черными массами. Сергей шел и шел. Несколько раз останавливался перевести дух, но ненадолго. Только когда добрался, наконец, до вершины первой горы и увидел впереди поднимающиеся новые громады, он сел, тяжело

дыша, на одну из широких каменных глыб. Прислонился, охватив руками покрытый мхом, торчащий из земли обломок, и взглянул, усталый, перед собой.

Зашло солнце. Бледными огоньками зажигался город и мерцал тусклыми звездочками по земле — далеко внизу. Широкий простор убегающего моря поблескивал темными полосками чуть заметно. Было тихо. Лишь едва слышный шум, смутный и беззвучный, доносился с порывами ветра из оставленного города и замирал, растаяв.

С непривычки немного кружилась голова.

Странное ощущение, не испытываемое никогда раньше, охватило Сергея.

Засмеялся громко-громко. Отголоски покатились по сторонам, удесятерив силу его голоса. И раскатившись, пропали за темными уступами.

— Ого-го-го!..— широко и сильно крикнул Сергей, вставая.

Каждый камень, каждая лощинка, каждая темная глубина между изгибами гор ответили ему приветливо и раскатисто:

— Го-о-о-о!..

И вздрогнул Сергей, насторожившись. Тихо, но ясно откуда-то сверху донеслись до его слуха опять:

— Оо-ооо!..

Отвечает кто-то.

Он обернулся, всматриваясь, и увидел далеко перед собой впереди вспыхнувший огонек.

Пошел, спотыкаясь, опять. Долго шел. Два раза падал, разбил коленку. Огонек то мерцал, то пропадал за деревьями, вот вынырнул близко, почти рядом. Злобно залаяла собака. Он продвинулся еще немного, вышел на покрытую кустиками лужайку и остановился, услышав впереди у забора голоса.

Разговаривали двое.

— Давно ушел? — спрашивал один.

— Давно! — ответил другой.— Давно, а не ворочается. Может, попался?!

С минуту помолчали, потом один бросил докуренную цигарку и ответил неторопливо:

— Не должно быть, не из таких! Слышал я, как кричал кто-то внизу.

«Они!»—решил Сергей. И, выступив, окликнул негромко: — Эй! не стрелять! Свой, ребята.

Оба повскакали, лязгая затворами.

— А кто?

— Стой, стой! Не подходи, а то смажем!

— Свой! Из города к вам, в партизаны!

— К нам? — подозрительно переспросили его.

— А ты один?

— Один!

— Ну, подходи.

Сергей подошел вплотную.

— Ну, пойдем, коли к нам, в хату до свету.

Вошли во двор. Яростно залаяла, бросаясь, собака. Кто-то распахнул дверь, и он вошел в светлую, чистую комнату.

— Вот, Лобачев,—проговорил один из вошедших, указывая на Горинова. — Говорит, к нам пришел, в партизане.

Сергей поднял глаза. Перед ним стоял высокий крепкий человек в казачьих шароварах, в кубанке, но без погон. На груди его была широкая малиново-зеленая лента со звездой и полумесяцем.

Глава двенадцатая

«Какой странный значок! — подумал в первую минуту Сергей.— Почему бы не просто красный?»

Человек куда-то торопился. Он задал ему несколько коротких вопросов: кто он, откуда и как попал сюда.

— Я из красных, попал к белым и бежал...

— К зеленым?!

— Ну да! К партизанам,—утвердительно ответил Сергей и почему-то пристально посмотрел на спрашивающего.

— А вы не коммунист? — как бы между прочим спросил тот.

И что-то странное в тоне, которым предложен был этот вопрос, почувствовалось Сергею. Он взглянул опять на ленточку, на холодно-интеллигентное лицо незнакомца и ответил, не отдавая даже себе отчета почему, отрицательно.

— Нет, не коммунист.

— Хорошо! Зотов, возьмешь его, значит, к себе,—проговорил он, обращаясь к одному. И добавил Сергею: — Завтра я вас еще увижу, а сейчас мне некогда.

И он поспешно вышел. В комнате осталось несколько человек. Сергей сел на лавку. Несмотря на то, что наконец-то он был у цели, настроение на него напало неопределенное. Все выходило не совсем так, как он себе представлял. «Глупости,— мысленно сказал он.— Чего мне надо. Право, я как-то странно веду себя. Зачем, например, соврал, что не коммунист».

Где-то вправо в горах раздался выстрел, другой, потом затрещало несколько сразу.

— Это кто? — спросил Сергей у одного из партизан.

— А кто его знает,— довольно равнодушно ответил тот.— Должно, красные балуются, они в тех концах больше бродят.

Опять Сергей почувствовал, что чего-то не понимает. Какие красные... с кем балуются? Он посидел немного молча. Налил себе кружку.

Присмотревшись, на рукаве у одного он увидал все ту же яркую ленту.

— Что она означает? — спросил он.

— Разное означает. Зеленый — лес и горы, где мы хоронимся; месяц со звездой — ночь, когда мы работаем.

— А малиновый?

— А малиновый,— собеседник удивился.— Так малиновый наш исконн казачий цвет.

«Что за чертовщина»,— думал Сергей.

— Ты у красных был? — опять спросил его собеседник.

— Был.

— Ну, нам наплевать. Хуть красный, хуть кто... А не коммунист ты?

— Нет.

— И не жид?

— Да нет же. Разве не видишь?

— Оно конешно,— согласился зеленый.— По волосам видно, по разговору тоже.

Вспомнив что-то, он усмехнулся.

— А то у нас история была. Прибежал как-то жидок к нам... такая поганая харя. Ваське Жеребцову как раз попался. «Товарищи, кричит, свой, свой!» Ворот рубашки распорол, а там документ, что комиссар да партийный. Радуется сдуру, в лицо бумажку сует. Повели его, оказывается, белые к расстрелу, а он н удул, сукин сын.

— Ну,— спросил Сергей, чувствуя, что холодеет.— Ну, что же?

— Как взяли мы его в работу! А, комиссар, песье отродье! Жидовская башка! Нам-то ты и нужен. Живуч как черт был; пока башку прикладом не разбили, не подыхал никак.

И вздохнув, добавил рассказчик:

— Конешно, ошибка у него вышла. Кабы он к Сошникову, либо к Семенову попал, тогда другое...

Холодный пот прошиб Сергея. Он побледнел, содрогаясь при мысли о том, как не далек он был от того, чтобы разделить участь несчастного комиссара.

— Ложись спать,— предложили ему.— А то завтра вставать рано. Домой пойдем. Днем-то мы здесь не бываем,— опасно.

— Оправиться схожу,— сказал, потягиваясь, Сергей и направился к двери.

— Постой, и я с тобой. А то на дворе собаки.

«Ах ты, сволочь»,— изругался про себя Сергей, заметив, что тот захватывает винтовку.

Они вышли и остановились на высоком крылечке, оправляясь. Конвойный зеленый стоял на самом краю. Сергей со всего размаха спихнул его в сторону. Зеленый с криком полетел в грязь. А Сергей рванулся через забор и помчался к деревьям. Вслед молниями засверкали выстрелы. Завизжали пули.

Что-то огнем рвануло ему плечо, и он пошатнулся, но, стиснув зубы, пересилив боль, прыгнул куда-то в чащу, под откос, и бежал дальше.

Всю ночь плутал Сергей. Взошла луна. Шатаясь, проходил он по рощам, полянам и кустам. Попал на какой-то скат и увидал далеко-далеко огни. «Должно быть, на море». Потом спустился куда-то и побрел снова. Уже когда рассветало, услыхал отголосок далекого выстрела. Бросился туда, бежал с полчаса. Остановился, прислушался... Никого... Измученный, обливающийся потом, изнывая от боли в плече, бросился Сергей на землю и долго лежал, жадно вбирая в себя освежающий холод.

Рассвело. Ночь прошла; звезды давно погасли. Бледным, призрачным пятном смотрел с неба месяц.

Вдруг близко, почти рядом, раздался звонкий, раскатистый выстрел.

«Неужели наши...— подумал, вскакивая, Сергей.— Или, может быть, опять какие-нибудь зеленые, голубые, розовые. Будь они все прокляты!»

Он бросился и закричал во весь голос:

— Кто-о там?

Прислушался. Не отвечал никто... Шумел по верхушкам деревьев ветер.

— Кто-оо?..— закричал он уже с отчаянием.

— Чего зеваешь? — раздался вдруг позади грубый голос.— Кого надоть?

Обернувшись, Сергей увидел выходящих из-за кустов трех вооруженных людей. У одного из них наискосок черной папахи тянулась тряпичная ярко-красная лента.

Их было трое. Один — невысокий, крепкий, с обрывком пулеметной ленты через плечо и с красной полоской на папахе — смотрел на Сергея хмуро и внимательно.

Другой — длинный, тонкий, в старой чиновничьей фуражке. На зеленом околыше была карандашом нарисована кривобокая пятиконечная звезда. Винтовку держал наготове, присматриваясь к незнакомцу. Третий, который окликнул Сергея,— коренастый, широкий, с корявым мужицким лицом, обросшим рыжеватой бородой,— смотрел на него с любопытством.

— Ты кто такой? — уставившись из-под лохматых бровей и не двигаясь с места, спросил первый.

— Вы партизаны?.. Красные?

— Куда уж больше! С головы до ног, на левую пятку только краски не хватило,— усмехнувшись, ответил второй.

— Держи язык-то... брехало,— растягивая слова, перебил третий. И спросил Сергея грубовато, но не сердито:

— Ты што за человек будешь? Пошто кричал-то?

— Я красный,—ответил лихорадочно Сергей.—Я убежал из города в горы, но попал к каким-то бандитам. Ночью опять убежал. Они стреляли...

— А не врешь? — хмуро оборвал его человек с красной лентой.— Может, ты шпион или офицер?

И впившись в него глазами, добавил жестоко:

— Смотри тогда. У нас расправа короткая...

Но, должно быть, было что-то искреннее в голосе и лице Сергея. И третий укоризненно ответил за него:

— Оставь, Егор, будет тебе... Не видишь, что человек правду говорит.

От усталости, перенесенных волнений и физической боли Сергей пошатывался и еле-еле стоял на ногах.

— Верно...— проговорил он тихо.— Верно, товарищи. Я врать не буду...

— Да у него кровь! — воскликнул молчавший до сих пор длинный партизан.

Забросив винтовку за плечо, он подошел к Сергею, у которого темно-красное пятно расплылось возле плеча по серой шинели.

— Откуда это?

— Я же говорю, что в меня стреляли...

Его обступили все трое. Прежняя недоверчивость исчезла. Даже Егор сказал мягче:

— Эк тебя, брат!

— Ах, ты... штоб им, окаянным, пришлось,— засуетился мужичок.— Ты, парень, дойдешь? Тут недалеко. Там перевяжем.

— Дойду.

Шли недолго, с полчаса. Длинный шел впереди и тащил обе винтовки.

— Дядя Силантий, дядя Силантий,— проговорил он, оборачиваясь к мужику.— Ребята-то на нас накинутся сейчас. Белого, подумают, поймали. Даешь, мол, к ногтю.

Дорога подходила к концу Они вышли на полянку, повернули за гору, и на небольшой площадке под крутым скатом Сергей увидал две прикорнувших к скату землянки. Около них стояли и сидели, греясь на солнце, несколько человек.

Пришедших окружили кучею.

— Кого привели, ребята? — спросил невысокий пожилой партизан, с наганом за поясом. По татуированным рукам Сергей угадал в нем матроса.

— Наш,— коротко ответил Егор. И изругался крепко.— Чего, дьяволы, рты-то разинули? Федька, тащи чего-нибудь. Неужели не видишь, у человека плечо прострелено. Доктор хреновский!

Землянка оказалась довольно вместительной. Посреди стояла железная печка, а по сторонам, прямо по земле, лежали охапки сухих листьев. Стола не было.

Сергею поставили какой-то обрубок, и он сел. Прибежал Федька, маленький, черный, суетливый человечек. В германскую войну он служил где-то санитаром и только уже здесь, в горах, был возведен товарищами в «доктора».

Притащил сумку, все содержимое которой заключалось в бутылке йода и нескольких мотках бинтов, и приступил к делу.

С Сергея стащили шинель, гимнастерку и совершенно окровавленную нижнюю рубаху.

— Отойдите от света-то, черти!

Федька отогнал всех столпившихся от маленького окошка, долго осматривал рану, потом объявил, что «пуля прошла насквозь, ниже плеча, через мякоть. Кости, кажись, не задела».

— Кричать, брат, сейчас будешь,— предупредил, подходя с бутылкой, Федька.— Ну, ничего, кричи. Тут оно скоро... самую малость.

— Не буду,— улыбаясь, ответил Сергей.

— Ой ли? Ну, смотри...

И он прямо из горлышка влил ему в оба отверстия раны черноватой, жгущейся жидкости. Сергей стиснул зубы.

— Эх, молодец! А у нас этого ёду боятся — страсть! Кулику нашему просадили намедни ногу. Так две версты в гору прополз, винтовку не бросил и не пикнул даже. А как ёду, то никак. Хуже бабы.

— Кто же это тебе? Не пойму я толком,— спросил матрос.

— Сам не знаю. Бандиты. Я думал, партизаны, а вышло вон как. Значок у них малиновый, с месяцем...

— Пилюковцы,— коротко сказал Егор.— Казачья сволочь.

— Что это за пилюковцы?

— Кубанцы-самостийники. Пилюк там в ихнем правительстве был. Ну так он у них атаманом. Возле Сочи они больше путаются.

Веки Сергея отяжелели, глаза закрывались, голова горела как в огне. Начинался жар.

— Ляг,— сказал ему матрос.— Вон тебе в углу на листьях постлали.

Сергей лег, закрыл глаза и услышал, как они вышли. Ему было жарко, пробирала мелкая нервная дрожь. Рука теперь тяжело ныла, и повернуться было больно. Он чувствовал, как раскраснелось его лицо и как горячая кровь толчками била близко под кожей.

«Хорошо...— подумал он.— У своих...»

И когда через несколько минут в землянку вошел Егор, то он увидел, как, разметавшись, тяжело дыша, спит новый партизан.

Глава тринадцатая

Прошло две недели с тех пор, как Сергей убежал в горы. Но только недавно стал он уходить с ребятами от места стоянки отряда. Раньше очень болела рука, да и сейчас двигать ею было трудно.

Кругом партизан было много, но отрядами держались они небольшими. Вокруг Сошникова сгруппировалось человек тридцать — сорок. Народ грубый и неотесанный, но боевой и видавший виды. Сам Сошников — матрос из тех, от которых еще в феврале пахло октябрем,— был партизаном со времени германской оккупации Украины. Он был малоразвит политически, не был даже как следует грамотен. Но это не мешало ему быть хорошим, сознательным повстанцем, ненавидеть до крайности белых и горячо защищать советскую власть. Он крепко ругался, крыл и «в бога» и во все что угодно, но самою сильною бранью считал слово «соглашатель».

Егор — озлобленный и жестокий до крайности ко всем, кто принадлежал к «тому» лагерю,— когда-то был рабочим литейного цеха. Прямо с завода попал в солдаты. Оттуда за какую-то провинность — в дисциплинарный батальон. Постепенно озлобленность нарастала. Затем война — и, даже не заехав домой, он угодил на фронт.

— Всю жизнь промотался хуже собаки,— говорил он.— Другому хоть передышка какая, а у меня ни черта!

— А, пропади они все пропадом,— отвечал он с озлоблением, когда матрос или еще кто-нибудь из товарищей старался удержать его от излишней жестокости.

Он дружил с Сошниковым и считался его помощником.

Близко узнал еще Сергей дядю Силантия. Это был простой мужик, иногородний, как назывались крестьяне в казачьих станицах. У него где-то «там» была своя хатенка, хозяйствишко, баба и девчонка Нюрка, о которой он очень тосковал. Ему совсем не по нутру были все эти сражения, выстрелы, война. Его мечтания всегда были возле «землишки», возле «спокоя» и крестьянства. Он

верил в то, что большевики принесут с собой правду и что вскоре должно все хорошо, «по-божески» устроиться. Но вышло все не так. Пришли белые, и первые плети он получил за то, что ходил за офицером и доказывал ему, что нельзя никак ему без отобранной ими лошаденки. Потом пришли красные, и на квартиру к нему стал комиссар. Потом опять пришли белые, и ему всыпали шомполами за комиссара и посадили в холодную. Из холодной он убежал. И с тех пор бродит с партизанами, скучает по дому, по хозяйству и по Нюрке.

Долговязый Яшка служил полотером, работал грузчиком, собачником. А в дни революции одним из первых ушел в славную Таманскую Армию.

Был еще черный, как смоль, грузин Румка, спокойный и медлительный.

Как-то раз Сергей стоял и разговаривал с Егором.

— Румка! Пойди сюда,— позвал тот.

Румка встал и медленно подошел.

— Ну?

— Вот, смотри,— сказал Егор, отворачивая у того ворот рубахи.

Сергей увидал, что вся шея Румки исчеркана глубокими, еще недавно зажившими шрамами.

— Что это? — с удивлением спросил он.

— Офыцэр рубал,— ответил флегматично Румка.— Шашкой рубал на спор.

Офицер, оказывается, был пьян, а у Румки больше виноградного не было. Офицер рассердился и сказал, что будет Румке рубить голову пять раз. И если срубит, то его счастье; а нет — так Румкино. Офицер был здорово напившись, попадал не в одно место и свалился скоро под стол, головы не срубив. Счастье было Румкино.

И много других таких же, как эти, было в отряде. Озлобленные белыми, уходили к красным и — горе казаку, горе офицеру, попадавшему в их руки! Жестока была партизанская месть.

Яшка сидел на камне, недалеко от костра, над которым в котле варилась обеденная похлебка, и наигрывал что-то на старой, затасканной гармошке. Играть, собственно, Яшке не хотелось, а хотелось есть. Но до обеда надо было чем-нибудь убить время.

Подошел к Силантию, который, сидя на чурбаке, подшивал к сапогу поотставшую подошву. Работал сосредоточенно и внимательно. Точно делал дело большой важности. Он с неудовольствием посмотрел на Яшку, который толкнул его легонько сзади.

— Ты чего?

— Ничего!

— Так ты ж не пхайся тогда. Видишь, человек делом занят.

— Балуешь, мужик! Утром портки зашивал, теперь сапоги.

Дядя Силантий откусил кусок суровой нитки, заскорузлыми пальцами завязал узелок. И ответил, продолжая работу:

— Одежду, милай, беречи надоть. Нешто, как у тебя, парень, штаны-то вон новые, а все в дырьях.

— Пес с ними, дырьями. Вот кокну офицера либо буржуя какого и опять достану.

— Разве что... Да и то, милай, хорошего-то мало.

— На то они и буржуи, чтобы их бить, — убежденно сказал Яшка. — Дядя Силантий! — перескочил он. — Ты вот что, положи-ка мне заплаточку... ей-богу... А то перед маленько лопнул. Валяй! Я за тебя черед отнесу или что еще придется.

— Ну тебя к лешему! Рук у самого нет, что ли?

— Нет уж ты, право! Смотри... тут самая малость...

И, сунув Силантию свой сапог, Яшка куда-то поспешно скрылся.

— Ах ты, лодырь... Провались он со своим сапогом... Думает, и взаправду чинить буду.

И Силантий даже отпихнул его ногой.

Свой у него был готов. Он надел его и посмотрел довольно — крепко. Теперь еще хоть полгода носи. Потом иголку воткнул в затасканную шапчонку, а клубочек ниток сунул в карман.

Посмотрел на Яшкин сапог. «Вот непутевый! Бросил — и хоть бы что». Поднял сапог, рассмотрел. «Ишь ты! Где это его так угораздило? Врет, что лопнуло,— об гвоздь, должно быть. Теперь пойдет рваться». Он поглядел, раздумывая, на дырку. Потом обругал еще раз Яшку и принялся накладывать заплатку.

Партизаны осмелели. На дворе стало теплее, наступила мягкая южная весна. Заночевать можно было под каждым кустом. И партизаны начали делать частые набеги. То стражника обезоружат, то казака верхового снимут. То ночью, подобравшись к самому городу, обстреляют патрули и мгновенно скроются.

Город был переполнен войсками. Но над ними не было твердого управления. Части разлагались. Только офицерские отряды представляли еще ценные боевые единицы.

Циркулировали всевозможные слухи. Но точно никто ничего не знал. Где проходит линия фронта? Поговаривали, что где-то уже совсем близко. Чуть ли не возле Екатеринодара.

Однажды город был разбужен отголосками орудийных выстрелов. Испуганные и ошарашенные, повскакали с постелей обыватели. Возникли самые чудовищные предположения. Но вскоре волна смятения улеглась. Это английские суда с моря обстреливали тяжелой артиллерией где-то возле Туапсе зеленых.

Каждый день прибывали теперь с севера партии беженцев к последнему оплоту, последнему клочку, не поглощенному еще красной стихией, — Новороссийску.

Наступала агония.

Глава четырнадцатая

Там, где кусты колючей ажины причудливо переплетались, из-за серого, поросшего мхом камня насторожившийся Яшка услыхал доносящийся издалека, еще тихий, но ясный металлический звук: так-та... так-та...

— Подковы. Мать честная! Да неужели ж казаки? От волнения даже дыхание сперло.

Впереди, из-за поворота, по широкой дороге показалось человек пять-шесть всадников. Яшка кубарем скатился вниз и помчался назад, пригнувшись и отхватывая длинными ногами саженные прыжки. Сергей видел, как он стремительно пронесся мимо них и скрылся за кустами, забираясь туда, где с главной частью отряда засел матрос.

Топот приближался. Партизаны зашевелились, принимая окончательное, наиболее удобное положение.

— Ребята, — предупредил Егор, — в последний раз говорю... Сдохнуть мне на этом месте, если не разобью башку тому, кто выстрелит без времени.

И ребята замерли, даже дыхания не слышно стало, потому что приникли их головы плотно к сыроватой пахучей земле.

Конный дозор проехал близко, почти рядом, ничего не заметив.

Прошло несколько минут. Показался и весь отряд — человек около сорока пехоты. За ним тянулись экипажи, повозки, телеги. «Что бы это значило?» Сергей вопросительно взглянул на Егора.

— Беженцы в Сочи и к грузинам, — шепотом ответил тот.

Рядами проходили мимо солдаты. Впереди офицера не было, но зато возле повозок, из которых раздавался звонкий женский смех, на конях гарцевало целых три. Несколько мужчин в штатском, которым надоело, очевидно, сидение в экипажах, шли рядом, разговаривая.

Молодая женщина, с развевающимся ярким шелковым шарфом, легко соскочила на ходу из шарабана, остановила одного из всадников и, взобравшись на седло, поехала, свесив ноги в одну сторону.

До слуха Сергея донеслось несколько слов из оживленного разговора. Потом кто-то, проезжая мимо, мягким и красивым тенором запел модную в то время песню:

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас.
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ.

Вдруг, нарушив спокойную тишину, ударили выстрелы. Дикий, отчаянный визг смешался с перекатывающимся эхом.

Растерявшись, расстреливаемый в упор, отряд шарахнулся назад, но, встреченный огнем Егоровой засады, заметался, кидаясь в стороны от дороги. Некоторые пробовали было отстреливаться. Но они стояли на открытой дороге и, не выдержав, через несколько минут бросились по кустам, преследуемые партизанами.

Яшка сразу напоролся на офицера, который, прислонившись к какой-то повозке, садил пулю за пулей в их сторону.

— Брось, гадюга! — крикнул он, но в ту же секунду ему раздробило в щепки винтовку, а офицер отпрыгнул в сторону.

— Тебя-то мне, голубчик, и нужно! — процедил откуда-то подвернувшийся Егор. И со всего размаха хватил офицера по голове прикладом.

Разгоряченные партизаны носились как черти. Яшка орудовал новой, подобранной винтовкой.

Матрос, догнав какого-то субъекта, хотел его полоснуть из нагана. Пожалел патрона, сбил его ударом кулака на землю, и тот валялся до тех пор, пока его не пристрелил кто-то из пробегавших.

Егор заметил что-то мелькнувшее в стороне, закричал, кинувшись в кусты.

— Стой, стой, стервы!.. Не хотите?.. А!..

И он, не целясь, с руки выстрелил в убегающих; промахнувшись, бросился вдогонку сам. Сначала не увидел никого, повернул направо, сделал несколько шагов и столкнулся лицом к лицу с двумя женщинами.

Одна — высокая, черная, с разорванным о кусты ярким шелковым шарфом, та самая, которая еще так недавно беспечно смеялась, забравшись на верховую лошадь. Она смотрела на него широко открытыми темными глазами, и в этих глазах застыл безграничный ужас. Другая — еще моложе, белокурая, тоненькая — застыла, не соображая ничего, рукою ухватившись за одну из ветвей.

Несколько мгновений простояли молча.

— Аа,— проговорил Егор.— Так вот вы где... Убежать хотели? Офицеровы жены, что ли?

Женщины молчали.

— Я спрашиваю — офицеровы? — повторил Егор, повышая голос.

— Да, — беззвучно прошептала одна.

— Нет, — одновременно ответила другая.

— И да и нет, — усмехнулся Егор. И крикнул вдруг громко и бешено: — Буржуазия!.. Белая кость! Думаете, что раз бабы, так управы нет. Сукины дочери!..

Выхватив обойму, он стал закладывать ее в магазинную коробку.

— Большевик...— с отчаянием и мольбой прошептала высокая женщина.— Большевик... товарищ... пожалейте...

— Сдохните, потом пожалею, — и жестоко усмехнувшись, Егор лязгнул затвором, не обращая внимания на то, как тоненькая впилась взглядом в винтовку, вскрикнула и задергалась в истерике.

— Оставь, Егор! — проговорил, подходя сзади, матрос.

— Пошел ты к черту! — злобно изругался Егор.

— Оставь! — хмуро и твердо повторил матрос. — Будет на сегодня.

Егор посмотрел на него с насмешкой и презрением:

— Эх, ты!..

И отошел в сторону.

Победа была полная. Два офицера и человек пятнадцать солдат остались на земле. Человек около десяти — те, которые сразу побросали винтовки, — были захвачены в плен. Среди них непостижимым образом остались в живых двое штатских. Хотели было пристрелить и их, но кто-то предложил:

— Черт с ними! Пущай расскажут, как с ихним братом! А то и знать-то другие не будут.

Надо было торопиться. С захваченных поснимали шинели и отобрали патроны.

— Ну, стервецы, — подошел Егор к кучке пленников. — Пострелять бы вас как собак надобно. Против кого идете? Против своего брата рабочего, против мужика. Адмиралы вам нужны да генералы, каиново племя... валяйте к ним опять когда хотите. А вы... — и Егор с ненавистью взглянул на штатских. — Вы, господа хорошие, и вы, мадамы! По заграницам, должно, разъедетесь... больше вам деваться некуда. Так смотрите! Чтобы навек сами помнили и другим рассказать не позабыли... Вот, мол, как нас в России...

Он остановился гневно и добавил, переводя дух:

— Ну, а теперь убирайтесь к черту! Да бегом, а кто отставать будет, вдогонку в спину получит.

— Товарищи! А не постреляете? — робко и недоверчиво переспросил кто-то из пленников.

— Постреляем, если глаза мозолить будете! — крикнул матрос. — Ну, раз... два... три! Да живо, сволочи, во всю прыть!

И когда те кучею понеслись, толкаясь и обгоняя друг друга, приказал:

— А ну, поддайте им жару, ребята! Дай несколько раз поверху. Вот так... Ишь припустились.

Винтовки, повозки, ящики свалили в одну кучу. Обложили сеном из тарантасов и подожгли, — чтобы не досталось никому. Костер заполыхал, затрещал сухим деревом, взметываясь в небо.

— Хвейверк, — сказал кто-то.

— Люминация... Как в царский день.

— Эк наяривает! Должно, в городе видно.

— И город бы надо со всех четырех концов.

— Зачем город? Наш скоро будет,— говорил матрос.— Даешь теперь в горы, ребята. Собирайся живей! Скоро отряды примчатся и пешие и конные. Гоняться будут со злости и день и ночь... Пускай гоняются... Ведь напоследок.

Глава пятнадцатая

Взорванный под Екатеринодаром мост ненадолго задержал наступление красных. Их части осмелели настолько, что на следующий же день всего один батальон, переправившись ночью, высадился на другом берегу и закрепился на нем, несмотря на то, что двум лучшим дивизиям белых поручено было охранять переправу через разлившуюся Кубань.

Больше укрепленных позиций и рубежей не было. Оставалось последнее: выиграть насколько возможно больше времени, чтобы успеть погрузиться на иностранные суда и переправиться в Крым, в котором прочно засел Врангель.

И полк двигался все дальше. Каждый день приносил что-нибудь новое. На пленных перестали злиться, перестали интересоваться ими, — слишком их было много.

Гораздо больше привлекало всех захватываемое партиями и вагонами снаряжение, имущество и обмундирование. Красноармейцы защеголяли в зеленых шинелях, во френчах с медными пуговицами и английским гербом. Затопали новенькими ботинками на подковах. Пополнели подозрительно солдатские мешки.

— Эй, ребята,— предупреждал Владимир.— Смотрите, замечу у кого что лишнее, взгрею по чем попало.

— Эх, сукин сын, — завидовал кто-то. — Да ты, Охрименко, сам того не стоишь, сколько сапоги-то эти... Мать честная... с раструбами, по французской моде.

Много всякого добра оставляли на пути белые. Тупики, запасные и главные пути были совершенно забиты вагонами. Маневрировать не стало никакой возможности. Целые отряды занимались тем, что сваливали их десятками под откос, расчищая пути.

Белые отступали после очень коротких боев.

Только один раз нашим друзьям пришлось попасть в неожиданную переделку.

Как раз в тот день, когда не было у них ни стычки, ни даже перестрелки, после большого дневного перехода остановился полк в казачьем поселке. Утомленные части крепко заснули. Утром, едва забрежил рассвет, все повскакали, разбуженные выстрелами. Еле-еле успели выбежать и собраться кучками, как казаки уже ворвались в поселок.

Красноармейцы не растерялись. Из-за заборов, из калиток и из-за углов — со всех сторон посыпались выстрелы на прорвавшегося противника.

— Сдавай оружие!.. — кричали по старой памяти казаки.

— Сдавай сам, коли хочешь,— отвечали красноармейцы.

А пулеметчики и того лучше. Выкатили на крыльцо «максима» — и, не глядя ни на что, давай садить прямо вдоль заборов.

Это была одна из последних безумных попыток одной из наиболее стойких частей — вырвать инициативу, взять ее в свои руки. Увы! Прошли для донцов и кубанцев те золотые времена, когда десяток конных мог нагонять панику на целые батальоны. Казаки пошли наутек.

— На арапа думали!

— Нет, брат, шалишь... Теперь ученые.

Пулеметчик гордо доказывал, наполняя жидкостью кожух.

— Нет, брат, у казака врага больше, как «максимка».

Разгоряченный «максим» жадно пил холодную воду.

— По-хо-д!.. По-хо-д!.. — переливчато трубил сигналист.

Разбегались на места.

— Эх, — с сожалением говорил кто-то. — Жаль, товарищ командир, идтить скоро будет больше некуда.

— Найдем, — отвечал Владимир. — найдем, друг! По всему свету белых-то, ох, как много!

— Чтой-то ты разохотился, Кержаков? — усмехнулся кто-то. — Ты ведь ровно как в прошлом году домой винта нарезывал.

— Прошлый год в счет не идет, — отвечал тот, немного смущенный. — Прошлый год за кем греха не было? Тоже некоторые чуть што винтовки бросали, — добродушно подкольнул он.

— А что, взводный, сахару давно не давали, — подошел какой-то бородач к Николаю.

Все захохотали.

— Кто про почет, а Митрофанов все про хлеб да сахар.

— Становись... — раскатывается по теплому воздуху привычный клич. — А ну там, шестая, не копаться!

Глава шестнадцатая

На море у города корабли Антанты дымили трубами, ревели сиренами, ярко сверкали огнями. Дни и ночи работали, забирая накипь и гниль страны.

Толпились люди. Бесконечными вереницами, как потоки мутной бурливой воды, вливались в обширные трюмы. Вздыхали облегченно под защитой молчаливых пушек. Бросали напоследок взгляды, полные бессильной злобы, страха и тоски.

Стояли капитаны на рубках. Глядели с высоты своего величия. На встревоженных и мечущихся, оставляющих свою страну людей. На десятки тысяч хорошо вооруженных солдат, покидающих поля сражений. На хаос, на панику, на бессильную ненависть побежденных.

И карандашом по блокнотам удивленные капитаны прикидывали цифры. Разве мало орудий, патронов, пулеметов и снарядов привозили они?

И потому были непонятны причины поражений спокойным капитанам с чужих кораблей.

Офицерские отряды с бесшабашно-пьяными песнями расхаживали по улицам. Чтобы убить время от корабля до корабля, которые то скрывались за морским горизонтом, то появлялись за новым грузом, охотились по горам за зелеными. На них срывали злобу за неудачи, за проигрыш, за все...

Впервые над городом сегодня коршуном прокружился

иизко красиый аэроплан. Обстрелянный со всех сторон, точно издеваясь, плюнул вниз засверкавшими серебром иа солнце тысячами беленьких листовок. Спокойно улетел на восток.

А люди с окраин, с подвалов иетерпеливо поджидали, когда спустятся иа землю вестники с того края. Осторожно оглядываясь, прятали листки по карманам. Дома подолгу, с жадностью читали.

В этот день, споткнувшись, Егор зашиб ногу об камень.

— Пес его тут приткиул, — с досадой говорил он, прихрамывая.— Только иедоставало сидием сидеть.

— Пройдет, Егор Кузьмич, — утешал его Федька.

И иа том осиоваиии, что все равио скоро товарищи придут и «медикамеитов» можно ие экоиомить, выкрасил Егор почти всю ногу в темно-коричневый цвет, истратив последиие полпузырька йоду.

— Пройдет, — уверял ои. — Ежели после этакой порции как рукой не снимет — уж тогда и ие зиаю что.

Последние дни ребята ходили сами не свои. Каждый рвался отдохиуть хоть иемного от волчьей жизни, узиать о судьбе оставлениых на произвол во вражьей стране родных и близких, увидать окоичательный разгром белых и долгождаиную Советскую власть.

— Ты куда ж тогда, милый, деваешься? — спрашивал матроса добродушный Силаитий.

— В море уйду, — отвечал тот, потряхивая головой. — В море, брат, широко, привольно. Даешь тогда во всех краях революцию бунтовать! Я ведь при радиомашинах раньше служил. Зиаешь ты, что это значит?

— Нету.

— Это, брат, штука такая. На тыщу верст говорить может. Захотел ты, скажем, в Англию или Фраицию рабочему что сказать, иавернул раз, а уж там выходит: «Товарищи! Да здравствует всемириая революция». Захотел буржуазию подковырнуть, навериул в другой, а уж те читают: «Чтоб вы сдохли, окаяниые. Придет и на вас расправа». Или еще что-иибудь такое.

Дядя Силаитий слушал удивлеино, потом спросил у Сергея, к которому всегда обращался со своими сомнениями:

— А не хвастает он, парень?

— Нет, не хвастает, — подтвердил Сергей.

Вечерело. Заходило солнце. То налетал, то снова прятался где-то мягкий ветер.

— А что, — сказал матрос, — не пора ли, ребята, за хлебом?

— Пора, — ответил Егор. — Ребята сегодня последние корки догрызли.

— Ну вот. А то завтра чуть свет к Косой горе, я думаю. С кем вот послать только?

— Дай, я пойду, — предложил Сергей.

— Ступай, пожалуй. Человек с десяток с собой возьми. Они там тебе покажут.

Назначенные в фуражировку за хлебом, который был отдан на выпечку в один из домиков близ города, наскоро поужинали и собрались.

— Смотрите,— говорил матрос.— К рассвету уходить, из-за вас чтобы задержки не было.

— Хлеб-то дорогой не пожрите,— предупреждал кто-то.

Прошло около часа. Солнце скрылось, лишь последние лучи его откуда-то уж из-за земли отражались густокрасноватым блеском на тучных облаках.

Несмотря на то, что завтра надо было чуть свет подниматься, никто не валялся и не отдыхал. Повсюду оживленно разговаривали, строили всевозможные планы и предположения на будущее. Кто собирался снова идти на землю, кто на завод, кто в Красную Армию. Смеялись над Яшкой.

— ...Сошников на коне должен впереди по Серебряковской... А все буржуи, какие останутся, по тротуарам во фронт встать должны...

— Зачэм буржуй,— запротестовал Румка.— Буржуй не надо оставлять... Рабочий на тротуар встрэчать будэт... флаг махать. А буржуй затылка пуль пускать надо...

Слушатели захохотали. Вдруг недалеко впереди послышался сильный и резкий свист. Смех сразу оборвался. Разговоры затихли.

— Что это такое? — прислушиваясь, вскочил матрос.— Постовой!

Свист повторился. Повскакали все, побросались к винтовкам — патронташей никогда не снимали. Из-за деревьев, запыхавшись, выбежал партизан.

— Ребята,— проговорил он, еле переводя дух.— Внизу белые... много... Прут прямо в нашу сторону.

— Далеко?

— С версту.

— Ладно! — крикнул матрос.— Все равно не догонят.

— Утекать?

— Ясно. Скорей, ребята, за мной!

Через несколько минут лихорадочной спешки отряд быстро и бесшумно уходил в горы.

— Я знаю их повадку,— говорил на ходу матрос прихрамывающему Егору.— Они теперь по верхам лазить будут. А мы возле дороги кого ни то сцапаем.

Начинало совсем темнеть. Сзади, далеко где-то, послышалось несколько выстрелов.

Уже широко бледная полоса наступающего рассвета залегла на востоке. И предутренним сырым холодком повеял ветер с моря, когда нагруженный буханками десяток партизан приближался к своему укромному убежищу в горах.

«Запоздали немного,— думал Сергей.— И то еще торопились, всего какой-нибудь час передохнули».

В крохотной хибарке тем временем Сергей успел узнать все последние новости города.

«...Белым не хватает кораблей... Главное начальство уехало... Вот-вот придут товарищи...» «Володьку увижу... Кольку увижу...»

На душе было хорошо и весело. Позади ребята смеялись. У Севрюкова вырвалась буханка и покатилась колесом, высоко подскакивая на выбоинах, вниз по скату.

— Ах ты, окаянная! — закричал он.

Но нагнал ее только тогда, когда она сама остановилась, прокатившись саженей с пятнадцать.

— Что это вроде гарью пахнет? — заметил кто-то.

— От костра, должно быть.

— Больно здорово.

Подошли к стоянке совсем близко. Постового на месте не было.

Сергей сделал еще несколько шагов и, заметив что-то неладное, бросился вперед. Крик вырвался из его груди.

На полянке никого не было. Землянки пообвалились.

Синеватый угарный дымок поднимался от обуглившихся головешек. Костер с треножником был разметан. А посредине валялся разбитый пулею чугунный котел.

В первую минуту все отскочили назад, опасаясь, как бы на что-нибудь не нарваться.

Были белые,— сразу стало всем ясно.

Оправившись немного от изумления, принялись осматриваться.

— Может, их поубивали сонными,— высказал предположение кто-то.

— Хреновину городишь. Где же убитые?

— Я так думаю, боя не было. Наши, должно, смотались вовремя да утекли. Посмотри, вокруг ни одной стреляной гильзы не валяется.

Присмотревшись внимательно, следов боя не нашли никаких. И Сергей пришел тоже к заключению, что отряд успел своевременно убраться. Но куда же они ушли?

— К Косой горе,— сказал Севрюков.

— Обязательно туда. Вчера матрос говорил.

— Когда не все там, так кого-нибудь поставили. Знают же, что нам негде больше их искать.

— Далеко это?

— Верст пять будет. Только горами.

— Пойдем туда.

Хлеб побросали.

Вдруг далеко-далеко позади — сначала тихо, потом ясней и ясней — послышались глухие удары...

— Орудия! — крикнул кто-то.

Заколотились сердца тревожно, волнующе. «Может быть...» — думал каждый.

Окрыленные надеждой партизаны понеслись во весь дух к своим.

Надвигалась развязка.

Когда часа через два они спускались усталые, но бодрые к морю,— из-за гор взошло теплое, яркое солнце. Тяжелые, свинцовые волны загорелись голубоватым прозрачным блеском.

Вышли на шоссе.

— Вон,— указал один на кусты, рассыпанные по буграм над дорогой.

Подошли поближе. Никто не показывался.

— Гляди-ка! — ахнул один, останавливаясь возле кучки темных камней.— Кровь...

— Вон еще.

Подошли вплотную — никого. Двое полезли наверх, другие остались внизу. Кто-то дернул Сергея за рукав. Он обернулся и увидел Севрюкова.

— Ты что?..

— Они там...— оборвавшимся голосом ответил Севрюков, показывая на море.— На берегу...

Долго ждали не подозревающие опасности партизаны.

— И чего копается! — ругал матрос Сергея.

Впереди по шоссе показалась большая часть белых. Партизаны попрятались по кустам. Солдат проходило много, нападать было опасно. Их пропустили мимо. Не прошло получаса, как впереди опять показались солдаты.

«Куда их прет столько?» — подозрительно подумал матрос. Приказал ребятам лежать под кустами, не шелохнувшись.

Вдруг где-то с тылу раздался выстрел.

— Черти! Сволочи! — закричал он, вскакивая. Ему пришло в голову, что выстрелил кто-то из своих.— Все дело испортили!

Но оттуда же раздались крики и стрельба. Их обошел первый миновавший отряд. Сзади с шоссе тоже засвистали пули.

— Обошли! — в панике крикнул кто-то.

— По бугру!.. По бугру...— бегал, раскидывая по гребню растерявшихся ребят, Егор.

Застрочил пулемет и точно косой срезал верхушки кустов над головами.

Из-за прикрытия оправившиеся партизаны открыли сильный ответный огонь.

Два раза пробовали занять сопку, и оба раза осаживали.

Через полчаса раздались зловещие фразы:

— Егор! Патрон мало!

— Две обоймы... Последняя...

Матрос увидел, что дело плохо. Белые забрались еще выше на соседний бугор и оттуда поливают из пулемета. Упал Кошкарев; медленно, мешком осел Румка. Закорчились, хватаясь за землю, еще несколько человек. Выстрелы партизан заметно поредели.

— Сошников,— крикнул Егор.— Кончено дело! Стрелять нечем!

— Эх! — решил матрос.— Все равно пропадать! — И гаркнул во весь голос:— Товарищи, за мной!

И первым скатился под откос на дорогу. За ним ринулись оставшиеся человек двадцать.

Выстрелы сразу оборвались. Тонкая цепь белых дрогнула. Но из-за поворота, лязгнув железом подков о камни, вылетел и врубился откуда-то взявшийся полуэскадрон.

— Точка,— решил матрос и наган с последней пулей взметнул к виску. «Нет,— мелькнула мысль,— пусть сами, а она — им». Выстрелил в упор в грудь какого-то кавалериста, упал с ним рядом, бессильно закинув назад разрубленную голову.

Через несколько минут все было кончено. По дороге валялись зарубленные. Человек восемь были захвачены живыми. Среди них Егор, Силантий и Яшка.

Их оставили для допроса.

Егор стоял хмуро и вызывающе. Когда офицер, заметив это, ударил его несколько раз кулаком по лицу, он проговорил холодно, окидывая врага взглядом, полным жгучей ненависти, сплевывая на траву кровь:

— Бей! Теперь твоя взяла! Бей, сволочь! Попался бы ты ко мне, я бы с тебя совсем шкуру спустил!

— А, м-мерзавец...— завопил в бешенстве белый. Яростно замахнулся на Егора, но в эту секунду далеко за горами глухо загудели взрывы. Вздрогнули все сразу. Тревога, растерянность невольно появилась на лице белых.

— Товарищи идут! — громко и убежденно крикнул Яшка.

— Я вам покажу... Я вам дам товарищей! — закричал опять офицер.

— Ничего ты, подлец, не покажешь,— угрюмо сказал Егор.— Вам скорей убираться надо. Разве по пуле пустить успеете.

Должно быть, и правда, белым стало некогда, потому что они отказались от допроса.

— Только не возле дороги,— говорил старший офицер поручику.— Здесь люди проходить будут.

Их отвели к самому берегу моря.

— Прощайте, ребята,— сказал Егор, когда ему с несколькими партизанами приказали отойти в сторону.

Треснул залп. Крикнуло эхо. Испуганно взметнулась чайка. Упали люди.

— Следующие!..

По щеке у Яшки катилась слеза. Его старая чиновничья фуражка, с выцветшим околышем и кривобокой звездой, съехала набок. Рубаха была разорвана. Он хотел что-то сказать, но не мог.

Силантий, сняв шапку, стоял спокойно, уставившись на прицеливающихся солдат.

— Господи, не оставь Нюрку!

Сергей стоял задумчиво. Сняв шапки, стояли оставшиеся с ним партизаны. Море шуршало гальками. Тихо всплескивая, набегала голубовато-прозрачная волна. И, прильнув ласково к откинутой руке Яшки, уходила обратно.

И все рухнуло. Заметались солдаты, беженцы, офицеры. Бросились с отчаянием к морю. С оружием врывались на переполненные суда. Ждали с лихорадочным нетерпением новых. Новых не было, старые уходили. Возле города разорвалось несколько снарядов. Началась паника. Пехотинцы кидали на тротуары винтовки. Кавалеристы пускали лошадей, сбрасывали шашки. Повсюду метались офицеры... Срывали погоны... Проклинали всех и все... На окраинах, около цементных заводов раздавалась беспорядочная трескотня.

— Большевики в городе! — послышались крики.

У набережной кто-то испуганно взвизгнул. Почти в самую гущу вылетел небольшой кавалерийский отряд. Не обращая ни на кого внимания, умчался, трепыхая красным значком, дальше.

Сергей с винтовкой в руках бегал по улицам. Он уже знал, что его бригада здесь, и разыскивал свой полк. Но посреди сумятицы и шума добиться ничего не мог.

Кто-то сказал ему, что полк, кажется, на вокзале. Кинулся туда. Вдруг столкнулся совершенно неожиданно со знакомым красноармейцем из своего полка.

— Петров!.. Где наши? — крикнул Сергей.

— Горинов...— отскочил даже тот.— Откуда?

— После, после... Где наши?

— Наши везде. И на станции и в порту.

— А разведка?

— Вон! Видишь пристань?.. Они охраняют там что-то.

Стрелой полетел туда. Вон Владимир кричит что-то и бегает, расставляя людей. Вон Дройченко возле громадной кучи тюков со снаряжением.

— Володька! — кричит Сергей.— Володька!..

Повернувшись, тот замер от изумления, потом бросился к Сергею. Со всех сторон бежали красноармейцы его команды. Откуда-то — стремительно, как и всегда,— вылетел Николай. Завопил от радости что-то несуразное.

Его расспрашивали — он расспрашивал. Ему тискали руки — он жал руки. Как щепку его передвигали с одного конца толпы в другой.

— Я говорил...— перебивая всех, кричал Николай.— Я говорил, что найдется!

Смеялись и кричали бестолково и радостно.

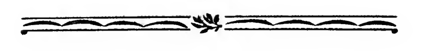
— Смотрите, товарищи,— говорил Сергей, когда все немного успокоились.— Пришел наш черед. Сегодня вся Армия... вся Республика... сегодня мы празднуем победу.

Кругом била жизнь ключом. Носились кавалеристы. Тянулись пленные. Проходили отряды с песнями. Откуда-то доносились бодрые, приподнимающие звуки боевого марша.

...А на море, у далекого синего горизонта, чуть заметные темные точки — корабли Антанты — дымили трубами.

...Корабли Антанты покидали Советскую Страну.

1925



ВСАДНИКИ НЕПРИСТУПНЫХ ГОР

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вот уже восемь лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательио исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить свою страну. У меня — просто привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки, окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес да чугунный рев дышащего огнем и искрами паровоза.

И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстаиовку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению, измотаиный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не сиимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последиею, что пора остановиться, привести все пережитое в систему и на серо-зелеиом ландшафте спокойно-ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солиечиой долины Мцхета или от желтых песков пустыии Кара-Кум, от роскошной зелени пальмовых парков Чериоморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений.

Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караваны верблюдов, отправ-

ляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из-за далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты. А старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг — зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен.

И тогда оканчивается сонный покой размеренной по часам жизни и спокойное тиканье поставленного на восемь утра будильника.

Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову.

Все это глупости. Я знаю, что мне надо. Мне двадцать три года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гирю.

Мне хочется, до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина,— пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознанния того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие.

А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было пятнадцать лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В шестнадцать лет — батальоном. В семнадцать лет — 58-м особым полком, а в двадцать лет — в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.

Весною я окончил книгу. Два обстоятельства наталкивали меня на мысль уехать куда-либо. Во-первых, от работы устала голова, во-вторых, вопреки присущему всем издательствам скопидомству, деньги на этот раз заплатили без всякой канители и все сразу.

Я решил уехать за границу. Две недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на третью неделю я получил в визе отказ.

И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку.

— Рита! — сказал я девушке, которую я любил.— Мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра ночью со скорым, и мы возьмем с собой Кольку.

— Понятно,— сказала она, подумав немного,— понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку.

— Рита,— ответил я резонно.— Во-первых, Колька любит тебя, во-вторых, он хороший парень, а в третьих, когда через три недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой, либо за деньгами на еду.

Рита засмеялась в ответ, и, пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в том случилась нужда.

Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала:

— Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и о прочих туманных вещах. Иначе мне все-таки будет скучно.

— Рита,— ответил я твердо,— на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу. А я возьму на себя все остальное.

— А я что?

— А ты ничего. Ты будешь зачислена в «резерв Красной Армии и Флота» до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи.

Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза.

Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна!

— В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это, должно быть, очень поэтично,— восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря.

Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через ять, хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир. И я ответил ему:

— Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилой, но в Самарканде уже есть женотдел, который срывает чадру, комсомол, который не признает великого праздника ураза-байрам, а потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались «Кирпичики».

Николай нахмурился, хотя я не знаю, что может он иметь против женотдела и революционных песен. Он — наш, красный до подошвы, и в девятнадцатом, будучи с ним в дозоре, мы бросили однажды полную недоеденную миску галушек, потому что пора было идти сообщать о результатах разведки своим.

Мартовской южной ночью хлопьями бил снег в дрожащие стекла мчащегося вагона. Самару проезжали в полночь. Был буран, и морозный ветер швырялся льдинками в лицо, когда я и Рита вышли на перрон вокзала.

Было почти пусто. Ежась от холода, прятал в воротник красную фуражку дежурный по станции, да вокзальный сторож держал руку наготове у веревки звонка.

— Мне не верится,— сказала Рита.

— Во что?

— В то, что там, куда мы едем, тепло и солнце. Здесь так холодно.

— А там так тепло. Идем в вагон.

Николай стоял у окна, чертил что-то пальцем по стеклу.

— Ты о чем? — спросил я, дергая его за рукав.

— Буран, вьюга, не может быть, чтобы там цвели уже розы!

— Вы оба об одном и том же. Я не знаю ничего про розы, но что там уже зелень — это ясно.

— Я люблю цветы,— сказал Николай и осторожно взял Риту за руку.

— Я тоже,— ответила она ему и еще осторожней отняла руку.

— А ты? — И она посмотрела на меня.— Что ты любишь?

Я ответил ей:

— Я люблю свою шашку, которую снял с убитого польского улана, и люблю тебя.

— Кого больше? — спросила она, улыбаясь.

И я ответил:

— Не знаю.

А она сказала:

— Неправда! Ты должен знать.— И, нахмурившись, села у окна, в которое мягко бились пересыпанные снежными цветами черные волосы зимней ночи.

Поезд догонял весну с каждой новой сотней верст. У Оренбурга была слякоть. У Кзыл-Орды было сухо. Возле Ташкента степи были зелены. А Самарканд, перепутанный лабиринтами глиняных стен, плавал в розовых лепестках уже отцветающего урюка.

Сначала мы жили в гостинице, потом перебрались в чайхану. Днем бродили по узеньким слепым улицам странного восточного города. Возвращались к вечеру утомленные, с головой, переполненной впечатлениями, с лицами, ноющими от загара, и с глазами, засыпанными острою пылью солнечных лучей.

Тогда владелец чайханы расстилал красный ковер на больших подмостках, на которых днем узбеки, сомкнувшись кольцом, медленно пьют жидкий кок-чай, передавая чашку по кругу, едят лепешки, густо пересыпанные конопляным семенем, и под монотонные звуки двухструнной домбры-дютора поют тягучие, непонятные песни.

Как-то раз мы бродили по старому городу и пришли куда-то к развалинам одной из древних башен. Было тихо и пусто. Издалека доносился рев ишаков, и визг верблюдов, да постукивание уличных кузнецов возле крытого базара.

Мы с Николаем сели на большой белый камень и закурили, а Рита легла на траву и, подставив солнцу лицо, зажмурилась.

— Мне нравится этот город,— сказал Николай.— Я много лет мечтал увидеть такой город, но до сих пор видел только на картинках и в кино. Здесь ничего еще не изломано; все продолжает спать и видеть красивые сны.

— Неправда,— ответил я, бросая окурок.— Ты фантазируешь. Из европейской части города уже добирается до тюбетеечных лавок полуразвалившегося базара узкоколейка. Возле коробочных лавок, в которых курят чилим сонные торговцы, я видел уже вывески магазинов госторга, а поперек улицы возле союза Кошчи протянут красный плакат.

Николай с досадой отшвырнул окурок и ответил:

— Все это я знаю и все это вижу сам. Но к глиняным стенам плохо липнет красный плакат; и кажется он несвоевременным, заброшенным сюда еще из далекого будущего, и уж во всяком случае не отражающим сегодняшнего дня. Вчера я был на могиле великого Тамерлана. Там у каменного входа седобородые старики с утра до ночи играют в древние шахматы, а над тяжелой могильной плитой склонились синее знамя и конский хвост. Это красиво, по крайней мере потому, что здесь нет фальши, какая была бы, если бы туда поставили, взамен синего, красный флаг.

— Ты глуп,— ответил я ему спокойно.— У хромого Тамерлана есть только прошлое, и следы от его железной пяты день за днем стираются жизнью с лица земли. Его синее знамя давно выцвело, а конский хвост съеден молью, и у старого шейха-привратника есть, вероятно, сын комсомолец, который, может быть, тайком еще, но ест уже лепешки до захода солнца в великий пост рамазана и лучше знает биографию Буденного, бравшего в девятнадцатом Воронеж, чем историю Тамерлана, пятьсот лет тому назад громившего Азию.

— Нет, нет, неправда! — горячо возразил Николай.— Ты как думаешь, Рита?

Она повернула к нему голову и ответила коротко:

— В этом я, пожалуй, с тобой согласна. Я тоже люблю красивое.

Я улыбнулся.

— Ты, очевидно, ослепла от солнца, Рита, потому что...

Но в это время из-за поворота голубой тенью вышла закутанная в паранджу старая сгорбленная женщина; увидев нас, она остановилась и гневно забормотала что-то, указывая пальцем на проломанный в стене каменный выход. Но мы, конечно, ничего не поняли.

— Гайдар,— сказал мне Николай, смущенно поднимаясь.— Может быть, тут нельзя... Может, это священный камень какой-то, а мы уселись на него и раскуриваем?

Мы встали и пошли. Попадали в тупики, шли узенькими уличками, по которым только-только могли разойтись двое, наконец вышли на широкую окраину. Слева был небольшой обрыв, справа — холм, на котором сидели старики. Мы пошли по левой стороне, но вдруг с горы раздались крики и вой. Мы обернулись.

Старики, повскакав с мест, кричали нам что-то, размахивали руками и посохами.

— Гайдар,— сказал Николай, останавливаясь.— Может быть, тут нельзя, может быть, тут священное место какое?

— Глупости! — ответил я резко.— Какое тут священное место, когда кругом лошадиный навоз навален!..

Я не договорил, потому что Рита вскрикнула и испуганно отскочила назад, потом послышался треск, и Николай провалился по пояс в какую-то темную дыру. Мы еле успели вытащить его за руки, и, когда он выбрался, я заглянул вниз и понял все.

Мы давно уже свернули с дороги и шли по гнилой, засыпанной землей крыше караван-сарая. Внизу стояли верблюды, а вход в караван-сарай был со стороны обрыва.

Мы выбрались назад и, напутствуемые взглядами молчаливо рассевшихся опять и успокоившихся стариков, прошли дальше. Зашли опять в пустую и кривую уличку и вдруг за поворотом лицом к лицу столкнулись с молоденькой узбечкой. Она быстро накинула на лицо черную чадру, но не совсем, а наполовину; потом остановилась, посмотрела на нас из-под чадры и совершенно неожиданно откинула ее снова.

— Русский? — гортанным резким голосом спросила она. И когда я ответил утвердительно, засмеялась и сказала:

— Русский хорош, сарт плох.

Мы пошли рядом. Она почти ничего не знала по-русски, но все-таки мы разговаривали.

— И как они живут! — сказал мне Николай.— Замкнутые, оторванные от всего, запертые в стены дома. Все-таки какой дикий и неприступный еще Восток! Интересно узнать, чем она живет, чем интересуется...

— Погоди,— перебил я его.— Послушай, девушка, ты слыхала когда-нибудь про Ленина?

Она удивленно посмотрела на меня, ничего не понимая, а Николай пожал плечами.

— Про Ленина...— повторил я.

Вдруг счастливая улыбка заиграла на ее лице, и, довольная тем, что поняла меня, она ответила горячо:

— Лельнин, Лельнин знаю!..— Она закивала головой, но не нашла подходящего русского слова и продолжала смеяться.

Потом насторожилась, кошкой отпрыгнула в сторону, глухо накинула чадру и, низко склонив голову, пошла вдоль стены мелкой торопливой походкой. У нее был, очевидно, хороший слух, потому что секунду спустя из-за поворота вышел тысячелетний мулла, и, опершись на посох, он долго молча смотрел то на нас, то на голубую тень узбечки; вероятно, пытался что-то угадать, вероятно, угадывал, но молчал и тусклыми стеклянными глазами смотрел на двух чужеземцев и на европейскую девушку с смеющимся открытым лицом.

У Николая косые монгольские глаза, маленькая черная бородка и подвижное смуглое лицо. Он — худой, жилистый и цепкий. Он на четыре года старше меня, но это ничего не значит. Он пишет стихи, которые никому не показывает, грезит девятнадцатым годом и из партии автоматически выбыл в двадцать втором.

И в качестве мотивировки к этому отходу написал хорошую поэму, полную скорби и боли за «погибающую» революцию. Таким образом, исполнив свой гражданский «долг», он умыл руки, отошел в сторону, с тем, чтобы с горечью наблюдать за надвигающейся, по его мнению,

гибелью всего того, что он искренне любил и чем он жил до сих пор.

Но это бесцельное наблюдение скоро надоело ему. Погибель, несмотря на все его предчувствия, не приходила, и он вторично воспринял революцию, оставаясь, однако, при глубоком убеждении, что настанет время, настанут огневые годы, когда ценою крови придется исправлять ошибку, совершенную в двадцать первом проклятом году.

Он любит кабак и, когда выпьет, непременно стучит кулаком по столу и требует, чтобы музыканты играли революционно-буденновский марш: «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы смело и гордо...» и т. д. Но так как марш этот по большей части не входит в репертуар увеселительных заведений, то он мирится на любимом цыганском романсе: «Эх, все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло».

Во время музыкального исполнения он пристукивает в такт ногой, расплескивает пиво и, что еще хуже, делает неоднократные попытки разорвать ворот рубахи. Но в виду категорического протеста товарищей это ему удается не всегда, однако все пуговицы с ворота он все-таки ухитряется оборвать. Он душа парень, хороший товарищ и недурной журналист.

И это все о нем.

Впрочем, еще: он любит Риту, любит давно и крепко. Еще с тех пор, когда Рита звенела напропалую бубном и разметывала по плечам волосы, исполняя цыганский танец Брамса — номер, вызывающий бешеные хлопки подвыпивших людей.

Я знаю, что про себя он зовет ее «девушкой из кабака», и это название ему страшно нравится, потому что оно романтично.

Мы шли по полю, засыпанному обломками заплесневелого кирпича. Под ногами в земле лежали кости погребенных когда-то тридцати тысяч солдат Тамерлана. Поле было серое, сухое, то и дело попадались отверстия провалившихся могил, и серые каменные мыши при шорохе наших шагов бесшумно прятались в пыльные норы. Мы были вдвоем. Я и Рита. Николай исчез куда-то еще с раннего утра.

— Гайдар,— спросила меня Рита,— за что ты любишь меня?

Я остановился и удивленными глазами посмотрел на нее. Я не понял этого вопроса. Но Рита упрямо взяла меня за руку и настойчиво повторила вопрос.

— Сядем на камень,— предложил я.— Правда, здесь слишком жжет, но тени все равно нигде нет. Садись сюда, отдохни и не предлагай мне глупых вопросов.

Рита села, но не рядом со мной, а напротив. Резким ударом бамбуковой трости сшибла колючий цветок у моих ног.

— Я не хочу, чтобы ты со мной так разговаривал. Я тебя спрашиваю, и ты должен отвечать.

— Рита! Есть вопросы, на которые трудно отвечать и которые к тому же не нужны и бесполезны.

— Я совсем не знаю, что тебе от меня надо? Когда со мной говорит Николай, я вижу, почему я ему нравлюсь, а когда молчишь ты, я ничего не вижу.

— А зачем тебе?

Рита откинула голову назад и, не жмурясь от солнца, посмотрела мне в лицо.

— Затем, чтобы сделать так, чтобы ты любил меня дольше.

— Хорошо,— ответил я.— Хорошо. Я подумаю и скажу тебе потом. А сейчас пойдем и заберемся на верхушку старой мечети, и оттуда нам будут видны сады всего Самарканда. Там обвалились каменные ступени лестницы, и ни с одной девушкой, кроме тебя, я не рискнул бы забраться туда.

Солнечные лучи мигом разгладили морщинки меж темных бровей Риты, и, оттолкнувшись рукой от моего плеча, скрывая улыбку, она прыгнула на соседний каменный утес.

Из песчаных пустынь с пересыпанных сахарным снегом горных вершин дул ветер. Он с яростью разласкавшегося щенка разматывал красный шарф Риты и теребил ее короткую серую юбку, забрасывая ее чуть-чуть выше колен. Но Рите наплевать. Чулки у нее длинные, и она смеется, захлебываясь слегка от ветра.

— Мы пойдем дальше и не будем сегодня расспрашивать стариков.

Я соглашаюсь. История тридцати тысяч истлевших скелетов мне менее нужна сейчас, чем одна теплая улыбка Риты.

И мы, смеясь, лезем на мечеть. На крутых изгибах темно и прохладно. Я чувствую, как Рита впереди меня останавливается, задерживаясь на минуту, и потом голова моя попадает в петлю ее гибких рук.

— Милый! Как хорошо, и какой чудный город Самарканд!

А внизу, под серыми плитами, под желтой землей, в многовековом покое спит в ржавчине неразглаженных морщин железный Тимур.

Деньги были на исходе. Но нас это мало огорчало, мы давно знали, что рано или поздно, а придется остаться без них. Решили взять билеты до Бухары, и там — будь что будет.

В лепестках осыпающегося урюка, в зелени распускающихся садов качался потухающий диск вечернего солнца. Напоследок мы сидели на балконе, пропитанном пряным запахом душного вечера, и мирно болтали. Было спокойно и тепло. Впереди была дорога — длинная, загадочная, как дымка снеговых гор, поблескивающих белыми вершинами, как горизонты за желтым морем сыпучих песков, как и всякая другая, еще не пройденная и непережитая дорога.

— Черта с два! — сказал Николай, захлопывая записную книгу.— Разве меня заманишь теперь в Россию? Что такое Россия? Разве там есть что-нибудь подобное?..— И он неопределенно помахал рукой вокруг себя.— Все одно и то же да одно и то же. Надоело, опротивело и вообще... Ты посмотри, посмотри только. Вот внизу старый шейх сидит у ворот, и борода у него свесилась до земли. Он напоминает мне колдуна из «Тысячи и одной ночи». Знаешь, как это там... ну, где Али-Ахмет...

— У хозяина сдачи взял? — перебил я его.

— Взял... Я сегодня легенду одну слышал. Старик рассказывал. Интересная. Хочешь, расскажу?

— Нет. Ты переврешь непременно и потом от себя половину прибавишь.

— Ерунда! — обиделся он.— Хочешь, Рита, я тебе расскажу?

Он уселся рядом с ней и, очевидно, подражая монотонному голосу рассказчика, начал говорить. Рита слуша-

ла вначале внимательно, но потом он увлек ее и убаюкал сказкой.

— Жил какой-то князь и любил одну красавицу. А красавица любила другого. После целого ряда ухищрений с целью склонить неприступную девушку он убивает ее возлюбленного. Тогда умирает с тоски и красавица, наказывая перед смертью похоронить ее рядом с любимым человеком. Ее желание исполняют. Но гордый князь убивает себя и назло приказывает похоронить себя между ними, и тогда... Выросли над крайними могилами две белые розы и, склоняя нежные стебли, ласково тянулись друг к другу. Но через несколько дней вырос посреди них дикий красный шиповник и... Так и после смерти его преступная любовь разъединила их. А кто прав, кто виноват — да рассудит в судный день великий Аллах...

Когда Николай кончил рассказывать, глаза его блестели, а рука крепко сжимала руку Риты.

— Нет теперь такой любви,— не то насмешливо, не то с горечью, медленно и лениво ответила Рита.

— Есть... Есть, Рита! — горячо возразил он.— Есть люди, которые способны...— но он оборвал и замолчал.

— Уж не на свои ли способности ты намекаешь? — дружески похлопывая его по плечу, сказал я, вставая.— Пойдемте спать, завтра подниматься рано.

Николай вышел. Рита осталась.

— Погоди,— сказала она, потянув меня за рукав.— Сядь со мной, посиди немного.

Я сел. Она молчала.

— Ты недавно обещал сказать мне, за что ты любишь меня. Скажи.

Я был поражен. Я думал, что это был минутный каприз, и забыл про него; я совсем не готовился к ответу, а потому и сказал наугад:

— За что? Какая ты чудачка, Рита! За то, что ты молода, за то, что ты хорошо бегаешь на лыжах, за то, что ты любишь меня, за твои смеющиеся глаза и за строгие черточки бровей и наконец потому, что надо же кого-нибудь любить.

— Кого-нибудь! Значит, тебе все равно?

— Почему же все равно?

— Значит, если бы ты не встретил меня, то все равно любил бы сейчас кого-нибудь?

— Возможно.

Рита замолчала, потянулась рукой к цветам, и я слышал, как хрустнула в темноте обломанная веточка урюка.

— Послушай,— сказала она,— а ведь так нехорошо как-то выходит. Как будто у животных. Пришла пора — значит, хочешь не хочешь, а люби. По-твоему, так выходит!

— Рита,— ответил я, вставая,—по-моему выходит, что за последние дни ты странно подозрительна и нервна. Я не знаю, отчего это. Может быть, тебе нездоровится, а может быть, ты беременна.

Она вспыхнула. Снова захрустела разломанная на куски веточка. Рита встала и стряхнула с подола накрошенные прутья.

— Ты говоришь глупости! Ты всегда и во всем найдешь гадость. Ты в душе черствый и сухой человек!

Тогда я посадил ее к себе на колени и не отпускал до тех пор, пока она не убедилась, что я не так черств и сух, как это ей показалось.

В пути, в темном вагоне четвертого класса кто-то спер у нас чемодан с вещами.

Обнаружил эту пропажу Николай. Проснувшись ночью, он пошарил по верхней полке, выругался несколько раз, потом растолкал меня.

— Вставай, вставай же! Где наш чемодан? Его нет!

— Украли, что ли?— сквозь сон спросил я, приподнимаясь на локоть.— Печально. Давай закурим.

Закурили.

— Скотство какое! Есть же такие проходимцы. Если бы я заметил, я бы разбил сукину сыну всю морду. Надо проводнику сказать. Крадет свечи, подлец, и темно в вагоне... Да чего же ты молчишь?

— А чего говорить без толку,— сонным голосом ответил я.—Дай огня.

Проснулась Рита. Выругала нас обоих идиотами, потом заявила, что она видит интересный сон, и, чтобы ей не мешали, укрылась одеялом и повернулась на другой бок.

Слух о пропавшем чемодане обошел все углы вагона. Люди просыпались, испуганно бросались к своим вещам и, обнаружив их на месте, вздыхали облегченно.

— У кого украли?— спрашивал в темноте кто-то.

— Вон у этих, на средней полке.
— Ну, что ж они?
— Ничего, лежат и курют.
— Симуляцию устраивают,—авторитетно заявил чей-то бас.— Как так можно, чтобы у них вещи пропали, а они курют!

Вагон оживился. Пришел проводник со свечами, начались рассказы очевидцев, потерпевших и сомневающихся. Разговоров должно было хватить на всю ночь. Отдельные лица пробовали выразить нам сочувствие и соболезнование. Рита крепко спала и улыбалась чему-то во сне. Возмущенный Николай вступил в пререкания с проводником, обвиняя того в стяжательстве и корыстолюбии, а я вышел на площадку вагона.

Снова закурил и высунулся в окно.

Огромный диск луны висел над пустыней японским фонарем, песчаные холмы, убегающие к далеким горизонтам, были пересыпаны голубой лунной пылью, чахлый кустарник в каменном безветрии замер и не гнулся.

Раздуваемая ветром мчащихся вагонов, папироса истлела и искурилась в полминуты. Позади послышался кашель, я обернулся и только сейчас заметил, что на площадке я не один. Предо мной стоял человек в плаще и в одной из тех широких дырявых шляп, какие часто носят пастухи южных губерний. Сначала он показался мне молодым. Но, приглядевшись, я заметил, что его плохо выбритое лицо покрыто глубокими морщинами и дышит он часто и не ровно.

— Разрешите, молодой человек, папиросу,— вежливо, но вместе с тем требовательно проговорил он.

Я дал. Он закурил и откашлялся.

— Слышал я, что случилось с вами несчастье. Конечно, подло. Но обратите внимание на то, что теперь покражи на дорогах, да и не только на дорогах, а и везде, стали обычным явлением. Народ потерял всякое представление о законе, о нравственности, о чести и о порядочности.

Он откашлялся, высморкался в огромный платок и продолжал:

— Да и что с народа спрашивать, если сами стоящие у власти подали в свое время пример, узаконив грабеж и насилие.

Я насторожился.

— Да, да,— с внезапной резкостью опять продолжал

он.—Все разломали, натравили массы: бери, мол, грабь. А теперь, видите, к чему привели... Тигр, попробовавший крови, яблоками питаться не станет! Так и тут... Грабить чужого больше нечего. Все разграблено, так теперь друг на друга зубы точат. Было ли раньше воровство? Не отрицаю. Но тогда воровал кто? Вор, профессионал, а теперь — самый спокойный человек нет-нет, да и подумает: а нельзя ли мне моего соседа нагреть? Да, да... Вы не перебивайте, молодой человек, я старше вас! И не смотрите подозрительно, я не боюсь. Я привык уже. Меня в свое время таскали и в ЧК и в ГПУ, и я прямо говорю: ненавижу, но бессилен. Контрреволюционер, но ничего не могу. Стар и слаб. А был бы молод, сделал бы все, что можно в защиту порядка и чести... Князь Оссовецкий,— меняя голос, отрекомендовался он. — И заметьте, не бывший, как это теперь пишут многие прохвосты, пристроившиеся на службу, а настоящий. Каким родился, таким и умру. Я и сам мог бы, но не хочу. Я старый коннозаводчик, специалист. Меня приглашали в ваш Наркомзем, но я не пошел— там сидят дворовые моего деда, и я сказал: нет, я беден, но я горд.

Приступ кашля, охвативший его, был так силен, что он согнулся, и его дырявая шляпа закачалась, зияя прорехами. Потом он молча повернулся и, не глядя на меня, уставился в окно.

Над пустыней начиналась песчаная буря. И ветер, вздыбливая пески, выл на луну, как дворовая собака воет протяжно на чью-то смерть.

Я вернулся в вагон. Николай спал, опустив нечаянно руку на плечо Риты. Я лег рядом и, засыпая, представил себе заросший мхом замок, опускающийся мост, оборванные цепи и у ворот привратника в железных рыцарских доспехах, на которых ржавчины больше, чем металла. Стоит он и гордо сторожит вход в развалины, не подозревая того, что никто не собирается нападать на них, ибо никому, кроме его самого, старая плесень не нужна, не дорога и никчемна.

На всякий случай руку Николая с плеча Риты я убрал.

В Бухаре мы познакомились случайно с Махмудом Мурадзиновым, и он пригласил нас к себе к обеду. Махмуд был торговец шелками и коврами. Он был привет-

лив, хитер и пронырлив. По его косым, блестящим глазам никогда нельзя было понять, говорит ли он искренне, или лжет.

У Махмуда все наполовину. Он набросил цветной халат и ходил по базару в каком-то старомодном сюртуке, но чалмы с головы не снял. Дома у него наряду с разостланными на полу коврами стояли стулья, но стола не было, и потому стулья казались бессмысленными и неоправданными. Его жены и дочь выходили к обеду, но разговаривать с нами не смели.

Говорил он по-русски хорошо, хотя и не особенно быстро.

— Садитесь, садитесь, пожалуйста. Гассан, давай стулья.

Гассан — детина лет двадцати — выдвинул стулья на середину комнаты. Мы сели, но почувствовали себя крайне неудобно, ибо похожи были на пациентов, усевшихся для докторского осмотра. Рита запротестовала первою и, убравшись со стула, уселась на ковер. Я тоже. И только Николай, считавший почему-то, что, отказавшись от столь любезно предложенных хозяином стульев, он обидит его, долго еще дураком сидел в одиночестве посреди комнаты.

— Рассказывайте, пожалуйста,—то и дело просил нас хозяин.— Сейчас женщины окончат готовить обед. Рассказывайте, будьте так любезны!

Я, собственно говоря, не знал, о чем рассказывать. Начал о Москве,— он слушал внимательно. Вопросов он не задавал, и потому крайне трудно было угадать, что его больше всего интересует. Я заговорил о политике советской власти в области национальных вопросов, надеясь вызвать его на беседу. Но он молчал и слушал, одобрительно покачивая головой. Тогда, наконец, я решил козырнуть, задев его за больное место всех купцов, и заговорил о налогах.

Но Махмуд все слушал и одобрительно покачивал головой, как бы в одинаковой степени одобряя все мероприятия и в области национальной, и в области налоговой политики, и вообще во всем.

Меня выручила Рита.

— Скажите, пожалуйста, сколько у вас жен?— бесцеремонно спросила она.

Махмуд изобразил на своем сухом лице приятную улыбку и ответил, чуть наклонив голову:

— Две. Они сейчас придут.

— А почему так мало?— спросила Рита.

— Больше не нужно. Дорого стоят, да и зачем мне больше? У вас сколько мужей есть?— в свою очередь хитро спросил он.

— Один,— ответила Рита, слегка покраснев.— Конечно, один, Махмуд.

— Зачем так мало?— вежливо спросил он и еще хитрее улыбнулся.— У вас теперь, говорят, даже такой закон вышел, что можно, сколько хочешь жен и сколько хочешь мужей.

Рита стала с ним спорить, доказывая, что такого глупого закона нет. Он делал вид, что соглашается, но, по-видимому, верил ей мало.

Между тем Николай, не отрывая глаз, молча посматривал на соседнюю комнату, отделенную широкими занавесками. Занавески иногда чуть-чуть колыхались и за ними слышался сдержанный шепот. Потом они распахнулись, и разом в комнату вошли три женщины. Они были без паранджи и без чадры, но, очевидно, еще только недавно расстались с ними, потому что головы держали чуть-чуть склоненными и глаза опущенными вниз.

Стали обедать. Ели какой-то суп, в котором бараньего жира было больше, чем всего остального, потом подали плов — рис с бараниной, с кусочками моркови и изюмом.

Николай не сводил глаз с дочери Махмуда — Фатимы. Она почти ничего не ела и за все время ни разу не посмотрела ни на кого из нас, кроме Риты. За Ритой она наблюдала пристально, всматриваясь в каждую черточку лица и каждый жест, как бы стараясь запомнить его.

Николай подталкивал меня локтем, восхищаясь смуглым лицом девушки, но мне оно не особенно нравилось, и я старался больше насчет плова.

Кончив обедать, мы встали, поблагодарили и пожали руку хозяина. Николай подошел к девушке и, поклонившись, протянул ей руку тоже. Она вскинула на него испуганные глаза, отступила на шаг и вопросительно посмотрела на отца. Тот был, по-видимому, недоволен ее порывистостью; он резко сказал ей что-то по-своему, тогда она покорно подошла и сама подала руку Николаю. Вышло как-то неловко.

После обеда вино немного развязало язык Махмуду.

— Скажите, пожалуйста,— подумав, спросил он,— какая республика самая главная в России?

— То есть в Союзе,— поправил я его.— Главных нет. Все одинаковые и на равных правах.

Ответ пришелся, по-видимому, по вкусу, он прищелкнул языком и сказал:

— Я же так тоже думаю, что на равных.

В это время Рита в углу расспрашивала о чем-то Фатиму. Та стояла перед ней, как провинившаяся, и что-то отвечала шепотом. Но Махмуду это, очевидно, не особенно понравилось. Он опять сказал ей что-то и, улыбнувшись, пояснил нам:

— Простите, пожалуйста, она выйдет по хозяйству на минутку.

Но девушка больше так и не вернулась. Потом мы распрощались и ушли.

В красной чайхане нам сказал узбек-заведующий:

— Вы были уже у него? Он всегда зовет к себе людей, которые из Москвы, и расспрашивает, расспрашивает. Он очень умен. Он бывший курбаш и командовал басмачами. Он улыбается, но он хитрый, очень хитрый. Он ведет большую работу по разложению басмачества. Потому что видит, как возрождается наш край... Он почти забросил торговлю и читает по складам политграмоту. Но ему трудно сразу переломать себя во всем, потому что он уже стар.

— О чем ты говорила с его дочерью?— спросил я вечером Риту.

— Почти что ни о чем. Я не успела. Я спросила только ее, как ей нравится больше: в чадре или без чадры.

— А она?

— Она ответила, что в чадре, потому что без чадры страшно.

По энциклопедическому словарю выходило, что есть город Асхабад, что значит в переводе на русский «Сад любви». Живут там текинцы и туркмены и управляет ими генерал-губернатор.

Но соврал бессовестно старый, затрепанный словарь! Никакого такого Асхабада и нет вовсе, а есть Полторацк — в память расстрелянного комиссара. Никакого генерал-губернаторства нет, а есть Туркменская советская республика, а что касается садов, так, правда, в Полторацке их много, но ни в одном из них никакой любви мы не видели, потому что на этот счет за садами строго смотрят поставленные милиционеры.

В Асхабад мы приехали с двумя рублями денег, небольшим не проданным еще чемоданом и большим не украденным еще одеялом. Вещи сдали на хранение, благо за эту услугу денег вперед не берут, а сами отправились в город.

Я рассчитывал зайти в редакцию, дать пару очерков, фельетонов или рассказов, в общем, все равно что, только бы заплатили несколько рублей. Но в редакции я наткнулся на запертую дверь, возле которой щелкающая семечки сторожиха объяснила мне, что сегодня начался мусульманский праздник ураза-байрам и никого в редакции нет и не будет три дня подряд.

«Здравствуйте! Начинается!» — подумал я.

Приближался вечер, а ночевать было негде. Мы случайно наткнулись на проломанную каменную стену; пробрались в отверстие. За стеной — глухой сад. В глубине сада какие-то развалины. Мы выбрали закоулок поглуше — комнату без пола и с крышей, до половины снесенной прочь. Натаскали охапку мягкой душистой травы, завалили вход в наше логово какими-то чугунными скамейками, укрылись плащами и легли спать.

— Рита! — спросил Николай, дотрагиваясь до ее теплой руки.— Тебе не страшно?

— Нет,— ответила Рита,— мне не страшно, мне хорошо.

— Рита! — спросил я, укутывая ее крепче полой плаща.— Тебе не холодно?

— Нет,— ответила Рита,— мне не холодно, мне хорошо.— И рассмеялась.

— Ты чего?

— Так. Теперь мы совсем бесприютные и беспризорные. Я никогда еще не ночевала в развалинах. Но я ночевала однажды на крыше вагона, потому что в вагоне ночью лезли ко мне солдаты.

— Кто? Красные?

— Да.

— Неправда. Красные не могли лезть, что ты выдумываешь! — возмутился Николай.

— Могли, сколько угодно,— сказал я.— Поверь мне, я был больше тебя там и знаю лучше тебя.

Но он не хочет сдаться и вставляет напоследок:

— Если это правда, что они лезли к беззащитной женщине, то это были, очевидно, отборные негодяи и бывшие дезертиры, которых вовремя позабыли расстрелять.

Суждения Николая отличаются красочностью и категоричностью, а его система делать выводы всегда ставит меня в тупик, и я говорю:

— Смотри проще.

— Гайдар!— шепчет мне на ухо возмущенная Рита.— И ты тоже раньше смотрел проще?

И я отвечаю:

— Да, смотрел.

Но Рита прижимается ко мне и горячо шепчет:

— Ты врешь, ты непременно врешь. Я не верю, чтобы ты был такой.

И кладет мне голову на свое любимое место — на правую сторону моей груди.

Николай лежит молча. Ему что-то не спится, и он окликает меня.

— Ну?

— Знаешь, что? По-моему, ты все-таки... все-таки... очень беспринципный человек!

— Может быть. А ты?

— Я-то? — Он смеется.— У меня есть основные положения, которым я не изменяю никогда. В этом отношении — я — рыцарь.

— Например?

— Ну, мало ли что... Например, ты... что бы вокруг тебя, да и вообще ни делалось скверного, всему и всегда ты находишь оправдания. Это нечестно, по-моему.

— Не оправдания, а объяснения,— закрывая глаза, поправляю я.

Минута. Другая. Засыпаем. В просвете сломанной крыши пробивается зеленый луч и падает на синие волосы Риты. Рита улыбается. Рита спит. Рите снится сон, которого я не вижу...

Проснулись мы рано. Стояло яркое солнечное утро. От промытой росой травы поднимался теплый ароматный

пар. Было тихо в заброшенном саду; где-то невдалеке журчала вода, а в углу сада находился фонтанный бассейн, заросший мхом.

Умывшись из бассейна светлой, холодной водой, мы выбрались через пролом на обсаженную деревьями улицу и пошли бродить по незнакомому городу. Зашли на базар, купили чурек — круглую пышную лепешку, фунта на два с половиной, купили колбасы и направились в грязную базарную чайхану, одну из тех, в которых целый чайник жидкого зеленого напитка подают за семь копеек. И пока старый текинец возился возле огромного пятиведерного самовара, вытирая полой своего халата предназначенные для нас чашки, Николай достал нож и крупными ломтями нарезал колбасу.

Старик тащил уже нам поднос с посудой и чайником, но, не дойдя до стола, внезапно остановился, едва не выронил посуду и, перекривив осунувшееся лицо, закричал нам:

— Эйэ, ялдаш, нельзя!.. Э-э, нельзя!..— А сам указывал на наш стол. И мы сразу же поняли, что это аппетитные ломти колбасы привели почтенного старца в столь яростное негодование.

— Эх, мы! — сказал я Николаю, поспешно упрятывая колбасу в карман.— И как это мы не сообразили раньше?

Старик сунул нам прибор на стол и ушел, вспоминая имя Аллаха и отплевываясь.

Но мы все-таки перехитрили его. Мы сидели в пустом темном углу, и я под столом передавал Рите и Николаю куски; ребята заталкивали их в середину хлебного мякиша и потом, чуть не давясь от смеха, принимались есть набитый запретной начинкой чурек.

Пошли за город. За городом — холмы, на холмах — народ. Праздник, гулянье... Узбеки Самарканда по большей части низкорослы и полны. Одеты они в засаленные ватные халаты с рукавами, на целую четверть спускающимися ниже пальцев. На головах тюрбаны, на ногах туфли. Здесь же туркмены носят халаты тонкие, красные, туго перетянутые узенькими поясами; на головах огромные черные папахи, густо свисающие кудрявой овечьей шерстью.

Я взял одну из таких папах и ужаснулся. По-моему, она весила никак не меньше трех-четырех фунтов.

Видели и здешних женщин. Опять-таки ничего похожего на Узбекистан. Лица монгольского типа — открытые, на голове поповская круглая камилавка, а на камилавку натянут рукав яркого цветного халата; другой рукав без толку мотается по спине. На руках медные браслеты, длиной от кисти до локтя; груди в медных блестящих полушариях, как у мифических амазонок; по лбу тянутся золотые монеты, спускающиеся по обеим сторонам лица; на ногах деревянная обувь, разрисованная металлическими гвоздями; высокие, выше московских, каблуки. Проходили мимо армянки в накидках и персиянки в черных шелковых покрывалах, похожие на строгих католических монахинь.

Мы забрались на холмы. Внизу была долина, а невдалеке начиналась цепь гор. На горах были видны белые пятна нерастаявшего снега. Там, за вершинами, в нескольких километрах отсюда, чужая сторона, чужой край — Персия!

Спустились в сухую песчаную лощину. Было интересно идти по извивающемуся и завивающемуся руслу высохшего ручья, ибо из-за отвесных кручин обрывов ничего, кроме палящего солнца — будь оно проклято! — не было видно и нельзя было определить, куда выйдешь.

— Смотри! — крикнула Рита, отскакивая,— смотри, змея!

Мы остановились. Поперек дороги, извиваясь черной лентой, ползла полутороаршинная гадюка. Николай поднял большой камень и швырнул в нее, но промахнулся, и змея, засверкав стальной чешуей, шмыгнула вперед. Но Николай и Рита пришли в неописуемый азарт: на бегу поднимая камни, они неслись за ускользающей змеей до тех пор, пока в голову ей не попал тяжелый булыжник; она остановилась, закорчилась и зашипела. Долго еще они швыряли в нее камнями и, только когда она совсем перестала шевелиться, подошли поближе.

— Я возьму ее в руки,—сказала Рита.

— Гадость всякую!— возмутился Николай.

— Ничего не гадость. Смотри, мы, кажется, всю ее разбили огромными кирпичинами, а на ней ни одной кровинки, ни царапины! Она вся — как из стали.— Рита потрогала змею тросточкой, потом хотела прикоснуться пальцем, но не решилась.

— Смотри-ка, а ведь она еще жива!

— Не может быть! — возразил Николай.—Я напоследок бросил ей на башку десятифунтовую глыбу.

Но змея была жива. Мы сели на уступ и закурили. Змея пошевелилась, потом медленно, точно просыпаясь от глубокого сна, изогнулась и тихонько, как больной, шатающийся от слабости, поползла дальше.

Николай и Рита посмотрели друг на друга, но ни одного камня, ни одного куска глины вдогонку ей не бросили. Тогда я встал и одним рывком острого охотничьего ножа отсек гадюке голову.

Крик негодования и бешенства сорвался с уст Риты.

— Как ты смел!— крикнула она мне.—Кто тебе позволил?

Я, вытирая нож о голенище, посмотрел на нее и ответил:

— Мы здесь будем отдыхать на лужайке, и я не хочу, чтобы рядом с нами ползала змея, обозленная тем, что ее не добили до смерти. И потом... чего это вы с Николаем не кипятились, когда сами три минуты тому назад добивали ее камнями?

— Да, но она выжила все-таки! Она страшно цеплялась за жизнь, и можно было бы оставить,— чуть-чуть смущенно заступился за Риту Николай.— Ты знаешь, существовал обычай, что преступнику, сорвавшемуся с петли, даровали жизнь.

— Глупый обычай,— ответил я.— Или не надо начинать, или, если уж есть за что, то пусть он сорвется десять раз, а на одиннадцатый все-таки должен быть повешен. При чем здесь случай и при чем здесь романтика?

Спали опять там же. Ночью разбудил внезапный шум. Где-то близко разговаривали. И мы решили, что это какие-нибудь бездомные бродяги ищут ночлега.

— Пусть ищут. И им места хватит,—сказал я.— А кроме того, вход в нашу берлогу завален и вряд ли они в темноте полезут сюда.

Мы уже стали было задремывать снова, но вдруг в темноте развалин мелькнул свет электрического фонаря.

— Это не бездомные, это милицейский обход,— шепнул я.— Давайте молчать, может быть, они не заметят.

— Нет никого,— громко сказал кто-то.— А там нечего и смотреть, там все завалено садовыми скамейками.

— Давай, полезай все-таки.

Кто-то полез, но плохо наваленные скамьи с грохотом полетели вниз. Послышались громкие ругательства. Потом снова вспыхнул огонек фонарика, и прорвавшись в образовавшийся проход, узенький желтый луч нащупал нас.

— Ага,— послышался торжествующе-злорадный голос.—Трое даже и одна баба. Демченко, сюда!

В темноте щелкнул повертываемый барабан нагана. Я чувствовал, что рука Риты чуть-чуть дрожит и что Колька собирается открыть бешеную словесную атаку.

— Спокойней и ни слова. Вы все испортите. Разговариваю только я.

— Давай, давай, не канителься. Выходи! — послышалось категорическое приказание.— А если кто бежать, враз пулю.

Нам посветили. Мы выбрались и, нащупываемые светом фонарика, остановились, не видя никого.

— Вы что здесь делали? — спросил старший обхода.

— Спали,—спокойно ответил я.— Дальше! Куда теперь нужно идти?

— Что это за место нашли для спанья? Марш в отделение!

Я улыбнулся. Я умышленно не вступал в пререкания, ибо знал, что через 20—30 минут нас отпустят. Старший обхода был чуть-чуть смущен тем, что мы были спокойны и даже насмешливо посматривали на него. Он сразу сбавил тон и сказал уже вежливей:

— Идите за нами, сейчас разберемся.

Но тут случилось то, чего я больше всего опасался. Один из агентов навел на лицо Риты свет и сказал своему товарищу, усмехаясь:

— Проститутка, да еще какая... фью! — И прежде, чем я успел что-либо предпринять, Николай, сорвавшись с места, со всего размаха ударил по лицу говорившего. Фонарь упал к ногам и потух. Я бросился к Рите. Николаю крепко скрутили руки. Я плюнул с досады и молча позволил закрутить себе. Рите не связывали. И под конвоем четырех настороженных человек, опустивших наганы к земле, мы тронулись по темным улицам.

— Сволочи,— меня кто-то в драке по губам саданул, и идет кровь,— сплевывая, сказал Николай.

— Ей-богу, мало тебе,— пробормотал я откровенно.— И на кой черт это твое ненужное рыцарское заступничество? Кто тебя просил о нем?

— Сумасшедший ты какой-то,— прошептала ему Рита.— Ну, что от меня убавилось, что ли, что они назвали меня проституткой? Чудак, право!

И она достала платок и осторожно вытерла его запекшиеся губы.

В отделении милиции мы пробыли до утра. Утром нас допрашивал старший милиционер. Потребовал предъявить документы и был весьма озадачен, когда прочитал в моих, что «предъявитель сего есть действительно собственный корреспондент газеты «Звезда», специальный корреспондент газеты «Смычка» и т. д. и т. д.

Он почесал голову и сказал, недоумевая:

— Так вы, значит, вроде, как рабкор. Скажите, пожалуйста, как же это вам не стыдно по таким местам ночевать?

— Видите ли, товарищ,— объяснил я ему,— наше такое дело. И ночевали мы там, потому что это нужно было для впечатлений. В гостинице что? В гостинице все одно и то же. А тут можно наткнуться на что-нибудь интересное.

Он недоверчиво посмотрел на меня, потом покачал головой.

— Это, значит, чтобы описывать все, надо по чужим садам ночевать? Да чего же там интересного-то?

— Как чего? Мало ли чего! Ну, вот, например, вчерашний обход. Ведь это же тема для целого рассказа!

— Гм,— откашлялся он. И, нахмурив брови, обмакнул перо в чернильницу.— И это вы всегда таким образом эту самую тему ищете?

— Всегда! — с азартом ответил я.— Мы спим на вокзалах, бываем в грязных чайханах, ездим в трюме пароходов и шатаемся по разным глухим закоулкам.

Он посмотрел еще раз на меня, и, по-видимому, убежденный горячностью моих доводов, сказал с сожалением:

— Так то ж собачья эта у вас служба! А я думаю, как возьму газеты, и откуда это они все описывают? — Но тут он хитро сощурил глаза и, мотнув головою на Николая, сидящего с Ритой поодаль, спросил меня:

— А это он что, тоже для темы милиционера вчера по морде съездил?

Я объяснил тогда, как было дело, причем, снизив голос, соврал, что этот человек — известный поэт, то есть пишет стихи, и что он уж от роду такой — чуть тронутый. Что его абсолютно нельзя раздражать, ибо тогда он будет бросаться на людей до тех пор, пока его не увезут в психиатрическую лечебницу.

Милиционер молча выслушал, потом опять почесал рукой затылок и сказал авторитетно:

— Да, конечно, уж если поэт... Это все такой народ,— и он махнул рукой.— Ото я читал в газете — один повесился в Москве недавно.

— Конечно, повесился,— подтвердил я.— Да что там один, они дюжинами скоро вешаться будут, потому что народ все неуравновешенный, разве только один Маяковский... Вы про Маяковского слыхали, товарищ?

— Про какого?

— Про Маяковского, говорю.

— Нет,— сказал он, подумав.— Как будто знакома фамилия, а точно сказать не могу.

Мне понравился этот спокойный, флегматичный милиционер. Нас скоро отпустили, но на Николая составили все-таки протокол и взяли с него обязательство уплатить 25 рублей штрафа по приезде на место постоянного жительства.

Жили мы в этом городе, как птицы небесные. Днем до одури бродили, валялись на солнце, по крутым холмам возле города. Иногда днем я или Николай уходили в редакцию, писали очерки, фельетоны, брали трехрублевые авансы в счет гонорара, а гонорар самый мы оставляли для покупки билетов на дальнейший путь.

Ночевать мы ухитрялись так: станция там маленькая, не узловая. Последний поезд уходит в десять вечера, после чего со станции выметают всю публику, а потом впускают человек двадцать — тридцать, тех, что в целях экономии доехали сюда бесплацкартным товаро-пассажирским поездом, чтобы уже здесь сесть на проходящий дальше плацкартный.

Тогда я отправлялся к агенту, показывал корреспондентское удостоверение и говорил, что в городе свободных

номеров нет, а ехать нам дальше только завтра. Агент давал записку на одну ночь. Агенты дежурили посменно. Их было семь человек, и семь раз, семь ночей я получал разрешение; но на восьмой раз я увидел дежурившего в первую ночь.

В маленьком полутемном вокзальном помещении мы встретились с человеком, которого мы прозвали «третий год».

Дело было так. Мы лежали на каменном полу возле стола и собирались засыпать, когда вдруг чей-то огромный дырявый башмак очутился на кончике скамейки над моей головой и надо мной мелькнуло черное, заросшее лохматой щетиной лицо человека, бесцеремонно забравшегося спать на стол.

— Эй, эй, дядя,— пошел со стола! — закричал сонный красноармеец железнодорожной охраны.— И откуда ты взялся здесь?

Но в виду того, что человек не обращал никакого внимания на окрик, красноармеец подошел к нам и, не имея возможности добраться до стола, снял винтовку и легонько потолкал прикладом развалившегося незнакомца. Тот приподнял голову и сказал негодующе:

— Прошу не прерывать отдых уставшего человека.

— Дай-ка документы!

Человек порылся, вынул засаленную бумагу и подал.

— Какого года рождения? — удивленно протянул красноармеец, прочитав бумагу.

— Тысяча девятьсот третьего,— ответил тот.— Там, кажется, написано, товарищ.

— Третьего года! Ну и ну! — покачал головой охранник.— Да тебе, милый, меньше трех десятков никак дать нельзя! Ну и дядя! — И, возвращая документы, он спросил уже с любопытством: — Да ты хоть какой губернии будешь?

— Прошу не задавать мне вопросов, не относящихся к исполнению вами прямых ваших обязанностей! — гордо ответил тот и, спокойно повернувшись, улегся спать.

С того раза мы встречались здесь с ним каждый вечер. Мы познакомились.

— Некопаров,— отрекомендовался он нам.— Артист вообще, но в данную минуту вследствие людской малопорядочности принужден был силою обстоятельств поступить

на презренную службу в качестве счетовода при железнодорожном управлении.

Он был в рваных огромных ботинках, в затрепанных донельзя брюках, предательски расползающихся на коленях, в старой, замасленной пижаме, а на его огромной всклокоченной голове лихо сидела чуть державшаяся на затылке панама.

Костюм его был замечателен еще тем, что не имел ни одной пуговицы даже там, где им больше всего быть полагается, и все у него держалось на целой системе обрывков бечевки и мочалы и на булавках. Говорил он густым модулирующим голосом, авторитетно, спокойно и чуть-чуть витиевато.

В шесть часов утра являлись носильщики с метлами, кричали, бесцеремонно дергали за ноги особенно крепко разоспавшихся. В клубах поднятой с пола пыли раздавался тогда кашель и зевки выпроваживаемых на улицу людей.

Мы вышли на крыльцо вокзала. Идти было рано — ни одна харчевня еще не была открыта. Солнце еще только-только начинало подниматься над зелеными шапками тополей, и было прохладно.

— Холодно,— вздрагивая, проговорил наш новый знакомый.— Костюм у меня с дефектами и плохо греет. Игра судьбы. Был в революцию упродкомиссара, потом после нэпа — агентом по наблюдению за сбором орехов возле Афонского монастыря, был, наконец, последнее время артистом, и сейчас артист в душе. И представьте, играл Несчастливцева в труппе Сарокомышева! Сколько городов объездил, и всюду успех! Попали в Баку. Но этого проходимца Сарокомышева посадили за что-то, и труппа распалась. Встретился я тогда с одним порядочным человеком. Разговорились. Так, я говорю ему, и так. «Батенька! — говорит он мне.— Да вы ведь и есть тот самый человек, которого я, может, три года ищу. Поедемте в Ташкент! Там у меня труппа почти готовая. Ждут не дождутся. Видите, телеграмму за телеграммой шлют!» Показал две. Там действительно коротко и ясно: «Приезжай. Ждать больше нельзя». Ну, натурально, купили мы с ним билеты, переехали Каспий, доехали досюда, он и говорит: «Надо остановку дня на три сделать. Тут актриса одна живет, мы с собою ее прихватим». Ну, остановились. Живем день в гостинице, живем другой. Что же ты, го-

ворю я ему, меня с актрисой никак не познакомишь? «Нельзя,— отвечает он мне,— потерпи немного. Она женщина гордая и не любит, чтоб к ней без дела шлялись». А я про себя думаю: врешь ты, что гордая, а, вероятно, ты с ней шашни-машни завел и потому, при моей видной наружности, познакомить меня с ней боишься.

И только это просыпаюсь я на третий день и смотрю: бог ты мой! А где же мои брюки, а также и все прочие принадлежности туалета?

— Так и исчез? — задыхаясь от смеха, спросила Рита.

— Так и исчез!

— Заявляли?

— Нет. То есть я хотел, но предпочел, во избежание всяких осложнений, умолчать.

— Каких же осложнений? — спросил я. Но он пропустил мимо ушей этот вопрос и продолжал:

— Стучу я тогда в стенку. Приходит ко мне какая-то морда, а я и говорю: позовите мне хозяина гостиницы. Так и так, говорю я хозяину, выйти мне не в чем, по причине совершившегося хищения, будьте настолько человеколюбивы, войдите в положение! «А мне-то какое дело до вашего положения? — отвечает он.— Вы лучше скажите, кто мне за номер теперь платить будет, да, кроме того, за самовар, да сорок копеек за прописку?» — Ясно, говорю я, что никто! А кроме того, не найдется ли у вас каких-нибудь поношенных брюк? — Он и слушать ничего не хотел, но тогда я, будучи доведен событиями до отчаяния, заявил ему: хорошо, хорошо, в таком случае я без оных, в натуральном виде выйду сейчас в вашу столовую, вследствие чего получится колоссальный скандал, так как я видел через дверь, что туда сейчас прошла приезжая дама с дочкою, из тринадцатого номера, а кроме того, там за буфетом сидит ваша престарелая тетка — женщина почтенная и положительная.

Тогда он разразился ругательствами, ушел и, вернувшись, принес, негодяй, мне это отрепье. Я ужаснулся, но выбора не было.

— Что же вы теперь думаете делать?

— Костюм. Прежде всего, как только первая получка, так сразу же костюм. А иначе в таком виде со мной разговаривать никто не хочет. А потом женюсь.

— Что-о?

— Женюсь, говорю. В этом городе вдов очень много. Специально сюда за этим ездят. Все бывшие офицерские жены, а мужья у них в эмиграции. Тут в два счета можно. Меня наша курьерша обещала познакомить с одной. Домик, говорит, у нее свой, палисадник с цветами и пианино. Костюм только надо. Ведь не явишься же свататься в таком виде? — И он огорченно пожал плечами.

— Чаю бы недурно стакан,— сказала Рита, вставая.— Буфет в третьем классе открылся уже.

Мы поднялись и позвали его с собой.

— С удовольствием бы,—ответил он, галантно раскланиваясь.— Однако предупреждаю: временно нищ, как церковная крыса, и не имею ни сантима, но, если позволите...

С Ритой он был вежлив до крайности, держал себя с достоинством, как настоящий джентльмен, хотя правой рукой то и дело незаметно поддергивал штаны.

Впоследствии, когда нас безнадежно выперли с вокзала, он оказал нам неоценимую услугу: на запасных путях он разыскал где-то старый товарный вагон, в котором ночевали обыкновенно дежурные смазчики, подвыпившие стрелочники и случайно приехавшие железнодорожные рабочие.

Он устроился сначала там сам, потом похлопотал и за нас перед тамошними обитателями, и мы тоже въехали туда.

Однажды вечером все замызганные обитатели дырявого вагона дружными хлопками и поощрительными криками приветствовали возвращение Некопарова.

Он был одет в новенькие брюки в полоску, в рубаху «апаш», на ногах его были желтые ботинки джимми с узкими, длинными носками. Вся щетина была снята, волосы зачесаны назад, и вид у него был гордый и самодовольный.

— Кончено! — авторитетно изрек он.— Больше влачить жалкое существование не намерен. Отныне начинается эра новой жизни. Ну-с, как вы меня находите? — И он подошел к нам.

— Вы великолепны! — сказал ему я.— Ваш успех у вдовы гарантирован, и вы смело можете начинать атаку.

Некопаров вынул пачку папирос «Ява, 1-й сорт, б» и предложил закурить; потом он извлек из кармана апельсин и преподнес его Рите. Очевидно, он был доволен тем, что в свою очередь может сделать приятное нам.

Весь вечер он услаждал слух обитателей вагона ариями из «Сильвы». У него был не сильный, но приятный баритон.

Подвыпивший деповский слесарь, проживающий здесь по той причине, что его уже третий день за пропитую получку не пускала домой жена, расчувствовался совсем, достал из кармана полбутылки и на глазах у всех единолично выпил прямо из горлышка «за здоровье и счастье уважаемого товарища — артиста Некопарова».

А Некопаров произнес ответную речь, в которой благодарил всех присутствующих за оказанный ему радостный прием. Потом кто-то внес дельное предложение, что недурно было бы для такого радостного события выпить вскладчину. Предложение было принято. И Некопаров, как виновник торжества, выложил два целковых, а остальные — кто полтинник, кто двугривенный. В общем набрали. Послали Петьку-беспризорного за четвертью водки, за ситным и за студнем. Не за тем студнем, который вокзальные торговки грязными лапами продают по гривеннику за фунт, а за тем, который в кооперативном киоске отвешивают в бумагу по тридцати копеек за килограмм.

И какая это была веселая ночь! Уж не стоит и говорить, что Некопаров в единственном числе изобразил весь первый акт пьесы Островского «Лес»! Или, что чумазый Петька-беспризорный, настукивая обглоданными костями, как кастаньетами, пел ростовское «Яблочко»! Взялась под конец откуда-то гармония. И Некопаров, пошатываясь, встал и сказал:

— Прошу внимания, уважаемые граждане. По счастливому совпадению обстоятельств в нашем темном и неприглядном убежище, посреди грубых и малокультурных, но вместе с тем и очень милых людей...

— Посреди раклов,— поправил кто-то.

— Вот именно, посреди людей, волею судьбы опустившихся до грязного пола пропахшего нефтью вагона, оказалась женщина из другого, неизвестного мира, мира искусств и красоты! И я беру на себя смелость от имени всех здесь собравшихся просить ее принять участие в нашем скромном празднике.

Он подошел к Рите и, вежливо поклонившись, подал ей руку. Гармонист дунул «танго». И Некопаров, гордясь

своей дамой, выступил в середину молча расступившегося круга.

Было полутемно в закопченном, тусклом вагоне. В углу яростно трещало пламя в раскаленной докрасна железной печке, и по загорелым, обросшим щетиной лицам бегали красные пятна и черные тени, а в глазах, жадно всматривающихся в изгибы мрачного танца, вспыхивали желтые огоньки.

— Танец... — раздумчиво, пьячым голосом проговорил выгнанный женою слесарь,— это танец...

— Чего танец?

— Так... Эх, есть и живут же люди! — с оттенком зависти сказал он.

Но никто не понял, что про это, собственно, он говорит.

Потом Рита, под прихлопывания и присвистывания, танцевала с Петькой-беспризорным «русскую». К вагону подошел охранник и, постучав прикладом в дверь, закричал, чтобы не шумели. Но охранника дружным хором послали подальше, и он ушел, ругаясь.

Однако под конец перепились здорово: перед тем как лечь спать, в вагон понатащили каких-то баб, потом потушили огни и возились с бабами по темным углам до рассвета.

Город начинал надоедать. Город — скучный, сонный. Как-то развернул я газету и рассмеялся: там было извещение о том, что «созывается особая междуведомственная комиссия по урегулированию уличного движения». Что же тут регулировать? Разве что редко-редко придется постовому милиционеру поднять жезл с тем, чтобы остановить пару-другую нагруженных саксаулом ишаков и пропустить десяток навьюченных верблюдов, отправляющихся в пески Мервского оазиса.

Через три дня мы на заработанные деньги взяли билеты до Красноводска. Заходили прощаться в вагон. Некопаров был грустен.

— Черт его знает! — говорил он.— Получил жалованье, купил костюм, а до следующей получки еще десять дней. Жрать нечего. Следовательно, придется завтра продать ботинки.

Думаю, что к моменту получки он был опять в своем замечательном облачении.

Слева — горы, справа — пески. Слева — зеленые, орошенные горными ручьями луга, справа — пустыня. Слева — кибитки, как коричневые грибы, справа — ветви саксаула, как издохшие змеи, иссушенные солнцем. Потом пошла голая, растресканная глина. Под раскаленным солнцем, точно пятно экземы, проступал белый налет соли.

— Тебе жарко, Рита?

— Жарко, Гайдар! Даже на площадке не лучше. Пыль и ветер. Я жду все — приедем к морю, будем купаться. Смотри в окно, вон туда. Ну, что это за жизнь?

Я посмотрел. На ровной, изъеденной солью глине, окруженная чахоточными клочьями серых трав, одиноко стояла рваная кибитка. Возле нее сидела ободранная собака да, поджав под себя ноги, медленно пережевывал жвачку облезший, точно ошпаренный кипятком, верблюд; не поворачивая головы, он уставился равнодушно в прошлое тысячелетий, в мертвую стену бесконечной цепи персидских гор.

Вот уже две недели, как мы с Николаем работаем грузчиками в Красноводске. Две долгих недели таскаем мешки с солью и сушеной рыбой, бочонки с прогорклым маслом и тюки колючего прессованного сена.

Возвращаемся домой — в крохотную комнатушку на окраине города, возле подошвы унылой горы, и там Рита кормит нас похлебкой и кашей. Две недели подряд похлебка из рыбы и каша из пшенной крупы. Зарабатываем мы с Николаем по рубль двадцать в день, и нам нужно во что бы то ни стало сколотить денег, чтобы переехать море, ибо больше от Красноводска никуда пути нет.

«Проклятый богом», «каторжная ссылка», «тюремная казарма»,— это далеко не все эпитеты, прилагаемые населением к Красноводску. Город приткнулся к азиатскому берегу Каспийского моря, моря, у берегов которого жирной нефти больше, чем воды. Вокруг города мертвая пустыня — ни одного дерева, ни одной зеленой полянки. Квадратные, казарменного типа дома; пыль, въедающаяся в горло, да постоянный блеск желтого от пыли, горячего беспощадного солнца.

«Скорее бы уехать! Только скорее бы дальше! — мечтали мы.— Там за морем — Кавказ, мягкая зелень, там

отдых, там покой, все там. А здесь — только каторжная работа и раскаленная пустыня да липкая, жирная от нефти пыль».

Вечером, когда становилось чуть прохладней, мы раскидывали плащи по песку двора, варили ужин, делились впечатлениями и болтали.

— А ну, сколько нам надо еще денег?

— Еще десять. Значит, неделя работы, с вычетом на еду.

— Ух, скорей бы! Каждый день, когда отсюда уходит пароход, я не нахожу себе места! Я бы сошла с ума, если бы меня заставили здесь жить. Ну, чем здесь можно жить?

— Живут, Рита, живут и не сходят с ума. Рождаются, женятся, влюбляются — все честь честью.

Рита вспомнила что-то и засмеялась.

— Знаешь, я была на базаре сегодня. Ко мне подошел грек. Так, довольно интеллигентное лицо. Он торгует фруктами. В общем, мы разговорились. Проводил он меня до самого дома. Но хитрый, все звал к себе в гости. Все намекал на то, что я ему нравлюсь и все такое. Потом я зашла к нему в лавку и попросила его свесить мне фунт компота. Смотрю, он свесил не фунт, а два и, кроме того, наложил полный кулек яблок. Я спрашиваю его: сколько? А он засмеялся и говорит: «Для всех рубль, а для вас ничего». Я взяла все, сказала спасибо и ушла.

— Взяла? — с негодованием переспросил Николай.— Ты с ума сошла, что ли!

— Вот еще, что за глупости! Конечно, взяла. Кто его за язык тянул предлагать? Ему рубль что. А у нас, глядишь, на один день раньше уедем.

Однако Николай нахмурился и замолчал. И молчал до тех пор, пока она не шепнула ему тихонько что-то на ухо.

Перед тем как лечь спать, Рита подошла ко мне и обняла за шею.

— Отчего ты какой-то странный?

— Чем странный, Рита?

— Так.— Потом помолчала и внезапно добавила: — А все-таки, все-таки я очень люблю тебя.

— Почему же «все-таки», Рита?

Она смутилась, пойманная на слове.

— Зачем ты придираешься? Милый, не надо! Скажи лучше, что ты думаешь?

И я ответил:

— Думаю о том, что завтра должен прийти пароход «Карл Маркс» с грузом, и у нас будет очень много работы.

— И больше ни о чем? Ну, поговори со мной, спроси меня о чем-нибудь!

Я видел, что ей хочется вызвать меня на разговор, я чувствовал, что я спрошу ее о том, о чем собираюсь спросить уже давно. И потому я ответил сдержанно:

— Спрашивать дорогу у человека, который сам стоит на перепутье, бесполезно. И я ни о чем не спрошу тебя, Рита, но когда ты захочешь сказать мне что-либо, скажи сама.

Она задумалась, ушла. Я остался один. Сидел, курил папиросу за папиросой, слушал, как шуршит осыпающийся со скалы песок да перекатываются гальки по отлогому берегу.

Вошел в комнату. Рита уже спала. Долго молча любовался дымкой опущенных ресниц. Смотрел на знакомые черточки смуглого лица, потом укутал ей ноги сползшим краем одеяла и поцеловал ее в лоб — осторожно, осторожно, чтобы не услышала.

В тот день работа кипела у нас вовсю. Бочонки перекатывались, как кегельные шары, мешки с солью чуть не бегом таскали мы по гнущимся подмосткам, и клубы белой пыли один за другим взметывались над сбрасываемыми пятипудовиками муки.

Мы работали в трюме, помогая матросам закреплять груз на крюк стального троса подъемного крана. Мы обливались потом, мокрая грудь казалась клейкой от мучной пыли, но отдыхать было некогда.

— Майна,— отчаянным голосом кричал трюмовой матрос,— майна помалу... Стоп... Вира.

Железные цепи крана скрипели, шипел выбивающийся пар, стопудовые пачки груза то и дело взлетали наверх.

— Я не могу больше! — пересохшими губами пробормотал, подходя ко мне, Николай.— У меня все горло забито грязью и глаза засыпаны мукой.

— Ничего, держись,— облизывая языком губы, отвечал я.— Крепись, Колька, еще день-два.

— Полундра! — крикнул разгневанно трюмовой.— Долой с просвета!

И Николай еле успел отскочить, потому что сверху тяжело грохнулась спущенная пачка плохо прилаженных мешков; один из них, сорвавшись, ударил сухим жестким краем Николая по руке.

— Эх, ты!.. Мать твою бог любил! — зло выругался матрос.— Не суй башки под кран!

Через несколько минут Николай, сославшись на боль в зашибленном локте, ушел домой.

Мы работали еще около двух часов. Матрос то и дело крыл меня крепкой руганью, то в виде предостережений, то в виде поощрения, то просто так. Работал я, как наводчик-артиллерист в пороховом дыму. Ворочал мешки, бросался к ящикам, сдергивал войлочные тюки, все это надо было быстро приладить на разложенные на полу цепи,— и тотчас же все летело из трюма вверх, в квадрат желтого, сожженного неба...

— Баста! — охрипшим голосом сказал матрос, надевая на крюк последнюю партию груза.— Поднажали сегодня. Давай, браток, наверх, курить!

Пошатываясь от усталости, выбрались на палубу, сели на скамейку, закурили. Тело, клейкое, горячее, ныло и зудело. Но не хотелось ни умываться, ни спускаться по сходням на берег. Хотелось сидеть молча, курить и не двигаться. И только когда заревела сирена корабля, спустился и лениво пошел домой.

Сирена заревела еще раз, послышался лязг цепей, крики команды, клокотанье бурлящей воды, и, сверкая огнями, пароход медленно поплыл дальше, к берегам Персии.

Рита и Николай сидели у костра. Они не заметили, что я подходил к ним. Николай говорил:

— Все равно... Рано или поздно... Ты, Рита — чуткая, восприимчивая, а он сух и черств.

— Не всегда,— ответила Рита,— иногда он бывает другим.— Помолчав.— Ты знаешь, Николай, что мне нравится в нем? Он сильнее многих и сильнее тебя. Не знаю, как тебе объяснить, но мне кажется, что без него нам сейчас было бы намного труднее.

— При чем тут сила? Просто он больше обтрепан. Что это ему, в первый раз, что ли? Привычка, и все тут!

Я подошел. Они оборвали разговор. Рита принесла мне умыться.

Холодная вода подействовала успокаивающе на голову, и я спросил:

— Обедали?

— Нет еще. Мы ждали тебя.

— Вот еще, к чему было ожидать? Вы голодны, должно быть, как собаки!

Перед тем как лечь спать, Рита неожиданно попросила:

— Гайдар, ты знаешь сказки. Расскажи мне!

— Нет, Рита, я не знаю сказок. Я знал, когда был еще совсем маленьким, но с тех пор я позабыл.

— А почему же он знает, почему он не позабыл? Он же старше тебя? Чего ты улыбаешься? Скажи, пожалуйста, что это у тебя за манера всегда как-то снисходительно, точно о маленьком, говорить о Николае? Он тоже это замечает. Он только не знает, как сделать, чтобы этого не было.

— Подрасти немного. Больше тут ничего не поделаешь, Рита. Откуда у тебя эти цветы?

— Это он достал. Знаешь, он сегодня зашиб себе руку и, несмотря на это, залез вон на ту вершину. Там бьет ключ, и около него растет немного травы. Туда очень трудно забраться. Почему ты никогда не достанешь мне цветов?

Я ей ответил:

— У меня мало времени для цветов.

На следующий день была получка. Завтра уезжать. Чувствовали себя по-праздничному. Пошли купаться. Рита была весела, плавала по волнам русалкой, брызгалась и кричала, чтобы мы не смели ловить ее. Однако на Николая нашла какая-то дурь. Невзирая на предупреждения Риты, он подплыл к ней. И то ли потому, что я плавал в это время далеко, а ей стало неловко наедине с Николаем, то ли потому, что ее рассердила подчеркнутая его фамильярность, но только она крикнула что-то резкое, что-то, заставившее его побледнеть и остановиться. Несколько сильных взмахов — и Рита уплыла прочь, за поворот, к тому месту, где она раздевалась.

Оделись. Николай был хмур и не говорил ни слова.

— Надо идти покупать билеты на завтра. Кто пойдет?

— Я,— ответил он резко.

По-видимому, ему тяжело было оставаться с нами.

— Ступай.— Я достал деньги и передал ему.— Мы будем, вероятно, дома.

Он ушел. Мы долго еще грелись и сохли на солнце. Рнта выдумала новое занятие — швырять гальки в море. Она сердилась, что у нее получается не больше двух кругов, тогда как у меня — три и четыре. Когда пущенный ею камень случайно взметнулся над водою пять раз, она захлопала в ладоши, объявнла себя победительницей и заявила, что швырять больше не хочет, а хочет взбираться на гору.

Долго в этот вечер мы лазилн с ней, смеялнсь, говорилн и к дому подходнли усталые, довольные, крепко сжнмая друг другу рукн.

Николая, однако, еще не было.

«Вероятно, он приходнл уже, не застал нас и пошел разыскивать», — решили мы.

Однако прошел час, другой, а он все не возвращался. Мы забеспокоилнсь.

Николай вернулся в двенадцать часов ночи. Он не стоял на ногах, был абсолютно пьян, выругал меня сволочью, заявил Рнте, что любнт ее до безумия, потом обозвал проституткой, и, покачнувшнсь, грохнулся на пол. Долго он что-то бормотал и, наконец, уснул.

Рита молчала, уткнувшнсь головой в подушку, и я видел, что вот-вот она готова разрыдаться.

В карманах Николая я нашел двадцать семь копеек; билетов не было, и все остальное было пропито, очевидно, в кабаке с грузчиками.

Утро было тяжелое. Нколай долго молчал, очевндно, только теперь начиная сознавать, что он наделал.

— Я — подлец,— глухо сказал он,— н самое лучшее было бы мне броситься с горы внmз башкой.

— Глупости, — спокойно оборвал я. — Ерунда... С кем не бывает... Ну, случилось... Ну, ничего не поделаешь. Я сегодня пойду в контору и скажу, чтобы нас зачнслнлн на погрузку опять. Поработаем снова. Беда какая!

Днем Николай лежал. У него после вчерашнего бо-

лела голова. А я опять таскал мешки, бочонки с прогорклым маслом и свертки мокрых невыделанных кож.

Когда я вернулся, Риты не было дома.

— Как ты себя чувствуешь, Николай? Где Рита?

— Голова прошла, но чувствую себя скверно. А Риты нет. Она ушла куда-то, когда я еще спал.

Вернулась Рита часа через два. Села, не заходя в комнату, на камень во дворе, и только случайно я увидел ее.

— Рита, — спросил я, кладя ей руку на плечо. — Что с тобой, детка?

Она вздрогнула, молча стиснула мне руку... Я тихо гладил ей голову, ничего не спрашивая, потом почувствовал, что на ладонь мне упала крупная теплая слеза.

— Что с тобой? О чем ты? — И я притянул ее к себе. Но вместо ответа она уткнулась мне головой в плечо и разрыдалась.

— Так, — проговорила она через несколько минут — Так, надоело. Проклятый город, пески... Скорей, скорей надо отсюда!

— Хорошо, — сказал я твердо. — Мы будем работать на погрузке по шестнадцать часов, но мы сделаем так, что пробудем здесь не больше десяти дней.

Однако вышло все несколько иначе. На другой день, когда я вернулся, Николай хмуро передал мне деньги.

— Где ты достал? — удивленно спросил я.

— Все равно, — ответил он, не глядя мне в глаза. — Это все равно где!

И вечером огромная старая калоша — ржавый корабль «Марат» — отчалил вместе с нами от желтых берегов, от глиняных скал «каторжного» города.

Кавказ встретил нас приветливо. За три дня в Баку мы заработали почти столько же, сколько за две недели работы в Красноводске.

Мы поселились в плохоньком номере какого-то полупроститутского притона. Были мы обтрепаны, истерты, и у шпаны, заполнявшей соседние пивные, сошли за своих. Рита, в представлении героев финок и кокаина, была нашей шмарой, и к ней не приставали, потому что знали, что у шмар есть и без того тяжелая ночная работа.

Обедали мы в грязных, разбросанных кругом базара

харчевнях. В них за двугривенный можно было получить «хаши» — кушанье, к которому Рита и Николай долго не смели притрагиваться, но потом привыкли и пожирали вовсю.

«Хаши» — блюдо кавказского пролетария. Это выполосканная, разрезанная на мелкие кусочки вареная требуха, преимущественно желудок или баранья голова. Наворотят требухи полную чашку, потом туда наливается жидкая горчица, и все это густо пересыпается крупной солью с толченым чесноком.

В этих харчевнях всегда людно. Там и безработные, и грузчики, и лица без определенной профессии, те, которые околачиваются около чужих чемоданов по пристаням и вокзалам. Шныряют услужливые личности в толстых пальто, во внутренних карманах которого всегда найдутся бутылки с крепким самогоном.

Гривенник в руку — и незаметно, непостижимым образом наполняется чайный стакан, потом быстро опрокидывается в горло покупателю, и снова толстое пальто застегнуто,— и дальше, к соседнему столу.

В дверях покажется иногда милиционер, окинет пытливым взглядом сидящих, безнадежно покачает головою и уйдет: пьяные не валяются, драки нет, явных бандитов не видно, в общем сидите, мол, сидите, голубчики, до поры до времени.

И вот, в одной из таких харчевен я случайно встретился с Яшкой Сергуниным — с милым по прошлому, по дружбе огневых лет Яшкой.

Хрипел граммофон. Хрипел, как издыхающая от сапа лошадь. Густые клубы пахнущего чесноком и самогоном пара поднимались над тарелками. Яшка сидел за крайним столиком и, вопреки предостережениям хозяина-грека, доставал открыто из кармана полбутылки, отпивал прямо из горлышка и принимался снова за еду.

Долго я всматривался в одутловатое, посиневшее лицо, глядел на мешки под ввалившимися глазами — и узнавал я Яшку, и не мог узнать его. Только когда повернулся он правой стороной к свету, когда увидел я широкую полосу сабельного шрама поперек шеи, я встал и подошел к нему, хлопнул его по плечу и крикнул радостно:

— Яшка Сергунин... милый друг! Узнаешь меня?

Он, не расслышав вопроса, враждебно поднял на меня тусклые, отравленные кокаином и водкой глаза, хотел

выругаться, а может быть, и ударить, но остановился, смотрел с полминуты пристально, напрягая, по-видимому, всю свою память. Потом ударил кулаком по столу, перекривил губы и крикнул:

— Сдохнуть мне, если это не ты, Гайдар!

— Это я, Яшка. Идиот ты этакий! Сволочь ты... Милый друг, сколько лет мы с тобой не виделись! Ведь еще с тех пор...

— Да, — ответил он. — Верно. С тех пор... С тех самых пор.

Он замолчал, нахмурился, вынул бутылку, отпил из горлышка и повторил:

— Да, с тех самых пор.

Но было вложено в эти слова что-то такое, что заставило меня насторожиться. Боль, словно капля крови, выступившая из надорванной старой раны, и враждебность ко мне, как к камню, из-за которого надорвалась эта рана...

— Ты помнишь? — сказал я ему.

Но он оборвал меня сразу:

— Оставь! Мало ли что было. На вот, пей, если хочешь, — и добавил с издевкой: — Выпей за упокой.

— За упокой чего?

— Всего! — грубо ответил он. Потом еще горячей и резче: — Да, всего, всего, что было!

— А было хорошо, — опять начал я. — Помнишь Киев? Помнишь Белгородку? Помнишь, как мы с тобой все варили и никак не могли доварить гуся? Так и съели полусырым! А все из-за Зеленого.

— Из-за Ангела, — хмуро поправил он.

— Нет, из-за Зеленого. Ты забыл, Яшка. Это было под Тирасполем. А нашу бригаду? А Сорокина? А помнишь, как ты выручал меня, когда эта чертова ведьма — петлюровка — меня в чулане заперла?

— Помню. Все помню! — ответил он. И бледная тень хорошей, прежней Яшкиной улыбки легла на отупевшее лицо. — Разве это все... Разве это все забудешь, Гайдар! Э-э-эх! — точно стон, сорвалось у него последнее восклицание. Губы перекосились, и хрипло, бешено он бросил мне: — Оставь, тебе сказано! Не к чему все это! Оставь, сволочь!

Окутался клубами махорочного дыма, допил до конца

свой стакан самогона, и растаяла навсегда призрачная тень Яшкиной улыбки.

— Зачем ты в Баку? Так шляешься или по ширме лазишь?

— Нет.

— Ты что, ты, может, в партии еще?

— А что?

— Так. Подлец на подлеце верхом сидит. Бюрократы все...

— Неужели же все?

Он промолчал.

— Я на киче был. Вышел, работу хотел — нету. Тут тысячи возле порта шляются. Пошел к Ваське. Помнишь Ваську, он у нас комиссаром второго батальона был?.. Тут теперь. В Совнаркоме здешнем работает. Два часа в приемной его дожидался. Так-таки в кабинет и не пустил, а сам зато вышел: «Извини, говорит, занят был. Сам знаешь. А насчет работы — ничего не могу. Тут безработица, сотни человек за день приходят. А ты к тому же не член союза». Я чуть не захлебнулся. Два часа держать, а потом: «ничего не могу»! Сволочь, говорю я ему, я хоть и не член союза, так ты знаешь же меня, кто я и какой я! Передернуло его. Народ в приемной, а я такое завернул. «Уходи, говорит, ничего не могу. И осторожней выражайся — это тебе не штаб дивизии в девятнадцатом». А! — говорю я ему, — не штаб дивизии, подлец ты этакий! Как развернулся, да хряснул его по роже!

— Ну?

— Сидел три месяца. А мне наплевать — хоть три года. Теперь мне на все вообще наплевать. Мы свое отжили.

— Кто мы?

— Мы,— ответил он упрямо.— Те, которые ненавидели... ничего не знали, ни на что не смотрели, вперед не заглядывали и дрались как дьяволы, а теперь никому и ни за чем...

— Яшка! Да ведь ты теперь даже не красный!

— Нет! — с ненавистью ответил он.— Задушил бы всех подряд — и красных, и белых, и синих, и зеленых!

Замолчал. Пошарил рукой в бездонных рваных карманах, вытащил опять полбутылки. Я встал. Тяжело было. И я еще раз посмотрел на Яшку, того самого, чья койка стояла рядом с моей, чья голова была горячей моей!

Яшку — курсанта, Яшку — талантливого пулеметчика, лучшего друга огневых лет! Вспомнил, как под Киевом, с надрубленной головой, он корчился в агонии и улыбался, и еще тяжелей стало от боли за то, что он не умер тогда с гордой улыбкой с крепко зажатым в руке замком, выхваченным из короба попавшего к петлюровцам пулемета...

Мечется Кура, стиснутая плитами каменных берегов. Бьет мутными волнами о каменные стены древних построек Тифлиса. Ворочает камни, дымится пеною, бьет о скалы и злится старая ведьма — Кура.

В Тифлисе огней ночью больше, чем звезд в августе.

Тифлисская ночь — как сова: трепыхается, кричит в темноте, хохочет, будоражит и не дает спать...

А у нас — все одно и то же: вокзалы, каменные плиты холодного пола, сон, как после порции хлороформа,— и толчок в спину.

— Э-эй, вставайте, граждане, документы!

В Тифлисе агенты дорожной ЧК затянуты узенькими ремешками в рюмочку. Маузер с серебряной пластинкой, шпоры с польским звоном, сапоги в звездных блестках, и лицо — всегда только что от парикмахера.

— Вставай и выметайся с вокзала, товарищ! Кто ты?

Даю документы — не смотрит.

— Дай другой. Покажи, что это у тебя за толстая бумага в записной книжке вложена?

— Эта... это договор.

Лицо насторожено:

— Что такое за договор?

— Плюньте, товарищ агент! Ничего опасного: договор — это еще не заговор. Просто написал книгу, продал ее и заключил договор.

Усмешка:

— А, так, значит, ты книжный торговец! Нет, нельзя на вокзале. Выметайтесь!

На небе звезды. Под звездами — земля. На земле в углу, за вокзалом, сваленная куча бревен. Сели.

Черной, зловещей тенью плывет милиционер. Прошел раз, прошел два, остановился. И не сказал даже ни слова, а просто махнул рукой, что означает: «А ну-ка, выметайтесь, нельзя здесь сидеть, не полагается».

Ушли. Но поймите, товарищ милиционер! В асфальте сырого тротуара, в бревнах для постройки не будет ямы оттого, что на них отдохнут трое уставших бродяг.

Полосатые, как костюмы каторжников, версты показали нам, что первая сотня пройдена. Далеко позади Тифлис, далеко солнечная долина древнего Мцхета, позади каменная крепость развалившегося Анаури, а дорога все вьется, кружит, забирает в горы, и снежные вершины Гудаурского перевала все ближе и ближе.

Мы идем пешком по Грузии. Идем пятый день, ночуем в горах у костра. Пьем дешевую, но холодную и вкусную ключевую воду, варим баранью похлебку, кипятим дымный чай и идем дальше.

— Гайдар! — сказала мне, наконец, обожженная солнцем и оборванная Рита.— Скажи, зачем все это? Зачем ты выдумал эту дорогу? Я не хочу больше ни Грузии, ни Кавказа, ни разваленных башен. Я устала и хочу домой!

Николай раздраженно вторил:

— Было бы гораздо проще сесть на поезд в Тифлисе, доехать до Сталинграда, а оттуда — домой. Ты измучишь ее, и вообще заставлять женщину лазать по этим чертовым горам — глупо.

Я рассердился:

— Еще проще и умнее — спать на мягкой полке вагона первого класса или сидеть дома. Не так ли? Посмотри, Рита, видишь впереди белый коготь снежной горы? В спину жжет солнце, а оттуда дует холодный снежный ветер!

Но Николай продолжал бормотать:

— Чего хорошего нашел? Сумасшествие! Это кончится тем, что она схватит воспаление легких. Ты играешь ее здоровьем!

Так всегда: чем нежнее, чем заботливей становится он, тем холоднее и сдержанней я...

Когда Рите понравился какой-то цветок, Николай едва не сломал себе голову, взбираясь на отвесную скалу. Сорвал и принес ей. А в этот же вечер, возвращаясь с куском бараньего мяса, купленным в домишке, до которого, если дважды подряд добраться, то на третий сдохнешь, я увидел, что Николай у костра целует Риту в губы. «Очевидно, за цветок»,— подумал я и, усмехнув-

шись, посмотрел на свои руки, но в руках у меня цветка не было, а был только ломоть мяса на ужин...

Вечером в этот день встречный отряд конной милиции предупредил нас, что где-то близко рыщут всадники из банды Чалакаева — горного стервятника, неуловимого и отъявленного контрреволюционера.

Ночью мне не спалось. Все время чудился шорох внизу, чей-то шепот и лошадиное фыркапье. Я спустился вниз к ручью и, осторожно раздвинув кусты, увидел при лунном свете пятерых всадников.

Встревоженный, я быстро полез обратно предупредить спящих товарищей и затушить угли костра. На бегу я налетел на какого-то человека, который со всего размаха ударил меня в плечо. В темноте мы схватились мертвой, цепкой хваткой. Я был, очевидно, сильней, потому что повалил человека и душил его за горло, наступив коленом на откинутую руку, сжимавшую кинжал. Человек не мог размахнуться и, направив клинок к моему правому бедру, медленно вдавливал мне острие в тело. И клинок входил все глубже и глубже. Окаменев, стиснув зубы, я продолжал зажимать ему горло, пока он не захрипел. Наконец он подсунул под мою грудь свою левую руку и попробовал перехватить в нее клинок. Если бы ему это удалось, я погиб бы наверняка. Я отпустил горло и скрутил ему руку; клинок, звякнув, упал куда-то на камни, а мы, сжимая друг друга, начали перекатываться по земле. Я видел, что он пытается вытащить из кобуры револьвер. «Хорошо,— мелькнула у меня счастливая мысль, — пусть вытаскивает». Я быстро отпустил его руки; пока он расстегивал кнопку кобуры, я поднял тяжелый камень и со всего размаха ударил его по голове. Он вскрикнул, рванулся; хрястнули сломанные кусты и, не выпуская друг друга, мы оба полетели вниз.

Когда я очнулся, незнакомец лежал подо мной и не дышал. Он разбился о камни. Я разжал пальцы. Скорее наверх, скорей к Рите. Встал, шагнул, но тотчас же зашатался и сел.

«Хорошо,— подумал я,— хорошо, а все-таки я подыму тревогу, и они успеют скрыться». Вынув из-за пояса убитого наган, я нажал собачку и дважды бабахнул в воздух.

Горное эхо загрохотало по ущелью громовыми перекатами, и не успели еще утихнуть запутавшиеся в уступах

скал отголоски выстрелов, как далеко справа послышались тревожные крики.

Они бросятся сейчас сюда, вся ватага, должно быть. А я не могу бежать! У меня кружится от удара голова. Но тотчас же я вспомнил Риту, Риту, которую нужно было спасти во что бы то ни стало! Усевшись на камни, я усмехнулся и, подняв черный горячий наган, начал садить в звезды выстрел за выстрелом.

Минут через пять раздался лошадиный топот. Я отполз на два шага к берегу, под которым клокотали волны сумасшедшей Арагвы. Всадники переговаривались о чем-то по-грузински, но я понял только два, самые нужные мне слова: «Они убежали!»

Больше ничего мне и не надо было. В следующую же секунду конь одного из всадников захрапел, споткнувшись о труп моего противника. Остановились, соскочили с седел. Посыпались крики и ругательства. Потом зажглась спичка, и ярко вспыхнула зажженная кем-то бумага.

Но прежде чем глаза бандитов успели разглядеть что-либо, я, закрыв глаза, бросился вниз, в черные волны бешеной Арагвы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сколько времени швыряли и ломали меня гребни Арагвы — сказать трудно.

Помню только: захлестывало горло, ударяло в спину концом какого-то обломка дерева... Помню, что у поворота швырнуло к берегу на камень и тотчас же потащило назад. Инстинктивно ухватившись за острый выступ, я напрягал остатки сил и держался до тех пор, пока торопящаяся Арагва не разжала пальцев и, злобно плюнув мне в лицо холодной пеной, не умчалась дальше.

Выбрался на берег, хотел сесть, но испугавшись, как бы налетевший с разлета партизанский отряд волн не смыл меня снова, сделал еще несколько шагов — и упал.

Так прошла ночь. Утром поднялся разбитый, измученный, голова была тяжела, а в виски стучали молоточки мерно и ровно: тук-тук, тук-тук.

Я вздрогнул. Я не люблю и боюсь этого стука — это стучит темнота. Часто после такого постукивания в голову врывались сумерки, и тогда предметы теряли свои

очертания, а краски и оттенки сливались в одно, и нога ступала наугад.

Тогда доктор 1-й московской психиатрической — Моисей Абрамович укоризненно покачивал головой над койкой распределительной палаты и говорил ласково:

— Ай-ай, батенька, опять к нам. Ну, ничего. Два-три дня и все поправится.

Потом, когда выписывали, жал мне руку и предупреждал:

— Ну, пожалуйста... образ жизни самый регулярный. Травма, истеропсихо... и т. д. Пожалуйста, чтобы больше не попадать.

И на руки выдавалась справка о том, что «во столько-то часов был доставлен в лечебницу в сумеречном состоянии». И почти всегда перед этим загадочным состоянием молоточки в виски — тук-тук...

«Рита! — вспомнил я и улыбнулся.— Скорей! Где она? Конечно, ожидает меня в том селении, которое было впереди по нашей дороге».

Сразу взялись откуда-то силы, перестало сжимать виски, и я зашагал вперед.

Шел весь день. Уставая, садился передохнуть, прикладывал к голове вымоченный в холодной ключевой воде платок... Вставал и шел опять.

Поздним вечером добрался до поселка. Зашел в один дом и спросил: не видали ли тут двух русских прохожих? Говорят: нет.

Зашел в другой. Тут мне объяснили, что не только видали, а могут даже показать, где они сейчас остановились. Мальчишка-грузин вызвался проводить.

«Рита. Вот сейчас обрадуется! Они, вероятно, измучились за меня. Думают бог знает что».

Мы остановились. Я отворил калитку, вошел во двор домика. Старик хозяин поздоровался и повел меня в дом.

— А где наши? — крикнул я, не видя никого.

— Кто? Девушка с человеком? Они ушли еще утром.

— Ушли! — И я молча сел на скамейку.

— Они ушли и оставили письмо.

— Мне?

— Да, должно быть. Девушка сказала: «Если после нас тут пройдет человек, русский, белокурые волосы, одет так же, как этот, то передайте ему, пожалуйста, это письмо».

Я распечатал. Письмо — полное ненависти и презрения.

«Ты — эгоист. Ты черств и сух, как никто, и думаешь только о себе. Вместо того чтобы остаться с нами, ты при первых же выстрелах предпочел бросить нас, чтобы самому, не связанному ничем, прятаться и скрываться. В сегодняшнюю ночь я разгадала тебя. Николай ранен в руку, но он все-таки не оставил меня. Твоя дорога отняла у меня много здоровья и нервов. Странствуй лучше один. Счастливого пути.

Рита».

Внизу приписка Николая.

«Я никак не ожидал от тебя этого. Это нечестно!»

— Нечестно,— пересохшими губами прошептал я.— А это честно,— умышленно подтасовывать все? Даже, если бы Рита, которая знает меня меньше, могла допустить, разве ты, собака, не должен был доказать, что это ложь, что этого не может быть? Это честно?

Молоточки застучали с удвоенной силой. Хозяин торопливо налил в глиняную чашку воды и подал мне. Я протянул руку, ту самую, которой душил ночью бандита, — рука была бледна и дрожала.

— Смотри, кровь! — испуганно сказал мальчик отцу.

Я сидел молча. Зубы начинали выбивать дробь. Становилось холодно.

Белым лоскутом мне перевязали раненое бедро.

Тук-тук-тук.

«Травма,— мелькнула у меня мысль.— Опять Моисей Абрамович».

Я долго смотрел на хозяина, потом сказал ему:

— Это пройдет. Позвоните по телефону 1-43-62 и передайте, что я опять болен.

Дальше обрывки. Помню: проходил день, наступала ночь, потом как будто наоборот.

Помню: у изголовья подолгу сидел старик, успокаивал меня и рассказывал. Рассказывал он что-то странное: о какой-то горной, дикой стране, замкнутой и неприступной.

— Откуда это?

— Это? Это из страны рыцарей.

— Разве и сейчас есть рыцари?

— Да, и сейчас.

— А где?

— Там,— он мотнул головой по направлению к ущелью.— Надо идти много-много дней в горы. Но с этой стороны туда никто не ходит. Никто даже настоящих троп отсюда не знает. Кроме того, эти люди не любят, когда к ним приходят чужие.

— Кто они?

— Они... хевсуры.

Доставали какие-то бумаги у меня из карманов. Писали куда-то письма.

Однажды под вечер я проснулся. То есть я и не спал вовсе, но впечатление было такое, будто проснулся.

«Рита!— вспомнил я с ужасом.— Рита! Что ты делаешь?»

В доме было пусто. Порывисто встал, схватил какой-то мешок, сунул в него несколько чуреков. Снял со стены свой охотничий нож.

«Надо торопиться! — подумал я.— Надо скорей спешить, скорей объяснить все!»

Я выскочил и вышел незаметно из селения. В сумерках быстро зашагал по дороге. Прошел с версту и вдруг опомнился.

«А куда я, собственно, иду? К Рите? Объяснить? А зачем? Стоит ли? Да и поздно уже, пожалуй, объяснять. Не стоит. Но куда же тогда? Если идти вперед некуда, то обратно нельзя. Но не стоять же посреди дороги!»

Я оглянулся.

В сумеречной торжественной тишине под заоблачной вышиной торчал хищный коготь снежной птицы — вершина далекой мрачной горы. Внизу — черное ущелье, внизу леса.

«Там — та горная страна,— подумал я.— Впрочем, все равно!»

Не раздумывая, не рассуждая, я свернул с дороги и быстро зашагал в открытую пасть загадочного ущелья.

Мне трудно сейчас сказать, сколько дней — четыре или шесть — я шел вперед.

Кажется, лазал как лунатик по головокружительным карнизам, натыкался на перерезающие путь скалы, возвращался обратно, загибая вправо, завертывал влево,

кружил — и, наконец, потерял всякое представление о том, куда иду и откуда начал путь.

Кажется, ночи были прохладные. Ночами свистели разбойные ветры, ревели потоки и выли по ночам не то волки, не то совы, да шумели листья дикого звериного леса.

Скоро наступил голод. Я лазал по деревьям. Доставал яйца каких-то черно-синих птиц, поймал однажды в норе зверька, похожего на суслика, зажарил и съел.

И чем дальше забирался я, тем глуше, молчаливей и враждебней смыкалось кольцо гор, тем беспощаднее давили голову каменные громады уродливых скал. Не было ни малейшего признака человеческого жилья, дикой казалась сама мысль, что здесь может жить человек.

Только один раз была встреча. В тревожном шорохе дрожащего кустарника я столкнулся лицом к лицу с старым облезлым медведем. Он поднялся из логова, пристально посмотрел на меня, помотал головой и, лениво повернувшись, спокойно пошел прочь.

Эти дни голова у меня была горяча, ибо в ней, как в глиняном сосуде, в котором бродит виноградное вино, бродили без толку, бились о стены черепной коробки неокрепшие еще и несложившиеся мысли. Потом все перебродило, улеглось; страшная усталость начала сковывать тело. И однажды, взобравшись на поросший мхом каменистый холм, я уснул тяжелым, крепким сном. Тем самым сном, которым заканчивается припадок, сном, во время которого проходят сумерки и настает серый, но настоящий день.

Проснулся я от укола в спину. Повернулся, открыл глаза:

— Что это? Наяву, или это опять галлюцинация?

Прямо надо мною, возле двух коней стояли два спешившихся всадника — два средневековых рыцаря. Один из них, с тонким ястребиным лицом, пересеченным шрамами, трогал меня кончиком острого копья.

Лица обоих незнакомцев выражали изумление и любопытство.

Я хотел подняться, но острие копья не позволило мне. Человек сказал что-то своему товарищу, потом поднял надо мной это узкое металлическое острие.

Меня поразило выражение лица этого человека. С таким выражением мальчишка стоит в лесу над прикурнувшей ящерицей и думает: разбить ей голову камнем или

не стоит? Собственно, не к чему разбивать, а можно все-таки и разбить!..

Но другой ответил ему что-то и покачал головой.

— Камарджоба! Амханако! — по-грузински сказал я из-под копья.

Очевидно, первый понял, потому что чуть усмехнулся и, опустив копье, показал мне жестом, чтобы я встал.

Я поднялся, но тотчас же упал снова, сваленный ударом древка копья. И первый настороженно крикнул что-то, указывая на мой охотничий нож.

Я снял нож с пояса и протянул им.

Тут случилось нечто неожиданное. При виде хорошего клинка, оправленного в вороненые ножны, оба рванулись к нему.

Первый успел выхватить у меня нож раньше. Но другой с гортанным криком схватился за рукоятку своей кривой, тяжелой шашки. Первый отскочил и повторил его движение. Я думал, что вот-вот они схватятся и начнут рубить друг друга.

Но первый сказал что-то, второй согласился; они опустили руки, взяли копья и стали рядом. Первый размахнулся и изо всей силы бросил копье, оно со свистом пролетело мимо меня и оцарапало кору толстого дерева. Второй засмеялся и тоже метнул копье; оно, глухо стукнувшись, вошло в ствол того же дерева и осталось торчать там. Тогда первый нахмурился и молча протянул второму мой нож; потом подошел ко мне, приказывая знаками сесть верхом на его лошадь. Я сел. Он взял веревку и под брюхом лошади связал мне ноги. Потом оба вскочили в седла и, ударив нагайками коней, понеслись вперед.

Лошади были как змеи. Другая давно разбилась бы сама или разбила всадника о стволы деревьев. А эти уверенно и спокойно извивались меж деревьями и мчались посреди чащи быстрой рысью.

Невольная дрожь пробежала по телу, когда мы узеньким полутороаршинным карнизом поехали над черной, бездонной пропастью. А когда за десятком поворотов кони остановились прямо перед башенками, обнесенными каменной стеной, перед небольшим, но настоящим замком, была уже ночь.

Заскрипели отворяющиеся ворота. Мы въехали во двор. Всадники соскочили. Нас окружило несколько человек. Кто-то развязал мне ноги и взамен этого скрутил за

спиной руки. Кто-то взял за плечи и повел по узкому, сырому, заплесневелому коридору. Еще раз скрипнула дверь, и меня толкнули вниз. Пролетев несколько ступенек, я сел на пол. Дверь захлопнулась.

Я оглянулся: подвал — четыре шага на четыре. В маленькое узенькое отверстие окна видны лошадиные ноги да краешек медной блестящей луны.

Прошло не менее часов четырех-пяти. Сверху доносились веселые крики, шум, монотонная музыка. Иногда топот, точно там плясали. Я продолжал лежать на полу. Крепко перевязанные руки затекли; пробовал было зубами ослабить ремни — ничего не вышло. Стало еще, пожалуй, хуже, потому что намокшие от слюны ремешки набухли и еще крепче стиснули кисти рук.

Наконец раздался гулкий шум шагов, заскрипела дверь: за мной пришли. Я встал и в сопровождении конвоира, вооруженного только кинжалом, зажатым в правой руке, пошел туда, куда он подталкивал меня.

Распахнулась новая дверь, и я остановился у порога.

За большим длинным столом сидело человек пятнадцать хевсуров. На столе — прямо наваленные на доски — лежали кучами куски нарезанного вареного мяса; кругом стояли глиняные кувшины и роговые кубки с вином.

Хевсуры были без кольчуг, в мягких рубахах из бараньей кожи. Почти у каждого на боку болталась шашка, а за поясом один, а то и два кинжала. Здесь же, у стены, висела, очевидно только что содранная, сырая шкура огромного медведя.

Один из хевсуров, в котором я узнал захватившего меня в плен (это был Улла, старший сын хозяина замка), занимался тем, что дразнил кончиком сабли прижавшегося в углу и злобно щелкавшего зубами дикого медвежонка. Когда я вошел, Улла бросил свое занятие, и все повернули головы в мою сторону. Он подошел ко мне и взмахнул ножом — я закрыл глаза. Но он только перерезал ремни, стягивавшие мне руки. Потом вложил кинжал в ножны, и, взяв нагайку, спросил меня что-то на своем непонятном языке.

Я развел руками, показывая, что не могу ответить. Но он не поверил и со всего размаха вытянул меня нагайкой по плечу и по груди.

Я стиснул зубы. Он снова спросил, я снова покачал головой. Он жиганул меня нагайкой еще раз и опять произнес ту же самую фразу.

Во всех его вопросах повторялось слово «осетин».

— Нет, не осетин,— наугад ответил я.— Я — русский.

Улла отложил нагайку, и между собравшимися поднялся спор. Кто-то сдернул с меня шапку и указал на мои белокурые волосы. Потом, очевидно, все пришли к одному и тому же выводу, и я несколько раз разобрал слово:

— Русский... русский...

И я понял, что быть русским в данную минуту лучше, нежели быть осетином.

Улла подошел к столу. Потом ему пришла в голову дикая мысль: он налил огромный рог крепкого вина и подал мне. Я был голоден как собака и знал, что если выпью все, то свалюсь с ног. Я отрицательно покачал головой. Улла снова взял нагайку. Тогда я протянул за кубком руку и, не отрываясь, выпил его до дна. Крики одобрения послышались со стороны сидящих за столом.

Улла налил второй раз. Больше я не мог выпить ни глотка. Он сунул мне рог в руку, но рука дрогнула, я выронил кубок, и разлитое вино потекло по полу.

Лицо оскорбленного Уллы перекосилось, и он, вероятно, избил бы меня до полусмерти, если бы из-за стола не встал один из хевсуров и не сказал ему что-то. Улла ругаясь, сел на скамью и налил себе вина.

Хевсур, заступившийся за меня, был еще молод. Ему не было и двадцати пяти лет. Он был тонок, гибок и строен, а на боку у него болталась высеченная серебром кривая шашка, за которую — как мне потом сказали — было заплачено тремя быками и пятью пудами масла. Он протянул мне огромный жирный кусок мяса.

— Русский? — спросил он вполголоса.

— Да,— ответил я.

Он не сказал больше ничего. По-видимому, не столько потому, что у него не было слов, сколько потому, что Улла подозрительно, исподлобья смотрел на нас.

Из соседней комнаты вышла с вязанкой хвороста сгорбленная, жилистая старуха и бросила охапку на угли печи, похожей на камин. Улла указал ей на меня и крикнул мне, очевидно приказывая следовать за ней.

Я пошел. Старуха сердито посматривала на меня. По темным коридорам мы спустились вниз и очутились на кухне. На земляном полу горел костер. Над костром урчал кипящий варевом большой медный котел. Старуха притащила мешок с зернами, бросила его в темный угол, зашамкала и подвела меня к тяжелым каменным жерновам, прилаженным в углу.

Я понял. Сел на землю и начал крутить огромные грубые камни, перемалывая зерно в муку.

Несколько раз на кухню забегал то один, то другой хевсуренок, с любопытством смотрел на меня, но тотчас же исчезал, выпроваживаемый сердитыми окриками старой ведьмы. Голова у меня кружилась от выпитого вина, вертеть камни я устал, но кончить не решался, потому что тюремщица то и дело поглядывала на меня далеко не дружелюбно. Через некоторое время она вышла в одну из трех дверей; тогда в комнату, осторожно крадучись, вошла девушка. Она не заметила меня, и я перестал вертеть камни, наблюдая за ней из темного угла.

Девушка, по-видимому, кого-то дожидалась и чего-то боялась. Она быстро подскочила к той двери, из которой ушла старуха, и заперла дверь на засов. Сверху по лестнице послышались шаги, и вошел хевсур, тот самый, который заступился за меня.

— Рум! — радостно крикнула она и подбежала к нему, но тотчас же омрачилась и стала быстро-быстро говорить, указывая пальцем наверх, откуда доносились пьяные голоса.

Я видел, как его узкие блестящие глаза загорелись, лицо нахмурилось, и он ласково ответил что-то, успокаивая ее. И в то же время я узнал, что полученное сообщение взволновало его, потому что он то и дело крепко стискивал рукоятку своей чеканной шашки. Вдруг девушка отскочила от него, потому что в запертую дверь постучали. Он скрылся на темной лестнице, ведущей наверх. Хевсурка хотела было выскользнуть в дверь, выводившую направо, в темный коридор, но из коридора донесся отдаленный звук шагов. Тогда она метнулась в угол, где, притаившись, сидел я, и хотела выпрыгнуть в узкое, распахнутое над самой землей окно. Неожиданно столкнувшись со мной, она испуганно бросилась назад, не зная, что ей теперь делать.

Я поднялся и махнул рукой, показывая, чтобы она поторопилась скрыться через окошко; она выпрыгнула как раз в ту минуту, когда в комнату вошел Улла. Старуха продолжала, ругаясь, стучать в дверь. Улла отпер засов и внимательно осмотрел все углы: он кого-то искал. Вошедшая старуха залопотала, кивая то на меня, то на дверь. Очевидно, обвиняла меня в том, что я якобы задвинул засов.

Но Улла был, по-видимому, другого на этот счет мнения. Он подошел ко мне. Поднял меня за плечи и спросил о чем-то.

Без труда я догадался, что он хочет узнать, кто запер дверь. Я притворился беспросветно пьяным. Тогда он пришел в ярость, избил меня нагайкой и ушел, ругаясь.

Я свалился в темный угол, вздрагивая от боли и бессильной злобы. Старуха ушла опять. Я лежал молча, голодный, избитый, измученный, одинокий и без надежды на чью-либо помощь.

Вдруг что-то упало из окна на пол: я насторожился, потом подполз и поднял. Это была лепешка и кусок белого сыра.

Но я не успел разглядеть ничего, кроме руки, просунувшей все это в узкое отверстие каменного окна.

Мусульманская пословица говорит: «целуй ту руку, кисть которой ты не в силах свернуть». Это изречение как нельзя лучше подходило ко мне. Я был рабом Уллы. Я исполнял беспрекословно все его приказания: чистил и седлал его коня, сдирал шкуры с убитых на охоте джайранов, разводил костры и помогал старухе варить обед. Я старался угодить Улле и ненавидел его: я готов был перерезать ему горло, если бы представился удобный случай. Может быть, поэтому он никогда не доверял мне ни кинжала, ни шашки, ни винтовки.

За малейший проступок он беспощадно стегал меня нагайкой. Он ненавидел меня тоже, и если я оставался жив, то только потому, что я был ему нужен. А для чего — я узнал это много позже.

Улла был старшим сыном старого Горга — главы большого рода хевсуров. Улла был силен, хищен и властолюбив. Он занимал замок своего отца, в то время как большинство хевсуров жило в землянках, похожих на звери-

ные норы. Горг был уже дряхл, и Улла, прикрываясь его именем и поддержкой, безнаказанно хозяйничал здесь, в самом окраинном и далеком углу Хевсуретии. Часто он с отрядом всадников скрывался на несколько дней для того, чтобы дикими тропами спуститься вниз, напасть внезапно на осетинский поселок, угнать скот и пограбить. Возвращаясь с добычей, он созывал хевсуров своего племени, и в покоях каменного замка начинались пиры, попойки и увеселения. Он никогда — да и все хевсуры также — не расставался с оружием. Его боялись, а многие ненавидели. Кроме того, была у него старая вражда, глубокая и непримиримая, но к кому именно — долго я понять не мог.

Иногда с юга приезжали к Улле какие-то всадники; тогда Улла становился дик и мрачен. Целые ночи напролет шли горячие споры. И на время приезда этих всадников я беспощадно изгонялся не только из комнат, но часто даже и со двора. Но что это были за таинственные враги, из-за чего вообще шла вражда, я не понимал, тем более, что еще плохо понимал язык хевсуров.

Была ночь. Я возвращался из соседнего леса с полным ведром диких яблок, из которых варился потом сладкий, тягучий мед. Я заблудился, но знал, что замок остался недалеко, вправо от меня, и потому уселся передохнуть у края тропы. Прошло не более десяти минут до того, как я услышал чьи-то крадущиеся, торопливые шаги. Спрятавшись за кусты, я увидел, что по тропинке идет закутавшаяся в покрывало женщина.

«Нора, сестра Уллы! И куда это она так поздно?»

В качестве раба я был любопытен: поставил ведро и тихонько пошел за ней. Шагов через сто она остановилась перед дверью старой, полуразвалившейся землянки, оглянулась и вошла туда. Через минуту по щелям завешенного обрывками кожи окна пролился тусклый свет.

Я хотел было пробраться ближе, но мне почудилось, что еще кто-то крадется в темноте; тогда я вернулся к оставленному ведру и скоро на этот раз нашел дорогу в замок. Старухи не было дома, сверху доносились тяжелые шаги Уллы.

«Улла шагает,— подумал я,— значит, Улла сердит».

Потом он спустился по лесенке и приказал мне оседлать коня.

Выбежав, чтобы исполнить приказание, я увидел, что во дворе стояли уже чьи-то три чужих лошади. Едва я успел затянуть подпругу, как во двор торопливо вошла старуха. Улла был еще дома, внизу. Она закрыла за собой дверь. Я подкрался к окну.

— Ну? — осведомился Улла нетерпеливо.

— Она там. Я видела, как она пошла до того места.

— А он?

— А его нет. Она ждет его. Только смотри, он осторожен. Надо тихо пробраться: верхом нельзя.

— А ты не врешь? — подозрительно спросил Улла.

Старуха отчаянно замотала головой; потом посмотрела на ведро с яблоками и, вздыхая, заметила:

— А этот здесь. Ох-хо-хо, плохой человек, хитрый человек! Его убить надо, Улла! Он все смотрит, все слушает.— И, повернув голову, она уставилась прямо на темную дыру, к которой я приник. Я спрятал голову между камней и затаил дыхание.

— Нет. Не твое дело! — отрезал Улла.— Он мне будет нужен.— И ушел к себе наверх.

«Ах ты старая ведьма! — подумал я.— Ну, погоди же ты у меня!»

И вместо того чтобы зарыться в листву, наваленную возле лошадиного стойла, да залечь спать, я прокрался за ворота и пустился бежать к землянке, чтобы успеть предупредить Нору о грозящей опасности.

По дороге, у самой почти землянки, я попал в руки двоих дозорных.

— Куда? — крикнул один, хватая меня за горло.

Я прохрипел:

— Берегитесь! Старуха проследила Нору, и Улла ползет сюда.

По-видимому, это сообщение сильно встревожило их, потому что один тотчас же засвистел пересвистами птицы колаюн. Тотчас же из землянки, сжимая рукоять своей кривой шашки, выскочил Рум, а за ним Нора.

— Бежим в замок! — сказала мне Нора.— Туда есть другая дорога. Я проберусь тихонько к себе в комнату и запрусь на засов. До утра я не впущу его. А утром вернется отец, а бить меня при отце он не посмеет.

— Беги, Нора,— сказал ей Рум.— А я спрячусь по-своему. Если что-нибудь будет нужно, сейчас же передай через него.— Он указал на меня.— Беги, Нора, ждать придется недолго.

Нора схватила меня за руку и потащила за собой. У Норы кошачьи глаза, а слух — как у летучей мыши. Мы вышли к другой стороне замка. Наверху было темно, и только слабый свет на сучьях росшего во дворе дерева показывал, что внизу еще не спит старуха.

Мы подкрались к воротам, но... И ворота и калитка оказались заперты изнутри. Старуха была хитрей, чем мы предполагали.

— Что теперь делать?

— Погоди,— ответил я, подумав, и потащил Нору в сторону, к ручью. Там лежала огромная полугнилая колода, наполненная водой. Еще три дня тому назад я положил вымачивать в эту воду длинный, крепкий аркан, которым притягивают к столбу молодых, еще не объезженных коней. Я нашел его, вынул из воды и принялся неудачно забрасывать на один из зубцов каменной стены. Нора выхватила аркан из моих рук, свернула его кольцом, сама изогнулась, выпрямилась — и ремни легонько свистнули в темноте: петля прочно охватила выступ. Тогда, упираясь ногами в трещины стен, я забрался на трехсаженную высоту, снял петлю и закрепил ее за свой пояс; внизу Нора проделала то же с концом ремня. Потом я спустился по другую сторону стены и разжал руки.

Я был по крайней мере пуда на полтора тяжелей Норы, и ременный аркан свободно поднял ее к зубцам как раз в то время, когда мои ноги почувствовали под собой земляную крышу лошадиного стойла. Теперь ей оставалось спускаться вниз. Она хотела спрыгнуть, но вовремя сообразила, что стук от прыжка может привлечь внимание старухи. Я стал ближе к стене, показывая знаком, чтобы девушка бросилась мне на руки; она отрицательно покачала головой.

— Прыгай, Нора, не то старуха выйдет или Улла успеет вернуться.

Она была легка и упруга, как гибкая гуттаперчевая кукла, и едва упала мне на руки, как с силой оттолкнулась от меня, боясь, чтобы я не удержал ее хотя бы на мгновение.

— Нора,— взволнованно прошептал я, свертывая аркан,— теперь проберись наверх, а когда вернется Улла, выйди сама и, если он будет спрашивать, скажи ему прямо, что старуха врет. Потом, погоди, скажи мне, за что Улла ненавидит Рума и почему он не хочет, чтобы Рум взял тебя в жены?

Но она ничего не ответила и убежала прочь.

Едва я зарылся в листву на обычный свой ночлег, как ворота загремели от властного стука. Я подбежал, откликаясь на зов Уллы, потом громко закричал старухе, чтобы она тащила ключ.

Старуха впустила Уллу с его товарищами и тотчас же снова заперла ворота на замок.

— Воды! — крикнул он.

Я бросился за ведром. Лицо Уллы было в крови и через лоб тянулся неглубокий, но длинный шрам.

— Сестра не вернулась? — спросил он у старухи.

— Нет, не вернулась, Улла! Я закрыла за тобой ворота и открыла только тебе. Она убежала с ним, Улла!

— Да, убежала,— хмуро ответил он.— Мы нарвались на засаду, и кто-то рубанул меня шашкой по лбу, но я отомщу им... Они скоро будут знать, что значит связываться с Уллой!

Он ушел наверх.

Через несколько минут раздался яростный крик. Снова послышались тяжелые шаги Уллы, спускавшегося книзу. В руке он держал уже неизменную нагайку.

— Старуха! — спросил он, медленно подходя к ней.— Были ворота все время заперты?

— Были, Улла,— в страхе пятясь к стенке, ответила она.

— Был ключ все время у тебя?

— У меня, Улла.

— И никто без меня не мог войти сюда?

— Никто не мог, и никто не приходил.

Тогда Улла взмахнул нагайкой и стал стегать ее по спине. Старуха взвыла отчаянно. Продолжая хлестать, он приговаривал:

— Ты наврала мне, старая колдунья. Ты тоже с ними заодно. Ты знала, что там нет никого, кроме засады. Ты нарочно наврала мне, чтобы меня там убили.

Не знаю, долго ли продолжал бы он хлестать старуху, если бы не послышался со стороны дороги топот двух-трех десятков коней.

— Отец приехал! — крикнул Улла и вышел во двор.

Я бросился зажигать факел.

Во двор въехала целая орава всадников. Впереди красовался на коне старый, седой Горга, хозяин замка и отец Уллы.

Факел задрожал у меня в руках, и я суеверно попятился назад от вида ожившей средневековой картины: хевсуры были суровы, усталы и бледны; рукоятки сабель бренчали о кольца железных сетчатых кольчуг. У многих рыцарей были узкие, длинные щиты, а младший сын Горга держал длинную, тонкую пику, с насаженной на острие срубленной головой.

Рядом с лошадьми стоял с перевязанными назад руками длинноволосый пленник.

Пленника бросили в тот же подвал, в который был когда-то брошен и я. Когда хозяева и гости скрылись, я подполз по земле к окну подвала.

— Кто ты? — окликнул я по-хевсурски.

— Грузин,— ответил пленник,— а ты?

— Я русский.

К моей величайшей радости, он спросил меня тогда по-русски:

— Зачем ты здесь и что ты здесь делаешь?

Коротко я объяснил ему...

— А ты, зачем ты сюда попал и почему они связали тебя?

— Они убьют меня скоро,— ответил он.— Нас много, мы пришли в центральную Хевсуретию снизу, мы подговаривали здешних хевсуров свергнуть своих родоначальников и установить здесь тоже советскую власть. Многие согласились, особенно там, ниже, но большинство, а главное, почти все родовые вожди остались враждебны. Улла один из самых страшных врагов всякой власти, кроме собственной. Но есть и другие. В вашем краю живет глава небольшого, но храброго рода, он — наш, и он готовит восстание.

— Его имя? — спросил я, приникая к решетке.

Пленник замолчал, но, поколебавшись, ответил мне:

— Его имя — Рум. Помоги ему, если когда-нибудь сможешь.

— Хорошо,— ответил я и пополз назад, потому что мне почудились шаги. Я окончательно зарылся в листву и слушал, как пленника ведут наверх.

Утром я вскочил на ноги, протер глаза и вдруг остановился, судорожно сжимая каменный выступ стены: по обеим сторонам ворот были крепко прилажены два копья с насаженными на острия человечьими головами, и на одном из острий я узнал голову ночного пленника.

Комната Уллы прилегала к одной из трех каменных башенок замка. Эта-то башенка давно привлекала мое внимание: две другие были открыты, а у этой всегда заперта на тяжелые железные замки окованная железом дверь.

Я не видел, чтобы этот замок когда-нибудь отпирался. Но однажды ночью в узких продолговатых бойницах забрезжил слабый свет. Очевидно, у Уллы, прямо из комнаты, вел ход в башню. Но что делал там Улла поздней ночью, понять я не мог. Кроме того, от моего взгляда не скрылись еще другие странности; так, каждое утро и каждый вечер старуха накладывала в глиняную плошку вареного мяса, отрезала ломоть лепешки и тащила все это в половину, занимаемую Уллой. Сначала я объяснял это просто прожорливостью Уллы. Но, заметив, что то же самое она проделала дважды в его отсутствие, я заподозрил тайну.

Как-то раз ночью, когда я уже спал, закопавшись в листву, кто-то тихонько затеребил мое плечо. Это была Нора.

— Тише,— сказала она шепотом,— тише. Улла дома. Скажи, ты не умеешь лечить?

— Нет,— ответил я, ничего не понимая.

— Старуха сказала Улле, что ты ночью пробовал забраться по кирпичам к окнам башни, чтобы заглянуть туда. В ту башню Улла никого не пускает, и никто, кроме него и старухи, не знает, что там такое. И Улла хочет убить тебя. Я слышала их разговор. Она спросила: «Зачем ты его держишь, Улла? А он ответил: «Я скоро убью его, старуха. Я узнаю только, умеет он лечить болезни или нет. Многие русские умеют. И если нет, то я убью его сразу, а если да, то потом».

— Он разве болен, Нора?

— Нет, он здоров как бык, и я не знаю, зачем ему. Ты скажи, что умеешь, потом беги отсюда прочь!

— Но куда, Нора? Я не знаю куда. Я давно убежал бы: я запутаюсь, меня поймают, и тогда все равно убьют.

— Потом,— шепнула она, насторожившись,— потом скажу,— и черной тенью метнулась прочь.

Два дня я ходил настороженный, взволнованный, готовый каждую минуту броситься наугад в горы и в леса.

Два дня Улла ни о чем не спрашивал меня. В замок то и дело приезжали всадники, о чем-то совещались, к чему-то готовились. Норы не было видно, меня же не выпускали никуда.

Как-то под конец вечера, когда я пошел за хворостом, сваленным в глухом, заросшем травой углу по ту сторону замка, я почувствовал, что в спину мне легонько ударился камешек. Я обернулся, посмотрел наверх и увидел в узеньком окошке лицо Норы. Она делала мне рукой какие-то знаки. Я подошел, но не мог разобрать ее слов, а громко говорить было нельзя.

Я понял одно: Нору заперли и она хочет сказать мне что-то важное.

К ночи, когда старуха потащила наверх миску с рубленым мясом, я пробрался снова под окно Норы.

— Слушай. Улла силой выдает меня замуж. Завтра ночью кто-то приедет с запада через Джайранью тропу и увезет меня отсюда совсем. Проберись к Руму, скажи ему. Я не хочу. Пусть он делает что надо, пусть нападет на замок и увезет меня. Сейчас здесь еще мало всадников, а когда они приедут — будет уже поздно.

Как пробраться к Руму, когда меня не выпускают за ворота? Замок Рума далеко — верст за двадцать пять. Если бежать туда, то бежать уж совсем. Не успел я еще принять окончательное решение, как меня позвал Улла. Он долго внимательно смотрел на меня, осведомился о своем коне, осведомился о порванной уздечке. Потом, как бы невзначай, спросил, умею ли я лечить людей.

— Да,— ответил я прямо,— да, Улла, я умею лечить людей, я знаю, какой напиток готовить от всяких болезней.

Улла помолчал, подумал, потом сказал:

— Сделай мне напиток от такой болезни, когда все тело начинает портиться, и на нем язвы.

Я ответил:

— От этой болезни, Улла, напитка не делают, а делают мазь, для этого мне нужно набрать трав в лесу.

— Хорошо. Ступай и собирай травы, но если ты не вернешься к завтрашнему вечеру, если ты попробуешь убежать, то первый хевсур, которому ты попадешься на глаза, сдерет с тебя кожу, ибо я так приказываю.

И едва забрезжил рассвет, как я, с корзиной в руках, вышел в лес. Сначала нарочно шел на запад, потом, когда замок скрылся из виду, круто повернул на юг.

Часа через три пути я устал и присел отдохнуть. Ко мне подошел старый вооруженный пастух.

— Что ты делаешь и куда идешь? — подозрительно спросил он.

— Я собираю лечебные травы для Уллы, сына старого Горга,— ответил я.— Дай мне напиться воды, добрый человек.

Мы сели и разговорились.

— Улла силен? — спросил я.— Почему Уллу все боятся?

— Улла силен и хитер. Никто так не бросает копье, как бросает его Улла, и никто столько раз не причинит кровь железным кольцом, как храбрый Улла. Когда будет «осенний праздник», ты увидишь сам. А когда внизу была большая война и на царской дороге воевали русские с русскими и русские с грузинами и грузины с армянами, когда все воевали друг с другом, тогда Улла с отрядом славных хевсуров спустился с гор вниз и много медных патронов и ружей привез в замок. И с тех пор он стал командовать и приказывать всем. Он жесток и дик, но никто не смеет сделать ему что-нибудь напротив.

— А давно это?

— Я сказал: шесть зим тому назад. Тогда внизу была большая война, я не знаю из-за чего, но я слышал, что люди убили своих начальников и убили своего царя. Из-за этого и началась война.

— И никого нет, кто смог бы победить Уллу?

Старик нахмурился.

— Нет, здесь никто не сможет. Есть один: он дерется на саблях и мечет копье не хуже Уллы. Он тоже во время большой войны спускался вниз, но он не привез с

собой ни ружей, ни медных патронов, он привез с собой только смуту да раздор. Он тоже силен и ловок, но он молод еще, и не устоять ему против Уллы.

— Кто он?

— Рум,— ответил старик.— Рум, к которому по ночам ездят всадники, затеявшие недоброе.

Я встал, попрощался и быстро пошел дальше.

— Рум! — сказал я,— Нору сегодня ночью увезут тайком далеко-далеко. Улла отдал ее в жены человеку, который ночью сегодня приедет через Джайранью тропу.

— Нору? Утром?

— Да, утром. Ее глаза заплаканы. Она тоскует по тебе и ждет, чтобы ты сегодня ночью напал на замок и увез ее с собой.

— Хорошо,— крикнул он.— Я нападу сегодня ночью на замок Уллы.

Потом, отойдя от меня, он долго молчал.

— Нет,— сказал он минуту спустя,—я не нападу сегодня на замок. Нельзя. Еще не настала пора начинать открытую войну с Уллой. Еще нельзя! Но все равно, Нору никто не увезет завтра из замка!

— Рум! — сказал я, подходя ближе.— Я знаю, что ты готовишь восстание.

Он вздрогнул и тигровым прыжком бросился ко мне.

— Что ты сказал, собака? Кто сказал тебе?

И я ответил:

— Мне сказал это человек, голова которого торчит сейчас на пике у ворот замка. Он поверил мне, и ты можешь верить мне тоже.

Рум опустил руку с кинжалом.

— Шпионов у Уллы так много...— как бы объясняя свою вспыльчивость, тихо проговорил он.

Мы стояли на мшистом холме. Позади, врезаясь в небо, торчали вершины скалистых гор.

— Рум,— спросил я,— чего ты хочешь и чего добиваешься?

— Жизни,— помолчав, сказал он.— Мы — мертвый народ. Мы живем в каменных норах, тысячу лет все там же и все так же! Я был внизу, я видел, что там работают, живут свободно, спокойно. Я видел там такое, чему здесь даже не верит мне никто. Что у нас есть? Полусырое

мясо, сухие лепешки, конь, шашка и всегда, всегда одно и то же. Улла говорит, что зато мы свободны, зато нас никто еще не покорил. Это не так! Нас просто позабыли, и мы, забившиеся сюда, в горную глушь, мы, маленькое племя, просто никому не нужны! Надо все менять, надо перерезать горло всем главарям, таким, как Улла, потому что они мешают жить! Все равно по-старому не живут. Старики говорят, что первого человека, который принес в горы винтовку, разорвали на куски, когда он выстрелил. А сейчас? А сейчас за винтовку отдают двух быков. Старики говорят, что когда-то один хитрый грузин принес в горы маленькие куски блестящего зеркала и менял их на масло у женщин. Тогда всем женщинам, у которых нашли зеркала, обваривали кипятком лица, чтобы они не думали о своей красоте, а грузину набили рот осколками битых стекол и зашили губы кожаным шнуром! А теперь всякая девушка старается достать зеркало, и у самого Уллы висит большой кусок на стене. Все равно, раз старое уходит, надо, чтобы оно скорей ушло.

Облокотившись рукой на шашку, он насторожил слух и уставился в небо. Я ясно услышал, как откуда-то издалека доносится едва уловимое, но знакомое жужжанье. Я прикрыл глаза ладонью и тоже взглянул туда, куда, окаменев, уставился Рум. И увидел в синеве осеннего неба, над лесами, над громадами неприступных гор летящий с севера на юг аэроплан...

Долго смотрели мы, как исчезал он за облаками, склонившимися на грудь могучих гор. Молчали. Я думал: «Дикая горная страна Хевсуретия, в которую так трудно пробраться и из которой еще труднее выбраться,— только маленькое пятнышко под взором быстролетных всадников воздуха».

Рум сказал:

— Эту железную птицу тоже сделали люди снизу. Я всегда смотрю на нее, когда она пролетает по небу. Я отдал бы свою серебряную шашку, коня и свой замок за то, чтобы у меня была своя железная птица.

— Зачем тебе, Рум?

— Так,— ответил он уклончиво.— Так. По-моему, тот, у кого есть эта птица, знает все, что только можно узнать во всем мире.

Оставить меня у себя в замке Рум не мог.

— Ты слышал уже, что я говорил. Мне нельзя сейчас открыто ссориться с Уллой. Потерпи еще немного, подожди до осеннего праздника.

Я успел вернуться домой к ночи. По пути нарвал без разбора всяких трав. Весь замок был освещен, и много коней стояло во дворе. С минуты на минуту ожидали приезда жениха. Улла веселился: много было приготовлено вина для гостей, много наварено жирной баранины и нажарено на вертеле сочных ломтей вкусного кабаньего мяса.

Жених опаздывал. Гостей начинал разбирать голод. Улла то и дело посылал то одного, то другого за ворота, чтобы узнать, не слышно ли топота.

— Едут! — крикнули наконец.

— Ге! Хорошо. Э, старуха! Одета ли Нора? Пусть сейчас выйдет встречать гостей.

Нора вышла. Ее заплаканные глаза блестели, и она чуть дрожала. Она видела, что помощь не пришла, что ждать помощи поздно уже... Заскрипели ворота. Улла выбежал встречать, и вдруг я услышал бешеные крики, проклятия и жалобный вой старухи... Я выбежал с факелом во двор.

Человек десять всадников, спрыгнув с седел, осторожно принимали на руки чье-то безжизненное тело. Всадники были окровавлены, многие изранены. До замка доехала только половина; вторая половина нарвалась на засаду в узком проходе Джайраньей тропы.

Нору увели.

Холодная злоба охватила Уллу.

— Я знаю, кто это! Я знаю, чьи это проделки! — говорил он, шагая из угла в угол.

И так же, как давеча Рум, помолчав, добавил:

— Но сейчас нельзя, сейчас еще рано. Мы подождем до осеннего праздника и тогда рассчитаемся за все.

— Улла,— обратилась к нему старуха вкрадчиво.— А откуда Рум мог узнать, что мы ждем гостей с Джайраньей тропы?

Улла подошел ко мне и крепко стиснул мне горло.

— Ты где был?

— Я рвал травы в лесу недалеко от замка, благородный Улла,— с трудом ответил я.— Я нарвал много хороших лечебных трав.

Пальцы разжались, и я полетел в угол. Улла стал совещаться о чем-то с всадниками.

«И тот до осеннего праздника и этот тоже! Ну и будет праздник!» — подумал я.

На следующий день я достал дегтя, растолок в ступе несколько диких яблок, сварил в котле все травы, смешал их в одну массу, сложил в глиняный горшок и понес «лекарство» Улле. Я вошел к нему в комнату. По-видимому, он только что вышел. В углу я заметил маленькую окованную железом дверку и осторожно подергал ее: дверка была заперта. Я приник ухом и ясно услышал, как за ней несколько раз лязгнула о камни железная цепь. Я выскочил назад, сел у порога нижнего этажа, подождал, пока вернулся со двора Улла, и протянул горшок с мазью. Он взял и не сказал ни слова.

«Кто бренчит в угловой башне цепями?»

Долго ломал я голову. Может быть, там просто медведь. Нет, не медведь! Это не медведю старуха носит каждое утро вареное мясо и куски овечьего сыра. Пленник... раб Уллы. Но это не похоже на Уллу! Улла давно убил бы его и выставил голову над воротами замка. Почему-то он бережет его, для него он спрашивал лекарство. Почему к этой комнате не допускает он никого, даже своих друзей?

Долго я соображал, но ничего сообразить не мог.

Приблизился большой осенний праздник. В замке шли приготовления. Вернувшиеся с горных пастбищ стада баранов еле волочили гнущиеся от тяжести курдючного жира ноги. Крепкие вина были приготовлены из прелых диких яблок. Лошадей перестали кормить жирными травами и держали на сухом сене, чтобы были легче. И хевсуры, разбившись кучками, с утра до вечера тренировались в метании копей, в борьбе, в схватках на саблях. И не важно, что то у одного, то у другого после дружеской схватки окрашивались кровью кожаные рубахи — хевсур крови не боится!

Опять позвал меня Улла, показал старую, затрепанную картинку и спросил:

— Знаешь ты, что это такое?

— Это пулемет, Улла. Это такое ружье, которое может стрелять тысячу раз, пока ты успеешь выпустить две обоймы.

— А ты видел такое ружье?

— Видел ли, Улла? Я не только видел, я и сам много раз стрелял из такого ружья!

— А ты можешь построить такое ружье?

Я вспомнил случай, когда, сознайся я в неумении лечить, сам обрек бы себя на смерть, и ответил твердо:

— Могу, Улла, но только для этого мне нужно много времени и вещей.

— Хорошо,— усмехнулся он и вышел.

А я подумал: «Спроси ты меня сейчас, могу ли я построить боевой аэроплан, вероятно тоже ответил бы, что могу, потому что кому охота подыхать, когда осенний праздник уже близко!»

Но перехитрил меня на этот раз Улла, и дорого обошлась мне моя ложь.

Со всех сторон к замку Уллы съезжались хевсуры. Старики говорили, что давным-давно не было такого людного праздника. Дикие леса оживились криками; по полянам горели костры. Многие гости ночевали под открытым небом — жарили, варили, пили привезенные с собой вина. Рум с отрядом всадников приехал поздно вечером. Улла пригласил его к себе в замок, и Рум, отобрав с собой десяток наиболее преданных ему хевсуров, въехал во двор.

Пили много. Столы были уставлены кувшинами с молодым вином и пестрыми закусками. Я заметил, что Рум только прикладывал рог к губам, делая вид, что пьет, а сам зорко смотрел за всем, что делалось вокруг. Смотреть было за чем. Становилось весело, подозрительно весело! Улла то и дело вставал, выходил, что-то кому-то приказывал...

Раз, воспользовавшись тем, что Улла вышел, Рум сам направился в коридор. В коридоре он столкнулся с Норой.

— Нора,— шепотом проговорил он,— завтра под вечер мы нападаем. К этому времени подъедет отряд друга

моего, Алимбека.— И еще тише добавил: — В ущелье возле Черной скалы тебя будет ждать свободная лошадь и три всадника. Во время схватки беги туда — они будут ждать тебя до тех пор, пока ты не прибежишь или пока я не прикажу им уйти.

Он вернулся обратно. Он так и не узнал, что Улла, нарочно выпустивший Нору, чутко вслушивался в разговор, приникнув ухом к окну.

Улла снова вышел к гостям; лицо его было озабочено. Он досадовал, что взрыв шума из соседней комнаты помешал ему расслышать последние слова Рума, обращенные к Норе.

Он налил и поднял полный рог вина. Все замолчали.

— Пью за силу и мощь вольной Хевсуретии и за погибель всех ее изменников и предателей! — При этом Улла вызывающе посмотрел на Рума.

Рум вздрогнул и ухватился за рукоять шашки, но пересилил себя и промолчал; к кубку он не притронулся.

Улла снова злобно посмотрел на него.

— Пей! — сказал он.

— Нет,— ответил Рум,— мне не нравится твой тост, Улла.

— Скажи свой,— вызывающе предложил тот.

Рум встал и тоже налил кубок.

— Пью за счастье Хевсуретии и за дружбу с людьми из долин, сбросившими своих властелинов и призывающими нас сделать то же самое.

Криками одобрения и негодования покрылись его слова. Улла с потемневшим лицом вырвал у Рума рог и выплеснул вино на землю.

Все повскакали с мест, и схватка, казалось, была неизбежна.

Но Улла вдруг остыл. В его расчеты не входило начинать сейчас, ибо он готовил более верный удар. Рум тоже вспомнил, что отряд Алимбека прибудет только завтра к вечеру.

В дело вмешались старики и вынесли решение: Улла должен драться с Румом на саблях, один на один, завтра, после окончания борьбы и конских состязаний.

Оба наклонили головы в знак согласия. Рум встал, за ним встала его охрана, и через несколько минут их кони затопали, удаляясь из замка.

Зеленая долина перед замком еще с утра начала наполняться конными и пешими хевсурами. Наконец праздник начался.

Впереди на траве расселись огромным кругом старики — законодатели, судьи и блюстители вековых традиций. Их обступило плотное кольцо зрителей и участников.

Вышли в середину круга двое. Гул смолк. Старики подали им два железных кольца с тремя железными шипами на каждом. Кольца эти надеваются на большой палец правой руки. Один из стариков хлопнул в ладоши.

Противники были без кольчуг в мягких кожаных рубашках. Оба чуть-чуть склонили голову и, защищая приподнятой левой рукой лица, стали, крадучись, подходить друг к другу. Сошлись близко. Один стремительно прыгнул вперед. Он взмахнул правой рукой, чтобы ударить противника кольцом по лицу. Но тот вовремя закрылся рукавом и в свою очередь взмахнул рукой. Широкая красная царапина протянулась по щеке противника.

— Первая кровь! — закричали зрители.

Через несколько минут по той же щеке протянулась вторая полоса. Зрители взволновались, но тут раненый, воспользовавшись промахом противника, наскочил на него так внезапно, что тот не успел поднять руку, и сразу три кровавых полосы заалели на его лице.

— Го-го-го! Хорошо! Давай еще!

Через несколько минут оба лица были целиком окровавлены, а бараньи рубахи окрашены тонкими струйками стекающей крови.

Схватка окончилась.

Тогда старики сосчитали, сколько царапин у каждого из бойцов: у первого — четыре, у второго — шесть. Первый выиграл две царапины — двух быков своего противника.

Пары выходили и выходили без конца.

Глаза зрителей разгорались все ярче: руки все чаще тянулись к кинжалам.

Потом пошли конские состязания.

Кучка всадников, человек в тридцать, еще давно умчалась куда-то. Но вот они внезапно для меня показались на вершине горы, обращенной к нам обрывистым скатом.

— Что они будут делать? — спросил я.— Зачем они туда забрались?

— Они будут спускаться вниз, и кто первый спустится, тот выиграет.

Я ахнул: каменный скат был настолько крут и гладок, что оттуда и ползком не спустишься, а тут еще на конях!

От нас всадники казались черными точками. Снизу дали сигнальный выстрел, и черные точки поползли по скату. Это была дьявольски рискованная игра. С одной стороны, нужно стараться спуститься первым, с другой — всякая попытка чуть подогнать лошадь может окончиться тем, что и всадник и конь полетят через голову вниз.

В ясном воздухе видно было, как лошади взвиваются, садятся на круп и цепляются за каждый уступ, за каждую впадину...

Минут через двадцать небольшая часть всадников уже опередила других; через пятьдесят — впереди шли только трое. Наконец до подошвы горы им осталось совсем немного — несколько сажен. Тогда один из них захотел рискнуть и пустить лошадь прямо вниз. Другой понял его и решил сделать то же самое. Третий побоялся.

Оба коня вдруг прыгнули вперед; сдержать их было уже поздно.

Тотчас же первый конь упал на передние ноги, а всадник, перелетев через голову, грохнулся о землю и покатился вместе со своим конем вниз.

Конь второго со всего размаха врезался ногами в щебень, почти у самого подножья горы, и в следующую секунду огромным прыжком достиг мягкой зеленой лужайки под скатом.

Бешеными криками, почти воем, приветствовала толпа победителя.

Наступил небольшой перерыв перед битвой Уллы с Румом.

Улла, торопясь, подскакал к замку, исчез там, потом вышел с одним из главарей своей шайки. Большой отряд хевсуров скрылся с поляны.

Я понял замысел Уллы. Пробрался к Руму, который нетерпеливо, с минуты на минуту, ожидал помощи, и сказал ему:

— Беда, Рум. Улла, очевидно, узнал все. Смотри, здесь мало осталось его людей: он отослал всех навстречу отрядам Алимбека.

Тяжелый удар сшиб меня с ног. Это Улла, заметив, что я переговариваюсь с Румом, наехал на нас сбоку и ударил меня древком копья.

Рум выхватил шашку, не дождавшись сигнала стариков. Улла тоже. Но Улла не хотел драться один на один. Он рубанул один раз с коня по спешившемуся Руму и, когда клинок его шашки лязгнул о клинок шашки Рума, он ударил коня нагайкой, и вся масса его всадников ринулась за ним прочь к замку.

Рум тоже вскочил на коня. Медлить было нельзя: с обеих сторон загрохотали первые одиночные выстрелы.

Всадники Рума, сомкнувшись колоннами, понеслись во весь опор на замок, у ворот которого остановился Улла со своими. Казалось, что разъяренная лавина поднятых шашек сметет сейчас и Уллу с его небольшим отрядом и разгромит в прах весь замок.

Но тут случилось то, чего никогда еще здесь не случалось, то, чего никто не ожидал и не мог ожидать: угловая башенка молчаливого замка загрохотала вдруг гибельным треском сотен выстрелов.

«Пулемет, – сообразил я, бросаясь на землю.— У Уллы в башне пулемет».

И повалились шеренгами, десятками скошенные всадники. Испуганно шарахнулись непривычные к грохоту дикие кони, дрогнули под гибельным огнем и бросились назад остатки людей Рума.

Тотчас же ястребом кинулся за ними сам Улла.

Рум был ранен. Улла налетел на него и ударил копьем. Но кольчуга Рума, не стерпевшая пулеметной пули, выдержала удар тяжелого копья. Рум пошатнулся и рубанул Уллу поперек лица; верен, но слаб был удар отяжелевшей руки Рума... В следующую секунду он упал, с головой, надрубленной всадником, налетевшим сзади...

Я лежал связанный в угловой башенке. Недалеко от меня, прикованный цепью к стене, сидел на соломе осетин-пулеметчик, пленник Уллы.

И я понял теперь, кому носила старуха обед, кто бренчал цепями; я узнал тайну каменной башни.

Осетин умирал. Все тело его было изъедено и сожжено экземой. Он выглядел скелетом с глубоко ввалившимися глазами и бескровным ртом.

Я попробовал спросить его о чем-то. Пулеметчик открыл рот, и я увидел черный обрубок языка.

Потом вошел Улла и сказал мне:

— Этот к завтрему издохнет, и тебя нужно бы убить, потому что ты предатель, но мне некем будет заменить его. Ты говорил мне, что знаешь хорошо пулемет, и завтра я прикую тебя на его место.

Он перекосил свое изуродованное ударом шашки Рума лицо, пнул каждого из нас ногой и ушел, оставив меня додумывать мысль от том, что любому путнику приходит пора заканчивать свой путь. И я попросил пленного осетина:

— Тебе все равно умирать. Вложи патрон в пулемет, наведи его на меня и выстрели мне в голову.

Он посмотрел на меня и, соглашаясь, мотнул головой.

Настала ночь. Он протянул руку к коробу пулемета, но тотчас же боязливо приник к соломе, потому что в соседней комнате зашуршали легкие шаги. Скрипнула дверь.

Вошла Нора. В руках ее был кинжал, и я заметил, что с него по капле стекает на каменные плиты пола кровь.

Глаза Норы блуждали по углам и ярко блестели. Она подошла ко мне, перерезала веревки и сказала:

— Иди за мной, все ключи у меня.

Мы прошли через комнату Уллы. Я попал ногой в какую-то лужу. Спустились вниз. Осторожно прокрались мимо спящих вповалку хевсуров.

В тускло освещенном коридоре я бросил нечаянный взгляд на пол и увидел, что от моих подметок на полу остаются красные следы.

Весь двор был забит заснувшими. Едва не ступая на головы спящих, мы пробрались к воротам. Нора отперла маленькую калитку и закрыла ее на ключ снаружи.

Если бы даже сейчас спохватились, то броситься за нами из замка было бы не так-то легко.

Долго бежали мы извивающимися тропами. Прыгали с камня на камень. Несколько раз я падал, но, не чувствуя боли, поднимался и бежал за Норой дальше.

Наконец выбрались к ущелью Черной скалы. И тут при лунном свете я разглядел спокойные силуэты трех всадников, дожидавшихся нас. Мы остановились передохнуть. Нора подошла к одному и тихо сказала что-то, указывая на меня.

По узенькой тропе, над черной пропастью мы пошли дальше. Всадники, далеко сзади, вели коней в поводу.

— Нора,— сказал я,— если Улла спохватился нас, то уже отряжена погоня.

— Нет,— и она вынула из складок платья кинжал,— больше не спохватится.

И я понял тогда, что кровь на моих подошвах была кровью Уллы. Скоро девушка остановилась и взяла меня за́ руку.

— Скажи,— попросила она тихо,— старики говорят, что когда человек погибнет, то после смерти он улетает в далекую страну звезд. Скажи, когда я умру, я встречу Рума?

И, так как здесь был не диспут о загробной жизни, не стоило обрушиваться на мистику и нематериалистическое понимание процессов. Я твердо солгал ей:

— Да, встретитесь.

На этом месте тропинка была настолько узка, что двоим нельзя было идти рядом. Я пошел вперед и, поглядев на небо, усыпанное звездами, вспомнил Рума с его мечтой иметь «железную птицу», чтобы знать и видеть все, что только можно узнать в этом мире. И я подумал, улыбнувшись: «Рум! Не только тебе, но и мне нужна птица, которая научила бы меня видеть и понимать все. Но еще до сих пор я не встретил ее ни в голубом небе, ни в зеленых лугах. И если даже я и встретил ее случайно, то еще не узнал ее...»

Я вздрогнул от шороха осыпающихся камней. Я обернулся и увидел, что на узенькой тропинке над пропастью не было никого, кроме меня. Нора, тоскующая о Руме, исчезла в темной пустоте пропасти...

Далекий сон — страна умирающих рыцарей, страна железных кольчуг и каменных замков — этот сон уплыл прочь.

И доктор Владикавказской нервной клиники — не Моисей Абрамович—пожимал мне руку и говорил:

— Ну, смотрите, больше никаких потрясений. Травма. Истеропсихо... Образ жизни — самый регулярный. Больше пейте молока и чтобы никаких Хевсуретий.

Я вышел на улицу. Легкое солнце... Мягкой улыбкой расплывалась золотистая осень. Я жадно хлебнул глоток свежего воздуха и улыбнулся сам.

— Хорошо жить! «Рита...» — вспомнил опять. Но на этот раз это имя вызвало только смутные очертания, тень, неясную и призрачную. Я позабыл лицо Риты...

Девять суток плыл пароход по Волге от Сталинграда вверх.

Девять суток я выздоравливал час за часом. И когда на десятые заревела сирена у пристани, где кончался мой путь, когда замелькали знакомые дома, прибрежные бульвары и улицы, я смешался с веселой, бодрой толпой и сошел на давно покинутый мною берег.

И вот я, вернувшийся из очередного путешествия по обыкновению ободранным и усталым, валяюсь теперь, не снимая сапог, по кроватям, по диванам и, окутавшись голубым, как ладан, дымом трубочного табака, думаю о том, что пора отдохнуть, привести все в систему.

Рита замужем за Николаем. Они официально зарегистрировались в загсе, и она носит его фамилию.

Вчера, когда заканчивал один из очерков для очередного номера моей газеты, Рита неожиданно вошла в комнату.

— Гайдар! — крикнула она, подходя ко мне и протягивая руку.— Ты вернулся?

— К кому, Рита?

— Сюда... К себе...— ответила она, чуть запнувшись.— Гайдар! Ты не сердишься на нас? Я теперь знаю все... Нам писали из грузинского поселка, как было дело. Но мы же не знали, мы были сердиты на тебя за ту ночь! Ты прости нас.

— Прощаю охотно, тем более, что это мне ничего не стоит. Как живешь, Рита?

— Ннчего,— ответнла она, чуть опуская голову.— Живу... вообще...

Она помолчала, хотела что-то сказать, но не сказала. Подняла матовые глаза и, посмотрев мне в лицо, спроснла:

— А ты?

Я не знаю, что это у нее за манера заглядывать в чужне окна... Но на этот раз шторы монх окон былн наглухо спущены, и я ответил ей:

— Я жаден, Рита, и хватаю все, что могу и сколько могу. Чем больше, тем лучше. И на этот раз я вернулся с богатой и дорогой добычей.

— С какой?

— С опытом, закалкой н образами встречных людей.

Я помню нх всех: бывшего князя, бывшего артиста, бывшего курсанта, н каждый нз них умнрал по-своему. Помню бывшего басмача, бывшего рыцаря Рума, бывшую днкарку-узбечку, которая знала «Лельнина». И каждый нз ннх рождался по-своему...

1926

НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ

1

Из травы выглянула курчавая белокурая голова, два ярко-синих глаза, и послышался сердитый шепот:

— Валька... Валька... да заползай же ты, идол, справа. Заползай сзаду, а то он у-ч-ует.

Густые лопухи зашевелились, и по их колыхавшимся верхушкам можно было догадаться, что кто-то осторожно ползет по земле.

Вдруг белокурая голова охотника опять вынырнула из травы. Свистнула пущенная стрела и, глухо стукнувшись о доски гнилого забора, упала.

Большой, жирный кот испуганно рванулся на крышу покривившейся бани и стремительно исчез в окне чердака.

— Ду-урак... Эх ты! — негодуя, проговорил охотник поднимающемуся с земли товарищу.— Я же тебе говорил — заползай. Там бы сзаду как удобно, а теперь на-ко выкуси... Когда его опять уследишь.

— Заползал бы сам, Яшка. Там крапива, я и то два раза обжегся.

— Крапива! Когда на охоте, то тут не до крапивы. Тебе бы еще половик подостлать.

— А раз она жжется!

— Так ты перетерпи. Почему же я-то терплю. Хочешь я сейчас голой рукой ее сорву и не сморгну даже? Вру, думаешь?

Яшка вытер влажную руку, выдернул большой крапивный куст и, неестественно широко вылупив глаза, спросил торжествуя:

— Ну, что, сморгнул? Эх ты, нюня.

— Я не нюня вовсе,— обиженно ответил Валька.— Я тоже могу, только не хочу.

— А ты захоти... Ну-ка, слабо захотеть?

Веснушчатое курносое лицо Вальки покраснело; не принять вызова он теперь не мог.

Он подошел к крапиве, заколебался было, но почувствовав на себе насмешливый взгляд товарища, рывком выдернул большую старую крапивину. Губы его задрожали, глаза заслезились; однако, силясь вызвать улыбку, он сказал, немного заикаясь.

— И я тоже не сморгнул.

— Верно! — по-чистому согласился Яшка,— раз не сморгнул, значит, не сморгнул. Только я все-таки посередке хватал, а ты под корешок, а под корешком у ей жало слабже. Ну, да и то ладно! Знаешь что? Пойдем давай во двор, там девчонки играют, а мы им сполох устроим.

— А мать дома?

— Нет. Она на станцию молоко продавать пошла. Никого дома нету.

Во дворе возле забора домовитые и стрекотливые, как сороки, две девочки накрыли сломанный стул и табурет старым одеялом и, высунувшись из своего шалаша, приветливо зазывали двух других девчонок:

— Заходите, пожалуйста, в гости. У нас сегодня пироги с вареньем. Заходите, пожалуйста.

Но едва только гости чинно направились на зов, как хозяйки шалаша испуганно переглянулись.

— Мальчишки идут!

Яшка и Валька приближались медленно, спокойно, ничем не выдавая на этот раз своих истинных намерений.

— Играете? — спросил Яшка.

— У-ухо-дите! Чего вы лезете? Мы к вам не лезем,— плаксиво сказала Нюрка, Яшкина сестренка.

— Отчего же нам уходить? — еще мягче спросил Яшка.—Мы посмотрим, да и пойдем дальше. Это что у вас такое? — и он ткнул пальцем в одеяло.

— Это наш дом,— ответила Нюрка, несколько озадаченная таким необычно мирным подходом.

— До-ом? А разве дома из одеялов строят? Дома строят из бревен или из кирпича. Вы бы потаскали кир-

пичей с «Графского» и построили крепкий, а этот чуть толкнешь,— он и рассыплется.

И Яшка потрогал ногою табуретку, чем вызвал немалую панику у обитателей шалаша.

— Ну, ладно. А где же у вас пирог?

— Вот тут,— тревожно следя за каждым движением Яшки, ответила Нюрка.

— Вот дуры-то! Все у них не по-людски. Дом из одеяла, а пироги из глины. А ну-ка съешь один пирог, ну-ка кусни. А... не хочешь? Людей такой дрянью угощаешь, а сама не хочешь. Валька, давай, мы все ихние пироги им в рот запихаем. Сами напекли, пускай и жрут.

— Я-а-а-шка,— безнадежно тоскливо в один голос затянули девчонки.— Я-а-шка... у-ходи, ху-ли-и-га-ан.

— А... вы еще ругаться! Валька, в атаку на это бандитское гнездо!

Только-только угроза разгрома и расправы вплотную нависла над мирными обитателями шалаша, как вдруг Яшка почувствовал, что кто-то крепко взял его сзади за вихор.

Девчонки, точно по команде, перестали выть. Яшка обернулся и увидел — Валькины пятки, исчезающие за забором, да рассерженное лицо матери, вернувшейся с вокзала.

— Марш домой!— крикнула мать, давая ему шлепка.— Ишь разбойник, и игры-то у него разбойные... Смотри-ка, какой Петлюра выискался. Вот погоди, придет отец,— он тебе покажет, как атаманствовать.

2

Отец у Яшки старый — уже пятьдесят четыре года стукнуло. Служит он сторожем в совете, а раньше садовником у графа был.

В революцию граф с семьей убежал. Усадьбу старинную мужики сгоряча разграбили. Невдомек было, видно, что усадьба-то пригодиться может. В суматохе кто-то то ли нарочно, то ли нечаянно запалил ее. И выгорело у каменной усадьбы все деревянное нутро. Одни только стены сейчас торчат, да и те во многих местах пообвалились. А от оранжерей и помину не осталось.

Стекла в гражданскую войну от орудийной канонады полопались, а дерево сгнило.

Раньше хоть мимо дорога была, но с тех пор как построили новый мост через Зеленую речку, совсем усадьба в стороне осталась. И стоит она на опушке, над оврагом, как надмогильный памятник старому режиму.

Отец Яшкин, Нефедыч, вернулся сегодня вовсе добрым, потому что получка была. А в получку каждый человек, конечно, добрый, и потому, когда мать начала жаловаться на Яшку, что нет с ним сладу, отец ответил примирительно:

— Ничего, осенью в школу опять пойдет, тогда за ученьем дурь из головы вылетит.

— До осени-то еще долго. Он и вовсе избалуется. Тебе-то что, а у меня он на глазах.

Яшка сидел молча, уткнув голову в тарелку, и не оправдывался.

Это отмалчивание еще больше рассердило мать, и она, бухая на стол горшок с кашей и свининой, продолжала:

— Этак из мальчишки добра не выйдет. Тоже пошли деточки... Я сегодня с вокзала иду, смотрю: в стоге сена, возле тропки, что-то ворочается. Уж не наш ли поросюк забежал?.. Подошла, глянула, да так и обмерла. Высовывается оттуда рожа, че-ерная, ло-охматая, вся как есть в саже. Во рту цигарка, а в руке рогуля с резиной, а в резине камушек. Мальчишка лет тринадцати, а страшенный, сил нету. Я назад, а он как засвищет, да этак засвищет, что аж в ушах зазвенело.

При этих словах Яшка насторожился, а Нефедыч аккуратно сложил газету и сказал:

— В совете у нас про это самое разговор был. Говорят, объявился у нас в местечке какой-то беспризорный. И зачем его к нам занесло, — уму непостижимо. Местечко у нас маленькое, стороннее, от главной линии только ветка. У нас рассуждали, что не изловить ли его? Так опять — куда ты его денешь? В суд — нельзя, пока за ним проступков никаких не замечено. Беспризорного дома у нас нет, а в город отправлять — возня. Секретарь говорил, что, должно быть, беспризорный и сам скоро убежит, потому что у нас ему не интересно: ни публики на вокзале, ни толпы на улице — кошелек спереть из кармана, и то не у кого.

Яшка, ошеломленный услышанным, забыл про кашу и прилип к табуретке. Потом, сообразив, что, вероятно, он пока является единственным обладателем подслушанного сообщения, заерзал, бросил недоеденную тарелку и, невзирая на грозный окрик матери, понесся на двор срочно поделиться с Валькой важной новостью.

Он бросился к забору Валькиного сада и чуть не лбом столкнулся с перелезающим навстречу Валькой.

— А я, брат, чего знаю! — сказал, переводя дух, Яшка.

— Нет, ты слушай лучше, что я знаю.

— Про что ты можешь знать! Ты знаешь про неинтересное, а я про интересное.

— Нет уж я-то про самое интересное знаю.

— Знаю я, про какое интересное ты знаешь. Наверное, про то, кто нашу ныретку на проток перекинул? Так это что, а я вот знаю!

— Ничего ты не знаешь. А ну давай об заклад биться, если ты знаешь интересней, я тебе две стрелы с напайками дам, а если я интересней, то ты мне... ножик.

— Ишь ты какой ловкий!.. Ножик-то почти новый, у него только одно лезвие сломано, а от второго еще больше полполовины осталось... Хочешь я тебе патрон дам?

— На что он мне? У меня своих три.

— Так у тебя же пустые, а я нестреляный дам, его ежели в лесу в костер бросить, так он как ухнет.

— Ну, ладно. Чур — так! Говори. А то ты увидишь, что моя берет, и скажешь, что про это же самое знаешь, чтобы не отдавать.

— Так тогда как же? — Оба мальчугана постояли, задумавшись, потом Яшка прищелкнул языком и сказал:

— А вот как! На тебе гвоздь и нацарапай им на заборе — про что у тебя, а потом в другом месте нацарапаю я, тут уже будет без обмана.

Оба долго пыхтели, вычерчивая кособокие буквы.

Через минуту оба хохотали.

— Да у нас про одно и то же. Только у меня написано «про беспризорного», а у тебя «про беспризорного налетчика». Почему же, однако, он налетчик?

— А уж обязательно налетчик,— снижая голос, ответил Валька. Они все такие, у них в кармане либо

финский нож, либо гиря на ремне. А то чем же они питаться станут.

— А может, попросят где, — сомневаясь в словах товарища, сказал Яшка, — либо яблок по садам накрадут, вот и жрут.

— Ну уж и попросят! Скажешь тоже... Да кто же этаким страшенным подаст? Нет уж, ты поверь мне, что налетчик. Симка Петухов его сегодня повстречал. Симка говорит, что как выскочит тот из ямы возле кирпичных сараев и кричит: «Выкладывай все, что есть», а сам махает гирей, а гиря тяжелая, десять фунтов.

— Ну уж и десять?

— Ей-богу, десять. Симка еле утек, он бы, говорит, вступил с ним в сражение, да был без оружия, палки и той под рукой не было.

— А может, он врет, Симка-то? Что с него грабить? Я сам видел в окно, как он мимо пробежал, на нем одни штаны только до колен, а рубахи и той не было.

Последний довод смутил несколько Вальку, но, не желая сдаваться, он ответил уклончиво:

— Уж не знаю чего, а только налетчики всегда этакими словами разговор начинают, это у них уж такая привычка.

— Валька! — сказал, немного подумав, Яшка. — А как же теперь... мальчишки, поди-ка, все струхнут.

— Обязательно струхнут. Чуть вечер, поди, и за ворота выйти побоятся.

— А ты?

— Я-то... — Валька горделиво усмехнулся. — Я что! Я и сам... я вот сегодня ножик перочинный отточу да на бечевке под рубахой к поясу привяжу. Так и буду ходить, как черкес, пусть только попробует сунуться.

— А я налобок возьму, которым в ямки играют. Он крепкий, дубовый. Приходи завтра пораньше утром под окошко и крикни мне. Да только не ори, как вчера, во всю глотку, так, что мать даже с постели вскочила, думала, говорит, что пожар или сполох какой.

— Не... я тихонько.

— Валька... спросил Яшка перед тем как уйти.— А отчего они черные такие?.. Как мать говорит, хуже черта.

— Оттого, что они под мостами либо в котлах ночуют.

— А зачем же в котлах? — еще больше удивился Яшка. — Какой же есть интерес в котле ночевать?

— Какой? — Валька задумался. — А такой, что ежели ты его в постель положишь, то он и глаз закрыть не может, а обязательно, чтобы в котле. Это уж у них такая природа.

3

В последующую неделю были немалые толки и пересуды среди мальчишек местечка. Беспризорный этот, по-видимому, и на самом деле оказался настоящим разбойником.

Например, в ночь с субботы на воскресенье оказался целиком очищенным от яблок сад тетки Пелагеи. В поповском доме неизвестно откуда залетевшим камнем вдребезги разбито стекло. А что еще хуже — пропал у Сычихи козел. То есть были обысканы все закоулки, все пустыри, а козла нет и нет...

Яшка все понимал. Ну, яблоки, скажем, про запас. В стекло камнем — просто для озорства. Ну, а козел на что?

Ни шкуры с него, ни мяса не жрут.

— Жру-у-ут! — с увлечением подтверждал Валька.— Простые люди не жрут, а они все как есть жрут. Такая уж у них природа.

— Что ты мне забубнил,— рассердился Яшка,— природа да природа! По-твоему, может, и сырье жрут.

— И сырье и всякое, — еще с большим азартом принялся уверять Валька. — Мне Симка рассказывал, что, когда был он в городе — такое видел! Идет торговка с корзиной, а беспризорные налетели... раз... раз, и не осталось от нее ничего.

— От торговки-то?

— Да не от торговки, а от корзины, с калачами там или с пирогами.

— Так ведь это пирог, пирог — он вкусный, а то козел — тьфу!

Валька оглянулся, подошел к товарищу поближе и сказал таинственным шепотом.

— Яшка! А Степка-то за нами выслеживает. Честное слово. Я пошел к «Графскому». Вдруг как ровно дернуло меня обернуться. Я присмотрелся. Гляжу, Степкина

голова из-за кустов торчит и пристально этак за мною выглядает. Я нарочно взял да и свернул логом к пустырю, а оттуда домой.

— Ну-у! — и у Яшки даже голос осекся от волнения. — А может, он просто нечаянно?

— Ну нет, не нечаянно. Этак прямо смотрит и смотрит. А я гляжу — рядом куст колыхнулся. Должно быть, там еще кто-нибудь из ихней партии сидел.

— Так ты, значит, *там* не был?

— Нет!

— А как же *он* там, голодный?

— Ничего, ему хлеба в прошлый раз много принесли и воды тоже. Жив будет до завтра. А завтра пойдем либо рано утром, либо к вечеру попозже, когда от мальчишек незаметней. Ух, как осторожно надо действовать, а то накроют. Нас двое, а их четверо. Кабы нам хоть кого третьего к себе придружить.

— Кого придружить? Ты его сегодня придружи, а он назавтра все ихним выболтает. А тогда что? Тогда убьют его непременно.

— Убьют обязательно.

Возвращаясь домой, Яшка за огородами натолкнулся на своего закоренелого врага Степку.

Встреча была неожиданная для обоих. Но противники заметили один другого еще издалека, и поэтому, не роняя своего достоинства, свернуть в сторону было невозможно.

Сблизившись на три шага, враги остановились и молча, внимательно осмотрели один другого. У Степки была палка, следовательно, преимущества были на его стороне.

Осмотревшись, Степка презрительно и мастерски сплюнул на траву. Яшка не менее презрительно засвистел.

— Ты чего свистишь?

— А ты чего расплевался?

— Я вот тебе свистну. Вы зачем на нашего кота со стрелами охотитесь?

— А пусть в чужой сад не лезет. Когда наш Волк к вам во двор забег, вы зачем в него кирпичами кидали?

— А вы куда Волка девали? Вы врете, что его отравил кто-то. Вы сами его куда-то спрятали, потому что мы

на него в суд за задушенных кур подали. Только вы нас не проведете... Погодите, мы до вас скоро докопаемся.

— Четверо-то на двоих, нашлись!

— Эх и трусы! Четверо! Ваську тоже сосчитали, когда ему только девять лет.

— Что же, что девять. Он вон какой толстый, как боров... да и все-то вы свиньи.

Последнее замечание показалось настолько оскорбительным, что Степка схватил с земли глиняный ком и со всего размаху запустил его в Яшку.

И если кровавому поединку не суждено было совершиться, и если Яшка не пал на поле битвы от руки лучше вооруженного врага, то только потому, что этот последний вдруг дико вскрикнул и без оглядки бросился бежать.

Предполагая, что тот струсил, Яшка издал воинственный клич — и хотел было преследовать неприятеля, как вдруг услышал позади себя негромкий смех.

Он обернулся и тотчас же понял действительную причину поспешного исчезновения Степки.

Возле куста бузины стоял одетый в лохмотья черный, невысокий мальчуган, в котором Яшка без труда угадал грозу всех мальчишек местечка, героя последних городских событий — беспризорного налетчика.

4

И тотчас же Яшка понял, что он погиб окончательно и бесповоротно. Он хотел бежать, но ноги не слушались его. Он хотел закричать, но понял, что это бесполезно, потому что вокруг никого не было. Тогда, решившись отчаянно защищаться, он стал в оборонительную позу.

Мальчуган в лохмотьях продолжал смеяться, и этот смех сбил еще больше с толку Яшку.

— Ты чего? — спросил он, с трудом ворочая языком.

— Ничего,— отвечал тот,— что это вы, как петухи, друг на друга налетели.— Мальчуган раздвинул кусты и очутился рядом с Яшкой.

«Сейчас гирю вынет»,— с ужасом подумал тот и сделал шаг назад.

Однако вместо того чтобы напасть на Яшку, беспризорный бухнулся на траву и, хлопая рукой по земле, сказал:

— Чего же ты столбом встал. Садись.

Яшка сел. Беспризорный засунул руку в карман и, к величайшему изумлению Яшки, вынул оттуда маленького живого воробья и поднес его ко рту.

— Сожрешь? — негодуя, воскликнул Яшка.

Беспризорный вопросительно поднял на Яшку маленькие ярко-зеленые глаза, подышал теплом на воробьенка и ответил:

— Разве ж воробьев жрут? Воробьев не жрут и галок тоже не жрут. Голубь, тут другой разговор. Голубя ежели в угольях спечь — вку-усно. Я их из рогатки бью.

Он сунул воробья за пазуху рваной бабьей кацавейки и, протягивая Яшке недокуренную цигарку, предложил:

— На, докури...

Машинально Яшка взял окурок и, не зная куда его девать, спросил несмело:

— А козла ты зачем съел?

— Кого?

— Козла... Сычихиного. У нас ребята говорят, что ты его упер на жратву.

Беспризорный хлопнул себя руками по бокам и звонко расхохотался. И пока он хохотал — оцепенение начало сходить с Яшки, и беспризорный представился ему в совершенно другом свете. Яшка рассмеялся и сам потом подскочил и затряс кистью руки, потому что догоревший окурок больно ожег ему пальцы.

Успокоившись, подвинулись друг к другу ближе.

— Тебя как звать? — спросил беспризорный.

— Меня Яшкой. А тебя?

— А меня Дергачом.

— Почему же Дергачом?

— А почему тебя Яшкой?

— Вот еще скажешь тоже. Яков — такой святой был, и именины справляют. А такого святого, чтобы... Дергач, не должно бы быть...

— А мне и наплевать, что не должно.

— И мне,— немного подумав, признался Яшка.— Только ежели при матери этак скажешь, так она за ухо. Отец, тот ничего, он и сам страсть как святых не любит,— якобы дармоеды все. А мать — у-уу! про что другое, а про это и не заикнись. Я один раз масла из лампадки отлил — Волку лапу зашибленную смазать, так что было-то...

— Били? — участливо спросил Дергач.

— Нет! Только за волосы оттрепали да в чулан заперли.

И задорно он добавил:

— А зато я, пока в чулане сидел, назло со всех крынок сливки спил...

— А ты, Дергач, зачем к нам пришел? — перескочил вдруг Яшка.

— Значит, нужно было,— ответил тот и глубоко вздохнул.

Этот тяжелый горький вздох, за которым, казалось, спрятано было что-то большое, невысказанное, почему-то точно теплом обдал Яшку.

— Давай дружиться, Дергач? — неожиданно для самого себя искренне предложил Яшка. Я тебя с Валькой сведу — с моим товарищем. Хороший... только врет много. А потом,— тут Яшка поколебался.— Потом мы тебе интере-есную вещь скажем. И как весело будет жить, Дергач.

Дергач ничего не ответил. Он лежал, подставив лицо отблескам багрового, угасающего горизонта. И Яшке показалось, что Дергач чем-то не по-детски глубоко опечален.

Однако, заметив на себе пристальный взгляд Яшки, Дергач быстро повернулся и сказал вставая:

— Достань завтра у отца махорки... и принеси сюда, а то у меня вся повышла... Я буду ждать здесь же об эту пору.

И, не прощаясь, он раздвинул кусты и исчез, оставив Яшку размышлять о странной встрече и странном новом товарище.

5

Дома тихо. Потрескивают угли в самоваре. Яшка строгает деревянную дощечку. Нефедыч углубился в чтение. Из-за развернутого листа газеты виден его красный лоб, отсыревший после пятого стакана чая. Нюрка мастерит кукольную шляпу. Мать возится на кухне.

— Не пойму,— слышится ее голос.— Никак не пойму, куда девались из сеней полчугуна вчерашнего борща. Чугун на месте, а борща нет.

— Анка! ты поросюку не выливала?

— Нет, мам!

— Ну так, должно быть, этот идол опрокинул.

«Этот идол», то есть Яшка, сидит и пыхтит, обглаживая дощечку, и делает вид, что разговор его не касается.

— Тебе, что ли, говорят? Ты опрокинул? — сердито повторяет мать.

Яшка, нехотя и не отрываясь от работы, отвечает.

— Кабы я, мам, опрокинул,— так все бы на полу было, а раз пол сухой, значит и не опрокидывал.

— А пес вас разберет,— еще больше раздражается мать.

— Тот не брал, этот не опрокидывал, что же он высох, что ли? Отец! Да брось ты свою газету, кто же, выходит, взял-то?

Нефедыч, не торопясь, складывает газету и, очевидно, расслышав только конец фразы, отвечает невпопад:

— Действительно... И кто бы мог подумать. Опять они взяли, да как ловко, что и не подкопаешься.

— Да кто они-то? Кому же это прокислый суп понадобился?

— Да не суп... какой суп,— растерянно оглядываясь и с досадой отвечает Нефедыч.— Я говорю, консерваторы опять власть взяли.

Убедившись в том, что ни от кого толку не добьешься, мать плюнула и принялась греметь посудой. А Нефедыч, почувствовавший желание поговорить, продолжал:

— И казалось бы, что отошло их время. Ан, нет, вывертываются еще. Скажем, вон, например, наш граф. Имение у него посожгли, сам где-то по заграницам шатается. А все, поди-ка, мечтает, как бы старое вернуть. Да еще бы и не мечтать. Возьмем хотя бы имение,— чем там ему не жизнь была. Картинка, что снутри, то и снаружи. Одни оранжереи чего стоили. И чего там только не было — и орхидеи, и тюльпаны, и розы, и земляника к рождеству... Пальма даже была огромная, больше двух сажен. Специально с Кавказа из-под Батума выписали. Я говорю ему: «Ваше сиятельство, куда же мы этакую махину денем — это всю оранжерею ломать придется!» А он отвечает: «Ничего, ты ее прямо в грунт посади, а каждый год к холодам возле нее специальную постройку из стекла делай, а к весне опять разбирать

будем». Ну и разбирали. Красивая пальма была. Мне тогда за уход граф двадцать пять целковых подарил... как раз в мае.

— Вот еще спятил старый, да разве же у нас свадьба в мае была. Свадьбу как раз после троицы сыграли.

— Уж не знаю, после троицы или после чего, а только в мае, мы тогда как раз левкои высаживали.

— Что ты мне говоришь,— раздражаясь внезапно, как и всегда, говорит мать.— Посмотри в метрики, за божницей лежат.

— Мне смотреть нечего. Я и так помню, еще тогда старший барчук только что из кадетского корпуса на каникулы приехал и фотограф снимал его под пальмой. У меня сейчас где-то карточка эта сохранилась. Яшка, я показывал тебе эту карточку?

— Сто раз видел,— отвечает Яшка.

Мать, негодуя, всплескивает руками и лезет за метриками за божницу.

Она долго не может найти нужную ей бумагу. За это время пыл ее несколько остывает, ибо, прикинув в уме, она начинает припоминать, что троица в том году, когда была свадьба, как будто бы и в самом деле была ранняя и приходилась на май. Но тут ее внимание отвлекает другое обстоятельство.

— Анка! — слышится опять ее голос.— Ты не убирала из-за божницы венчальные свечи?

— Нет, мам!

— Отец! Уж ты, конечно, не трогал свечей?

— Двадцать пять лет не трогал,— покорно подтверждает Нефедыч.— Как раз со дня самой свадьбы не трогал.

— А я их на прошлой неделе еще видела. Куда же они девались? Наверное, опять Яшка куда-нибудь засунул.

Яшка, поскольку вопрос не обращен прямо к нему, продолжает молча сопеть над доской.

— Яшка! Ты, паршивец этакий, должно быть, извел свечи?

Яшка кончает работу, кладет нож на стол и отвечает серьезно, но в то же время чуть лукаво посматривая на мать:

— У нас, мам, по наказу Ленина электричество провели, так что мне при нем и без ваших свечей светло.

— Так куда же они делись-то? Вот еще чудные дела! Борща никто не выливал, свечей никто не брал, а ничего на месте нету, что ты тут с ними будешь делать!

6

Ранним утром, когда еще в доме все спали, из окошка высунулись белокурые вихры Яшки. Увидав Вальку, нетерпеливо ждавшего возле забора, Яшка спрыгнул на влажную траву, и оба мальчугана исчезли в малиннике. Через минуту они вынырнули оттуда, причем Яшка осторожно нес большой глиняный горшок, завязанный в грязную тряпицу.

Выбравшись за огороды, ребята быстро помчались по тропке, ведущей мимо кустов и оврагов к развалинам «Графского».

По пути Яшка рассказывал про вчерашнюю встречу.

— И вовсе он без гири, а в кармане у него воробей... и козлов они не жрут, а все это мальчишки со страха брешут. А сегодня мы вдвоем к нему пойдем. Ежели он с нами сдружится, он нас от Степкиной компании застоит. Он сильный, и ему все нипочем. А потом он ежели и вздует кого, то на него некому пожаловаться, а нас чуть что — и к матери.

— А почему он беспризорный? Так, для своего интереса, или домашних никого у него нет?

— Не знаю уж! Не спрашивал еще, только вряд ли, чтобы для интереса: у беспризорных-то ведь жизнь тяжелая. Я вот вырасту, выучусь, на завод пойду или еще куда служить, а он куда пойдет? Некуда ему вовсе будет идти.

Роща встретила мальчуганов утренним шумом, задорным гомоном пересвистывающихся птиц и теплым парным запахом высыхающей травы.

Вот и развалины — молчаливые, величественные. В провалах темных окон пустота. Старые стены пахнут плесенью. У главного входа навалена огромная куча щебня от рухнувшей колонны. Кое-где по изгрызанным ветрами и дождями карнизам пробивались поросли молодого кустарника.

Нырнув в трещину каменной ограды и пробравшись через чащу бурьяна и полыни, доходившей им до плеч,

ребята остановились перед сплошной завесой буйно разросшегося одичалого плюща. Посторонний глаз не разглядел бы здесь никакого прохода, но ребята быстро и уверенно взобрались на полусгнивший ствол сваленной липы, раздвинули листву, и перед ними открылось отверстие окна, выходящего из узкой, похожей на колодец комнаты без крыши.

Поднявшись по лесенке, они очутились уже в большой комнате второго этажа, из окон которой можно было видеть кусок Зеленой речки и тропку, ведущую в местечко.

Отсюда они попали на балкон, прямо перешли на крышу, дальше через слуховое окно вниз. Здесь было совсем темно, потому что комната эта раньше служила, очевидно, кладовой, и железные ставни с заржавленными засовами крепко запирали окна.

Яшка где-то пошарил рукою. Достал огарок позолоченной венчальной свечи с бантом и зажег его.

В углу показалась железная дверца. Добравшись до нее, Валька дернул за скобу.

Ржавые петли горько заплакали, заскрипели, и ребята очутились в большом полуподвале с узенькими окнами, выходящими на поверхность заплывшего водорослями пруда.

И тотчас же в приветствие мальчуганам раздался из угла веселый, задорный визг.

— Волк, Волчоночек, Волчонок! — закричали ребята, бросаясь к привязанной за ошейник собаке.

— Соскучился... проголодался. Гляди-ка, весь как есть до корки хлеб съел, и воды в корытце нисколечко.

Волк, повизгивая, помахивал хвостом, пока его развязывали. Потом запрыгал возле горшка, ухитрился лизнуть Яшкину щеку и чуть не сшиб с ног Вальку, упершись ему лапами в спину.

— Да погоди же ты, дурень... дай горшок-то развязать... ну, на — лопай.

Собака стремительно запустила морду в прокислый борщ и с жадностью принялась лакать.

Подвал был сухой и просторный. В углу лежала большая охапка завядшей травы.

Здесь находилось тайное убежище ребятишек, спрятавших сюда преступного душителя чужих кур — собаку Волка.

Поджидая, пока Волк насытится, ребята завалились на охапку травы и принялись обсуждать положение.

— Еду трудно доставать,— сказал Яшка.— Ух, как трудно. Мать и то вчера борща хватилась. А Волк-то все растет... Гляди-ка, он уже почти все слопал. Ну, где на него напасешься.

— У меня тоже,— уныло поддакнул Валька.— Мать увидала один раз, как я корки тащу, давай ругаться. Только не догадалась она — зачем. Думала, что кривому развозчику на пареные груши менять. Что же теперь делать? А на волю выпустить еще нельзя?

— Нет, пока еще нельзя. Скоро суд будет насчет Степкиных кур. Мамку вызывают, а меня в свидетели.

— В тюрьму могут засадить?

— Ну, уж в тюрьму? Деньги, скажут, за кур давайте. А где ж их возьмешь, денег-то. И на что только им деньги, они и так богатые, на базаре-то вон какая лавка.

Волк подошел, облизываясь, и лег рядом, положив большую ушастую голову на Яшкины колени.

Полежали молча.

— Яшка,— спросил Валька.— И зачем, по-твоему, этакий домина?

— Какой?

— Да огромный. Его, ежели весь обойти, ну, скажем, в каждую комнату хотя заглянуть, и то полдня надо. А для чего графам такие дома были? Ведь тут раньше штук сто комнат было?

— Ну, не сто, а что шестьдесят — это и мой батька говорил. У графов каждая комната для особого. В одной спят, в другой едят, третья для гостей, в четвертой для танцев.

— И для всего по отдельной?

— Для всего. Они не могут так жить, чтобы, например, комната и кухня. Мне батька говорил, что у них для рыб и то отдельная комната была. Напускают в этакий огромный чан рыб, а потом сидят и удочками ловят.

— Эх ты! И больших вылавливают?

— Каких напускают, таких и вылавливают, хоть по пуду.

Валька сладостно зажмурился, представляя себе вытаскиваемого прудового карася. Потом спросил:

— А видел ты когда-нибудь, Яшка, живых графов?

— Нет,— сознался Яшка,— мне всего три года было,

как их всех начисто извели. А на карточке видел. У батьки есть. На ней пальма — дерево такое, а возле нее графенок стоит, так постарше меня и в погонах, как белые, кадетом называется. А хлюпкий такой, ежели такому кто дал бы по загривку, он и в штаны навалил бы.

— А кто бы дал?

— Да ну хоть я.

— Ты...— Тут Валька с уважением посмотрел на Яшку.— Ты вон какой здоровый. А если я дал бы, тогда навалил бы?

— Ты...— Яшка в свою очередь окинул взглядом щуплую фигурку своего товарища, подумал и ответил:

— Все равно навалил бы. Батька говорит, что никогда графам насупротив простого народа не устоять.

— А какой на пальме фрукт растет? Вкусный?

— Не ел. Должно быть, уж вкусный, ежели уж на пальме. Это ведь тебе не яблоня, она тыщу рублей стоит.

Валька зажмурился, облизывая губы.

— Вот бы укусить, Яшка! Хоть мале-енечко... а то этак всю жизнь проживешь и не укусишь ни разу.

— Я укушу. Я вырасту, в комсомольцы запишусь, а оттуда в матросы. А матросы по разным странам ездят и все видят и всякие с ними приключения бывают. Ты любишь, Валька, приключения?

— Люблю. Только, чтобы живым оставаться, а то бывают приключения, от которых и помереть можно.

— А я всякие люблю. Я страсть как героев люблю. Вон безрукий Панфил-буденновец орден имеет. Как станет про прошлое рассказывать, аж дух захватывает.

— А как, Яшка, героем сделаться?

— Панфил говорит, что для этого нужно гнать нещадно белых и не отступаться перед ними.

— А ежели красных гнать?

— А ежели красных, так, значит, ты сам белый, и я вот тебя как тресну по котелку, тогда не будешь трепаться.

Валька испуганно замигал глазами.

— Так я же нарочно. Разве же я за белых? Спроси хоть у Мишки-пионера.

— Мне в школьном отряде не больно понравилось,— сказал немного погодя Яшка.— Вот в других отрядах хоть на лето в лагеря уходят, в лес. А в школьном девчонок больше. И все стихи там учат, про школу да про ученье. Я походил, походил, да и перестал. Какие же

могут быть летом стихи, летом рыбу ловить надо, или змея пускать, или гулять подальше.

— А меня в школьный отряд вовсе не приняли. Сережка Кучников нажаловался на меня, будто бы я у Семенихи груши пообтряс. Ябеда такой выискался, а сам, когда в прошлом году нечаянно у Гавриловых снежком окно разбил, то и не сознался, а на Шурку подумали,— его мать и выдрала. Тоже этак разве хорошо делать.

— Ничего! Вот к зиме лесопилка опять заработает, в тамошний отряд и запишемся. Там веселые ребята. Там ежели и подерутся иногда, и то ничего. Ну подрались — помирились. Разве без этого мальчишкам можно? А в школьном отряде — чуть что — сразу обсу-ужда-ают!

Яшка сердито плюнул и поднялся.

— Идти надо. Ты посиди еще, а я наверх Волку за водой сбегаю.

Вернулся Яшка минут через десять. Лицо его было озабочено.

— Гляди-ка,— сказал он, протягивая ладонь...

— Ну, чего глядеть-то? Окурок...

— А как он в верхнюю комнату попал?

— Так, может, это давнишний,— неуверенно предположил Валька. Может, это еще от старого режима остался.

— Ну, нет, не от старого. Вон на нем написано «2-я госфабрика».

— Тогда, значит, это Степкины ребята по верху уже шныряли. Я знаю, у них Сережка Смирнов тайком курит.

— Конечно, они,— согласился Яшка. Но тут он посмотрел на окурок, по которому золотом было вытиснено «Высший сорт», покачал головою и сказал:

— А только с чего бы это Сережка Смирнов закурил вдруг такие дорогие папиросы?

Мальчуганы посмотрели, недоумевая, друг на друга. Потом крепко привязали Волка, наказали ему молчать.

И, быстро выбравшись, побежали домой.

7

Дергач затянулся дымом цигарки, свернутой из махорки, принесенной Яшкой, и, тыкая пальцем на Вальку, спросил:

— Так это он тебе набрехал, что я козла съел? Скажет тоже! Козел-то еще и сейчас в овраге лежит, ногу он

себе сломал. Я ему еще клок травы сунул, чтобы не издох с голода.

— Дергач,— спросил после некоторого колебания Яшка,— а где ты живешь?

Дергач усмехнулся.

— Сам при себе живу. Где на ночь приткнусь, там на утро и проснусь.

— А у тебя родные есть?

— Есть, да далеко лезть.

Яшка, сбитый с толку такой манерой отвечать, сказал укоризненно:

— И зачем ты, Дергач, огрызаешься. Мы ведь тебе не допрос делаем, а ежели спрашиваю я, то по дружбе.

Дергач все еще недоверчиво посмотрел исподлобья на ребят и ответил уклончиво:

— А кто вас знает, по дружбе ли, или еще почему. Я как-то в Ростове под мостом жил. Подсел ко мне какой-то хлюст. Этакий же, как и я, рвань рванью. Колбасой угостил, папироску дал. Ну, то да се, и начал про мою жизнь расспрашивать. Я ему сдуру возьми да и расскажи. И как от отца с матерью в голодные годы потерялся, и какой я губернии, какой местности, чем живу. Даже про случай, как мясную лавку обокрали, и то рассказал. Дня этак через три подходит ко мне сам Хрящ да как хлоп по шее. А сам газету мне в лицо тычет. «Ты, говорит, чего это язык распустил?» А я грамоту знаю. Посмотрел я в газету и ахнул. Мать честная! Все до слова, что я говорил, в газете напечатано — и кличка, и имя, и откуда родом, и, главное, про мясную лавку. Здорово тогда избил меня за это Хрящ.

— Мы не напечатаем в газету,— испуганно отталкивая от себя такое обвинение, заговорил Валька.— Мы даже ни строки не напечатаем. Я даже не видел никогда, как это печатают, и он не видел тоже.

Дергач лежал на спине и о чем-то думал. Так по крайней мере решил Яшка, потому что, когда человек лежит, уставившись глазами в звездное небо, он не может, чтобы не думать.

— Дергач,— спросил неожиданно Яшка,— а кто он тебе?

— Какой «он»?

— Хрящ.

При упоминании этого имени Дергач весь как-то дернулся, быстро повернулся и спросил недоумевая и озлобленно:

— Какой еще Хрящ?

— Да ты же сам только что про него говорил.

— А-а... разве говорил? — опять повертываясь на спину, рассеянно проговорил Дергач.— Так... человек один... У-ух, и человек.— Тут Дергач приподнялся, облокотившись на локти, лицо его перекосилось, и, отшвыривая окурок, он добавил едко: — У-ух, и негодяй... ух, и бандит.

— Настоящий? — широко раскрывая удивленно-любопытные глаза, спросил Валька и добавил с нескрываемым сожалением: — А я вот ничего не видел, ни графа живого, ни бандита настоящего.

Дергач презрительно пожал плечами.

— А я и графа видел.

— Живого?

— Конечно, не дохлого.

Валька, как и всегда в моменты возбуждения, зажмурил глаза и, проникшись невольным уважением к оборванцу, сказал с плохо скрываемой завистью:

— И счастливый же ты, Дергач, что все видел.

Дергач посмотрел на Вальку удивленно, пожалуй, даже сердито:

— Ух, кабы тебе этакое счастье, завыл бы ты тогда, как перед волком корова. Нет, уж не приведись никому этакого счастья... Эх, кабы мне...— Тут Дергач махнул рукою и замолчал.

И опять Яшке показалось, что на душе у Дергача есть какое-то большое, невысказанное горе. И, не зная, собственно, к чему, он положил руку на плечо Дергачу и сказал:

— Ничего, Дергач! Может быть, как-нибудь все и обойдется.

Дергач отшатнулся было, но, встретившись глазами с серьезно-дружеским взглядом мальчуганов, склонил голову и ответил как-то приглушенно:

— Хорошо бы, если все обошлось, да только не знаю.

И с этого вечера между Яшкой и Дергачом протянулась нить необъяснимо крепкой дружбы.

8

Идея Дергача была прямо-таки гениальна. Посвященный в тайну мальчуганов и их затруднения с доставкой продовольствия Волку, он быстро нашел выход.

На рассвете можно было видеть Яшку и Вальку в саду, возле старой бани. Они торопливо выносили оттуда большой чугунный котел, в котором мать разводила обыкновенно щелок для стирки белья.

То обстоятельство, что котел этот ребята потащили не через двор, а перевалили его прямо через забор к огородам, показывало, что все это делается без ведома домашних.

Выбравшись на тропинку, мальчуганы подхватили котел за ручки и поспешно скрылись в кустах.

Если бы проследить их дальнейший путь, то можно бы было видеть их пробегающими мимо мусорной свалки и исчезающими в провале глубокого пустынного оврага. Здесь было тихо и безветренно, только жужжание неуклюжих шмелей да неумолкаемый рокот веселых кузнечиков заполняли утреннюю тишину.

Ребята остановились передохнуть.

— Ну и ловко же мы справились, надо ведь было этакую махину вытащить. А к вечеру мы опять обратно стащим, и все будет шито-крыто.

— Вечером-то труднее будет, Яшка, народу больше.

— Ничего, справимся как-нибудь! Ну, пойдем.

Они свернули в одно из бесчисленных ответвлений русла оврага и вскоре увидали дымок костра и Дергача, деловито хозяйничавшего возле огня.

Дергач держал в руке нож и пучком сырой травы обтирал окровавленное лезвие. Рядом лежала только что содранная козлиная шкура и разрезанная на части туша.

— А я уж думал, что вы не придете,— сказал приблизившимся ребятам Дергач.— Смотрите-ка, как я мясо разделал. Тут теперь Волку на неделю хватит, надо проварить только покрепче да соли больше бухнуть, чтобы не испортилось. Ну, давайте за работу, живо!

Дергач распоряжался умело и уверенно. Валька был командирован собрать хворост. Яшка камнем вбивал стойки для котла, а сам Дергач очищал от сучьев перекладину.

— Ребята! — возбужденно говорил Валька, бросая на землю огромную кучу хвороста.— А внизу ящериц сколько, огромные есть, давайте потом наловим.

— Можно потом наловить, а сейчас давай подбрасывай, распаливай огонь.

Пламя, яростно пожирая сухую листву подброшенных веток, высоко взметнулось и полыхнуло теплом на лица мальчуганов, и без того раскрасневшиеся.

В котел, наполненный водою из соседнего ручья, наклали куски мяса и высыпали чуть не целый фунт соли.

— Так... готово теперь... С него Волк так разжиреет, что скоро с теленка станет.

Завалились все на траву. Солнце высушило уже росу. Пахло мятой, полынью и медом.

Лежали сначала молча. Высоко в небе звенели беспечные, счастливые жаворонки, да где-то далеко в стороне мычало выгнанное на луга стадо.

— Валька! — лениво сказал, не поворачивая головы, Яшка.— Я нашел карточку-то... ну, какую! С пальмой, которую я тебе показать обещался.

— А ну, дай.

Валька приподнялся, рассматривая выцветшую фотографию, и лицо его приняло несколько разочарованное выражение.

— Ну уж! Этакую пальму-то я в трактире видел через окошко, только не знал, что пальмой называется. А граф-то так себе, какой-то вертлявый, только нос вперед крюком выдался да подбородок четырехугольный.

— Это у них в семье все такие. Батька говорил, что у всего ихнего рода этакие носы, как у ястребов, так уж по наследству пошло.

— А ну дай, я посмотрю? — отозвался Дергач, гревшийся на солнце.

Он поднес фотографическую карточку к глазам и в ту же секунду слегка вскрикнул и быстро перевернулся.

— Змей,— испуганно вскакивая, взвизгнул Валька.

Яшка подпрыгнул тоже.

Но Дергач не шевельнулся, схватил фотографию обеими руками и жадно впился в не глазами.

— Где змей? Чего ты врешь, дурак? — Рассердился на Вальку Яшка.— Я вот тебе дам затрещину, чтобы знал, как спугивать.

Валька виновато заморгал глазами.

— Так разве же это я? Это же Дергач... чего он, как ужаленный, вертанулся.

Яшка с удивлением посмотрел на Дергача. Лицо того было взволновано и глаза блестели.

— Кто это? — спросил Дергач, показывая на карточку.

— Это... это граф здешний... то есть сын графов. Их в революцию разгромили. А где Волка-то мы прячем,— это ихняя усадьба была.

— Вон оно что! — пробормотал Дергач, засовывая карточку в карман. И, отвечая на Яшкин вопросительный взгляд, добавил:

— Потом отдам!.. А ну-ка, чего мы заканителились! Огонь чуть не погас. Давай хворосту.

Долго — почти весь день — возились в овраге ребятишки. Собирали сучья, играли в колышек, поймали внизу четырех ящериц и завязали их занятно в тряпицу.

Только что окончили варить козлятину, как Валька, разыскивавший поверху дикую малину, кубарем скатился вниз.

— Ребята,— прошептал он взволнованно,— по тропке из леса Степка, Мишка и Петька идут... должно быть, за грибами ходили. Вот бы накрыть их!

— Нет,— ответил Яшка, перебарывая в себе желание отколотить своих заклятых врагов.— Ежели мы вдвоем выскочим, то они набьют нас, потому что их больше, а ежели с Дергачом, тогда они узнают и всем расскажут, что мы с ним заодно.

— Дай я один пойду,— задорно предложил Дергач, и, схватив палку, он, как ящерица, начал пробираться наверх. Валька и Яшка забрались к краю оврага и, чуть высунув головы, приготовились наблюдать, а на крайний случай, уже невзирая ни на что, прийти на помощь товарищу.

Дергач остановился за кустом у тропки и стал караулить. Едва Степкина компания приблизилась, Дергач вышел и, чуть расставив ноги, загородил им дорогу.

Столь неожиданное появление опасного противника, заставило остолбенеть мальчишек. Но, сообразив тотчас же, что их трое, а он один, они решили защищаться.

— Бросай корзину! — крикнул Дергач вызывающе.

Вместо ответа Степка поставил корзину и наклонился за камнем, остальные двое сделали то же.

— А, так вы вот как! — рассерженно крикнул Дергач и, оглушительно засвистев, он бросился с поднятой палкой на врагов.

— Кровь! — в ужасе крикнул вдруг кто-то, разглядев красные руки Дергача.

И, вероятно, предположив, что страшный Дергач только что совершил кровавую расправу над каким-либо путником, все трое, не дожидаясь, пока и их постигнет та же участь, в панике бросились бежать, преследуемые издевательским свистом Дергача.

— Видал! — восхищенно завопил Валька.— Как он один на троих! Ой! Ой! Как хорошо, Яшка, что мы сдружились с Дергачом.— И Валька вне себя от восторга принялся кататься по траве.

Дергач спустился к костру, молча бросил захваченную корзину и опять лег.

— Как это ты их здорово! — сказал Яшка, подсаживаясь рядом.

Дергач слегка улыбнулся, махнул рукой, как бы говоря, что не стоит о таком пустяке разговаривать, и опять, вынув фотографию, принялся ее рассматривать. Яшка высыпал грибы на траву, а старую корзинку кинул в огонь.

— Зачем ты?

— Нельзя же с ихней корзиной домой возвращаться, узнать могут. А грибы мы потом ссыпем в опростанный котел и домой стащим, а там в свои лукошки пересыпем. А если матери станут ругаться, где пропадали,— мы скажем, что за грибами ходили. Грибы-то во какие... белые, березовиков вовсе мало.

Совсем уже вечерело, когда Дергач, нанизав куски мяса на бечеву, отправился снести продовольствие в «Графское», а ребята, подхватив котел, потащились к дому.

Они благополучно миновали тропку, никого не встретили на огородах и уже в саду столкнулись с поливавшей грядки Яшкиной матерью.

— Это вы что же, идолы, делаете. Это вас куда с котлом носило? — грозно приближаясь, спросила она.

Валька, как и всегда в таких случаях, стремительно дал ходу, а Яшка так оторопел, что только и нашелся ответить:

— Мы, мам, за грибами... мы, смотри, каких белых...

— Это с котлом-то за грибами? — остолбенела мать,— да ты чего врешь-то.

Получив затрещину, Яшка взвыл, не столько от боли, сколько по обычаю, и улепетнул во двор.

Мать подошла к котлу, заглянула в него и, увидав большую груду грибов, пришла в еще большее недоумение.

— Батюшки вы мои! Да что же это такое? Я думала он врет, что за грибами... а он на самом деле...— И она беспомощно развела руками...

— А только... только где же это видано, чтобы по лесу с двухпудовым котлом за грибами ходили...

Да уж они, не дай бог, не сошли ли и на самом деле с ума?

9

В этот вечер Яшку из дома больше не выпустили. Валька покрутился было возле его окна, посвистел. Но оттуда вдруг выглянуло рассерженное лицо Яшкиной матери и послышался ее суровый голос:

— Я вот тебе посвищу! Я тебе посвищу, поросенок этакий. Я вот тебе сейчас ведро с помоями на голову выплесну.

Валька шаром откатился подальше и решил, что Яшку заперли либо засадили за арифметику, и придется одному бежать нyретку перекидывать.

Он захватил с собою «кошку», то есть якорь из гвоздей, подвешенный к тонкой бечеве, и понесся к речке.

Солнце уже скрылось. Над почерневшей рекою раскинулись облачка теплого пара. Валька спустился к старой, искореженной раките, раскинувшейся возле поросшего осокой берега, взял конец бечевы в левую руку, правой раскачал «кошку» и, наметив место, быстро выбросил ее вперед.

Вода булькнула. Испуганно бултыхнулись с берега встревоженные лягушки.

Валька потянул конец бечевы,— бечева не натягивалась.

— Не зацепило! — догадался он и перебросил «кошку» чуть правее.

— Ага... теперь есть!

Сердце его затрепетало, как птица, запутавшаяся ночью в кустах, когда неуклюжие прутья нyретки показались над поверхностью воды.

— Эх, кабы щука... либо налим фунта на три.

Он выхватил нyретку, поднял ее к глазам и, не обращая внимания на струйки воды, стекавшие ему на штаны, принялся рассматривать улов.

— Две плотвы... три ерша, три сайги и два рака.

Валька вздохнул разочарованно, нанизал рыбешек на кукан. Рака выбросил в реку, нyретку перекинул на другое место и, свернув «кошку», выбрался наверх.

Была уже ночь. Красной дугою выглядывал из-за леса край огромной луны. И, озаренные ее слабым сиянием, развалины графской усадьбы казались теперь снова величественным крепко спящим замком.

Но, что это? Валька подпрыгнул, точно зацепил ногой за корягу, и выронил кукан. Одно из окон спящего замка озарилось изнутри слабым светом.

«Что за штука? — подумал Валька.— Кто это там?.. Ага! Да это, конечно, Дергач зажег свечу. Но чего он там бродит. Как он, дурак, понять не может, что отсюда могут увидать мальчишки и заинтересоваться».

Валька наклонился, отыскивая оброненный кукан. Когда он поднял голову, то света в окошке уже не было.

И на Вальку напало сомнение, что не лунный ли отблеск на случайно сохранившемся осколке стекла принял он за огонь.

«Надо будет завтра спросить Дергача,— решил он.— Ежели он не зажигал огня, то, значит, мне показалось».

10

С утра Яшку нарядили в новые штаны, праздничную рубаху, и из сундука мать достала пахнущий нафталином картуз.

— Мам... а картуз-то зачем,— запротестовал было Яшка.— Сейчас не осень и не зима, и так жарко.

— Помалкивай,— оборвала его мать.— Хочешь, чтобы судья посмотрел на тебя и сказал бы — у, какой хулиган, весь растрепанный. Да рожу-то получше умой. Да если спрашивать тебя чего будут, то отвечай скромно да носом не шмыгай.

В суде они встретили Степкину мать — лавочницу, разряженную в старомодную плюшевую кофту, и Степку, до того зачесанного назад, что казалось, глаза его даже по лбу подались.

Матери расселись молча, не поздоровавшись. Степка же ухитрился показать Яшке язык, на что тот повернул ему в ответ аккуратно сложенную фигу.

Началось разбирательство этого запутаннейшего дела по встречным искам о возмещении убытков.

Первый — о стоимости трех кур, задушенных собакой, носящей кличку «Волк». Второй — о стоимости двух утят и куска вареного мяса, похищенных котом, носящим кличку «Косой». Сначала ничего невозможно было понять. Выходило как будто бы так, что кур никто не душил, а мяса никто не утаскивал. Потом вдруг оказалось, что куры сами были виноваты, ибо забрели на чужую территорию и разрывали грядки с рассадой.

А утят сожрал и мясо стащил не «Косой» кот, что Степкин, а «Бесхвостый», Сычихин, который давно уже имел репутацию подозрительной личности, занимающейся темными делами. Однако бойкая Сычиха тотчас же клятвенно присягнула в том, что «Бесхвостый» вовсе не ее кот, а живет он на чердаке ее бани самовольно, сам заботясь о своем пропитании, и никакой ответственности за него она нести не может.

— Свидетель Яков Бабушкин,— спросил судья Егор Семенович, добрый старик с смеющимися глазами.— Ответьте мне на вопрос: были ли вы во дворе, когда собака Волк бросилась на соседских кур?

— Был,— отвечал Яшка.

— Что вы делали?

— Мы...— Яшка заминается.

— Отвечайте... не бойтесь,— подбадривает судья.

— Мы с Валькой пуляли из рогуль.

— Из чего-о?

— Из рогуль,— смущаясь, продолжает Яшка.— Палка такая с резиной, в нее камень заложишь, а он как треснет!

— Куда треснет? — удивляется судья.

— А куда нацелиться, туда и треснет,— объясняет Яшка и окончательно сбивается, услышав гул сдержанного хохота.

— Так!.. И что же вы сделали, когда увидели, что собака Волк душит соседских кур?

— Так они, товарищ судья, сами лезли к нам на грядки...

— Я не про то! Вы ответьте, что вы сделали, когда увидали, что собака душит кур?

— Мы... так мы когда подошли, то уже Волк убежал.

— А куры были уже дохлые?

— А кто их знает... может, и не дохлые... может, они просто с перепугу обмерли.

— Садитесь. Свидетель Степан Сурков. Верно ли, что ваши куры забрели на чужой огород?

— Они не сами забрели, их нарочно зерном подманили.

— Почему же вы думаете, что подманили?

— Обязательно подманили. А то чего же они на чужой двор пойдут? Что у них своего нет, что ли?

— Когда вы подобрали кур, то они были уже дохлые.

— Вовсе дохлые... а у одной даже полноги не хватало. Мать как понесла их на базар продавать, то тех двух ничего, а третью насилу...

Тут Степан, почувствовав вдруг тычок в бок со стороны сидевшей рядом матери, внезапно умолкает.

Но уже поздно, и судья спрашивает строго и удивленно:

— Так, значит, вы... дохлых кур продали на базаре?..

Степкина мать чувствует, какую оплошность допустил ее сын, и пробует вывернуться.

— Врет он, товарищ судья! Куры только помяты были, а вовсе еще живые, я их, конечно, зарезала и продала.

— Та-ак! — растягивая слова и хитро сощуриваясь, говорит судья.— Значит, вы утверждаете, что зарезали своих живых кур и продали их на базаре... Но позвольте: о чем же тогда может быть иск?

Зал дружно смеется, а Яшка чуть не взвизгивает от удовольствия. Яшка наверняка знает, что Волк задушил кур, но после того как Степка сболтнул, что их продали на базаре, Степкиной матери никак невозможно утверждать, что она продала дохлых кур.

— Ух! — кричит он, через некоторое время выходя из суда.— Наша взяла.

А позади разозленная лавочница говорит тихонько Степке:

— Погоди, вот домой придем, я тебя выдеру, покажу я тебе, как языком брехать.— И, поворачиваясь к Яшкиной матери, она кричит сердито: — А вы скажите своему сорванцу, чтобы он не безобразничал. Утром отворяю кладовку, да так и обмерла — по всему полу ящеры шмыгают. Знаю я, кто это с огорода через окошко напускал.

Но Яшка дергает мать за подол и говорит ей убедительно:

— Не верь, мам! Что я, змеиный укротитель, что ли? Я и сам всех ящеров и змеев хуже смерти боюсь.

11

В предыдущий вечер Дергач, захватив нанизанную на бечеву козлятину, пустился бежать к «Графскому».

В подвале стоял уже полумрак. Дергач зажег свечу и, кинув кусок мяса всегда голодному Волку, улегся на охапку сена и опять вынул фотографию.

— Так вот он кто? — прошептал Дергач...— А я думал, что это только кличка у него... В эполетах... А теперь до чего дошел человек... Так, значит, это его вся усадьба была...

Дергач сунул карточку в карман и, уложив с собой теплого, плотно закусившего Волка, закрыл глаза.

Под сводами каменного подвала стояла мертвая тишина. Слышно было даже, как колотится равномерно сердце Волка да шуршит под окном на пруду тростник.

Дергач уснул. Спал он крепко, но беспокойно. Во сне он видел пальму, а под пальмой Яшку.

— Иди сюда,— звал Яшка. И вдруг Дергач увидал, что это вовсе не Яшка, а сам грозный налетчик Хрящ стоит и манит его пальцем.— А ну, пойди сюда, пойди сюда... А почему ты захотел быть домушником, а зачем ты бросил стремя?

Дергач хотел крикнуть, но не мог, хотел бежать, но трава заклеила ноги, он рванулся и... открыл глаза.

Волк стоял рядом. Видно было, как зеленоватыми огоньками горели его глаза. Дергач погладил собаку и почувствовал, что каждый мускул ее напружинен и напряжен.

— Ты чего? — спросил Дергач шепотом и, прислушиваясь, уловил где-то далеко вверху еле слышный шорох.

«Это совы гоняются за летучими мышами,— подумал он.— Кто сюда ночью придет? Ложись, Волк, ложись... Никого нет. Мы одни».

И, крепко обняв собаку, он полежал еще немного с открытыми глазами, потом уснул и больше не просыпался до рассвета.

12

Дергач ответил Вальке, что никакого света он в верхних комнатах не зажигал. Но при этом он так смутился и нахмурился, что это не ускользнуло от глаз мальчуганов.

— Я думаю податься завтра отсюда,— совершенно неожиданно заявил он.

— Куда податься? Зачем, Дергач, разве тебе здесь с нами плохо?

Дергач помолчал... Видно было, что он колеблется и хочет что-то сказать ребятам.

— Все туда же,— вздохнув, проговорил он.— Дом свой разыскивать. У меня ведь и отец и мать где-то есть. Как был голод, так я потерялся от них возле Одессы, а теперь и не знаю, где они. Думаю в Сибирь, в город Барнаул пробраться, там где-то у меня тетка есть, она уж, наверно, адрес родителей знает. Да вся беда только в том, что я фамильи ее не знаю, а знаю, что зовут ее Марьей. Да в лицо немного помню.

— Трудно найти без фамильи, Дергач.

— Трудно,— подтвердил Валька.— Во, возьмем хоть у нас три соседские дома, а и то в них четыре Марьи, ежели не считать даже Маньку Куркину, которой один год, да коз, которых Машками зовут. А как твоего отца фамилья, Дергач?

— Елкин Павел, а меня Митькой раньше звали. Это уже, когда я в беспризорники поневоле попал, то там мне кличку дали.

— А почему, Дергач, ты так вдруг собрался уходить?

Дергач опять нахмурился...

— А потому...— сказал он после некоторого раздумья,— что очутился я здесь, убегая от Хряща. Мы на главной линии, на ветке с ним нечаянно столкнулись. Он

там был с одним еще, а теперь по некоторым приметам думаю я, что не сюда ли они направлялись тоже.

— Ну и тебе-то что? Что тебе Хрящ, начальник, что ли?

— Хрящ-то? — И Дергач насмешливо посмотрел на Яшку, как бы удивляясь нелепости такого вопроса.— Хрящ ежели поймает меня, то обязательно убьет.

— Да за что же убьет? Разве есть такой закон ему, чтобы убивать?

— У них есть закон.

— У кого у них?

— У настоящих налетчиков. Я со стремя убежал, на которое они меня поставили... А у них уже так заведено, что кто со стремя самовольно уйдет, того обязательно убивать, как за измену.

— Что же это за стремя?

— Как бы тебе сказать... Ну караул... или наблюдатель, которого выставляют возле дома для сигнала, пока грабят. Вот меня Хрящ и поставил, а я убежал нарочно, из-за этого двое тогда сгорели...

— Пожар был?

— Да не пожар... Сгорели, это значит попались и в тюрьму сели... Да чего вы стоите, рты поразинув?

— Чудно больно, Дергач...— робко ответил Валька.— И рассказ такой страшный, и слова какие-то непонятные.

— С собаками будешь жить, сам насобачишься. И до чего вредный этот Хрящ. Сколько он ребят смутил, сколько из-за него в исправительных колониях сидят. Эх, и надоела мне эта собачья жизнь. Все равно, ежели хоть не найду своего дома, ото всех сил буду стараться куда-нибудь пристроиться — к сапожнику в ученики либо в подшивалки,— уж где-нибудь, а приткнусь. Да чего тут говорить? — кончил Дергач и тряхнул лохматой головой.— Трудно хоть, но если захочешь, то все-таки на хороший путь вывернешься... Кончим про это разговаривать, побежим лучше на речку пиявок ловить; у Козьего заброда есть страшенные; потом купаться будем, а то чего про горе раздумывать.

Дома мать сказала Яшке:

— А тебя тут отец все разыскивал. Фотографию какую-то, говорит, не брал ли ты.

— Какую еще фотографию?

— Да спроси у него самого. Он в амбаре чего-то роется.

«Вот еще новая напасть,— подумал Яшка.— И на что она ему понадобилась?»

Из амбара вышел отец, он был засыпан пылью и держал в руках кипу каких-то пожелтевших бумаг.

— Яшенька,— сказал он ласково,— не видал ли ты где карточку с пальмой?

— Видал где-то!

— А ты пойди принеси мне ее...

— Хорошо! — сказал Яшка и направился было в комнаты, но, по дороге вспомнив, что карточка осталась у Дергача в кармане, он вернулся...

— Да я не помню уже, папаня, где я ее видел. И зачем она тебе вдруг понадобилась?

— Нужно, милый! А ты вспомни обязательно. Ежели вспомнишь и принесешь, я тебе полтинник подарю.

— По-олти-инник? — расцвел даже Яшка.— А не обманешь?

— Обязательно, сразу же подарю.

Яшка исчез, теряясь в догадках, с чего это отец решил так расщедриться. Раньше, бывало, гривенник в воскресенье не всегда выпросишь, а тут вдруг сразу целый полтинник.

Он выскочил и засвистал Вальку.

— Валька! Ты не знаешь, где Дергач?

— Должно быть, у Волка ночует. А что?

— Побежим, Валька, в «Графское», он мне беда как нужен. Карточку у него взять. Отец обещал, если я принесу, дать полтинник.

— Темно уже, Яшка. Пока добежим, и вовсе ночь настанет.

— Ну что же, что ночь,— а зато полтинник. Мы завтра бы селитры да бертолетовой соли купили — ракету сделаем.

— Ну, побежим,— только чтобы одним духом. У меня мать в баню кстати ушла.

Понеслись. Яшка бежал ровным размеренным шагом, как настоящий бегун-спортсмен. Валька же не мог и тут обойтись без выкрутас. Он то учащал, то уменьшал шаг, попутно подражал то фырчанию мотора, то пыхтению локомотива.

Вот и поворот над речкою.

— А ну, поддай пару... Ту-туу...

И вдруг Валька-паровоз на полном ходу дал тормоз. Остановился как вкопанный и Яшка.

Валька изумленно посмотрел на Яшку, Яшка на Вальку, потом оба повернули головы в сторону развалин «Графского». Сомнений не могло быть никаких — в угловой комнате второго этажа горел огонь.

— Ого! — проговорил Яшка, выходя из оцепенения.— Это что же еще такое?

— Я же говорил! Я говорил, что Дергач зажигал огонь. Ты видел, как он смутился, когда я его спросил про огонь.

— Да чего же ему по верху шататься? Что он там затеял? Знаешь что, давай подкрадемся и подглядим, чего еще он там выдумал.

— Боязно что-то подглядать, Яшка.

— Вот еще, чего боязно. Чай, он с нами заодно. Да и карточка-то тоже нужна. Полтинники тоже не каждый день обещают. Сегодня батька пообещал, а назавтра возьмет и раздумает.

И оба мальчугана припустились опять по тропке.

Уж какой странный и причудливый ночью замок. Огромные липы спокойными вершинами чуть-чуть не касаются луны. Серый камень развалин не везде отличишь от ночного тумана. А черный заросший пруд, в котором отражаются звезды, кажется глубокой пропастью с светлячками, рассыпанными по дну.

Как странно все ночью, как будто бы все вещи передвинулись со своих мест. Все приходится разыскивать сначала. И старая липа лежит как будто бы не там, где лежала, и заросшее плющом окно не на месте.

— Залезай, Валька.

— А ты?

— И я сейчас, только ботинки сниму, чтобы не скрипели.

Тихонько ступая босыми ногами по холодной каменной лесенке, Яшка начал пробираться наверх, намереваясь узнать, что именно делает там в такую позднюю пору Дергач.

Он почти добрался до верхней ступеньки, как Валька неосторожно ступил на какую-то доску, которая предательски громко скрипнула.

И тотчас же, к несказанному ужасу мальчугана, глухой бас, никак не могший принадлежать Дергачу, сказал:

— А как будто бы внизу что-то зашумело?

И другой голос, тягучий и резкий, ответил:

— Некому тут шуметь. Кто сюда ночью полезет.

— Надо все-таки загородить окно,— продолжал первый.— Сходи вниз, я там рогожу видел, а то может увидать кто-нибудь свет со стороны речки.

При этих словах мальчуганы еще больше перепугались, так как вниз нужно было спускаться мимо них. Они хотели уже было напролом кинуться к окну, но второй голос ответил:

— Обойдется на сегодня и так. У меня свечки нету запасной вниз идти.

Тогда медленно ребята начали пятиться назад.

Они выбрались к окну и, выскочив на землю, во весь дух бросились бежать, оставив даже неподобранными Яшкины спрятанные ботинки.

13

Добежав до огородов, ребятишки, не обсуждая всего случившегося, условились встретиться завтра пораньше и разбежались по домам.

Яшка нырнул под одеяло и, укрывшись с головкой, притворился уснувшим.

Вошел отец и спросил у матери:

— Спит уже Яшка-то. Не нашел, видно, фотографию. Эх, и жаль, ежели не найдет.

— Да на что она тебе? — отозвалась из-под одеяла засыпавшая уже мать.

— Вот в том-то и дело, что есть на что. Фотография заваль завалью, ей пятак цена, а мне за нее пятерку посулили. Сижу я, газету читаю в сторожке. Подходит ко мне какой-то неизвестный человек. Я сразу угадал, что приезжий. Поздоровался он и спрашивает: «Вы будете Максим Нефедович Бабушкин?» — «Я»,— говорю. «Очень приятно, хотелось бы мне с вами поговорить. Ежели вы не заняты, то, может быть, зашли бы вы со мною в соседнюю чайную «Золотое дно», а там за бутылкой пива я изложил бы вам суть дела». А я как раз домой собирался

уже. «Что же, говорю, можно и зайти, погодите, я только каретник на замок запру».

Зашли мы в чайную, подали нам пару пива, и приступил он к делу. Оказывается, приехал он с товарищем из города от какого-то общества по изучению русской старины. То есть изучают они разные старые постройки, усадьбы и церкви.

Какой архитектор сработал, в каком году да в каком стиле. И вот заинтересовались они и графским имением.

Я объяснил ему, что, хотя и много лет служил у графа садовником, но усадьба сама лет за сто еще до меня построена была, так что насчет архитектора сказать ничего не могу. Вот что касается оранжерей и парка,— это все было под моим наблюдением.

Стал он тогда меня расспрашивать, какие растения выращивали да какие цветы. Я отвечаю ему и упомянул к слову про пальму.

Он не верит: «Не может в этаком климате на воле пальма произрастать».— «Как, говорю, не может? Я врать не буду — у меня и по сию пору фотография с нее сохранилась». Как заблестели у него глаза... «Продайте нам эту фотографию»,— предлагает он мне,— мы вам за нее рублей пять дадим. Вам она ни для чего, а нам для коллекции».

Я так и ахнул: за всякую дрянь да пять рублей! Ну, думаю, верно уж, что не знаешь, где человеку удача выпадает. И пообещался ему принести... Да вот только нигде найти не могу.

— Дураки люди,— сказала, зевая, мать,— денег им девать, что ли, некуда? В прошлом году тоже художник какой-то с Сычихи портрет рисовать взялся да еще по целковому за день ей платил. Ну, взял бы хоть председателеву жену срисовал или еще кого поприглядней, а то Сычиху — да на нее и без портрета смотреть — оторопь берет.

— А ты поищи все-таки карточку-то, пятерки под забором не валяются. Вон Яшке к осени пальтишко справлять придется, из старого-то он вовсе вырос.

«Эх, и ду-ураки мы,— подумал Яшка, осторожно высовываясь из-под одеяла.— Эх, и трусы. И чего испугались? Мирные люди усадьбу обследуют. Да еще добрые какие, отцу пять рублей обещались. Нам бы вместо чем бежать, надо бы наверх к ним выбраться. Может быть,

пособили бы в чем-нибудь, глядишь, по двугривенному заработали, а мы бежать. И чего только ночью со страха не померещится».

Яшка натянул покрепче одеяло и услышал, как отец повернул выключатель, выключая свет.

Яшка повернулся на бок и закрыл глаза. Так он пролежал минут десять. Сладкая дрема начала охватывать его, и его мысли начинали смешиваться, мелькнул уже кусочек какого-то сна, как вдруг он услышал, что что-то тихонько стукнулось об пол, точно обвалился с потолка маленький кусочек штукатурки. Через минуту опять что-то стукнуло.

«Должно быть, Васька-кот в темноте балует»,— подумал Яшка и спустил руку к полу, отыскивая что-либо, чем можно бы отпугнуть кота. И в ту же минуту он почувствовал, что прямо к нему на одеяло упал небольшой, с горошину, камешек.

«Кто-то через окно кидается. Уже не Валька ли... Но зачем же это он так поздно?..»

Яшка высунулся в окно. Возле черного забора он еле разглядел прячущегося в тени Вальку. Яшка махнул ему рукой, что должно было означать: «Уходи, выйти не могу, отец с матерью только что легли». Однако Валька упрямо замотал головой и продолжал подавать сигнал, вызывая Яшку.

«Вот, пес тебя забери,— подумал обеспокоенный Яшка,— что у него могло этакое случиться, чтобы вызывать в полночь».

Он осторожно натянул штаны и прислушался. Сестренка Нюрка крепко спала. В соседней комнате похрапывал отец, но мать еще ворочалась с боку на бок.

Яшка бесшумно взобрался на подоконник, нащупал рукою уступ и тихонько спустился на выемку фундамента. По выемке он добрался до угла и только здесь уже спрыгнул в мягкую землю клубничных грядок.

— Ты чего? — напустился он на Вальку.— Разве я велел тебе по ночам будить?

Вместо ответа Валька взволнованно приложил пальцы к губам и потащил Яшку за рукав.

— Так чего же ты? — нетерпеливо переспросил Яшка, останавливаясь возле бани и не понимая возбужденного состояния Вальки. И тотчас же понял все, или, вернее,

ничего не понял,— у стены бани он увидел привязанного, откуда-то взявшегося Волка.

— Я только хотел ложиться спать, вышел оправиться,—рассказывал Валька,—смотрю, бежит во весь мах собака, и прямо ко мне. Я подумал, что бешеная, да со страха прямо на забор скакнул. И вижу вдруг, что это Волк.

— Да зачем же его Дергач выпустил?

— Не знаю.

— Вот еще новая напасть... Гляди-ка, да Волк-то весь мохнатый, он в воде где-то был.... Что же с ним делать сейчас?

— Давай привяжем его пока в баню... А утром назад сведем. Он, может быть, вырвался у Дергача.

Привязали собаку в баню... Еще раз условились встретиться пораньше утром и опять расстались.

Яшка тем же путем начал пробираться домой. Уже возле самого окна он обернулся, и ему показалось, что верхушка сиреневого куста, росшего в саду возле бани, как-то неестественно сильно вздрогнула, точно ее качнули снизу. Необъяснимое беспокойство овладело отчего-то мальчуганом. Он забрался в комнату, сам не зная зачем запер окно на задвижку и долго не мог уснуть, раздумывая о случившемся.

Должно быть, потом он заснул очень крепко, потому что проснулся как-то вдруг, рывком, от сильного шума и лая.

— Яшка,— кричала мать,— Яшка, да проснись же ты, дьявол!

Яшка вскочил, ничего не соображая.

Лай все усиливался. Это уже был не простой лай собаки на проходящего путника, а отчаянная тревога, переходящая в остервенелый визг.

Нефедыч, схватив со стены охотничью берданку, поспешно выбежал во двор.

Через полминуты лай сразу оборвался, и почти тотчас же раздался грохот выстрела.

Яшка не помня себя выскочил во двор. Навстречу ему попалось несколько человек соседей. Кто-то говорил:

— В баню пробрался какой-то человек. Должно быть, вор. Он ранил ножом собаку. Нефедыч выстрелил, да мимо.

— А зачем же он пробрался в баню? Зачем он напал на собаку?

— Уж не знаю зачем, это вы у него спросите.

«Ну и ночка,— подумал ошалелый Яшка, бросаясь к бане,— ну и ночка сегодня, нечего сказать».

14

Ударом ножа Волк был неопасно ранен в верхнюю часть шеи. Отец с матерью учинили Яшке строжайший допрос о том, каким образом «отравленная» собака очутилась в бане.

Воспользовавшись благоприятным моментом, Яшка чистосердечно сознался, что Волк был спрятан им до поры до времени, и умолчал, о том, где именно скрывался Волк. И так как иск к Волку не был утвержден судьей, а кроме того, собака показала себя настоящим героем, оберегая в прошедшую ночь дом от неизвестного злоумышленника, то Волку была объявлена амнистия.

Встретившись с Валькой, который был осведомлен уже обо всем случившемся, Яшка потащил его в сад и там, остановившись в укромном местечке, сунул руку в карман.

— Смотри, Валька! Вчера мы ночью не разглядели, а сегодня утром я нашел это, привязанное к ошейнику Волка.— И Валька увидел обрывок картины — нижнюю часть фотографии с пальмой. На оборотной стороне были, очевидно, вычерчены какие-то буквы, но разобрать их было невозможно, потому что кровь, стекавшая с шеи раненого Волка, запачкала всю эту сторону карточки.

— Как она попала на шею Волку?

— Дергач привязал! Он что-то хотел написать нам... Может быть, с ним случилось какое несчастье. Может, камень какой упал со стены и придавил его, или ногу он в темноте свихнул себе.

— А почему только половина карточки?..

Ничего не решив толком, ребята направились к «Графскому», чтобы на месте расспросить обо всем Дергача.

Возле поросшей плющом стены Яшка оставил Вальку разыскивать оставленные вчера ботинки, а сам полез наверх.

В темной кладовой он зажег спичку, и сразу же ему бросились в глаза окурки. Он поднял один. Это был такой же самый окурок, какой он нашел несколько дней тому назад в верхней комнате.

«Это исследователи-ученые были уже и здесь»,— подумал он.

Спичка потухла. Он зажег вторую и дернул дверь, ведущую в полуподвал. В подвале никого не было. Тогда Яшка выбрался обратно и засвистел условным сигналом. Гулкое эхо десятками фальшивых пересвистов ответило ему, но Дергач не отвечал.

Стало ясным, что Дергач исчез.

15

Прошло два дня. Ребятишки построили Волку крепкую конуру, посадили его на цепь, и Волк официально вступил в должность сторожа Яшкиного дома.

О Дергаче не было ни слуха.

— Подался куда-нибудь дальше,— говорил Валька.— Помнишь, он в последние дни все заговаривал об этом. Они ведь такие: кусок хлеба за пазуху — и пошел куда глаза глядят.

— А почему же он не попрощался с нами... И что он писал на обратной стороне фотографии?

Яшка вынул обрывок картины, повертел его и, решив, что здесь ничего все равно не разберешь, выкинул карточку на траву.

— Пойдем купаться, Валька.

Через десять минут после того как ребятишки убежали, из калитки сада вышел Нефедыч. В руках он держал кривой садовый нож, которым обрезал сухие ветви, и лопату.

Во дворе он остановился как раз возле того места, где недавно разговаривали ребята, и стал завертывать цигарку. Взгляд его упал нечаянно на карточку, валявшуюся на траве.

— Ишь ребята опять насорили,— проворчал он, поднимая обрывок. Он повертел находку в руках, вынул очки и, присмотревшись к поднятому клочку, развел руками.

— Ах ты, дьяволята вы этакие! Я-то ищу, ищу фотографию, по два раза на дню человек за ней наведывается, а они разорвали ее... Пропала теперь моя пятерка. Кому понадобится этакий обрывок? — Он сунул карточку в карман и, тяжело вздохнув, пошел домой.

Когда Яшка и Валька возвращались домой к обеду, то, еще не дойдя до ворот, услыхали лай Волка и крик отца.

— Да замолкни же ты, окаянный, ишь как разъярился. Проходите, проходите. Не бойтесь, он на цепи.

Калитка распахнулась, и навстречу ребятам вышел какой-то незнакомый человек. Невысокий, слегка сутулый, с неровным рядом мелких зубов, оскалившихся в довольную улыбку. Правая рука его была перевязана бинтом.

Он искоса посмотрел на мальчуганов и круто повернул на противоположную сторону тротуара.

Во дворе Яшка столкнулся с отцом, державшим в руке новенькую хрустевшую бумажку.

Яшка быстро посмотрел на траву возле забора. Брошенного им обрывка фотографии не было.

После обеда он прошел в сад, лег и задумался. И чем больше он думал, тем назойливее привязывалась к нему мысль, что все события последних дней не случайны, а имеют меж собою крепкую связь, и что связывающим звеном всего случившегося и есть эта самая фотографическая карточка.

16

Как раз в это время отец Яшки получил отпуск и собрался с матерью погостить на три дня в город к старшей замужней дочери.

Похозяйствовать в дом на это время пригласили тетку Дарью. Но тетка Дарья была уже стара, к тому же чрезмерно толста и немного глуховата, и поэтому мать еще с утра принялась накачивать Яшку.

— Да смотри, чтобы ложиться рано и двери не позабывать запирать... Да к Нюрке не приставай, а то приеду взбучку задам. Да ежели я замечу, что ты, как в прошлый раз, шкаф с вареньем гвоздем открывал, то тогда лучше заранее беги из дома.— И так далее. Сначала перечислялись возможные Яшкины преступления, затем шел перечень наказаний, кои воспоследуют за этими преступлениями.

Яшка на все отвечал коротко:

— Да нет, мам. Да что ты привязалась? Ты бы еще загодя по шее мне натрескала. Сказал, что не буду,— значит, и не буду.

Но едва только скрылась повозка, увозившая на стан-

цию родителей, как Яшка ураганом помчался в сад, высвистывая всегда готового появиться Вальку. И вдвоем они начали гоготать и скакать по траве, как молодые жеребята, выпущенные на волю.

— Я теперь хозяин в доме,— гордо заявил Яшка.— Ух, как весело, когда отец с матерью изредка уезжают. Уж мы с тобою за эти дни выдумаем что-нибудь веселое.

— Давай, Яшка, змея пускать, с трещоткой сделаем.

— А с трещоткой милиционер не велит, потому что лошади пугаются. Да и без трещотки не велит, чтобы телефонные провода не путать.

— А мы в поле побежим, подальше.

Работа закипела вовсю; достали стакан муки, заварили клейстер. Яшка принес отцовскую газету и мочалу, выдернутую из половика, а Валька — дранки.

Когда Яшка налаживал уже путы, то есть три ниточки, сводящиеся у центра, на глаза ему попалось интересное объявление. Там было написано:

РОДИТЕЛИ МАЛЬЧИКА ДМИТРИЯ ЕЛКИНА
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСЯТ НАПИСАВШЕГО О НЕМ ЗАМЕТКУ
В РОСТОВСКОЙ ГАЗЕТЕ «МОЛОТ» СООБЩИТЬ СЫНУ НАШ АДРЕС:
САРАТОВСКАЯ ГУБ., СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ».

— Мать честная! — Да ведь это же Дергача разыскивают,— ахнул Яшка.— Помнишь, он говорил нам, что про него кто-то в газете написал.

— А Дергач-то ничего и не знает. Может, никогда и не узнает вовсе... Разве же ему попадется газета?

— И куда он провалился. Нет чтобы подождать. Жалко все-таки, Валька, Дергача. Он хоть и беспризорный, а хороший был. Он за нас заступался. Волку козла сварил... Мне рогатку наладил. И вот ушел... А как бы он рад был, Валька!

Окончив змея, ребята дали ему подсохнуть, потом захватили с собой Волка и побежали в поле запускать.

Но, несмотря на то, что змей ровно пошел вверх и весело загудел трещоткой, распугивая звенящих жаворонков, настроение у ребят упало. Было жалко Дергача и обидно за то, что так неожиданно и нелепо ушел он от своего счастья. В Сибирь собрался, какую-то тетку разыскивать. А где еще ее без фамилии разыщешь. А тут до Саратовской губернии далеко ли?

Змей, неожиданно козырнув, быстро пошел книзу.

Яшка что было мочи пустился бежать, натягивая нитку, но ничего не помогло. Змей еще раз козырнул и камнем упал куда-то на деревья позади «Графского».

Стали стягивать клубок ниток, но нитки вскоре оборвались.

«Эх, не задала бы мать! — подумал Яшка.— Клубок-то ведь у нее на время без спросу взял, придется идти змей разыскивать».

Побежали. Змей сидел высоко в ветвях одного из деревьев рощи, которая начиналась от «Графского» и примыкала к мрачному Кудимовскому лесу. Яшка хотел уже было лезть на дерево, как внимание его было привлечено лаем Волка.

Заинтересованный Яшка побежал на лай и увидал, что Волк прыгает в кустах возле узенькой тропки и, радостно помахивая хвостом, треплет зубами какой-то черный предмет.

Ребята вырвали у Волка его находку и переглянулись. Это было не что иное, как затрепанная и перепачканная в саже фуражка Дергача.

— Валька! — сказал Яшка, немного подумав.— А может быть, Дергач вовсе и не убежал? Может, он просто испугался кого-нибудь и прячется где-нибудь здесь, по соседству. Я знаю, тут недалеко шалаш есть.

— А кого ему пугаться-то?

— Кого! Да хотя бы вот этих, что по усадьбе лазают.

— Так ты же сам говорил мне, что это ученые.

— Знаю, что говорил. Да вот что-то кажется мне теперь, Валька, что они, пожалуй, не совсем чтобы ученые, а какие-нибудь другие.

Между тем Волк, тихонько, радостно повизгивая, бегал по тропке, обнюхивая ее и не переставая помахивать хвостом.

— Смотри, Волк-то как радуется. Честное слово, он Дергача след учуял. Знаешь что, Валька, побежим за Волком, он куда-нибудь нас приведет. Тут несколько даже шалашей есть, в которых на покосе ночуют. А сейчас не поздно. Солнце-то во как еще высоко.

Валька заколебался, но, послушный всегда желаниям своего товарища, согласился.

— А ну, Волк! — И Яшка помахал перед его носом Дергачовой фуражкой.— А ну, ищи!

Волк, высоко подпрыгнув, лизнул Яшку в лицо, как

бы показывая, что понимает, чего от него хотят, уткнулся носом в землю, повертелся и, разом натянув бечевку, протянутую от ошейника к Яшкиной руке, потащил мальчугана за собой.

— Ишь как любит он Дергача.

— Еще бы! Дергач одного мяса ему сколько скормил да спать с собой всегда клал.

Сколько времени продолжалось это быстрое продвижение по тропке, сказать трудно. Но, должно быть, немало, потому что деревья уже начали отбрасывать длинные тени, а ребята порядком вспотели, когда Волк неожиданно остановился, завертелся, обнюхивая землю, и решительно завернул прямо от тропки в лес.

Через полчаса Яшке определенно стало ясным, что в той стороне, куда рвется Волк, нет ни одного места, где бы можно было укрыться Дергачу, кроме только... кроме только «охотничьего домика».

Постройка, известная под названием охотничьего домика, находилась верстах в семи от «Графского». Выстроенный когда-то по прихоти графа вдали от проезжих дорог, на краю огромного болота, он оставался почти нетронутым и по сию пору. Правда, все, что из него можно было унести, было расхищено за годы войны, но сам домик, сложенный из валявшихся в изобилии глыб серого камня, уцелел.

После революции кто-то из сожженных крестьян хотел было приспособить домик под жилье, но место оказалось совсем неудобное: с одной стороны — камень, с другой — болота. Так и не вселился в домик никто, и зарос он сорной травою да сырым мхом.

Целые тучи мошкары носились меж деревьев. Солнце плохо прогревало сквозь густую листву влажную землю. Не заходили сюда и бабы за грибами, потому что росли здесь одни молочно-белые скрипицы да огненно-красные мухоморы.

И только ранней весной да к осени, когда разрешалась охота, можно было услышать глухое эхо выстрела одинокого охотника, промышляющего за утками. Да и то редко: своих охотников в местечке было мало, а до города отсюда далеко.

К этому-то домику Волк и потащил за собой ребят.

Немного не доходя до места, Яшка остановился и, передавая Вальке бечевку от ошейника собаки, сказал:

— Останься здесь. Сядь вот за этим камнем да смотри, чтобы Волк не лаял. А я пройду вперед н осторожно разведаю. А то, кто его знает, на кого еще нарвешься. В случае чего — назад стрекача пустим.

Валька съежился. Видно было, что это прнказание ему не по душе, но он знал, что Яшке возражать бесполезно, да, кроме того, и домик за поворотом совсем рядом. Он прнстроился между двух большнх глыб и притянул к себе нетерпеливо рвущегося Волка.

Завернув за поросший кустарником холм, Яшка увидел крышу охотничьего домнка. Прячась за лнству, он пробрался вплотную и прислушался.

Кроме жужжанья комаров, кваканья лягушек да тосклнвого писка какой-то болотной пичужки, он не услышал ни одного звука, который мог бы ему подсказать, что домнк обитаем.

Тогда Яшка осторожно приблизился к крыльцу, недоумевая, что именно заставило Волка так настойчиво тянуть к этому месту. Он потянул ручку двери и очутился внутри домика. В первой комнате никого не было, но за то, что люди были здесь недавно, говорили очистки от колбасы, бутылкн нз-под внна и окурки, разбросанные по полу.

Он поднял однн окурок и опять без труда узнал все тот же сорт папирос с золотыми буквами, которые он дважды находил в «Графском».

«Ого,— подумал он,— наши-то исследователи и здесь уже, кажется, успели побывать».

В соседней комнате лежала охапка сена. Тогда он заглянул в маленькую боковую комнату. Здесь он сразу наткнулся на ящнк с какнми-то инструментами н два неизвестных предмета, похожих немного на снаряды.

«Что это все может означать? — подумал Яшка.— Э, да лучше, пожалуй, будет убраться отсюда подальше, а то, чего доброго, подумают еще, что я спереть что-либо прнлез».

И он шмыгнул обратно к крыльцу.

17

А где же в самом деле был в это время Дергач.

Отправнвшись как обычно вечером в подвал «Графского» к Волку, он вскоре заснул. Проснулся он опять от легкого рычания собаки. На этот раз шум наверху был

слышен совершенно отчетливо, он то усиливался, то стихал.

Наконец шаги послышались в соседней с подвалом кладовой. В узенькую щель железной двери просочился свет от зажженной свечи. Кто-то зашаркал ногами по каменному полу, потом зашуршало брошенное на пол сено, и слышно было, как человек улегся на охапку отдохнуть.

«Кого еще это принесло сюда?» — подумал Дергач, и, потрепав Волка, чтобы тот молчал, Дергач, прокравшись к двери, заглянул в щель.

И хотя свеча тускло озаряла каменные своды кладовой, Дергач сразу узнал человека.

— Граф,— прошептал он,— чувствуя дрожь в коленях.— Граф вернулся к себе в свое поместье... Но зачем? Чего ему здесь надо? — Страшная мысль обожгла при этом Дергача.

Вот почему он видел графа и Хряща на станции главной линии. Они сами направлялись в местечко, а он, Дергач, не нашел никакого места, куда убежать бы надежнее, как сюда же, в местечко. Ясно, раз граф здесь, то Хрящ где-нибудь неподалеку.

Но что же делать сейчас? Волк еле сдерживается, чтобы не залаять, а граф и не собирается уходить. Может быть, он даже ночевать здесь останется. А на рассвете, если он заметит дверь, ведущую в подвал, и заглянет сюда. Тогда что? Тогда конец.

Планы бегства из этой ловушки один за другим промелькнули в голове Дергача. Нет... ничего не выходит. Тогда он достал фотографию, вытащил огрызок карандаша, завалявшийся среди прочей мелочи в кармане, и в темноте наугад написал:

«Яшка, я заперт... Хрящ здесь, в «Графском», скажи в милицию...»

Дергач привязал фотографию к ошейнику, подтащил Волка к узенькому окну и просунул туда собачью голову.

Волк не заставил себя упрашивать...

Слышно было, как он бухнулся в воду и поплыл, направляясь к противоположному берегу.

Дергач забился в угол, свернулся и закидал себя сеном.

«Все-таки без собаки легче,— подумал он,— а то она обязательно выдала бы лаем».

Несколькими минутами позже в соседнюю кладовую быстро вошел еще кто-то, и по голосу Дергач сразу узнал Хряща.

— Граф,— сказал он отрывисто,— что-то неладно... Здесь где-то легавые... Я иду мимо пруда, слышу — бултых что-то от стенки. Гляжу, собака плывет. Я к ней, подождал, пока она станет выбираться... Осветил ее фонарем,— гляжу, у нее к шее какой-то пакет привязан... Я уж выхватил револьвер, чтобы ее ухлопать, но она, как бешеная, рванулась в кусты и исчезла... Постой... собака упала в воду от этой стены... Погоди-ка, а куда ведет эта железная дверь?

При этих словах Дергач еще больше съежился и почти что остановил дыхание.

В соседней комнате о чем-то шепотом совещались.

Потом вдруг дверь разом распахнулась. Сначала Дергач не разглядел никого. Но потом он увидел, что оба налетчика предусмотрительно улеглись на пол, очевидно, опасаясь, чтобы тотчас из раскрытой двери не бабахнул по ним выстрел. В руках у них были наганы.

— Нет никого,— сказал граф.

Однако Хрящ двумя прыжками очутился возле вороха сена, лежавшего в углу, и сильно пнул его ногою.

Злорадный крик вырвался у него, когда он увидел перед собою сжавшегося в комочек Дергача.

— А... так ты вот где... так ты следишь за нами... донесение кому-то с собакой послал, в милицию, что ли?.. Чья это была собака?..

И Хрящ со всего размаха ударил Дергача. Тот зашатался и, делая отчаянную попытку если не оправдаться, то выиграть время, ответил:

— Я не в милицию писал, а мальчишкам знакомым, чтобы они завтра не приходили сюда, потому что здесь есть кто-то чужой. Это их собака, они здесь ее прятали.

— А... я знаю... кто такие... — процедил Хрящ, обращаясь к графу.— Они на днях все время вертелись тут около усадьбы. Один из них сын того самого сторожа... Ну, знаешь, какого... к которому я все за фотографией хожу.

— Постой,— прервал его граф,— записка-то все-таки может в милицию попасть... Черт знает что в ней этот

змееныш написал. Ее надо вернуть во что бы то ни стало... иначе все дело может рухнуть... Собака, должно быть, до утра по двору бродить будет... Попробуй проберись во двор и убей ее... и сорви написанное на ошейнике... Это ведь не шутка... Мы еще ничего же не сделали...

Хрящ ударил еще раз Дергача и сказал зло:

— Вот еще, путайся теперь с собакой... Своего дела мало, что ли... Ну, ладно... Останься здесь... Да свяжи руки этому гаденышу... И смотри, будь начеку... В случае чего... стукнешь, а сам *туда* подашься... *там* и встретимся.

И он исчез.

Вернулся Хрящ часа через полтора. Он был разозлен, и правая рука его была вся в крови.

— Проклятая собака! — сказал он.— Ее заперли в баню... Я пробрался туда, ударил ее ножом, но она, как остервенелая, впилась мне в руку... Тут содом поднялся, кто-то даже бабахнул мне вдогонку, да счастье мое, что мимо.

— А записка?

— Какая к черту записка! Там к ошейнику целая карточка подвешена была, я рванул — половину сорвал, а половина там осталась, на, смотри...

Граф посмотрел на поданный ему обрывок и крикнул:

— Слушай, да ты знаешь, что это такое? Это-то и есть половина той самой фотографии, которая нам нужна; но только весь низ ее, который нам больше всего нужен, остался там... Как она попала к тебе? — спросил он, рванув Дергача за плечо...

Дергач ответил.

— Эх ты! — ядовито сказал граф Хрящу...— Побоялся собачьего укуса. Ну что бы тебе ее всю сорвать. И все дело было бы кончено... А теперь что... Весь участок оранжерей перерывать, что ли...

— Эх, ты тоже хорош! — огрызнулся обозленный Хрящ.— Ваше сиятельство! Хозяин усадьбы и не может показать место, где пальма росла.

— Дурак! Да когда нас мужичье из усадьбы выгнало, мне всего-то-навсего двенадцать лет было.

— А чья же это рожа на карточке?

— Это старший брат мой. Я на него очень похож был. Да и вся наша семья схожа собой была, это у нас фамильные нос и подбородок... Ну, а что же теперь делать?

Хрящ подумал и сказал:

— Надо пока иа всякий случай смотаться отсюда. Там переждем денек, а тогда видио будет.

— А этого? — И граф мотнул головой, указывая на притаившегося в углу Дергача.

— Этого мы тоже с собой возьмем. Я его еще сиачала допрошу хорошенько, как и зачем ои здесь очутился.

Налетчики быстро выбрались наружу, и, подталкиваемый пинками, Дергач побрел по указываемой ему тропинке в лес.

Одна из веток зацепила его фуражку и бросила ее иа землю. Подиять ее Дергач ие мог, потому что руки его были крепко связаны.

18

По инструментам, разбросанным на полу «охотничьего домика», в который был приведеи Дергач, ои поиял, что иалетчики прибыли сюда для какого-то серьезного дела.

Его втолкиули в большую комнату, и ои полетел в угол.

Опомнившись немного, Дергач начал осматриваться. Его сразу же изумило то, что окио, выходящее наружу, было распахнуто и ие имело решеток. Ои просуиул туда голову, но иочь черная, непроглядиая скрыла очертания всех предметов.

И сразу же Дергач задумал бежать. В полусгнившей раме вышибленного окна торчал иебольшой осколок стекла.

Прислонившись к подоконнику, ои начал перетирать связывавшую его веревку об острый выступ, удивляясь в то же время, отчего это обыкновенио хитрый и предусмотрительный Хрящ сделал иа этот раз такую оплошиость и оставил его в помещении, из которого можио без особого труда убежать.

Между тем в соседней комиате шла перебранка.

— И дернул черт твоего папашу,— говорил Хрящ,— связаться с этой пальмой. Подумаешь, примета какая: сегодня была, а иазавтра сгиила. Ну, взять бы хоть как примету камень какой, ну, хоть если ие камень, то солидиое дерево — липу либо дуб,— а то пальму! И как у него ие хватило сообразить, что не станут без иего мужики эту

пальму, как он, на каждую зиму в стекло обстраивать и пропадет она в первый же мороз.

— Да кто же знал-то,— возражал граф.— Кто же тогда думал, что все это надолго и всерьез. Да не только отец, а никто из наших так не думал. Все рассчитывали, что продержится революция месяц... два... а там все опять пойдет по-старому. Ведь на белую армию как надеялись.

— Вот и пронадеялись. Не станете же весь сад перекапывать. Тут тебя враз на подозрение возьмут. Это все надо быстро и незаметно — нашел место, выкопал, вскрыл и улепетывай... Я вот думаю, нельзя ли старика садовника в усадьбу вызвать... Пусть прямо покажет место, где росла пальма.

— Опасно... догадаться может.

— Нам бы он только показал, а там...— Тут Хрящ присвистнул.

— Ну, а с этим что делать?

И Дергач понял, что вопрос поставлен о нем.

— С этим?.. А вот давай закусим немного да отдохнем, а там я допрошу его, да и головой в болото... У меня с ним счеты старые. Все равно из него толку не выйдет. Вот тогда со стремя убежал, скотина.

«Дожидайся! — подумал Дергач, стряхивая с рук перерезанные веревки.— Только-то ты меня и видел».

Он осторожно взобрался на подоконник, собираясь прыгнуть вниз, как внезапно зашатался и судорожно вцепился руками за косяк рамы.

Небо чуть-чуть посерело, звезды угасли, и при слабых вспышках предрассветной зарницы Дергач разглядел прямо под окном отвесный глубокий обрыв, внизу которого из-за густо разросшихся желтых кувшинок выглядывали проблески воды, покрывавшей кое-где вязкое, пахнущее гнилью болото.

И только теперь понял Дергач, почему его оставили без присмотра в комнате с распахнутым окном, и только теперь почувствовал весь ужас своего положения.

Но годы, проведенные в постоянной борьбе за существование, ночевки под мостами, опасные путешествия под вагонами и всевозможные препятствия, которые приходилось преодолевать за годы бродяжничества, не прошли для Дергача бесследно. Дергач не хотел еще сдаваться. Стоя на подоконнике, он начал осматриваться.

И вот, вверху, над окном, выходящим к обрыву, он заметил другое, маленькое окошко, ведущее на чердак. Но до него, даже став во весь рост, Дергач не смог бы дотянуться по крайней мере на полтора аршина.

«Эх, если и так и этак лететь в трясину,— подумал, горько сжав губы Дергач,— если и так и этак пропадать, то лучше все-таки попытаться.

План его состоял в том, чтобы распахнуть половинку наружной рамы до отказа, взобраться на верхнюю перекладину, ухватиться за выступ слухового окна и, пробравшись на чердак, бежать оттуда через выходную дверь.

В другом месте Дергач проделал бы это без особенного труда, он был цепок, легок и гибок, но здесь все дело было в том, что рама была очень ветха, слабо держалась на петлях и могла не выдержать тяжести мальчугана.

Все же другого выхода не было.

Дергач распахнул окно до отказа и затолкал какую-то деревяшку между подоконником и нижней петлей, чтобы окно не хлябало. Он заглянул вниз, и ему показалось, что черная пасть хищной трясины широко разинулась, ожидая момента, когда он сорвется. Он отвел глаза и больше не смотрел вниз.

Потом с осторожностью циркового гимнаста, взвешивающего малейшее движение, он ступил ногою на нижнюю перекладину. Сразу же раздался легкий, но зловещий хруст, и рама чуть-чуть осела. Тогда, цепляясь за выступы неровно сложенной стены, стараясь насколько возможно уменьшить этим свою тяжесть, он поднялся на среднюю перекладину. Опять что-то хрустнуло, и несколько винтов вылетели из петель. Дергач закачался и, впившись пальцами в стену, замер, ожидая, что вот-вот он полетит вместе с рамою вниз.

Теперь оставалось самое трудное: надо было занести ногу на верхнюю перекладину, разом оттолкнуться и ухватиться за выступ слухового окна, которое было уже почти рядом.

Ноги Дергача напружинились, пальцы, готовые мертвой хваткой зацепиться за выступ, широко растопырились.

«Ну,— подумал он,— пора!..»

И он рванулся с быстротою змеи, почувствовавшей, что кто-то наступил ей на хвост. Раздался сильный треск,

и сорванная толчком рама начала медленно падать, выдергивая своей тяжестью последние, еще не вылетевшие винты.

И Дергач, заползающий уже в слуховое окно, услыхал, как она глухо плюхнулась в зачавкавшее болото.

Выбравшись на чердак, Дергач бросился к выходной двери. Но едва только он толкнул дверь, как понял, что она закрыта снаружи на засов и он опять взаперти.

Он лег тогда на пыльную земляную настилку... кажется, впервые за все годы беспризорности почувствовал, что слезы отчаяния вот-вот готовы брызнуть из его глаз.

Между тем треск сорвавшейся рамы встревожил налетчиков. Внизу послышались голоса.

— Он выбросился в окно,— говорил граф.

— Он думал, наверно, что выплывет. Ну, оттуда не выплывешь, чувствуешь, какая поднялась вонь, это растревоженный болотный газ поднимается...

— А как же теперь?

— Что «как же»? Потонул, туда ему и дорога. Я же и сам после допроса хотел его по этому же пути отправить.

19

Мало-помалу к Дергачу, понявшему, что налетчики его считают погибшим, начала возвращаться совсем было утраченная надежда на спасение.

С рассветом Хрящ и граф исчезли куда-то. Дергач, воспользовавшись их отсутствием, испробовал все способы вырваться из своей темницы, но дверь была крепко заперта снаружи и не подавалась нисколько. Разобрать же крышу было тоже нечем.

Прошел еще день. Дергач был голоден и измучен. За это время он съел только кусок хлеба, случайно оставшийся в кармане, да выпил две пригоршни воды, просачивавшейся через щель крыши во время ночного дождя.

На третий день налетчики вернулись. Они были чем-то радостно возбуждены.

— Главное...— рассказывал Хрящ,— старик показывает мне обрывок фотографии, а сам говорит: «Мальчишки изорвали, на траве только половину нашел». Я так чуть не подскочил. «Все равно, говорю, давайте хоть поло-

вину». И когда дал я ему обещанную пятерку, так он чуть не обалдел от радости.

— Значит, сегодня!

— Сегодня. Лошадь я уже достал... Мы его вьюком нагрузим и перевезем сюда, затем ночью вскроем — и кончено.

Вскоре оба ушли.

«Сегодня они привезут что-то, вероятно, стальной ящик, и будут взламывать,— подумал Дергач, вспомнив про виденные им внизу инструменты.— А потом скроются... А я что? Неужели мне останется так пропасть с голоду?» И Дергач, совершенно обессиленный, лег на землю и, прикорнув, как мышонок, к серой пыли, впал в какое-то полузабытье.

Опомнился он уже к вечеру, когда услышал внизу шаги.

«Вернулись»,— подумал он.

Но шаги на этот раз были какие-то крадущиеся, неуверенные, точно кто-то посторонний тихонько на цыпочках пробирается по комнатам.

Дергач подполз к двери и заглянул в щель. У входа никого не было видно. Он подождал. Опять послышались шаги, и кто-то вышел на крыльцо, осторожно озираясь и, по-видимому, собираясь бежать прочь.

— Яшка! — крикнул вдруг Дергач, зашатавшись.— Яшка! Я здесь... здесь, заперт на чердаке...

Через минуту Яшка был уже около двери...

— Дергач,— ответил он взволнованно,— здесь отпереть нельзя... огромный замок висит и весь заржавленный...

Дергач походил на волчонка, только что запертого в клетку. Он дергал дверь, злился и кусал себе губы...

— Скорее надо, они сейчас вернуться должны... Что, не выходит? Ну, достань тогда мне снизу веревку, я по старой дороге спущусь, а ты меня в окно втянешь...

Яшка сбегал за веревкой и просунул ее Дергачу в щель двери... Веревка туго пролезала, и пока Дергач продергивал ее, коротко рассказывал Яшке про все, что случилось.

— Ну, теперь... беги в боковую комнату и жди, как я начну спускаться... Постой!

Ребята вздрогнули... Где-то невдалеке заржала лошадь...

— Беги...— шепнул Дергач.— Они возвращаются... Беги в милицию, скажи, что здесь взламывают ящик Хрящ и граф, бандиты... Скажи, что к рассвету будет уже поздно... Выручай, Яшка...

И Яшка, скатившись с лестницы, врезался в кусты, не останавливаясь, махнул рукой притаившемуся Вальке... И, невзирая на ветви деревьев, больно хлещущие лицо, перепуганные ребята побежали к местечку.

20

Едва Дергач успел продернуть к себе через щель толстую веревку, как к домику подошли граф и Хрящ, державший узду навьюченной лошади.

Тяжело топая ногами, налетчики внесли небольшой квадратный предмет в комнаты, и по тому, как тяжело стукнулось что-то об пол, Дергач догадался, что это несгораемый ящик.

Затем в продолжение всей ночи внизу была слышна возня, скрип и какое-то шипение, похожее на шум разожженного примуса. Очевидно, дело подвигалось медленно, потому что несколько раз снизу доносились отчаянные ругательства.

Наступал рассвет, а помощь все не приходила. И теперь уже Дергача не столько занимала мысль о том, скоро ли ему придется выбраться, сколько — сумеет ли прибыть вовремя милиция и захватить проклятого Хряща, прежде чем налетчики взломают ящик и скроются отсюда.

Радостные восклицания, раздававшиеся снизу, подсказали Дергачу, что наконец-то ящик вскрыт. Последовало несколько минут молчания и торопливой возни. Внизу, наверное, рассматривали содержимое ящика.

— Уф, жарко... Я взмок весь,— сказал Хрящ...

— У меня тоже язык чуть не растрескался... Пойди на ключ, принеси воды.

Но Хрящ, очевидно по соображениям, казавшимся ему достаточно вескими, ответил:

— Вот еще! Чего я один пойду... идем вместе... А потом сразу же, не теряя ни минуты, заберем все и смоемся, а то лошади, наверно, хватились уже...

— Боишься, как бы я не забрал все да убежал,—

насмешливо спросил граф...— Ну ладно, пошли вдвоем пить.

В щель Дергач увидел, как они поспешно направились к опушке и исчезли в кустах. «Сейчас вернутся, заберут все, что было в ящике, и исчезнут,— подумал Дергач.— И опять Хрящ будет на свободе, и опять вечно бойся и дрожи, как бы он не попался на твоем пути. Эх! Да чего же не идут наши-то!»

И внезапно дерзкая мысль пришла в голову Дергачу.

— А, Хрящ! — прошептал он.— Ты всегда только и знал, что бить да колотить меня, ты хотел сбросить меня в болото... Погоди же, Хрящ! Мы с тобой сейчас расквитаемся.

Очевидно, какая-то горячка опьянила Дергача, потому что прежде он, трепетавший при одном упоминании имени Хряща, никогда бы не решился на такой рискованный поступок.

Он быстро спустил веревку из слухового окна по отвесной стене... закрепил один конец за столб, поддерживавший крышу, и скользнул по веревке вниз. Очутившись на подоконнике боковой комнатки, он спрыгнул и, выбежав в соседнюю комнату, крепко захлопнул тяжелую дверь и задвинул ее на железный засов.

«Попробуйте-ка, доберитесь сюда теперь»,— злорадно подумал он, оглядывая крепкие решетки выходящих к лесу окон.

Ему видны были налетчики, возвращающиеся обратно.

Он встал за дверью. На крыльце послышались шаги. Дверь вздрогнула. Вздрогнула еще раз.

И тотчас же снаружи раздалось озлобленное и в то же время испуганное восклицание:

— Что за черт! Там кто-то заперся.

Тогда Дергач крикнул из-за двери с нескрываемым озлобленным торжеством:

— Хрящ... ты, собака, хотел бросить меня в болото. Кидайся теперь сам туда от злости. Я не отопру тебе, и ты не получишь ничего из того, что есть в стальном ящике.

Грохот выстрела, раздавшийся в ответ... и пуля, пронизавшая дверь, не смутили Дергача, ибо он предусмотрительно встал за каменный простенок.

— Открывай лучше, собачий сын! — заревели в один голос граф и Хрящ.— Открывай, иначе все равно выломаем дверь.

В ответ на это Дергач захохотал как-то неестественно громко от возбуждения.

Он знал наверняка, что налетчики не могут голыми руками выломать дверь, потому что все их инструменты остались в домике. Ему важно было выиграть время и задержать бандитов, пока не придет помощь.

Вдруг он упал камнем на пол, потому что граф, прокравшись с другой стороны, просунул руку с револьвером в решетчатое окно.

Дергач подполз вплотную к стене. Рука графа корежилась, стараясь изогнуться настолько, чтобы достать пулей Дергача.

Пуля пронизала пол на четверть от него. Граф через силу изогнул руку еще и опять выстрелил. Пуля подвинулась к Дергачу еще вершка на два. Но рука графа была не резиновая, и больше он не мог ее изогнуть.

Тогда граф отскочил от окошка и забежал за угол, очевидно надумав другой план.

Воспользовавшись этим моментом, Дергач шмыгнул в боковую комнатку, окно которой выходило на болото.

Здесь он был в сравнительной безопасности.

— Но почему же наши не идут,— с беспокойством прошептал он.— Ведь очень-то долго я не смогу продержаться. Хрящ уж что-нибудь да выдумает.

В том, что Хрящ уже что-то выдумал, он убедился через несколько минут, почувствовав запах гари.

Он высунулся в соседнюю комнату и увидел, что на полу горят клочки набросанного через решетку сена. Он хотел затоптать, но тотчас же отскочил, потому что пуля ударилась в каменную стену, недалеко от его головы.

«А ведь сожгут! — в страхе подумал Дергач.— Будут бросать сено, пока не загорится пол... Но почему же не идут на помощь милиционеры?»

Очевидно, Хрящ хорошо знал, что делает. Среди аппаратов, привезенных налетчиками для взлома шкафа, находились горючие жидкости. Пламя, добравшись до них, забушевало сразу с удесятеренной силой, расплываясь по полу и распространяя тяжелый, удушливый дым.

«Пропал! — подумал, задыхаясь, Дергач,— пропал совсем».

Дым лез в глаза, в нос, в горло. Голова Дергача закружилась, он зашатался и прислонился к стене.

«Пропал совсем...» — подумал он еще раз, уже совсем теряя сознание...

Колени его подкосились, и он упал, уже не услышав, как загрохотали по лесу выстрелы подоспевших и открывших огонь милиционеров.

21

Проснулся Дергач в больнице. И первое, на что он обратил внимание, это на окружающую его белизну. Белые стены, белые подушки, белые кровати. Женщина в белом халате подошла к нему и сказала:

— Ну, вот и очнулся, милый! На-ко, выпей вот этого.

И, слабо приподнимаясь на локте, Дергач спросил:

— А где Хрящ?

— Спи... спи...— отвечала ему белая женщина.— Будь спокоен.

Словно сквозь сон видел Дергач какого-то человека в очках, взявшего его за руку.

Было спокойно, тепло и тихо, а главное — все кругом такое белое, чистое. От черных лохмотьев и перепачканных сажею рук не осталось и следа.

— Спи! — еще раз сказала женщина.— Скоро выздоровеешь и уже скоро теперь будешь дома.

И Дергач — маленький бродяга, только огромными усилиями воли выбившийся с пути налетчиков на твердую дорогу, закрыл глаза, повторяя чуть слышным шепотом:

— Скоро дома.

Через день Яшка и Валька были на свидании у Дергача. Оба они были одеты в огромные халаты, причесаны и умыты.

Дергач улыбнулся им, кивнув худенькой, остриженной головой. Сначала все помолчали, не зная, как начать разговор в такой непривычной обстановке, потом Яшка сказал:

— Дергач! Выздоравливай скорей. Граф арестован, он оказался настоящим графом. Они вырыли под пальмой ящик, спрятанный старым графом перед тем, как бежать к белым. В ящике много всякого добра, но из-за

тебя все успели захватить наши милиционеры. Ты выходи скорей. Все мальчишки будут табунами за тобой теперь ходить, потому что ты герой!

— А Хрящ где?

— Хрящ убит, когда отстреливался.

— Дергач,— несмело сказал Валька,— а твоих домашних по объявлению разыскали. И тебе хлопочут пионеры билет. А Волк кланяется тебе тоже... Он очень любит тебя, Дергач.

Дергач вздохнул. По его умытому, бледному еще лицу расплылась хорошая детская улыбка, и, закрывая глаза, он сказал радостно:

— И как хорошо становится жить...

1929



СЕРЕЖКА ЧУБАТОВ

У КОСТРА на отдыхе после большого перехода заспорили красноармейцы.

— Помирать никому не охота,— сказал Сережка Чубатов.— Об этом еще в древности философы открытие сделали. Да и так, сам по себе на опыте знаю. Но, конечно, тоже — смерть смерти рознь бывает. Ежели, например, подойдешь ты ко мне и скажешь: «Дай я тебя прикладом по голове дерну»,— то, ясное дело, не согласишся, и даже очень. Потому — с какой стати? Неужели она, голова, у меня для того и создана, чтобы по ней прикладом либо еще каким посторонним предметом ни за что ни про что стукали?

Другое дело, когда война. Там с этим считаться не приходится. Я, может быть, в гражданскую от одного вида белого офицера в ярость приходил, думаю, что и он тоже,— потому что враги мы и нет между нами никакой средней линии. Вот почему на фронте, хотя и не считал я себя окончательным храбрецом,— не скрою, и от пули гнулся и от снаряда иногда дрожь брала,— а все-таки подавлял я в себе все инстинкты и шел сознательно: когда приказывали вперед — то вперед, когда назад — то назад. А заметьте еще одну вещь: трус чаще гибнет, чем рисковый человек. Трус, он действует в момент опасности глупо, даже в смысле спасения собственной своей шкуры. Например, кавалерия налет сделала, а он пускается наутек по ровному полю. И нет того соображения, что от коня все равно не убежишь, а сзади по бегущему человеку куда как легче шашкой полоснуть.

Припоминается мне такой случай. Оторвались мы вчетвером однажды от своих, затерялись, запутались и вышли в широкое поле. Стоят на том поле три дуба на бугорочке, а впереди болотце маленькое — пройти по нему можно, но хлюпко. Только сели мы под теми тремя дубами, воды напились и стали совет держать: куда идти, где своих разыскивать, как вдруг видим — скачет в нашу сторону конный разъезд всадников в двадцать. И не то важно, что разъезд, а то, что явно петлюровский.

«Ну,— думаем мы,— пришло время в бессрочный уходить». Кругом — как на ладони, укрыться негде, бежать некуда. Говорит мне Васька Сундуков: «Давайте, ребята, утекать что есть мочи. Может, успеем до лесу добежать». А куда уж тут добежать, когда до лесу добрых две версты! И ответил я ему с горечью: «Беги не беги, Вася, а помирать, видно, все равно придется. Тебя не держу, а сам не побегу». И как есть я коренной пехотинец, то не люблю шашек, особенно ежели когда они сзади по черепу. Да к тому же от пули и смерть легче.

А день был такой цветистый, греча медом пахла, пичужки какие-то, будь им неладно, душу растравляют. И окончательно было помирать неохота — но судьба.

Встали мы за тремя дубами в ряд. Гляжу, Васька партбилет из кармана вынимает с целью. И сказал я ему тогда строго: «Оставь, Василий, билет в целости! Все равно плену нам никому не будет». И мотнул он тогда головой с таким выражением, что: «эх, мама, где наша не пропадала». И, вскинув винтовку к плечу, грохнул в сторону приближающегося разъезда. Так-то... Спрашиваете, что дальше было? А было дальше вот что. Пробовали они нас наскоком взять — нет, не идет дело: по болотцу конь шагом двигается, вязнет, а всадники под пулю попадают. Рассыпались в цепь, окружили нас, стали кольцо сжимать. А нам что — сжимай, нам все равно пропадать. И такая их, видно, досада взяла, неохота им, видно, из-за четырех человек на рожон лезть, так решили измором взять. Ручной пулемет притащили, и пошла такая пальба, что подумаешь — между собой два батальона бой ведут. Ну, через несколько часов патроны у нас стали на исходе и Васька из строя выбыл, пуля ему плечо прохватила. В общем, дела — конец. Только вдруг слышим мы, что из-за леса затакал пулемет. Повскакали петлюровцы; глядим мы — от опушки люди бегут... Мать честная, бого-

родица лесная, да ведь это же наши! Оказывается, прибежали к ним в деревню пастухи и докладывают, что идет у нас настоящий бой. Наши было даже не поверили сначала. Какой бой, с кем бой, когда рядом ни одной красной части нет...

Ну, вот и все. А говорю я это вот к чему,— закончил Сережка Чубатов.— За это самое дело нам ордена дали. Значит, как бы за храбрость. А верно ли, что за храбрость,— об этом я сам себя часто спрашиваю и так думаю: какая же тут храбрость, если просто помирать неохота и старались мы оттянуть это дело, покуда патрон не хватит! Просто, по-моему, за здравый смысл дали. То есть раз и так и эдак конец выходит, то помри ты лучше за что-нибудь, чем ни за что,— помри толком, чтобы от этого красным польза была, а белым вред. Я только так и понимаю, и когда мне напоминают теперь: «Сережка, да ты ведь герой»,— мне даже как-то неловко становится. Холера тебя возьми, да какой же я герой, когда просто так надо было, а никак иначе нельзя!

Но ребята, дослушав рассказ, даже головами замотали, а комсомолец Мишка Заплатин сказал нерешительно:

— Так вот, по-моему, Сережа, это героизм и есть... когда человеку плохо приходится, а он еще думает, как бы помереть не задаром. Вот если бы все...

И начались тогда жаркие споры между ребятами. Глаза заблестели, волнуются, горячатся, и каждый хочет доказать свое, и видно, что каждый надеется доказать это не столько словами, сколько делом в огневых решительных схватках славного будущего.

1927

ЛЕВКА ДЕМЧЕНКО

Случай первый

БЫЛ этот Демченко в сущности неплохим красноармейцем. И в разведку часто хаживал и в секреты становиться вызывался. Только был этот Демченко вроде как с фокусом. Со всеми ничего, а с ним обязательно уж что-нибудь да случится: то от своих отстанет, то заплутается, то вдруг исчезнет на день, на два, и, когда ребята по нем и поминки-то справлять кончат, вывернется вдруг опять, и, хохоча отчаянно, бросит наземь замок от петлюровского пулемета или еще что-либо, рассказывая при этом невероятные истории о своих похождениях. И поверить было ему трудно, и не поверить никак нельзя. Другого бы на его месте давно орденом наградили, а Левку нет. Да и невозможно наградить, потому что все поступки его были какие-то шальные — вроде как для озорства. Однажды, будучи в дозоре, наткнулся он на два ящика патронов, брошенных белыми, пробовал их поднять — тяжело. Тогда перетянул их ремнями, навьючил на пасшуюся рядом корову, так и доставил патроны в заставу.

Однако, нечего скрывать, любили его, негодяя, и красноармейцы и командиры, потому что парень он был веселый, бодрый. В дождь ли, в холод ли, идет себе насвистывает. А когда на привале танцевать начнет — так из соседних батальонов прибегают смотреть.

Было это дело в Волынской губернии. В 1919, беспокойном году. Бродили тогда банды по Украине неисчислимыми табунами. И столько было банд, что если перечислить всё, то и целой тетради не хватит. Был погружен наш отряд в вагоны и отправился через Коростень к Новгород-Волынску. Едем мы потихоньку: впереди путь разобран. Починим — продвигаемся дальше, а в это время позади разберут. Вернемся, починим — и опять вперед, а там уже опять разобрано. Так и мотались взад и вперед. Поехали мы как-то до станции Яблоновка. Маленькая станция в лесу — ни живой души. Ну, остановились. Ребята разбрелись, костры разложили, утренний чай кипятят, картошку варят. И никто внимания не обратил, что закинул Левка карабин через плечо и исчез куда-то.

Идет Левка по лесной тропинке и думает: «В прошлый раз, как мы сюда приезжали, неподалеку на мельнице мельника захватили. Был тот мельник наипервейший бандит. Сын же его — здоровенный мужик — убежал тогда. Надо подобраться, не дома ли он сейчас?»

Прошел Левка с полверсты, видит — выглядывает из-за листвы крыша хутора. Ну, ясное дело, спрятался Левка за ветки и наблюдает, нет ли чего подозрительного: не ржут ли бандитские кони? Не звякают ли петлюровские обрезы?.. Нет, ничего, только жирные гуси, греясь на солнце, плавают в болотце да кричит пересвистами болотная птица — кулик. Подошел Левка и винтовку наготове держит. Заглянул в окошко — никого. Только вдруг выходит из избы старуха мельничиха. Нос крючком, брови конской гривою. Ажно остолбенел Левка от ее наружности. И говорит ему эта хищная старуха ласковым голосом:

— Заходи в горницу, солдатик, может, закусишь чего.

Идет Левка сенцами, а старуха за ним. И видит Левка слева дверцу — в чулан, должно быть. Распахнул он и взглянул на всякий случай — не спрятался ли там кто. Не успел Левка присмотреться как следует, как толкнула его со всей силы в спину старуха и захлопнула за ним с торжествующим смехом дверь.

Поднявшись, прыгнул назад Левка, рванул скобку — поздно. «Ну,— думает он,— пропал!» Кругом никого, один в бандитском гнезде, а старуха уже неприятным

голосом какого-то не то Гаврилу, не то Вавилу зовет. Набегут бандиты — конец.

И только было начал настраиваться Левка на панихидный лад, как вдруг рассмеялся весело и подумал про себя: «Ничего у тебя, мамаша, с этим делом не выйдет».

Задвинул он засов со своей стороны. Глядит — кругом мешки навалены, стены толстые, в бревнах вместо окон щели вырублены. Скоро сюда не доберешься. Скрутил он тогда цигарку, закурил. Потом выставил винтовку в щель и начал спокойно садить выстрел за выстрелом, в солнце, в луну, в звезды и прочие небесные планеты.

Слышит он, что бегут уже откуда-то бандиты, и думает, затягиваясь махоркой: «Бегите, пес вас заешь! А наши-то стрельбу сейчас услышат — вмиг заинтересуются».

Так оно и вышло. Сунулся кто-то дверь ломать, Левка через дверь два раза ахнул. Стали через стены в Левку стрелять, а он за мешки с мукой забрался и лежит лучше чем в окопе. Так не прошло и двадцати минут, как вылетает вихрем из-за кустов взводный Чубатов со своими ребятами. И пошла между ними схватка.

Уже когда окончилась перестрелка и заняли красные хутор, орет из чулана Левка:

— Эй, отоприте!

Подивились ребята:

— Чей это знакомый голос из чулана гукает?

Отперли и глаза вытаращили:

— Ты как здесь очутился?

Рассказал Левка, как его баба одурила,— ребята в хохот.

Но три наряда вне очереди ротный дал — не ходи куда не надо без спроса. Засвистел Левка, улыбнулся и полез на крышу наблюдателем.

Случай второй

Однажды, перед тем как выступить в поход к деревне Огнище, сказал Левке станционный милиционер:

— Рядом с Огнищами деревушка есть, Капищами прозывается. Стоит она совсем близко, сажен двести — так что огороды сходятся. Ну, так вот, сам я оттуда, домишко самый крайний. Сейчас в нем никого нет. В под-

поле, в углу, за барахлом разным, шашку я спрятал, как из дому уходил. Хорошая шашка, казачья, и темляк на ней с серебряной бахромой.

И запала Левке в голову эта шашка, так что впутался из-за нее дурак в такое дело, что и сейчас вспоминать жуть берет.

Дошли мы с отрядом до Огнища. А место такое гиблое, за каждой рощицей враг хоронится, в каждой меже бандит прячется. На улицах пусто, как после холеры, а гибелью каждый куст, каждый стог сена дышит.

Пока отряд то да се, подводы набирал, халупы осматривал, Левка, будь ему неладно, смылся. Прошел мимо огнищенских огородов, попал на горку в Капище. Кругом тишь смертная. Трубы у печей дымят, горшки на загнетках горячие, а в халупах ни души. Кто победней — давно в Красную ушел, кто побогаче — обрез за спину да в лога попрятался.

Идет Левка. Карабин наготове, озирается. Нашел крайнюю избушку, отворотил доски от двери и очутился в горнице. А там пыль, прохлада, видно, что давно хозяевами брошена хатенка. Нашел он кольцо от подпола и дернул его. Внизу темно, гнилко, сырость смертью попахивает. Поморщился Левка, но полез.

Около часа, должно быть, копался, пока нашел шашку. Глядит и ругается. Наврал безбожно милиционер — ничего в шашке замечательного: ножны с боков пообтерты, а темляк тусклый и бахрома наполовину повыдернута. Выругался Левка, но все же забрал находку и вылез на улицу.

Прошел Левка шагов с десяток — остановился. И холодно что-то стало Левке, несмотря на то, что пекло солнце беспощадной жарою июльского неба. Глядит Левка и видит как на ладони внизу деревушку Огнище, поля несжатые, болотца в осоке, рощи, ручейки. Все это прекрасно видит Левка — своего отряда не видит. Как провалился отряд.

Вздрогнул Левка и оглянулся. А оттого ему жутко стало, что если ушел отряд, то оживут сейчас кусты, зашелестит листва, заколышется несжатая рожь, и корявые обрезы, высунувшись отовсюду, принесут смерть одинокому, отставшему от отряда красноармейцу. Перебежал улицу, выбрался к соломенным клуням. Нет никого. Никто еще не успел заметить Левку. Смотрит он

и видит, что от горизонта ровно как бы блохи скачут. И понял тогда Левка — конница петлюровская прямо сюда идет. Либо батьки Соколовского, либо атамана Струка — и так и этак плохо!

Забежал он в одну клуню, а та чуть не до крыши соломой да сеном набита. Забрался он на самый верх, дополз до угла и стал сено раскапывать. Раскапывает, а сам все ниже опускается. Так докопался до самого низа. Сверху его сеном запорошило, через стены плетеной стенки воздух проходит, и даже видно немного, но только на зады.

И что бы вы подумали? Другого на его месте удар бы хватил: один-одинешенек, в деревне топот — банда понаехала. А Левка сел, кусок сала из сумки вытащил и жрет, а сам думает: «Здесь меня не найдут, а ночью, если умно действовать, выберусь». Приладил под голову вещевой мешок и заснул — благо перед этим три ночи покоя не было.

Просыпается — ночь. В щелку звезды видны и луна. Звезды еще так-сяк, а луна уже вовсе некстати. Выбрался он наверх и пополз на четвереньках. Вдруг слышит рядом разговор. Насторожился — пост в десяти шагах. Лег тогда Левка плашмя — в одной руке карабинка, в другой шашка — и пополз, как ящер. Сожмет левую ногу, выдвинет правую руку с карабином, потом бесшумно выпрямится. Так почти рядом прополз мимо поста. Все бы хорошо, только вдруг чувствует, что под животом хлябь пошла. И так заполз он в болото. Кругом тина — грязь, вода под горло подходит, лягушки глотку раздирают. И вперед ползти никак, лежа, невозможно, и стоя идти нельзя — сразу с поста заметят и срежут. Луна светит, как для праздника, петлюровцы всего в пятнадцати шагах, и никуда никак не сунешься. Что делать? Подумал тогда Левка, высунулся осторожно из воды, снял с пояса бомбу, нацелился и что было силы метнул ее вверх, через головы петлюровского караула. Упала бомба далеко с другой стороны, так ахнуло по кустам, что только клочья в небо полетели. Петлюровцы повскакали, бросились на взрыв, стрельбу открыли в другую сторону, а Левка поднялся и по болоту — ходу. Добрался досуха, пополз по ржи и завихлял, закружился — только его и видели.

К рассвету до станции добрел. Ребята ажно рты пора-

зинули — опять жив, черт! Ротный выслушал его рассказ, опять наряды дал: не шатайся куда не надо без толку; но все же потом, когда ушел Левка, сказал ротный ребятам:

— Дури у него в башке много, а находчивость есть. Если его на курсы отдать да вышколить хорошенько, хороший из него боец получиться может, с инициативой.

А шашку Левка кашевару отдал, нехай в обозе таскается. И то правда. Ну, на что пехотинцу шашка? Своей ноши мало, что ли?

Случай третий

Было это уже под Киевом. Шли тогда горячие бои, и отбивались отчаянно наши части зараз и от петлюровцев и от деникинцев. Стояла наша рота в прикрытии артиллерии, в неглубоком тылу. А рядом к грузовику на веревке наблюдательный воздушный шар был подвешен. То ли газ через оболочку стал проходить, то ли щель какая в шаре образовалась, а только стал он потихоньку спускаться, и как раз в самую нужную минуту.

Говорит тогда командир:

— А ну-ка, ребята, кто ростом поменьше? Хотя бы ты, Демченко, залезай в корзину. Да винтовку-то брось, может, он тебя подымет. Еще бы хоть пять минут продержаться — понаблюдать, что там за холмами делается.

Левка раз-раз — и уже в корзине. Поднялся опять шар. Но едва успел Левка сверху по телефону несколько фраз сказать, как вдруг загудел, захрипел воздух, и разорвался близко снаряд. Потом другой, еще ближе. Видят снизу, что дело плохо. Стали на вал веревку наматывать и шар снижать, как бабахнет вдруг совсем рядом! Грузовик ажно в сторону отодвинуло, двух коней осколками убило, а Левка как сидел наверху, так и почувствовал, что рвануло шар кверху и понесло по воздуху — перебило веревку взрывом.

Летит Левка, качается, ухватился руками за края корзинки и смотрит вниз. А внизу бой отчаянный начинается. С непривычки у Левки голова кружится, а когда увидел он, что несет его ветром прямо в сторону неприятельского тыла, то совсем ему печально как-то на душе стало и даже домой, в деревню, захотелось.

Слышит он, что прожужжала рядом пчелой пуля. Потом сразу точно осиный рой загудел. Шар обстреливают — понял он.

«Прямо белым на штыки сяду»,— подумал Левка.

Но ветер, к счастью, рванул сильней и потащил Левку дальше, за лес, за речку, черт его знает куда.

Потом окончательно начал издыхать шар и опустился с Левкой прямо на деревья. Заскакал он, как белка, по веткам, выбрался вниз и почесал голову. Чеши не чеши, а делать что-нибудь надо. Стал он пробираться лесом, выбрался на какую-то дорогу, к маленькому лесному хутору. Подполз к плетню, видит — в хате петлюровцы сидят, не меньше десятка, должно быть. Только собрался он утекать подальше, как заметил, что на плетне мокрая солдатская рубаха сушится, а на ней погоны. Подкрался Левка, стащил потихоньку и рубаху и штаны, а сам ходу в лес. Напялил обмундировку и думает: «Ну, теперь и за белого бы сойти можно, да пропуска их не знаю». Пополз обратно, слышит — неподалеку у дороги пост стоит. Левка — рядом и слушает. Пролежал, должно быть, с час, вдруг топот — кавалерист скачет.

— Стой! — кричат ему с поста.— Кто едет? Пропуск?

— Бомба,— отвечает тот.— А отзыв?

— Белгород.

«Хорошо,— подумал Левка,— погоны-то у меня есть, пропуск знаю, а винтовки нет. Какой же я солдат без винтовки?» Выбрался он подальше и пошел краем леса, близ дороги. Так прошел версты четыре, видит — навстречу двое солдат идут. Заметили они Левку и окликнули, спросили пропуск — ответил он.

— А почему,— спрашивает один,— винтовки у тебя нет?

И рассказал им Левка, что впереди красные партизаны на ихний отряд налет сделали, чуть не всех перебили, а он как через речку спасался, так и винтовку утопил. Посмотрели на него солдаты, видят — правда: гимнастерка форменная и вся мокрая, штаны тоже, поверили.

А Левка и спрашивает их:

— А вы куда идете?

— На Семеновский хутор с донесением.

— На Семеновский? Так вот что, братцы, недавно тут

зарево было видно. Я думаю, уж не сожгли ли партизаны этот Семеновский хутор? Смотрите не нарвитесь.

Задумались белые, стали меж собой совещаться, а Левка добавляет им:

— А может, это не Семеновский горел, а какой другой. Разве отсюда поймешь! Залезай кто-нибудь на дерево, оттуда все как на ладони. Я бы сам полез, да нога зашиблена, еле иду.

Полез один и винтовку Левке подержать дал. А покуда тот лез, Левка и говорит другому:

— Жужжит что-то. Не иначе как ероплан по небу летит.

Задрал тот затылок, стал глазами по тучам шарить, а Левка прикладом по башке как ахнет, так тот и свалился. Сшиб Левка выстрелом с дерева другого, забрал донесение, забросил лишнюю винтовку в болото и пошел дальше.

Попадается ему навстречу какая-то рота. Подошел Левка к ротному и отрапортовал, что впереди красные засаду сделали и белых поразогнали, а двое убитых и сейчас там у самой дороги валяются. Остановился ротный и послал двух конных Левкино донесение проверить. Вернулись конные и сообщают, что действительно убитые возле самой дороги лежат.

Написал тогда ротный об этом донесении батальонному и отправил с кавалеристом. А Левка идет дальше и радуется — пускай все ваши планы перепутаются!

Так прошло еще часа два. По дороге заодно штыком провод полевого телефона перерубил. Затем ведерко с дегтем нашел и в придорожный колодец его опрокинул — хай лопают, песьи дети!

Так выбрался он на передовую линию, а там идет отчаянный бой, схватка, и никому нет до Левки дела. Видит Левка, что не выдержат белые. Залег он тогда в овражек, заметал себя сеном из соседнего стога и ожидает. Только-только мимо ураганом пролетела красная конница, как выполз Левка, содрал погоны и пошел своих разыскивать.

На этот раз, когда увидели его ребята, даже не удивились.

— Разве,— говорят,— тебя, черта, возьмет что-нибудь? Разве на тебя погибель придет?

И ротный на этот раз нарядов не дал, потому что не за что было. Наоборот, даже пожал руку, крепко-крепко.

А Левка ушел к лекпому Поддубному, попросил у него гармонь, сидит и наигрывает песни, да песни-то все какие-то протяжные, грустные.

Дядя Нефедыч, земляк, покачал головой и сказал в шутку:

— Смотри, Левка, смерть накличешь.

Улыбнулся Левка и того не знал, что смерть ходит уже близко-близко бесшумным дозором.

1927

КОНЕЦ ЛЕВКИ ДЕМЧЕНКО

НАШ взвод занимал небольшое кладбище у самого края деревни. Петлюровцы крепко засели на опушке противоположной рощи. За каменной стеной решетчатой ограды мы были мало уязвимы для пулеметов противника. До полудня мы перестреливались довольно жарко, но после обеда стрельба утихла.

Тогда-то Левка и заявил:

— Ребята! Кто со мной на бахчу за кавунами?

Взводный выругался:

— Я тебе такую задам бахчу, что и своих не узнаешь!

Но Левка хитрый был и своевольный.

«Я,— думает он,— только на десять минут, а заодно разведаю, отчего петлюровцы замолчали,— не иначе как готовят что-нибудь, а оттуда как на ладони видно». Подождал Левка немного, скинул скатку, а сам незаметно мешок под рубаху запрятал и пополз на четвереньках промеж бугорков. Добрался до небольшого овражка и сел. Кругом трава — сочная, душистая, мятой пахнет, шмели от цветка к цветку летают, и такая кругом тишина, что слышно, как понизу маленький светлый ручеек журчит. Напился Левка и пополз дальше. Вот впереди и садочек, несколько густых вишен, две-три яблони, а рядом бахча, кавуны лежат спелые, сочные — чуть не трескаются от налива.

Стал Левка подрезать кавуны, потом набрал с полмешка, хотел еще наложить, да чувствует, что тяжело будет. Решил было уже назад ворочаться, да вспомнил, что

хотел про петлюровцев разведать. Положил мешок наземь, а сам пополз вбок, оттуда в излучину оврага. Потом выбрался наверх и стал присматриваться; видит — в лощинке слева кони стоят.

«Эй,— подумал он,— вот оно что! Значит, у них и кавалерия в запасе есть...»

Вдруг обернулся Левка в сторону и видит такую картину. Идет, пригнувшись, со стороны бахчи петлюровец и что-то тащит.

Пригляделся Левка и ахнул: «Ах, ешь тебя пес! Да ведь это же мой мешок с кавунами! Для тебя я гнал, старался — все коленки пообтер ползавши? А тут на-ко... да и мешок-то еще не мой, мешок под честное слово насилу у пулеметчика выпросил».

И такая обида Левку взяла, что просто сил нету...

Петлюровец прямо в его сторону пробирается.

Спрятался Левка за бугор и ждет. Едва только тот поравнялся с ним — выскочил Левка, навел винтовку и кричит: «Стой!»

Но петлюровец тоже не из трусливых оказался. Бросил он мешок и схватился за свою винтовку...

Никак не ожидал от того такой прыти Левка. Теперь оставалось только одно — стрелять, а стрелять не собирался он потому, что конные были в овраге и совсем рядом.

Грохнул он в упор и свалил петлюровца.

И сейчас же заметили Левку. Понесся на него целый десяток всадников.

«Эх... ввязался — за кавуны!» — качнул головою Левка.

Прыгнул он кошкою на крутой скат, чтобы не сразу кони достичь его могли. Рванул затвор...

Сколько времени отстреливался Левка, сказать трудно; может быть, минуту, может быть, пять. Почти бессознательно вскидывал он приклад винтовки к плечу, как автомат, лязгал затвором и в упор стрелял в скачущих всадников...

Двое подлетели почти вплотную. Смыл Левка пулей одного, вскинул винтовку на другого — но впустую щелкнул не встретивший капсюля боек.

«Эх, перезарядить бы!» — мелькнула последняя мысль. Но перезаряжать не пришлось, потому что уже в следующую секунду падал с надрубленной головой Левка и,

падая, точно лучшего друга, крепко сжимал свой неизменный карабин.

Так ни за что ни про что погиб наш Левка. Немножко шальной, чудаковатый, но в то же время славный боец и горячо любимый всеми товарищ.

Тело его доставили мы к вечеру и похоронили с честью. И прощальным салютом над его могилою всю ночь гудели на фланге глухие взрывы тяжелого боя. Всю ночь вспыхивали и угасали в небе сигнальные ракеты, такие же причудливые и яркие, как Левкина жизнь.

1927

НОЧЬ В КАРАУЛЕ

В КАРАУЛЬНОМ помещении тихо. Красноармейцы очередной смены, рассевшись вокруг стола, разговаривают так, чтобы не мешать отдыху только что сменившихся товарищей. Но разговор не клеится, ибо мерное тиканье маятника нагоняет сон и глаза против воли слипаются.

Хлопнула дверь, вошел окутанный ветром разводящий и сказал, отряхиваясь от капель дождя:

— Ну и погодка! Темень, буря, тут к тебе на три шага подходи, и то не учуешь. Сейчас часовому собачий слух да кошачьи глаза нужны. Сейчас только берегись.

— А чего беречься-то! — лениво спросил Петька Сумин, протирая кулаком посоловелые глаза.— Чай, теперь не война. Возьмем, к примеру, наш склад. Отряд на него никакой не нападет, потому что неоткуда, а одному либо двоим за сутки замки не сломать. По-моему, так часовой там не нужен. Наняли бы сторожа, и нехай дует для устрашения в колотушку.

— Ну, этого ты не скажи,— ответил, усаживаясь на лавку, разводящий.

— А знаешь ты случай про часового Мекешина?.. Нет, не слыхал про этого часового? Ну, тогда и помалкивай. Рассказать, говоришь? Ладно, расскажу. Да гляди веселей, ребята, небось на селе ночь прокрутиться вам нипочем, а в карауле слабо, что ли? Чего носами-то засопели? Ну, слушай, да не мешай...

Было это в прошлом году. Назначили наш взвод в караул при химическом заводе, а завод на самом краю

города, возле Шаболовских оврагов. Ну ладно. Сменили мы старый караул в семь часов. Мекешину заступать было в третью смену с одиннадцати. Пошел. А посты далеко находились, как раз у края оврага. Принял он посты честь по чести: печать целая, подозрительного ничего замечено не было. Ушел разводящий, ушел прежний часовой, и остался Мекешин один. А ночь тогда хуже сегодняшней была — темная, беспокойная. В этакую ночь человек — как слепой котенок. Стоит Мекешин час. Промок, потому дождь косой, так под гриб и захлестывает. Замерз... Курить охота — ну, конечно, не такой Мекешин человек был, чтобы на посту закурить, терпит. Мало того, что терпит, то руку к уху приложит, то голову наклонит — слушает. А казалось, чего тут услышишь? Кусты ветками хрустят, капли по лужам булькают. Только вдруг почудилось Мекешину, будто кашлянул кто-то неподалеку.

Насторожился он, вышел из-под гриба и прошелся вдоль стены — ничего. Постоял, опять послушал. Что за черт! Скребет кто-то, как крот, а где — не видно. Хотел окликнуть, да, думает, чего кричать без толку, когда никого не видно! Только спугнешь, если и есть кто. Пойти самому посмотреть к оврагу — опять же пост нельзя оставить. Вернулся он обратно под гриб и дернул рукоятку звонка, чтобы вызвать на всякий случай разводящего. Ожидает минуту, другую — не идет никто. Встревожился Мекешин не на шутку, дергает звонок что есть силы и того не знает, что перерезала чья-то черная рука проволоку и не слыхать в карауле его вызова. Выскочил он, только хотел тревогу поднять, как из темноты кто-то кирпичом ему в голову сзади хватил. Упал Мекешин и думает: «Успеть бы только тревогу поднять!» Рванул предохранитель и бахнул из винтовки. Но тотчас же откуда-то сбоку огонь сверкнул, и почувствовал Мекешин, что обожгло ему плечо. Уронил он голову наземь и, собравшись с последними силами, грохнул еще раз. Слышит — топот сзади, крики. «Ну, думает, ничего, свои подоспели». Приник он тогда головой к луже, в которой крови было больше, чем воды, и только успел прохрипеть подбежавшему карначу: «Смену давайте... смену...» И замолчал.

На другой день умер. Хоронили его, как героя, погибшего на посту. Дознались, что под склад завода из

оврага подкоп делали, и прогляди Мекешин — взорвали бы все на воздух. А когда гроб его опускали в могилу, то все знамена опустились низко, до самой травы, и в небо ударил такой огневой залп, что от этакого залпа холодно кому-то, должно быть, стало. Над могилой его теперь камень... Будет воскресный день — сходите по увольнительной. Там, в самом углу ограды, камень большой, серый, и на нем красный орден высечен. Только орден и его имя, а больше ничего. Да и зачем? Кто ни подойдет, кто ни посмотрит, каждый и так поймет...

Да, ребята, так-то... Ну, слыхали теперь? Намотайте себе на ухо, а теперь, ну-ка, быстрей подымайся. Эй, очередные, вставай! Время ребят сменять.

1927

В ПЛЕНУ

СМЕРТЬ смерти тоже розиь. Одно дело, когда идет человек — и вдруг неожиданно осколком снаряда его хватило либо пулей шальной; другое дело, когда лицом к лицу стоишь и смотришь, как она к тебе подходит. Вот тут-то действительно большая выдержка нужна. Были у нас стойкие ребята. Васю Чулкова как сейчас помню. Маленький, скуластый, а губы добрые и как бы у зайца — всегда с улыбкой. Шинелишки в те годы слабые были, по наследству от германской войны достались, рвань-рванью, поистерлись, поистрепались, а осень лютая была, и ветры дули со всех сторон отчаянные. Одним только чаем отогревались. Как только на привал, сейчас котелки на костры, заварил жженой коркой кипяток и дуешь, пока не отойдешь. И вышло однажды Васе Чулкову удивительно неподражаемое счастье. Нашел он в кустах оброненный белым обозом сундук. А в сундуке-то валенки подшитые и полушубок дубленой овчины. Оделся он, как окончательный капиталист, и стал расхаживать, радуясь своему счастью. А в начале зимы попали мы в плен. Дело прошлое, скрывать нечего — сами виноваты были. Было нас шестеро в разведке, иззябли, на ресницах сосульки, пальцами обойму не вытащишь. Зашли все в халупу погреться и даже наблюдателя не выставили. Тут-то нас разом казачий разъезд и захватил.

И, надо сказать, казаки не особо лютые попались. Не порубили нас сразу, а погнали к себе в штаб. Идем мы по льду через пруд и слышим, как казаки начинают насчет Васи. Говорит один:

— Эти-то рвань-рванью, с них взять нечего, а на этом полушубок дубленый и валенки подшитые. Зачем его в штаб вести, еще кому другому одежда достанется. Давайте лучше мирно утопим человека в проруби, а на вещи меж собой жребий кинем.

Ну, остальным тоже показалось это дело подходящим.

Подвели они нас к проруби с целью топить Васю.

— Раздевайся,— говорят ему,— а потом сигай в воду.

А сами жадно смотрят на его одежду и жребий готовят.

Посмотрел я на Васю, и слезы у меня закапали,— жалко, чтобы топили. А он стоит себе, и губа у него заячья, которая от природы улыбается, чуть-чуть подергивается, и шепнул он мне:

— В штабе на меня все валите, я, мол, начальником был.

— Раздевайся,— кричат казаки,— сымай одежду, а то мы сами сымем!

Посмотрел он на них, плюнул и говорит:

— Сволочь вы белая, а хрена с маслом вы не хотите?

Да как сиганет в прорубь, только его мы и видели.

Так-таки и не раздеваясь, с валенками, в полушубке, назло — чтобы не досталось казакам. Стали нас тогда казаки пороть со злости. А когда привели в штаб допрашивать, мы все на Васю ссылались, он, мол, начальник, он все знает, а мы ничего не знаем. Били нас долго, потом посадили в холодный сарай, а там мы подкоп сделали и в одних рубашках убегли.

1927

У БЕЛЫХ

1. Убитый казак

Окончательно запуталась и сбилась с дороги разведка красных.

Впереди белые, позади тоже, а где свои — и не поймешь. Ночь была темная, местность незнакомая, кругом леса, овраги. И решил командир взвода:

— Надо в сторону, в чащу податься, переждем до утра,— а там видно будет, как и что.

Расположились ребята на поляне, недалеко от дороги, чтобы заночевать. Костров не разжигали — опасно. На дорогу секрет выставили для наблюдения.

Только-только, привалившись друг к дружке для теплоты, стали задремывать красноармейцы, как вдруг бабах — выстрел по лесу.

Повскакали все.

— Что такое? В чем дело?

— Бурмин... убил казака,— запыхавшись, крикнул прибежавший из секрета красноармеец.

Вышел командир взвода на дорогу, глядит: точно,— на земле убитый лежит, а возле него конь черной тенью бродит.

Бурмин рассказывает:

— Знаю сам, что нельзя из секрета стрелять, да случай уж больно такой подходящий. Слышу я топот, как раз луна выглянула. Гляжу, кавалерист скачет и, главное, один. «Стой! — кричу я ему.— Что пропуск?» А он

этак спокойно: «Ракета»,— свои, значит, думал. Ну и ссадил я его.

— Так ты бы просто ссадил. А зачем же его окликал?— спросил Бурмина кто-то.

— Чудак человек, да пропуск-то нам пригодиться может или нет.

Обыскали казака, нашли у него в кармане пакет — бланк из полевой книжки. Прочел его взводный и задумался. А задуматься было над чем, потому что пишет на том бланке какой-то капитан Томилин командиру 24-го добровольческого полка донесение, а заодно просит срочно прислать ему дислокацию, то есть чтобы сообщили, где стоят белые части, где красные.

— Эх... вот бы нам эту дислокацию,— сказал взводный, покачав головой.

— Эх, Бурмин, кабы ты этого казака да на обратном пути ссадил, тогда бы дело, сразу бы к своим выбрались. А теперь что? Теперь все без толку.

Бурмин подумал, подумал, возьми да и брякни:

— А давайте, братцы, я попробую достать эту дислокацию.

— Как достать, что ты мелешь, дурья голова?

— А так,— отвечает он,— пропуск — ракета. Конь рядом. Погоны на убитом. Донесение — в кармане. Вот и все.

Сначала такое предложение показалось всем слишком несуразным и невыполнимым. Но Бурмин настаивал.

— Чего вы городите? Не обязан же ихний адъютант либо дежурный, который донесения принимать будет, каждого казака знать в лицо. Честное слово, я поеду.

— Ну, поезжай, коль так.

Стащили с убитого шаровары, тужурку, шашку. Оделся Бурмин, звякнул шпорами, тряхнул саблей, ну как есть настоящий казак.

— Ну,— сказал он, вскакивая на коня.— Не поминайте лихом, товарищи. Жив буду, вернусь часа через два.

2. Дислокация получена

Впереди заблестели огоньки деревушки, в которой и должен был находиться штаб 24-го добровольческого полка. Миновав овраг, Бурмин наткнулся на сторожевое

охранение. Его окликнули. Он крикнул пропуск, не останавливаясь промчался мимо.

Первый же попавшийся патруль показал ему дом, где находился штаб полка. Соскочив у ворот, Бурмин привязал коня к изгороди, осмотрелся, запоминая на всякий случай расположение двора, и распахнул дверь.

— Ты чего?— спросил его один из офицеров.

— Пакет от господина капитана Томилина,— щелкнув каблуками и отдавая честь, ответил Бурмин.

— А... хорошо. Давай сюда.

Офицер прочел донесение, сел за стол и сказал:

— Подождешь во дворе. Ответ напишу — тогда позову.

Бурмин вышел, сел на сваленные кучей бревна и закурил. Было тихо. Бурмин жадно затянулся дымом махорочной и подумал: «Как странно, вот я и у белых, но не раненый, не пленный, а так, запросто, как свой».Так просидел он минут десять.

— Скорее бы,— прошептал он.

Послышался топот. Кто-то соскочил у ограды и тоже привязал коня. И мимо Бурмина прошел такой же казак, как и он.

— Здесь штаб полка будет? —спросил приехавший у кого-то.

— Здесь,— ответили ему.— А что?

— Пакет от капитана Томилина.

Кошкою вскочил Бурмин, почуяв в этих словах нависшую над ним опасность, и, прильнув к окну ухом, стал слушать.

— Так от вас только что сейчас привезли,— сказал офицер, принимая пакет.

— Так точно. Нас только разными дорогами послали для верности.

— Ага! Ну, подождешь во дворе. Вместе с тем. А потом отвезете ответ.

Казак вышел на крыльцо.

— Гришка! — крикнул он и помолчал немного.

— Гришка,— повторил он, не дождавшись ответа,— куда ты, черт, делся?

Бурмин молчал, спрятавшись за выступ дома.

«Пропал,— подумал он,— называет по имени, значит знает в лицо».

Казак прошел мимо к ограде. Слышно было, как он крепко изругался возле лошадей, потом повернул обратно.

Беззвучно за углом Бурмин вынул из ножен шашку. Возвращаясь к крыльцу, казак проходил совсем рядом. Тогда Бурмин взмахнул шашкой и изо всей силы рубанул перед собой. Несмотря на то, что было темно, должно быть верен был удар, потому что точно в дерево врезалось острое лезвие, и, негромко вскрикнув, пал казак на землю.

«Бежать,— подумал Бурмин...— А дислокация?»

Как бешеный ворвался он в комнату. Офицер доканчивал бумагу. Выдержка начинала изменять Бурмину. Сердце его теперь уже не просто стучало, а сумасшедше колотилось, посылая горячую кровь к вискам.

Офицер кончил донесение и, протягивая его, спросил:

— А другой казак где? Вместе поедете.

Бурмин не отвечал.

— Я тебя, дурака, спрашиваю, другой где? — рассерженно крикнул офицер.

— Он... его нет... он оправиться вышел,— не ответил, а, вернее, выкрикнул Бурмин и, выхватив пакет не отдавая даже чести, бросился во двор.

Навстречу ему попался кто-то вбегающий с криком:

— Господа... господа...на дворе убитый.

Бурмин вскочил на коня и жиганул его нагайкой. Сзади послышались крики. Грохнуло несколько револьверных выстрелов.

Но, наклонив голову, крепко сжимая рукой пакет, почти ничего не соображая, летел вперед Бурмин.

Не слыхал он ни окриков полевого караула, ни ветра, свистящего мимо ушей, ни пуль, жужжавших осиным роем,— ничего. И только, когда запаленный и загнанный вконец конь с хрипом и клокотом в груди остановился и зашагал потихоньку, стал приходить в себя Бурмин.

Он с гордостью посмотрел на зажатый в руке пакет.

— Выполнил... Достал, несмотря ни на что. А где же моя шапка и шашка?

Но ни шапки, ни шашки не было. Шапку снесло вет-

ром, а шашку он оставил во дворе возле убитого казака.

«Дислокация есть»,— еще раз, улыбаясь, подумал Бурмин.

— Ну, коняга, давай, что ли, еще немного.

И конь с шага перешел на легкую рысь. Ночь, темь, тени, кусты,— вот и поворот, вот и свой пост. А оттуда задорный вопрос:

— Стой, казак, куда едешь?

И, соскочив с лошади, Бурмин крикнул весело:

— Здравствуйте, товарищи!

1927

ОРУДИЙНЫЙ КЛЮЧ

Возле деревеньки Новоселовки, что в одной версте от тракта, по которому раньше гнали каторжников в Сибирь, есть ключ. Называется он теперь «Орудийным», а раньше просто без всякого названия был.

Вода в этом ключе холодная, и даже кони наши и те воду эту с передышкой пили. Пока возница возился с ведром возле лошадей, я соскочил с повозки размять ноги. Сделав несколько шагов по сухой, покрытой утренним инеем траве, я остановился перед большим серым камнем, на котором лежал тяжелый стальной осколок, в котором не трудно было отгадать остаток разорванного ствола трехдюймовки.

На мой вопрос, что это означает, возница ответил мне:

— А это и есть кусок пушки, от ней и пошло название этому ключу.

— Село наше, — сказал он мне, — как ты сам увидишь, богатое село. Хлеба у нас раньше вовсе мало сеяли, а скупали у татар кожи и конский хвост, отвозили в город партиями и на том хвосте зарабатывали здорово. И вот когда пришел тысяча девятьсот восемнадцатый год и поприжали у нас скупщиков, стали кулаки замышлять, чтобы советскую власть по шапке, а вернуть все как было, то есть по-прежнему, без всяких изменений.

Прослышав про это, прислали нам из уезда команду в сорок человек и одно орудие, как бы для наблюдения. Но кулаки у нас хитрые были, день проходит... неделя — все ничего. Ни шуму, ни гаму. И вот, когда стали крас-

ноармейцы понемногу от настороженности поостывать, раздался вдруг ночью набатный звон.

Пехотинцы все порознь по хатам стояли, ребята все больше молодые, неопытные... Прежде чем успели они порты поодевать, переловили их, как галчат неокрепших. Ну, а артиллеристы, которые при пушке, те хитрее были — кучей ночевали. И как началась стрельба, у них сразу орудие в боевой готовности.

Вынесли лошади орудие за ворота, глядь, а кругом-то своих никого, и целые толпы кулачья с обрезами ото всех сторон сбегаются. Что ты с ними будешь делать?

Стеганули они тогда коней и пустились напролом вскачь. Вот возле этой-то самой горки, у ключа, были срезаны пулями трое красноармейцев да две лошади. Осталось при пушке еще три солдата, выкатили они ее, матушку, и давай по наступающим картечью садить. Не ожидали те такого отпора и шарахнулись, залегли цепью. Так, поверите, весь следующий день грохотало орудие от ключа то картечью, то на удар, и всего только возле него три человека.

И вот уже под вечер реже выстрелы пошли — снаряды вышли. Потом совсем смолкла пушка. Как поднялось наше кулачье, поперло вперед. Подбегают и видят: стоят три красноармейца, плотно прижавшись к пушке, а один за спусковой ремень держится.

— А-а...— заорали бандиты,— вот они где, даешь орудие!

А сами от ствола разомкнулись и с боков кучами подбегают. Только подбежали передние, ка-ак дернет красноармеец за ремень.

И, право, не знаю уже, чем пушку под конец набили они — динамитом ли, или еще чем, а только как грохнет взрыв, аж земля дрогнула. Много тогда осколками кулачья погубило. Ну, а сами... О самих, конечно, и речи нет, даже и признаков не осталось.

С той поры и зовется этот ключ у нас «Орудийным ключом». А камень этот? Камень уже потом наша беднота навалила и осколок от пушки на него пристроила. Пусть останется ребятишкам на память, все-таки как-никак, а эдак не всякий погибнуть сможет.

Все-таки наши были ребята и герои.

1927



БАНДИТСКОЕ ГНЕЗДО

ПЕРЕХОДИЛИ мы в то время речку Гайчура. Сама по себе речка эта — не особенная, так себе, только-только двум лодкам разъехаться. А знаменита эта речка была потому, что протекала она через махновскую республику, то есть, поверите, куда возле нее ни сунься — либо костры горят, а под кострами котлы со всякой гусятиной-поросятиной, либо атаман какой заседает, либо просто висит на дубу человек, а что за человек, за что его порешили — за провинность какую-либо, просто ли для чужого устрашения, — это неизвестно.

Переходил наш отряд эту негодную речку вброд, то есть вода кому до пупа, а мне, как стоял я завсегда на левом фланге сорок шестым неполным, прямо чуть не под горло подкатила. Поднял я над башкою винтовку и патронташ, иду осторожно, ногой дно выщупываю. А дно у той Гайчуры поганое, склизкое. Зацепилась у меня нога за какую-то корягу — как бухнул я в воду, так и с головой.

Поднялся, отфыркиваюсь, гляжу — винтовки в руке нет: упустил.

Взяла меня досада, а тут еще товарищи на смех подняли:

— Эх ты, растютюй!

— Рак у него клешней винтовку вырвал.

«Ах, думаю, дорогие товарищи, рады над чужой бедой пособачиться!»

Добрался я до берега, сымаю с себя обмундировку и говорю:

— Я свою винтовку не то что раку, а и самому черту не оставлю. Идите своей дорогой, а я вас догоню.

Пока обмотки размотал, пока ботинки разул, а тут еще ремешки от воды заело,— от ребят и стука не слышно.

Полез я в воду, нырнул раз — не вижу винтовки, нырнул второй — опять ничего. И долго это я возился, пока наконец ногою на самый затвор наступил. «Ну, думаю, сейчас достану тебя, проклятую».

Только стал воздуху в грудь набирать — поднял глаза на берег, да так и обомлел. Гляжу — сидит на лугу здоровенный дядя, грива из-под папахи чубом, за спиной обрез, в зубах трубка, а сам, снявши порты, мои новые суконные на себя примеряет.

Возмутился я эдаким нахальным поступком до отказа и кричу ему, чтобы оставил он свое подлое занятие. А человек в ответ на это обматюгал меня басом. Вскинул обрез и давай меня на мушку не торопясь брать.

Вижу я, дело — табак, нырнул в воду. Ну, ясное дело, через минуту опять наверх. Он опять целится, я опять в воду, только наверх — а он снова за обрез. Рассердился я и кричу ему, что человек не рыба и под водою вечно сидеть не может и пусть он или оставит свою игру, или стреляет, когда на то пошло.

Тогда он загыгыкал, как жеребец, забрал всю мою одежду и, сделав в мою сторону оскорбительный выверт, повернулся и исчез за деревами.

Достал я винтовку, выбрался на берег и думаю, что же теперь дальше будет. Все, как есть, забрал проклятый махновец. А надо вам сказать, что с махновцами у нас хоть открытой войны еще не было, но терпели их, бандитов, красные только по случаю неимения свободных частей, чтоб изничтожить.

Ну, думаю, своих надо догонять. Подхватил винтовку и пошел краем дороги. Иду вроде как бы Адам — кругом птички насвистывают, на лугах цветы, ну форменно как рай, только на душе тошно.

Смотрю вдруг — дорога надвое пошла. Стал я раздумывать, по которой наши прошли. Дай, думаю, поищу на земле какого-нибудь признака.

Нашел на одной дороге коробок из-под спичек, на другой — пустую обойму. И не могу никак решить, какой

же признак правильный. Плюнул и пошел по той, на которой обойма.

Шел этак часа полтора — смеркаться стало. Гляжу, хутор, на завалинке бабка сидит старая.

Неловко мне в моем виде стало с вопросом подходить, к тому же и испугаться может, крик поднимет — а кто его знает, что за люди на этом хуторе.

Спрятался я за кусты, винтовку в листья сунул, сижу и ожидаю, пока затемнится. Только вдруг выбегает из ворот собачонка, прямо ко мне — как загавкает, такая сука ехидная, так и норовит за голую ногу хапнуть. Я двинул ее суком, она еще пуще. Выходит из-за ворот дядя и прямо в мою сторону — раздвинул кусты, увидел меня и аж рот разинул.

Потом спрашивает:

— А что ты есть за человек, от кого ховаешься и який у тэбе документ...

А какой у голого человека может быть документ! Отвечаю ему печальным голосом, что документа у меня нет, потому что есть я мирный житель, ограбленный неизвестными людьми.

Тогда он спрашивает:

— А какими людьми, красными или махновцами?

Я же понял всю хитрость этого вопроса, то есть что хочет человек узнать мое политическое направление. Смотрю, хата богатая, амбары крепкие — «ну, думаю, кулак, значит», и отвечаю ему:

— Красными, вот что тут недавно проходили, чтобы они сказились.

— Ну,— говорит он,— заходи вон в ту клуню, я тебе какие-нибудь шмоты вынесу. Надо же помочь своему человеку...

Сижу я в клуне, дожидаюсь. Входит опять старик и сует мне какую-то одежду. Одел я порты из дерюжины, глянул на рубаху и обмер: «Мать честная, богородица лесная, да это же моя гимнастерка!» Тот же рукав разорван, на подоле дыра — махоркой прожег, и чернильным карандашом на вороте метка обозначена. «И как, думаю, она сюда попала?» Хорошего ожидать от всего этого не приходится.

Хозяин в избу зовет. Иду за ним. Поставила бабка кринку молока, шматок сала отрезала и хлеба ковригу:

— Ешь!

Я ем, а сам вижу, что на окошке три винтовочных патрона валяются. В том, что валяются, конечно, ничего удивительного — в те годы земля этим добром густо пересыпана была, и ребятишки ими вместо бабок играли, и бабы из них подвески делали, и мужики по хозяйству приспособляли, а оттого у меня сердце забилось, что винтовка у меня рядом в кустах запрятана, а патронов к ней нет.

Взял я, да и незаметно сунул все три штуки в карман.

— Ложись спать, — говорит хозяин. — Утром дальше пойдешь. Сын Опанас придет, он тебя утром на дорогу выведет.

Положили меня в сени, на солому, и обращаю я внимание на тот факт, что дверь изнутри на висячий замок заперли, так что не пойму я, то ли я в гостях, то ли в ловушке.

Лежу... Час проходит, а не спится мне. Потом слышу в окошке стук. Вышел тихонько хозяин, отпер дверь, и прошли мимо меня в избу теперь уже двое.

Не стерпел я — подошел к двери и слушаю...

Старик говорит:

— Слушай, сынку! Объявился у нас в кустах человек, сидит и чего-то выглядывает. Говорит, что красные его раздели, — я заманил его в хату. Хай, думаю, поспит у нас до твоего прихода.

И отвечает ему вдруг знакомым басом этот отъявленный махновец Опанас:

— А врет же он, гадюка! Это не иначе, как тот, чью одежду я сегодня забрал. И напрасно я его сразу не кончил, чтобы он не высиживал... Где он у тебя? В сенях?.. Оружия у него нету?

Как услыхал я эти слова да шаги в мою сторону — так сразу по лестнице на чердак...

Те шум учуяли; один, значит, отпирать бросился и другой с ним. А сам старик лестницу с дубиной караулит.

Я прямо с чердака махнул на землю. Как грохнет возле меня выстрел — мимо. Бросился я к кустам — за винтовкой... Никак не могу впопыхах найти сразу, а за мною бегут, с трех сторон окружают. Нащупал приклад, заложил патроны.

— Сюда! — кричит возле меня махновец. — Да не бойтесь, у него ничего нет!

Только он ко мне просунулся — так на землю и рухнулся.

А второй, думая, что это махновец стрелял, подбегает тоже и спрашивает:

— Ну что, кончил?

— Кончаю, — говорю ему, и так же в упор.

Подобрал патроны — и в хату. А папаша стоит и результатов дожидает. Однако увидел меня при луне, закричал да ходу... Зашел я тогда в горницу. Вижу, моя шинелька висит и ботинки.

«Вашего, — думаю я, — мне не надо, а свое я дочиста заберу».

Вышел; вдруг блеснул огонь из-за кустов, и несколько дробин мне под кожу въехали.

«А, думаю, вот как?» Схватил с подоконника серняка, чиркнул — и в крышу... Взметнулось пламя, как птица, на волю выпущенная.

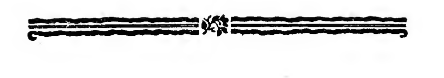
А я бросился бежать. Долго бежал. А потом остановился дух перевести.

Смотрю, а зарево все ярче и ярче. Потом грохот начался, точно перестрелка в бою... Это рвались от огня запрятанные в доме патроны...

Махнул я рукой и подумал:

«Пропади ты пропадом, бандитское гнездо!» Повернулся и пошел дальше в опасный путь на дорогу выбиваться, своих разыскивать.

1927



БОМБА

Сережа Чумаков рассказывал:

— Ведь вот, ежели так спросишь: «Что у тебя в бою самое главное, то есть чем ты врага побеждаешь и наносишь ему урон?» — подумает человек и ответит: «Винтовкою... Ну, или пулеметом, орудием... Вообще смотря по роду оружия».

А я так с этим не совсем согласен. Конечно, от оружия никто его качеств не отнимает, но все-таки всякое оружие есть мертвая вещь. Само оно действия не имеет, и вся главная сила в человеке заключается, как человек себя поставит и насколько он владеть собой может.

А иному дурню дай хоть танк, он и танк бросит по трусости, и машину погубит, и сам ни за что пропадет, хотя мог бы еще отбиться чем попало.

Я это к тому говорю, что ежели ты, например, отбился от своих, или патроны расстрелял, или даже без винтовки остался — это еще не есть тебе причина повесить голову, пасть духом и решить на милость врага отдаться. Нет! Смотри кругом, изобрети что-нибудь, вывернись, только не теряй головы.

Винтовку потерял — плохо. Голову — еще хуже.

Помню, я очнулся после взрыва. Снарядом в каменный дом угодило. Повернулся осторожно — ну, думаю, наверняка либо ногй, либо еще какой части тела не хватает, — нет, все на своем месте. Все на своем месте — значит, дело еще мое не пропащее.

Смотрю, винтовка моя рядом лежит, вся искорежена, то есть в полной негодности: приклад расщеплен, короб-

ка сорвана, а затвор хоть кирпичом колоти — не откроешь.

«Ну, — думаю я, — плохо мне без оружия!» Стал осматриваться, вижу, на полу бомба лежит — русская, бутылочная. Поднял я ее, покачал головой и хотел было уже выбросить, но сунул на всякий случай в карман.

Только я хотел выходить из дома, как слышу — внизу по лестнице шум. Высунул я сверху голову и вижу, что подымаются ко мне наверх трое белых.

А пропадать страсть как была неохота, и скакать из окошка третьего этажа вниз тоже неохота. И решил я: а, была не была! Вынул бомбу из кармана и гаркнул сверху:

— Бросай винтовки, а то всю лестницу бомбами забросаю!

А внизу, проход узкий, деваться некуда. Однако стали как столбы и винтовки не бросают и пошевелиться боятся, потому что рука моя с бомбой прямо над ихними головами болтается.

— Бросай, — кричу я им, — или же я кидаю бомбу!

Ну, побросали. Тогда велел я им отойти в сторону, взял одну винтовку, а у двух остальных затворы повынул, да и вниз. Внизу еще с одним столкнулся, ну, да того просто прикладом по башке с разлету оглушил, а сам в кусты, только меня и видели.

Вот видите, выходит, что ежели без оружия даже, а и то, когда не растеряешься, вывернуться можно.

— Так как же, Сережа, без оружия? — спросил у Чумакова кто-то.— А бомба, разве же это не оружие?

— Бомба-то? — И Чумаков насмешливо присвистнул. — Так у бомбы, брат, вовсе капсуля не было, и я ее заместо кирпича в руке держал. Этакой бомбой кошку с одного раза не убьешь, а не то что враз троих человек... Нет уж, брат, ты мне не говори, бомба тут ни при чем была, а все дело было в решительности и находчивости.

1927

Неоконченные произведения



СИНИЕ ЗВЕЗДЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раннним утром взорвался только что разожженный третий горн, и погиб на работе хороший человек.

На другой день пришли в больницу товарищи, принесли венок, красные флаги. И под печальную музыку проводили они гроб на далекое кладбище.

Очень сильно плакали и жена и сестра. Плакал и Кирюшка — сын этого человека.

Тут и так столько горя, что не перескажешь, а тут еще прохватило на похоронах Кирюшку ветром — закашлял он, поднялась температура, и было с ним много хлопот целых три дня и две ночи.

А на третью ночь утих кашель, заснул Кирюшка спокойнее и видел такой сон: приснилось ему широкое поле, прыгали по этому солнечному полю веселые зайцы, и очень звонко распевали в кустах разноцветные птицы. Одни птицы были совсем незнакомые, а две птицы были совсем знакомые. Это толстая черная ворона и хитрая серая галка, за которыми часто охотился Кирюшка возле помойной ямы, близ заводской ограды.

— Кар! — закричала хитрая остроглазая галка, поспешно взлетая с нижних ветвей на верхние сучья. — Карр... берегитесь! Это идет опасный человек, Кирюшка, с рогаткой в руках и с камнями в кармане.

И, услышав такое тревожное карканье, разом умолкли испуганные птицы, скрылись в норах трусливые зайцы, а толстая, заспанная ворона в страхе взметнулась к небу и улетела прочь.

— Неправда, — рассмеялся Кирюшка. — Давно уже сломалась рогатка, и давно уже разорвала и сожрала резинку от рогатки наша хромоногая собака Жарька.

Вот какой сон увидел Кирюшка. А так как во сне он что-то шептал и улыбался, то мать подошла к нему и положила руку на его все еще горячую голову.

— Мама? — спросил тогда, открывая глаза, улыбнувшийся Кирюшка. — Знаешь что, мама, давай и мы с тобой поедем тоже в широкое поле.

— Поедем! Поедем!.. Спи, Кирюшка, — торопливо ответила мать и тихонько потянулась к столику с градусником.

Еще через три дня как будто бы поправился Кирюшка. А пока он лежал в постели, совсем покривилась и завалилась снежная гора на площадке у второго корпуса, высохли тротуары. А это значило, что была зима и прошла зима.

Собрали и Кирюшку на улицу. Вышел он за ворота, и прямо ему под ноги выскочила хромоногая собака Жарька. В другое время он припомнил бы ей, как жрать резинку от рогатки, а сейчас ничего не сказал. Погладил он прожорливую Жарьку, и пошли они дальше вместе.

Встретили заводской грузовик, на котором еще недавно ездил Кирюшка с отцом на базу за сортовым железом. Остановился Кирюшка и долго смотрел грузовику вслед. Хороший грузовик!

Встретили высокого рябого кузнеца Матвея, который приходил с женой под Новый год в гости. Ел у них пирог и пил с отцом пиво. Постоял Кирюшка, посмотрел ему вслед: хороший кузнец Матвей Миронович!

И дошли они с Жарькой до проходной будки завода.

— Заходи, Кирюшка, — позвал его старый табельщик. — Заходи, милый! Сейчас кипяток принесу, чай попьем. Посиди минутку, а я сейчас вернусь.

Зашел Кирюшка в будку, а за ним потихоньку и Жарька. Сел Кирюшка у печки на толстую прокопчен-

ную лавку. В печке потрескивал огонь. В будке было жарко. Снял он шапку и задумался.

«Диль-дон!.. Диль-дон!» — услышал Кирюшка среди заводского шума далекие знакомые перезвоны. — «Динь-дон! Дзаг-бах! Буух-уух!»

— Тише, — строго сказал тогда неспокойной Жарьке побледневший Кирюшка. — Ляжь, проклятая собака! Слышишь, как наша кузница работает.

И оба замолчали, прислушиваясь, как звенели наковальни и первого и второго горна, как лязгало сбрасываемое с вагонеток железо и тяжело ухал могучий паровой молот, тот самый, вблизи которого совсем еще недавно так неожиданно погиб Кирюшкин отец.

Кирюшка опустил голову и вспомнил: много яркого, гудящего огня, раскаленные брызги, кожаный фартук, железные щипцы, влажное закопченное лицо и веселый окрик отца: «Эй, берегись! Прожжешь пальто — задам трепку!» Это было в прошлом году, в такой же веселый день, когда купили ему, Кирюшке, вот это, теперь уже потрепанное пальтишко. Это было перед хорошим праздником 1 Мая, на который так дружно вышли они с отцом из дома в светлое раннее утро.

И мать завернула им тогда по куску пирога — один отцу, другой Кирюшке.

Когда старик табельщик вошел с горячим чайником, он увидел, что Кирюшка лежит на лавке, уткнувшись лбом в стену, а хромая собака Жарька, жалобно повизгивая, тычется глупой мордой в его спину и тихонько помахивает куцым хвостом.

И ночью с Кирюшкой опять было что-то неладное. Жару не было, но бредил он и бормотал всякую бессмыслицу. То ему снилось, что из-за дыма и огня надвигается проклятый паровой молот и стучит в ворота своим железным кулаком. То, перепутав все на свете, видел он, как в широком поле поют на деревьях веселые зайцы и скачут по норам трусливые птицы.

Вот тогда-то всем — и матери и соседям — показалось, что Кирюшка крепко болен.

С раннего утра побежала мать и в завком и к директору, а в полдень прислали Кирюшке какого-то незнакомого, не заводского доктора.

Доктор этот сел возле Кирюшкиной кровати и стал расспрашивать про то да про се, как будто приехал он вовсе не по делу. Даже про хромоногую Жарьку спросил и тоже смеялся, когда узнал, как эта несчастная Жарька сожрала резинку от Кирюшкиной рогатки.

Потом он попросил Кирюшку закрыть и открыть глаза. Потом стукнул по Кирюшкиному колену резиновым молоточком. Потом встал и ушел с матерью на кухню.

А о чем они там, на кухне, разговаривали, этого Кирюшка не слышал.

На следующий день высокого рябого кузнеца Матвея позвали в завком. И Матвей, догадавшийся, зачем это его зовут, нахмурился. Однако решил про себя: раз уж так, то пускай будет так.

В завкоме, кроме самого председателя Бутакова, сидел еще кто-то маленький, рыжебородый, обрызганный засохшей грязью и сильно пахнувший махоркой.

— Давайте, давайте, давайте! — с отчаянием говорил рыжебородый, торопливо и недоверчиво поглядывая на Бутакова.

— Дадим, дадим, дадим! — с досадой отвечал Бутаков.— Сказано тебе, что дадим. Бригада собрана, инструмент выделен, вся задержка была за бригадиром. А ты думаешь, это легко? Дурака послать — сами ругаться будете, а толковые люди и у нас не без счета. Назначили было мы вам бригадира, да ведь сам слыхал — убило человека в кузнице.

— Нам же сеять! — скороговоркой твердил рыжебородый.— Ведь мы на вас, как на каменную гору. Дорогие вы мои, у вас одного человека убило, а вы через это всех нас как есть поубиваете.

— Полно городить,— уже дружелюбно ответил Бутаков.— Сами знаем, что сеять... Да вот тебе и новый бригадир идет,— сказал он, показывая на остановившегося у двери кузнеца Матвея. И, оборотившись к Матвею, он сказал не очень-то веселым голосом: — Так ты, брат, того... Не сердись... Придется все-таки тебе ехать. Как ни крути, как ни верти, а больше некого. А дела у них, как я вижу, и на самом деле плоховатые.

— Дела то есть вовсе никудышные! — заерзав по табуретке, весело закричал рыжебородый.— Один слесарь

жениться уехал. У двух машин гусеницы сорваны. У «клетрака» какая-то штуковина треснула. Председатель сам не свой — корова сдохла. А конторщик запил и все одно заладил: «Хочу, говорит, в монахи идти». Я его стыжу: «Куда тебе, пьяная морда, в монахи? Тебе надо в ГПУ, а не в монахи». А ему хоть бы что. «Я, говорит, не царь, не вор и не разбойник, и в ГПУ мне делать нечего. А вот отработаю свой контракт и пойду куда глаза глядят правду искать». Ну, что ты с таким человеком делать будешь?

— Сам ты кто? — спросил Матвей, с любопытством оглядывая этого тщедушного говорливого человечка.

— А я тамошний,— охотно ответил рыжебородый.— Тамошний мужик — колхозник. А сейчас я на тракторной базе вроде как бы завхоз. Настоящего-то завхоза у них нет пока,— добавил он со вздохом.— Настоящего-то как раз под крещенье районная милиция по какому-то делу забрала, так и до сей поры все еще не выпускает. Давайте! Давайте! Давайте! — опять заторопился он, ерзая по табурету.— Давайте, старший бригадир... Сделайте хорошее дело. Выезжайте завтра вечером!

— К завтрему не справимся,— ответил Матвей.— Инструмент проверить надо, запаковать тоже, самим собраться. Послезавтрего как раз в аккурат.

И точно, были уже сумерки следующего дня, когда Матвей, забив последний гвоздь и затянув последний шпагат поверх упаковочной рогожи, выходил из ворот завода.

Он был сердит, потому что хотел есть, но знал, что дома ничего не приготовлено, так как жена, Варвара, обозлившись на его неожиданный отъезд, еще с утра уехала к матери и пообещала вернуться только завтра.

Он поколебался, не зайти ли закусить в соседнюю пивную, но пожалел денег и хмуро повернул к дому.

Возле угла он встретился с Кирюшкиной матерью.

— Ты куда, Матвей? — тихо спросила она, задерживая его руку.

— Домой, Катя, поесть охота. Варвара-то моя совсем одурела. Тут собираться надо, то да се, а она рассердилась, да к теще и уехала.

— Матвей...— не сразу сказала Катерина, шагая с ним рядом.— Что это люди говорят... Как это так ни

с того ни с сего и вдруг взорвалось? Я и сама не пойму. Как это десять лет не взрывалось и вдруг взорвалось?

— Не знаю я, Катя. Там инженеры смотрели... Комиссия. Может быть, с углем что-нибудь попало... может быть, среди старого железа. Помнишь, как Парашкиного мальчишку убило. Нашел он в огороде какую-то балбешку, стал расковыривать, а она как ахнет!

— Матвей! Ты завтра уезжаешь? Надолго?

— Вечером, Катя. Надолго... На всю весну.

— Возьми с собой Кирюшку,— дрогнувшим голосом неожиданно попросила Катерина, и холодными влажными пальцами она крепко сжала кисть его загрубелой руки.

— Что ты, Катя, городишь! — воскликнул Матвей, заглядывая в ее заплаканное, осунувшееся лицо.— Куда я его возьму? Что я с ним делать буду?

— А ты ничего не делай. Ты просто возьми. Он уже большой — девять лет... Вот доктор говорит: «Сейчас же подальше уберите его от квартиры, от завода. Лучше в деревню... в поле. Там обживется, позабудет...» А куда в поле? В какое поле, когда я сама всю жизнь возле города и завода. Возьми, Матвей. Одёжа у него есть, ботинки я с утра новые куплю, у нас как раз дают по талону. Ну что тебе не взять? Жалко мальчишку. Помнишь, как я... когда Николай, когда ты... помнишь, когда вы из солдат... больные, рваные...

Высокий рябой кузнец остановился, и казалось, что под напором этих горячих, бессвязных слов он даже покачнулся.

— Катя,— растерянно ответил он.— Да ты постой... Как же это так сразу? Это дело такое... Подумать надо... Да возьму, возьму! — совсем растерявшись, заговорил он, неловко поддерживая ее за руку.— Экая ты, право. Ну что ты?.. Сказал — возьму, значит возьму... Доктор! — со спокойной досадой продолжал он немного спустя.— Тоже! Нет чтобы человеку микстуру или порошок. А он — в деревню... В поле... Он, доктор-то, думает, что нынче в поле спокой. Нынче нигде нет спокоя.

— Он, может быть, лучше знает,— робко возразила Кирюшкина мать. И, обрадованная, благодарная, она настойчиво тянула Матвея за рукав: — Заходи, Матвей! Ну, пожалуйста, заходи. Я самовар взгрею. Картошка в духовке стоит. Селедку очищу.

— И то разве зайти,— согласился Матвей. И опять, вспомнив про свое, он рассердился: — Вот дура баба Варвара! И скажи, какой характер! Мужика в дорогу собирать, а она — на тебе!.. К теще!

Вот так и случилось, что послали Кирюшку в широкое поле.

Багаж был сдан, места в вагоне заняты, и до отхода поезда оставалось совсем немного, а одного бригадника все еще не было.

— Кирюшка! — несколько раз говорил обеспокоенный Матвей, разбирая и рассовывая вещи.— Выдь на площадку, посмотри, не идет ли этот балда Шарабашкин. Он, может быть, номер вагона позабыл.

— Пройдет по составу и найдет,— отвечал слесарь Федор Калганов.— Что он — дите, что ли?

— Выйди, Кирюшка,— через несколько минут опять приказывал Матвей.— Да смотри от вагона не отходи — отстанешь... Не сломается... Пусть бегает,— кивая головой в сторону уходящего Кирюшки и вытирая платком рябой мокрый лоб, объяснил Матвей.— Боюсь, не заревел бы. А так: туда, сюда — глядишь, и некогда.

Ударил второй звонок, и запыхавшийся, взволнованный Кирюшка протискался в вагон.

— Нету Шарабашкина. Я и вперед смотрел и назад. Нигде нет.

— Может быть, хватил он немного лишнего на проводах? — осторожно предположил второй слесарь, Дитятин, который давно уже молча сидел в углу, сонно похлопывая глазами.

— Непьющий. Не как некоторые,— коротко ответил Матвей, искоса поглядывая на осоловевшего Дитятина.

— Наверно, дома замешкался,— успокоил Федор Калганов.— Ну, догонит со следующим поездом!

Вагоны застучали. Кирюшка сразу же взобрался на верхнюю полку и вытянул голову к окну.

Долго еще не кончался этот огромный город. Долго еще громыхали стрелки, мелькали семафоры, шумели паровозы, дымили заводские трубы.

Потом зачастили дачные поселки с зубчатыми желтыми платформами, но поезд с ревом проносился мимо них, потому что это был не дачный, а дальний поезд.

На какой-то большой станции принесли кипятку. Пить чай в качающемся вагоне Кирюшка не привык. То ему вода из кружки лезла на подбородок, то плескалась к носу. Но выпил он с удовольствием. Съел кусок сахару и толстую ватрушку с луком, из тех, что напекла ему на дорогу поднявшаяся еще спозаранку мать.

После этого он положил в изголовье сумку, укрылся пальтишком и притих.

Внизу Федор Калганов неторопливо доканчивал чайник. Слесарь Дитятин, который, вероятно, на проводах и сам перехватил лишнего, крепко спал, а Матвей читал газету.

— Что пишут? — спросил Федор, выплескивая остатки чая.— Я эти два дня со сборами и газеты не видел.

— Разное пишут,— ответил Матвей, подвигая остывшую кружку и отхватывая, как клещами, кусок сахару.— Опять же, Япония с Китаем воюет. В Германии тоже чтото неладно. А большая у них сила, в Германии,— добавил он, поднимая на Федора голубые удивленные глаза.— И что за сила? Их жмут, их давят, а они все свое.

— Кого это? — не понял Федор.

— Ну, кого? Коммунистов ихних, а то кого еще? Боль-шая у них сила! — с уважением повторил Матвей, покачивая головой.— И когда это только набралась такая сила?

— Про паспорта ничего не пишут? — спросил Федор.

— Писали уже. Каждый день, что ли?

— Надо думать, днями и у нас на заводе выдавать начнут. Мы-то как, получим?

— Приедем и получим,— равнодушно ответил Матвей.— Нам этого дела дожидаться некогда.

Он расстегнул пояс, снял сапоги и, чтобы не украли, положил их за мешок под изголовье.

— Спит мальчонка? — спросил Федор.

— Спит,— ответил Матвей. И, как бы только что вспомнив, он добавил с удивлением и досадой: — Вот дура баба Катерина! Навязала человека на мою голову!

— Это верно,— равнодушно согласился Федор и, позевывая, спросил: — За харчи-то она тебе как? Высылать, что ли, будет?

Но такой вопрос не понравился Матвею. Даже при скудном пламени сальной свечки можно было видеть, как

рябое открытое лицо его покраснело. Он пробормотал что-то неясное и заворочался, устраивая постель.

Устроившись, он встал, поправил съехавшую Кирюшкину голову, подоткнул ему под бок свисавший край пальтишка, потом лег и закурил.

Ранним утром высадились они на маленькой, пустынной станции. Кое-как успели свалить вещи и сгрузить багаж. Поезд двинулся дальше, а Матвей пошел узнавать, где остановились высланные за ними подводы. Ходил он недолго и вернулся сердитый, потому что подвод не оказалось, а до Малаховки оставалось целых восемнадцать километров. Решили ждать. Но случилось как-то, что вскоре всем стало хорошо и спокойно.

Вероятно, потому, что в маленьком помещении вокзала было почти пусто и они широко, удобно расположились и пили чай в самом чистом и солнечном углу.

День наступал яркий, весенний. Куда ни взгляни — всюду волнистый простор, голубое небо, далекие холмы и рощи. А над всем этим властвовала такая непривычная для них тишина, что через распахнутую дверь слышно было журчанье бесчисленных ручьев и даже звонкие крики веселого петуха, доносившиеся из маленькой, точно игрушечной, деревушки.

Две подводы пришли уже после обеда.

— Что не ко времени? — спросил Матвей у седого старика, обутого в новые грязные сапоги и одетого в прожженную солдатскую шинель.

— Да ведь время-то нынче какое? — добродушно ответил старик, указывая на мокрые, запачканные голенища.— Время-то, сам видишь, какое. Распута!

— Завхоз ваш когда... вчера, что ли, приехал? — спросил Матвей.

— Это какой? — не понял старик.— Это дирехтор?

— Зачем директор! Не директор, а завхоз. Ну, маленький такой, борода рыжая.

— А-а! Этот вчера — это Калюкин. Он вчера,— непонятно улыбнувшись, ответил старик,— Семен Калюкин. Какой он завхоз! Так он у нас... Актиф...

— Кто? — переспросил Матвей.

— Актиф, говорю,— повторил подводчик.— Это его у нас мужики прозвали — актиф да актиф.

— Почему же это актив? — опять переспросил не понявший Матвей.

— А этого я вам не могу сказать,— немного помолчав, серьезно ответил старик.— Это ему уже, верно, от бога. Карактер такой. А родители у него все спокойные были... Лошадей пойду покормлю,— добавил он, поворачиваясь к двери.— Тут-то пока пойдет сухо. А дальше, за Чарабаевским лесом, дорога круто тяжелая.

В первую телегу сели подводчик, Федор Калганов, Дитятин, а на вторую — Матвей и Кирюшка.

Только что тронулись, как из-за поворота со свистом вылетел пассажирский поезд.

— Стой! — крикнул Матвей.— Подержи-ка, Кирюшка, вожжи, а я сбегаю посмотрю: вдруг Шарабашкин подъехал.

Он прошел на платформу и остановился, вглядываясь вдоль по составу.

Слезли четверо. Слепой старик с хромой старухой, толстый мужик с узлом, которого тотчас же принялась ругать встречавшая его баба, да какой-то широкоплечий, в кожаной фуражке, с солдатским мешком за спиной. Шарабашкина не было.

— Вот балда! — выругался Матвей, забираясь на телегу.— На улице, что ли, его задавило?

И он сердито дернул вожжами, потому что первая подвода была уже далеко.

Отдохнувшие кони бойко рванули под гору, колеса зачвакали, разбрасывая грязь, и Кирюшка, который сидел на ящике спиной к Матвею, крепко ухватился за торчавший стоймя рогожный сверток.

— Матвей!.. Дядя Матвей! — закричал Кирюшка, толкая Матвея в спину и еще крепче цепляясь за рогожу.— Дядя Матвей! Да обернись ты... гляди-ка, кто-то нас догоняет!

Матвей обернулся. И точно, вслед за ними от вокзала прямо по грязи бежал человек, что-то крича и размахивая руками.

Матвей остановил коней и вскоре узнал в догонявшем того человека в кожаной фуражке, который только что слез с поезда.

— В Малаховку? — спросил, подбегая, запыхавшийся человек.— Ах, черти! Чуть было не отстал.— Ои поспешио сбросил мешок, вскочил сам иа телегу и спросил: — Это ты бригадир? Ну, здорово! Тебе от Бутакова записка. Заболел Шарабашкин, меня за иего послали.

— Го-го! — загоготал Матвей.— Вот оно что! А я смотрю, кто это по грязи, как козел, скачет? Ах ты, Шарабашкии! Молодец Бутаков! Ну, теперь все хорошо... Трогаем!

Новому бригаднику было лет под пятьдесят. Кожаиая фуражка была ему ие впору: мала. От этого лысая голова его казалась еще круглее.

Но больше всего удивило Кирюшку то, что у бригадника была только одна бровь. Другой брови ие было, и от этого лицо его казалось сбитым из двух разиых половинок.

— С сыном едешь? — спросил бригадник, забирая у Матвея вожжи.— Сын-то ростом ие в батьку... Н-н-о, хорошая! — задорио крикнул ои, подстегивая шуструю булаиую пристяжиую.— Получай овсеца с другого коица! Тпру... дура!..— озабочеиио остаиовил он и, соскочив иа землю, увереино иаправился к лошадиной морде.— Как же это ты, бригадир, едешь, едешь, а у тебя вожжа под чересседельник пропущена?!

— Скажи ты! А мне и ни к чему! То-то, я смотрю, все вертится проклятая,— оправдывался Матвей. И теперь уже совсем дружелюбно посмотрел иа иового товарища, прикидывая, что с этим, вероятно, работа пойдет ладно.

Телега затарахтела дальше, а Кирюшка с еще большим любопытством и даже с уважением посмотрел иа этого однобрового человека.

— Что смотришь? — спросил тот.— Али я знакомый?

— Отчего это? — нерешительно спросил Кирюшка, показывая на безбровый глаз.

— Это, брат, смолоду. Дитем еще был. Дед под горячую руку кипятком в лицо плесиул. Зачем, говорит, сел за стол, лба ие перекрестивши. Спасибо еще, что глаз-то цел остался... Ну, хорошая! — задорио крикнул ои буланой коияге. И, сжимая вожжи между колеией, он сказал, оборачиваясь к Кирюшке и подмигивая ему голым глазом: — Вот, брат, у иас какое в детстве бывало,— это тебе не с пиоиерами в барабан бить.

Ехали полем, ехали лесом. Перед самой Малаховкой дорога подняла круто в гору.

Первая подвода остановилась, поджидая отставшую вторую.

— Ну, доехали! — крикнул Матвею посиневший и продрогший Федор.— Все нутро растрясло. Куда останавливаться поедем?

— В контору поедем, там скажут. Далеко ли, старик, контора?

— Контора-то? Контора-то не больно далеко. Да кто его знает, не поздно ли в контору. Я лучше вас до Калюкина свезу. Он уже все объяснит вам — и куда и что.

— К Семену, что ли, или к Якову? — неожиданно спросил у подводчика подошедший новый бригадник.

— К Семену, к Семену,— подтвердил старик, поднимая удивленные глаза на спрашивавшего.— К Якову зачем же? То Яков — он ни к чему,— а то Семен... Александр Моисеевич! — протяжно заговорил вдруг старик, уставившись на нового человека.— Александр Моисеевич! Вас ли привел господь бог встретить?

— Бог не бог, а как видишь,— ответил бригадник, здороваясь с подводчиком.— А ты, дядя Пантелей, не стареешь и не молодеешь. Ну, к Калюкину так к Калюкину. Где он? Все там же, на Овражках?

— Нету, Александр Моисеевич: он да Григорий Путятин теперь в Костюховском дому живут. Давно уже живут.

— А сам Костюх где?

— Костюх? — И старик еще с большим удивлением посмотрел на спрашивавшего.— Выслали Костюха, Александр Моисеевич,— задумчиво и протяжно добавил он.— Какой там Костюх! Да у нас за эти годы делов-то, делов-то сколько переделалось! Какой там Костюх! — повторил старик и, недоуменно улыбаясь, махнул рукой.

— Бывал ты, что ли, здесь? — спросил у нового товарища Матвей, когда зашагали они рядом с подводами вдоль села.

— Бывал ли? А ты у него спроси,— улыбнувшись, ответил бригадник, кивая на старика.— Вот что, бригадир,— сказал он, останавливаясь.— Вы прямо к Калюкину ступайте, а я тут к знакомым заверну. Все равно уже скоро ночь. А я вас завтра чуть свет разыщу, тогда и за работу.

— Здешний он, что ли? — спросил у старика Матвей, когда новый товарищ, круто свернув в проулок, исчез из виду.

— Александр Моисеевич? — спросил старик.— Ба-альшая голова! Это он наш колхоз собрал. Вон, видишь, как раз на горе домок с радиом: это раньше он здесь жил. Как же! — все так же задумчиво повторил старик.— Как же!.. Здешний! Первый наш председатель.

Матвей хотел было расспросить подробней, но тут подводы остановились у Калюкинского дома и удивленные бригадники увидели следующее:

Возле трех порожних подвод стояли два насупившихся подводчика и толстая баба, которая крепко держала в руках два больших, еще горячих каравая хлеба. А возле этой бабы сердито и беспомощно кружился и прыгал сам маленький рыжебородый Калюкин.

— Давай, Маша, давай! — быстро говорил он, пытаясь схватить каравай хлеба.— Давай, Маша! Видишь, людям некогда. Я тебе завтра чуть свет из пекарни такие же принесу.

— Не дам! — сурово и громко отвечала баба.— У меня хлеб сеяный, а ваш пекарь норовит с отрубями испечь; у меня хлеб как хлеб, а у него то с подгаром, то с закалом. У меня чистая мука, а ему недолго и песку в квашню подвалить. На черта мне сдался ваш пекарский хлеб!

— Ты бы хоть людей постыдилась, Маша! — завопил увидавший бригадников Калюкин.— Какой песок? И как тебе не совестно?.. Давай лучше, Маша, давай! Сама видишь, людям некогда.

Но тут толстая баба и сама заметила подъехавших незнакомых людей. Она сердито плюнула в сторону отскочившего Калюкина, с сердцем швырнула оба каравая в крайнюю подводу и быстро пошла в ворота, одергивая на ходу высоко подоткнутую юбку.

Обрадованный Калюкин закричал подводчикам, чтобы они поскорей уезжали, и побежали навстречу подъехавшим.

— Это ничего,—объяснил он, здороваясь с Матвеем.— Это Маша... Жена моя... Тут, знаете, хлеб в пекарне запоздал, а людям на станцию надо — бензин подвозим. Вот она, Маша, и сердится.

— Так ты хлеб у нее своровал, что ли? — рассмеялся догадавшийся Матвей.

— Зачем своровал? Взаймы взял,— обиделся Калюкин.— Завтра отдам. А это она врет, что с песком. И подумать только — сболтнет со зла такая дура, а там и пойдет: с песком да с песком. Заходите, заходите, заходите! — опять весело зачастил Калюкин.— Вот и хорошо, что приехали.

— Маша! — вскоре как ни в чем не бывало распоряжался он в избе.— Вздуй-ка, дорогая Маша, для гостей самовар.

— Самовар! — спокойно и укоризненно отвечала толстая баба.— И сколько раз я тебе говорила: отдай, Семен, в кузницу. Долго ли кран починить? А теперь — самовар! Эх, ты! — с досадой добавила она насмешливо и добродушно.— Эх, ты! И правда, что одно слово — актиф.

И, опять подтыкая юбку, она сердито закричала высокой чернобровой девке Любке, чтобы та вздула огонь и поставила чайник.

Матвей и Кирюшка ночевали у Калюкина.

Перед тем как лечь спать, Матвей вспомнил о записке от Бутакова. Бутаков писал: «Посылаю тебе кузнеца из утильцеха — Александра Моисеевича Сулина. Работает он у нас недавно, но человек, кажется, толковый. Спасибо, что выручил и вызвался поехать взамен Шарабашкина».

Кирюшке постлали на сундуке, за печкой. Сквозь окно виднелась лунная пустая улица. В темной избе пахло теплым хлебом, березовыми вениками. Где-то в головах стрекотал сверчок, а за стеною ворочалась и постукивала скотина.

Проснулся Кирюшка оттого, что в окошко громко застучали. Сквозь зеленое стекло он разглядел лошадиную морду и голову человека в мохнатой папахе.

Калюкин вышел. Вскоре Кирюшка увидел, как в избе напротив зажегся огонь, а по улице пробежали двое или трое.

— Уж не пожар ли? — с тревогой спросила толстая Калюкиха и, проворно соскочив с постели, вздула лампу.

Проснулся и Матвей. В сенях застучало — упала метла, и в избу вошел Калюкин.

— Вот беда,— заговорил он, поспешно натягивая сапоги.— Дай-ка, Маша, шапку. Вот беда,— объяснил он Матвею.— Возле Куракина — это восемь верст повыше по

реке нашей, по Согве,— затор. Спасибо еще, куракинский председатель нарочного верхового прислал.

— А вам что за беда? — спросил Матвей.

— А то беда: кабы не затор, то прошла бы вода мимо. А теперь вот-вот прорвет, и двинет вода поверх берегов. У нас этак уже годов шесть тому назад было.

— И что, затопит? — затягивая штаны, спросил Матвей.

— А то затопит, что как раз вашу кузницу затопит, да и амбары с зерном как бы не захватило.

Оба они, и Матвей и Калюкин, сейчас же ушли. Толстая Калюкиха вскоре погасила лампу. По улице пробежало еще несколько человек. Протарахтели колеса. И наконец, тяжело громыхая и заставив задрожать всю избу, протарахтел мимо трактор с прицепом. Потом все стихло.

Кирюшка уже почти засыпал, как услышал что-то такое, отчего он насторожился и повернул голову к окну. Кто-то быстро шел по улице, подпрыгивая и подпевая:

Тарн-тира-та,
Всюду темнота;
Тари-тирн-ри,
Эй... смотри...

Голос напевавшего этот не ко времени веселый мотив был чист и звонок. И удивленный Кирюшка сразу же угадал, что поет это не взрослый, а кто-то из ребят — вероятно, мальчуган.

— Любка! А Любка! — сонным голосом позвала Калюкиха дочку.— А никак, это Фигуран?

— А то кто же? — равнодушно ответила девка.— Фигуран... Фигуран и есть.

— И скажи, что за паршивец! — зевая и почесываясь, удивилась Калюкиха.— Ни свет ни заря, а он вон что. Был бы отец, он бы показал ему хворостиной ти-ра-ра.

— Драли уже, да что толку-то,— неохотно ответила Любка.— Спите, маманя. Мне утром на скотном и за себя и за Соньку работать. Да и арифметику я нынче из-за гостей что-то вовсе плохо выучила.

Было уже солнечно, когда раскрасневшаяся у печки Калюкиха разбудила Кирюшку.

— Вставай, парнишка! — сказала она.— Сбегай к

речке, спроси у мужиков, придут чай пить или нет. Я уж и так чайник два раза доливала.

Кирюшка оделся, сунул в карман теплую лепешку и выбежал во двор. Но во дворе, у самой калитки, стояла сильная черная собака. И, насторожив уши, она смотрела на него зелеными злыми глазами.

— Собачка...— робким и ласковым голосом позвал ее Кирюшка.— Собачка... Шарик... Уу, ты, моя хорошая!..

Собака стояла не шелохнувшись и не спускала глаз с незнакомого мальчугана.

— Собачка...— еще ласковее позвал струсивший Кирюшка.— Фю... фю... Хочешь, я тебе лепешечки дам? На, возьми!

Собака тихонько подошла, осторожно обнюхала кусок лепешки, и вдруг, вместо того чтобы сожрать кусок и дать Кирюшке дорогу, она с рычаньем отбросила лапой лепешку и злобно оскалила страшные белые зубы.

— Я тебя! Я тебя! Ах ты, негодник! — распахивая окно, закричала на собаку Калюкиха.— Иди, сынок, не бойся. Ты только не кидай ему ничего. Его это в прошлом году чуть было не отравили; так он с той поры от чужих и крошки не возьмет.

«Вот проклятая собака! Это тебе не то что Жарька. Той что ни кинь, все сожрет»,— подумал Кирюшка, проскочив сквозь калитку. Он сунул в рот оставшийся кусок лепешки и быстренько побежал под гору — туда, где чуть виднелись суетившиеся у берега люди.

Матвея он нашел у кузницы.

— Чай пить иди. Тетка зовет,— позвал его Кирюшка.

— Уйди, Кирька... зашибу,— ответил Матвей, нагибаясь и принимая на спину большой кузнечный мех.

Повертевшись около кузницы, Кирюшка пошел к амбару, где стояли подводы. Тут он наткнулся на Калюкина.

— Чай пить иди, твоя тетка зовет,— передал ему Кирюшка,— а то, говорит, она и так два раза чайник доливала.

— Ты куда кладешь? Ты как мешок кладешь? — бросаясь к телеге, писклявым голосом заорал Калюкин.— Клади дырой вверх. Куда зерно в грязь сыплешь!

И, сдернув с головы шапку, он поставил ее под желтую струйку высыпающегося из прорехи овса.

— Что за чай? — сердито ответил он Кирюшке.— Какой тут чай?!

Он обернулся, прикидывая, куда бы это высыпать из шапки овес, но в это время его крикнули, и, сунув шапку с зерном Кирюшке, он исчез среди народа, толпившегося у амбаров.

Кирюшка постоял, постоял, но вскоре стоять ему надоело, и он прошел на пригорок, где в толпе увидел ссутулившегося Федора Калганова.

Отсюда, с пригорка, хорошо было видно, как в четырех крайних избах поспешно выволакивали все пожитки.

Седая и очень кроткая с виду старуха тяжело поднималась в гору. В одной руке она бережно несла старую, разбитую икону, а другой цепко держала рыжего, злобно мяукавшего кота.

Позади старухи две бойкие девчонки тянули за рога упиравшуюся козу. А за ними, пушистой вербовой хворостиной подгоняя пару гусей, шагал уже знакомый Кирюшке подводчик дед Пантелей.

Поравнявшись с Федором, дед остановился и поздоровался.

— Твоя хата? — спросил Федор, показывая на самую крайнюю избенку.— А ведь недолго, пока и затопит.

— Затопит,— беззлобно согласился старик.— Нас это со старухой годов шесть назад уже топило. И как затопило — ночью. Сами еле выбрались. Лошадь вывести не успели. Телка пропала... Поросенок да две, что ли, курицы... Ариша,— виновато спросил он у отпустившей кота старухи,— что у нас тогда, две или три курицы потопло?

— Три курицы, старый дурак! — неожиданно очень злым голосом ответила старуха.— Три курицы да один петух, чтоб на твою голову хвороба села! Говорила я тебе, не трогай икону — сама сниму. Так нет. Полез. Разбил стекло, раскокал лампочку. Вот погоди...— злорадно пригрозила она,— погоди, снесет избу в реку — пойдешь по миру, тогда узнаешь, как за иконы браться.

— Все от бога,— смущенно пробормотал дед Пантелей, оборачиваясь к Федору.— А я что же...

— Зря сердишься, старая,— успокоил Федор,— Как так — по миру? Нынче нет такого закона, чтобы колхозник да вдруг — по миру!

— Я ведь тоже понимаю, что зря,— приободрившись от хорошего слова, заговорил старик.— Мне шестьдесят годов, а у меня семьдесят трудодней на колхоз выработано, да по ночам — сторожем — керосин при тракторах стерегу. Да у старухи восемнадцать дён — овец стерегла. А она, глупая баба, что понимает... Весна,— добавил он, улыбнувшись и показывая на голубой сверкающий горизонт.— И до чего же хорошее времечко это — весна!

— А никак пошла?

— Пошла, пошла,— послышались вокруг Кирюшки озабоченные голоса.

И точно, из-за реки с раскиданными по ней островками дунул холодный ветер. Льда еще не было видно, но вода поперла с большой, все увеличивающейся силой. В течение нескольких минут она заняла двор крайней избенки и, взметнув мусор, остатки дров и соломы, хлынула дальше, подбираясь к амбару, от которого только что отъехали последние, груженные зерном подводы.

— Кирюшка,— спросил потный и красный Матвей,— ты что это шапку держишь? А тебя Калюкин ищет.

— А зерно куда?—спросил Кирюшка.—Я, дядя Матвей, пересыплю зерно в карманы, а то у меня и так на холоду все руки занемели.

— Сыпь да беги скорей.

Набив зерном карманы, Кирюшка побежал разыскивать Калюкина. Но вскоре он остановился возле кучки мужиков, баб и ребятишек, обступивших какого-то лохматого и горбатого мальчугана.

Этот лохматый и горбатый, воткнув посреди круга кривую палку и притопывая возле нее, спокойно и гордо распевал такую песню:

Дело было на заре
У Семена во дворе,
Он лопатою копал,
Что-то по земле искал..

Дружный и непонятный для Кирюшки хохот раздался при этих словах вокруг певца. А он, спокойный и уверенный, прошелся с вывертом вокруг палки, топнул ногою, как заправский танцор, и продолжал:

Если б солнышко не грело,
Не просохла бы вода.
— Отчего изба сгорела?
... Тири-ри да тара-та.

И хотя опять Кирюшка не нашел в словах этой песни никакого смысла, кругом зашумели и засмеялись.

— Ишь ты! Фигуран фигуряет,— услышал Кирюшка снисходительно-насмешливый голос.— И скажи, что за человек!

Вспомнив ночной случай, Кирюшка с любопытством сунулся поближе. Но, не глядя под ноги, он споткнулся и упал, растянувшись почти посередине круга. При этом из всех карманов его потекло пересыпанное с Калюкиной шапки зерно.

— Вор,— спокойно и почти торжественно изрек Фигуран, показывая пальцем на смущенно поднявшегося Кирюшку.— Вор и расхититель колхозного имущества. Начнемте же, колхозники, суд над расхитителем.

Он подошел к Кирюшке и молча потянул его за рукав, вытаскивая на середину круга.

Но тут, не дожидаясь суда, испуганный и обозленный Кирюшка рванул руку и со всего размаху съездил Фигурана кулаком по голове. Фигуран покачнулся. Он покачнулся и снова выпрямился, насколько позволял ему горб, и с молчаливым удивлением посмотрел на приготовившегося защищаться Кирюшку.

— Дерни ему палкой по башке!

— Ишь ты, какой выискался! — заорали вокруг Кирюшки незнакомые и поэтому враждебные к нему ребята.

Фигуран подумал, схватил за рукав одного из кричавших и, подтолкнув его к Кирюшке, сказал равнодушно:

— Дай ему за меня, Степашка. И бей в мою голову до самой смерти.

Услыхав такое, Кирюшка побелел, еще крепче сжал кулаки и губы; но теперь уже совсем непонятно было ему, отчего загоготали и засмеялись ребята.

— Лодку давай! — внезапно гаркнул от берега чей-то могучий встревоженный бас.

— Лодку давай!.. Лодку! — суматошно и визгливо заорали другие голоса.

— Льодом-то, льодом-то дернет, вот тебе и будет лодка.

— Эге-ей! — громко заорал бас, пытаясь перекричать шум ветра и треск надвигавшегося льда.

Почуяв что-то неладное, окружавшая Фигурана толпа кинулась к берегу. Сам не зная как очутился на берегу и Кирюшка.

Сначала, еще не остыв от гнева и обиды, Кирюшка не мог ни рассмотреть, ни понять, почему тревога, шум и крики. Но вскоре понял и он.

С шумом и яростной быстротой вода заливала островки, подминая густой мелкий кустарник. Позади, сдерживая еще больший водяной вал, надвигалась широкая полоса льда. И в это время по берегу одного из еще не затопленных островков со всех ног бежал захваченный врасплох человек.

Он бежал к мысу, по-видимому собираясь броситься отсюда в воду и переплыть протоку до подхода льда. Но, добежав до самой стрелки, он остановился, закрутился и вдруг совсем неожиданно кинулся в противоположную сторону, в тот проток, который был и бурливее и шире.

— Куда, черт? Куда, дурак?— заорал надрывающийся бас.

— Сдурел. А и есть сдурел,— заохали и заахали бабы.— Ему бы сюда кидаться, а он — вон что.

На короткое время голова пловца чуть видна была над водою. Потом она скрылась за кустарником острова.

С треском и хрустом лед прошел мимо бугра. Как ножом срезало плетень и баню. Ударив по углу, вышибло два бревна у амбара и выкинуло тяжелую сверкающую льдину к самой двери кузницы. Потом лед двинул дальше кромсать и рвать острова. А за ним хлынула мутная, пенистая вода.

Долго еще не расходились мужики, бабы и ребятишки. Долго всматривались они в опушку противоположного берега, однако незнакомого пловца уже нигде не было видно.

В этот день Кирюшка на улицу решил больше не выходить — опасался, как бы не поколотили.

Но и дома ему не было скучно. Изба была большая, наглухо перегороженная на две половины. В одной жил Калюкин, в другой — еще кто-то. За двором начинался вишневый сад. Туда можно было пройти и через ворота

за сараем и через маленькую ветхую калитку под темным навесом, возле входа в коровник.

В саду, кроме вишен, росла густая, пушистая верба. А в сторонке, за вербами, стояла пахнувшая смолою и дымом старая, черная баня.

Заглянул Кирюшка и в баню. Там было полутемно и сыро.

У маленького закоптелого окошка в предбаннике пригретая сквозь стекло весенним солнцем тихо барахталась крупная лимонно-желтая бабочка.

Обрадованный Кирюшка вынес ее в сад, открыл ладонь, и бабочка тяжело вспорхнула, сверкая на солнце, как настоящая золотая. Но не успела она подняться над вишнями, как с пушистой вербы сорвались сразу две пичужки, и одна из них, ловко схватив летунью, проворно юркнула в кусты. Сначала Кирюшку очень огорчило это дело, и он схватил с земли камень. Но так как пичужка все равно уже исчезла, то он сердито швырнул камень в стайку воробьев и утешал себя тем, что эти бабочки жрут капусту, огурцы и еще что-то, и в прошлом году ему самому досталось при дележке вовсе червивое яблоко.

Уже к вечеру через сломанный забор Кирюшка выбрался на край неглубокого оврага. Внизу бурлил пенистый ручей. Рядом пролегала уже подсохшая дорога, и по ней бойко катила удаляющаяся от села подвода.

В стороне от дороги виднелась на опушке рощи одинокая церковь с маленькой колоколенкой.

«Почему там церковь? — удивился Кирюшка.— Ни села возле нее, ни поселка; даже домика сторожа и то что-то не видно. Вероятно, кладбище»,— решил он. Но опять-таки и это показалось ему странным: для чего бы кладбищу быть так далеко.

Усталый Кирюшка присел на пенек и посмотрел на тот край поля, куда опускалось вечернее солнце.

И теперь отчего-то показалось ему широкое поле пустым и печальным, а красноватое солнце — тяжелым и холодным. Он покрепче запахнул пальтишко, съежился, задумался и притих.

«Отчего это бывает смерть? —глядя на покосившийся крест над колоколенкой и вспомнив отца, подумал Кирюшка.— Ну вот живет человек, живет, и что же от него после смерти останется? Ничего не останется».

И он стал припоминать.

Он вспомнил знакомого заводского кучера Семена Харламова, смерть которому пришла оттого, что треснули его в пьяной драке по голове пивной бутылкой.

Потом он вспомнил соседку по квартире — кривую, сердитую бабку Евдокию, смерть которой пришла ни от чего, а просто от старости.

Потом вспомнил монтера Николая Николаева, который погиб во время прошлогоднего наводнения, когда, бросившись в воду, он доплыл до столба и перекусил кусачками какие-то провода, чтобы не случилось какого-то замыкания и не испортилась какая-то нужная машина.

И, вспомнив, отчего пришли эти три знакомые ему смерти, Кирюшка задумался над тем, что же от каждой смерти осталось?

И тогда он вспомнил, что от кучера Харламова осталась в третьем корпусе свободная комната, куда тотчас же въехал бригадир-комсомолец Сиваков, который жил раньше в бараке.

От бабки Евдокии остался сын, рыжебородый мастер из котельного цеха, которому недавно подарили часы и бесплатный трамвайный билет через переднюю площадку.

От Николая Николаева остались та самая нужная машина да черноглазая трехлетняя девчонка Нинелька, которая на похоронах нисколько не плакала и свалила со стола красивый венок, притянув его за широкую красную ленту.

«А от отца что? Ну, я остался»,— подумал Кирюшка.

И хотя это было бесспорно так, но этого показалось Кирюшке мало. И ему захотелось, чтобы от отца осталось еще что-то. И он чувствовал и знал, что осталось еще что-то нужное и важное. Но что именно, этого Кирюшка не знал и не мог сказать, потому что сквозь горе и слезы плохо тогда слышал и понял он, что говорили над могилой товарищи отца и ораторы.

Крупная слеза скользнула по его щеке. И, вероятно, Кирюшка опять, как в тот раз в проходной будке, горько и безудержно расплакался бы. Но тут из-за поворота послышался топот, и перед Кирюшкой оказался верховой.

— Эй ты, пионер! — гаркнул всадник запыхавшимся и сердитым басом.— Ты давно тут сидишь?

— Давно,— с удивлением, но без испуга ответил Кирюшка, узнавая в этом толстом рыжем человеке того самого, который так беспокоился на берегу и так громко орал, чтобы давали лодку.

— Не видал ты, не проезжала ли по этой дороге — чтобы у ней колеса посвернулись! — парная подвода?

— Проехала,— ответил Кирюшка.

— Лошади серые?

— Серые, — подтвердил Кирюшка. — Только давно проехала и, должно быть, теперь уже далеко.

— Вон они куда,— пробормотал рыжий и подстегнул коня.— Эй ты, пионер! — крикнул он, опять останавливаясь.— Поди сюда! Вот что: беги к Еремееву и скажи, что я поскакал догонять подводу на Куракино. Коли догоню в Куракине, то вернусь скоро, а коли не догоню в Куракине, то вернусь, когда догоню. Понял? Да смотри передай, а не то я рассержусь,— предупредил он, дергая повод и пускаясь вскачь.

Конь затопал, а Кирюшка, у которого разом вылетели все печальные мысли о кладбище и о смерти, остался в сильном недоумении.

Во-первых, он совсем не знал, кто такой этот Еремеев и где его искать.

Во-вторых, он не успел спросить, от кого надо передать.

А в-третьих, он же решил сегодня не выходить на улицу, опасаясь, как бы его не вздули за утрешнее.

Он постоял, покрутился, но приказание рыжебородого было слишком твердым. Да и самому Кирюшке уже надоело торчать весь день в саду. И он решил выполнить поручение, но сначала забежать в избу и спросить у Калюкихи, кто же этот Еремеев и где он живет.

Но Калюкиха ушла к соседке, и дома он застал только Любку. Эта здоровенная Любка сидела у стола и, неуклюже ворочая карандашом по тетрадке, высчитывала вслух кормовые нормы на скотину.

— Значит,— бормотала она,— еще надо прибавить 19 килограммов отрубей, 7 килограммов жмыха... 19 да 7 — это будет... будет 26. Да 11 турнепсу, да 21 картофелю... Господи! Куда же это? Обожраться, что ли?

11 да 21 — это будет... 10 да 21 будет 31 да еще 1 — будет — 32. И значит, если теперь сложить 32 и 26...

— Любка,— перебил ее Кирюшка, увидав, что эта арифметика, кажется, затянется надолго.— Скажи мне, пожалуйста, где это у вас на селе живет такой человек — Еремеев?

— Отстань,— не глядя, ответила Любка.— 32 да 26... Вот еще, сбил только. Выдь пока, Кирюшка, побегай на улице.

— 32 да 26 — это будет 58,— подсказал ей Кирюшка.— Сейчас уйду. Ты только скажи, Любка.

— Ну, верно 58,— согласилась Любка.— Еремеев Михайло — это на Овражках. Старик такой... блажной. Он раньше в церкви псаломщиком был. Да как-то с колокольни пьяный свалился и с той поры вроде как бы не в своем уме.

— Любка,— постояв немного, спросил озадаченный Кирюшка,— а нет ли какого-нибудь другого, чтобы не с колокольни... и в своем уме?

— Такого другого нет,— коротко отрезала Любка.— Такой другой есть только Семен Павлович Еремеев. Так это не наш деревенский, а помощник директора тракторной станции.

— Вот он-то, должно быть, и нужен мне,— укоризненно сказал Кирюшка.— А ты мне какого-то — с колокольни. Эх, ты! А еще комсомолка. Любка,— продолжал он,— а ты не знаешь ли, кто это такой рыжий?

— Какой еще рыжий? — рассердилась Любка.— Уйди ты от меня, или я сама за тобой дверь захлопну!

— Ну, какой? Рыжий, здоровый, верхом на лошади.

— Еще что... Рыжий! Мало ли у нас рыжих? Сел рыжий на лошадь, вот тебе и верхом. Слез — вот тебе и пешком. Тоже спрашивает, как дурак. А еще пионер.

«Ладно, корова, я тебе припомню»,— подумал Кирюшка и выбежал во двор.

В конторе, кроме самого Еремеева, Кирюшка застал Матвея, Калюкина и Александра Моисеевича Сулина.

То и дело хлопала дверь: подходили все новые и новые люди.

Еремеев показывал, очевидно, только недавно полученную телеграмму.

Что было в той телеграмме, Кирюшка, конечно, не мог знать. Но он сразу же догадался, что телеграмма эта хорошая, веселая, потому что, прочитав ее, одни радостно восклицали: «Го!», другие «Га!», а некоторые хотя и ничего не восклицали и даже начинали ругаться, что, дескать, давно бы пора, но Кирюшка видел, что рады они и сами не меньше других.

— Тебя зачем принесло? — спросил Матвей у Кирюшки.

— Рыжий прислал,— буркнул Кирюшка. И, протискавшись к столу, он слово в слово пересказал то, что ему было приказано.

— Молодец Бабурин! — похвалил рыжего Еремеев, и, обратившись к Матвею, он спросил: — А это кто? Твой сын, что ли?

— Та-к... племянник,— сурово соврал и тотчас покраснел Матвей, которому и неохота, да и не время сейчас было объяснять, как и почему попал с ним Кирюшка в деревню. И, приказав Кирюшке бежать домой, Матвей быстро перевел разговор на то, что для ремонта борон на складе нет двухдюймового железа, да и шинного тоже только-только на три дня работы.

— Читал телеграмму? — успокоил Еремеев.— Теперь все получим. Пошлем на приемку Калюкина, да ты и сам поезжай.

— Мне нельзя,— отказался Матвей,— мне кузню налаживать надо. Водой сегодня все переворотило.

— Ну, тогда пусть Сулин поедет. Он, говорят, человек здешний, бывалый. Его не проведешь.

— Меня не проведешь,— согласился Сулин.— А на приемке они, поди-ка, всю заваль всучить нам попробуют.

— Зачем заваль? — обиделся Калюкин.— Что же они, жулики, что ли?

— Кто сказал — жулики? — удивился Сулин.— А доведись до тебя, неужели ты бы им получше отдал, а себе похуже оставил?

— Я бы по совести,— убежденно ответил Калюкин.— Что у нас для государства, то и у них для того же.

— Конечно, если по совести!..— усмехнулся Сулин. И, хлопнув Калюкина по плечу, он сказал добродушно и снисходительно: — Совесть что! Так... культурное слово. А вот насчет государства, это ты как раз в самую точку.

Когда Кирюшка выбежал на улицу, то крепко удивили его луна и звезды. Звезды — еще туда-сюда. Но такой большой, сверкающей луны в городе он не видал никогда.

Пока он раздумывал, как это так и почему, сам того не заметив, он очутился на незнакомой кривой уличке, возле шаткого мостика. Но ворочаться назад, в гору, ему не захотелось, и он пошел через мостик, рассчитывая свернуть где-нибудь влево.

Шел он не торопясь, на ходу заглядывая в незавешенные окна старых изб.

Через одно окно он мельком разглядел худую бабу, которая кормила толстого горластого дитенка.

В другой избе он увидел, как два бородатых мужика укоряют в чем-то одни другого, а третий, лысый, пьет чай и читает газету.

Потом — седую бабку и пятнистого теленка.

Потом — красивую девку, которая сразу делала три дела: качала ногой люльку, вязала чулок и слушала через наушники радио.

Потом еще издалека услышал он рев и подивился на то, как сердитый дядек дерет ремнем какого-то вертлявого черного парнишку.

И, вероятно, много еще интересного рассмотрел бы Кирюшка на своем пути, если бы кем-то ловко брошенный комок глины не угодил ему прямо в спину.

В страхе отпрыгнул Кирюшка, обернулся, но никого не заметил.

Он хотел было пуститься наутек, но здесь уличка кончалась тупиком. Справа зияли черные дыры проломанных заборов, торчал сарай без крыши и валялась телега без колес. Слева скрипела распахнутая калитка, за которой что-то мычало, что-то рычало,— в общем, плохо было дело... Второй ком глины шлепнулся о доски где-то совсем рядом, и Кирюшка понял, что неизвестный враг прячется в темной нише, у ворот, напротив.

Тогда, увидев, что деваться некуда, перепуганный Кирюшка схватил увесистый булыжник и изо всех сил запустил им в ворота. Потом ему попалась под руки мокрая чурка, потом суковатая палка — все это полетело туда же.

И почти тотчас же из темноты раздался жалобный

вой. Очевидно, палка крепко ударила по невидимой цели.

Но этот вой еще больше испугал Кирюшку, особенно после того, как хлопнула дверь и кто-то, встревоженный ударом булыжника, грозно спросил, отчего стук и крик.

Тогда, не дожидаясь, как оно будет дальше, Кирюшка юркнул в дыру забора, и, спотыкаясь о кочки, цепляясь за колючки, проворно полез куда-то в гору.

Кирюшка очутился на полянке, поперек которой стояла низкая изба; рядом с избой — двор, а за двором уже стучала колесами улица.

Запыхавшийся Кирюшка осмотрелся: нельзя ли как-нибудь выбраться на улицу, минуя чужую усадьбу? Но оказалось, что нельзя никак. Тогда, крадучись вдоль стены, Кирюшка направился через двор. Но едва он добрался до освещенного окошка, как впереди, за углом избы, что-то заскреблось, заворочалось.

— Собака! — ахнул Кирюшка и притих.

Так простоял он с минуту, не решаясь двинуться ни назад, ни вперед.

Он уже заглянул в окно, чтобы крикнуть на помощь хозяев, но не крикнул, так как увидел следующее:

На постели, широко раскинув руки, лежал могучий седой старик и храпел так, что слышно было даже через окошко. По-видимому, он был пьян.

За столом возле керосиновой лампы сидел горбатый Фигуран и что-то писал, время от времени искоса посматривая на старика.

Рядом с Фигураном лежали большой нож, сапожная колодка и точильный брусок.

Вдруг старик двинулся, заворочался и закашлял. Фигуран ловко сунул лист бумаги за пазуху и, схватив нож, зачиркал им о точило.

Старик откашлялся, грузно перевалился к стене и опять захрапел.

Фигуран оглянулся, отложил нож, отодвинул брусок и опять вытащил бумагу.

На некоторое время оробевший Кирюшка забыл даже о собаке. Но тут за углом опять что-то заскреблось, заворочалось. Кирюшка съежился, сжался. И вдруг из-за поворота вместо собаки вышел косматый, рогатый козел и, остановившись перед Кирюшкой, противно замемякал: «Ме-а! М-я-я-а!»

— Ах, чтоб тебе пропасть! — рассердился Кирюшка. И, дав козлу пинка, он быстро проскочил через калитку на улицу.

Дома Матвей и Калюкин уже кончали ужинать.

— Ты откуда? — строго спросил Матвей у Кирюшки, который боком пробовал юркнуть за печку.

— Так мне же, дядя Матвей, мать сама наказывала, чтобы я не сидел дома, а больше гулял,— быстро вывернулся Кирюшка.— Вот я пошел гулять и все гуляю, гуляю. Даже надоело!

— Гулять тоже надо с толком, а не когда попало,— ответил Матвей и, подозрительно оглядев Кирюшку, спросил: — А отчего это у тебя пальто глиной заляпано и вроде как бы поперек рожи царапины?

— Пальто... Это оно просто так... А царапины? Царапина это оттого, что где-нибудь обцарапнулся,— поспешно объяснил Кирюшка и быстренько нырнул за печку раздеваться.

Его позвала Калюкиха и налила ему миску щей. Пока он хлебал, Матвей и Калюкин курили и разговаривали.

— Рядом кто живет? — спросил Матвей, показывая на толстую бревенчатую стену.

— Путятин Егор. Он — многосемейный. А там большие горницы,— ответил Калюкин. И, вспомнив что-то, он, подскочив к стене, постучал кулаком и закричал: — Егор, а Егор!

— Нету Егора,— чуть слышно ответил из-за стены бабий голос.— Тебе что?

— Он на третьем участке пашет, что ли?

— Нет, не на третьем, а на втором. На третьем Мишка Бессонов.

— Голову оторвать этому Мишке надо,— оборачиваясь к Матвею, сказал покрасневший Калюкин.— Я после обеда поехал на мельницу, в амбары зерно перегружать. Гляжу... мать честная!.. На пашне шесть огрехов насчитал. Да огрехи-то какие — борзой кобель не перескочит. Разве ж это работа?

— И что тебе, Семен? Больше других надо! — ворчливо вмешалась Калюкиха.— Чем чужие огрехи считать, ты бы лучше рассказал, как недавно два мешка овса

своим керосинищем изгадил. Уж я и холодной водой мыла и теплой. Куда там! Свинья и та морду воротит.

— Я за тот овес, Маша, и сам болею,— смутился Калюкин.— Я за это своих последних полтора мешка в амбар свез. А так, как Мишка Бессонов пашет, это тоже не пахота... Бо-о-льшие горницы,— продолжая прерванный разговор, начал Калюкин.— Сам-то Костюх на той половине жил. А здесь сын его Василий.

— Богатый был Костюх?

— Надо думать, богатый. Конь-то, правда, у него один был, коровы две. Не любил он скотину, но торговал шибко. Хлебом торговал, кожи скупал. Он да еще тут один старик с ним в компании. Костюха-то выслали, а того старика оставили. У нас на Овражках живет, сапожничает.

На дворе сердито гавкнула собака, и кто-то зашаркал в сенцах, старательно вытирая ноги. Вошел дед Пантелей.

Еще у порога он снял было шапку, но, вспомнив, что иконы в избе нет, он нахлобучил опять шапку и добродушно погрозил пальцем ухмыльнувшейся девке Любке.

— Луна,— сказал дед Пантелей, указывая палкой на окошко.— Иду это я... смотрю, стоит поперек проулка корова. Чья же это, думаю, корова? Подошел, гляжу, а это Николихина корова.— Дед Пантелей опять снял шапку и неторопливо сел на лавку.

— Зачем, сынок, звал? Чай пить али по делу?

— Какой тут, дедушка, чай? — сердито перебила Калюкиха.— Уж я ему сколько раз говорю: отдай, Семен, самовар в кузницу, долго ли кран починить? А он: ладно да ладно!

— Ты оставь, Маша! Сказал — отдам, значит, отдам. Человек по делу, а ты «самовар»! Я тебе говорю, олова на ремонт нету, а ты «самовар»... да «самовар»! — рассердился Калюкин, обувая сапог, докуривая цигарку и доставая с гвоздя лохматую баранью шапчонку.— Вот что, дедушка! Возьми с утра лошадь да съезди в Чарабаевскую рощу, лозы нарежь. У меня на складе двадцать бутылей-двухведерок, а оплетки нету. Потом как-нибудь сядешь да сплетешь мне для бутылей оплетки.

— Ладно, коли так, — согласился старик. — Нарядил бы ты со мною какого-нибудь парнишку. Вдвоем-то ловчей управимся.

— Пускай мальчонка с тобой поедет,— кивнув на осоловевшего Кирюшку, предложил Калюкин.

— И то дело, — согласился Матвей. — Катай завтра, Кирюшка, с дедом за лозой. Нечего тебе зря без дела шататься.

Вскоре дед Пантелей ушел. Вслед за ним, накидывая на ходу поддевку, направился и Калюкин.

— А ты куда? — окликнула его Калюкиха. — Спать-то когда придешь? Опять к полуночи?

— В школу, Маша... в школу. Там нынче второй бригады собрание; надо думать, директора ругать будут.

— Да тебе-то что? — почти жалобно спросила Калюкиха. — Кабы тебя ругали, а то директора.

— Как можно, Маша?.. Что ты! Раз я сейчас вроде как бы завхоз, значит, и мне тоже... значит, и я тоже, — уже захлопывая дверь, забормотал Калюкин. И слышно было, как он быстро протопал вниз по лесенке.

После того как уснул Кирюшка, лег и Матвей.

Но, несмотря на то, что он встал до зари, ему не спалось, и он долго ворочался, припоминая все то, что случилось за сегодняшний день.

Тракторная станция, обслуживавшая Малаховский колхоз, была небольшая, только с осени выделенная от другой, крупной, Каштымовской МТС. И случилось так, что попали сюда тракторы потрепанные, разномастные, к тому же без запасных частей и почти без ремонтного инструмента.

Всю зиму просили, грозили, требовали. Но каштымовцы упирались. И только сегодня, как раз после того как проехал заезжавший по пути каштымовский директор, была из края получена телеграмма, в которой каштымовцам строго-настрого было приказано снабдить новую МТС запасными частями, материалами, инструментами.

И вот вдогонку за каштымовским директором поскакал секретарь ячейки Бабурин, тот самый рыжий верховой, который встретился Кирюшке на дороге.

«Надо Сулину сказать, чтобы он круглого железа побольше выбрал, — вспомнил Матвей. — Борон целая груда, а все зубья повырваны. Камни ими, что ли, ворочали?.. Он достанет, — думал Матвей. — Мужик, видать, толковый».

И уже совсем засыпая, Матвей вспомнил, что за всеми сегодняшними хлопотами он позабыл расспросить у Калюкина, как и почему уехал Сулин совсем из деревни.

В избу потихоньку вошла Любка и, не зажигая огня, стала раздеваться.

— Ты откуда? — спросила с кровати Калюкиха.

— В клубе была. Там сегодня кино, — закидывая на печь валенки и задергивая занавеску, ответила Любка.

— Отца видела?

— В школе он. Ругаются. Ему, маманя, Мишка Бессонов чуть в рожу не плюнул.

— И поделом! — с досадой откликнулась Калюкиха. — И скажи только, что за человек! В свое, не в свое дело — всюду ему сунуться нужно. Ты помяни мое слово, что когда-нибудь ему и вовсе шею наколотят.

— Так колотили уже, да что толку-то,— заваливаясь на скрипучую кровать, ответила Любка. И вдруг огрызнулась: — А за что колотить? За Мишку Бессонова? Этого Мишку у нас на прошлом собрании поделом в комсомол не приняли. Попробуй поколоти! Говорите вы, маманя, а что, сами не знаете!

Обиженная Калюкиха полежала, помолчала, но ей не лежалось и не молчалось. Она закряхтела, заворочалась и с хитростью спросила у притихшей Любки:

— А что, Любка, правда это бабы говорят, будто Мишка Бессонов собирается какую-то вашу комсомолку сватать?

— Спите, маманя! — уже грозно ответила Любка. — У вас бессонница, а у нас завтра на скотном ветеринарный осмотр будет. Инструктор, что ли, какой-то приехал.

Утром Кирюшка побежал к деду Пантелею.

После вчерашнего паводка возле избенки сверкали лужи. Проломанный плетень был смят и повален. Повсюду валялась щепа и торчали косматые охапки еще мокрой соломы.

Пригретые ясным солнышком, суетливо бродили по грязи хлопотливые куры. Из стойла высовывал морду добрый теленок, и даже злобный рыжий кот и тот, ласково жмурясь, тихо полз по крыше, подбираясь к стайке беспечно горланивших воробьев.

У крыльца седая и уже не сердитая бабка развешивала широкие дедовские штаны. А сам дед Пантелей кончал запрягать лошадь.

— Пришел, — улыбнулся дед Пантелей. — А я смотрю, что не идешь? Или, думаю, не придет, да нет, думаю, должно быть, придет. Погода-то нынче вон какая. Светлая. Ну садись. Как тебя звать-то?.. Кирилл?.. Залезай, Кирила, на телегу. Поехали...

И как только выехали в поле, пахнуло таким непривычным, невиданным простором, что Кирюшка сразу притих.

— Слышишь? — спросил дед, корявым пальцем указывая в небо. — Глянь-ка вон туда, под облако... Гурлы... Гурлы. Это дикие лебеди-кликуны потянули.

Задрав голову, долго смотрел Кирюшка, как высоко-высоко, под самыми облаками, вытянув прямые длинные шеи, плавно и стремительно летела стая больших белых птиц.

«Как же это так? — задумался Кирюшка. — Был завод, школа, отец, мать, знакомая улица, автобус № 5, трамвай №17, — а сейчас никого рядом и ничего».

И потому, что рядом не сидел даже Матвей, который был все-таки свой, городской, Кирюшке вдруг как-то почудилось, что вот уже поехал он не в Чарабаевскую рощу за ракитовой лозой, а тронулся в какой-то новый и далекий путь.

Тогда он сощурил заслезившиеся от солнца глаза, и стало ему грустновато.

«Эх, папка, папка! — укоризненно подумал Кирюшка. — И что тебе стоило немного, ну совсем немножечко подвинуться, а не стоять на том самом месте? И тогда пролетели бы разорванные кирпичи мимо или еще в кого-нибудь».

Он вздохнул. Но тотчас же вспомнил, что если бы отец не стоял на том самом месте, у парового молота, то там обязательно стоял бы кузнец Матвей.

И Кирюшке стало жалко Матвея, он сейчас же захотел, чтобы и Матвей тоже подвинулся.

Но если бы не стоял Матвей, то встал бы туда Иван Караулов, девчонка у которого, Катюшка, была веселая, черноволосая, и это ей он, Кирюшка, подарил однажды хорошее, но только немножко червивое яблоко.

Тогда ему стало жалко и отца, и Матвея, и Ивана, и еще кого-нибудь, кто обязательно стоял бы на этом месте, потому что это такое твердое место, где всегда кто-нибудь должен стоять. И, конечно, стоит кто-то уже и сейчас.

«Нельзя всем двигаться,— смутно решил Кирюшка.— И я бы тоже не подвинулся. Раз поставили — значит, стой!»

— Что, Кирила, задумался? — окрикнул дед Пантелей.— Вот она и Чарабаевская роща. Помещик тут раньше жил, Константин Ермолаевич Чарабаев. Гордый был человек... Сильный. Беда, сколько земли поднимал!

Это заинтересовало Кирюшку. Он и сам, бывало, в цирке видел, как поднимают гири, видел, как поднимают людей. А однажды видел даже, как один молодец взвалил себе на спину невысокую лошадку. Но чтобы землю поднимали, этого он еще не видел никогда. Как ее поднимешь, — в мешки насыпать, что ли?

— И сколько он поднимал? — осторожно спросил Кирюшка, недоверчиво посматривая на старика.

— А вот сколько. Вон, под солнышком, вроде как бы гору видишь? А теперь гляди дальше, за речку, туда, где наши трактора идут. А теперь глянь в ту сторону, до самого края, где чуть-чуть лес синеет. Это все его земля была. Но теперь поворотн голову назад и смотри как раз от речки до того села... до Балаихи — это и был наш деревенский куток. Вот, брат Кирила... как тебя по батюшке-то величать, не знаю... так-то и жили.

Старик неожиданно рассмеялся, подстегнул конька, и телега весело вкатилась в Чарабаевскую рощу, из-за голых деревьев которой уже виднелись развалины старой барской усадьбы и невысокая церковка с покосившимся крестом, та самая, которую заметил Кирюшка еще вчера, перед закатом.

Прямо за одичалыми развалинами, цепляясь один к другому, раскинулись заглохшие и заболоченные пруды. По берегам густо разрослись вербы, ольха и ракитник.

Дед Пантелей дал и Кирюшке острый нож. Он показал, какая нужна лоза и как ее срезать, чтобы не обрезаться. А так как мудреного в этом было мало, то Кирюшка с азартом полез в самую гущу.

Через час работы на телеге лежала большая груда гибких пахучих прутьев.

— За глаза хватит. Довольно! — скомандовал раскрасневшемуся Кирюшке дед Пантелей.— Давай садись, отдохни. Да и я сяду, табачку закурю. А то на ходу курить тряско.

Но Кирюшке не сиделось. Пока старик поправлял воз, пока он свертывал да закуривал, Кирюшка шмыгнул на узенькую тропку и вскоре очутился перед развалинами чарабаевского имения.

Одиноко и печально торчали потрескавшиеся стены. Повсюду валялись поросшие травой кирпичи. Тяжело бахнувшись, лежала расколотая и наполовину вросшая в землю каменная колонна. Тут же, неподалеку, высилась уцелевшая колоколенка без колоколов и небольшая церковь с тяжелой дверью, на которой вместо замка был замотан узел ржавой проволоки.

Рядом с кучей муравейника валялась чья-то позеленевшая мраморная голова, но без уха, с отбитым кончиком носа. И по этой неживой голове тихо лазили только что выползшие после зимовки, еще полусонные муравьи.

Так же, как путешественник, который задумчиво останавливается перед обломками древних гробниц, перед руинами средневековых башен, так и Кирюшка, который слыхал о помещиках только по рассказам, с молчаливым удивлением рассматривал остатки этой самой обыкновенной барской усадьбы: так вот где они жили!

Он постучал носком о выступ скользкого крылечка и провел пальцем по холодной истрескавшейся стене.

Заслышав шорох, он обернулся и невдалеке от себя увидел человека.

Человеку этому было лет под пятьдесят. Бородатый, ссутулившийся, с тяжелой дубинкой в руке, он стоял, прислонившись к стволу гнилой липы, и, по-видимому, уже давно наблюдал за Кирюшкой.

«Сторож»,— подумал Кирюшка. Но так как он никуда не залез, ничего не украл, то безбоязненно посмотрел на незнакомого человека.

— Видать, нездешний парнишка? — негромко спросил человек и, подойдя поближе, сел на каменную ступеньку.

— Нездеший,— подтвердил Кирюшка.— Мы с дядей Матвеем из города приехали.

— В Малаховку, что ли? — И, ие дожидаясь ответа, чериобородый иеожидаиио попросил: — А что, паренек, у тебя покурить нет ли?

— Так я еще малый! — с иегодованием ответил покрасиевший Кирюшка. — Разве же такие курят!

— Всякое бывает! Бывает нонче, что и такие. Кто вас разберет?

— Это только хулигаиы курят,— убеждеино возразил Кирюшка.— А разве я хулиган? — Ои подумал, запнулся и уже с задором добавил: — Я пионер, а ие хулигаи. А правда, дядя, есть в иашей школе один, Павлушка Кукушкин, и стал ои курить, а мы его взяли да из пионеров и выгнали.

Кирюшка остаиовился, ожидая, что за это толковое рассуждение незнакомец похвалит его или просто улыбнется.

Но угрюмый человек не похвалил и ие улыбнулся. Виимательно посмотрел он на Кирюшку и ие сказал иичего.

Это не поиравилось Кирюшке, ои захотел тотчас же отправиться восвояси, ио все-таки задержался и услужливо предложил:

— А вы, дядя, пойдите со мною да у деда Паителея попросите. Ои тут, рядышком, возле лошади. Мы с ним лозу резать приезжали. Он как раз сидит возле телеги и курит.

— Это какой Пантелей? Малаховский? — быстро переспросил бородатый человек.

— Малаховский. Ои живет да бабка, да больше у них иикого нет. У них, дядя, вчера избу чуть-чуть льдом не сдернуло.

Бородатый постоял, по-видимому раздумывая, пойти или нет в ту сторону, откуда уже дед окликнул Кирюшку. Потом, не сказав ни слова, бородатый повернулся и быстро пошел через кусты в противоположиую сторону.

«Тоже, курильщик!..» — подумал обиженный Кирюшка и вприпрыжку побежал к поджидавшему его деду Паителею.

На обратном пути они встретили целый обоз. На передией подводе сидели Калюкин и Сулии.

— Нарезали? — еще издалека заорал Калюкин, увидав телегу с грудой лозы.— Ну давай, давай, дедушка, плети, поторапливайся.

— Все в аккурат будет,— не спеша ответил дед и, сняв шапку, поклонился Сулину.— Далеко ли, Александр Моисеевич, поехали?

— В Каштымово, старик. В Каштымово...— ответил Сулин и, подмигнув Кирюшке, спросил: — Что, брат, и ты трудодни зарабатываешь? Ну, работай, работай... Это тебе не с пионерами трубы трубить.

«И что тебе дались эти пионеры?» — подумал смутившийся Кирюшка. Но пока он искал, что ответить, кони дернули, и весь обоз со стуком и грохотом прокатил мимо.

— Вес-селый человек,— задумчиво пробормотал дед Пантелей.— Баа-льшая голова.

Справа, на залитых лугах, два рыбака ставили мережи. Лодчонка у них была маленькая, вертлявая, и Кирюшке казалось, что вот-вот она опрокинется.

— Ничего им не сделается,— объяснил дед Пантелей.— Это старик Сидор и Ермила хромой. Они сроду к воде привычные. Ермила-то вовсе без одной ноги. Ногу ему в солдатах оторвало. А как плавает! Одной ногой по воде тырк, тырк, тырк, да так затыркает, что иной и с двумя за ним не угонится.

— Дедушка? — спросил Кирюшка, вспомнив про вчерашнее.— А кого это на островке водой захватило? Он бежит, бежит, добежал, повертелся да как кинется, а лед хр... хрр... А зачем он, дедушка, в ту сторону кинулся? Я бы в эту, а он в ту...

— А кто его знает? Ошалел, должно быть, человек. Я и сам не разберу: охотник — не охотник. Рыбу у нас там тоже не ловят. И жилья там никакого нет, только что оставался шалаш от покоса. Кто его знает? — отказался догадываться старик.— Кто-нибудь чужой, а не наш, деревенский.

Они подъезжали к Малаховке. С треском и лязгом навстречу выкатил трактор. Лошадка шевельнула ушами, скосила глаза и, раздувая ноздри, зафыркала.

— Здорово, дед Пантелей, счастливый человек! — озорно крикнул молодой кудрявый тракторист и крутанул рулем, уступая дорогу.

— Здорово, Михайло Бессонов, непутевая голова! — сердито ответил старик и стеганул заупрямившуюся лошадь, чтобы бежала быстрее.

— Это и есть Мишка Бессонов? — спросил Кирюшка, вспомнив вчерашние калюкинские ругательства.

— Он самый! — с сердцем ответил старик.— И всем бы хорош... И сам собой и в грамоте силен. А вот, пойди ты... Такой оголтелый! На рождество достал он где-то, пес его возьми, монашью рясу, нацепил под клобук волосы и приходит в избу. Стал у порога и славит: «Рожество твое, Христе боже наш, воссияй миру свет разума...» Ну, кончил славить. Поздравил с праздником... Я, конечно, и говорю старухе: проси к столу, как заведено, закусить, конечно... выпить. Выпил он стопку, выпил другую, поклонился, да и марш дальше. А потом, когда моя старуха узнала, так чуть меня со свету не сжила. А я-то при чем? Ну монах, думаю, и монах...

Но Кирюшка, которому очень понравилось такое забавное дело, громко рассмеялся. И вдруг ему показалось, что, может быть, этот Мишка Бессонов вовсе уж не такой плохой человек.

Улыбнулся и дед Пантелей. Он погрозил Кирюшке кнутовищем и, останавливая лошадь, сказал:

— Ну, я здесь отверну. А ты беги. Приходи в другой раз... корзины плесть научу. Да только смотри: в избу в шапке не заходи, а то у меня бабка беда какая строгая. Сразу выгонит.

По пути Кирюшка заглянул на скотный двор. Там, возле злого рогатого быка, он увидел Любку. Бык крутил мордой и пытался боднуть Любку, которая поливала его спину какой-то зеленой жижей и растирала жижу щеткой.

— Иди помогать. Подержи-ка ведро,— предложила Любка, и, ловко увернувшись, она крепко стукнула кулаком по могучей бычьей шее.

Но Кирюшка таких рогатых быков не любил. Он показал Любке язык и побежал домой, потому что очень захотелось ему поесть.

Только что завернул он за пожарный сарай, как увидел, что прямо навстречу катит Степашка — тот самый паренек, который вчера по приказанию Фигурана должен был бить его, Кирюшку, «до самой смерти».

Заметив Кирюшку, Степашка остановился. А Кирюшка с полного хода повернул обратно и, преследуемый победными криками Степашки, стремительно помчался куда глаза глядят.

Опомнился он только возле кузницы.

В непросохшей кузнице было чадно и дымно. Кроме Матвея, там работали еще двое.

— Что тебе? — спросил Матвей у Кирюшки, который потихоньку остановился в углу.— Иди, иди, тут тебе нечего толкаться.

Запыхавшийся Кирюшка стоял молча, и на глазах у него заблестели слезы.

— Что тебе? — уже мягче спросил Матвей.— Тебе доктор толком гулять велел, а ты... ты ночью обляпанный да разодранный приперся, то в чаду да в дыму торчишь... Тоже, кузница!..— с досадой добавил он, вытирая рукавом замазанный лоб.— В такой кузнице только при царе Дударе чертям вилы ковали.

— Мальчишка там,— негромко ответил Кирюшка.— Я бегу домой, а он бежит навстречу и драть меня хочет.

— Это дело серьезное,— согласился Матвей. И, кинув в горн железную полосу, он подошел к Кирюшке.— Большой мальчишка?

— Большой, дядя Матвей.

— А как большой?

Кирюшка запнулся.

— Ну, какой я, такой и он.

— Вот что, Кирилл,— сказал Матвей, провожая Кирюшку до двери,— ты мне голову не морочь. Я тебе в няньки не нанимался, да и ты не генеральское дите. У меня и без тебя дела много. Сам видишь... это что?

И Матвей показал туда, где возле стены лежала целая груда борон с вырванными зубьями, разбросанные плуги, диски, колесные шины и еще какие-то кривые, почерневшие железины.

— Беги,— приказал Матвей,— да скажи хозяйке, что обедать я только к ужину приду.

Кирюшка нахлобучил шапку и покорно побежал в гору. У пожарного сарая он остановился, настороженно оглядываясь по сторонам. Нечаянно обернулся он назад и тут увидел, что Матвей все еще стоит у двери дымной кузницы и пристально смотрит вдогонку.

Весело гикнул тогда Кирюшка и смело примчался к дому, где добрая Калюкиха навалила ему целую миску жареной картошки и налила в чашку холодного молока.

Днем Кирюшка соснул, а к вечеру, когда болтливая Калюкиха ушла к соседке, он достал чернила, бумагу и сел за письмо.

Письмо вышло бестолковое. Начал он с того, как влезли они в поезд. Но вскоре решил, что это не самое главное, и, не дождавшись отправления поезда, он перескочил на малаховскую дорогу.

Однако путь в Малаховку от станции был не близкий, и, еще не доехав полпути, Кирюшка остановился посреди самой грязи и решил, что пусть дальше мать сама добирается как хочет.

Потом он взялся описывать наводнение. Здесь дело пошло складно и споро.

Но тут, испугавшись курицы, которая сердито клюнула его в хвост, вертлявый серый котенок вскочил на стол и опрокинул чернильницу. Чернила залили и острова и хату деда Пантелея, а вместе с ними и всю Кирюшкину охоту продолжать это неудачливое письмо.

Тогда он коротенько дописал: «До свиданья, дорогая мама. Крепко целую и кланяюсь, а скоро напишу еще».

Потом он запечатал конверт, сунул в карман и полез под стол за паршивым котенком, чтобы потыкать его мордой в пролитые чернила.

Из-под стола котенок шмыгнул под лавку. Из-под лавки скакнул за печку. Из-за печки — на печку. Но все равно не уйти бы ему от разгневанного Кирюшки, если бы в избу не забежала Любка.

Она крепко осадила Кирюшку, сбросила грязный кожух, сдернула с гвоздя чистую поддевку. И, наспех поправляя растрепанные косы, спросила, где мать.

— У соседей, — ответил Кирюшка и, надувшись, спросил: — Ты чего толкаешься? Думаешь, если здоровая, так и толкаться? Я вот скажу дяде Матвею, он тебя толкнет...

— А провались ты со своим дядей Матвеем! — огрызнулась Любка.

Зачерпнув воды, она быстро сполоснула испачканные кровью ладони, накинула поддевку и, хлопнув дверью, выскочила на улицу.

«Что это дядя Матвей долго не идет? — с тревогой подумал Кирюшка. — И Любка как ошалелая. Отчего это руки в крови? Бык ее забодал, что ли?»

Кирюшка покосился на темное окошко.

Небо в тучах. Ни вчерашних звезд, ни золотой луны не было.

«То ли дело в городе,— вспомнил Кирюшка. — Глянешь на улицу — фонари. Трамваи — трры-трыыы... Автобусы — буу...уу... А здесь темно, тихо... Хоть бы Калюкиха скорее пришла».

Хитро щурясь, с печки смотрел зеленоглазый котенок.

— Кисынька, кисынька, — жалобно поманил Кирюшка, которому очень захотелось, чтобы хоть котенок посидел с ним рядом.

Но котенок не шел. Должно быть, боялся, как бы не потыкали.

Тогда Кирюшка запустил в котенка валенком и тотчас же кинулся вытирать со стола чернила, потому что услышал приближающиеся голоса.

Вошли Калюкиха, Любка, а за ними Матвей.

Пока Матвей умывался, Любка рассказывала, и Кирюшка так ее понял:

Вышла Любка к околице, вдруг слышит — кто-то идет и охает. Подняла Любка палку и окликнула, кто такой охает? Смотрит, а это тракторист Мишка Бессонов. И голова у него вся в крови. Задрожала тогда Любка и спрашивает: «Что с тобой, Мишка? Или спьяну?» — «Нет,— говорит Мишка,— не спьяну. Беги, Любка, кликни народ. У амбара замок сбит. Два чувала зерна в грязи лежат. Да какой-то дьявол меня сзади камнем по башке двинул».

И сорвала тогда Любка платок, завязала Мишкину голову, а сама скорее побежала сзывать народ.

— Мишке-то к ночи какое у амбара дело было? — недоверчиво спросила Калюкиха, кидая на стол полкаравая хлеба и плюхая миску с пересохшей картошкой.

— А он, маманя, с отцом вчера поругался. А сегодня, когда окончил норму, поехал на вчерашний участок — дай, думает, на самом деле посмотрю, неужели и правда, что шесть огрехов? Тут у него с трактором что-то случилось. Пока провозился, уже темно, а трактор ни тпру ни ну! Пошел Мишка пешком какой-то инструмент доставать. Проходит мимо амбара, а там вон что.

— «Ни тпру ни ну!» — передразнила Калюкиха. — Так и все у вас — ни тпру ни иу! А я вот думаю, как бы теперь отец в ответ не попал. Скажут то да се... да закрыл плохо, да замок худой...

Калюкиха помолчала, загремела по столу деревянными ложками и покосилась на Любку:

— А тебя, дуру, зачем к околице понесло? Или оттуда к дому ближе?

Но Любке не понравился такой вопрос.

Любка сердито глянула на мать и, усаживаясь за стол, коротко отрезала:

— К болоту ходила — лягушек слушать. До соловьев-то, маманя, еще далеко.

Матвей молчал. Он нехотя ел картошку, и Кирюшке показалось, что он думает о чем-то своем.

Так оно и оказалось. Когда Любка исчезла, а Калюкиха вздула фонарь и пошла поить скотину, Матвей закурил и сел на край Кирюшкиной постели.

— Люди! — пробормотал он и крепко сплюнул в угол. Он повернулся к Кирюшке и спросил: — Это не ты, Кирилл, случайно из амбара два чувала с зерном выволок?

— Нет, дядя Матвей!.. — испуганно отказался Кирюшка. — Я все время дома, я к матери письмо... я даже и не знаю, где амбар.

— Я и сам думаю, что не ты, — успокоил Матвей. — Вот подковные гвозди тоже... Как перетаскивались от воды, был мешочек, этак кило в пять. Искал, искал сегодня — нету мешочка. Вот, брат Кирилл! Доктор сказал, чтобы в поле... где покой. А сдается мне, что не туда мы с тобой заехали. Поле это — тут оно. А покоя я что-то мало вижу.

Матвей замолчал. Кирюшка молчал тоже. И вдруг показалось Кирюшке, что от Матвея чуть-чуть припахивает не то пивом, не то вином.

— А сегодня зашел я на базу, — продолжал Матвей. — Народ толкается не разбери-бери. Кто по делу, кто без дела. Вижу — умывальник. Снял я пиджак и умылся. Тут меня Федор окликнул. Подошел я к нему, поговорил. Вернулся, надел пиджак. Елки зеленые, что это карман легкий? Сунулся — бумажника нету. А в

бумажнике билет профсоюзный да двадцать пять целковых денег. Вот тебе и широкое поле!

— Воры завелись, — сочувственно поддержал Кирюшка. — А ты бы, дядя Матвей, в милицию...

— Что милиция, — пробормотал Матвей. — Тут не в одной милиции дело.

Он бросил окурок в лохань и потрепал Кирюшку по плечу.

Это обрадовало Кирюшку. И ему тоже захотелось сделать Матвею что-нибудь хорошее.

— Дядя Матвей,— предложил он,— мне мать на дорогу пять рублей дала, да своих у меня рубль двадцать было. Ты возьми. На что они мне? А в город вернемся, тогда, может быть, отдашь.

Матвей встал и неожиданно рассмеялся.

— Спи, Кирюшка. Спасибо. — Он опять улыбнулся и посоветовал: — А мальчишек ты не бойся и не прячься. Кто прячется, тех всегда бьют. А ты сам напирай крепче. Все равно, мол, наша возьмет!

— Все равно наша возьмет! — на бегу размахивая палкой, гордо восклицал Кирюшка.— Врангеля разбили, Деникина разбили, Магнитострой построили, и еще кого-то разбили, и еще что-то построили. Так неужели же теперь бояться какого-то несчастного длинноухого Степашки!

Кирюшка бойко завернул к почтовому ящику и тут увидел Фигурана, который слюнявым пальцем заклеивал конверт.

Фигуран торопливо сунул письмо в щель и молча уставился на Кирюшку.

Это смутило Кирюшку. Он неловко затолкал письмо в щель и тоже остановился, не зная, как же теперь начать разговор.

— Что ты за человек? — совсем не обращая внимания на Кирюшкину палку, хладнокровно спросил Фигуран. — Вор ты или честный человек? По делу приехал или без дела? Умный ты или дурак? Говори смелее и не бойся.

Кирюшка обиделся:

— Разве дураки такие бывают? Это сам ты ночью как полоумный козел скачешь да орешь. Вот они какие бывают. А Степашке твоему дядя Матвей уши нарвет. Он кузнец. Он как грохнет кувалдой по наковальне, толь-

ко огоиь сверкнет. У меня отец тоже кузнецом был и мать ударница. А у тебя отец кто? Пьяница! Сам я видел, как он пьяный ворочался. Я к тебе не лезу, и ты ко мне не лезь.

Фигуран дериул плечом, скривился и с издевкой спросил:

— Какой еще отец? Когда ты его видел? Да у меня и отца-то никогда не было.

— Так не бывает, — твердо возразил Кирюшка. — Бывает, что каких-нибудь дядей или тетей ие бывает. А отец и мать у каждого человека обязательно бывают.

— Нет у меия отца, — упрямо повторил Фигуран и, сплюнув иа носок своего рыжего башмака, со злорадством добавил: — И отца нет, и матери иет. А есть у меня только одии дед, да и тот кулак.

— Зиачит, и сам ты кулак! — зло отрезал Кирюшка.

— Зиачит, и сам я кулак! — громко повторил Фигуран и, насвистывая какой-то несуразный, озорной мотив, отошел прочь.

Однако, когда за обедом Кирюшка рассказал о своей встрече, Калюкиха неожиданно вступилась за Фигураиа:

— Врет он, какой там кулак! Мальчишке двенадцатый год, отец его пастухом был. Отца иет, мать в больиице лежит. Ну вот и закрутился. Дед этот, правда, раньше в кулаках ходил, а мальчишка горбатый, слабосильный, жрать надо. Вот ои возле деда вроде как бы за работника и пристроился — колодки ему строгает, дратву сучит. Только дед он ему ие родиой.

— Ои меня убить хотел, — пожаловался Кирюшка. — «Бейте его, говорит, до самой смерти».

— Что ты, что ты! — ахиула Калюкиха. — Ну и озорник! Да ты ему не верь, парнишка. Он такой выдумщик... Он здоровых мужиков иной раз так на смех поднимет, что дальше некуда. Всюду вертится, крутится. Чуть что заметит, раз-два — составит песню. А ее ребятишки перехватят... Глядишь, и иет человеку прохода... Ах ты, иегодиик! — продолжала волноваться Калюкиха. — Нет, обязательио надо деду сказать. Пусть отдерет хорошенько. Убить... Разве же этакими словами шутят?

Сначала Кирюшка обрадовался. Но вдруг он заворочался, поперхиулся кашей и, запииаясь, отказался есть.

— Не надо деду... Вот еще! — Тут он покраснел еще больше, замотал головой и, отвернув лицо к окошку, сердито добавил: — Не надо деду... Вот еще!.. Не хватало, чтобы за нас кулаки заступаться стали. — Он вытер рукавом показавшиеся от кашля слезы и виновато объяснил: — Что мне дед? Я и сам пионер. Он, Фигуран, горбатый, а у меня мускулы... во!..

Тут к воротам подкатила телега, и обрадованная Калюкиха бросилась к печке, потому что во двор вошел только что вернувшийся из Каштымова Калюкин.

Он был встревожен и неразговорчив.

Наскоро похлебав горячего, он отказался от гречневой каши и побежал разыскивать Мишку Бессонова.

Кирюшка был мастер. Он достал стамеску, ножик и принялся выстругивать водяную мельницу-вертушку. Мельница вышла что надо.

Он замел веником щепки, стружки и через дверку коровника, через вишневый сад, мимо старой бани, сквозь дыру забора выбрался к овражку, по которому протекал уже знакомый ему ручей.

Весело закрутилась и загудела Кирюшкина мельница. А Кирюшка-мельник притащил доску и стал налаживать плотину.

Скоро у него захолодали руки. Он натаскал сухих щепочек, немножко соломы, огляделся, достал спички и вздул костер.

Никогда раньше в городе не приходилось ему вздувать костер, и теперь Кирюшка рад был безмерно.

То он грел руки, то поправлял мельницу, то укреплял плотину, то рыскал, подбирая топливо.

Но вот костер зачадил, затих и затух. Бросившись на колени, Кирюшка изо всех сил принялся дуть на оставшиеся угольки. Лицо его разгорелось, и рот был полон дыма, когда костер затрещал и пламя вспыхнуло снова. Кирюшка поднялся, протирая обкуренные дымом мокрые глаза. Тер он долго, и когда наконец глаза открылись, он увидел, что наверху овражка, рядом с дырой в заборе сада, стоит все тот же Фигуран и смотрит вниз, на Кирюшкину работу.

Фигуран постоял, ничего не сказал и юркнул в дыру калюкинского сада.

— Черт его туда понес! — выругался испуганный Кирюшка. — Уж конечно, ябедничать за костер побежал.

То-то теперь Калюкиха ругаться будет. Да и Матвей опять рассердится.

Он затоптал костер, двинул ногой плотину так здорово, что с шумом рванувшаяся вода свалила мельницу и бурливый ручей, покачивая на гребнях пены, унес ее навеки от печального Кирюшки в неведомые реки и моря.

Вернулся домой Кирюшка не скоро — все боялся, как бы не заругали. Вошел он потихоньку и очень обрадовался, что ни самого Калюкина, ни Матвея не было дома.

Но Калюкиха спросила его, не промочил ли он ноги и не хочет ли хлеба с молоком. И это показалось Кирюшке странным, потому что никогда не бывает так, чтобы сначала давали поесть, а ругаться начинали потом, а всегда сначала отругают, а потом уже дают поесть.

«Значит, Фигуран не нажаловался. Молодец Фигуран!» — похвалил Кирюшка, позабыв о том, что только недавно он и сам наябедничал на Фигурана Калюкихе.

Было уже совсем темно. Мужики еще не приходили.

Вдруг черная собака во дворе громко зарычала и зазвенела цепью.

— Это кого еще несет? — с неудовольствием спросила прилегшая отдохнуть Калюкиха.

Собака залаяла еще громче, но с улицы в окошко никто не стучал и хозяев не вызывали.

— Кого еще принесло? — уже с тревогой пробормотала Калюкиха, соскакивая с постели и торопливо распахивая окошко во двор.

Во дворе, заливаясь озлобленным лаем, черная собака яростно рвалась с цепи, но не к улице, не к калитке, а в сторону темного сада.

Калюкиха прикрикнула на собаку и захлопнула окошко.

— Зря брешет. Должно быть, чужой пес в сад забежал. Летом — тогда мальчишки за вишнями лазят. А сейчас кому там надо?

Собака притихла. Калюкиха улеглась. Кирюшка спрятался на свое место, за печку.

Вскоре пришли Матвей и Калюкин.

Калюкин был веселее, чем за обедом.

— Все цело, — рассказывал он, — даже два порожних мешка в прибытке. Я эти мешки от грязи вымыл и высушил. Мешки крепкие, новые. Не иначе, как тоже гделибо своровапы.

— Воры-то не на примете? — спросил Матвей. — У меня на заводе папиросный окурок не пропадал. А тут... на-ка, бумажник сперли!

— Вот народ! Вот народишко! —рассердился Калюкин. — У своих прут, у чужих воруют. А не думаю я на наших... Обязательно это кто-либо из городских.

— Из каких городских? — не понял Матвей. — Городских-то у вас на селе, кроме нас, много ли?

— Что ты... Что вы! — смутился и обиделся Калюкин. — Разве я про таких? Я про тех, что когда стали у нас с трудоднями нажимать: кто, мол, не работает, тому и нет ничего, — так мало ли, думаешь, лодырей в город утекло. А в городе — сам знаешь... Туда он сунется, сюда. Там паек урвет, там спецовку, здесь задаток. А вот нынче, когда стали заводить паспорта, то и спрашивают: «Где работаешь? Сколько работаешь? Ах, и там и тут без году неделю?» Да как турнут их всех обратно, по домам. Москва, говорят, хотя город и богатый, а дармоедов крепко не любит... Разбуди-ка ты меня, Маша, пораньше, — попросил он Калюкиху. — Мне завтра опять в Каштымово. Там хлопот, надо думать, на целую неделю. А дорога плохая. Сегодня у Куракинской рощи два ямщика чуть в ручей не угодили.

— Сулин когда вернется? — спросил Матвей. — Мне без него не с руки. Вы бы его поскорей оттуда...

— Нельзя поскорей. Он человек хитрый, напористый, — быстро раздевшись и шмыгнув под одеяло, ответил Калюкин. — Дня через три, надо думать, вернется.

И Калюкин проворно повернулся к стене, укрылся с головой и почти тотчас же захрапел.

В избу с корзиной вошел дед Пантелей.

— Спит, что ли? — спросил он, кивая бородой на Калюкина. — Ну пускай спит. Корзину я оставлю. Встанет, пусть посмотрит, такая ли. А то наплетешь, ан и задаром.

— Отдохни,— предложил Матвей,— садись, старик. Куда торопишься?

— Мне не время, — присаживаясь на лавку, ответил дед Пантелей. — Мне на караул идти. Ночью я керосин караулю. Паек мне за это, тридцать пять рублей да зимой тулуп с валенками. Посидишь в избушке, выйдешь — хорошо, тихо. Обошел — опять в избушку. Керосин — не хлеб: тут воров бояться нечего. Как затарахтят колеса,

выйдешь к подводчикам: «Эй, ребята!.. Гляди с куревом потише!» Те, конечно, цигарки в рукав, коней кнутом. А там кури в поле сколько душе мило. Я и сам раньше потихоньку этим делом баловался. Да как-то старуха табак нашла, чуть из хаты не выгнала. Крепко сердитая она в тот год ходила.

Дед Пантелей тихо рассмеялся и поднялся с лавки.

— А в нынешнем году подобрела она, что ли? — спросил улыбнувшийся Матвей.

— Как не подобреть? И теперь год, да, гляди, не тот. На сытой жизни всяк подобреет. Хлеба заработали, свинью завели, козу. Старуха — а восемнадцать трудодней заработала. Жизнь теперь у нас кругом тихая, мирная.

— А замок у амбара отбили!.. Это что же, мирная?

— Что замок, — не задумываясь, ответил дед Пантелей, — так это озорство. Должно быть, парни спьяну покуражились. Кабы теперь голод! А то давай работай — пуза не нарастишь, а сыт, одет будешь... Так спроси, милый человек, про корзины. Я тогда скоренько наплету. Гривен, думаю, по семи положить. Семь на двадцать — это четырнадцать... Да козу продам, да еще как-нибудь — вот тебе и телка. Коза, сколько ее ни корми, все козой останется. А из телки, глядишь, и корова.

— Душевный старик, — сказала Калюкиха, когда дед Пантелей вышел. — Все-то ему хорошо, всему-то радуется. И то сказать, — заваливаясь в постель, добавила она, — работников у них нет: он да старуха. Мы-то еще, может, как-нибудь, а ему, если как бы по-старому, то одна дорога: срубил две клюки, сшил две сумы, да и пошел со старухой по миру... Вот чертова девка Любка! — неожиданно рассердилась Калюкиха. — И где-то ее каждый вечер носит?

— Дело молодое, пусть гуляет,— снимая сапог, объяснил Матвей.

— Замуж, боюсь, не выскочила бы,— помолчав немного, ответила Калюкиха.

— Ну и пусть выходит, тебе-то что?

— Жалко,— созналась Калюкиха.— Кабы за хорошего человека, это еще туда-сюда. А то ведь сама атаманка да приведет еще, как это говорится, с черного крыльца веселого молодца! Куда я тогда с ними с такими денусь?

— Она девка толковая,— успокоил Матвей. И, раздумав ложиться, он опять обулся.

— Это что и говорить,— согласилась довольная Калюкиха.— Девка — огонь... Умница. На скотном дворе у нас — первая ударница.

Спать Матвею не хотелось никак. Он вышел на улицу и пошел наугад.

Кое-где еще в окнах блестели огоньки. Где-то очень далеко играла гармошка. Лаяли собаки. А черное небо сверкало неисчислимым множеством удивительно ясных звезд.

Постепенно непонятное и беспокойное чувство глубже и крепче охватывало Матвея. Он растерянно высморкался, но это не помогло. Тогда он закурил, откашлялся, сплюнул, но и это не помогло тоже.

— С чего бы так? — удивился Матвей и, внимательно осматриваясь по сторонам, пошел дальше.

У пригорка, где чернели две корявые березы, он остановился. Гармоника играла тише. Собаки лаяли глуше. И только небо горело звездами все так же ярко.

Только тут Матвей вспомнил, что много лет назад так же вот, при звездах, но и при винтовке, настороженно оглядываясь, шел он в разведку по чужому, незнакомому селу.

«Черт те что! А ведь долго просидел я в городе,— понял Матвей.— А в городе из-за фонарей звезды плохо видны».

Он зашагал дальше. Беспокойство прошло, но что-то осталось. И через минуту Матвей уже думал о том, что завтра же надо поговорить с председателем колхоза, который, с тех пор как сдохла у него корова, не то ослеп, не то сдурел, а только плохо что-то смотрит он по сторонам.

Когда Кирюшка продрал глаза, то увидел, что на столе лежит картофельная лепешка, коровий студень и печеная репа. Все это очень понравилось Кирюшке.

Поэтому он быстренько оделся, умылся и сел на лавку. Тут в окошко стукнула какая-то баба. Калюкиха отворила фортку. Что-то ей там сказали, и Калюкиха, накинув платок, кликнула Кирюшке, чтобы он подождал Любку, а сама пошла к соседке.

И это Кирюшке понравилось еще больше.

Для начала он решил съесть лепешку, потом репу, а самый вкусный студень оставить напоследок.

Он сидел перед столом, спиной к двери, и уже доканчивал лепешку, как в сенях послышались шаги.

«Любка идет»,— подумал Кирюшка.

Он торопливо проглотил последний кусок и решил, перескочив через репу, приняться сразу же за студень, так как знал, что эта Любка и сама поест не дура.

Он потянулся к миске, выбирая кусок получше. Выбрал, торопливо поддел ножом и потащил. Но трясущийся кусок, как нарочно, хлюпко шлепнулся на середину стола. Кирюшка виновато улыбнулся и увидел, что никакой Любки нет, а прямо у порога стоит и смотрит на него Фигуран.

И это уж совсем не понравилось Кирюшке.

— Тебе чего? — грозно крикнул испугавшийся Кирюшка, вообразив, что Фигуран нарочно прятался всю ночь в саду, поджидая, пока он, Кирюшка, останется один.

— Деньги подавай,— спокойно ответил Фигуран.

— Какие деньги? — с дрожью переспросил Кирюшка, решив, что этот проклятый Фигуран уже как-то успел разузнать про ту самую пятерку, которую подарила Кирюшке на дорогу мать.

— Четыре с полтиной за сапоги, вот какие,— невозмутимо продолжал Фигуран.— А то дед пьяный лежит; скажи, говорит, коли тебе не отдадут, то сам приду.

— Нет хозяев,— важно ответил успокоенный Кирюшка и потянулся к упавшему куску студня.

— А коли не ты хозяин, так зачем же орешь? «Чего тебе да чего?» Ладно, я подожду, — добавил Фигуран и сел за стол напротив Кирюшки.

Кирюшка отложил студень и молча принялся за репу. Фигуран тоже замолчал, и занятому едой Кирюшке не было заметно, с каким аппетитом посматривал Фигуран на богатый Кирюшкин завтрак.

Вдруг Фигуран облокотился на стол и, глядя куда-то вкось, на вешалку, что ли, равнодушно сказал:

— А здорово ты тогда палкой Степашку свистнул. Уж он выл, выл! Да еще отец ему тычка дал. Вы, говорит, разбойники, все окна мне булыжниками повышибаете.

Кусок студня так и задрожал в Кирюшкиной руке.

Недоверчиво, но радостно посмотрел он на Фигурана. Не врет ли? Но, по-видимому, Фигуран не врал.

— Так это... это разве был Степашка? — взволнованно и почти заискивающе спросил Кирюшка у Фигурана, который вдруг показался ему очень хорошим человеком на этом свете.

— А то кто же?— все так же бесстрастно продолжал Фигуран, лениво поднимая со стола кусочек студня и рассеянно запихивая его в рот.— Он самый и был. Он в тебя глиной — раз, раз... а ты как свистнул палкой, так прямо ему по шее. Сам приходил, жаловался: «Ох, говорит, и здорово!..» — Фигуран улыбнулся, подобрал еще крошку и насмешливо посоветовал:— А ты его не бойся. Он и сам тебя боится.

— Я и не боюсь,— твердо ответил Кирюшка. И, запнувшись, он предложил: — Если хочешь, ты тоже ешь студень. Мы немножко сами поедим, немножко и Любке оставим.

— И то разве съесть?— согласился Фигуран и жадно хапнул кусок пожирней и побольше.

Но Кирюшке теперь было все равно. Гордый своей неожиданной победой над Степашкой, он подобрел, заулыбался и охотно рассказал Фигурану почти всю свою жизнь.

Рассказывал он горячо, но бестолково. То про отца, то про собаку Жарьку, то про свой огромный завод, то про таинственный темный планетарий, где послушно движутся луна, солнце, кометы и звезды. Потом научил Фигурана, как можно пробраться без билета в кино. Потом рассказал про грозный октябрьский парад, где скакала на конях, гудела на аэропланах и гремела танками могучая Красная Армия. А кстати похвалился и тем, что видел он однажды настоящего, живого Ворошилова. И хотя тут Кирюшка приврал немного, потому что видел он Буденного, однако это уже не так важно, потому что Буденный хотя и не Ворошилов, но все равно... Пусть только попробуют нас тронуть! Он тогда — и Буденный им тоже... Ого-го!

— Студень-то мы весь сожрали,— неожиданно перебил Фигуран.— Вот придет Калюкиха, она теперь задаст.

Раскрасневшийся Кирюшка замолчал. Действительно, ни лепешки, ни репы, ни студня на столе не было.

Ои смутился, почувствовал, что нечаянио получилось оно как-то ие так. Но горевать было уже поздно. Он сдвинул брови, подумал и вполголоса предложил:

— А ты беги пока, Фигураи, будто ты еще ие приходнл. А я крошки иа пол покидаю и сам пойду на двор играть. Она придет, а я скажу: «Не зиаю... Должно быть, это ваша кошка сожрала».

— Кошкн такой студень не жрут. Собака — та еще сожрет, а кошкам ои ни к чему.

— Вкусный ведь,—иедоверчиво возразил Кирюшка.— Там и кожа и мясо.

— Там перцу напихаио, чесноку да луку. Разве же что кошачье? Ты уж лучше сиди и ие ври... А вои и Калюкнха ндет.

Но, к счастью, Калюкиха была чем-то расстроеиа. Она сердито сунула Фнгурану четыре с полтиной, схватила ведро н вышла во двор.

Воспользовавшись этнм, Кирюшка кое-как иакинул пальтишко и вслед за Фигураном выскочнл иа улицу. Здесь оии оба остановились.

Теперь оставалось или идти вместе, или расставаться. Кнрюшке хотелось вместе. Фигуран молчал.

Кнрюшка сунул в кармаи руку и иащупал там два куска сахару. Ои положнл сахар на ладоиь и протянул Фнгурану, чтобы тот выбрал сам.

Не раздумывая, Фнгураи схватнл кусок побольше, сунул его за щеку н нахмурнлся.

— Ты добрый, только ты дурак! — сердито пробормотал ои. И не успел еще Кирюшка обндеться, как Фигуран решительно дернул его за рукав:— Пойдем. Я только забегу, деду деньги отдам. А там прихватнм еще когоннбудь и айда в Чарабаевскую рощу — иа льднnах кататься.

Крнвыми уличками, через чужие дворы, через разгороженные сады оин быстро добежали до того самого домика, возле которого очутился Кнрюшка после иочного боя.

— Подождн,— приказал Фигуран.— Я скоренько.

Кирюшка остановился. Теперь он увидел, что нзба эта вовсе ие такая малеиькая, какой показалась ему иочью. Изба была узкая, но длиииая, перегорожеииая иа две половииы. Окна второй половииы были наглухо забиты,

а дверь, выходившая к саду, крест-накрест заколочена трухлявыми досками.

Кирюшка постоял, посмотрел на голубей, которые суетливо ворковали у края проломанной крыши. Поймал черную муху, выползшую погреться на солнце. Подразнил прутиком толстого гуся, который важно шел вперевалку, как какой-нибудь генерал или царь, а Фигурана все не было.

«И чего копается?» — нетерпелнво подумал Кирюшка.

Он зашел во двор и заглянул в окошко. И тут он увидел вот что: опять, как и в прошлый раз, лежал на кровати могучий пьяный старик. У изголовья стояла табуретка. На табуретке — стопка, пустая бутылка и огрызок огурца.

Вдруг дверь из сеней отворилась, и очень осторожно вошел Фигуран. Он нес целый огурец и две бутылки: пустую и почти полную. Потихоньку поставил Фигуран на табуретку пустую бутылку, положил рядом огурец, потом отлил немного водки из полной бутылки в пустую, откусил кусок огурца и, заткнув пробкой остаток водки, понес ее обратно.

Ничего не понял из всего этого Кирюшка, но ему показалось, что самое лучшее будет убраться от окошка подальше.

Вскоре выскочил и Фигуран. Молча, но весело махнул он Кирюшке. Опять через мостики, овражки, сады — и ребята остановились перед воротами, за которыми слышалось какое-то похлопыванье.

— Погоди! — сказал Фигуран и приткнулся глазом к щелке.— Ага!.. Тут он. Ну ладно!..

Лицо Фигурана сразу сделалось серьезным... пожалуй, даже торжественным. Он выставил ногу вперед, поднял голову и громко запел:

Степашка, Степашка,
проклятый человек!..
Степашка, Степашка,
проклятый человек!

Хлопанье во дворе сразу прекратилось. Фигуран замолчал тоже. Кирюшка двинулся было посмотреть в щелку, но Фигуран потихоньку оттолкнул его за уступ.

Во дворе опять захлопали.

— Степашка, Степашка, проклятый человек! — снова громко и торжественно запел Фигуран.

— Ну, что тебе? — послышался из-за ворот жалобный и негодующий отклик.

Фигуран молчал.

— Ну, что тебе? — завопил из-за ворот тот же голос. И кто-то быстро побежал к калитке.

— Чего дома сидишь? Выдь на минуту,— позвал Фигуран.

За воротами помолчали.

— Выдь, говорю, на минуту. Дело есть.

— Да!.. А ты опять чего-нибудь...

— Чего опять? Чего, чего?.. «Чего-нибудь»! — передразнил Фигуран.— Выдь, говорю. На бугре ребята дожидаются. Айда в Чарабаевскую рощу — на льдинах кататься.

— Я бы пошел,— высовываясь из калитки, заныл Степашка,— да меня мать перины выбивать заставила.

— А ты залетай в избу, да и заори: «Маманька, маманька, я уже все выбил, больше не выбивается». Да что с тобой разговаривать? Не хочешь, и без тебя пойдем.

Но Степашка никуда не стал залетать. Он кинулся во двор, схватил висевшее у крыльца пальтишко, прошмыгнул под окошком, выскочил на улицу и прямо столкнулся с Кирюшкой.

— Стойте!— грозно приказал Фигуран.— Нынче драки не будет. Нынче будет игра.

Кирюшка посмотрел на Степашку, Степашка на Кирюшку, и оба нахмурились.

Но так как Фигуран уже тронулся, то раздумывать было некогда. И оба они, суровые, непреклонные, гордо понеслись рысью в гору.

По пути встретили какого-то длинноносого Санька, потом толстого Павлушку, потом еще сразу трех, потом еще сразу четырех. И целой ватагой пронеслись в поле.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Очень звонко трепетали в небе первые жаворонки.

Очень ярко сияло весеннее солнце.

И очень смело ринулся отряд ребят туда, где синела Чарабаевская роща, на тенистых прудах которой тихо

плавали еще не растопленные солнцем, тяжелые голубые льдины.

Выбравшись к берегу, разделились на четыре флотских экипажа.

— Командовать буду я,— предупредил длинноносый Санька, подтягивая шестом громоздкую и неуклюжую льдину.— У вас — как хотите, а у меня — ледокол «Красин». А ну, матросы, запрыгивай на ледокол.

Матросы запрыгнули, но Фигуран обиделся:

— Почему ты? Разве ты выдумал? Плевал я на твою команду!

— Я буду командовать,— строго повторил здоровенный Санька.— Уж не ты ли? Подумаешь, какой командир выискался.

Санька согнулся и, закинув голову, опустил руки, передразнивая горбатого Фигурана. Ребята засмеялись.

— Ладно, командуй,— пробормотал Фигуран и, кликнув Кирюшку со Степашкой, повел их вдоль берега.

Вслед за первой отчалила вторая льдина, потом третья, которая прихватила короткое бревно вместо мины. И давно уже вся эскадра ушла на середину пруда, а Фигуран со своим экипажем все еще возился у берега. Они выбрали совсем небольшую льдинку с высоким острым носом и раздобыли рваный рогожный парус.

— Мала очень,— замялся было осторожный Степашка.— У них вон какие махины... а у нас что?

— Стой да помалкивай! — огрызнулся Фигуран.— У них колоды, а у нас крейсер.

— Стой да помалкивай,— поддакнул догадавшийся Кирюшка и кинулся за Фигураном подбирать комья, чурки и палки.— Громить будем? — тихо спросил Кирюшка.— Так им и надо. Не они придумали.

Быстро и дружелюбно глянул Фигуран на взволнованного Кирюшку и молча кивнул головой.

Притащили на берег целую груду всякой всячины. Оттолкнулись от берега, растянули по ветру рогожный парус, и легкий голубой крейсер быстро помчался догонять не подозревавшую измены эскадру.

— Что так долго?— повелительно окликнул Санька.— Не лезьте вперед, идите в хвосте, самыми последними.

Фигуран молча выпрямился, ловко метнул чурку и угодил Саньке прямо в живот. Санька взвыл, заскакал, но снарядов ни у него, ни у других кораблей не было.

Дважды с трех сторон окружала эскадра восставший крейсер. Но, подгоняемый ветром, легкий, увертливый, он прорывался через кольцо, не переставая беспощадно громить неприятеля.

На третий раз крейсер едва не погиб. Только что бледный, запыхавшийся артиллерист Кирюшка метко бабахнул по капитанскому мостику, как вдруг шест из рук Степашки выскользнул. И крейсер, неловко закружившись, застопорил на месте.

— Мина! — отчаянно заорал Кирюшка. — Берегись, мина!

Но было уже поздно. Пока Степашка перехватывал шест, пока отталкивался, тяжелое, чуть видиеющееся над водой бревно ударило о левый борт. Крейсер накренился, и вся команда полетела на палубу.

— Бей из всех батарей! — закричал Фигуран и, схватив тяжелую палку, грохнул по опасному миноносцу.

Но это получалась уже не игра. Палка треснула Павлушку по затылку и сбила его фуражку в воду. В ответ с миноносца метнулся тяжелый шест и едва не сшиб Кирюшку за борт.

— Упадем! — захныкал Степашка.— Теперь поймают, крепко бить будут.

— Пусть сначала поймают,— буркнул Фигуран.— Натягивай парус. Стой, Кирюшка, и чуть что — бей остальными комьями.

Крейсер вздрогнул и под озлобленные выкрики преследователей быстро понесся в ту сторону, где виднелось устье неширокого канала.

— Уйдем,— подбадривал Фигуран.— Пойдем по каналу, завернем на круглый пруд, оттуда — к мостику. Когда еще они туда дотяпают!

И чтобы показать, что он нисколько не боится, Фигуран поднял шапку на шест и, гримасничая, подпрыгивая, громко заорал тут же сочиненную песню:

Санька жулик, Санька вор,
Санька курицу упер...
Это было в прошлом годе
На колхозном огороде!..

— Ловко я его? Ишь, как ругается. Так тебе и надо, куриный обжора! — громко заорал Фигуран.— Я еще не про такие твои дела спою.

Однако положение крейсера оказалось совсем неважным. Едва вошли в канал, как на пути появился пловучий лед. Пока лед попадался редко, кое-как еще маневрировали. Но когда завернули вправо, то сразу очутились посреди густого ледяного поля. А тут еще крейсер, уже поврежденный ударом мины, при первом же толчке содрогнулся, и поперек палубы протянулась угрожающая трещина.

— Пробиваемся к берегу! — скомандовал Фигуран.— А ну, нажимай, Степашка.

— Бить будут,— захныкал покрасневший от натуги Степашка.— Говорил — игра, а сам — по башке палкой.

Кирюшка молчал. Все еще не опомнился он от боевой горячки, все еще булькала перед ним вода, хлопал рогожный парус и обжигали лицо брызги холодной воды.

Уже у самой земли льдина треснула пополам, и Степашка, неловко поскользнувшись, провалился по пояс в воду. Кое-как вытащили его на берег.

И было самое время. Уже догадавшиеся о том, что крейсер попал в беду, с шумом и грохотом вынеслись изза поворота преследователи.

Слева — вода, справа — кустарник и залитые водой ямы: увильнуть было некуда. Окоченевший, мокрый Степашка в тяжелых разбухших сапогах бежал медленно и жалобно вопил, чтобы его не бросали.

— Не ори, дурак! Не бросим! — зашипел Фигуран и, обернувшись, увидел, что долговязый Санька уже мчится вдоль берега впереди своей разъяренной команды. — Сюда! — напрягая последние силы, крикнул Фигуран и полез напролом через ямы, через обломки и груды мусора туда, где стояла посреди развалин заколоченная церковь Чарабаевского имения.

— Сюда! — раздвигая сухой кустарник, показал Фигуран.

Они остановились перед узким решетчатым окошком почти у самой земли. Фигуран распахнул ржавую решетку и спрыгнул. Вслед за ним — Кирюшка и Степашка. Задвинули изнутри засов и по маленькой лесенке пробрались внутрь холодной, полутемной церкви.

— Пускай поищут,— сказал измученный Фигуран.— Не хнычь, Степашка. Скинь сапоги, выплесни воду.

Кирюшка сел на перевернутый ящик. Высоко, под куполом, пробиваясь сквозь разбитое окошко, блестели

острые яркие лучи и озаряли пышную бороду седого и грозного старика. Рядом со стариком были нарисованы маленькие люди без ног и без живота, а только с головами да с крыльями. И Кирюшка сразу же догадался, что старик — это и есть самый главный поповский бог, а крылатые головы — это его ангелы.

С любопытством рассматривал Кирюшка яркие облупившиеся стены, позолоченные деревянные ворота и великое множество всяческих икон и картин.

На одной картине был изображен закутанный в простыню тощий черноволосый дяденька, который по длинной, как пожарная, лестнице проворно забирался на самое небо. На другой — какой-то генерал, а может быть, и царь, стоял перед святой девицей. И надо думать, что девица эта крепко ругала и царя и его гостей, потому что один гость становился уже на колени, а другой так и обалдел, разинув рот и сжимая в руке жареную гусиную ногу.

Потом он увидел картину, где святого старца запихивали головой в печку. И еще картину, где кого-то стегают плетьми. И еще и еще разные забавные священные картины со святыми, с палачами, с ангелами и с хвостатыми и зубатыми зверьми.

— А где же черт? — заинтересовался Кирюшка. Однако черт, вероятно, спрятан был где-либо в темном месте, и на глаза Кирюшке он не попадался.

Тогда Кирюшка спросил об этом у Степашки. Но Степашке сейчас было не до черта. Мокрый до пояса, грязный, продрогший, он никак не мог натянуть разбухшие сапоги.

Слышно было, как снаружи взбешенная Санькина команда старательно обыскивает кусты и закоулки вокруг церкви.

— Вот дурак! — рассердился Фигуран.— Мы на берег, а он — хлоп в воду! И что ты за несчастный человек, Степашка! То тебе палкой по шее, то в воду, то прошлой осенью голым местом в крапиву сел... А ты что рот разинул? — накинулся он на Кирюшку.— Костер разводить надо.

— А спички?

— Есть у меня спички. А щепок на полу сколько хочешь.

— А Санька?

— Плевали мы на Саньку. Что он, решетку вырвет, что ли?

— А сторож?

— Какой сторож?

— Ну, черный такой, бородатый, с дубинкой.

— Какой еще с дубинкой? Тут никакого сторожа нет. Ангелов ему сторожить, что ли?

Наломали трухлявых досок, натащили раскрашенных деревяшек, положили на каменную плиту и подожгли. Тысячами огоньков заискрилось и отразилось пламя на узорчатой позолоте разноцветной люстры, на посеребренных иконостасах, на подсвечниках и на пыльных стеклышках разноцветных лампадок.

— Снимай штаны и залезай на ящик! — скомандовал Фигуран.— Выжми да к огню — разом просохнут. Ну, что ты глаза выпучил?

— Да-а!.. А как же я без штанов? — покосившись на образа, завопил опечаленный Степашка.— Разве же здесь баня?.. Тут церква...

Фигуран плюнул.

— А что тебе церковь? — возмутился Кирюшка.— Бога нет. Святые — обманщики. Попы — жулики. У нас на заводе — в церкви кино, а на колокольне — прожектор.

— Да ведь то кино... а то штаны скидывать,— засомневался Степашка.— Ну я скину, а в чем же? Так, что ли, голый?

— В мое пальто завернешься,— позволил Кирюшка.— А мне и так возле огня тепло... В бога только глупые верят. Да которых попы обманули, — усаживаясь рядом со Степашкой, продолжал Кирюшка. — Ну-ка, скажи, если бы был бог, разве позволил бы он советскую власть? Он грохнул бы молнией, да громом, да ветром затряс бы землю. Так бы все и повалилось. А то ничего не валится.

— А учитель рассказывал, что где-то на Кавказе один раз земля дрогнула и что-то там повалилось.

Кирюшка насупился:

— Так это что? Ну, дом какой-нибудь повалился, заборы. Так на их месте новые еще могут построить. Это просто землетрясение. А советскую власть все равно никогда не стрясет.

— А у нас к одной бабке пришел монах, попросил милостыню, а баба его турнула,— не унимался Степаш-

ка.— Вот он обернулся и говорит: «Баба, баба, не будет тебе теперь житья от бога!» И что ты думаешь? Прошло года три или четыре. Она уже совсем и позабыла. Пошла баба на свадьбу. Песни пела, с мужиками плясала. Одного только вина почти целый литр выпила. А ночью схватило у нее живот, да на другой день и померла. Вот он ей как правильно предсказал!

Но тут уж Кирюшка совсем рассердился. Он облизал губы и сунул Степашке фигу:

— Вот еще предсказатель!.. Кабы она сразу грохнулась, а то через четыре года... Этак и я тебе сколько хочешь давай предскажу.

— А ну, предскажи, — ухмыльнулся Степашка.

— И предскажу. Все в точку. Ну вот... Вернешься ты сегодня домой, а мать увидит мокрое пальто да взбучку задаст. Не правда, что ли?

— Может, не заметит, — поеживаясь, возразил Степашка.

— Обязательно заметит, — злорадно продолжал Кирюшка... — Ну вот... придет лето — будешь ты по чужим садам да огородам лазить. Хозяева поймают да крапивой, да крапивой хорошенько. Ну, потом вырастешь, а потом обязательно помрешь. Все, все в точности предсказываю! — с азартом закончил Кирюшка. — Об чем хочешь давай спорить, что все так и будет. А ты мне «монах да монах»! У нас из города всяких монахов давно повыгнали. Это вот возле таких дураков, как ты, только им и житья осталось.

Взглянув на Фигурана, Кирюшка замолчал. Фигуран насторожился, приложив ладонь к оттопыренному уху, и показал ребятам кулак.

— Что ты? — шепотом спросил, испугавшись, Степашка и поспешно двинулся к костру за своими штанами.

— Кажись, Санька у решетки возится, — тихо ответил Фигуран. — Пусть попробует, все равно снаружи не отпереть.

Фигуран поднялся и на цыпочках, размахивая длинными руками, пошел к лесенке. Он спустился до половины, постоял и вернулся назад.

— Нет никого,— успокоил он.— Должно быть, кто-то торкнулся и ушел.

— Фигуран,— добродушно спросил Кирюшка,— а если твоя мать выздоровеет, ты все равно у деда будешь жить?

— Какой он мне, к черту, дед! — тихо и злобно ответил Фигуран и отошел прочь.

Ходил он долго, выбирая из рухляди чурки и щепки, а когда вернулся, то сел рядом со Степашкой и неожиданно предложил:

— Давай, брат Степашка, споем военную песню. А если он слов не знает, то пусть подхватывает.

— Да... А в церкви-то...— опять заколебался Степашка.

— Ну, балаболка, заладил: в церкви да в церкви...— И чтобы подзадорить Степашку, Фигуран похвалил: — Ты, брат Кирилл, не смотри, что он с лица такой, как будто бы его чурбаком по макушке стукнули. А голос-то, голос... соловей-птица. Ну, запеваем!

Как за синим лесом гром-гроза...—

затянул Фигуран и резко подтолкнул Степашку локтем.

Командир Буденный красным сказал,—

даже неожиданно до чего звонко подхватил Степашка и, сощурив подслеповатые глаза, грозно нахмурился:

Все ли вы на месте?
Скоро бой.
Тру́сы, с коней слезьте!
Храбрые — за мной!

Хорошая это была песня. Всегда от таких песен смелее шагал и прямее смотрел Кирюшка. А однажды, в первомайский праздник, залез он на высокую стену, чтобы расправить красный флаг. И упал. И больно расшибся. И не плакал.

«Что плакать? Люди не от такого и то не плакали».

Под конец Степашка взял так высоко, что зазвеневшее эхо метнулось к самому куполу и вместе с парой испуганных ласточек стремительно умчалось через солнечный пролет разбитого окошка.

— А ты еще наврал мне, что кулак,— пристыдил Фигурана раскрасневшийся Кирюшка.— Это хорошая песня, советская. А кулак хоть сто лет пой, все равно у него такая не споется.

Внезапно Степашка взвизгнул и, выскользнув из-под пальто, кинулся к своим штанам.

— Черти! — отчаянно завопил он.— «Давай песню...

песню!» А на заду углем вон какую дыру прожгло. Теперь уж мать обязательно заметит.

— И что ты за несчастный человек? — опять удивился Фигуран.— И всегда тебе если не в лоб, то по лбу. А ну-ка, надень штаны.

Степашка натянул еще сырые, но уже теплые штаны и повернулся спиной к свету. Действительно, не заметить было трудно. Подштанников на Степке не было, и сквозь дыру очень ясно просвечивало голое тело.

— Гм,—откашлялся Фигуран.—Это действительно...— Он облизал языком губы, приумолк и вдруг придумал: — А мы возьмем да намажем под дырой сажей. Штаны черные, и кожа будет черная. Вот и незаметно. Потом придешь да потихоньку зашьешь. Наскреби-ка, Кирюшка, сажи. Дай я ему сам смажу.

— Да-а! По голому-то! А все ты... «Песню да песню»! А теперь — сажей,— растерянно бормотал Степашка.

— Так оно надежней будет,— успокоил Фигуран.— Ну вот и готово, совсем как у негра. Айда, ребята! Теперь домой можно.

Затоптали костер, и в церкви опять стало темно и холодно.

— Завтра опять соберемся,— предложил Кирюшка,— игру какую-нибудь выдумаем, шайку!

— Завтра мне никак нельзя,— твердо отказался Фигуран.— К завтрему дед проспится, а я еще дратвы да деревянных гвоздей не наготовил.

— И мне нельзя,— добавил Степашка,— завтра в Каштымове ярмарка. Отец с собой взять обещался.

Фигуран остановился. По-видимому, такое Степашкино сообщение отчего-то ему совсем не понравилось.

Он помолчал, потом молодцевато присвистнул:

— Подумаешь, ярмарка! Ну что там интересного, на ярмарке? Грязища, мужики все на работе, какая там ярмарка — одни семечки! Я лучше завтра скоренько отделаюсь, а потом махнем все втроем к кривому Федору, на рыбалку: он ухой накормит, Кирюшка дома сахару стырит, чаю попьем — интересно...

— Карусель на ярмарке! — возразил заколебавшийся Степашка.

— Нету там никакой карусели, я вчера еще одного каштымовского спрашивал. И карусели нет и тира нет. Говорю тебе, одни семечки. А не хочешь на рыбалку, так

черт с тобой. Мы с Кирюшкой сами сбегаем. Ты только, Кирюшка, стащи побольше сахару, мы там с тобой уху, чаю, а он — пускай за семечками по пузо в грязи шлепает. Сегодня штаны прожег, завтра вовсе сапоги потеряет, а послезавтра пускай ему Санька шею наколотит. Раз он от нашей компании отбивается, значит, и мы за него заступаться не будем.

— Да я не отбиваюсь,— уныло запротестовал Степашка.— Тогда и я тоже на рыбалку.

— Ну, раз тоже, значит, нечего и рассусоливать. Пошли, ребята.

Кирюшка немножко удивился тому, как быстро передумал Фигуран засесть завтра за работу. Однако на рыбалке он никогда еще не был и поэтому остался очень доволен.

Они спустились по лесенке, и Фигуран потянулся к решетке. Он постоял, посмотрел на ржавый засов и что-то пробормотал. Потом он обернулся и недоуменно взглянул на ребят, опять сунулся к решетке, запыхтел, присвистнул и развел руками.

— Ну, что ты? — нетерпеливо крикнул Степашка.— Давай вылазь поскорее.

— Кирюшка,— спросил Фигуран,— я в своем уме или без памяти?

— Н-не знаю... Должно быть, в своем,— не очень уверенно ответил Кирюшка, с удивлением поглядывая на точно обалдевшего Фигурана.

— Когда мы спрыгнули, я засов задвинул?

— Задвинул.

— А ты, Степашка, видел, что я задвинул?

— Да видал же,— уже с дрожью ответил Степашка. И опасливо оглянулся в сторону темного коридорчика, который вел от заколоченного хода прямо за алтарь.

— Ну, так скажите мне, если все видели, что я задвинул, почему же сейчас засов стоит отодвинутый? Кто его трогал: бог ли, черт ли, ангелы?

Не дождавшись ответа, Степашка распахнул решетку и одним духом вылетел наружу. Поспешно выбрался вслед и встревоженный Кирюшка.

— Бежим скорее! — подскакивая на месте и размахивая кулаками, торопил товарищей Степашка.

Но Фигуран не спешил. Он захлопнул решетку, лег на живот и просунул руку, примеряясь, можно ли внутренний

засов отодвинуть снаружи. Оказалось, что нельзя никак. Тогда он поднялся, отряхнул с живота репье, мусор и, подойдя к глупому Степашке, постучал ему пальцем по взмокшему лбу:

— Ты, брат Степашка, не робей. Он верно говорит: и бога нет и черта нет, а чертовщина и от людей случается.

К обеду из Каштымова прикатил Калюкин. Он слегка прихрамывал, но под испытующим взглядом Калюкихи молодцевато прошел к столу.

— Это пустяки, мама. Там машина новая. А шофер молодой, глупый, как рванет да чуть не на зубья бороны. Ну, я, конечно, скорей... Ну, она, конечно, меня... Да что ты, мама, уставилась? У них керосину двадцать тонн не вывезено, а он покрышки прорежет... Любанька! Уважь отцу, истопи баню. Мне завтра с утра опять обратно, а все тело зудит, да и шею я дегтем где-то измазал.

Вошел Матвей. Увидев Калюкина, он улыбнулся:

— Здоро́во, ударник! Ну как, кончили?

— Завтра к вечеру все кончим. Еще кое-что забрать осталось: фонари, провода, ключи, свечи, магнето... Здорово, дедушка Пантелей! Давай заходи! — высовываясь в окно, закричал Калюкин.

Тут он насупился и потянулся свернуть цигарку. Но Калюкиха отодвинула пачку с махоркой и сунула ему ложку.

— Оно, конечно, слов нет, Сулин — человек башковитый. А я с ним не работник,— неожиданно заявил Калюкин.— Характеры у нас разные. Только сегодня каштымовский кладовщик со склада на минуту выскочил, а он мигнул да из ихней кучи связку поршневых колец выхватил, а им из нашей что похуже сунул. Тут сидел кладовщик. Я стою, лицо горит. И ругаться — себя срамить — неохота и совестно. Так я, будто бы у меня живот схватило, повернулся — и за ворота. А потом Сулин моими же словами смеется: «Что взбеленился? Не для себя взяли. Что у них для государства, то и у нас то же». А я ему отвечаю: «Вот именно, что у нас для государства, то и у них то же. А тебе, как и по-старому: только бы свой кусок засеять». Плюнул, да и пошел, а рассердился он на меня, видать, крепко.

— Вам хватит,— успокоил дед Паителей.— Нынче время такое быстрое, богатое. Сегодия нет, а завтра — на, получай — работай. Трактор у иас первый давио ли прошел? Как загрохотал, моя старуха иа крыльцо выскочила, плюиула, три раза перекрестилась. А теперь их вои сколько. Я это-то сижу, спрашиваю: «Посмотри-ка, Ариша, Васька, что ли, иа «фордзоне» поехал?» А оиа высунулась, да и отвечает: «Эх, старый, старый, какой же это «фордзон»? Он на «хетезе» либо иа «сетезе» поехал. Видишь, что труба высокая».— Дед Паителей покачал головой и тихо рассмеялся.

— Сулии у вас раиьше председателем был? — спросил Матвей.— Дома у иего кто остался? Семья, что ли?

— Никого ие осталось. Сыи у иего на Сахалиии уехал. Жена померла. Дом ои как раз перед самой коллективизацией продал. Поеду, говорит, Днепрострой строить. А он по кузнечному мастер. Кузиица наша раиьше костюховской была. А ои у иего вроде как бы исполу работал. Ссорились. Костюх иапьется: «Моя кузиица». А Сулии: «Мало что твоя, да я в ней хозяии». Один раз Костюх чуть ему шкворнем башку не просадил. Зато уж потом, когда попал Алексаидр Моисеевич в председатели, так он иа Костюха с налогами насел, что Костюх взвыл только. Сразу за сулиского сыиа дочку свою замуж отдал. А раньше было ни в какую...

Разговор был прерван неожиданым шипеиьем и грохотом. С печки слетел деревяиный ушат, за ним с жестяикой на хвосте скакиул иа спииу Матвея ошалелый котенок, а вслед высуиулось скоифуженное лицо Кирюшки.

— Все балуешься, дьяволенок! — сбрасывая котенка, крепко выругался Матвей.— Тебя доктор со миой для баловства послал? Тебе сказаио, чтобы спокой, а ты — вон что.

Ошалелый от звоиа жестянки, котеиок птицей метнулся на шкаф, ие удержался и, зацепив когтями старые калюкииские штаиы, вместе с ними свалился в порожнюю кадку из-под капусты. А покрасневший, как пареиый бурак, смущеииый и оскорблеиный Кирюшка выскочил в сеии. Все рассмеялись.

— Вот еще золото! — пробурчал Матвей и позвал Кирюшку.

Кирюшка ие откликался.

— Не идет? Как бы реветь не начал,— забеспокоил-

ся Матвей: — Кирюшка! Пойди сюда. Сейчас вместе в кузню пойдем...— И, как бы оправдываясь, он объяснил:— С ним нельзя строго. Доктор не велел. Да и так жалко мальчишку. Отец у него хороший человек был, свой, рабочий... Пойди сюда, Кирюшка,— уже совсем мягко позвал Матвей.— Вон Калюкин говорит, чтоб я тебя в Каштымово на ярмарку отпустил.

— Врать-то! — после некоторой паузы послышался из-за двери недоверчивый голос.

— Зачем врать? — подтвердил Калюкин.— Я и на самом деле возьму. Утром поедем, к вечеру вернемся. Ярмарка большая. Сегодня видал: карусель налаживают.

Это становилось интересным. Особенно после того, как Фигуран уверял, что никакой карусели не будет.

Кирюшка тихо высунулся из-за двери и, надувшись, не глядя ни на кого, подошел к Матвею.

— Рева! — удерживая его за руку, укоризненно сказал Матвей.— Не в отца пошел. Тот человек был крепкий... камень. Ну, иди.— Отпустив Кирюшку, Матвей повернулся к Калюкину: — Мы с его отцом в германскую в одном полку служили. Так, поверишь ли, окопы, грязь, тоска, голод, холод... Иные совсем обалдели, как скоты. Куда идут? Куда ведут? А он, бывало, хлопнет меня пятерней по плечу — а пятерня здоровая: «Не робей, Матвей! Шагай крепче, а наша правда все равно наружу выйдет». Смелый был человек. Вот однажды послали нас с ним в соседнюю роту для связи. А погода была темная, грязная... Вдруг окликает нас офицер...

Почувствовав, что кто-то сжимает ему локоть, Матвей обернулся, поперхнулся и почти испуганно замолк.

Побледневший Кирюшка стоял рядом и, широко открыв глаза, с огромной жадностью ловил каждое сказанное слово.

— Да... Гм... Вот идем это мы, значит... Гм!.. А подай-ка мне, друг Калюкин, табачку... закурить... Что-то нынче табак плохой пошел, слабый: куришь, куришь — как солома... О чем это я... Да! Так пускай, Калюкин, он с тобой завтра на ярмарку поедет. Там то да се... Карусель. Беги-ка, Кирюшка, посмотри: кажись, чужая собака во двор забежала... Ду-рак! — выругался Матвей, когда Кирюшка тихо и послушно вышел за дверь.— Нельзя при нем про отца рассказывать. Болеет. Видали, как он глаза-

то разинул?.. Хороший у него отец был,— скороговоркой докончил Матвей.— На таких-то людях советская власть строилась.

Кирюшка был очень обрадован. Правда, сначала смущал уговор идти завтра на рыбалку. Но он успокоил себя тем, что, во-первых, на рыбалку можно каждый день, а на ярмарку — не каждый. Во-вторых, Степашка и Фигуран бывали, конечно, на ярмарке уже сто раз, а он — еще ни разу.

Ему не терпелось, и он хотел, чтобы ночь пришла поскорее. Тотчас же после обеда он вычистил сапоги. Потом развязал узелок, достал чистую рубаху и раз десять вытаскивал подаренную матерью пятерку.

Калюкиха попросила его купить на ярмарке три иголки, а Любка наказала поискать полметра резиновой тесьмы и взять на почте два конверта.

Гордый оказанным доверием, Кирюшка важно переписал все поручения на листок и деловито сунул его в свой клеенчатый бумажник.

Вечером, уже после того как вымылся Калюкин, пришел Матвей и позвал Кирюшку в баню.

После бани, когда Матвей еще одевался, Кирюшка выскочил в сад.

Вечер был тихий, сырой, теплый.

На пригорке мерно поскрипывала старая мельница, и ее распластанные крылья показались Кирюшке лохматыми и такими длинными, будто бы доставали они до самого неба.

«Как в сказке про великанов»,— подумал Кирюшка и покосился на черную гущу кустарника, где что-то хрустнуло, пискнуло и замолкло.

Рядом жалобно свистнула ночная пичужка, и, точно в ответ ей, совсем из другого угла три раза сердито каркнула чем-то потревоженная ворона.

И эта длиннокрылая мельница, и птичий разговор, и черный кустарник, и запах прелых листьев, и наполненная незнакомыми шорохами тишина — все было еще ново, непривычно и даже немного страшновато.

«А что, если бы и на самом деле были черти, ведьмы, разные страшилы? — подумал Кирюшка.— В городе им

негде: там светло, трамваи, милиционеры. А здесь темно, тихо».

Он запахнул пальтишко и негромко позвал:

— Дядя Матвей, ты скоро?

Матвей не отвечал.

«А как открылся железный засов...— вспомнил охваченный страхом Кирюшка.— Разве же засовы сами открываются?»

Кирюшка быстро скакнул назад к бане, но тотчас же остановился, потому что под ногами громко треснула сухая ветка.

Вдруг через просвет кустарника он увидел в поле далекие движущиеся огоньки и услышал слабый, но очень знакомый шум.

— Трактора на пашне,— сам не зная почему, обрадовался Кирюшка.— Смотри, какие хорошие! — улыбнувшись, прошептал он.— С фонарями пашут.

И, прислушиваясь к ровному бодрому шуму машин, машин, к которым он привык на заводе с глубокого детства, Кирюшка рассмеялся над своими пустыми и случайными страхами.

— Может быть, это Фигуран нарочно отодвинул, чтобы попугать Степашку. Он, Фигуран, хитрый. Бога нет, черта нет. Степашка трус. А я буду смелый... Как папа...— добавил Кирюшка, вспомнив обрывок из недоконченного Матвеева рассказа.

— Ну! Что кричал?—появляясь из-за кустов, спросил запарившийся и отдувающийся Матвей.

— Так... ничего,— уклонился Кирюшка. Он взял Матвея за руку и, шагая с ним рядом, неожиданно спросил: — А что, дядя Матвей! Ведь скоро у нас всего много будет. И отец мне говорил, что много, много...

— Чего много? — не понял Матвей.

— Ну всего: машин, аэропланов, стратостатов.

— Конечно, все будет. И машины и стратостаты. А главное, чтобы жизнь хорошая была.

— И будет!

— Обязательно будет! — подтвердил Матвей.— Сам видишь, как кругом люди стараются.

И хотя Матвей сказал это так, вообще, но Кирюшка понял его по-своему и обернулся туда, где мерцали далекие огоньки и откуда все ясней и ясней доносился ровный, несмолкающий шум.

Под однотонное ворчанье Калюкихи, которая не переставая поругивала опять запропастившуюся Любку, скоро и тихо заснул раскрасневшийся и усталый Кирюшка.

Поздно уже пришла запыхавшаяся и веселая Любка.

Прежде чем мать успела открыть рот, Любка сама выругала ее за то, что на ночь не открыла форточку, и за то, что мать развесила в избе стираные калюкинские подштанники.

— Работаем, как люди, а живем, как свиньи,— грубовато упрекнула она.

Сунула руку в карман, выложила перед матерью яблоко, горсть каленых семечек и, захватив с подоконника жестяную коптилку, собралась в баню.

— Керосину долей. Там на донышке. То-то промоталась! Поди-ка, вся баня остыла.

Любка потрясла коптилку: там чуть булькало. Но лезть в чулан за керосином ей не захотелось, она схватила узелок и ушла.

Проснулся Кирюшка не сразу. Сначала толстая Калюкиха выскочила в сени. Потом, громко стуча наспех обутыми сапогами, выбежал Матвей, за ним — Калюкин.

Остервенело рванулась спущенная с цепи собака. Босиком заскочила в избу мокроволосая Любка и, накинув Матвеево пальто, умчалась обратно.

— Что же такое! Почему такое! — потирая глаза, забормотал Кирюшка.— Дядя Матвей! Любка!.. Что же такое?

А случилось вот что.

Еще не успела Любка вымыться, а коптилка уже зачадила и потухла. Кое-как вымывшись, Любка села расчесывать мокрые волосы.

Вскоре наружная дверь скрипнула. В предбаннике чиркнула, но не зажглась спичка, и Любка решила, что это пришла мать и принесла свечку. Только что хотела Любка ее окликнуть, как дверь отворилась и кто-то, тяжело кашлянув, ввалился в мыльную.

Подумав, что это вернулся позабывший что-либо Матвей, Любка окликнула, но в эту же минуту сверкнула и погасла спичка, и при короткой вспышке Любка увидела какого-то совсем чужого человека.

Тогда, не растерявшись, Любка схватила попавшуюся под руку кочергу и со всей силой ударила перед собой.

Послышался крик, и, опрокинув кадку со щелоком, ночной гость выскочил в сад.

А Любка, высадив кочергой окошко, заорала так громко, что ее сразу услышали и Калюкиха и Матвей, а за ними и сам Калюкин.

Когда все вернулись домой и мало-мальски успокоились, то стали гадать, что бы это все могло значить.

— И какого черта носит в потемках,— тяжело дышала и охала Калюкиха.— Недавно собака ночью так и рвалась в саду. Говорила я тебе, Семен, сделать замок к коровнику. А ты... ладно да ладно... Сведут корову, будешь тогда помнить.

— Так разве-то Любка корова? — оправдывался Калюкин.— Разве же в баню за коровами лезут?

Опять прикидывали и так и этак. Наконец порешили, что это схулиганил кто-либо из парней. Благо в этот день был праздник и кое-где ребята крепко подвыпили.

— И здорово ты ему кочергой съездила? — заинтересовался Кирюшка.

— Уж попомнит! — злорадно ответила Любка.— Не знаю только, по плечу или по голове ему стукнула. А кочерга тяжелая.

Вскоре улеглись и потушили свет. Кирюшка уже спал, когда на постель к нему тихонечко запрыгнул котенок. Кирюшка втащил его под одеяло, положил около шеи и погладил. Котенок ласково замурлыкал. Тут они оба помирились за утреннее и крепко уснули.

В Каштымовке Калюкин и Кирюшка заехали в «Дом колхозника» и здесь, в столовой, встретили Сулина, который пил чай.

Он был весел. Дал Кирюшке мятный пряник. Спросил про Матвея и предложил, чтобы Кирюшка обратно поехал на его телеге:

— У меня конь быстрый. Приходи часам к трем. Живо докатим.

Тут подошел и затараторил Калюкин. Кирюшка не успел ответить ни да, ни нет и решил, что потом будет видно, с кем ехать.

— Значит, к трем часам! — предупредил Калюкин.— А если зачем-нибудь понадоблюсь, то я на базе буду. Вон на горке красный сарай. Там на складе спросишь.

Они ушли, и Кирюшка остался один.

Заложив руки в карманы, Кирюшка неторопливо протискивался через ярмарочную толпу. Со столба хрипло и невнятно орало радио. На возах визжали поросята и гоготали связанные гуси. Взобравшись на сколоченный из фанеры автомобиль, какой-то дяденька громко убеждал покупать билеты Автодора.

Возле карусели уже толпились нетерпеливые ребятишки. Но карусель еще не вертелась, потому что куда-то запропастился музыкант, а без музыки никто не садился.

Сначала Кирюшке было не скучно. Но, прошатавшись с час, он почувствовал, что ему и не очень-то весело.

Он повертелся. Купил в палатке стакан орехов. С трудом осилил целую бутылку клюквенного квасу, остановился и задумался.

Повсюду шныряли ребятишки, они сталкивались, о чем-то советовались, спорили и опять разбегались.

И только Кирюшка стоял один, никому не нужный и не знакомый.

Он подошел к добродушному парнишке, который, сидя возле телеги, караулил мерку картофеля и оранжевого петуха, хотел заговорить и предложить орехов. Но паренек этот, очевидно, заподозрил в Кирюшке жулика и так сердито насупился, что глубоко оскорбленный Кирюшка поспешно отошел прочь.

Тогда, вспомнив о своих поручениях, Кирюшка решил разыскать для Любки полметра тесемки, а Калюкихе иголки.

Но, к великому огорчению, разыскивать не пришлось.

Тесьмы во всех палатках было сколько угодно, иголок — тоже.

«Плохо, когда один — и нет никого. То ли дело с товарищами»,— размышлял Кирюшка.

С досады он выпил через силу еще стакан морсу и лениво побрел покупать марку.

На почте была толкучка. Кирюшка стал в очередь и вдруг увидел Фигурана. Кирюшка до того растерялся,

что выронил из рук двугривенный, и монета исчезла где-то среди чужих калош, ботинок, лаптей и сапог.

Фигуран сидел к Кирюшке спиной и, склонившись над столом, что-то писал.

Лукаво улыбнувшись, немножко рассерженный на обманщика, но больше обрадованный, Кирюшка заглянул через плечо и увидел, что Фигуран надписывает почтовый перевод на двадцать пять рублей.

Почуяв за собой постороннего, Фигуран обернулся, сдернул переводной бланк и взглянул на Кирюшку с такой злобой, будто бы Кирюшка был вор, негодяй, жулик, а не товарищ.

— Ты что? Тебе что тут?

— А ты что? — обозлился Кирюшка.— Сам на рыбалку звал, а сам сюда. Карусели, сказал, нет, а карусель есть. Сам ты жулик и врун.

— А ты кто? Ты тоже врун,— рассмеялся Фигуран.— Выходит, что один Степашка — честный человек. Попер, дурак, на рыбалку. Ты думаешь, это я на тебя крикнул,— уже дружелюбней объяснил Фигуран.— Я слышу, кто-то сзади подкрался... Может быть, и правда жулик. Ты зачем пришел? За маркой? Стало быть, в очередь, а я скоренько. Это дед одному человеку в Тулу посылает. А потом побежим на ярмарку... У тебя деньги есть?.. Хорошо! И у меня трешница. То-то будет весело!

Не очень-то поверил про деда Кирюшка, так как успел он разглядеть на бланке, что не в Тулу вовсе, а в Моршанск. Но до этого ему не было дела: хоть в Америку! И обрадованный тем, что ссориться не из-за чего, он проворно затесался в очередь.

Вдвоем оказалось куда веселее.

А тут еще, пробираясь мимо возов овощного ряда, они наткнулись на Степашку.

Этот проклятый врунишка Степашка тоже, вместо того чтобы быть на рыбалке, сидя на возу, посматривал вниз так гордо, как будто бы сидел он не возле кадки с капустой и солеными огурцами, а охранял несметные и невиданные сокровища.

Через минуту, подскакивая и задирая встречных мальчишек, три друга мчались к карусели, откуда уже доносились шумный звон бубна и веселая музыка.

Плохо ли троим мальчуганам в солнечный день вдали от дома, на бойкой ярмарке!

Под гром буденновского марша лихо понеслись они на крутогривых конях.

Горбатый Фигуран, подбочеясь, сидел орлом — ну, прямо герой Котовский! С Кирюшки слетела на скаку шапка. А вообразивший себя казаком-джигитом Степашка вертелся в седле, как будто его посадили на горячую плиту.

Потом сбегали в тир.

Дважды убил Кирюшка толстомордого генерала. Крепко расправился Степашка с хищным тигром. И наконец метко бабахнул Фигуран по самому главному буржую — и свесил буржуй гнусную голову на свои набитые золотом мешки.

Потом захотелось есть, и они прошли в столовую. Как заправские гуляки, они заняли с краю отдельный столик, заказали на троих тарелку щей, шесть стаканов чаю и бутылку сладкого шипучего лимонаду.

Сидели долго. Уже несколько раз обертывался Кирюшка: «Не пора ли?» Но часы на глаза не попадались, а тут еще пришли слепые баянисты. И хорошо, что турнул ребятишек официант, чтобы они зря не занимали столик.

Расторговавшийся Степашкин дяденька уже нетерпеливо поджидал запропастившегося племянника. Ярмарка быстро пустела.

— Поедем с нами,— предложил Фигурану Кирюшка.— Калюкин добрый: он и тебя посадит.

Они побежали в гору, но на базе им сказали, что Калюкин уже уехал.

Кирюшка спросил:

— Сколько времени?

Оказалось, что уже половина четвертого; как же так уже половина четвертого, когда еще совсем недавно было утро?

Помчались к «Дому колхозника», но там узнали, что и Сулин тоже только что уехал.

Кирюшка пал духом. Конечно, Калюкин решил, что Кирюшка поехал с Сулиным. А не дождавшийся Сулин понадеялся, что Кирюшка с Калюкиным.

— Айда! — предложил Фигуран.— Мы догоним.

— Пешком-то?

— Пешком догоним. Они по тракту, а мы возьмем по тропке, прямо через кладбище, через овраг. Нам версты

три, а им верст восемь. Как раз поспеем. Еще дожидаться придется.

Через полчаса ребята поднялись на бугор. Дорога в Малаховку пролегала вдоль опушки. Но, насколько хватало глаза, ни позади, ни впереди подвод не было

— Говорил я тебе, дожидаться придется,— сказал Фигуран и лег на охапку теплой сухой травы.

— А может быть, уже проспали?

— Садись. Никуда не проспали. На автобомилях, что ли?

Фигуран лежал и, чуть улыбаясь, смотрел в небо, как будто бы видел там что-то интересное.

Кирюшка тоже задрал голову, но ничего, кроме голубого, на небе не увидел.

— Ты чего, Фигуран?

— Что — чего? Ничего!

— Ну, ничего,— а все-таки?

Фигуран повернулся на бок и спросил:

— А что, Кирюшка, если бы ты был богатым, что бы ты сделал?

— Я бы не был богатым,— отказался Кирюшка.— На что мне богатство? Я и так работать буду.

— А я вот не могу работать. Какой из горбатого работник? Если бы я был правителем, я бы всех горбатых велел утопить. Какой с них толк: ни землю пахать, ни на аэроплане летать, ни в Красную Армию... Человек должен быть прямой, а не скрюченный... Обязательно всех, всех велел бы в речку покидать! — уже со злобой докончил Фигуран и пристально посмотрел в глаза Кирюшке.

— Тебя бы в сумасшедший дом посадили,— убежденно ответил Кирюшка.— У нас на заводе тоже был один истопник, так он разделся голый, залез в бочонок с мазутом и поет, поет. Взяли его тогда и посадили.

— Дурак ты! — и рассердился и рассмеялся Фигуран.— Ему про одно, а он про... бочку.

— Ничего не дурак,— спокойно ответил Кирюшка и еще убежденнее заговорил: — А вот у нас на заводе Шамари — техник, тоже горбатый, а ему пятьсот рублей премии дали, орден да в парке статую с него слепили. Так прямо горбатого и поставили. Как живой... смеется. Он американский станок в слесарном поставил; никто не смог, а он смог. Что же, значит, по-твоему, и его утопить?.. Это пусть лучше буржуи тонут или лодыри, а рабочему

человеку зачем? Он горбатый, а у него дочка не горбатая... Валька. У нас есть безрукий один — буденновец, и все его уважают: и директор и Бутаков. Это у буржуев так: им не жалко. На что им такой, когда у них здоровенные не жравши ходят. Я все читал. У меня в школе за всю зиму ни одного неуда не было, и только раз из класса за дверь выставили. Да и то понапрасну. Он думал, что я Мишке Мешкову на затылок плюнул, но это вовсе не я, а Ванька Хомяков. А я только сидел сзади, подтолкнул и говорю: «Посмотри-ка, Мишка, у тебя на затылке плюнуто».

Все это Кирюшка выпалил с азартом и, сам очень довольный, горделиво глянул на Фигурана.

Оттого ли, что было так солнечно и тихо, что почти торжественно звенели невидимые, будто прозрачные, жаворонки, что пахло на земле первой травой, смолистыми почками, теплой весной, Фигуран вдруг как-то размягчился.

Сбежала прочь постоянно недоверчивая усмешка, и он улыбнулся просто, как все люди.

— Учиться нужно,— сказал Фигуран.— Я сам знаю. Мать у меня — прачка в Моршанске. Хорошо мы жили. Она да я — двое. Потом спину зашибло — давно в больнице лежит, второй год. Теперь пишет: скоро выздоровеет. Уйду я скоро отсюда, Кирюшка,— сознался Фигуран.— Обворую деда и уйду.

— Разве же можно обворовывать? — смутился Кирюшка.— Вот у Калюкина из амбара два мешка стянули... это разве хорошо?

— Сравнил попа с кобылой! — грубо ответил оскорбленный Фигуран.— Белобандит я, что ли: то амбар, а то дед. Все равно он мне ничего за работу не платит.— Фигуран отвернулся.

Внимание их теперь было привлечено вышедшим из лесу одиноким человеком. Человек стоял далеко, и разглядеть его было трудно.

Вдали, на горке, показалась трусившая рысцой подвода. Человек отошел в сторонку и сел за кустом на пенек.

— Сулин едет! — воскликнул Кирюшка.— Это его лошадь белая. Побежим навстречу.

— На что? Сам подъедет. Давай ляжем, будто бы нас и нет вовсе.

Подвода приближалась. Вон проехала она через мосток, миновала разбитую березу, поравнялась с кустом

и сразу остановилась перед заграждавшим ей дорогу человеком.

Видно было, как Сулин соскочил с телеги и развел руками. О чем-то они долго разговаривали, и, как показалось Кирюшке, Сулин ругался.

На горизонте показалась вторая подвода. Сулин оглянулся, оттолкнул незнакомца и вскочил на телегу.

Человек что-то крикнул, погрозив Сулину кулаком. Сулин опять спрыгнул и, схватив коня под уздцы, круто свернул в лес.

Озадаченные ребята переглянулись и, выскочивши из засады, помчались вдогонку.

Конец второй части

1934



БУМБАРАШ

(Повесть)

[ЧАСТЬ ПЕРВАЯ][1]

БУМБАРАШ солдатом воевал <с Авс>трией и попал в плен. Вскоре война окончилась, пленных разменяли, и поехал Бумбараш домой в Россию. На десятые сутки, сидя на крыше товарного вагона, весело подкатил Бумбараш к родному краю.

Не был Бумбараш дома три года и теперь возвращался с подарками. Вез он полпуда сахару, три пачки светлого офицерского табаку и четыре новых полотнища от зеленой солдатской палатки.

Слез Бумбараш на знакомой станции. Кругом шум, гам, болтаются флаги. Бродят солдаты. Ведут арестованных матросы. Пыхтит кипятильник. Хрипит из агитбудки облезлый граммофон.

И, стоя на грязном перроне, улыбается какая-то девчонка в кожаной тужурке, с наганом у пояса и с красной повязкой на рукаве.

Мать честная! Гремит революция!

Очутившись на привокзальной площади, похожей те-

---

[1] В рукописи этого подзаголовка нет. Редакция сочла возможным его ввести, так как далее встречается «часть вторая». В прямые скобки заключены также редакционные поправки, сделанные в тех случаях, когда перепутаны имена героев, вписаны или вычеркнуты автором слова, нарушающие смысл повествования. В угловые скобки взяты слова, неразборчиво написанные в рукописи.

перь на цыганский табор, Бумбараш осмотрелся — нет ли среди всей этой прорвы земляков или знакомых.

Он переходил от костра к костру, заглядывал в шалаши, под груженные всяким барахлом телеги, и, наконец, за углом кирпичного сарая, возле мусорной ямы, он натолкнулся на старую дуру — нищенку Бабуниху.

Бабуниха сидела на груде битых кирпичей. В руках она держала кусок колбасы, на коленях у нее лежал большой ломоть белого хлеба.

«Эге! — подумал изголодавшийся Бумбараш. — Если здесь нищим подают колбасою, то жизнь у вас, вижу, не совсем плохая».

— Здравствуйте, бабуня, — сказал Бумбараш. — Дай бог на здоровье доброго аппетиту! Что же вы глаза выпучили, или не признаете?

— Семен Бумбараш, — равнодушно ответила старуха. — Говорили — убит, ан живой. Что везешь? Подай, Семен, Христа ради...— И старуха протянула заграбастую руку к его сумке.

— Бог подаст, — отодвигая сумку, ответил Бумбараш. — Нету там ничего, бабуня. Сами знаете... что у солдата? Ремень, бритва, шило да мыло. Вы мне скажите, брат Василий жив ли?.. Здоров? Курнаковы как?.. Иван, Яков?.. Варвара как? Ну, Варька... Гордеева?

— А не подашь, так и бог с тобой, — все так же равнодушно ответила старуха. — Брат твой по тебе давно панихиду отслужил, а Варвара... Варька твоя в монастырь пошла... Лежа-ал бы! — протяжно и сердито добавила старуха и ткнула пальцем Бумбарашу в грудь... — А то иет!.. Подиялся!.. Беспокойный!

— Слушайте, бабуня, — вскидывая сумку, ответил озадаченный Бумбараш, — помнится мне, что дьячок вам однажды поломал уже ребра, когда вы слезали с чужого чердака... Но... бог с вами! Я добрый.

И, плюнув, Бумбараш отошел, будучи все же обеспокоен ее непонятными словами, ибо он уже давно замечал, что эта проклятая Бабуниха вовсе не так глупа, какой прикидывается.

До села, до Михеева, оставалось еще двадцать три версты. Попутчиков не было. Наоборот, оттуда, с запада, подъезжали к станции все иовые и новые подводы с беженцами.

Говорили, что банда полковника Тургаева и полторы сотни казаков идут напролом через Россошанск, чтобы соединиться с чехами. Говорили о каком-то бешеном атамане Долгунце, который разбил Семикрутский спиртзавод, ограбил монастырь, взорвал зачем-то плотину, затопил каменоломни, рубит головы направо и налево и выдает себя за внука Степана Разина.

«Хоть бы за самого черта! — решил Бумбараш. — А сидеть и ждать мне здесь нечего».

Верст пять он прокатил на грузовой машине, которая помчалась в Россошанск забирать позабытые бочонки с бензином.

У опушки, на перекрестке, он выбросил сумку и выскочил сам.

Подпрыгивая на ухабах, отчаянная машина рванула дальше, а Бумбараш остался один перед тем самым веселым лесом, который с детства был им исхожен вдоль и поперек и который сейчас показался ему угрюмым и незнакомым.

Он прислушался. Где-то очень-очень далеко грохали орудия.

«А плевал я на красных, на белых и зеленых!» — решил Бумбараш и, стараясь думать о том, что он скоро будет дома, зашагал по притихшей лесной дороге.

Смеркалось, а Бумбараш прошел всего только полпути. Но он не беспокоился, так как знал, что уже неподалеку должна стоять изба кордонного сторожа.

Навстречу Бумбарашу мчалась подвода. Лошадь шла галопом. Мужик правил. На возу сидели две бабы.

Бумбараш, выскочив из-за кустарника, закричал им, чтобы они остановились. Но тут та баба, что была помоложе — рыжеватенькая, без платка,— вскинула на руку ружье-двустволку и, не раздумывая, выстрелила.

Заряд дроби со свистом пронесся над головой Бумбараша. И Бумбараш с проклятием отскочил за ствол дерева.

«Это не наши! — решил он, когда телега скрылась за поворотом. — Нашей бабе куда!.. Вот проклятый характер! Это, наверно, с Мантуровских каменоломен. Ишь ты, чертовка!.. Стреляет!»

Сумка натерла плечо, он вспотел, устал и проголодался. Он поднял палку и свернул с дороги. Кордонная изба была рядом.

Миновав кустарник, он прошел через огород. Было тихо, и собака не лаяла. Бумбараш кашлянул и постучал о деревянный сруб колодца. Никто не откликался.

Он подошел к крыльцу. Перед крыльцом валялась разбитая стеклянная лампа, и трава пахла теплым керосином Дверь была распахнута настежь.

Откуда-то из-за сарая с жалобным визгом вылетел черный лохматый щенок и, кувыркаясь, подпрыгивая, кинулся Бумбарашу под ноги.

— Эк обрадовался! Эк завертелся! Да стой же ты, дурак! Ну, чего пляшешь?

Бумбараш вошел в избу. Изба была пуста. Видно было, что покинули ее совсем недавно и что хозяева собрались наспех.

В углу валялась разорванная перина. По полу были разбросаны листы газет, книги; на столе лежала опрокинутая чернильница. Вся глиняная посуда в беспорядке была свалена в кучу. Печь была еще теплая, и на шестке стояла подернувшаяся салом миска со щами.

Бумбараш постоял, раздумывая, не лучше ли будет убраться отсюда подальше.

Он заглянул в окно. Ночь надвигалась быстро, и небо заложили тучи. Он отодвинул заслонку печки. Там торчала позабытая кринка топленого молока.

Теперь Бумбараш сбросил сумку и скинул шинель.

— Ну, ты, черный! — сказал он, подталкивая собачонку носком рыжего сапога. — Раз хозяев нет, будем хозяйничать сами.

Он вынул из сумки ковригу хлеба, достал кринку молока и поставил на стол миску со щами. Ложка у него была своя — серая, алюминиевая, вылитая из головки шрапнельного снаряда.

— Ну, ты, черный! — пробормотал он, кидая собачонке кусок размоченного в молоке хлеба. — Мы ни к кому не лезем, и к нам пусть никто не лезет тоже.

По крыше застучал дождь. Бумбараш захлопнул окно, запер на задвижку дверь. Лег на рваную перину. Положил сумку под голову. Накрылся шинелью и тотчас же уснул.

Черная собачонка вытащила из-под печки рваный башмак. Потрепала его зубами, поворочала, уронила кочергу, испугалась и притихла, свернувшись у Бумбараша в ногах.

Вероятно, потому, что в избе было тепло и тихо, потому, что не мозолило бока жесткими досками вагонных нар и его не трясло, не дергало, не осыпало пылью и не обжигало искрами паровозных топок, спал Бумбараш очень крепко.

И когда, наконец, его разбудил собачий лай и быстрый стук в окошко, он вскочил как ошалелый.

— Что надо? — заорал он таким голосом, как будто бы был он здесь хозяином и его сон потревожил назойливый нищий или непрописанный бродяга.

— Командир здесь? — раздался из-за окна нетерпеливый скрипучий голос.

— Здесь! Как же! — злобно ответил Бумбараш. — Что надо?

— Бумагу возьми! — И чья-то рука протянулась к окошку.

— Какую еще бумагу?

— А черт вас знает, какую еще бумагу! Приказано передать — и все дело!

— Давай, чтоб ты провалился! — ответил Бумбараш и, просунув руку в фортку, получил измятый шершавый пакет.— Давай! Да проваливай!

— «Проваливай!» — передразнил его обиженный голос.

Потом затарахтела телега, и уже издалека Бумбараш услышал:

— Я вот скажу ему, что ты пьяный нарезался, лежишь и дрыхнешь. Я все расскажу.

Бумбараш повертел пакет. Но ни спички, ни лампы в избе не было.

— Носит вас по ночам! Не дадут человеку и выспаться! — проворчал Бумбараш и цыкнул на собачонку, чтобы не гавкала.

Он зевнул, потянулся, по солдатской привычке сунул пакет за обшлаг рукава шинели и снова завалился спать.

Долго ворочался он, но теперь ему не спалось.

В окошке уже брезжил рассвет, а вставать Бумбарашу не хотелось.

Он потянулся за махоркой, закурил, <услышал>, как под крышей застрекотала сорока. И вдруг, как-то разом, он очнулся. И вспомнил он, что до родного села, до Михеева, осталось всего-навсего только десять коротких верст.

Он вскочил, сполоснул голову возле дождевой кадки и снял со стены осколок зеркала.

Лицо свое ему не понравилось. Нос был обветренный, красный, щеки шершавые и заросшие бурой щетиной. Кроме того, под левым глазом еще не разошелся синяк. Это кованым каблуком ему подсадил в темноте отпускной артиллерист, пробиравшийся через головы спящих к двери вагона.

— Морда такая, что волков пугать, — сознался Бумбараш. — А уезжал... провожали... Эх, не то было...

Он утешил себя тем, что придет домой, выкупается, побреется и наденет синие диагоналевые пиджак и брюки — те, что купил он, когда сватался к Вареньке, как раз перед войной.

По привычке, Бумбараш пошарил глазами, не осталось ли в покинутой избе чего-нибудь такого, что могло бы ему пригодиться. Забрал для раскурки лист газетной бумаги, выдернул из кочерги палку и вышел на дорогу.

Изба, думал он, — раз. Жениться — два. Лошадь с братом поделить — три. А земля будет. Земли нынче много. Революция.

Занятый своими мыслями, он быстро отсчитывал версты.

Меньше чем через два часа он вышел из лесу и остановился перед маленькой плотиной.

На кудрявых холмах, в дымке утреннего тумана, раскинулось село Михеево.

— Будьте здоровы! — приподнимая серую папаху, поклонился Бумбараш. — Провожали — плакали. Не виделись долго. Чем-то теперь встретите?

[С любопытством осматривал Бумбараш знакомую улицу].

Мост через ручей провалился. Против трактира —

новый колодец. У Полуваловых перед избой раскинулся большой палисадник, а сарай и заборы новые. На месте Фенькиной избы осталась одна закопченная труба — значит, погорела.

Акация под церковной оградой, где часто сидел он когда-то с Варенькой, сплошной стеной раздалась вширь.

Бумбараш завернул за угол и остановился. Что такое? Вон он, пожарный сарай. Вот она, изба Курнаковых. Вот он и братнин дом со старой липой под окнами. Однако справа, рядом с братниным домом, ничего не было.

Перед самой войной Бумбараш затеял раздел и начал строиться. Он поставил пятистенный сруб и подвел его уже под крышу.

Уходя в солдаты, Бумбараш наказал брату, чтобы тот забил окна, двери, сохранил гвозди, кирпич, стекло и присматривал, чтобы тес не растащили.

А сейчас не только тесу, но и самого сруба на месте не было. Да что там сруба — даже то самое место как провалилось! Все кругом было засажено картошкой.

Бумбараш покряхтел, и, не зная, что думать, прибавил шагу.

Он распахнул дверь в избу и столкнулся с женой брата — Серафимой. Серафима дико взвизгнула, уронила ведра и отскочила к окну.

— Семен! — пробормотала она. — Господи помилуй! Семен! — И она крепко вцепилась рукой в скалку для теста, точно собираясь Бумбараша оглушить.

Бумбараш попятился к порогу и наткнулся на подоспевшего брата Василия.

— Что это? Постой! Куда прешь? — закричал Василий и схватил Бумбараша за плечи.

Бумбараш рванулся и отшвырнул Василия в угол.

— Чего кидаешься? — сердито спросил он. — Протри глаза тряпкой. Здравствуйте!

— Семен! Вон оно что! — пробормотал, откашливаясь, Василий.— А я, брат, тебя не того... Серафима! — заорал он на оцепеневшую бабу.— Уйми ребят... Что же ты стоишь как колода! Не видишь, что брат Семен приехал!

— Так тебя разве не убили? — сморщив веснушчатое лицо, плаксивым голосом спросила Серафима и подошла к Бумбарашу обниматься.

— На полвершка промахнулись! — огрызнулся Бумбараш. — Одна орет, другой — за шиворот. Ты бы еще с топором выскочил!

— Нет, ты... не подумай! — сдерживая кашель и терпеливо отыскивая что-то за зеркалом, оправдывался Василий. — Серафима, куда письмо задевала? Говорил я тебе — спрячь. Голову оторву, если пропало.

— В комоде оно. От ребят схоронила. А то недавно Мишка квитанцию на лампе сжег... У-у, проклятый! — выругалась она и треснула притихшего толстопузого мальца по затылку.

— Нет, ты не подумай, — торопился Василий. — Тут не то что я... а кто хочешь!.. Мне староста... Как раз под Гаврила ⟨прикатил⟩ — сам письмо принес. Смотрю — печать казенная. «Что же, — спрашиваю я, — за письмо?» — «А то, что брат твой Семен, царство ему небесное, значит...на поле битвы...»

— Как так на поле битвы! — возмутился Бумбараш.— Быть этого не может...

— А вот и может!..— протягивая Бумбарашу листок, сердито сказала Серафима. — Да ты полегче хватай! Бумага тонкая... гляди, изорвешь.

И точно: канцелярия 7-й роты 120-го Белгородского полка сообщала о том, что рядовой Семен Бумбараш в ночь на восемнадцатое, мол, убит и похоронен в братской могиле.

— Быть этого не может! — упрямо повторял Бумбараш. — Я — живой.

— Сами видим, что живой, — забирая письмо, всплакнула Серафима. — У меня, как я глянула, в глазах помутилось.

— Избу мою продали? — не глядя на брата, спросил Бумбараш. — Поспешили?

Василий кашлянул и молча развел руками.

— Чего же поспешили? — вскинулась Серафима. — Раз убит, то жди, не жди — все равно мертвый. Да и за что продали! Нынче деньги какие? Солома. ⟨Гавриле⟩ Полувалову и продали. Баню новую он ставил... сарай... Варька-то Гордеева за него замуж вышла. Поплакала, поплакала, да и вышла.

Бумбараш быстро отвернулся к окошку и полез в карман за табаком.

— О чем плакала? — помолчав немного, хрипло спросил он сквозь зубы.

— Известно о чем! О тебе плакала... А когда панихиду справляли, так и вовсе ревмя ревела.

— Так вы и панихиду по мне отмахали?

— А то как же, — обидчиво ответила Серафима. — Что мы — хуже людей, что ли? Порядок знаем.

— Вот он где у меня сидит, этот порядок! — показывая себе на шею, вздохнул Бумбараш. И, глянув на свои заплатанные штаны цвета навозной жижи, он спросил: — Костюм мой... пиджак синий... брюки — надо думать, тоже продали?

— Зачем продали, — нехотя ответила Серафима. — Я его к пасхе Василию обкоротила. Да и то сказать... материал — дрянь. Одно слово, что диагональ, а раз постирала — он и вылинял. Говорила я тебе тогда: купи костюм серый, а ты — синий да синий... Вот тебе и синий!

Бумбараш достал пару белья, кусок мыла. Ребятишки с любопытством поглядывали на его сумку.

Он дал им по куску сахару, и они тотчас же молча один за другим повылетали за дверь.

Бумбараш вышел во двор и мимоходом заглянул в сарай. Там вместо знакомого коня стояла понурая, вислоухая кобылка.

«А где Бурый?» — хотел было спросить он, но раздумал, махнул рукой и прямо через огороды пошел на спуск к речке.

Когда Бумбараш вернулся, то уже пыхтел самовар, шипела на сковородке жирная яичница, в голубой миске подрагивал коровий студень и стояла большая пузатая бутылка с самогонкой.

Изба была прибрана. Серафима приоделась.

Умытые ребятишки весело болтали ногами, усевшись на кровати. И только тот самый Мишка, который сжег квитанцию, как завороженный стоял в углу и не спускал глаз с подвешенной на гвоздь Бумбарашевой сумки.

Вошел причесанный и подпоясанный Василий. Он держал нож и кусок посоленного свиного сала.

Как-никак, а брата нужно было встретить не хуже, чем у людей. И Серафима порядок знала.

В окошки уже заглядывали любопытные. В избу собирались соседи. А так как делить им с Бумбарашем было нечего, то все ему были рады. Да к тому же каждому было интересно, как же братья теперь будут рассчитываться.

— А я смотрю, кто это прет? Да прямо в сени, да прямо в избу, — торопливо рассказывала Серафима. — «Господи, думаю, что за напасть!» Мы и панихиду отслужили и поминки справили... Мишка недавно нашел где-то за комодом фотографию и спрашивает: «Маменька, кто это?» — «А это, говорю, твой покойный дядя Семен. Ты же, паршивец, весь партрет измуслякал и карандашом исчиркал!»

— Будет тебе крутиться! — сказал жене Василий и взялся за бутылку. — Как, значит, вернулся брат Семен в здравом благополучии, то за это и выпьем. А тому писарю, что бумагу писал, башку расколотить мало. Замутил, замутил... бумаге цена копейка, а теперь сами видите — вон я разделывайся как хочешь!

— Бумага казенная, — с беспокойством вставила Серафима. — На бумагу тоже зря валить нечего.

Самогон обжег Бумбарашу горло. Не пил он давно, и хмель быстро ударил ему в голову.

Он отвалил на блюдце две полные пригоршни сахару и распечатал пачку светлого табаку.

Бабы охнули и зазвенели стаканами. Мужики крякнули и полезли в карманы за бумагой.

В избе стало шумно и дымно.

А тут еще распахнулась дверь, вошел поп с дьячком и прямо с порога рявкнул благодарственный молебен о благополучном Бумбараша возвращении.

— Варька Гордеева мимо окон в лавку пробежала...— раздвигая табуретки и освобождая священнику место, вполголоса сообщила Серафима. — Сама бежит, а глазами на окна зырк... зырк...

— А мне что? — не поворачиваясь, спросил Бумбараш и продолжал слушать рассказ деда Николая, который ездил на базар в Семикрутово и видел, как атаман Долгунец разогнал мужской монастырь.

— ...Выстроил, значит, Долгунец монахов в линию и командует: «По порядку номеров рассчитайся!» Они, конечно, монахи, к расчету непривычны, потому что не солдаты... а дело божье. К тому же, оробели, стоят и не счи-

таются... «Ах, вон что! Арихметику не знаете? Так я вас сейчас выучу! Васька, тащи сюда ведерко с дегтем!» На что ему этот деготь нужен был — не знаю. Однако как только монахи услыхали, ну, думают, уж конечно, не для чего-либо хорошего. Догадались, что с них надо, и стали выкликаться.

В аккурат сто двадцать человек вышло. Это окромя старых и убогих. Тех он еще раньше взашей гнать велел. «Ну, говорит, Васька, вот тебе славное воинство. Дай ты им по бердянке. Да чтобы за три дня они у тебя и штыком, и курком, и бомбою упражнялись. А на четвертый день ударим в бой».

Те, конечно, как услыхали такое, сразу и псалом царю Давиду затянули — и в ноги. Только двое вышло. Один россошанский — булочника Федотова сын. Морда — как тыква, сапогом волка задавить может. Он еще, помнится, до монашества квашню с тестом пуда на три мировому судье на голову надел... А другой — тощий такой, лицо господское, видать — не из наших.

Долгунец велит: «А подайте им коней!» Гаврилка как сел, так и конь под ним аж придыхнул. А другой подобрал рясу да как вскочит в седло, чуть только стремян коснулся.

Тогда Долгунец и говорит: «Васька, таких нам надо! Выдай им снаряжение, а рясы пусть не снимают... А вы, божьи молители, — это он на остальных, — поднимайтесь да скачите отсюда куда глаза глядят. Кого на дороге встречу — трогать не буду. А если кого другой раз в монастыре застану — на колокольню загоню и велю прыгать... Васька, вынь часы, сядь у пулемета. И как пройдет три минуты пять секунд — дуй вовсю по тем, кто не ускачет».

А Васька —скаженный такой, проворный как сатана — часы вынул да шасть к пулемету.

Так что было-то! Как рванули табуном монахи! До часовни Николы Спаса одним духом домчали и там за угол да врассыпную...

Монахов Бумбараш и сам недолюбливал. Однако он не мог понять, что же этому Долгунцу надо и за кого он воюет.

— Натуральный разбойник! — объяснил Бумбарашу священник. — Бога нет, совести нет. Белых ему не надо, на красных он в обиде. Разбойник, и повадка вся раз-

бойничья. Заскочил в усадьбу к семикрутовскому управляющему. Обобрал все, а самого-то с женою, с Дарьей Михайловной, в одном исподнем оставил и говорит: «Изгоняю вас, как господь Адама и Еву из рая. Идите и добывайте в поте лица хлеб свой насущный... Васька, стань у врат, как архангель, и проводи с честью». Васька, конечно, — тьфу, мерзость! — шинель крылами растопырил и машет и машет, сам поет матерное. В одной руке у него пистолет, в другой — сабля. Ну те, конечно, — что будешь делать? — так в исподнем и пошли.

— У Адама и Евы хоть вид был! — вставил охмелевший дед Николай. — А это же люди в теле. Срамота!

Рассказ этот Бумбарашу понравился, однако он опять-таки не понял, куда этот Долгунец гнет и что ему надо.

Мимо окон рысцой проскакали пятеро всадников. Одежа вольная, сабель нет, но за плечами винтовки.

— Это красавинские... — объяснил Бумбарашу священник. — Самоохрана называется. Молодцы парни! И у нас тоже есть. Гаврила Полувалов за главного. К нему, должно, и поехали.

— Руки и ноги им поотрывать, гадам! — неожиданно выкрикнул охмелевший дед Николай. — Ишь что сукины дети затеяли...

— Молчал бы, старый пес...— огрызнулся кто-то.

— А что молчать? — поддержал деда щуплый, кривой на один глаз дьячок. — Да и вы тоже, батюшка, говорите, говорите, а к чему это — неизвестно. Наше дело — разводи кадило и звони к обедне. Помилуй, мол, нас, господь. А вы вон что!

Надвигалась ссора. В избе переглянулись. Василий поспешно взялся за бутылку. Звякнули стаканы. Кругом зачихали, закашляли. Разговор оборвался.

— Яшка Курнаков идет, — пробормотала Серафима. — Принесло черта...

Быстро в избу вошел высокий парень в заплатанной голубой рубашке. На нем были потертые галифе, заправленные в сапоги. Смуглое, как у цыгана, лицо его было бритое. Кепка сдвинута на затылок. Левая рука завязана тряпицей.

— Семка! — застонал он и крепко обнял Бумбараша. Ах ты, черт бессмертный! А я сижу <наверху>, крышу перебираю... Идет Варька... Я смотрю: на ней лица нет. «Семен, говорит, вернулся». Я ей: «Что ты,

дура!..» Она — креститься! А <реи> — дрянь, гниль,— как подо мной хряснет, так я на чердак грохнул. Мать из избы выскочила... «Что ты, кричит, делаешь! Потолок проломишь...» Я схватил тряпку, замотал руку, да сюда...

— Эк тебя задергало! — сердито сказала Серафима. — Батюшке локтем в ухо заехал. Да не тряси стол-то! Еще самовар опрокинешь...

Священник, и без этого обиженный грубыми словами кривого дьячка, поднялся, перекрестился. За ним один по одному поднялись и остальные.

Когда изба опустела, Яшка Курнаков схватил Бумбараша за руку и потащил во двор. Мимо огорода прошли они к обрыву над речкой. Там, в копне на лужайке, где еще мальчишками прятались, поедая ворованный горох, огурцы и морковку, остановились они и сели.

Бумбараш рассказывал про свои беды. А Яшка его утешал:

— Придет пора — будет жена, будет изба! Дворец построим с балконом, с фонтанами! А Варьке голову ты не путай — раз отрублено, значит отрезано. За тебя она теперь не пойдет. А чуть что Гаврилка узнает, он ее живо скрутит. Он теперь в силе. Видал, верховые к нему поскакали?

— Охрана?

— Банду собирают. Я все вижу. Это только одна комедия, что охрана. На прошлой неделе под мостом в овраге упродкомиссара нашли: лежит — пуля в спину. Недавно у мельницы Ваську Куликова, матроса, из воды мертвого вытащили. Меня и то ночью через окно кто-то из винтовки как саданет! Пуля мимо башки жакнула! Посуду на полке — вдрызг, и через стену — навылет. Скоро хлебную разверстку сдавать. Ну вот и заворочались.

— А красные что? Они где заняты?

— А у красных своя беда. На Дону — Корнилов. Под Казанью — чехи.

Яшка зажмурился. Точно подыскивая трудные слова, он облизал губы, пощелкал пальцем и вдруг напрямик <сказал>:

— Знаешь, Семен! Давай, друг, двинем с тобой в Красную Армию.

— Еще что! — с недоумением взглянул на Яшку озадаченный Бумбараш.— Да ты, парень, в уме ли?

— А чего дожидаться? — быстро заговорил Яшка.— Ну ладно, не сейчас. Ты обожди дней пяток... неделю. А потом возьмем да и двинем. Нас тут еще трое-четверо наберется. Кудрявцев Володька, Шурка <Плюснин>, Башмаковы братья... Я уже все надумал. У Шурки берданка есть. У меня бомба спрятана — тут на станции братишка у одного солдата за бутылку молока выменял. Ему рыбу глушить, а я забрал... Ночью подберемся, охрану разоружим, да и гайда с винтовками.

От таких сумасшедших слов у Бумбараша даже хмель из головы вылетел. Он поглядел на Яшку — не смеется ли? Но Яшка теперь не смеялся. Смуглое лицо его горело, и нахмуренный лоб был влажен.

— Так... так... — растерянно пробормотал Бумбараш.— Это, значит, из квашни да в печь, из горшка да в миску. Жарили меня, парили, а теперь — кушайте на здоровье! Да за каким чертом мне все это сдалось?

— Как за чертом! Чехи прут! Белые лезут! Значит, сидеть и дожидаться? — И Яшка недоуменно дернул плечами.

— Мне ничего этого не надо,— упрямо ответил Бумбараш.— Я жить хочу...

— Он жить хочет! — хлопнув руками о свои колени, воскликнул Яшка.— Видели умника! Он жить хочет! Ему жена, изба, курятина, поросятина! А нам, видите ли, помирать охота. Прямо хоть сейчас копай могилы — сами с песнями прыгать будем... Жить всем охота. Гаврилке Полувалову тоже! Да еще как жить! Чтобы нам вершки, а ему корешки. А ты давай, чтобы жить было всем весело!

— Не будет этого никогда,— хмуро ответил Бумбараш.— Как это чтобы всем? Не было этого и не будет...

— Да будет, будет! — пылко грохнул Яшка и рассмеялся.— Я тебе говорю — дворец построим, с фонтанами. На балконе чай с лимоном пить будешь. Жену тебе сосватаем... Красавицу. Надоест по-русски — по-немецки с ней говорить будешь. Ты, поди, в плену наловчился. Подойдешь и скажешь... как это там по-ихнему? Тлям...

блям... флям... «Дай-ка я тебя, Машенька, поцелую»... Как не будет? Погоди, дай срок, все будет.

Яшка умолк. Цыганское лицо его вдруг покривилось, как будто бы в рот ему попало что-то горькое. Он тронул Бумбараша за рукав и сказал:

— Позавчера на кордоне сторожа Андрея Алексеича убить хотели. Не успели. В окно выпрыгнул. Ты мимо сторожки проходил, не заглянул ли?

— Заглянул,— ответил Бумбараш.— Изба брошена. Пусто!

Он хотел было рассказать о ночном случае, но запнулся и почему-то не сказал.

— Значит, скрылся...— задумчиво проговорил Яшка.— А оставаться ему там нельзя было. Он партийный...

Яшка хотел что-то добавить, но тоже запнулся и смолчал.

Разговор после этого не вязался.

— Ты подумай все-таки! — посоветовал Яшка.— Сам увидишь: как ни вихляй, а выбирать надо. А к Варьке, смотри, не ходи, как друг советую. Да! — Яшка виновато засмеялся.— Ты смотри, конечно, не того... помалкивай...

— Мое дело — сторона,— ответил огорченный Бумбараш.— Я разве против? Я только говорю — сторона, мол, мое дело.

— «Сторона ль моя, сторонушка! Э-эх, широ-окая, раздольная...» — укоризненно покачивая головой, протяжно пропел Яшка.— Ну, вставай, пролетарий! — опять рассмеявшись, скомандовал он и одним толчком вскочил с травы на ноги.

Однако Бумбараш Яшкиного совета не послушался и в тот же вечер пошел к Вареньке. К вечеру, чтобы отряхнуться от невеселых мыслей, он допил оставшуюся полбутылку самогона. После этого он сразу повеселел, подобрел, роздал ребятишкам еще по куску сахару, который, впрочем, Серафима тотчас же у всех поотнимала, и подумал, что вовсе ничего плохого в том, что он зайдет к Вареньке, не будет.

Он даже может зайти и не к ней, а к Гаврилке Полувалову. Дружбы у них меж собой, правда, не было, однако же были они почти соседи, да и в солдаты призывались вместе. Только Бумбараш скоро попал в маршевую,

а Гаврилке повезло, и он зацепился младшим писарем при воинском начальнике.

Бумбараш побрился, оцарапал щеку, потер палец о печку, замазал мелом синяк под глазом и, почистив веником сапоги, вышел на улицу.

У ворот полуваловского дома хрустели овсом оседланные кони. Бумбараш заколебался: не подождать ли, пока эта кавалерия уедет восвояси? Но, услыхав через дверь знакомый Варенькин голос, он привычным жестом провел рукой по ремню, одернул гимнастерку и вошел на крыльцо.

В избе за столом сидели шестеро. В углу под образами стояли винтовки, на стене висела ободранная полицейская шашка — должно быть, Гаврилкина.

«Эк его разнесло! — подумал Бумбараш.— А усы-то отпустил, как у казака».

Увидав Бумбараша, Варенька, которая раздувала Гаврилкиным сапогом ведерный самовар, не сдержавшись, вскрикнула и быстро закрыла глаза ладонью, притворившись, что искра попала ей в лицо.

Гаврила Полувалов посмотрел на нее искоса. Обмануть его было трудно. Однако он не моргнул и глазом.

— Заходи, коли вошел! — <предложил> он.— Что же стоишь? Садись. Пей чай — вино выпили.

Варенька вытерла сапог тряпкой, подала мужу. С Бумбарашем поздоровалась, но в лицо ему не посмотрела.

«Похудела! Похорошела! Эх, золото!» — не чувствуя к Варьке никакой злобы, подумал Бумбараш.

Но молчать и глядеть на нее было неудобно. И он нехотя стал отвечать на вопросы, где был, как жил, что видел и как вернулся.

— Лучше было тебе и вовсе не ворочаться,— сказал Полувалов.— Такой вокруг развал, разгром, что и глядеть тошно. — И, пытливо уставившись на Бумбараша, он спросил: — С Яшкой Курнаковым видался? Он, собачья душа, поди-ка, тебе все уже расписал?

— Что Яшка! — уклончиво ответил Бумбараш.— Я и сам все вижу.

— А что ты видишь? — насторожившись, спросил Полувалов.— Варвара, глянь-ка там за шкапом, не осталось ли что в бутылке? Дай-ка, мы с ним за встречу выпьем.

Пить Бумбараш уже не хотел, но чтобы задержаться в избе подольше, он выпил.

Красавинские охранники, не разгадав еще, что Бумбараш за человек и как при нем держаться, сидели молча.

— Так что же ты видишь?— продолжал Полувалов.— Говори, послушаем. Мы-то тут ходим, тычемся носом, как слепые. А тебе со стороны, может, и виднее...

— Что Яшка! — опять уклонился от вопроса осторожный Бумбараш.— У Яшки — свое, а у тебя — свое.

— Что же это у меня за «свое»? — враждебно спросил Полувалов, отыскав в словах Бумбараша вовсе не тот смысл, что Бумбараш вкладывал.— Что мне свое? Своего мне и так хватит. Я за всех вас, подлецы, стараюсь... У-у, погоди! — скрипнув зубами, пробормотал он и смачно сплюнул, вероятно опять вспомнив ненавистного Яшку.

«Нет, ты не слепой тычешься! — глянув на перекосившееся Гаврилкино лицо и вспомнив рассказ Яшки о пуле, пробившей окошко, подумал Бумбараш.— Таким слепцам на пустой дороге не попадайся!»

— Гаврила Петрович! — закричал снаружи бабий голос.— Беги-ка скорей в волсовет, там какая-то бумага пришла. Тебя ищут.

— Пропасти на них нет! Только Гаврила Петрович да Гаврила Петрович! А чуть что — все в кусты! А в ответе опять же Гаврила Петрович... Идем! — поднимаясь с лавки, сказал он Бумбарашу.— Теперь не дождешься. Я долго...

И, пропустив Бумбараша в сени, он, обернувшись к охранникам, сказал вполголоса:

— А вы подождите. Что там за бумаги? Я — скоро.

Только что Полувалов скрылся за углом, как Бумбараш быстро шмыгнул через калитку во двор, а оттуда — через коровник в сад, что раскинулся над оврагом.

Ждать ему пришлось недолго. Варенька стояла рядом и с испугом глядела ему в лицо.

— Ты что, Семен? — вздрагивающим шепотом спросила она.— Ты уходи.

— Сейчас уйду,— сжимая ее похолодевшую руку, ответил Бумбараш.— Как живешь, Варенька?

— Как видишь! Так тебя не убили...

— Бог миловал. Да, смотрю, напрасно... Горько мне, Варенька! Что же ты поторопилась?

— Я не торопилась. А что было делать? Изба сгорела. Мать на пожаре бревном зашибло. Тебя убили... Господи, да кто же это такое придумал, что тебя убили!.. Уходи, Семен! В избе гости, мне идти надо...

— Сейчас уйду. Ты его любишь, Варенька?

— Не знаю. Странный он. Беда будет...— бессвязно ответила Варенька.— Беги, Семен, он сейчас вернется!

— Он не вернется. Он сказал, что долго.

— Нет, скоро! Я сама слышала! Он хитрый... Господи! — с мукой в голосе повторила Варенька.— Да кто же это такое придумал, что тебя убили!

Теплая слеза упала в темноте Бумбарашу на ладонь. Бумбараш покачнулся и почувствовал, что голова его быстро пьянеет. Луна слепила ему глаза, и мимо ушей свистел горячий ветер.

— Варенька! — сказал он, плохо соображая, что говорит.— Ты брось его... Уйдем вместе.

— Полоумный! — отшатнулась Варенька.— Что ты мелешь? Как уйдем? Куда?.. Под пулю...

«И точно, куда уйдем? — подумал Бумбараш. — Уходить некуда...»

Варенька вырвалась и насторожилась.

— Беги, Семен! Кто-то идет. Сюда не приходи, не надо!

Она отпрыгнула и скрылась за калиткой. Слышно было, как в коровнике звякнули ведра, и Варенька поспешно вбежала на крыльцо.

Бумбараш стоял, опустив голову и ничего не соображая.

На крыльце опять послышались шаги. Если бы Бумбараш не был пьян, если бы он не был ослеплен луною и оглушен свистом ветра, то по тяжелому топоту он сразу бы угадал, что это идет не Варенька — и не один, а двое.

Он двинулся к калитке и нарвался на Гаврилку Полувалова и старшо́го красавинской охраны, которые, чтобы их разговора никто не слышал, шли в сад.

— Стой! — крикнул Гаврилка и схватил Бумбараша за рукав.

Бумбараш двинул Гаврилку коленом в живот, отскочил в кусты и тотчас же [получил] тяжелый удар по голове, должно быть железным кастетом.

Он зашатался... выровнялся, шагнул к оврагу... Опять зашатался... хватаясь за ветвь, выпрямился. Оступился, цепляясь за колючки, покатился под откос в овраг.

Очнулся он не сразу. Голова ныла. Лоб был мокрый, очевидно в крови. Где-то рядом журчал ручей, но луна скрылась, и пробраться через колючки к воде он не сумел. Кое-как выбрался он наверх и задами пошел к дому.

Через огород он вышел к себе во двор. Дома еще не спали. Он торкнулся — дверь была заперта. Он подошел к окошку — в избе сидели Василий, Серафима и ее отец — старик Николай. Говорили, очевидно, о нем, об избе, о костюме, о лошади...

— Добрые люди! — говорила Серафима.— Да разве же мы виноваты? У нас бумага.

— Печку растопить этой бумагой! А он скажет: «Вынь деньги да положь!» А где их возьмешь, деньги? Продали, прожили...

— Господи, вот принесла нелегкая! Ему что — он один. Куда хочешь пошел да нанялся. Хоть бы ты чего-нибудь, папаню<шка>, сказал, а то сидишь бороду чешешь! Вино для людей поставили, он, старый сыч, навалился и навалился!

Бумбараш постучал в окно. Разговор оборвался. Выскочила Серафима.

— Дай-ка мне воды умыться, — выходя на свет, попросил Бумбараш.

— Ты заходи в избу, там умоешься.

— Дай, говорю, сюда! И захвати полотенце,— настойчиво повторил Бумбараш.

— Давай полью! — сердито сказала Серафима, вынося полотенце и ковшик.— Да куда ты прячешься? Подайся к свету... Батюшки! — тихо вскрикнула она, рассмотрев на лбу Бумбараша струйку запекшейся крови.— Семен, это кто тебя? — И вдруг догадавшись, она спросила: — Ты у нее был? Гаврилка?..

— Серафима,— сказал Бумбараш,— я под окном все слышал... Вы с братом будете хороши, и я к вам буду хорош... Смотрите, чтоб никому ни слова!.. Кинь мне что-нибудь на сеновале. Я там лягу.

— Да зайди хоть в избу!

— Не иадо, — заматывая голову полотенцем, отказался Бумбараш. — А отцу скажи — захмелел, мол, Семен и на сеиовал спать пошел. А больше, смотри, ничего...

На следующий день Бумбараш с сеиовала ие слезал. Если бы Гаврилка Полувалов увидел его голову, Вареньке пришлось бы плохо.

Бумбараш решил отлежаться, а иаутро чуть свет уйти в Россошаиск и там переждать с иедельку у дяди, который был жестяищиком.

Несколько раз с иовостями прибегала иа сеновал Серафима.

— Полувалов к окошку подходил, — сообщала она. — Тебя спрашивал. «Он, говорю, на хутор к крестной пошел». — «Домой вечор от меня он не пьяиый воротился?» — «Да иет, говорю, как будто бы в себе. Поиграл иа Васькиной балалайке, да и спать лег». А иа селе, Семен, что-то иеспокойно. Охраиники шмыгают туда-сюда. Люди болтают, будто приказ вышел — охраиы больше ие нужно и винтовки сдать на станцию. А [Гаврилка] будто бумагу эту скрывает. Кто их знает? Может быть, и враки, разве теперь разберешь...

После обеда Серафима появилась опять:

— Варьку у колодца встретила. Вдвоем мы были. Больше иикого. Вытяиула она ведро да будто невзиачай опрокииула. «Набирай, говорит, я передохиу». А сама стоит и смотрит и, видать, мучается, а спросить боится... Я ей говорю: «Ты, Варвара, от меия ие прячься... Семен дома. На сеиовале лежит». У ией, видно, дух захватило. «А что так?» — «Да голова у иего малость побита и иа лбу ссадииа. Тебя выдать боится». — «Серафима! — шепчет она, а сама чуть ие в слезы. — Христом-богом тебя молю: скажи ты ему, чтобы схоронился он отсюда подальше. Вижу я, что к худому идет дело». Тут оиа замолчала, ведро из колодца тяиет. Рука, вижу, дрожит, а сама бормочет: «Пусть Семеи Яшке Куриакову скажет: беги, мол, и ты, а то беда будет...» А что за беда, я так и ие дослышала. Схватила Варька ведра да домой, чуть не бегом.

К вечеру Серафима еще рассказывала:

— Яшка Курнаков приходил. Тебя ищет. Я ему

говорю: «Дома нету, кажись в рощу, на пасеку к крестному, пошел. Не знаю — вернется, не знаю — там заночует... Яшка, — говорю ему, — ты берегись. Люди думают, как бы тебе от Гаврилки плохо не было». Как плюнет он на землю, сам озирается, а руку из кармана не вынимает. «Ой, думаю, в кармане у тебя не семечки!..»

— Яшке сказаться надо было,— подосадовал Бумбараш.— Если еще придет, ты его сюда пошли.

— А кто тебя знает! Говорил — молчи, я всех и отваживаю. Оставь ты, Семен, не путайся с ними!.. Я вот ему, паршивцу, я вот ему, негоднику! — зашипела вдруг Серафима, увидав через щель крыши, что пузатый Мишка поймал серого утенка и ловчится засунуть его в корыто.— И этот тебя весь день тоже ищет,— тихонько рассмеялась Серафима.— «Где дядька? Дядька, говорит, богатый, с сахаром». Ты будешь уходить, Семен, оставь сахару сколько ни то. Сладкого-то у них давно и в помине нету.

— Ладно, ладно! — поморщился Бумбараш.— Вы только, глядите, помалкивайте...

— Господи! Что мы — чужие, что ли? Я уж, кажись, и так, как могила.

Перед тем как лечь спать, он захотел пить, да нечаянно опрокинул чашку с квасом на сено. Спуститься вниз он не решился. В углу крыши зияла широкая дыра, над которой раскинулась ветка густой яблони. Бумбараш встал, сорвал на ощупь яблоко, сунул его в рот и раздвинул влажные листья. Перед ним раскинулось звездное небо, и среди бесчисленного множества [звезд] он теперь сразу нашел те три звезды, из-за которых он попал в плен, болел тифом, цингою, потерял избу, костюм и Вареньку...

Это случилось при отступлении от Ломбежа <на Большую Млaнку>.

Бумбараш заскочил в хату батальонного штаба, чтобы спросить у вестовых, куда к черту провалилась восьмая рота. Бородатый офицер, кажется прапорщик, сидя на корточках, кидал в печку остатки бумаг, а чтобы быстрей горело, ворошил их почерневшим клинком шашки.

Он всучил оторопевшему Бумбарашу перевязанный телефонным проводом сверток, вывел на крыльцо и острием шашки показал на горизонт.

— Подними морду и смотри левее. Иди до околицы, там свернешь вон на эти три звезды: две рядом, одна ниже. Дальше иди прямо, пока не наткнешься на саперный взвод у переправы. Там найдешь адъютанта третьего батальона. Передашь сверток, возьмешь расписку. Отдашь ее командиру своей роты.

Бумбараш повторил приказ и, проклиная свою несчастную долю, которая подтолкнула его заскочить в хату, пошел полем, время от времени задирая голову к небу [чтобы не потерять из виду тех трех звезд].

Он был голоден, потому что шрапнельный снаряд разбил ротную кухню как раз в ту минуту, когда кашевар отвинчивал крышку котла с горячими щами.

Но всего только час назад ему посчастливилось стянуть из чужой каптерской повозки банку с консервами. Банка была без этикетки, и вместе с голодом его одолевало любопытство — рыбные [это консервы] или мясные?

Выбравшись в поле, он опустился на траву, достал кусок кукурузного хлеба, снял штык и пробил в жестяной крышке дырку. Чтобы не потерять ни капли, он быстро опрокинул банку в рот.

Липкая, едкая, пахнувшая бензином краска залила ему губы, ударила в нос и обожгла рот. Отплевываясь и чертыхаясь, он вскочил и понесся отыскивать воду.

Долго полоскал он рот, скреб язык ногтем, вытирал рукавом губы и жевал траву.

Наконец, убедившись, что дочиста все равно не отмоешь, еще более голодный и усталый, чем раньше, он зашагал по полю. Надо было торопиться.

Он поднял голову, разыскивая свои путеводные звезды, однако там, куда он смотрел, их не было.

Он вертел голову направо-налево. Ему попадались созвездия, раскинувшиеся и крючками, и хвостами, и ковшами, и крестом, и дыркою... Но тех трех звезд — две рядом, одна пониже — он не мог разыскать никак. Тогда он пошел назад и нарвался в упор на головную заставу австрийской колонны.

Бумбараш съел яблоко и взялся поправлять свое измятое логово.

Глухой взрыв ударил по ночной тишине.

Бумбараш вскочил на ноги.

«Бомба! — сразу же догадался он. — Для снаряда слабо, для винтовки крепко. Кто бросает?..»

Почти следом раздались три, четыре выстрела. Потом стихло. Потом, уже не переставая, то приближаясь, то удаляясь, редкие выстрелы защелкали с разных сторон.

«Чтоб вам и на том свете не было покою! — обозлился Бумбараш.— И когда это все кончится!»

Он кинулся на сено, укрылся шинелью и решил назло спать, хотя бы на улицах дрались в штыковую.

— Хватит! — бормотал он.— Я к вам не лезу. Отвоевался...

Однако для спанья время он выбрал плохое. Кто-то забежал во двор и тихонько постучал в фортку. Вскоре на сеновал взобралась запыхавшаяся Серафима.

— Семен! — позвала она.— Вставай, Семен! Скорее!

— Что надо? — огрызнулся Бумбараш. — Убирайтесь вы к черту! Я спать хочу!

— Вставай, очумелая башка! — ахнула Серафима.— Слезай! Бери сумку. Внизу Варька.

Одним махом Бумбараш слетел на кучу навоза, и тотчас же из темноты к нему подскочила Варенька.

— Беги! — зашептала она.— Тебя ищут! Яшка Курнаков бросил бомбу. Забрали три винтовки... Шурку Плюснина убили... Гаврилка думает, что ты с ними заодно. Найдут — убьют!

— Погоди! — вскидывая сумку за плечи, пробормотал разгневанный Бумбараш.— Я еще вернусь! Я ему... убью! Дай только разобраться...

Выстрелы раздавались все ближе и ближе. Но стреляли, очевидно, наугад, без толку.

— Ну, бог с тобой, уходи, уходи же! — заторопила Серафима.— Мимо воробьевской бани спустись, прямо через речку, вброд — там мелко.

— Через мельницу не ходи,— прошептала Варенька,— там наши... банда. Пусти, Семен, теперь уже нечего!

Она вырвалась и убежала.

В избе захныкали потревоженные ребятишки.

Бумбараш выломал из плетня жердь и, не сказав ни

слова, зашагал через огородные грядки к спуску на речку.

Серафима перекрестилась и юркнула в избу.

Через минуту в окошко застучали. Серафима молчала. Тогда забарабанили громче и загрохали прикладом в калитку.

Серафима с яростью распахнула окно и плюнула прямо кому-то в морду.

— Ах ты, бесстыжая рожа! — взвизгнула она на всю улицу.— Ты, Пашка, чего безобразишь? С постели соскочить не дают! Мужик больной, детей до смерти перепугали! Ты бы еще оглоблей в стену!.. Ну, чего надо? Нету, говорю, Семена! Так вам с утра еще и было сказано. Идите ищите! Нам он и самим как прошлогодний снег на голову... Да что ты мне своим ружьем в грудь тычешь? Так я твоей пули и испугалась!

Проснулся Бумбараш под стогом сена верстах в десяти от Михеева и в тридцати — от Россошанска.

Утро было теплое, солнечное. На речке гоготали гуси. Под горою, на лугу, ворочалось коровье стадо.

По дороге тарахтели телеги, и с котомками за плечами шли мирные путники.

И чудно было даже вспомнить и подумать, что по всей этой широкой, спокойной земле, куда ни глянь, куда ни кинь, упрямо разгоралась тяжелая война.

Бумбараш подошел к ручью, умылся, напился, а позавтракать решил в деревне Катремушке, до которой оставалось уже недалеко.

И странное дело... Шагая по мягкой проселочной дороге, пропуская обгонявшие его подводы, здороваясь с встречными незнакомыми пешеходами, под лучами еще не жаркого солнца, под свист, треньканье и бренчанье лесных пичужек, впервые ощутил Бумбараш совсем неведомое ему чувство — безразличного покоя.

Впервые за долгие годы он ничего не ждал и сам знал точно, что и его нигде не ждут тоже. Впервые он никуда не рвался, не торопился: ни с винтовкой в атаку, ни с лопатой в окопы, ни с котелком на кухню, ни с рапортом к взводному, ни с перевязкой в лазарет, ни с поезда на подводу, ни с подводы на поезд. Все, на что он так надеялся и чего хотел,— не случилось. А что

должно было случиться впереди, этого он не знал. Потому что не был он ни ясновидцем, ни пророком. Потому что из плена вернулся он недавно и то, что вокруг него происходило, понимал еще плохо.

Вот почему, подбитый, небритый, одинокий, Бумбараш шагал ровно, глядел если не весело, то спокойно и даже насвистывал, скривив губы, австрийскую песенку о прекрасной герцогине, которая полюбила простого солдата.

На перекрестке, там, где дорога расходилась влево — на Семикрутово, прямо — на Россошанск, вправо — к станции,— не доходя с версту до деревни Катремушки, стояла на холме прямая, как мачта, спаленная молнией береза.

Береза была тонкая, гладкая, почти без сучьев, и было совсем непонятно, как и зачем у самой обломанной вершины ее кто-то [сидел].

— Эк куда тебя занесло! — останавливаясь возле дерева и задирая голову, поднвился Бумбараш.— Глядите, какой ворон-птица!..

То ли ветер качнул в это время надломленную вершину, то ли «ворон-птица» не так повернулся, только он по-человечески вскрикнул, и неподалеку от Бумбараша упал на траву железный молоток.

«Плохо твое дело! — подумал Бумбараш.— Эк тебя занесло! Теперь возьми-ка, спускайся...»

— Дядька, здравствуй! — раздался сверху пронзительный голос.— Дядька, подай мне молоток!

— Дура! — рассмеялся Бумбараш.— Что я тебе, обезьяна?

— Я бечевку спущу, а ты привяжи...

— Если бечевку, тогда дело другое,— согласился Бумбараш и, скинув сумку, стал дожидаться.

Прошло несколько минут, прежде чем бечевка с сучком на конце опустилась и остановилась сажени на две до протянутой руки.

— Не хватает! — крикнул Бумбараш. — Спускай ниже.

— Сейчас, погоди. Надвяжу пояс.

Сучок опустился еще немного, но и этого было мало.

— Не хватает! — опять закричал Бумбараш. — Спускай ниже, а то уйду...

— Сейчас! — донесся встревоженный голос.

Видно было, как мальчуган, осторожно перехватываясь за корешки сучьев, снял рубашку и надвязал пояс к рукаву.

— Все равно не хватит. Давай, что еще есть!

— Что же мне — и штаны скидывать, что ли? — послышался сердитый ответ. — Да ты давай сам подлезь маленько.

— Еще не было нужды!

Однако и на самом деле обидно было не достать конец бечевки, до которой оставалось не больше чем два аршина.

Бумбараш скинул шинель и, вспомнив солдатскую гимнастику, полез вверх.

Сунув молоток в петлю, обдирая гимнастерку и руки, он соскользнул на землю.

— Дядька, спасибо! — поблагодарили его сверху.— Куда уходишь? До свиданья!..

Но Бумбараш не уходил еще никуда. Просто опасаясь, как бы сорвавшийся молоток не брякнулся ему на голову, он отошел к опушке и сел на пенек, собираясь посмотреть, чем же теперь все это дело кончится.

Видно было, как мальчишка прижимает телом вдоль ствола какой-то темный жгут и как, раскачиваясь на ветру, он ловко орудует молотком.

Вот он забил последний гвоздь, торжествующе вскрикнув, опустил жгут, и большое полотнище красного флага с треском взметнулось по ветру.

Зачем на перекрестке лесных дорог должен был торчать флаг — этого Бумбараш не понял никак. Так же, как не поняла, по-видимому, проезжавшая на возу баба, которая всплеснула руками и поспешно ударила вожжой по коняшке, очевидно рассудив, что раз тут затевается что-то непонятное, то лучше убраться от греха подальше.

Не дожидаясь, пока мальчишка слезет, Бумбараш двинул дальше и скоро очутился в деревне Катремушки, которая, как он увидел, была занята отрядом красноармейцев.

Красным Бумбараш ничего плохого не сделал, и потому он смело зашел в дом, где жила знакомая старуха.

Но старуха эта, оказывается, давно померла, и дома

была только рябая баба — жена ее сына, которая занималась сейчас стиркой. Бумбараша она не знала.

Он спросил у ней, можно ли остановиться и отдохнуть.

— Чай, хлеб, баба, твой,— сказал Бумбараш,— сахар мой, а пить будем вместе.

Услыхав про сахар, баба вытерла о фартук мыльные руки и в нерешительности остановилась.

— Уж не знаю как,— замялась она.— В горнице у меня какой-то начальник стоит. Да и углей нет. Разве что лучиной?

— Эка беда — начальник! — возразил Бумбараш.— Что мне горница, я попью и на кухне. А лучину наколоть долго ли? Это я и сам мигом.

— Уж не знаю как,— оглядывая с ног до головы грязного Бумбараша, все еще колебалась баба.— Да ты, поди, и про сахар не врешь ли?

— Я вру? — доставая из сумки пригоршню [сахару] и потряхивая ею на ладони, возмутился Бумбараш.— Да мы с тобою, дорогая моя королева, внакладку пить будем!

Рябая баба рассмеялась и пошла за самоваром.

Вскоре нашлись и теплая вареная картошка, и хлеб, и молоко... Бумбараш позавтракал, напился чаю и почувствовал, что его клонит ко сну.

В самом деле, всю ночь, мокрый и грязный, он был на ногах, заснул у стога сена только под утро и спал мало.

«Торопиться некуда. Дай-ка я посплю,— решил он.— А пока сплю, пусть баба выстирает гимнастерку и брюки. Хоть к дядьке приду человек человеком. Да пускай заодно и воротник у шинели иглой прихватит, а то болтается, как [у богатого]».

Он пообещал бабе десять кусков сахару, и она показала ему во дворе плетеную клетушку с сеном.

— Тут и спи,— сказала она.— А в чем ты спать будешь? Нагишом, что ли?

— Давай поищи чего-нибудь из мужниного старья. Не на свадьбу.

Баба покачала головой. Долго рылась она в чулане. Наконец достала такую рванину, что, разглядывая ее на свету, и сама остановилась в раздумье.

— Уж не знаю, чего тебе. Разве вот это?

— Не нашла лучше! Пожадничала...— пробурчал

Бумбараш, напяливая на себя штаны и пиджак, до того изодранные, излохмаченные, что годились бы разве только огородному пугалу.

— Экий ты стал красавец! — забирая одежду, рассмеялась баба.— Ложись скорей, а то вон начальник идет. Глянет да испугается.

Спал Бумбараш долго. Когда он проснулся, то во дворе рябой бабы уже не было. Рядом с клетушкой, у скамьи под яблоней, разговаривали двое — командир и мальчишка.

— Дурак ты был, дураком и остался,— со сдержанной досадой говорил командир.— Ну скажи, дурак, зачем тебя понесло на дерево и ты приколотил флаг? Вот прикажу сейчас красноармейцам, чтобы достали и сняли.

— Разве же кто долезет? — усмехнулся мальчишка.— Да им в жизнь никому не долезть! Там наверху сучья хрупкие. Как брякнется, так и не встанет.

— Это уж не твоя забота. Раз я прикажу, значит достанут. Ну что ты тут вертишься? Добро бы какой сирота был. Иди домой! Ты думаешь, у нас всё гулянки? Вот пойдут бои, на что ты тогда нам сдался?

— Вот еще! Дали бы мне винтовку, и я бы с вами. Я смелый! Спросите у Пашки из третьего взвода. Он говорит: «Дай-ка я над твоей головой раза три из винтовки бахну — сразу штаны станут мокрые». А я говорю: «Хоть все пять,— пожалуй!» Стал я у стенки. Он раз — бабах! Два, три! А я стоял и даже не моргнул глазом.

— Я вот ему покажу, сукину сыну! — рассердился командир.— Я ему дам штук пять не в очередь! Тоже, балда, нашел дело!

— Наврал я про Пашку,— помолчав немного, ответил мальчуган.— Это я вас хотел раззадорить. Думаю: может, разойдется. «Ах, скажет, была не была, давай приму».

— Куда приму?

— Известно куда. К вам в отряд.

— Опять на колу мочала, начинай сначала. Меня твоя мать о чем просила? «Гоните, говорит, его прочь, пусть лучше делом займется, а не шатаньем, как безродный».

— Так ведь она же глупая, товарищ командир! Разве же ее переслушаешь?

— Это ты на родную мать-то... глупая? Хорош гусь! Пошел с моих глаз долой! Слушать тебя — и то противно.

— Конечно, глупая,— упрямо повторил мальчуган.— Недавно зашел к нам на квартиру какой-то комиссар, что ли, а с ним девка с бумагами. «Сколько,— спрашивает он, — детей? Да кто был муж? Да сколько денег получаешь?» А она стоит и трясется. Я ей говорю: «Мама, ты чего трясешься? Это же советский». Все равно трясется. А чего бояться! Вот вы, например, начальник, однако же я стою и не боюсь.

— Послушай, ты,— помолчав немного, спросил командир,— как тебя...

— Иртыш, — подсказал мальчишка.

— Постой, почему же это Иртыш? Тебя как будто бы Иваном звали... Ванькой...

— То поп назвал,— усмехнулся мальчишка.— А теперь не надо. Ванька! И názванье-то какое-то сопленосое. Иртыш лучше!

— Ну ладно, пусть Иртыш. Так вот что, Иртыш — Смелая голова, в отряд я тебя все равно не возьму. А вот, если хочешь сослужить нам службу, я тебе дам пакет. Беги ты назад в Россошанск и передай его там военному комиссару.

— Да вы, поди, там напишете какую-нибудь ерунду, так только, чтобы от меня отделаться,— усомнился Иртыш.— А я и помчусь как дурак, язык высунувши.

— Вот провалиться мне на этом месте, что не ерунду,— побожился командир.— Так, значит, сделаешь?

— Ладно,— согласился Иртыш.— Только, если обманете, я вас все равно найду. Стыдить буду.

Когда они ушли, заспанный Бумбараш вылез из своей берлоги. Надо думать, что вид его был очень страшен, потому что, увидев его, бегавшие по двору ребятишки с воем бросились врассыпную.

— Отоспался? — высовываясь из окна, спросила его рябая баба.— Заходи в избу, щей налью. Мы уже отобедали.

Бумбараш сел за стол и вытащил свою ложку.

— Ушел командир? — спросил он, прислушиваясь к

тиканью часов в горнице. — Командир, я смотрю, у вас добрый.

— Добрый, — согласилась баба. И, зевнув, она добавила: — На кого как. Вчера вечером у нас тут под оврагом шпиёна одного расстреляли. Хлюпкий такой шпиён, а в мешке три бомбы...

На кухню вошел красноармеец, но, судя по нагану у пояса, тоже какой-нибудь старшой.

— Командир здесь?

— Нету. Сказал, что скоро придет.

Красноармеец сел на лавку и внимательно посмотрел на хлебавшего щи Бумбараша.

— Это что же... здешний? — не вытерпев, наконец спросил он.

— Нет. Прохожий, — ответила баба.

— А...

Опять посидели молча.

— А это чья? — спросил красноармеец, показывая на висевшую в углу шинель.

— Моя шинель, — ответил Бумбараш. — А что надо?

— Ничего. Так спрашиваю.

Баба выдернула из стены иголку и сняла шинель, собираясь зашить порванный воротник.

— Экая у тебя шинель! — укоризненно сказала она, выворачивая грязные карманы и обшлага. — Такую шинель только перед порогом постлать на подтирку... Это что у тебя за рукавом бумага? Нужная?

Бумбараша передернуло. Это был тот самый пакет, который бог знает зачем взял он от мужика ночью в кордонной избушке. А кому был этот пакет и что еще в нем было написано — этого он так и не знал.

— Нет, — грубо ответил он. — Брось на растопку.

Красноармеец поднял с шестка пакет и распечатал. Лицо его сразу же покрылось пóтом, он читал про себя по складам, не переставая наблюдать за движениями Бумбараша и не спуская руки с расстегнутой кобуры нагана.

— Поднимайся! — сказал он таким хриплым голосом, как будто бы его душили за горло.

Баба взвизгнула и уронила шинель. Бумбараш хотел было объяснить, кто он и откуда, но красноармеец глядел

на него глазами, горевшими такой дикой ненавистью, что Бумбараш смолчал и решил, что лучше будет держать ответ перед самим командиром.

Он взял сумку и, в чем был, так и пошел впереди вынувшего наган конвоира, возбуждая всеобщий страх и любопытство.

У крыльца штаба была привязана верховая лошадь. На ступеньках, облокотившись о винтовку, сидел молодой красноармеец.

— Проходи! — скомандовал конвоир Бумбарашу. — Встань, Совков, дай дорогу!

— К командиру нельзя! — не поднимаясь, ответил красноармеец. — Командир заперся с каким-то партийным. Видишь, лошадь...

— Сам ты лошадь! Видишь, дело важное!

— Ну иди, коли важное. Он тебе шею намылит.

Конвоир замялся.

— Совков,— сказал он, покарауль-ка этого человека. А я зайду сам, доложу. Да смотри, чтобы не убег.

— Пуля догонит! — самоуверенно ответил Совков. — Давай, проходи. Да погляди на часы — много ли время.

Не поворачивая головы, Бумбараш зорко осматривался. Ворота во двор штаба были приоткрыты. Забора на той стороне не было, недалеко за баней начинался кустарник, потом овражек, потом опять кустарники — уже до самого леса.

«А кто его знает, как еще рассудит командир? — с тревогой подумал Бумбараш, вспоминая рассказ хозяйки о расстрелянном шпионе. — Да пойди-ка докажи ему, что пакет не твой. Доказать трудно... А пуля не догонит, — решил он, приглядываясь к лицу красноармейца.— Не та у тебя, парень, ухватка!»

Он наклонил голову, поднес ладонь к глазам, как будто бы протирал веки, и, вдруг выпрямившись, ударил красноармейца ногой в живот.

Научили Бумбараша австрийские пули и прыгать зайцем, и падать камнем, и катиться под гору колобком, и втискивать голову меж кочек, и ползти ящерицей. И оказался он под стеклом командирского бинокля уже возле самой опушки. Видно было, как он остановился, поправил сумку и, пошатываясь, ушел в лес.

Опасаясь погони, он не пошел по Россошанской дороге и долго плутал по лесу, пока не вышел на ту, что вела в Семикрутово.

Уже совсем стемнело. Через дыры его лохмотьев проникал сырой ветер. На траву пала роса. Нужно было думать о ночлеге, о костре, а тут еще, как нарочно, оказалось, что оставил он не только шинель, но и в кармане ее — спички.

Он шел, зорко оглядываясь по сторонам — не попадется ли хотя бы стожок сена, и вот заметил далеко, в стороне от дороги, мигающий огонек костра.

«Раз костер — значит, и люди», — раздумывал Бумбараш.

Однако, вспомнив, что за все последнее время, начиная от лесной сторожки, каждая встреча приносила не одну, так другую беду, он решил подобраться незаметно, чтобы узнать сначала, что там у костра за люди и чего от них можно ожидать плохого.

Добравшись до мелкой дубовой поросли, он опустился на четвереньки и вскоре подполз вплотную к костру, возле которого — как он разглядел теперь — сидели [два] монаха.

«Семикрутовские! — решил Бумбараш. — От Долгунца бегают».

И он затих, прислушиваясь к их неторопливому разговору.

— Ты еще этого не помнишь, — говорил черный монах рыжему. — Был у нас некогда пекарь — брат Симон. Человек, надо сказать, характера тихого, к работе исправный, но пил.

— Помню я, — отозвался рыжебородый. — Он из просфирной два куля муки стянул да осколок медного колокола цыганам продал.

— Эх, куда хватил! То был Симон-послушник, вор, бродяга! Его после, говорят, в казанской тюрьме за разбой повесили... А этот Симон был уже в летах, характера тихого, но, говорю, пил. Бывало, игумен, тогда еще отец Макарий, ему скажет: «Симон, Симон! Почто пьешь? Терплю, терплю, а выгоню». А брат Симон кроткий был. Как сейчас вот помню: стоит он пьяненький, руки на животе вот так сложит, а в глазах мерцание... этакое сияние. «Просто, говорит, отец игумен, к подвигу готовлюсь». А отец Макарий характеру был крутого.

«Если, говорит, сукин сын, все у меня к подвигу через пьянство будут готовиться, а не через пост и молитву, то тогда мне возле трапезной кабак открывать придется».

Рыжебородый монах ухмыльнулся, подвинул свои короткие ноги в лаптях к огню и покачал плешивой, круглой, как тыква, головой.

— А ты не осуждай — строго оборвал его рассказчик. — Ты раньше послушай, что дальше было.

Вот стоим мы единожды у малой вечерни с каноном. Служба уже за середку перевалила. Уже за часослова «Буди, господи, милость твоя, яко же на тя уповаем» проскочили. Вдруг заходит брат Симон, видать — выпивши, и становится тихо у правого крылоса. А надо сказать, что крепко-накрепко было игуменом наказано, что если брат Симон не в себе — не допускать в храм спервоначалу увещеванием, а ежели не поможет, то гнать прямо под зад коленкой.

И как он смело через дверь прошел — уму непостижимо. А от крылоса гнать его уже неудобно. [И вот] стою я и думаю: ну, господи, только бы еще не сблевал! А служба идет своим чередом. Только возгласили ирмос: «Ты же, Христос, господь, ты же и сила мя», как наверху треснет, как крякнет! Стекла, как дождь, на голову посыпались. А у нас снаружи на лесах каменщики работали. Возьми леса да и рухни! Одно бревно, что под купол подведено, как грохнуло через окно и повисло ни туда ни сюда. Висит, качается... Как раз над правым приделом. А сорвется — все сокрушит вдрызг. Мы, конечно, кто куда, в стороны... Смалодушествовали...

Вдруг видим, брат Симон — к алтарю, да по царским вратам, с навеса на карниз, да от того места, где нынче расписано <сожжение> великомученицы Дарьи, — и пошел и пошел... Карниз узкий — только разве кошке пробраться, а он лицом к стене оборотился, руки расставил — в движенье легкость такая, как бы воспарение. Сам поет: «Тебя, бога, славим». И пошел и пошел... Господи! Смотрим — чудо в яви: добрался он до окна, чуть бревно подтолкнул, оно и вывалилось наружу. Постоял он, обернулся, видим — качается. Вдруг как взревет он не своим голосом да как брякнется оттуда [на] пол! Тут он и богу душу отдал.

Так потом сколько верою укрепились — к тому карнизу лазили! Один купец попытался: «<Дай я сам> ступлю».

Ступил раз-два... да на попятную. «Нет, говорит, бог меня за плечи не держит... Аз есмь человек, но не обезьяна, а в цирке я не обучался». Дал на свечи красненькую и пошел восвояси.

Рыжебородый опять покачал головой и усмехнулся.

— Чего же ты ухмыляешься? — сердито спросил черный.

— Да так... сияние... воспарение... Вот, думаю, заставил бы Долгунец всех <и впрямь> с колокольни прыгать — поглядел бы я тогда, какое оно бывает воспарение... Господи, помилуй! Кто там?

Тут оба монаха враз обернулись, потому что из-за кустов выполз лохматый, рваный, похожий на черта Бумбараш.

— Мир вам! — подвигаясь к костру, поздоровался Бумбараш.

— И тебе тоже,— ответил рыжебородый.— Говори, чего надо? Если ничего, то проваливай дальше.

— Земля широка, — подхватил другой. — Места много... А мы тебя к себе не звали.

На коленях у рыжебородого лежал тяжелый посох, а рука черного очутилась возле горящей с одного конца головешки.

— Мне ничего не надо, — злобно ответил Бумбараш. — Глядим мы с товарищами — горит огонь. Говорят мне товарищи: «Пойди узнай, что там за люди и что им здесь на нашей земле надо».

Монахи в замешательстве переглянулись.

— Садись, — поспешно освобождая место у костра, предложил чернобородый. — А кто же твои товарищи и на чью землю мы попали?

Бумбараш усмехнулся. Он развязал сумку, достал оттуда позолоченную пачку табаку — такого, какого давно в этих краях и в глаза не видали. Свернул цигарку и только тогда неторопливо ответил:

— А земля вся эта — на пять дорог: Россошанскую, Семикрутовскую, Михеевскую, на Катремушки и до Мантуровских хуторов — дана во владение нашему разбойничьему атаману, храброму Ивану Иванюку.

Монахи в еще большем замешательстве переглянулись. Рыжебородый опрокинул вскипевший чайник, а черный быстро глянул на <свои пожитки>, точно собираясь сейчас же вскочить и задать тягу.

И только похожий на черта Бумбараш важно сидел, поджав ноги, выпуская из носа и рта клубы пахучего дыма, и был теперь очень доволен.

— Ты скажи им,— медленно подбирая слова, заговорил чернобородый,— что мы с братом Памфилием двое странствующие. Добра у нас нет — вот две котомки да это... (он показал на черный сверток) — монашья ряса — от брата нашего Филимона, который скончался вчера, свалившись в каменоломную яму, и был нами сегодня погребен. А через это задержались мы и не дошли где бы постучаться на ночлег. И скажи, что тут нам пробыть бы только до рассвета. А чуть свет пойдут, мол, они с божьей помощью дальше.

— Ладно,— вытягивая из костра печеную картошку, согласился Бумбараш.— Так и скажу.

Но пока он, обжигая пальцы, счищал обуглившуюся кожуру, рыжебородый, который все время сидел и вертел головой, вдруг подмигнул черному и незаметно помахал толстым пальцем над своей плешивой головой.

Очевидно, им овладело подозрение. И хотя курил Бумбараш табак из золоченой пачки, но был он для разбойника слишком уж худо одет, оружия при нем не было. Кроме того, для владетельного разбойника с пяти дорог очень уж он с большой жадностью поедал картошку за картошкой.

— А где же твои товарищи? — осторожно спросил рыжебородый.

И Бумбараш увидел, что толстый посох опять очутился у рыжего на коленях, а рука черного инока оказалась возле обуглившейся головешки.

— Да,— подхватил черный,— а где же твои товарищи? Ночь темная, прохладная, а ни костра, ни шуму...

— Вот там,— неопределенно махнул рукой Бумбараш и уже поднял сумку, собираясь вскочить и дать ходу.

Но на этот раз счастье неожиданно улыбнулось Бумбарашу. Далеко в той стороне, куда наугад показал он рукой, мелькнул вдруг огонек — один, другой... Шел ли это запоздалый пешеход и чиркал спичкою, закуривая на ветру цигарку или трубку, ехали ли телеги, шел ли отряд, но только огонек, блеснув два раза яркой, сигнальной искрой, потух, и снова монахи в страхе глянули один на другого.

— Вот что, святые отцы,— грубо сказал тогда Бумбараш, забирая лежавший рядом с иим широкий подрясник покойного отца <Памфила>,— я ваши ухватки все вижу! Но уже сказано в священном писании: как аукнется, так и откликнется.

Он заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Озорное эхо откликнулось ему со всех концов леса, и не успели еще ошеломленные монахи опомниться, как он скрылся в кустах.

Но этого ему было мало. Отойдя не очень далеко, он загоготал протяжно и глухо, потом засвистел снова, уже на другой лад, потом, перебравшись далеко в сторону, приложил руки ко рту и загудел, подражая сигналу военной трубы, потом поднял чурбак и принялся колотить им о ствол дуплистой сосны.

Наконец он утомился. Переждал немного и крадучись вернулся к костру. Монахов возле него не было и в помине. Он набросал около костра травы, положил в изголовье сумку, укрылся просторным подрясником и, утомленный страниыми событиями минувшего дня, крепко уснул.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С пакетом за пазухой, с ременной нагайкой, которую он нашел близ дороги, Иртыш — Веселая голова смело держал путь на Россошанск.

В кармане его широких штанов бренчали три винтовочных патрона, предохранительное кольцо от бомбы и пустая обойма от большого браунинга. Но самого оружия у Иртыша — увы! — не было.

Даже по ночам снились ему боевые трехлинейки, вороненые японские «арисаки», широкоствольные, как пушки, итальянские «гра», неуклюжие, но дальнобойные американские «винчестеры», бесшумно скользящие затвором <австрийские> [карабины] и даже скромные однозарядные берданы. Все они стояли перед ним грозным, но покорным ему строем, нетерпеливо ожидая, на какой из них он остановит свой выбор.

Но, мимо всего остального, он уверенно подходил к русской драгунке. Она не так тяжела, как винтовки

пехоты, но и не так слаба, как кавалерийский карабин. Раз, два!.. К бою... готовься!

Иртыш перескочил канаву и напрямик через картофельное поле вышел в деревеньку, от которой до Россошанска оставалось еще верст пятнадцать. Здесь надо было ночевать.

Он постучался в первую попавшуюся избу. Ему отворила красивая черноволосая, чуть постарше его, девчонка с опухшими от слез глазами.

— Хозяева дома? — спросил Иртыш таким тоном, как будто у него было важное дело.

— Я хозяйка,— сердито ответила девчонка.— Куда же ты лезешь?

— Здравствуй, коли ты хозяйка! Переночевать можно?

— Кого бог принес? — раздался дребезжащий голос, и дряхлая, подслеповатая старушонка высунула с печки голову.

— Да вот какой-то тут... переночевать просится.

— Заходи, батюшка! Заходи, милостивый! — жалобным голосом взвыла старуха.— Валька, подай прохожему табуретку. Ох, беда у нас, батюшка!.. Садись, дорогой, разве места жалко...

— Дак он же еще мальчишка! — огрызнулась на старуху обиженная Валька.— Ты глаза сначала протри, а то... батюшка да батюшка! Вон табуретка — сам сядет!

Но старуха, очевидно, была не только подслеповата, но и глуховата, потому что она не обратила никакого внимания на Валькину поправку и продолжала рассказывать про свое горе.

А горе было такое. Ее сын — Валькин отец — поехал еще позавчера в Россошанск на базар купить соли и мыла и по сию пору домой не вернулся. На базаре односельчане его видели. Видели и в чайной незадолго до вечера. Однако куда он потом провалился — этого никто не знал. А время было кругом неспокойное. Дороги опасные. Вот почему бабка на печи охала, а у Вальки были заплаканные глаза.

— Вернется! — громко успокоил Иртыш.— Он, должно быть, поехал в Мантурово покупать телку. Или в Котухово, сменить у телеги колеса. Ведь телега-то у вас, поди, старая?

— Старая, батюшка! Это верно, что старая! — радостно завопила обнадеженная бабка и от волнения даже

свесила ноги с печки.— Достань, Валька, из печки горшок... миску поставь, ужинать будем.

Валька подернула плечами, бросила на Иртыша удивленный, но уже не сердитый взгляд и, забирая кочергу, недоверчиво спросила:

— Что же это он колеса менять бы вздумал? Он, когда уезжал, про колеса ничего не говорил.

— А это уже характер у него такой,— важно объяснил Иртыш.— Станет он обо всем с вами разговаривать!

— Не станет, батюшка,— слезая с печки, охотно согласилась старуха.— Это верно, что характер у него такой крутой, натурный. Валька, слазь в подпол, достань кринку молока. Ах ты боже мой! Вот послал господь утешителя!

Утешитель Иртыш самодовольно улыбнулся. Он помог Вальке открыть тяжелую крышку подпола, наточил тупой нож о печку и вежливо попросил Вальку, чтобы она подала ему воды умыться.

Валька улыбнулась и подала.

После ужина они были уже почти друзьями.

Бабка опять залезла на печку. Валька насухо вытерла стол и сняла со стены жестяную лампу. Иртыш взял с подоконника Валькину тетрадь и огрызок карандаша.

— Хочешь, я тебя нарисую? — предложил он.— Ты сиди смирно, а я раз-раз — и портрет будет.

— Бумагу-то портить? — недоверчиво ответила Валька. А сама быстро поправила волосы и вытерла рукавом губы.— Ну, рисуй, если хочешь.

— Зачем же портить? — самоуверенно возразил Иртыш. И, окинув прищуренным глазом девчонку, он зачертил карандашом по бумаге.— Так... Ты сиди, не ворочайся!.. Вот и нос готов... сюда брови... Вот один глаз, вот другой... Глаза-то у тебя опухли, заплаканные...

— А ты не опухлые рисуй! — забеспокоилась Валька.— Ты рисуй, чтобы было красиво.

— Я и так, чтобы красиво... Ты кончик языка убери. А то так с языком и нарисую! Ну, вот волосы — раз... раз, и готово! Смотри, пожалуйста, разве не похожа? — И он протянул ей портрет красавицы со сжатыми губами, с длинными ресницами и гибкими бровями.

— Похоже,— пролепетала Валька.— Эх, как ты здорово! Только вот нос... Он как-то немного кривой...

Разве же у меня кривой? Ты посмотри поближе... Подвинь лампу.

— Что нос? Нос — дело пустяковое. Дай-ка резинку... Нос я тебе какой хочешь нарисую. Хочешь — прямой, хочешь — как у цыгана, с горбинкой. Вот такой нравится?

— Такой лучше,— согласилась Валька.— Ой, да ты же мне сережки в ушах нарисовал!

— Золотые,— важно подтвердил Иртыш.— Такой я в них сейчас бриллиантик вставлю! Один бриллиант — раз... другой — два... Эх, ты! Засверкали! Ты в городе бываешь, Валька?

— Бываю,— не отрываясь от портрета, тихо ответила Валька.— С отцом на базаре.

— Тогда найду!.. А вон и ворота скрипят. Беги, встречай батьку!..

— Ты колдун, что ли? Ой! А ведь правда, кто-то подъехал.

В избу вошел отец. Он был зол.

Вчера в лесу его встретили четверо из долгунцовской банды, вскочили на телегу и заставили свернуть на Семикрутово.

Против двухсот пехотинцев, полусотни казаков и двух орудий у города Россошанска было только восемьдесят два человека и три пулемета.

Однако отбивался Россошанск, пока не унывая. Стоял он на крутых зеленых холмах. С трех сторон его охватывали поросшие камышом речки Синявка и Ульва. А с четвертой — от поля — на самой окраине торчала каменная тюрьма с четырьмя облупленными башенками.

День и ночь тут дежурила сторожевая застава. Пули за каменными бойницами были ей не страшны, а тургаевские орудия по тюрьме не били, потому что в ней сидели заложниками жена Тургаева и ее сын Степка.

Было еще совсем рано, когда Иртыш подбежал к ограде и застучал в окованные рваным железом ворота.

— Что гремишь? — спросил его через окошечко надзиратель.— Кого надо?

— Трубников Павел в карауле? Отворите, Семен Петрович. Беда как повидать надо!

— Эх, какой ты, молодец, быстрый! А пропуск? Это тебе, милый, тюрьма, а не церква.

— Так мне же нужно по самому спешному и важному! Вы там откиньте слева крючок, а засов ногою отпихните. Я быстренько. Мне только к Пашке Трубникову... к брату...

— К брату? — высовывая бородатое лицо, удивился надзиратель.— А я тебя, молодец, спросонок и не признал... Так это, говорят, ваша компания у меня в саду две яблони-скороспелки наголо подчистила?

— Бог с вами, Семен Петрович! — хлопнув рукой об руку, возмутился Иртыш.— С какой компанией? Какие яблоки? Ах, вот что! Это вы, наверное, приходили недавно в сад. Где яблоки? Нет яблок. А все очень даже просто! Когда в прошлую пятницу стреляли белые из орудий, он — снаряд — как рванет... В воздухе гром, сотрясение!.. У Каблуковых все стекла полопались, трубу набок свернуло. Где же тут яблоку удержаться? Яблоки у вас сочные, спелые, и как тряхнет — они, поди, и посыпались.

— То-то, посыпались! А куда же они с земли пропали? Сгорели?

— Зачем сгорели? Иные червь сточил, иные еж закопал. А там, глядишь, малые ребятишки растащили. «Дай, думают, подберу, все равно на земле сопреет». А чтобы мы... чтобы я?.. Господи, добро бы хоть яблоко какое — анисовка или ранет, а то... фють, скороспелка!

— Мне яблок не жалко,— отпирая тяжелую калитку, пробурчал старик.— А я в нонешнее время жуликов не уважаю. Люди за добрую жизнь головы наземь ложут, а вы вот что, шалопутники!.. Ты лесом бежал, белых не встретил?

— У Донцова лога трех казаков видел,— проскальзывая за ограду и не глядя на старика, скороговоркой ответил Иртыш.— Ничего, Семен Петрович... мы отобьемся!

— Вы-то отобьетесь! — закидывая тяжелый крюк, передразнил Иртыша старик.— Ваше дело ясное... Направо иди, мимо караулки. Там возле бани, где солома, спит Пашка.

В проходе меж двумя заплесневелыми корпусами дымила походная кухня. Тут же, среди дров, валялись изрубленные на растопку золоченые рамы от царских портретов, мотки колючей проволоки и пустые цинки из-под патронов.

На заднем дворике сушились возле церковной решетки холщовые мешки и поповская ряса.

В стороне, возле уборной, разметав железные крылья, лежал, кверху лапами, двуглавый орел.

Кто-то из окошка, должно быть нарочно, выкинул Иртышу на голову горсть шелухи от вареной картошки. Иртыш погрозил кулаком и повернул к бане.

Раскидавшись на соломенных снопах, ночная смена еще спала. Иртыш разыскал брата и бесцеремонно дернул его за полу шинели.

Брат лягнул Иртыша сапогом и выругался.

— Давай потише,— посоветовал отскочивший Иртыш.— Ты человек, а не лошадь!

— Откуда? — уставив на Иртыша сонные глаза, строго спросил брат.— Дома был? Где тебя трое суток носило?

— Всё дела,— вздохнул Иртыш.— Был в Катремушках. Ты начальнику скажи — совсем близко, у Донцова лога, трех я казаков видел.

— Эка невидаль трех! Кабы триста...

— Трехсот не видел, а ты скажи все-таки... Дома что? Мать, поди, ругается?

— Бить будет! Вчера перед иконой божилась. «Возьму, сказала, рогаль и буду паршивца колотить по чем попало!»

— Ой ли? — поежился Иртыш.— Это при советской-то?

— Вот она тебе покажет «при советской»! Ты зачем у Саблуковых на парадном зайца нарисовал? Все шарлатанишь?

Иртыш рассмеялся.

— А что же он, Саблуков, как на митинге: «Мы да мы!» — а когда в пятницу стрельба началась, смотрю — скачет он через плетень да через огород, через грядки, метнулся в сарай, из сарая — в погреб. Ну чисто заяц! А еще винтовку получил! Лучше бы мне дали...

— Про то и без тебя разберут, а тебе нет дела.

— Есть,— ответил Иртыш.

— А я говорю — нет!

— Есть,— упрямо повторил Иртыш.— А ты побежишь, я и тебя нарисую.

— И кто тебя, такого дурака, сюда пропустил? — рассердился брат.— В другой раз накажу, чтобы гнали в шею. Постой! Матери скажи, пусть табаку пришлет. За шкафом, на полке. Да вот котелок захвати. Скажи, чтобы еды не носила. Вчера мужики воз картошки да барана прислали, пока хватает.

Иртыш забрал котелок и пошел. По пути он толкнул ногой железного орла, заглянул в пустую бочку, поднял пустую обойму, и вдруг из того же самого окна, откуда на голову ему свалилась картофельная шкурка, с треском вылетела консервная жестянка и ударила по ноге, забрызгав какою-то жидкой дрянью.

Сквозь решетку Иртыш увидел вытиравшего о тряпку руки рыжего, горбоносого мальчишку лет пятнадцати.

— Барчук! Тургаев Степка! — злобно крикнул Иртыш, хватая с земли обломок кирпича.— Где твое ружье? Где, собака? Сидишь, филин!

Камень ударился о решетку и рассыпался

— Стой! Проходи мимо! — закричал Иртышу, выбегая из-под навеса, часовой.— Не тронь камней, а то двину прикладом... Уйди прочь от решетки, белая гвардия! — погрозил он кулаком на окошко.— Ты смотри, дождешься!

Из глубины камеры выскочила такая же рыжая, горбоносая женщина и рванула мальчишку за руку.

— Врет, он не выстрелит,— отдергивая руку, огрызнулся мальчишка.— Нет ему стрелять приказа!

Он плюнул через решетку, показал Иртышу фигу и нехотя отошел.

— Ишь, белая порода! Ломается! — выругался часовой.— То-то, что нет приказа. А то бы ты у меня сунулся!.. Беги, малый,— сердито сказал он Иртышу.— Видел господ? Мы вчера всухомятку кашу ели. А он, пес, фунт мяса да полдесятка яиц слопал. Не хватает только пирожного да какава!

— За что почет? — спросил Иртыш.— Жрали бы хлеба.

— Боится комиссар — не сдохли бы с горя. Разобьет тогда Тургаев тюрьму пушками. Она, тюрьма, только с виду грозна. А копнуть — одна труха. В церкви на стене писано — еще при Пугачеве строили. Сорви-ка лопух да штанину сзади вытри. Эк он тебя, пес, дрянью избрызгал.

— Я его убью! — пообещал Иртыш.— Мне бы только винтовку достать. У вас тут нет лишней?

Часовой усмехнулся:

— Лишних винтовок, парень, на всем свете нет. Все при деле. Беги, герой! Вон разводящий идет, смена караула будет.

Отбежав на бугорок в сторону, Иртыш видел, как

сменялись часовые. Старый сказал что-то новому и показал на Иртыша, потом на окошко.

Новый злобно выругался и вскинул винтовку к плечу. Разводящий погрозил новому пальцем и кивнул на караулку — должно быть, обещал пожаловаться начальнику. Новый скривил рот, вероятно показывая, что начальника он не испугался. Однако, когда разводящий поднес к губам свисток, новый сердито ударил прикладом о землю, скинул шинель, повесил ее на гвоздь под деревянный навес и молча стал на пост.

Старого часового Иртыш не знал. Новый, Мотька Звонарев, истопник и кухонный мужик тургаевской усадьбы, был Иртышу немного знаком. Когда Мотька хоронил дочку Сашку, которая утонула в пруду, испугавшись тургаевских собак, Иртыш был на похоронах и даже нес перед гробом крест.

С пригорка Иртышу был виден подкравшийся к решетке Степка Тургаев. Иртыш постоял, любопытствуя — высунется теперь Степка из окна или нет. Степка постоял, посмотрел, но когда Мотька поднял голову, то он быстро отошел прочь.

Иртыша выпустили за ворота. Он решил выйти на свою улицу напрямик через луг и огороды и быстро зашагал по мокрой, росистой траве.

«Давно ли!» — думал он. Нет, совсем еще недавно, всего только прошлым летом, его поймали в тургаевском парке, где он ловил в пруду на удочку карасей. По чистым песчаным дорожкам, меж высоких пахучих цветов, его провели на площадку и там, перед стеклянной террасой вот эта самая важная горбоносая женщина, сидя в плетеной качалке, кормила из рук булкой пушистого козленка. Она объяснила Иртышу, что он потерял веру в бога, честь и совесть и что, конечно, уже недалеко то время, когда он попадет в тюрьму...

Иртыш обернулся и посмотрел на грозные тюремные башенки.

— А как повернулось дело? — задумчиво пробормотал он.— Трах-та-бабах! Революция!

Ему стало весело. Он глотал пахнувший росой и яблоками воздух и думал: «[Вот] столб, хлеб, дом, рожь, больница, базар — слова всё знакомые, а то вдруг — революция! Бейте, барабаны!» Он поднял щепку и громко забарабанил в закопченное днище солдатского котелка:

Бейте, барабаны,
Трам-та-та-та!
Смотри не сдавайся
Никому никогда!

Получалось складно.

Бейте, барабаны,
Военный поход!
В тысяча девятьсот...
Восемнадцатый год!

Одинокая пуля жалобно прозвенела высоко над его головой. Иртыш съежился и скатился в канаву.

Высунувшись осторожно, он увидел, что это стреляют свои. С тюремной башенки часовой-наблюдатель показывал рукой, чтобы Иртыш не бродил полем, а шел дорогой.

Иртыш запрыгал и замахал шапкой, объясняя, что ему нужно пройти огородами. Часовой посмотрел — увидел, что мальчишка, и махнул рукой.

Иртыш свистнул и уже без песни помчался через грядки.

Высоко над землею сияло солнце. Звенели над пустыми полями жаворонки.

Прятались в логах злобные казаки. Приготовились к удару тургаевские пушки. И все на свете веселому Иртышу было ясно и понятно.

Это был июль 1918 года. Сады, заборы, загородки для выпаса скота были оплетены ржавой колючей проволокой. Лучину на растопку утюгов, самоваров щепали военными тесаками. Крупу, пшено, махорку скупо отмеряли на базарах походным котелком. А гремучие капсюли, головки от снарядов, латунные гильзы, обоймы, шомпола, а то и целую бомбу — на страх матерям — упрямо тащили ребятишки домой, возвращаясь с походов по грибы, по ягоды, по орехи.

Спасаясь от собаки и разорвав штанину о проволоку, Иртыш выбрался через чужой огород на улицу и на стене каменной часовенки увидел рыжее, еще сырое от клейстера объявление, возле которого стояло несколько человек.

Это был, кажется, уже четвертый по счету приказ ревкома населению — сдать под страхом расстрела в 24 часа все боевое, ручное и охотничье огнестрельное оружие.

Иртыш, не задерживаясь, пробежал мимо. Он знал уже заранее, что все равно никто ничего не сдаст.

Было еще рано, но осажденный городок давно проснулся. Неуклюже ворочая метлами, под присмотром конвоира, буржуи подметали мостовую. Неподалеку от пожарной каланчи, наполовину разбитой снарядами, городская рабочая дружина — человек двадцать пять — обучалась военному делу.

По команде они вскидывали винтовки, «на плечо», «на руку», «на изготовку», падали на булыжник и, распугивая прохожих, с криком «ура», скакали от забора к забору.

Мимо разрушенных и погоревших домов, зданий и брошенных купцами лавок Иртыш подошел к розовому двухэтажному дому купца Пенькова, где стоял теперь военный комиссариат.

У крыльца уже толкались люди; из окна, выбитого вместе с рамой, торчал пулемет. Пулеметчик, сидя на широком каменном подоконнике, грыз семечки и бросал шелуху в бочку, заменявшую урну.

Возле каменного льва, в разинутую пасть которого был засунут запасный патронташ, стоял знакомый часовой. И он пропустил, когда узнал что Иртышу надо.

Иртыш прошел по шумным коридорам и, наконец, очутился в комнате, где уже несколько человек ожидали комиссара.

Какой-то бойкий военный молодец, а вероятнее всего-навсего вестовой, потянулся к Иртышу за пакетом.

— Нет! — сказал Иртыш.— Отдам только самолично.

— «Отдам самолично»! — передразнил его молодец.— Да что же ты, дурак, прячешь за спину? Дай хоть подержать в руках.

— Вот умный! Возьми да подержись,— указывая на дверную медную ручку, ответил Иртыш.— А это тебе не держалка!

Зашуршала и приоткрылась тяжелая резная дверь — кто-то выходил и у порога задержался.

По голосу Иртыш узнал комиссара — товарища Гринвальда. Другой голос, хрипловатый и резкий, тоже был знаком, но чей — Иртыш не вспомнил.

— Как наставлял наш дорогой учитель Карл Маркс,— говорил кто-то,— то знайте, товарищ комиссар, что я готов всегда за его идеи...

— Карл Маркс — это дело особое, а бомбы зря бросать нечего. То разоружили бы мы Гаврилу Полувалова вчистую, а теперь подхватил он свою опричнину да марш в банду. Иди, Бабушкин, зачисляю тебя командиром взвода караульной роты. Постой! Я что-то позабыл: семья у Гаврилы большая?

— Сам да жена. Жена у него, надо думать, товарищ комиссар, его злобному делу не сочувствует.

— Это мы разберем — сочувствует или не сочувствует.

Дверь отворилась, вышел комиссар Гринвальд, а за ним — коренастый, большеголовый человек в старенькой шинели, с винтовкой, у которой вместо ружейного ремня позвякивал огрызок собачьей цепи.

Иртыш сразу узнал михеевского мужика Капитона Бабушкина, которого в прошлом году за грубые слова драгуны сбросили вниз головой с моста в Ульву.

— Посадить дуру, может, следовает,— согласился Капитон Бабушкин.—Как завещал наш дорогой Карл Маркс. Трудящийся—он и есть труженик, а капитал—это явление совсем обратное. Раз родилась она бедного происхождения, то и должна она держаться своего класса. Я эти его книги три месяца подряд читал. Цифры и таблицы пропускал, не скрою, но смысл дела понял.

Капитон вышел. Комиссар оглянулся.

— Эти двое к вам,— объяснил вестовой.— В канцелярии сидят по вызову. К вам коммерсант с жалобой да вон — мальчишка...

— Что за коммерсант? А-а...— нахмурился комиссар, увидев бородатого старика, который, опираясь на палку, стоял не шелохнувшись.— Садись, купец Ляпунов. Я тебя слушаю.

— Ничего, я постою,— не двигаясь, ответил старик.— Совесть, говорю я, в нашем городе давно уже и не ночевала. Контрибуцию мы вам дали, лошадей дали, хлеба — двести пудов для пекарни дали. Дом мой один под приют забрали — хотя и беззаконие, ну, думаю, ладно, приют — дело божье. А сегодня, смотрю, в другом доме, на откосе, рамы высаживают, в стенах ломом бьют дыры, антоновские яблони да две липы вырубили. Говорят, якобы для кругозора обороны. «Что же,— кричу им,— или вы слепые? Вон гора рядом. Бери заступы, рой окопы, как честные солдаты, строй фортификацию. А почто же в стенах бить дырья? Мы с вами по-хорошему. В других городах народ

за ружья хватается, бунт вспыхивает. [Мы же] сидим смирно, как оно будет, того и дождемся. Вы же разор чините, злобу. Заложников десять человек взяли. У людей от такой невидали со страха язык отнялся. Семьи сирые плачут. Вдова Петра Тизяева на чердаке удавилась. Это ли есть правое дело?

— Врет он, Яков Семенович! — ляпнул из своего угла Иртыш.— Вдову Тизяеву они сами удавили. Она была, как бы сказать, блаженная. Ей [петлю] подсунули, а теперь по всем базарам звонят!

Старик Ляпунов опешил и замахнулся на Иртыша палкой.

Иртыш отпрыгнул.

Комиссар вырвал и бросил палку.

— Ты кто?— строго спросил комиссар у Иртыша.

— Иртыш Трубачев. Гонец с пакетом от командира Лужникова.

— Сиди, гонец, пока не спросим... Вот что, папаша,— обратился комиссар к Ляпунову,— тебя слушали, не били. Теперь ты послушай. Хлеба дали, контрибуцию дали — подумаешь, благодетели! Вранье! Ничего вы нам не давали. Хлеб мы у вас взяли, контрибуцию взяли, лошадей взяли. Где нам рыть окопы, где бить бойницы — тут вы нам советчики плохие. Заложников посадили, нужно будет — еще посадим. Сорок винтовок офицер Тизяев из ружейных мастерских ограбил. Сам убит, а куда винтовки сгинули — неизвестно! Отчего вдова Тизяева на другой день на чердаке оказалась — неизвестно. Однако догадаться можно... А чего ночью через Ульву лодку захватили? А кто спустил воду у мельницы, чтобы дать белым брод через Ульву?.. Я? Он? (комиссар ткнул пальцем на Иртыша). Может быть, ты?.. Нет!.. Николай-угодник!.. Иди, сам запомни и другим расскажи... Да, забыл! Что это у вас в монастыре за святой старец объявился. Пьет <как ангел, сияет>, проповедует. Я не бандит Долгунец. Монастырь громить не буду. Но старцу посоветуй лучше убраться подальше. Прочти ему что-нибудь из священного писания, что, мол, который глаголет везде разные словесы насчет того, какая власть от бога, а какая от черта, то пусть лучше отойдет восвояси. Дождется — выгоню его в шею или еще чего похуже. Слушай! Там тебе я утром сегодня повестку послал. Сотню пар старых сапог починить надо. Достаньте кожи, набойки, щетины, дратвы.

— Где? Откуда?

— Поищите себе сначала сами. А если уж не найдете, то я своих пошлю к вам поискать на подмогу.

— Бог! — поднимая палец к небу и останавливаясь у порога, хрипло и скорбно пригрозил [Ляпунов].— Он все видит и он нас рассудит!

— Хорошо,— ответил комиссар,— я согласен. Пусть судит. Буду отвечать. Буду кипеть в смоле и лизать сковородки. Но кожу, смотрите, не подсуньте мне гнилую! <Верну> обратно.

Старик вышел.

Комиссар плюнул, взял у Иртыша пакет и сердито повернулся к дверям своего кабинета.

Иртыш побледнел. Отворяя дверь, комиссар уже, вероятно, случайно увидел <с порога> безмолвно вытянувшегося мальчугана.

— Что же ты стоишь? Иди! — сказал он и вдруг грубовато добавил: — Иди за мной в кабинет.

Иртыш тихо вошел и сел на краешек ободранного мягкого стула.

Комиссар прочел.

— Хорошо,— сказал он.— Спасибо! Что по дороге видел?

— Трех казаков видел у Донцова лога. Два — на серых, один — на вороном. Возле Булатовки два телеграфных столба спилены... Да, забыл: из Катремушек шпион убежал. По нем из винтовок — трах-бабах, а он, как волк, закрутился, да в лес, да ходу... Дали бы и мне, товарищ комиссар, винтовку, я бы с вами!

— Нет у нас лишних винтовок, мальчик. Самим нехватка. Дело наше серьезное.

— Ну, в отряд запишите. Я пока так... А там как-нибудь раздобуду.

— Так нельзя! Хочешь, я тебя при комиссариате рассыльным оставлю? Ты, я вижу, парень проворный.

— Нет! — отказался Иртыш.— Пустое это дело.

— Ну, не хочешь — как хочешь. Ты где учился?

— В ремесленном училище на столяра. Никчемная это затея — комоды делать, разные там барыням этажерки...— Иртыш помолчал.— Я рисовать умею Хотите я [с вас портрет нарисую], вам хорошую вывеску нарисую? А то у вас какая-то мутная, корявая, и слово «комиссар» через одно «с» написано. Я знаю — это вам маляр Васька

Сорокин рисовал. Он только старое писать и умеет: «Трактир», «Лабаз», «Пивная с подачей», «Чайная». А новых-то слов совсем и не знает. Я вам хорошую напишу! И звезду нарисую. Как огонь будет!

— Хорошо,— согласился комиссар.— Попробуй... У тебя отец есть?

— Отца нет, он от вина помер. А мать — прачка, раньше на купцов стирала, теперь у вас, при комиссариате. Ваши галифе недавно гладила. Смотрю я, а у вас на подтяжках ни одной пуговицы. Я от своих штанов отпороть велел ей, она и пришила. Мне вас жалко было...

— Постой... почему же это жалко?— смутился и покраснел комиссар.— Ты, парень, что-то не то городишь.

— Так... Когда при Керенском вам драгуны зубы вышибли, другие орут, воют, а вы стоите да только губы языком лижете. Я из-за забора в драгуна камнем свистнул да жду.

— Хорошо, мальчик, иди! Зубы я себе новые вставил. Иным было и хуже. Сделаешь вывеску — мне самому покажешь. Тебя как зовут? Иртыш?

— Иртыш!

— Ну, до свиданья, Иртыш! Бей, не робей, наше дело верное!

— Я и так не робею,— ответил Иртыш.— Кто робеет, тот лезет за печку, а я винтовку спрашиваю.

1937

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ

Р. В. С.

Рассказ «Р. В. С.»—второе опубликованное произведение А. Гайдара и первая его книга для детей. Печатался в 1926 году в течение апреля месяца в пермской газете «Звезда» (№ 83—97), где в то время Гайдар работал корреспондентом.

Одновременно вышел отдельным изданием в Москве, в Госиздате, подписан настоящей фамилией писателя — Аркадий Голиков.

Входил в первый сборник Гайдара «Мои товарищи» («Молодая гвардия», М. 1932). При жизни автора неоднократно выходил отдельными изданиями.

Печатается по изданию Детиздата, «Р. В. С.», М.—Л. 1937.

Замысел «Р. В. С.» возник, по-видимому, задолго до его написания.

В одной из ранних тетрадей Гайдара, представляющей собой планы, наброски, варианты первой повести «В дни поражений и побед» (датирована автором: «1923—24 гг., 23/II»; хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР), на обороте первой ее страницы рукою Гайдара записан отрывок, который с небольшими изменениями вошел потом в печатный текст «Р. В. С.»:

« — Димка, давай гвоздь. А то я скажу маме, что ты из чулана стырил [воробушкам] [во] зайчиков кормить...

Димка чуть не *поперхнулся* [ложко], подавился от страха»... (Подчеркнуто А. Гайдаром. Взятое в квадратные скобки в рукописи вычеркнуто автором.— *Ф. Э.*)

Ср. с общеизвестным текстом:

«— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва ие подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой».

И еще одиа заметка в чериовых набросках плаиа повести «В дии поражеиий и побед» свидетельствует о раиием замысле «Р. В. С.». Эта заметка очеиь иебрежиа и малоразборчива, ио магические буквы «Р. В. С.» видиы отчетливо, и роль, отводимая молодым писателем в будущем повествоваиии Революциоииому военному совету республики — ясиа:

«Расстрел враигельца. Расстрел коммуиаров... Р. В. С. против».

В 1936 году Гайдар отредактировал и исправил сценарий, иаписаииый по «Р. В. С.» Игорем Савчеико.

Работа иад киноосцеиарием по «Р. В. С.» подтверждается сохраиившимся договором между А. П. Гайдаром и директором киностудии Союздетфильм о праве киностудии иа экраиизацию рассказа.

По договору А. Гайдар обязуется «... коисультировать авторов сцеиария в процессе работы их иад сцеиарием и режиссеров в процессе производства фильма в течеиие всего срока постаиовки». Кроме того, оговорено: «Автор берет иа себя отработать диалоги». На договоре дата: «4 августа 1936 года» (ЦГАЛИ).

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ

По свидетельству друзей Гайдара, рассказ был иаписаи для радио. Опубликоваи отдельиой кингой в 1931 году издательством «Молодая гвардия». Входил в первый сбориик Гайдара «Мои товарищи» (Молодая гвардия», М. 1932) и в сбориик «Рассказы» (Детиздат, М.—Л. 1940). Неоднократио выходил отдельными издаииями.

Печатается по сбориику «Рассказы» (Детиздат, М.— Л., 1940).

ПУСТЬ СВЕТИТ

Рассказ иаписаи в 1933 году, ко дию пятиадцатилетия комсомола. Опубликоваи в журиале «Пиоиер» (1933, сеитябрь, № 17—18 и октябрь, № 19).

Отдельиое издаиие рассказа появилось только после смерти писателя, в 1943 году, к 25-летию ВЛКСМ.

В 1954 году был выпущен кинофильм «Школа мужества» по произведениям Гайдара. В основу киносценария положены повесть «Школа», рассказ «Пусть светит» и другие произведения.

Печатается по тексту журнала «Пионер».

ГОЛУБАЯ ЧАШКА

Впервые рассказ опубликован в 1936 году в журнале «Пионер» (№ 1). В том же 1936 году рассказ вышел отдельным изданием в Детиздате.

Входил в сборник «Рассказы» (Детиздат, М.—Л. 1940) и в сборник «Мои товарищи» («Советский писатель», М. 1940).

Печатается по сборнику Детиздата «Рассказы».

От издания к изданию А. Гайдар много и упорно работал над «Голубой чашкой», совершенствуя и оттачивая рассказ.

Писатель Р. Фраерман рассказывает в своих воспоминаниях, как, закончив уже свой рассказ, Гайдар, с помощью С. Я. Маршака, строка за строкой разбирал «Голубую чашку» и вновь вносил исправления в готовый текст.

ДЫМ В ЛЕСУ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Пионер» в 1939 году, № 2.

17 мая 1939 года А. П. Гайдар записал в своем дневнике: «Дым в лесу» подписан к печати».

Вскоре рассказ вышел отдельным изданием (Детиздат, М.—Л. 1939). Был включен Гайдаром в сборник «Рассказы» (Детиздат, М.—Л. 1940).

Печатается по этому изданию.

ЧУК И ГЕК

Впервые рассказ был опубликован в газете «Пионерская правда», 1939, № 1—5, 1—10 января.

Под названием «Телеграмма» был напечатан в «Красной нови», 1939, № 2. Тогда же вышел отдельной книгой (Детиздат, М. — Л., 1939) под названием «Чук и Гек». Входил в сборник «Рассказы» (Детиздат, М.—Л. 1940).

Печатается по этому изданию.

Для отдельного издания Гайдар перерабатывал и совершенствовал рассказ.

ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ

Последнее предвоенное произведение; сказка, написанная Гайдаром для детей.

Опубликовано во время Великой Отечественной войны в журнале «Мурзилка» (1941, № 8—9).

Печатается по журнальному тексту.

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

Рассказы «Маруся», «Василий Крюков», «Советская площадь», «Поход» написаны для отрывного «Детского календаря» 1940 и 1941 годов.

Рассказ «Маруся» напечатан на листке 17 мая 1940 года. «Василий Крюков» — на листке 9 декабря того же года. «Советская площадь» — 2 января 1941 года, «Поход» — 8 ноября 1941 года.

В дневнике 14 июня 1940 года Гайдар записал: «Написал «Советская площадь» и «Поход» — маленькие новеллы» (ЦГАЛИ).

Печатаются по «Детскому календарю» 1940 и 1941 годов.

Рассказ «Патроны», его первый вариант, был опубликован еще в 1926 году в пермской газете «Звезда» (№ 268, 21 ноября).

Затем он был опубликован в журнале «Пионер» (1933, № 24, декабрь) и в «Пионерской правде» (1941, № 62, 27 мая).

Рассказ входил во все собрания сочинений и некоторые сборники вместе с «Маленькими рассказами» из «Детского календаря».

Печатается по тексту газеты «Пионерская правда» (1941, № 62).

ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСИ

«Берись за оружие, комсомольское племя!» — первое обращение А. П. Гайдара к молодежи и детям в самом начале Великой Отечественной войны; было написано в Москве и передавалось по радио. Печатается по сборнику «Советским детям», выпущенному Детгизом в 1941 году.

В июле 1941 года А. П. Гайдар уехал на фронт, под Киев, в качестве специального военного корреспондента газеты «Комсомольская правда».

Фронтовые записи Гайдара печатались на страницах «Комсомольской правды» и «Пионерской правды».

Все его корреспонденции сопровождены пометкой: «От специального корреспондента «Комсомольской правды» и подписаны: «Действующая армия. Аркадий Гайдар».

Первая корреспонденция с фронта — «У переправы» — послана Гайдаром в самом начале августа и опубликована в газете 8 августа под общей шапкой: «Героическим комсомольцам орденоносного 306-го полка — слава!»

20 августа в «Комсомольской правде» появился второй его военный очерк — «Мост».

«Мост» входил во многие сборники произведений А. П. Гайдара.

Третий очерк А. П. Гайдара — «Война и дети» — был опубликован в «Комсомольской правде» на другой день, 21 августа. В этот же день «Война и дети» был напечатан и в «Пионерской правде».

30 августа в «Пионерской правде» был опубликован еще один очерк — «В добрый путь!». Он известен менее других фронтовых корреспонденций А. П. Гайдара.

Очерки «У переднего края» и «Ракеты и гранаты» были напечатаны в «Комсомольской правде» 17 сентября и 4 октября 1941 года.

«Ракеты и гранаты» — последнее произведение, написанное А. П. Гайдаром.

26 октября 1941 года Гайдар погиб.

КИНОСЦЕНАРИИ

КОМЕНДАНТ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ

Киносценарий закончен в январе 1941 года. Опубликован в первом номере журнала «Пионер» в 1941 году.

Накануне нового, 1941 года Гайдар подвел итог прошедшему году:

«31 декабрь.

Москва. Все идет хорошо. Меня опять берут на военный учет. О «Тимуре» много хороших статей, в том числе и в «Правде»...

Мороз 25 гр. Был в ЦК у Михайлова.

8-го в ЦКмоле будет обсуждение нового моего сценария («Комендант снежной крепости». — *Ф. Э.*).

Итак, что у меня было в прошедшем сороковом? Весна, Цхалтубо. Потом работа над режиссерским сценарием («Тимур и его

команда»). Потом Клин — повесть о Тимуре — немного Малеевка. Потом опять Клин — «Комендант снежной крепости». Немного Болшево, Сокольники.

На земле тревожно, но в новый год я вступаю твердым, не растерявшимся».

Декабрьский дневник Гайдара 1940 года заполнен множеством записей, отражающих его работу над «Комендантом снежной крепости»:

«Надо резко перестроить снежную крепость. Мороз, снег. Меховые унты.— Интересно: а что, если образ Нины — это русская широкая песня?» (13 декабря).

14 декабря снова: «Очень хорошо начал работу — продумал ночную смену часовых».

19 декабря: «Вчера вечером придумал важный поворот в «Коменданте крепости». Крепость взята и разоружена.

Потеплело. Ночью долго не мог заснуть. Волновала сцена у разгромленной крепости. Печальный Тимур и песенка Жени: «Гори, гори, моя звезда!..»

После обсуждения сценария в ЦК ВЛКСМ Гайдар вносил в него исправления и записал в дневнике:

«14 январь.

На несколько дней опять уехал в Сокольники.

Картина прошла с успехом, но много в ней недостатков. (По-видимому, «Тимур и его команда».— *Ф. Э.*)

Сегодня и завтра доделываю последнюю поправку к «Коменданту». Больше не буду...»

Печатается по журнальному тексту.

КЛЯТВА ТИМУРА

Киносценарий «Клятва Тимура» был задуман как продолжение сценария «Тимур и его команда».

«Клятву Тимура» А. П. Гайдар закончил в первые дни Великой Отечественной войны.

Вышел отдельной книгой в 1941 году, в Детиздате.

В июле — августе 1941 года литературный вариант киносценария опубликован в «Пионерской правде» (№ 85—92, 19 июля — 5 августа).

Печатается по газетному тексту.

ПРОХОЖИЙ

Пьеса в двух картинах «Прохожий» закончена автором в августе 1939 года.

Под заглавием «Старуха и офицер» пьеса была помещена в сборнике для детской художественной самодеятельности «К бою готовы» (Детиздат, М.—Л. 1939) и в октябре того же года в журнале «Затейник» под заглавием «Прохожий». В 1940 году пьеса была опубликована в Ростове-на-Дону под названием «Прохожий», в сборнике «На досуге».

13 августа 1939 года Гайдар записал в дневнике: «... написал для сборника небольшую сцену в двух картинах «Прохожий». Говорят, получилось хорошо».

Печатается по журнальному тексту.

РАННИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

В ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

«В дни поражений и побед» — первое произведение Гайдара; Гайдар писал его еще будучи в армии. Как и широко известная повесть «Школа», «В дни поражений и побед» — автобиографическая повесть. Места на Киевщине, где воюют курсанты, те же, где воевал и сам Гайдар в первые годы пребывания в армии. События и картины произведения очень напоминают события из жизни молодого Гайдара.

«Школа», написанная позднее, кажется предысторией повести «В дни поражений и побед», и легко угадывается, что Борис Горинов — это Сергей Горинов в более раннем возрасте и что прототипом и того и другого был сам автор — Аркадий Голиков. Созвучность всех трех фамилий тоже говорит об этом.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится большая стопка простых ученических тетрадей, исписанных мелким почерком молодого Гайдара. На первой странице тетради № 1 обозначена дата: «1923—1924 год, 23 февраля» и стоит характерная подпись: «Арк. Голиков». В правом верхнем углу нарисована эмблема Гайдара, которая потом будет часто появляться в его рукописях, письмах, записках, дневниках,— пятиконечная звездочка, с отходящими от нее лучами. Это — автограф повести «В дни поражений и побед».

Впервые повесть была опубликована (сокращенно) в ленинградском альманахе «Ковш» (кн. 1 и 2, Госиздат, Л. 1925).

Отдельным изданием повесть вышла в 1926 году, в издательстве «ЗИФ». Печатается по этому изданию.

ВСАДНИКИ НЕПРИСТУПНЫХ ГОР

Отрывок из повести печатался в пермской газете «Звезда» в конце 1926 года (5—18 декабря) под заглавием «Рыцари неприступных гор».

Отдельной книгой повесть вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1927 году.

Печатается по этому изданию.

Материалом для повести частично послужили наблюдения, почерпнутые писателем во время поездки по Средней Азии в качестве корреспондента газеты «Звезда».

НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ

Отдельным изданием повесть опубликована в издательстве «Молодая гвардия» в Москве, в 1929 году.

Писалась она, по-видимому, одновременно или сейчас же после «Школы».

«На графских развалинах», как и «В дни поражений и побед» и «Всадники неприступных гор», Гайдар относил к числу «первых совсем еще слабых» книг («Автобиография»), и, вероятно, поэтому при его жизни они не переиздавались и не входили в сборники его произведений.

СЕРЕЖКА ЧУБАТОВ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Помещенные в этом разделе рассказы написаны Гайдаром в 1927 году для газеты Московского военного округа «Красный воин».

В основу рассказов положены действительные боевые эпизоды, свидетелем или участником которых был сам Гайдар.

Они обращены к тем, кому во время гражданской войны было десять-одиннадцать лет, а ко времени написания рассказов — достигли призывного возраста.

Рассказы «Сережка Чубатов», «Левка Демченко», «Конец Левки

Демченко» и «Ночь в карауле» помещены в «Красном воине» в августе и сентябре 1927 года. «В плену» и «У белых» — в октябре месяце. «Орудийный ключ» и «Бандитское гнездо» — в ноябре. «Бомба» — в декабре.

Печатаются по газетному тексту.

НЕОКОНЧЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

СИНИЕ ЗВЕЗДЫ

«Синие звезды» Гайдар писал в 1934 году. Первая часть повести была напечатана в журнале «Пионер» (№ 1—13, 1934).

18 апреля 1934 года Гайдар записал в дневнике: «Отправил вчера телеграмму Ивантеру (редактору «Пионера»), письмо ему же и письмо Лядовой. Сегодня отправляю письма Плаксиной и домой. А также кусок «Синих звезд». На днях выезжаю в Ростов».

Одновременно Гайдар заканчивал повесть «Военная тайна». Летом 1934 года Гайдар записал в дневнике: «Военная тайна» будет хорошей книгой. «Синие звезды» пока отложил, пусть полежат».

Повесть «Синие звезды» осталась незаконченной.

Печатается по журнальному тексту и автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ.

БУМБАРАШ

Книга была задумана в 1937 году и писалась ранней весной в писательском доме отдыха в Ялте. Названа по имени солдата, главного героя повести. Гайдар был увлечен своей новой работой, но повести не завершил.

Писатель Р. И. Фраерман вспоминает, как это случилось.

«Гайдар был чрезвычайно доволен, как шла работа над «Бумбарашем». Он писал это произведение с вдохновением.

И вдруг в свет выходит повесть Валентина Катаева «Шел солдат с фронта», или, как она потом стала называться, «Я — сын трудового народа».

Это было почти то самое, о чем думал Гайдар и о чем ему хотелось написать в «Бумбараше».

Гайдар оставляет работу. И сколько потом его ни уговаривали

друзья, сколько ни убеждали, что... картины их различны, что у каждого свое перо...— он больше к «Бумбарашу» не возвращался.

Он был самобытен, никого не хотел повторять и полагал, что каждое художественное произведение, если оно поистине художественное, должно быть новым словом». («Жизнь и творчество А. П. Гайдара», Детгиз, М. 1954.)

Печатается по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ.

Ф. Эбин.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Р.В.С. 7
Четвертый блиндаж 43
Пусть светит 61
Голубая чашка 86
Дым в лесу 109
Чук и Гек 129
Горячий камень (сказка) 155

Маленькие рассказы

Маруся 160
Василий Крюков 161
Советская площадь 161
Поход 162
Патроны 163

Фронтовые записи

Берись за оружие, комсомольское племя! 169
У переправы 171
Мост 175
Война и дети 180
У переднего края 184
Ракеты и гранаты 188

Киносценарии

Комендант снежной крепости 195
Клятва Тимура 238
Прохожий (пьеса) 271

Ранние повести и рассказы

В дни поражений и побед 283
Всадники неприступных гор 415
На графских развалинах 491
Сережка Чубатов 548
Левка Демченко 551
Конец Левки Демченко 560
Ночь в карауле 563
В плену 566
У белых 568
Орудийный ключ 573
Бандитское гнездо 575
Бомба 580

Неоконченные произведения

Синие звезды 585
Бумбараш 660
Примечания 709

Аркадий Гайдар
ТОМ ВТОРОЙ

Редактор *А. Ноткина*. Художественный редактор *Ю. Боярский*.
Технический редактор *В. Криницына*. Корректор *Е. Мезис*.

Сдано в набор 19/VIII 1957 г. Подписано в печать 9/X 1957 г.
Бумага $84\times108^1/_{32}$ — 22,5 печ. л. = 36,9 усл. печ. л., 36,59 уч.-изд. л.
Тираж 150000 экз. Заказ 1284. Цена 12 р. 50 к.
Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Книжная фабрика им. Фрунзе Главиздата Министерства культуры УССР,
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

